Д.Л. МОРДОВЦЕВ

БИБЛИОТЕКА
исторической
ПРОЗЫ

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Собрание сочинений

в четырнадцати томах

МОСКВА
«ТЕРРА» —«TERRA»
1996

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Собрание сочинений

Том одиннадцатый

МОСКВА
«ТЕРРА» —«TERRA»
1996

ББК 84Р1
М79

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Мордовцев Д. Л.
М79 Собрание сочинений: В 14 т. Т. 11.— М.: ТЕРРА, 1996.— 543 с.— (Библиотека исторической прозы).
ISBN 5-300-00417-0 (т. 11)
ISBN 5-300-00170-8

В одиннадцатый том Собрания сочинений включены биографические очерки «Русские женщины нового времени», а также исторические произведения «Поиманы есте Богом и Великим государем...», «Тысяча лет назад» и «Тульский кречет».

М $\frac{\text{4702010100-190}}{\text{А30(03)-96}}$ **Подписное** **ББК 84Р1**

ISBN 5-300-00417-0 (т. 11)
ISBN 5-300-00170-8
© Издательский центр «ТЕРРА», 1996

Русские женщины нового времени

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ЖЕНЩИНЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Анне Никаноровне Мордовцевой,
Вере Даниловне Мордовцевой,
Наталье Иосифовне Первольф,
С любовью посвящает
муж, отец и дедушка — автор.

Предисловие

Историческая русская женщина второй половины восемнадцатого века едва ли не более чем какая-либо другая отражает в себе наиболее существенные стороны всей нашей исторической — государственной и общественной — жизни: выступавшие на историческую и общественную арену, в это именно полустолетие, женщины, их нравственная физиономия, их деятельность, их стремления и задушевные симпатии, их, наконец, личные добродетели и пороки ярко и отчетливо, как гулкое эхо, выражают все то, чем жила, крепла, прославлялась, скорбела и болела русская земля за это же полустолетие.

Действительно, почти каждая женщина, так или иначе выдвигавшаяся из ряда личностей, не замечаемых и не сохраняемых историею, является таким, хорошо отполированным, историческим рефактором, в котором можно видеть, если не всю современную ей эпоху, то, по малой мере, самые характеристические ее стороны, потребности, стремления.

В императрице Елизавете Петровне, стоящей на рубеже двух половин восемнадцатого столетия, мы видим как бы отражение и ее великого родителя, показывающего русской земле на запад и на добрые плоды его цивилизации, и тех осторожных русских людей, которые казались смешными, защищая свои бороды и свои боярские охабни, но которые, когда увлечение западом несколько поулеглось, показали, что, не отвергая пользы и необходимости западной цивилизации, нельзя в то же время не дорожить и русскою бородою, как выражением отчасти русского национального облика, и русским зипуном, как историческим одеянием русского народа, и русскою речью, и русскою песней, как неотъемлемым историческим достоянием того же народа.

К этому-то народу и обращено было отчасти лицо Елизаветы Петровны, как обратилось тогда к русскому народу лицо всей почти русской интеллигенции, начиная от Ломоносова и Сумарокова и кончая их ученицами и дочерьми.

В этих ученицах и дочерях Ломоносова и Сумарокова, в Княжниной и Ржевской, мы видим уже разумную оценку рус-

ской речи и сознание права на литературное существование этой речи.

Едва ли не ученицею и последовательницею Елизаветы Петровны, равно как ученицею и последовательницею Ломоносова и Сумарокова, по отношению к удовлетворению требований русского национального чувства, является и массивная личность Екатерины II: она только гениально продолжает то, что начали раньше ее, при ней русская литературная речь приобретает вес и почет в обществе, как русское имя приобретает вес и почет в Европе в лице княгини Дашковой.

Рядом с Екатериной и идет эта именно Дашкова, русская женщина, с честью носившая мундир президента академии наук.

За ними следуют женщины-писательницы: это было требование века, требование двора, требование общества.

Несчастная «Салтычиха» выражает собою ту болезненную сторону русской жизни, которой излечение совершилось только в XIX столетии и в котором ни Салтычиха, ни подобные же ей г-жа фон Эттингер так же не повинны, как не повинна княжна Тараканова в том, что она должна была кончить жизнь в монастырском уединении.

Другая княжна Тараканова, самозванка — это отчасти отражение польской интриги, вызванной падением этой исторически не удавшейся державы.

В Глафире Ржевской и Екатерине Нелидовой, заканчивающих собою восемнадцатый век, мы видим уже новое явление, переходящее и в девятнадцатый век, — это появление на Руси, в разных видах и в бесконечно разнообразною нравственною физиономиею, исторического типа институтки, смолянки, монастырки, которые имеют свою, полную содержания, историю.

Насколько удалось нам в настоящих биографических очерках по возможности выяснить хотя часть того, что выразила собою русская женщина второй половины восемнадцатого столетия, предоставляем судить любознательному и снисходительному читателю.

Часть первая

I. ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Мы уже познакомились с печальной судьбою старшей и любимейшей дочери Петра Великого, Анны Петровны, герцогини голштинской.

Иная участь ожидала ее младшую сестру, цесаревну Елизавету Петровну.

Рожденная в год полтавской победы, в год первого и полного торжества России, отплатившей своим учителям-немцам за ту зависть и то недоброжелательство, с которыми они в течение нескольких столетий старались загородить от русского народа запад и его цивилизацию, — эта дочь преобразователя России пережила всю первую половину прошлого столетия, видела и вторжение в русскую землю, вместе с новыми порядками, западных хищников, то в виде разных «иноземок» и «иноземцев», эксплуатировавших все, что поддавалось их эксплуатации, то в виде временщиков и временщиц, под пятою которых окончательно умерла старая русская земская дума, загнанная под эту пяту, перерядившим ее в немецкий кафтан и обрившим ее, Петром, который не заметил, что с отрезанием бороды у русской земской думы, как у обстриженного библейского Самсона, пропала вся богатырская сила, — видела и бироновщину, и лестоковщину, и остермановщину, и дожила, наконец, до той поры, когда, со второй половины прошлого века, ошеломленная новизною, Русь несколько одумалась, несколько отрастила свою бороду и снова как бы начала учиться и говорить, и действовать по-русски, но только несколько иначе, по-новому.

Одним словом, Елизавета Петровна со спутницами своими, как Мавра Шепелева и другие женщины, стоит на рубеже двух половин прошлого века, всем своим прошедшим принадлежа первой, а некоторыми проявлениями своей жизни и жизни ее окружавших последней половине.

Когда умер Петр, цесаревне Елизавете не было еще и шестнадцати лет. Со смертью матери, императрицы Екатерины I, восемнадцатилетняя цесаревна осталась круглой сиротой.

На престоле был ее племянник, Петр II, юноша, которого, словно стеною, отделяли от цесаревны-тетки его фавориты.

Племянница ее, сестра императора, цесаревна Наталья Алексеевна, была также слишком молода, чтобы быть другом и поддержкой Елизаветы Петровны. Бабушка императора, царица Авдотья Федоровна, естественно должна была не любить дочери той женщины, которая, хотя и не по своей воле, отняла у нее мужа и могла считаться виновницею ее заточения и даже злополучной кончины ее сына, цесаревича Алексея. Другие царевны, дочери царя Ивана Алексеевича, были совершенно в стороне и, опять-таки, чужды Елизавете Петровне. Во всей царской семье она казалась чуждою, а когда пошел в ссылку со своими детьми Меншиков, друг ее отца, цесаревна потеряла уважение даже придворных и сановников, как личность одинокая, бессильная, не имеющая будущего.

Был у нее жених, голштинский принц Карл Август, епископ любский, но и тот умер почти одновременно с матерью цесаревны, Екатериною I.

Сестра ее, Анна Петровна, тоже, по смерти матери, оставила Россию вместе с мужем — и томилась не радостною жизнью в Киле. В этот Киль уехал и единственный друг Елизаветы Петровны, девица Мавра Шепелева: переписка с этой последней и составляла единственное ее утешение.

Одно время молодая цесаревна явилась было во всей императорской семье звездою первой величины, но это было не надолго. Остерман, умный немец, в видах политических и придворных, хотел было устроить чисто немецкий брак: он задался мыслью, что было бы полезно соединить потомство Петра Великого в одну линию, чтобы пресечением враждебных одна другой ветвей этой линии избавить Россию от опасного соперничества между собою двух родов, как оно в действительности и было, и единственным средством для этого он находил женитьбу молодого императора на своей тетке, цесаревне Елизавете Петровне. Не в меру глубокомысленная выдумка, по-видимому, удалась: молодой император страстно привязался к своей тетке-красавице, между теткой и племянником установились на некоторое время самые близкие, самые короткие отношения. Любовь императора к Елизавете Петровне сначала старались поддержать и Долгорукие, самые близкие к молодому государю лица. Они имели тут свой расчет. На юного императора оказывала большое влияние старшая его сестра Наталья Алексеевна. Так, мы видели, что когда Меншиков вздумал было женить его на своей дочери, ребенок-император на коленях умолял сестру не женить его, обещая ей даже подарить самую дорогую для него вещь — часы. Этого влияния Натальи Алексеевны боялись Долгору-

кие, всецело завладевшие волею молодого государя. Противовесом для Натальи Алексеевны они избрали сначала цесаревну Елизавету Петровну, и мальчик окончательно был побежден красотою и ласками своей тетки. Очарованный ее прелестями, Петр II, говорят, предался своей страсти со всем пылом молодости, не скрывал своей любви даже в многолюдных собраниях и, безусловно, следовал ее внушениям.

Долгорукие испугались: они не думали, что так далеко зайдет сближение племянника с теткою, и постарались удалить Елизавету Петровну, выставив для молодого государя предмет новой привязанности — красавицу Екатерину Алексеевну Долгорукую, сестру царского фаворита, и тем, как мы видели, погубили бедную девушку, сделавшуюся жертвою этих придворных комбинаций и невозможных брачных амальгамирований.

Для удаления Елизаветы Петровны Долгорукие выдумали соединить ее браком с принцем Морицем саксонским, которого домогательство на Курляндию тянулось уже лет пять.

Но и эта комбинация не удалась, и Елизавета Петровна перестала быть страшной для Долгоруких: она своим собственным легкомыслием разрушила свою силу. Петр II перестал ее любить.

Елизавета Петровна поселилась в Москве, в слободе Покровской, а потом жила некоторое время то в Переславле-Залесском, то в Александровской слободе, что ныне город Александров. Она жила до крайности просто и скромно, и, по своей живой и впечатлительной природе, вся отдавалась удовольствиям, какие только могли ей представиться. Двор ее и в Переславле-Залесском, и в Александровской слободе, и в селе Покровском составляли весьма немногие и далеко не знатные люди; она не имела никакой уже силы при дворе, не была ни для кого опасна, да при том же по своей беспечности и не любила заниматься никакими политическими делами. Она, по-видимому, оставалась совершенно довольна своею скромною долей, и, как дочь Петра, «чернорабочего царя», сама слилась с народом своею жизнью и своими привычками.

В селе Покровском цесаревна сошлась с простыми слобожанами, игрывала со слободскими девушками, водила с ними даже обыкновенные русские хороводы в летние вечера, сама певала в этих хороводах русские песни, и мало того — даже сочиняла хороводные песни в чисто народном стиле и характере.

Елизавете Петровне приписывают известную песню:

Во селе, селе Покровском,
Середь улицы большой,
Расплясались, разыгрались,
Красны девки меж собой.

Это была действительно дочь «Петра-плотника» и зато полюбил ее народ.

Но такая популярность цесаревны не могла нравиться при дворе Анны Ивановны. Несмотря на совершенную неприкосновенность цесаревны к придворным интригам, ее боялись, потому что помнили духовное завещание ее матери, Екатерины I, по которому значилось, что если император Петр II умрет бездетным, то русскую корону должна получить одна из цесаревен. В этих опасениях двор учредил за цесаревной тайный надзор, и хотя таинственные соглядатаи ничего не могли донести на цесаревну, компрометирующего ее в политическом отношении, кроме только одного хорошего, что ее любит народ и что она сочиняет и поет с девушками народные песни, однако, и этого было достаточно, чтобы перевести ее поближе ко двору, ближе к центру надзора — в Петербург.

В Петербурге цесаревне отвели особое помещение, в так называемом Смольном, которое находилось в конце Воскресенской улицы.

В Петербурге Елизавета Петровна снова начала являться при дворе, и к этому времени относятся некоторые любопытные о ней известия, сообщаемые знакомою уже нам женою английского резидента, леди Рондо.

Вот что она говорит о ее наружности:

«Принцесса Елизавета, которая, как вам известно, дочь Петра I, — красавица. Она очень бела. У нее не слишком темные волосы, большие и живые голубые глаза, прекрасные зубы и хорошенький рот. Она расположена к полноте, но очень мила, и танцует так хорошо, как я еще никогда не видывала. Она говорит по-французски, по-немецки, по-итальянски, чрезвычайно веселого характера, вообще разговаривает и обходится со всеми вежливо, но ненавидит придворные церемонии».

Любопытно при этом сравнить отзывы других современников, видевших Елизавету Петровну в разное время.

«Княжна эта, — говорит французский посланник Ла-Ви, видевший цесаревну еще в 1719 году, — прелестна, очень стройна и могла бы считаться совершенной красавицей, если б цвет ее волос не был немного рыжеват, что, впрочем, может измениться с летами. Она умна, добродушна и сострадательна».

«Великая княжна белокура и очень нежна, — говорит о ней Берхгольц, в 1721 году, — лицо у нее, как и у старшей сестры, чрезвычайно доброе и приятное, руки прекрасны».

«Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел, — говорит дюк де Лария в 1728 году. — У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза и рот, превосходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива, но фальшива, честолюбива и имеет слишком нежное сердце. Петр II был некоторое время влюблен в нее и, кажется, намеревался даже жениться, но дурное поведение принцессы скоро отдалило от нее молодого императора. Она влюбилась в человека низкого происхождения и ни от кого не скрывала своих чувств к нему. Можно думать, что она пойдет по следам своей матери».

Впоследствии, когда она была уже императрицею, фельдмаршал граф Миних так описывает ее наружность: «Императрица Елизавета обладала прекрасною наружностью и редкими душевными качествами. Она имела необыкновенно живой характер, была очень стройна и хороша собою, смела на лошади и на воде и, несмотря на свою полноту, ходила так скоро, что все вообще, а дамы в особенности, едва могли за нею поспевать».

Уже в 1744 году, когда Елизавете Петровне было тридцать пять лет, Екатерина II, в то время еще великая княжна, описывая бывший при дворе маскарад, в котором, по приказанию Елизаветы Петровны, мужчины явились в дамских костюмах, а женщины — в мужских, говорит: «Из всех дам, мужской костюм шел вполне только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дородности, она была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины я никогда в жизнь мою не видала такой прекрасной ноги, нижняя часть ноги удивительно стройна. Ее величество отлично танцевала, и во всяком наряде, мужском и женском, умела придавать всем своим движениям какую-то особенную прелесть. На нее нельзя было довольно налюбоваться, и бывало с сожалением перестаешь смотреть на нее, потому что ничего лучшего больше не увидишь».

Замечателен отзыв о ней китайского посланника, бывшего в Москве в 1733 году. Когда императрица спросила его, во время бала, которую из присутствующих дам он считает самою красивою, то он отвечал: «В звездную ночь трудно сказать, которая самая блестящая из звезд». Но, видя, что императрица ожидает от него более определенного ответа, он, поклонившись Елизавете Петровне, добавил: «Среди такого множества красивых дам, я считаю ее самою красивою, и если бы у нее не были такие большие глаза, то никто не остался

бы в живых, увидев ее». Но именно глаза-то у Елизаветы Петровны и были великолепны.

В письме к своей приятельнице леди Рондо делает меткую характеристику этой цесаревны: «Вам говорят, — пишет она, — что я часто бываю у принцессы Елизаветы и что она иногда делает мне честь своим посещением, и вы тотчас же восклицаете: умна ли она? Есть ли в ней великодушие? Как она отзывается о той, которая занимает престол? Вам кажется, что легко отвечать на все эти вопросы, но у меня нет вашей проницательности. Принцесса делает мне честь, принимая мои частые визиты, и иногда даже посылает за мной; говоря откровенно, я ее уважаю, и сердце мое чувствует к ней привязанность; со своей же стороны, она смотрит на мои посещения, как на удовольствие, а не как на церемонию. Своим приветливым и кротким обращением она нечувствительно внушает к себе любовь и уважение. В обществе она выказывает непритворную веселость и некоторый род насмешливости, которая, по-видимому, занимает весь ум ее; но в частной жизни она говорит так умно и рассуждает так основательно, что все прочее в ее поведении есть, без сомнения, не что иное, как притворство. Она, однако, кажется искреннею. Я говорю «кажется», потому что никто не может читать в ее сердце. Одним словом, она — милое создание, и хотя я нахожу, что в настоящее время престол занят достойною особою, но нельзя не желать, чтобы впоследствии он перешел к ней».

В описываемое время доходы Елизаветы Петровны, вместе с тем, что она получала со своих собственных имений, простирались до 40000 руб. в год. В регентство же Бирона ей было назначено ежегодное содержание от казны в пятьдесят тысяч рублей. Но, привыкшая к роскоши, любя наряды и удовольствия, цесаревна постоянно нуждалась в деньгах и занимала везде, где только могла достать.

Между тем, за этой любезной и всем нравившейся цесаревной постоянно укреплялась популярность, но уже более опасная, чем приобретенная ею крестьянская популярность в селе Покровском: она становилась популярною в сердце тогдашнего Петербурга, в русской гвардии, которая около этого времени начинала играть у нас роль древнеримской гвардии — давать престол тому, кому она захочет.

В это же время цесаревна должна была пережить тяжелую эпоху своей первой страсти — это любовь ее к Шубину.

Это тот Шубин, о котором, как мы видели, княжна Юсупова, впоследствии инокиня Прокла, на допросе в тайной канцелярии говорила: «Что-де был в гвардии сержант Шубин и

собою-де хорош и пригож был, и потом-де имелся у государыни-цесаревны ездовым, и как-де еще в монастырь не была я прислана, то-де оный Шубин послан в ссылку, и эти слова я говорила так, запросто, зная того Шубина, что он лицом пригож был...»

Шубин был прапорщик лейб-гвардии семеновского полка, молодой дворянин незнатного рода, но ловкий, решительный, энергический. Красота его, без сомнения, была поразительна, если мы находим не мало отзывов об этом предмете, отзывов, безусловно подтверждающих общесоставившееся мнение о красоте Шубина.

Цесаревна привязалась к нему со всем пылом страсти. Она взяла его к себе во двор, в свою маленькую свиту и сделала его ездовым. Она действительно любила его и думала соединить свою судьбу с его судьбою — она решилась на брак со своим возлюбленным.

Сохранились даже стихи, которые влюбленная цесаревна писала по вдохновению страсти, и эти стихи обращены, как водится, к предмету ее привязанности.

Одну строфу из этих стихов Бантыш-Каменский приводит в своем «Словаре достопамятных людей». Вот она:

Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно и без тебя скучно —
Легче б тя не знати, нежель так страдати
Всегда по тебе.

Шубин был любим гвардейцами, как солдатами, так и офицерами, и это еще более усиливало популярность цесаревны в войске. Через Шубина Елизавета Петровна сблизилась с гвардией больше, чем с покровскими и александровскими слобожанами и переяславскими посадскими и ямскими людьми. У гвардейцев, по старому русскому обычаю, она крестила детей, бывала на их свадьбах. Как некогда стрельцы за царевну Софью Алексеевну, гвардейцы готовы были головы сложить за свою обожаемую красавицу-цесаревну: и здесь, как и там, помогали сближению обходительность, ласковость с солдатами умной и доброй девушки. Как там Василий Васильевич Голицын, «братец свет Василька», увеличивал популярность между стрельцами Софьи Алексеевны, так здесь Шубин поднял Елизавету Петровну в глазах войска, которое еще продолжало чувствовать, что оно оставалось войском ее отца, «солдатского батюшки-царя». По русскому обычаю, всякий солдат именинник стал свободно приходить к своей цесаревне, к своей «матушке», и приносил ей, попросту, име-

нинного пирога, а ласковая цесаревна подносила ему чарку анисовки и сама выпивала за здоровье именинника. Матушка-цесаревна села в сердце каждого солдата; тут и Шубин, со своей стороны, нашептывал, что дочь-де она Петра Великого, да сидит в сиротстве, и солдатики уже проговаривались, что Петровой-де дочери «не сиротой плакаться», а сидеть бы ей на отцовском престоле.

Такое состояние умов в гвардии не могло не сделаться известным двору, и Шубин был схвачен. Вместо брачного венца, которым он мечтал завершить свою любовь к цесаревне, на смелого гвардейца надели оковы и посадили в «каменный мешок» — особый род тесного одиночного заключения, в котором нельзя ни лечь, ни сесть.

Шубина, мечтавшего быть женихом цесаревны, ждала Камчатка. Мало того — его ждала и невеста: в поругание над дерзким мечтателем, его насильно женили на камчадалке.

Шубин лишился даже своего имени: когда его ссылали, то имя его не было объявлено, ради большей тайны, ему же самому запрещено было под страхом смертной казни называть себя кому бы то ни было.

Первая любовь цесаревны была потеряна для нее навеки. Но молодая девушка естественно должна была искать привязанности, утешения в новом чувстве — и привязанность эта была перенесена на Разумовского, никому дотоле неведомого придворного певчего.

Алексей Григорьевич Разумовский был одним из тех баловней счастья, которых умело создать, кажется, одно лишь XVIII столетие: Екатерина I, Монсы, Меншиковы, Потемкин, Ломоносов, Разумовский — это какие-то волшебные лица, из неведомых сел и жалких избушек восходившие до престола, до обладания почти целой Россией, если не в правительственных, то в других сферах. Если когда-либо был в Греции век героический, век полубогов, то такой век был и в России: этот век иначе нельзя охарактеризовать как веком поразительных контрастов.

Разумовский был ровесник цесаревны Елизаветы Петровны. Родился он где-то в глухом уголке черниговской губернии, в селе Лемешах, в десяти верстах от Козельца, и был сын простого малороссийского казака Грицька Розума. Родное сельцо Розума состояло из нескольких казацких хаток и нескольких десятков жителей: тут-то рос будущий граф Разумовский, будущая звезда русских сановников, будущий супруг императрицы Елизаветы Петровны и отец злополучной княжны Августы Таракановой.

У маленького Алексея Розума был хороший голос — отличительная черта малороссов до настоящего времени, и будущий граф пел на клиросе приходской церкви, как это до сих пор водится в Малороссии, где все, могущее петь, поет или на улице, или в церкви вместе с причетниками.

В то время водилось обыкновение — для укомплектования придворного певческого хора посылать за голосами в Малороссию: так из Малороссии вывезен был уже известный нам певчий Чайка, о смерти которого в Киле извещала, в одном из своих писем, цесаревну Елизавету Петровну любимица ее «Маврутка» Шепелева. Так вывезен был из Малороссии и Алексей Розум, которого случайно нашел в Лемешах полковник Вишневский, посланный из Петербурга для набора певчих: голос Алексея Розума обратил на себя внимание Вишневского, и двадцатилетний казак был взят ко двору. Елизавета Петровна, может быть, когда-то замечавшая и Чайку, умершего в Киле (не даром же о смерти его извещала цесаревну ее ближайшая наперсница), обратила свое внимание и на молодого Розума. Цесаревна постаралась перевести его в свой маленький штат и переименовала его из Розума — в Разумовского.

В штате Елизаветы Петровны он и оставался до самого восшествия ее на престол.

Мы уже знаем, как при помощи обожавшей цесаревну гвардии и некоторых из ее друзей совершалось воцарение дочери Петра Великого.

Но обратимся прежде к ее личным делам, не как государыни, а как женщины: для характеристики личности дела эти гораздо важнее и ценнее, чем дела государственные, инициатива которых не всегда принадлежит царственным лицам.

Елизавета Петровна, сделавшись императрицей, не забыла тех, кого она прежде любила.

Дарью Егоровну Шепелеву, вышедшую замуж за Шувалова, она сделала своею первою статс-дамою.

Вспомнила она и о своей первой молодой привязанности — о ссыльном Шубине. Императрица приказала немедленно возвратить его из Камчатки. Но сосланного без имени и с запретом под угрозою смерти произносить его имя — не легко было найти в далекой Камчатке. Приходилось разыскивать безыменного или переименованного арестанта, может быть уже умершего.

Около двух лет искали несчастного — и нашли только в 1742 году. Посланный для этого офицер искрестил всю Камчатку, заглядывал во все далекие юрты и жилые захолустья,

везде спрашивая ссыльного Шубина; но такого нигде не было, по крайней мере, никто не мог назвать такого ссыльного и никто на имя Шубина не отзывался. В одной юрте посланный тоже расспрашивал арестантов, не слыхал ли кто о Шубине, никто и на это не дал ему ответа — о Шубине не слыхали. Разговаривая с арестантами, посланный как-то упомянул имя императрицы Елизаветы Петровны.

— Разве Елизавета царствует? — спросил один из арестантов.

— Да вот уже другой год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол, — отвечал офицер.

— Но чем вы удостоверите в истине? — спросил арестант.

Офицер показал свою подорожную и другие бумаги, из которых видно было несомненно, что царствует Елизавета Петровна.

— В таком случае Шубин, которого вы отыскиваете, перед вами, — сказал арестант.

Это и был Шубин.

После долгой ссылки он прибыл в Петербург. Государыня, «за невинное претерпение» Шубиным долголетних мучений одной из самых изысканных сибирских ссылок, произвела его прямо в генерал-майоры и лейб-гвардии семеновского полка в майоры, да, кроме того, пожаловала ему Александровскую ленту. Затем Шубин пожалован был богатыми вотчинами, и в том числе ему дали село Работки, на Волге, в макарьевском уезде нижегородской губернии, где теперь часто пристают пароходы, постоянно снующие по Волге, и где до сих пор можно услышать от местных жителей предание об императрице Елизавете Петровне, о любви ее к Шубину и о благородном характере этого последнего.

Этот первый любимец Елизаветы Петровны недолго, впрочем, оставался при дворе, где его место уже занято было более чем он счастливым соперником — Разумовским. Притом же Камчатка и физически и морально добила Шубина: он весь погрузился в набожность, дошедшую до аскетизма, и в 1744 году просил увольнения от службы. Императрица согласилась на удовлетворение его просьбы. Прощаясь с человеком, который когда-то был ей очень дорог, она подарила ему драгоценный образ Спасителя и часть ризы Господней. Священные сокровища эти до сих пор хранятся в Работках в местной приходской церкви, как историческая память о дочери Петра Великого.

Но обратимся к отношениям, существовавшим между Елизаветой Петровной и Разумовским.

Выше мы заметили, что обстоятельства личной, индивидуальной жизни исторических деятелей бывают не менее важны, особенно в отношении биографическом, государственной и общественной их деятельности, деятельности, которая не всегда служит выражением личной самодеятельности, тем более царственных особ, а лишь отражает собою общий ход дел, общие потребности страны и времени или же коллективную деятельность правительства и общества.

Отчасти этого мнения мы держимся и в данном случае.

Вступив на престол 25 ноября 1741 года, Елизавета Петровна еще более приблизила к себе своего любимца Разумовского, сделала его действительным камергером, затем обер-егермейстером, а при торжестве своей коронации, 25 апреля 1742 года, возложила на него Андреевскую ленту.

Счастье, так сказать, хлынуло потоком на любимца императрицы: викарий римской империи, курфюрст саксонский, возвел Разумовского в графы римской империи, а Елизавета Петровна, не желая уступить в щедрости курфюрсту, пожаловала своему фавориту графское достоинство Российской империи.

Это событие совершилось в многознаменательный день для Разумовского и для самой императрицы: в день пожалования Разумовского графом Российской империи, 15 июня 1744 года, Елизавета Петровна тайно обвенчалась со своим любимцем в Москве в церкви Воскресения в Барашах, что на Покровской улице.

Венчанье совершено было формально, и графу Разумовскому вручены были документы, свидетельствовавшие о браке его с коронованною особою: документы эти он хранил как святыню, пока уже престарелым стариком не пожертвовал этой великой для него памятью, чтобы имя его царственной супруги осталось неприкосновенным перед людским судом.

После брака императрица пожаловала своего супруга званием генерал-фельдмаршала, несмотря на то, что он не был ни в одном походе.

От этого-то брака и родилась принцесса Августа, известная под именем княжны Таракановой, а умершая под именем инокини Досифеи.

Первое время после брака граф Разумовский жил в одном дворце с императрицей, а потом для него выстроен был особый дворец, известный ныне под именем Аничкова.

Казацкая хатка в селе Лемешах и царский дворец в Петербурге — все это отдает чем-то легендарным, мифическим.

Но бывший казачонок и лемешкинский певчий умел держать себя на новой высоте своего положения: хотя всем были

известны отношения его к императрице, однако, он имел столько такта и деликатности, что старался скрывать это и спасать от несправедливых толков имя своей царственной супруги. Честный и мягкий по природе, он не загордился, не забылся на своей недосягаемой высоте, а был со всеми ласков, услужлив, предупредителен, не то что, например, Бирон. Со своими громадными богатствами он постоянно делал добро и тем вызывал новую и более задушевную привязанность подданных к императрице, перед которой он был первый ходатай за всех бедных, несчастных и притесняемых. Если он узнавал, что кто-нибудь из достойных участия, но совестливых людей нуждался в деньгах, он приглашал его к себе на банк и с умыслом проигрывал ему сумму, в которой тот нуждался или которая могла спасти несчастного.

Но излишняя страсть к вину и хмельное казацкое поведение несколько охладили к нему привязанность императрицы.

Любимцем Елизаветы Петровны, впрочем, весьма на короткое время, сделался Никита Афанасьевич Бекетов. Но это был метеор, который скоро исчез из глаз и из памяти Елизаветы Петровны.

В 1750 году Бекетов был еще кадетом сухопутного корпуса. Он был очень красив и ловок. Начальник кадетского корпуса, князь Юсупов, завел там театральные представления, и кадеты разыгрывали трагедии Вольтера и Сумарокова, а всех больше пленял собою кадет Бекетов. Известный актер Волков, основатель русского театра, говорил однажды знаменитому Н. А. Дмитревскому — трагику: «Увидя Бекетова в роли Синава, я пришел в такое восхищение, что не знал, где я был — на земле или на небесах; тут во мне родилась мысль завести свой театр в Ярославле». Это и был первый русский театр. Елизавета Петровна, узнав о достоинстве кадетской труппы, приказала играть актерам при дворе, и так их полюбила, что театр из дворцовой залы переведен был во внутренние ее покои. Императрица забавлялась костюмировкой актеров, заказывала им великолепные наряды и убирала их своими драгоценными камнями. Однажды она увидела на сцене спящего Бекетова, и так им пленилась, что в ту же минуту приказала играть музыке, не опуская занавеса, а после спектакля пожаловала молодого кадета сержантом. Так рассказывает Бантыш-Каменский. С этого времени началось счастье для Бекетова: современники говорили, что ему «счастье во сне пришло». Начались великие милости императрицы: вне театра на Бекетове появились драгоценные бриллиантовые застежки, перстни, часы, дорогие кружева и все необходимое для ком-

форта. Вскоре получил он чин подпоручика, произведен в армию премьер-майором, назначен «генеральс-адъютантом» к графу Разумовскому и немедленно потом произведен в полковники, несмотря на то, что только шесть месяцев назад был кадетом.

Разумовский, впрочем, не боялся потерять милость императрицы, не ревновал ее ни к кому, а напротив, сам приставил к Бекетову в помощь И. П. Елагина, жена которого при императрице была одною из самых доверенных камер-фрау. Она-то и доставляла двадцатидвухлетнему Бекетову деньги на наряды и прочее. При дворе со дня на день ожидали падения фаворита императрицы, всесильного Ив. Ив. Шувалова. Разумовский покровительствовал Бекетову особенно для обессиления графов Шуваловых, с коими был не в ладах, но Шуваловы перехитрили: П. Ив. Шувалов, вкравшись в доверие Бекетова, дал ему притиранье, которое, вместо белизны, навело угри и сыпь на лицо его. Тогда жена графа, известная нам Мавра Егоровна, урожденная Шепелева, пользовавшаяся особою любовью императрицы еще до вступления ее на престол, посоветовала государыне удалить Бекетова, как человека подозрительной нравственности, развратного и зараженного, — и Бекетов удалился. Императрица, уехав на несколько дней из Царского Села в Петергоф, приказала Бекетову оставаться в Царском Селе под предлогом болезни. Он, пораженный горем, с отчаяния впал в горячку и едва не лишился жизни. По выздоровлении он снова явился ко двору, но прежней милости уже не было, и он должен был удалиться от двора навсегда.

Как бы то ни было, но охлаждение императрицы к графу Разумовскому не лишило его окончательно расположения царственной супруги, и Елизавета Петровна до конца своей жизни сохранила к нему должную благосклонность.

Похоронив впоследствии свою коронованную супругу и состарившись, граф Разумовский глубоко чтил ее память.

Рассказывают, что вскоре по вступлении на престол Екатерины II Григорий Григорьевич Орлов, стремившийся занять положение, подобное положению Разумовского, сказал императрице, что брак Елизаветы, о котором пишут иностранцы, действительно был совершен, и у Разумовского есть письменные на то доказательства. На другой день Екатерина велела графу Воронцову написать указ о даровании Разумовскому, как супругу покойной императрицы, титула императорского высочества и проект указа показать Разумовскому, но попросить его, чтоб он предварительно показал бумаги, удостоверяющие в действительности события.

Такое приказание, рассказывал впоследствии граф С. С. Уваров, Воронцов слушал с величайшим удивлением, и на лице его изображалась готовность высказать свое мнение; но Екатерина, как бы не замечая этого, подтвердила серьезно приказание и, поклонившись благосклонно, со свойственной ей улыбкою благоволения, вышла, оставя Воронцова в совершенном недоумении. Он, видя, что ему остается только исполнить волю императрицы, поехал к себе, написал проект указа и отправился с ним к Разумовскому, которого застал сидящим в креслах у горящего камина и читающим священное писание.

После взаимных приветствий, между разговором, Воронцов объявил Разумовскому истинную причину своего приезда; последний потребовал проект указа, пробежал его глазами, встал тихо со своих кресел, медленно подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром и выложенный перламутром, отыскал в комоде ключ, отпер им ларец и из потаенного ящика вынул бумаги, обвитые в розовый атлас, развернул их, атлас спрятал обратно в ящик, а бумаги начал читать с благоговейным молчанием и вниманием.

Наконец, прочитав бумаги, поцеловал их, возвел глаза, орошенные слезами, к образам, перекрестился и, возвратясь с приметным волнением души к камину, у которого оставался граф Воронцов, бросил сверток в огонь, опустился в кресла и, помолчав еще несколько, сказал:

«Я не был ничем более, как верным рабом ее величества, покойной императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями выше заслуг моих. Никогда не забывал я, из какой доли и на какую степень возведен был десницею ее. Обожал ее, как сердолюбивую мать миллионов народа и примерную христианку, и никогда не дерзнул самою мыслию сближаться с ее царственным величием. Стократ смиряюсь, воспоминая прошедшее, живу в будущем, его же не прейдем, в молитвах к Вседержителю. Мысленно лобызаю державные руки ныне царствующей монархини, под скипетром коей безмятежно в остальных днях жизни вкушаю дары благодеяний, излиянных на меня от престола. Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, поверьте, граф, что я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархини, моей благодетельницы. Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов, доложите обо всем этом всемилостивейшей государыне, да продлит милости свои на меня, старца, не желающего никаких земных почестей. Прощайте, ваше сиятельство! Да останется все происшедшее между нами

в тайне! Пусть люди говорят, что угодно, пусть дерзновенные простирают надежды к мнимым величиям, но мы не должны быть причиною их толков.»

От Разумовского Воронцов поехал прямо к государыне и донес ей с подробностью об исполнении порученного ему. Императрица, выслушав, взглянула на Воронцова проницательно, подала руку, которую он поцеловал с чувством преданности, и вымолвила с важностью:

— Мы друг друга понимаем: тайного брака не существовало, хотя бы то для усыпления боязливой совести. Шепот о сем всегда был для меня противен. Почтенный старик предупредил меня, но я ожидала этого от свойственного малороссам самоотвержения.

Рассказ, конечно, окрашен тоном старого романтизма, но он соткан на исторической основе.

До сих пор мы имели в виду, главным образом, осветить те стороны жизни и характера Елизаветы Петровны, в которых она проявлялась как женщина, безотносительно к ее исторической и политической миссии.

Но судьба предназначала ей стать во главе русского народа, и потому историческая и политическая миссия этого последнего должна была до известной степени найти в Елизавете Петровне своего выразителя и руководителя.

С самого детства, еще при жизни отца, маленькую цесаревну готовили было к иному назначению: Петр не мог тогда еще предполагать, что у него не останется в живых ни старшего сына, царевича Алексея Петровича, на которого, впрочем, он мало возлагал надежд, ни другого, любимейшего им сына, от Екатерины Алексеевны, балованного «Пиотрушки» — великого князя Петра Петровича, которого ему тоже пришлось похоронить, ни даже старшей его дочери Анны (Анны Петровны), и что все его потомство сведется на одну младшую дочь, цесаревну Елизавету Петровну, которая и должна будет принять в свои руки отцовское наследие.

На Елизавету Петровну смотрели, как на будущую невесту чужого государя, и потому ее готовили приспособить к этой роли.

Петр думал отдать свою младшую дочь за французского короля Людовика XV, за того самого «каралищу», за ту «дитю весьма изрядную образом и станом», которого русский великан, во время посещения Парижа, носил на руках.

К этому велось и образование маленькой цесаревны. Современники говорят о ее матери, Екатерине Алексеевне, что, следя за воспитанием Елизаветы, она «только и просит о ста-

рании к усовершенствованию себя во французском языке, и что есть важные причины, чтобы она изучила исключительно этот язык, а не какой другой».

Мы знаем эти причины. Мы знаем также, что Петру не привелось выдать своей дочери за французского короля.

Впоследствии, когда Петра уже не было в живых, не осталось и ни одного из его сыновей, и когда русские сановники не могли не задумываться над вопросом, кому же перейдет в руки корона Петра Великого и не падет ли выбор на которую-либо из двух цесаревен, Девиер делает такую характеристику обеих дочерей Петра Великого по отношению к тому, какими бы они могли бы быть как государыни: «Цесаревна Анна Петровна умильна собою и приемна, и умна, да и государыня Елизавета Петровна изрядная, только сердитее...»

Цесаревна Елизавета Петровна «сердитее» своей старшей сестры — это означало, что она была не в буквальном смысле «сердита», а только живее и бойче, чем мягкая и недолговечная Анна Петровна.

Затем, по смерти этой «умильной и приемной» Анны Петровны, из прямых потомков Петра остается одна только «сердитая» Елизавета: мать ее умирает; на престол вступает ее племянник, Петр II, и тоже скоро умирает; престол переходит в руки другой линии — и на Елизавету Петровну начинают смотреть, как на претендента к наследию Петра Великого, как уже на политическую силу, которая стала притом выказывать и свою индивидуальность, и свой характер.

Вот почему в 1731 году императрица Анна Иоанновна приказывает Миниху ближайшим образом наблюдать за образом жизни и поведением Елизаветы Петровны, «понеже-де она, государыня, по ночам ездит и народ к ней кричит, то чтоб он проведал, кто к ней в дом ездит».

«Народ к ней кричит» — это значило, что на нее уже возлагаются надежды, и возлагают их, преимущественно, народ, солдаты, гвардия, одним словом, все то, что считало себя русским, национальным и что не могло не видеть преобладания над собою иноземного элемента. В Елизавете Петровне видели представительницу русского элемента, национального даже, более — чего-то старого, допетровского, когда иноземного духу на Руси еще и в заводе не было. Русскому человеку могло казаться, что при Елизавете Петровне возможно было совершиться никогда не совершающемуся в истории чуду — это возвращение к старому, обращение реки вверх против течения, возврат к допетровскому времени, к прошедшему, как известно, никогда, ни для отдельных человеческих личностей,

ни для народов, ни для государств — никогда и нигде не повторяющемуся.

А эти мнимые признаки возврата к прежнему в Елизавете Петровне русский человек мог видеть, как ему казалось, во многом и во всем.

Елизавета Петровна любит русский народ и с русскими девушками поет хороводные песни.

Елизавета Петровна крестит у русских солдат детей, и русский солдатик несет цесаревне именинного пирога, цесаревна потчует его анисовкой, и сама выпивает за здоровье солдатика.

Елизавета Петровна любит русскую церковную службу, церковное пение, и сама поет не хуже самого блистательного в хоре дисканта из малороссиян.

Так уже в 1733—1734 годах цесаревна Елизавета Петровна оказывает внимание певчему Якову Тарасевичу — и об этом доводят до сведения двора.

В 1736 году она, при посредстве этого Тарасевича, заводит переписку с малороссийским бунчуковым товарищем Андреем Горленком — и Горленко берется к допросу. Из допроса оказывается, что цесаревна, переданной Горленке чрез Тарасевича записочкой, просит его приискать для ее хора двух «альтистов», и записочку свою подписывает так: «Первый дишкантист, о котором вы сами знаете». Горленка вновь допрашивают, что это значит, и узнают, что цесаревна любит церковное пение. Горленко прибавляет: «Слыхал-де от певчих ее высочества, что изволит она, для забавы, сама петь первым дишкантом».

Оказывая предпочтительное расположение к русскому обычаю, к русской старине и обрядности, цесаревна естественно становится в разлад с господствующим направлением, которое, со времени ее отца и особенно со смертью его, принимает определенную форму направления чисто иноземного, немецкого; а так как во главе тогдашнего правительства преобладание клонилось на сторону немцев, то само собою разумеется, что цесаревна становилась в противоречие и с немцами, и с господствующею в правительстве партиею. Это поняли представители иностранных кабинетов в Петербурге, преимущественно посланники французский и шведский, и начали действовать в духе направления Елизаветы Петровны, в надежде, что она рано ли, поздно ли, займет престол отца.

На этих комбинациях Швеция строила свои собственные выгоды: показывая тайное расположение цесаревне и давая

ей понять, что при помощи Швеции она может занять по праву принадлежащий ей престол, шведский посланник в то же время ставил условием помощи со стороны Швеции — возвращение ей некоторых земель, взятых у нее Россиею в последние войны России и Швеции. Хотя цесаревна и не отклоняла от себя предлагаемой ей помощи, однако, дала почувствовать шведскому посланнику, что на уступку Швеции русских земель она никогда не согласится, что это было бы равносильно потере ей всякой популярности в русском народе, что русский народ никогда не уступит Швеции того, что принадлежит ему и по историческому, и по завоевательному праву.

Как бы то ни было, Швеция объявила России войну, и в манифесте по этому случаю, между прочим, оглашала, что начинает эту войну как в видах своих государственных интересов, так и для освобождения будто бы русского народа от «несносного ига и жестокостей чужеземцев», именно немцев.

Как ни великодушным казалось это со стороны Швеции, однако, война не принесла шведам существенной пользы, в России же она несколько подорвала и без того слабую популярность тогдашнего немецкого правительства. Со своей стороны, Елизавета Петровна помогала падению этой популярности, скорее кажущейся тени ее, тем, что тайно переводила манифест Швеции о войне и тайно от правительства распространяла его между народом и войском.

Но едва цесаревна, в памятную ночь 25 ноября 1741 года, сказала солдатам, чтобы они шли помогать ей, «дочери Петра», занять прародительский престол, солдаты прямо высказались, что за нее, матушку свою цесаревну, они готовы и в огонь и в воду, и сейчас пойдут избивать ее врагов.

Хотя цесаревна и запретила проливать кровь при низвержении существовавшего правительства, и крови действительно не было пролито ни одной капли, однако, и восшествием Елизаветы на престол ясно обозначалось, что немецкому владычеству в России наступил конец, само собою разумеется, на данное время.

Недовольный бироновщиною и остермановщиною народ громко кричал на улицах, что он перебьет всех немцев, и хотя поборников русских начал, показавших неумеренное усердие, и остановили, однако, немцы сами поняли, что на время они должны были сойти со сцены, и они сошли.

Вообще, с восшествием на престол Елизаветы Петровны замечается поворот к лучшему не только во всех делах пра-

вительственных, но и самые формы, в которых проявлялись отношения правительства к стране, становятся много мягче, много человечнее.

Правда, старое время оставило в наследство новому не мало таких недостатков, которые не легко исправляются, однако, во всем строе государственной, законодательной и общественной деятельности замечается меньше жестокости и меньше произвола там, где произвол господствовал вместо закона.

Казни уже перестают быть таким обыкновенным делом, каким они казались прежде. Остаются еще ссылки, плети, но они вызываются смутным положением дел, как продуктом вчерашнего дня, брожением умов, не улегшимися еще политическими страстями.

Первые ссылки в царствование Елизаветы Петровны — это наказание тех из верховников-сановников, которые оказались прямыми врагами цесаревны и искали ее гибели: Остерман, Головкин, Левенвольде, — вот кто пошел в ссылку.

Вторые ссылки в ее царствование — это по заговору Лопухиных, о которых будет сказано в своем месте.

Затем еще был обнаружен заговор в 1742 году — и заговор этот вызвал новые ссылки. В заговоре против Елизаветы Петровны оказались замешанными камер-лакей Турчанинов, преображенского полка прапорщик Петр Квашнин и измайловского полка сержант Иван Сновидов.

«Принц-де Иоанн был настоящий наследник, а государыня-де императрица Елизавета Петровна не наследница, а сделала-де ее наследницею лейб-компания за чарку водки. Смотрите-де, братцы, как у нас в России благополучие состоит не постоянное, и весьма плохо и непорядочно, а не так, как при третьем Иоанне было», — вот что проповедовал своим товарищам Турчанинов.

Возврат к прежнему, немецкому правительству — руководящая нить этого последнего заговора.

Оттого старая немецкая партия и не любила ни Елизаветы Петровны, ни гвардии, помогавшей ей вступить на престол. Оттого эту гвардию, этих лейб-компанейцев недовольные и называли «триста-канальями».

Но это недовольство людей партии было бессильно ослабить те симпатии, какие встречала императрица в массе населения и в духовенстве. Последнее видело в ней ревнительницу церкви и ее обрядов, а народ помнил только, что она родная дочь Петра и что солдаты называют ее «матушкой».

Шаховской рассказывает случай, отчасти характеризирующий дух правления этой императрицы.

Увидев однажды Шаховского, государыня сказала ему: «Чего-де синод смотрит? Я-де была вчерась на освящении новосделанной при полку конной гвардии церкви, в которой-де на иконостасе в том месте, где по приличности надлежало быть живо изображенным ангелам, поставлены резные, на подобие купидонов, болваны».

Шаховской, отчасти выгораживая себя, отчасти объясняя истинное положение дел в синоде, рассказал императрице одно дело, в котором выказались небрежность и неосновательность синодальных распоряжений.

Дело состояло в том, что крестьяне одного села обвиняли уличенного ими монаха в прямом нарушении монашеского обета. Доказательства были налицо. Но синод, под влиянием Разумовского, всегда оказывавшего сильное покровительство своим малороссиянам, духовенству и монахам в особенности, наказал крестьян за донос, а монаха оправдал.

Императрица была сильно возмущена этим рассказом.

— Боже мой! — говорила она. — Можно ль было мне подумать, чтоб меня так обманывать отважились? Весьма теперь о том сожалею, да уж пособить нечем!

Самое крупное обвинение, которое ей делают иностранцы, это то, что в последние годы своего царствования Елизавета Петровна мало занималась государственными делами. Иностранцы по этому случаю, отчасти, конечно, из неудовольствия на императрицу за отнятие у них преобладания в России, рассказывали о ней множество таких вещей, которые без строгой критики едва ли могут быть принимаемы на веру. Как бы то ни было, иностранные писатели утверждают, что, усыпляемая Шуваловыми и их клевретами, императрица окончательно запустила дела, и часто случалось, что очень важные государственные бумаги оставались не подписанными по целым месяцам.

Но сколько бы ни было обвинений со стороны противников царствования Елизаветы Петровны, на обвинениях этих нельзя основывать оценки всей деятельности этой государыни, тем более, что историческая оценка XVIII века до сих пор еще не вполне возможна со строго научной точки зрения.

При всем том царствование Елизаветы Петровны представляет не мало явлений, которые навсегда останутся лучшими памятниками нашего прошлого.

В числе этих исторических памятников на первом плане стоит основание ею первого русского университета: это —

университет в Москве. До Елизаветы Петровны Россия не имела высшего учебного заведения, тогда как европейские университеты считали свою жизнь многими столетиями.

Гимназий в России также не было до Елизаветы Петровны — и она же основала первую у нас гимназию: это — Казанская гимназия.

До Елизаветы Петровны не было в России и театра: кадетские спектакли послужили началом того, что императрица обратила на них внимание, и в России создался театр, а через несколько лет у нас, после Сумарокова, был уже Фонвизин.

До Елизаветы Петровны в России не было академии художеств, — и она повелела быть академии. По мнению императрицы, академия должна была дать России славу и принести «великие пользы казенным и партикулярным работам, за которые иностранные посредственного знания художники, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве, который бы умел что делать».

И вот через несколько лет русские художники уже зарабатывают себе почетное имя в Европе и картины их до настоящего времени имеют цену классических произведений, как портреты работы Левицкого и других.

При Елизавете Петровне явилась русская литература в том смысле, в каком это понятие принято во всей Европе: при Елизавете Петровне выступили Ломоносов, Сумароков, Княжнин, Херасков, при Елизавете же Петровне в первый раз выступают на литературное поприще женщины, как деятели, как писатели, что мы и увидим ниже.

Нельзя не обратить при этом внимания на одно весьма важное обстоятельство для правильной оценки исторического значения царствования Елизаветы Петровны.

Известно, какою громадною славой пользовалось в Европе имя Екатерины II, которая и своею личною деятельностью, и своею литературною славою, и перепискою с такими знаменитостями как Вольтер и Даламбер, и, наконец, своими блистательными победами над непобедимыми дотоле турками высоко вознесла на западе русское имя. Но имя Екатерины II осталось неизвестным у южных славян. Напротив, там прославляют имя Елизаветы, и сербы до сих пор поют о ней в своих былинах, славя ее под именем «госпы Елисавки, московской кралицы».

Одна былина, например, говорит, что «московская кралица госпа Елисавка» писала письмо турецкому царю султан-Сулейману о том, что у него находится ее очевина

(наследие) — золотая корона царя Симеона, одежда святого Иоанна, крестное знамя царя Константина, золотой посох (штака) святого отца Саввы, острая сабля сильного Стефана и икона отца Димитрия. Госпа Елисавка просила, чтоб султан прислал ей ее очевину, а она ему за это, в воздарье, даст мир на тридцать лет, пшеницы для продовольствия войска на девять лет и, кроме того, золотую џамию. А если султан не отдаст ей очевины, то пусть собирает войско и идет к Киеву:

Войску купи, царе Сулеймане,
Войску купи, айде на Киево,
Да юначки мейдан поделимо,
И сабляма землю размеримо:
Я ль возвратить мою очевину,
Я ль московску саблю отпасати.

«На это ей турецкий султан отвечал врло лепо и смирно, что ее очевина не у него, а в Крыму у царя Татарана. Тогда госпа Елисавка пишет царю Татарану и просит его прислать ей очевину, а она ему за то обещает продолжительный мир, много пшеницы и великолепную џамию. Но царь Татаран отвечал ей врло грубо и непристойно, говоря, что ее очевина действительно у него, но что он ей ее не отдаст, а пойдет на нее с войском и Петербург с землей сравняет (Петрибора с землем поравнити). Тогда началась война, и госпа Елисавка овладела Крымом и добыла свою очевину».

В другой высоко-поэтической былине изображается гибель турецкого войска, уничтоженного «госпою Елисавкою» под Озиею (Азов).

«Полетели, — говорит былина, — два чорных ворона от Озии из-под Московии, кровавые у них крылья до самых плеч и клювы у них кровавые до самых глаз. Перелетели вороны три-четыре земли — Каравланску и Карабогданску, Скендерию и Урумеилию, отлетели на Герцеговину, долетели до ровного Загорья, вьются кругами по небу, ни на чей двор не садятся, чтоб хоть немножко отдохнуть, садятся лишь на башню Ченгийч Бечир-паши. Сели вороны, оба закаркали и усталые крылья долу опустили, отлетело от них по кровавому перу, упали перья на балкон и ветер принес их в комнату кади, а когда кади увидала их, вышла к белой башне, подняла глаза на белую башню, да как увидала двух чорных воронов, так и стала с ними разговаривать: «Богом братья, птицы-вороны! Чудные на вас приметы — кровавые у вас крылья до плеч и кровавые у вас клювы до глаз: чьей это вы крови напились? Откуда вы так быстро летели? Не из далекого ли вы краю, от Озии из-под Московии? Видели ли вы там силь-

ное турецкое войско? Видели ли вы Бечир-пашу моего, и его брата Хасан-бега, и моего сына Осман-бега, и сыновца Смаил-агу, и нашего Омер-пеливана, и старого Дрнду знаменоносца, и остальных турок начальников? Все ли здорово и весело войско? Играют ли кони под молодцами? Вьются ли по воздуху знамена? Люты ли турки, словно волки? Впереди ли войска мой сераскир-паша? Высылает ли отряды в горы? Приводят ли ему пленных? Много ли у него русских пленных? И много ли около него тонких рабынь? Плачут ли пленные русские? Играют ли ему русские полонянки? Что для меня добыл мой паша? Ведет ли он мне рабынь московских, чтобы мне верно послужили? Получили ли турки добычу? Отдали ли старшинство паше моему? Идет ли ко мне мой Бечир-паша? Когда придет он — когда мне встречать его?»

Говорят ей два ворона чорных: «Поссетримо, прекрасная пашеница! Рады бы мы тебе добро сказать, только мы сами мало добра видели. Расскажем тебе, что мы видели: когда мы были около Озии, то все видели, о чем ты нас спрашиваешь; было здорово и весело войско, и играли кони под молодцами, и веяли по воздуху знамена и лютовали турки словно волки, и твой паша-сераскир впереди войска, и посылал он отряды в горы, и приводили ему пленных, довольно было у него русских пленников и около него тонких рабынь, и плакали русские пленные, и играли пленные рабыни в неволе словно по доброй воле, у твоего паши до семи рабынь, и у твоего сына Осман-бега три тонких рабыни, и у других богатырей у кого по две, у кого по четыре... Все это твой паша привел бы к тебе, да не дал ему дьявол, потому что пошел он дальше в Россию. Когда его увидела московская кралица, по имени госпа Елисавка, то подкопала подкопы под турок и на подкопы турок заманила, и когда огнем взорвали подкопы, то взлетели под небеса турки — на третий день уж с неба попадали!» Говорит им Бечир-пашеница: «О, два ворона, горе великое!» — «Милая кади! это еще не горе, а что мы тебе скажем, так это горе: что осталось от турецкого войска, всех их настигла московская кралица госпа Елисавка: шестьсот тысяч всадников послала она на них, и погибло все турецкое войско — погибло восемь малых пашей и из Боснии восемнадцать бегов!» Говорит Бечир-пашеница: «О, два ворона! великое горе!» — «Милая кади! это еще не горе, а что мы тебе скажем, так это горе: твоего пашу живого ухватили и твоего сына Осман-бега, и отвели их в свою орду», и т. д.

«Когда услыхала это Бечир-пашеница, от горя упала на черную землю — на землю упала и уж больше не вставала».

Такими грандиозными очертаниями рисует южный народ образ Елизаветы Петровны.

Имена других русских исторических личностей южному народу неизвестны.

Елизавета Петровна царствовала ровно двадцать лет.

17 ноября 1761 года она заболела, потом, перемогаясь несколько времени, снова слегла 12 декабря, и уж больше не вставала до 25 декабря: это день ее кончины.

Один из писателей восемнадцатого века так характеризует значение этой государыни:

«По кончине ее открылась любовь к сей монархине и сожаление. Всякий дом проливал по лишении ее слезы, и те плакали неутешно, кои ее не видали никогда — толико была любима в своем народе!»

Действительно, Елизавета Петровна служила как бы точкою отправления для будущего подъема народного духа и развития народной самодеятельности, литературы и науки. Время этого общественного духовного подъема прошло также и через царствование Екатерины II, при которой, однако, с восьмидесятых годов и началась реакция этому подъему, а там — застой.

Это-то время подъема общественного духа, время очень непродолжительное, дает нам не мало женских имен, которые оставили по себе историческое бессмертие.

II. НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА ЛОПУХИНА

(урожденная Балк)

Не мало прошло уже перед нами женских личностей, и, к сожалению, почти ни об одной из них нельзя сказать, чтобы жизни ее не коснулись те поразительные превратности судьбы, где высшая степень благополучия и славы сменяется глубоким несчастием и страданиями, богатые палаты — сырою тюрьмою, монастырскою кельею или занесенною снегом бедною сибирскою лачугою, ласковые и вежливые речи придворных кавалеров — допросами следователей, нежные объятия родных и дорогих сердцу — грубым прикосновением палачей и тюремных солдат. Почти ни одной из выведенных нами доселе женщин не миновала ссылка или иная опала, за исключением весьма немногих.

Но таково было время и таковы были люди.

Не была исключением между людьми своего века и Наталья Лопухина, которой привелось жить тогда, когда всем жилось или не в меру хорошо, или не в меру худо.

Наталья Лопухина, как мы видели выше, была племянница знаменитой красавицы немецкой слободы Анны Монс, родная сестра которой, Матрена Монс, была замужем за генералом Балком, и к которым молодой царь Петр питал особое благоволение.

Жизнь Натальи несколькими днями коснулась еще XVII столетия, потому что рождение ее относится к 11 ноября 1699 года.

Родившаяся в богатом и приближенном к Петру семействе, Наталья получила отличное, как принято выражаться, по своему времени образование, потому что Петр, силившийся высоко поставить в своем государстве знамя образованности и сам преклонявшийся пред знанием, желал и требовал, чтоб в его государстве все учились, и эта воля была, конечно, не чужда той мысли, чтобы, соответственно общему подъему образования в стране, и женщина получила сообразные ее полу знания.

Маленькая Наталья Балк должна была, поэтому, получить приличное образование, хотя оно, в сущности, было очень скудно и поверхностно. Но зато, как можно судить по отзывам современников, нравственного воспитания ей положительно недоставало, и, вырастая в таком семействе, она не могла вынести оттуда в жизнь хороших нравственных правил.

Она вынесла из этого семейства только то, чем оно отличалось, — физическую красоту и пленительность: красота была в роду Монсов и Балков.

«Получив отличное воспитание в доме родителей, — говорит несколько восторженный Бантыш-Каменский, — Наталья Федоровна затмевала красотою всех придворных дам и, как уверяют современники, возбудила зависть в самой цесаревне Елизавете Петровне».

Девятнадцати лет красавица Наталья была помолвлена замуж за морского офицера, любимца Петра Первого, лейтенанта Степана Васильевича Лопухина, двоюродного брата нелюбимой Петром царицы Авдотьи Федоровны Лопухиной, впоследствии камергера и одного из сильных людей петербургского двора.

Судьбою девушки, по обыкновению, распорядился сам царь, который любил лично сватать за своих фаворитов и «денщиков» тех красавиц, кои считались достойными задуманных царем партий, и сам в качестве «дружки» или «маршала» возил их ко дворцу, не спрашивая иногда, любят ли друг друга жених и невеста.

«Петр Великий приказал мне жениться: можно ли было его ослушаться? — говорил впоследствии муж Натальи, когда ему намекали на неверность к нему красавицы-жены. — Я тогда же знал, что невеста меня ненавидит, и, со своей стороны, не любил и не люблю ее, хотя все справедливо считают ее красавицей».

А между тем, красавица Наташа действительно имела много поклонников и могла сделать любой выбор между женихами, если бы царь не был охотником устраивать карьеры намеченных им своим вниманием женихов и невест по своему усмотрению: этим способом он сливал между собою родовою связью древние русские роды, примешивая к ним и роды немецкие, выдвигавшиеся в его время.

Наталья, по отзыву ее биографов, была мила, хороша, умна и возбуждала постоянную зависть со стороны всех именитейших красавиц петербургского общества.

«Толпа воздыхателей», — свидетельствует один из прежних жизнеописателей Лопухиной, именно все тот же восторженный Бантыш-Каменский, увлеченный насчет красавицы своим пылким историческим воображением, — «толпа воздыхателей постоянно окружала красавицу Наталью. С кем танцевала она, кого удостаивала разговором, на кого бросала даже взгляд, тот считал себя счастливейшим из смертных. Где не было ее, там царствовало принужденное веселье; появлялась она — радость одушевляла общество; молодые люди восхищались ее прелестями, любезностью, приятным и живым разговором; старики также старались ей нравиться; красавицы замечали пристально, какое платье украшала она, чтобы хотя нарядом походить на нее; старушки рвались с досады, ворчали на мужей своих, бранили дочек и говорили кое-что на ухо, но, таким образом, чтобы проходящие могли слышать, — понимается, с большими прибавлениями».

В первый же год замужества — 1718 (в год молодой кабалы Натальи) — всех родных ее мужа постигла царская опала. Это был год казни по делу царевича Алексея Петровича, когда двоюродный брат мужа Натальи и родной брат царицы Авдотьи Федоровны Лопухиной, Абрам Федорович Лопухин сложил голову на плахе 9 декабря 1718 года и когда все прочие его родные пошли в ссылку — кто в Сибирь, кто в самые далекие города европейской России. Не весел был такой год для молодой замужней женщины и не могли быть радостны и без того немилые ей медовые месяцы.

Казнь миновала, однако, мужа Натальи, любимца царя. Но молодая женщина видела перед собой плахи и виселицы,

столбы и колеса со воткнутыми на них головами казненных — и эти казненные были ей, так или иначе, близки.

Немного спустя, страшная казнь постигла и самых близких ее сердцу родных — мать и дядю, красавца Виллима Монса: прекрасная голова, которая, как мы видели выше, была отрублена палачом, потом, для сохранения ее красоты, положена в спирт, поставлена в кабинете Екатерины Алексеевны и затем сдана в академию наук, в кунсткамеру, в назидание будущим поколениям — это была голова родного дяди красавицы Натальи Лопухиной.

Вместе с дядей постигла страшная опала и еще более дорогое для Натальи лицо — ее родную мать и родную сестру этого Монса-красавца: опала обрушилась на голову матери Натальи, генеральши Матрены Балк за то, как мы видели, что она позволяла своему брату любить Екатерину Алексеевну и прикрывала собой от царя Петра эту непозволительную любовь.

Но время и перемена обстоятельств скоро изгладили из памяти Лопухиной эти страшные впечатления — и то, как голова ее дяди торчала на колу, а потом стояла в спирту, и то, как на столбах был вывешен перечень взяток ее матери, — и красавица отдалась своим природным инстинктам и привитым к ней наклонностям, тем более, что не любила своего мужа, как и он не любил ее.

О Наталье Лопухиной рассказывают, что она походила на свою мать, на знакомую уже нам Матрену Балк, не только красотою лица и станом, но и некоторыми особенностями своего темперамента: подобно ей, она, как истинное дитя своей матери и своего времени, не отличалась супружеской верностью.

Лопухина нашла себе при дворе поклонника, и со всею страстью отдалась ему. Это был знаменитый граф Рейнгольд фон Левенвольде.

«Щеголь, мот, любитель азартных игр, и человек честолюбивый, тщеславный, эгоист в высшей степени; человек столь дурного нрава, каких немного на свете; человек, готовый ради своих выгод жертвовать другом и благодетелем, человек лживый и коварный», — вот как отзывается о Левенвольде один из его современников, и вот на кого обратилась несчастная привязанность Лопухиной.

Об отношениях их все знали, не исключая мужа самой Натальи Федоровны.

Но таково было то разнузданное время, когда люди так легко переходили от измены своему чувству к измене своему отечеству и из дворца — на плаху.

«Недавно у меня была одна из здешних красавиц, супруга русского вельможи, г-жа Лопухина, — писала в 1838 году леди Рондо в Англию к своей приятельнице, — его вы видели в Англии. Жена его — статс-дама императрицы и приходится племянницей той особе, которая была любовницею Петра I и историю которой я вам рассказывала (т. е. Анне Монс), но скандальная хроника гласит, что она не так твердо защищала свою добродетель. Лопухина и ее любовник — если он у нее на самом деле только один — очень постоянны и в течение многих лет сохраняют друг к другу сильную страсть. Когда она родила, то, при первой встрече с ее супругом, я поздравила его с рождением сына и спросила о здоровье его жены. Он ответил мне по-английски: «Зачем вы спрашиваете меня об этом? Спросите графа Левенвольде: ему это известно лучше, нежели мне». Видя, что такой ответ меня совершенно озадачил, он прибавил: «Что ж! Всем известно, что это так и это меня нисколько не волнует. Петр Великий принудил нас вступить в брак, я знал, что она ненавидит меня, и был к ней совершенно равнодушен, несмотря на ее красоту. Я не мог ни любить ее, ни ненавидеть, и в настоящее время продолжаю оставаться равнодушным к ней, к чему же мне смущаться связью ее с человеком, который ей нравится, тем более, что, нужно отдать ей справедливость, она ведет себя так прилично, как только позволяет ей ее положение».

Так всегда бывает с людьми после долгой сдержанности, а эту сдержанность русский боярин, превратившийся потом в вельможу, терпел от Владимира Мономаха и от целомудренных Верхуслав и Предслав до Петра и красавиц «Кукуй-городка».

Сдержанность заступила разнузданность.

«Судите о моем удивлении, — продолжает леди Рондо, — и подумайте, как поступили бы вы в подобных обстоятельствах. Я же скажу вам, как поступила я: я внезапно оставила Лопухина и обратилась к первому, кого увидела».

Леди Рондо так характеризует Лопухину: «Эта дама говорит только по-русски и по-немецки, а так как я плохо говорю на этих языках, то наш разговор вертелся на общих местах, и потому я могу сказать вам лишь о ее наружности, которая, действительно, прекрасна; по-настоящему, мне и не следовало бы говорить ни о чем другом, но я не могла пройти молчанием этой истории, показавшейся мне необыкновенно странной. Я презираю себя, однако, за злоязычие, которое вы едва ли захотите простить».

Как бы то ни было, но Лопухиной, по-видимому, жилось счастливо, и почти до сорока трех лет продолжалась эта безмятежная жизнь придворной блестящей женщины.

Старший сын ее Иван был уже взрослым молодым человеком. Он тоже был при дворе и носил камер-юнкерский мундир, а потом получил и чин полковника армии.

Но в 1742 году красавицу Лопухину постигло несчастие, не личное, но в лице того, кого она любила, — в лице графа фон Левенвольде.

На престол вступила императрица Елизавета Петровна (в ноябре 1741 года). Лица, стоявшие во главе правления ее предшественницы, обвинены в измене и сосланы: ссылка, между прочим, постигла старика Остермана, Головкина, мужа одной из выдающихся женских личностей прошлого века, Екатерины Ивановны Головкиной, урожденной княжны-кесаревны Ромодановской, о которой сказано будет в следующем очерке, и блестящего Левенвольде, все еще любимого Лопухиною.

Левенвольде был сослан в Соликамск, — и это горе было очень тяжелым для Лопухиной. Сама же она была взыскана милостями императрицы, продолжала являться при дворе, участвовала во всех удовольствиях придворной жизни вместе с дочерью, которая уже была взрослой девушкой. Другие же говорят, что ссылка Левенвольде сделала ее большою нелюдимкой — она не могла забыть своего блестящего друга.

Но еще более страшное горе ждало ее, и горе это было не за горами.

В это время, как известно, исключительным влиянием при дворе пользовался Лесток, лейб-хирург императрицы. Боясь соперничества другого сильного лица, вице-канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, Лесток решился погубить его, а вместе с ним и всех, кого пришлось бы для этого втянуть в пропасть.

Лесток решился на сильную и удачную меру, которая почти всегда удается, — на донос, на обвинение в измене.

Хотя главный соперник его, Бестужев-Рюмин, и не погиб, но зато погибли другие, невинные, или менее виновные, чем какими их изображали, и в том числе погибла Лопухина.

Это было в 1743 году, через год после ссылки Остермана, Головкина и Левенвольде.

Лесток донес императрице, что против правительства составляется заговор, что заговорщики хотят будто бы умертвить его, Лестока, камергера Шувалова и обер-шталмейстера Куракина, и затем, будто бы при помощи камер-лакея, подававшего закуски, отравив государыню, восстановить прежнее

правительство, с регентством принцессы Анны Леопольдовны.

Весть о заговоре поразила двор.

«Я не в силах изобразить тот ужас, который распространился при известии о заговоре (пишет один современник этого события). Куракин несколько ночей сряду боялся провести у себя дома, во дворце бодрствуют царедворцы и дамы, страшась разойтись по спальням, несмотря на то, что у всех входов и во всех комнатах стоят часовые. В видах усиления их бдительности, именным указом повелено кабинету давать солдатам, которые в ночное время содержат пикет у наших покоев (т. е. у покоев императрицы), на каждый день по десяти рублей. Бдительность и рвение телохранителей усилено, но именитые особы не ложились в постель на ночь, ждали рассвета и высыпались днем. От всего этого и беспорядок в делах, в докладах, беспорядок и общая неурядица во всем с каждым днем усиливаются».

Но, между тем, ожидаемые, по-видимому, мнимые, заговорщики не являются, их никто не видит, никто не знает — не знает даже сам Лесток.

Скоро, однако, таинственная драма разыгрывается, и невольной виновницей ее является Лопухина.

В эти тревожные дни ожидаемого исполнения небывалого заговора некто Бергер, курляндец, офицер кирасирского полка, по всем отзывам человек распутный и низкий, получает назначение в Соликамск, в место ссылки графа Левенвольде, на смену другого офицера, находившегося при ссыльном.

Лопухина, узнав о назначении Бергера в Соликамск, просит сына своего Ивана сказать Бергеру, чтоб он передал от нее поклон любимому ей когда-то ссыльному Левенвольде, уверить в неизменной ее памяти о нем и советовать, «чтобы граф не унывал, а надеялся бы на лучшие времена».

Эта последняя несчастная фраза погубила и ее, и всех ее близких — фраза эта и была — «заговор».

Бергер, желая выслужиться перед Лестоком, а главное — получить позволение остаться в Петербурге, явился к всесильному лейб-хирургу и передал ему слова Лопухиной.

Для Лестока это была находка.

Хитрый лейб-хирург тотчас же поручил услужливому Бергеру вызвать молодого Лопухина на откровенность и выпытать от него каким-либо образом признание, на чем его мать основывает надежды «на лучшие времена».

Бергер завел Лопухина в погребок, напоил его и, искусно втянув в интимный разговор о правительстве, заставил пьяного мальчишку болтать всякие несообразности.

А в это время, в погребке, за стенкой, посажены были уши, долженствовавшие все слышать.

Лопухина арестовали. Вслед затем арестовали его мать и сестру-девушку. Последнюю взяли в тот момент, когда она гуляла с великим князем и вместе с ним в одной карете возвращалась с прогулки во дворец. Чтобы не огорчить великого князя, который был очень расположен к молодой девушке, ее вызвали из кареты в другой экипаж будто бы для того, что ее мать отчаянно заболела. Тут же арестовали и графиню Анну Гавриловну Бестужеву-Рюмину, урожденную графиню Головкину, бывшую прежде за генерал-прокурором Ягужинским: она также была любимицею покойного Петра Великого и он устраивал ее свадьбу с Ягужинским, как устроил свадьбу с Лопухиным и Натальи Федоровны Балк. Арестовали, наконец, и старшую дочь этой Бестужевой-Рюминой.

Лопухину с сыном и Бестужеву заключили в крепость, как главных заговорщиков, а девушек держали под караулом в домах.

По городу усилили патруль.

Наряженная по делу следственная комиссия привлекла к допросам еще несколько женщин, именно — бывшую фрейлину правительницы Софью Лилиенфельд и княгиню Гагарину, падчерицу Бестужевой-Рюминой. Точно это был заговор женщин.

Ушаков, неизменный начальник тайной канцелярии, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой были членами следственной комиссии.

На первых же допросах арестованные повинились, что они иногда дозволяли себе необдуманные выражения об образе жизни некоторых именитых особ и фаворитов, о лености и беспечности их к делам управления, признались и в том, что высказывали недовольство настоящим положением дел и желали восстановления прежнего правительства.

Бантыш-Каменский прямо говорит: «В частных беседах своих Лопухина и Бестужева-Рюмина изливали взаимно душевную скорбь и вскоре, подстрекаемые неблагонамеренным министром королевы венгерской, маркизом Боттою, дерзнули составить заговор против самодержицы всероссийской в пользу младенца Иоанна!»

После вышеприписанных показаний растерявшихся женщин, подсудимых повели в застенок, к пыточному допросу.

Сначала пытали молодого Лопухина, но он ничего не сказал. Привели в застенок Лопухину и Бестужеву-Рюмину. Статс-даме и обер-гофмаршальше, по установленному пыточному порядку, оголили спины для кнута, связали руки и подняли на дыбу.

Странное то было время.

— Пусть разорвут нас на части, но мы не станем лгать, не станем признаваться в том, чего никогда не делали и не знали, — говорили женщины, висевшие на дыбе.

Но кнутом их на этот раз не били.

Главная цель Лестока состояла в том, чтобы втянуть в дело бывшего перед тем в Петербурге австрийского посла, маркиза Ботта д'Адорно, который был дружен с Бестужевою-Рюминою и Лопухиной.

Бестужева-Рюмина на допросе показала, что так как она не любима мужем и сама его не любит, то ничего и не передавала ему: Бестужев-Рюмин, враг Лестока, через это ускользал из его тенет. О маркизе Ботта д'Адорно она показала, что так как сам он был очень не расположен к обоим Бестужевым-Рюминым, и к вице-канцлеру, и к обер-гофмаршалу, то и Ботта им ничего не мог передавать из их разговоров. Тенета Лестока окончательно рвались.

Лопухина показала то же, — ни дополнений, ни комментариев от нее допросчики не добились.

Только молодой Лопухин не вынес пыток.

— Мы-де зачастую говаривали в семье своей, что если бы на вице-канцлера не было этого продувного канальи Лестока, то оба Бестужевы и их сторонники были бы самые нерешительные и слабые правители.

«Продувной каналья» не простил врагам этого выражения.

Чтобы обвинить австрийского посла, Лесток обещал допрашиваемым, что если они покажут на Ботта д'Адорно, то их ждет облегчение участи.

Обманутые этой уловкой Лопухина и Бестужева-Рюмина показали, что Ботта хлопотал об освобождении из Сибири Остермана, Миниха, Головкина, и обещал помогать деньгами восстановлению прежнего правительства.

Но измученные женщины напрасно покривили душой — их участь не была смягчена.

Лесток прямо говорил в городе:

— Как же-де не быть строгим, если кроме пустых сплетен да вздорной болтовни ничего нельзя добиться от упрямых баб.

С допросами, однако, покончили быстро. 4—6 августа 1743 года производились аресты, а 29 августа уже извещалось о предстоящей казни осужденных.

В последнем заседании суда один из сенаторов подал такое оригинальное мнение:

— Достаточно предать виновных обыкновенной смертной казни, — говорил он, — так как осужденные еще никакого усилия не учинили, да и российские законы не заключают в себе точного постановления на такого рода случаи, относительно женщин, большею частию замешанных в сие дело.

На это горячо возражал приятель Лестока, принц гессен-гамбургский.

— Неимение-де писанного закона не может служить к облегчению наказания, — настаивал принц, — а в настоящем случае кнут да колесованье должны считаться самыми легкими казнями.

Кнут да смерть с колесованьем — самая легкая казнь. Вот время!

Приговор, наконец, состоялся.

29 августа, гвардейский отряд прошел по улицам Петербурга и барабанным боем известил о предстоящих на 1 сентября казнях.

Эшафот построен был на Васильевском острове, против нынешнего университетского здания, где был тогда сенат. Там же стоял столб с навесом, под которым висел сигнальный колокол.

В день казни народ, по обыкновению, толпами валил к месту зрелища, занял всю площадь, галереи бывшего там гостиного двора, заборы, крыши. Народ — везде народ: и в Риме и в Петербурге — он просит только «хлеба и зрелищ».

Впереди всех осужденных шла Лопухина, все еще красивая женщина.

С эшафота, говорят, она окинула взором толпы народа, надеясь увидеть в массе или своих друзей и родных, или тех, которые когда-то любили ее, которые могли бы на месте казни утешить и ободрить ее.

«Но, — восклицает один из современников казни, — красавица забыла низость душ придворных куртизанов: вокруг помоста волновалась только чернь, алчущая курьезного зрелища».

Этот современник, аббат Шап, оставил даже рисунок казни. На этом рисунке изображен эшафот с высоким барьером. На эшафоте стоит палач без шапки, в кафтане и держит на своих плечах женщину — это Лопухина. Волосы ее забраны

назад, голова откинута, тело обнажено; на поясе болтается ее мантилья, сорочка; верхняя одежда брошена у ног. Лопухина приподнята так, что ноги ее не достают до земли. Сзади, в нескольких шагах, виднеется заплечный мастер, тоже без шапки, в кафтане; он обеими руками приподнял кнут, длинный хвост которого змеей взвился в воздухе. Из-за барьера видны женские и мужские головы толпы — в платках, теплых шапках и пр., на заднем плане — крыши домов, влево — дерево.

Тот же аббат Шап так описывает самую казнь Лопухиной:

«Простая одежда придавала новый блеск ее прелестям; доброта души изображалась на лице; она окинула быстрым взором предметы, ее окружавшие, изумилась, увидав палачей подле себя: один из них сорвал небольшую епанчу, покрывавшую грудь ее; стыд и отчаяние овладели ею, смертельная бледность показалась на челе, слезы полились ручьями. Вскоре обнажили ее до пояса в виду любопытного и безмолвного народа» (Бантыш-Каменский).

Прежде обыкновенно наказывали кнутом так, что подлежавшего наказанию брал один из палачей или первый попавшийся здоровый и плечистый мужик и взваливал к себе на спину: на этой спине палач уже бил виновного кнутом по голой спине, стараясь не попасть в голову. После стали сечь на кобыле, на чурбане или на опрокинутых полозьями кверху санях.

Говорят, что Лопухина до последней минуты сохранила твердость и с мужественным спокойствием слушала манифест.

Она еще не знала, к чему ее приговорили.

Вот этот манифест, как он напечатан в полном Собрании Законов:

«Объявляем всем нашим верноподданным, — громко провозглашал чиновник сената, — всем уже известны из обнародованного манифеста 24 января 1742 года важные и злоумышленные преступления бывших министров: Остермана, Миниха, Головкина и обер-маршала Левенвольда и их сообщников. Всем известно, на что осуждены они были по государственным законам и какая милость показана была государынею: вместо жесточайших и правильно придуманных им смертных казней, все преступники в некоторые токмо отдаленные города в ссылку сосланы».

«Мы уповали, что показанное милосердие с наичувствительнейшим удовольствием будет принято не только осужденными, но их фамилиями и друзьями; однако, некоторые злодеи, того же корня оставшиеся, приняли нашу милость не

так: вместо благодарности вящшее от того в краткое время произросло, о чем мы узнали от некоторых наших верных подданных. По учиненному следствию оказалось, что бывший генерал-поручик Степан Лопухин с женою Натальею и с сыном, бывшим подполковником Иваном, забыв страх божий, не боясь страшного суда его, несмотря ни на какие опасности, не обращая внимания ни на то, что по первому делу они находились в подозрении и содержались под арестом, презирая, наконец, милости, им оказанные, решились лишить нас нашего престола. А всему свету известно, что престол перешел к нам по прямой линии от прародителей наших, и та прямая линия пресеклась только с кончиной племянника нашего Петра II; а после его смерти приняли мы корону в силу духовного завещания матери нашей, по законному наследству и божьему усмотрению».

«Лопухины ж Степан, Наталья и Иван, по доброжелательству к принцессе Анне и по дружбе с бывшим обер-маршалом Левенвольдом, составили против нас замысел; да с ними графиня Анна Бестужева, по доброхотству к принцам и по злобе за брата своего Михайлу Головкина, что он в ссылку сослан, забыв его злодейские дела и наши к ней многие, не по достоинству, милости. И все они, в течение нескольких месяцев часто съезжались в дом графини Бестужевой, Степана Лопухина и маркиза де Ботты, советовались о своем замысле. Бывший же при нашем дворе венгерским министром маркиз де Ботта, не по должности своей, но как адгерент принцессин и друг Михайла Головкина, во внутренния дела нашея империи вмешивался, вводил не только внешния, но и внутренния беспокойства».

«Все они хотели возвести в здешнее правление, по-прежнему, принцессу Анну с сыном ее, не имеющие никакого законного права и только стараниями злодеев Остермана, Миниха, Головкина и их собеседников владевшие империей. На съездах своих де Ботта обнадеживал вспомогательством своим Лопухиных и Бестужеву, и с искреннею ревностию и усердием к принцессе говорил, что до тех пор спокоен не будет, пока ей, принцессе, не поможет. Зная дружеские отношения нашего правительства к королю прусскому и желая бессовестно водворить между нами несогласия, де Ботта говорил, что король-де станет помогать принцессе. Известно же нам и ведомо, что такого намерения его величество никогда не имел, но он, Ботта, то разглашал, чтобы причинить внутри России беспокойства, с чем и отъехал за границу; Лопухиным же и Бестужевым дал неизменные надежды; они радовались,

нетерпеливо того ожидали и разные к тому способы происки-вали и употребляли, внушая то другим и приводя к себе в согласие, злоковарные, непристойныя слова рассевали, нас в огорчение и озлобление народу приводили, принцессу про-славляли, всех обнадеживали ее милостями, хотя и сами не видали их, но кроме восьми человек никого к злому начина-нию привесть не могли. Увидав же, что мы с королем прус-ским аллианс возобновили и орден от него приняли, и что намерение де Ботты без действа осталось, и чаемой войны и перемены, чего ждали, не будет, о том сожалели. Вообще, по расспросам, добровольно и по изобличении показали следую-щее:

«Степан Лопухин, в надежде чаемой перемены, уничижая и отще презирая, нас оскорблял зловредными и непристойны-ми словами; наследницею престола не признавал, другим чрез сына своего Ивана то внушал; его же, с совета де Ботта, поощрял рассевать в народе вредительные и опасности каса-ющияся слова. Он же, Степан, поносил, ни во что вменял и высказывал презрение к нашему самодержавному правлению, к министерству, сенату, к придворным и другим, кого мы по достоинству и заслугам жалуем; хвастал своими службами, которых никогда не бывало; желал возвращения злодеев Ос-термана, Миниха, Головкина и Левенвольда с их товарищами, советовался о том с де Боттою, который обещал помочь соб-ственным не малым капиталом, только бы возвратить ссыль-ных, а чрез них Анну восстановить. На всех съездах, где только его компания была, Степан Лопухин за лучшие раз-говоры и увеселения считал беседы о благополучии принцессы и нашем падении».

«Жена его Наталья и Анна Бестужева были начальницами всего злого дела. Живя в дружбе и любви между собою, советовались о зловредных делах, разговоры с де Боттою Степану передавали, к единомыслию с ним привлекли быв-шего лейб-гвардии капитана князя Ивана Путятина, по делу принцессы не только бывшего в подозрении, но и в розыске (т. е. под пытками), и Софию Лилиенфельд камергершу, быв-шую при принцессе фрейлиною. И все они между собою не-пристойные и зловредные слова о собственной нашей персоне произносили. Наталья ж Лопухина, будучи при дворе нашем статс-дамою, презирая нас в надежде чаемой перемены, са-мовольно ко двору долгое время не являлась, и хотя ей о том неоднократно говорено ее родными, но она не слушалась».

«Бывший обер-штер-кригс-комиссар Александр Зыбин, слыша многократно от Натальи Лопухиной о ее замыслах и

зловредные поношения нас, и признавая то худым, о том, однако, не доносил, поныне молчанием прошел и тем явным сообщником себя явил».

«Иван Степанов сын Лопухин не только поносительные слова отца и матери распространял, но и от себя приумножал. При вступлении нашем на престол у первой присяги не был, надеясь будущей перемены. Бывая во многих компаниях с вице-ротмистром Лилиенфельдом, адъютантом Колычевым, подпоручиком Акинфовым, старался вымышленно уловить других, но никого обольстить не мог, а напротив того, по усердной верности наших же офицеров, сам Иван Лопухин пойман и изобличился, причем оказалось, что, узнав об измене де Ботты, он отечество хотел оставить».

«Поручик гвардии Иван Мошков сообщником и таким же злодеем явился, в чем и повинился».

«За все эти богопротивные против государства и нас вредительные, злоумышленные дела, по генеральному суду духовных, всего министерства, наших придворных чинов, также лиц гражданских и военных, приговорено всех злодеев предать смертной казни:

Степана Лопухина,
Наталью Лопухину,
Ивана Лопухина,
Анну Бестужеву.
Ивана Мошкова,
Князя Ивана Путятина.

Вырезав языки, колесовать, тела положить на колеса.

Четвероватъ, тела положить на колеса.

Александру Зыбину отсечь голову, тело положить на колесо».

«Софье Лилиенфельд отсечь голову».

«Все они этим казням по правам подлежат, но мы, по матернему милосердию, от смерти их освободили и, по единой императорской милости, повелели им учинить следующия наказания:

Степана Лопухина,
Наталью Лопухину,
Ивана Лопухина,
Анну Бестужеву.
Ивана Мошкова,
Князя Ивана Путятина.

Бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь, все имущество конфисковать.

Бить кнутом, сослать в Сибирь, имение отобрать.

Александра Зыбина бить плетьми, сослать в ссылку, имущество конфисковать».

«Софию Лилиенфельд, выждав, когда она разрешится от бремени, бить плетьми, послать в ссылку, имение конфисковать».

«Камергера Лилиенфельда отрешить от двора, лишить всех чинов, сослать в деревни его, где жить ему безвыездно; брата его
вице-ротмистра Лилиенфельда, выключить из гвардии, с
подпоручика Нила Ахинерова, понижением чинов,
адъютанта Степана Колычева написать в армию.

Дворянина Николая Ржевского написать в матросы».

«О всем этом публикуется, дабы наши верноподданные от таких прелестей лукавых остерегались, об общем покое и благополучии старались, и ежели кто впредь таковых злодеев усмотрит, те б доносили, однако ж, самую истину, как и ныне учинено, не затевая напрасно по злобе, ниже по другим каким страстям, ни на кого, за что таковые будут щедро награждены. Что же касается до злых и бессовестных поступков маркиза де Ботта, об нем, для получения надлежащей нам сатисфакции, к ее величеству королеве венгерской и богемской сообщено, в несомненной надежде, что ее величество, по справедливости и дружбе с нами, за его богомерзкие поступки достойное наказание учинить».

Когда чтение кончилось, один из палачей подошел к Лопухиной и сорвал с нее мантилью. Лопухина заплакала и силилась прикрыться от взоров толпы, в подобных случаях всегда жадно следящей за каждым движением жертвы: всякому любопытно видеть, как люди борются со смертью и как умирают, особенно, когда смерть является в виде насилия.

Лопухина боролась не долго, хоть ее не ждала смерть, но ждали страшные мученья — и оттого борьба ее была упорна.

Один из заплечных мастеров схватил осужденную за обе руки, повернулся и вскинул к себе на спину.

Этот, именно, момент изобразил аббат Шап на своем рисунке.

Другой палач бил несчастную кнутом. Лопухина громко кричала.

После кнута Лопухину опустили на землю, и у полумертвой от страданий урезали конец языка.

— Кому надо язык? — кричал палач со смехом, обращаясь к народу: — купите, дешево продам!

Без сомнения, циническая выходка вызвала смех толпы — толпа так привыкла к этим зрелищам.

Лопухиной сделали перевязку и усадили в телегу.

Стали раздевать Бестужеву-Рюмину, которая видела всю предыдущую сцену с Лопухиной.

Бестужева не упала в обморок и не боролась с палачами. Напротив, она сумела задобрить их: Бестужева сняла с себя

золотой крест, усеянный бриллиантами, и подарила главному палачу.

Это было славянское «побратимство» жертвы с палачом. Бестужева, некогда всемогущая графиня Ягужинская, становилась крестовою сестрою своему палачу.

Палач понял, что женщина победила его, — и этот зверь уже с некоторой снисходительностью относился к своей крестовой сестре: он слегка бил ее кнутом и вместо половины языка — стрезал только кончик.

По окончании казни над прочими осужденными, арестантов рассадили по телегам и вывезли из Петербурга верст за десять, где они и должны были распрощаться с родными.

Отсюда их развезли в разные отдаленные места, в вечную ссылку.

Так кончилось недоразумение, известное в старых историях под именем «лопухинского заговора».

Известно место ссылки одной только Бестужевой-Рюминой: ее увезли в Якутск, за 8617 верст от Петербурга.

По странному стечению обстоятельств через 83 года, в девятнадцатом уже столетии, именно в 1826 году, в Якутске же находилось и другое ссыльное лицо, носившее фамилию Бестужевых: это был известный Александр Бестужев.

Дочери Лопухиной, Настасья, любимица великого князя, Анна и Прасковья, отосланы были в дальние деревни.

Двадцать лет Лопухина прожила в Сибири, но говорить она уже не могла: говор ее похож был на мычанье, и только близкие в состоянии были понимать ее.

Через двадцать лет, с воцарением императора Петра III, Лопухина получила прощенье и возвратилась в Петербург.

«В Петербурге, — говорил Бантыш-Каменский, — Лопухина снова посещала большие общества, где толпа любопытных, а не поклонников, окружала ее. Так время и печаль изгладили с лица красоту, причинившую погибель Лопухиной».

Бантыш верит, что ее погубили из зависти к ее красоте...

Дочери Лопухиной — такая же, как мать, красавица Настасья вышла впоследствии замуж за графа Головина, Прасковья за князя Голицына, а Анна умерла через три года после матери.

Сама Лопухина кончила жизнь в царствование Екатерины II, именно, 11 марта 1763 года, на 64 году своей жизни.

Судьба Бестужевой-Рюминой была многознаменательнее: когда она находилась еще в ссылке, в Якутске, муж ее, шестидесятидвухлетний старик, успел жениться в другой раз, в Дрездене, на молодой вдове.

Год смерти Бестужевой неизвестен.

Красота Лопухиной пользовалась такою популярностью, что народ долго помнил ее и, по своим творческим инстинктам, создал о ней легенду: Лопухина была такая красавица, что когда солдатам велено было ее расстрелять, то они стреляли в нее зажмурившись, не смея взглянуть в лицо красавице.

Теперь и народ ее забыл.

III. ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КНЯЖНИНА

(урожденная Сумарокова)

Нам предстоит теперь сказать о первой, по времени, русской писательнице.

Едва тяжелая бироновщина покончила свое существование, как на Руси является женщина-писательница.

Выясним это явление в истории русской жизни.

Кому не известно, какое тяжелое время переживала Россия в течение первой половины XVIII столетия: пятьдесят еще лет после того, как Россию насильно поворотили лицом от востока к западу и указали ей там, где заходит солнце, образцы иных обычаев, иных общественных порядков, иного строя жизни, — после того, как этот «страховатый» для русского человека запад, приславший когда-то, по преданию, варягов, чтоб «княжити и володети нами», стал высылать к нам помимо фряжских вин, астрадамовских сукон и веницейской объяри, фряжскую цивилизацию с фряжскими «недоуменными» книжками и немецкими «греховидными» кафтанами и пр., — пятьдесят еще лет старая Русь старалась вновь поворотить свое лицо от запада к излюбленному востоку и, отворачиваясь от этого немилого запада, упорно вела, в силу исторической инерции, неравную борьбу против всего, что оттуда исходило и нарушало привычный покой.

Тяжела была эта борьба и для тех, которые глядели на запад, и для тех, которые от него отворачивались. В высших слоях общества и в правительственных сферах шла — нельзя сказать, чтобы ломка: насильственной ломки никакой почти не было — а скорее расчистка мусора, кучами остававшегося

от ветхих, самообрушивавшихся зданий ветхой Руси, которые, падая сами собой, как падали когда-то и древние свайные постройки с изъеденных червоточиною устоев, давили иногда и обитателей своих, заранее не выбравшихся из своих ветхих привычных жилищ.

Много и женщин погибло под развалинами рушившихся ветхих зданий. Не мало таких жертв уже перечислили мы, и могли бы насчитать еще больше, если бы это не стало, наконец, утомительным, притупляющим внимание и интерес: женщины ссыльные, казненные, заточенные в монастыри, сеченные кнутами, кошками, батогами, битые шелепами, плетьми, женщины с отрезанными языками, женщины почти в детстве умиравшие от невозможности дышать в душной и пыльной атмосфере разрушавшихся зданий — все это так однообразно, так утомительно, так похоже одно на другое.

Но вот Россия переваливается за вторую половину XVIII столетия. Отошли времена Меншиковых, Монсов, Минихов, Остерманов, Лестоков, Биронов.

Становится свободнее дышать, приветливее смотрит русская земля, легче, по-видимому, становится жить некоторой части русского общества, которое непосредственно выносило на своих плечах тяжесть падавшей старины.

И женщине становится относительно легче дышать: мусор понемногу убирается, пыль улегается, более оживленные женские лица выступают на свет божий, женщины с другими интересами, с другими чертами, с другими стремлениями.

Является особый тип женщины — женщина-писательница.

Эта уже не та женщина, которая сидела в тереме, в монастырской келье, вышивала воздухи и орари на церковь, и не та, которая танцевала только на петровских ассамблеях и интриговала при дворе с «денщиками», а потом «пети-метрами», не та, наконец, которая шла вместе с мужем или любовником в дворцовые заговоры, чтобы посадить того или другого у кормила правления и быть «во времени» — многознаменательное слово! — или которая безмолвно шла в ссылку с мужем или с отцом, замешанным в государственное злоумышление.

У этой женщины иная слава, иное честолюбие. Идеалы ее другие. Она уже больше, сравнительно, живет умом. Для нее не чужд головной труд над разрешением вопросов вне сферы двора или монастыря. Придворная интрига не влечет ее к себе — и жизнь ее слагается иначе, она менее пуста и

менее преступна, и жизнь эта не имеет в перспективе ни ссылки, ни монастыря, ни публичной казни.

Такая русская женщина впервые является именно со второй половины XVIII века, в царствование императрицы Елизаветы Петровны, представляющееся таким относительно-полным отдохновения русского общества, истомленного борьбами партий, возвышениями одних, падениями других, снова возвышениями павших, преследованием одних любимцев другими, ссылками вчерашних временщиков нынешними, а завтра — нынешних вчерашними, возвращениями из ссылок прежних опальных с заменою их новыми, недавно опальными.

Женщина-писательница является вслед за мужчиной-писателем, потому что лучшая женщина, во все времена и у всех исторических народов, всегда старается делать по возможности то, что делает мужчина и что ему нравится: если мужчина танцует в ассамблее — женщина ничего, кроме ассамблеи, знать не хочет, если он думает о дворцовых интригах — она становится крайнею интриганкою, он идет в ссылку — она следует за ним.

Но когда лучшие люди русского общества поняли цену умственного труда и променяли на него придворные и всякие чиновничьи интриги — женщина взялась за книгу, за перо.

Едва явился Ломоносов, Сумароков, Княжнин, Фонвизин — явились и женщины на них похожие, им подражающие.

Когда интриговали при дворе Монсы, Остерманы, Минихи, Бестужевы-Рюмины, Лопухины — интриговали и их жены, сестры, дочери: Матрена Монс-Балк, Анна Бестужева-Рюмина, Наталья Лопухина.

Когда же Сумароков отдался служению литературе — за его письменным столом учится этому служению и его дочь.

Дочь Сумарокова является первою женщиною-писательницею в России.

Знаменитый литературный противник Ломоносова, Александр Петрович Сумароков имел двух дочерей — Екатерину и Прасковью, из которых первая рано обнаружила несвойственное в то время женщинам стремление к занятиям литературою, к производительному умственному труду, и до сего времени не ставшему еще достоянием и неотъемлемою принадлежностью женщины в такой же, или приблизительно такой же мере, в какой он всегда был достоянием мужчины.

С той минуты, как страшная бироновщина признана покончившею свое существование и в обществе, вместо явных толков и тайных перешептываний о дворцовых интригах, о том, который из временщиков сильнее и кто из двух столкнет своего противника с места, кто войдет «во время», в силу, а кто пойдет в Тобольск, в Березов, в Пелым, — стали говорить о Ломоносове, о его первой «Оде на взятие Хотина», написанной не по образцу утомительных писаний Симеона Полоцкого, Лазаря Барановича, Иоанникия Галятовского, Феофана Прокоповича и иных, а чистым русским языком, о преобразовании Морской академии, об основании Московского университета, вместо Славяно-греко-латинской академии, наконец, о журналах, о «Трудолюбивой Пчеле» и пр., — то, вместе с тем, заговорили и о женщине не исключительно с точки зрения танцорки, красавицы, возлюбленной или невесты такого-то, а о женщине учащейся и пишущей.

Вместо слов «ассамблея», «застенок», «дыба», «ссылка», в петербургском и московском обществе часто стали раздаваться слова, когда-то раздававшиеся и в западной Европе в эпоху ее возрождения, слова — «муза», «Парнас», «Аполлон», «Геликон», «Грации», и прочие термины греческой мифологии и поэзии. «Ямб» и «хорей» заменили «дыбу» и «пытку», «дифирамб» — «пристрастный допрос», «сочинитель» — «заплечного мастера».

При дворе Елизаветы Петровны чаще и чаще упоминаются греческие боги и богини. Часто вместо имени Андрея Ивановича Ушакова, произносятся там имена не только Михайлы Васильевича Ломоносова, Александра Петровича Сумарокова, Якова Борисовича Княжнина, но и имя юной дочери Сумарокова, Екатерины. О «Катиньке» Сумароковой говорят как о «пламенной любительнице муз», и ей интересуются, ее хотят видеть как редкое, небывалое явление, но ее и побаиваются: юные сверстницы ее и старшие дамы, воспитанные еще на меншиковских, остермановских и лестоковских ассамблеях, или в традициях бироновщины, не знают, о чем с Сумароковой и говорить, как к ней приступиться.

С молоденькой Сумароковой, замечали впоследствии ее жизнеописатели, «по тогдашнему образу мыслей, большая часть из ее современниц, предупрежденных не в пользу наук для женщины, боялись сказать лишнее слово».

«Но зато, — прибавляли эти писатели, — с такою образованною девушкою охотно говорили Ломоносов и Шувалов».

Известно, что между Ломоносовым и Сумароковым часто возникали неудовольствия сначала литературного, а потом да-

леко не литературного свойства. Резкие отзывы одного о другом, еще более резкие ответы другого и новые нападки первого; вспыльчивость и несдержанность характера Ломоносова, единодержавно хотевшего владычествовать на «российском Парнасе» и воевавшего со своими литературными русскими врагами в такой же жесткой и крутой форме, в какой он вел войну в академии с академиками немцами, Шумахером, Миллером и др.; горячность самолюбивого и входившего в силу нового служителя муз, такого же, как и Ломоносов, щедрого на крупное слово парнасского обывателя и гражданина Сумарокова, — все это очень занимало тогдашнее общество, развлекало двор, давало пищу толкам о литературе, о «пиитике», о «российском слоге и чистоте оного» и еще большими смутами отражалось на «российском Парнасе», где друг против друга стояли два борца, две славы, старая и молодая, не щадившие одна другую.

Но, несмотря на все это, Ломоносов, воюя с отцом юной Сумароковой, «благоговейно, — говорят, — всегда подходил к ручке Екатерины Александровны, приветствовал ее иногда стихами и публично говорил:

«Вот умница барышня! В кого такая родилась?»

Конечно, эти слова, произносимые публично, услужливые приятели наших литературных противников и тогдашние сплетники тотчас спешили передавать Сумарокову, и война загоралась еще в более ожесточенных формах.

Сказать «в кого такая родилась умница барышня», когда отец этой барышни был Сумароков, это действительно значило зло пошутить, и шутка, конечно, не проходила даром.

Само собою разумеется, что отец гордился своей «Катинькой», которую он, когда она была совсем еще маленькою девочкой, сам учил грамоте, письму и стихотворству — «пиитике», потому что девочка была очень понятлива и даровитая ученица, что Сумароков не мог сказать о другой своей дочери Прасковье, потому что эта последняя, вышедшая впоследствии замуж за графа Головина, к служению музам «не находила себя способною».

При всем том, Сумароков своеобразно относился к участию женщины в литературе. Страстно любя, чтобы дочери шли по его следам, больше думали о Парнасе, чем о танцевальных вечерах, о пиитике больше, чем о мушках и фижмах, говорили бы о стихотворстве и чистоте российского слога больше, чем занимались бы толками о пети-метрах, — не мог, однако, помириться с тою мыслью, чтоб женщина, а особливо девушка, писала стихи от своего имени, от лица женщины, и

всего менее, когда речь должна была касаться мифологического и действительного амура.

— К девицам это нейдет! — говорил он нередко, — благовоспитанная стихотворица девица должна только думать о мастерстве в стихах, а не об изъяснениях полюбовных.

Как бы то ни было, но слава юной стихотворицы росла с каждым днем в обществе и при дворе.

Девушка была уже на возрасте, и у нее явилось не мало молодых и старых поклонников. Многие готовы были бы предложить ей руку, но смельчаков было мало, которые бы решились присвататься к образованной девушке.

— За кого ей идти? — говорили в городе. — Кроме Якова Борисовича, не за кого. На такой барышне люди простые не женятся, да и сама Екатерина Александровна за простого не пойдет.

Этот Яков Борисович был не кто другой, как тоже известный писатель того времени, писатель уже третьего поколения, для которого Сумароков был как бы литературным отцом, а Ломоносов — дедушкой: это был Княжнин.

Он один осмеливался показывать любезное расположение к образованной дочери Сумарокова и сблизился с нею.

Со своей стороны, девушка вполне доверилась Княжнину, который занимался с нею литературою, читал ей и свои и чужие, входившие в моду, стихотворения тогдашних поэтов и иногда, тихонько от отца, поправлял ей ее собственные произведения, которые девушка, при его содействии, и печатала в издававшемся тогда в Петербурге журнале, в «Трудолюбивой Пчеле».

Княжнин, повествуют наши старые хронографы, «был от Сумароковой без ума, и весь двор знал уже о любви Якова Борисовича, знали, что он советовался о своих стихах с будущею своею супругою, знали, что он поправлял ей стихи».

Так, при помощи Княжнина и тихонько от отца, девушка напечатала свои песни, конечно, анонимно, и произвела ими большой эффект в петербургском обществе, которому надоели, пятьдесят лет продолжавшиеся, всякие дворцовые и недворцовые интриги и которому хотелось отдохнуть за чувствительной песней, за хорошей музыкой. Приложенная к песням Сумароковой музыка сочинена была известным тогда композитором Раупахом.

Сумароков догадался, что это — дело его дочери и Княжнина, становившегося новою литературною силою, — его дочка нашла издателя.

Старик рассердился на эту вольность дочери и перепечатал ее песни от своего имени в «Трудолюбивой Пчеле», снабдив это второе издание особою выноскою такого оригинального содержания:

«Сии песни найдены мною, между прочими напечатанными моими песнями, с приложенными к ним нотами, под чудным титулом».

Желая, чтобы дочь не выходила из-под его руководства, самолюбивый старик наблюдал, чтобы его «Катинька» писала только о том, о чем он желал говорить, и потому она иногда поневоле должна была делаться его литературной союзницей.

Так, по поводу войны Сумарокова со старыми и новыми литераторами, с Ломоносовым и его юнейшими учениками, Екатерина Александровна Сумарокова напечатала стихотворение «Против злодеев», под которыми разумелись именно литературные враги ее отца.

Вот это стихотворение первой русской писательницы, написанное от имени мужчины:

На морских берегах я сижу,
Не в пространное море гляжу,
А на небо глаза возвожу,
Стон пуская в селение дально.
Сердце жалобы к небу возносит печально:
Ах, злодеи нас мучат нахально!
Правосудное небо воззри,
Милосердие нам сотвори
И все действия мои разбери.
Во всей жизни минуту я кажду
Утесняюсь гонимый и стражду,
Многократно я алчу и жажду!
Иль на свет я рожден для того,
Чтоб гоним был, не знав для чего,
Чтоб не трогал мой стон никого?
В день и в ночь мной тоска обладает,
Томно сердце всечасно рыдает, —
Иль не будет напастям конца?
Вопию ко престолу творца:
Умягчи, Боже, злыя сердца!

И злые сердца действительно умягчались, когда узнавали, что это писала девушка, — и суровый Ломоносов с любовью повторял: «Умница барышня! В кого такая родилась?»

Случалось и так, что, повинуясь запрету отца, девушка печатала свои стихи, как мужчина, с обращением будто бы от мужского имени к коварной и жестокосердой возлюбленной, к «любовнице», как тогда выражались, — и в обществе вдруг являлись переделки стихов Сумароковой, где уж жестокосердая «любовница» заменялась «коварным любовником»: все

были довольны остроумной пародией, всех это занимало, и еще больше росла слава первой русской писательницы.

В скором времени юная Сумарокова вышла замуж за Княжнина, и продолжала свою литературную профессию.

Так положено было начало переворота в истории русской женщины, начало ее духовного возрождения.

Сумароковой-Княжниной, бесспорно, принадлежит достойный уважения почин в этом деле. За Сумароковой-Княжниной история должна признать честь введения русской женщины в круг деятелей мысли и слова, и было бы весьма желательно, чтобы русская наука не оставляла долее в безвестности произведений первой русской писательницы, как ни слабы, как ни детски эти произведения.

Если бы наша академия приняла на себя труд компактного издания всего, что успела высказать в печати русская женщина, хотя бы со времени Сумароковой-Княжниной, а потом что высказано и что сделано ее преемницами — Ржевскою, Вельяшовою-Волынскою, Зубовою, Храповицкою, Меншиковою, Буниною, Волконскою, Хвостовою, Орловою, Ниловою, Голицыною, Поспеловою и др., о которых нами будет сказано в своем месте, то этим академия оказала бы драгоценную услугу истории нашего духовного развития.

IV. АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА РЖЕВСКАЯ
(урожденная Каменская)

Не много, кажется, времени прошло с тех пор, как появилось первое поколение женщин XVIII века, женщин петровской эпохи, а потом второе поколение женщин этой же эпохи и следующей за ней, женщин времен Екатерины I, Анны Иоанновны, Бирона; однако, уже целая бездна разделяет женщин первого и второго поколения от третьего.

Женщины первых двух поколений хорошие танцорки, искусные интриганки, иногда блестяще, по тому времени, воспитанные, прекрасно говорящие на разных языках, но ни одна из них не умеет на письме толково выразить свою мысль, грамматически не может связать двух слов. Анна Монс и Екатерина I, пользовавшиеся любовью преобразователя России, писать совсем почти не умеют, особенно последняя, светлейшая княгиня Дарья Михайловна Меншикова тоже пользуется секретарскими услугами своей сестры, Варвары Михайловны Арсеньевой, грамматические познания которой также не очень обширны, это женщины первого поколения

преобразованной России. Второе поколение женщин писать умеют — но как? Образчики этого письма представляют нам письма «Маврутки» Шепелевой к великой княжне Елизавете Петровне, письма княжны Юсуповой к Анне Юленевой — кузнечихе, письма, наконец, Александры Салтыковой, урожденной княжны Долгорукой, к всесильной Матрене Балк: это хуже литературы каких-нибудь горничных.

«Маврутка» Шепелева, придворная особа, приближенное к цесаревне Анне Петровне, супруге герцога голштинского, лицо, живя с герцогиней в Киле, пишет интимные письма в Россию к цесаревне и будущей императрице Елизавете Петровне таким невообразимым языком:

«Вэликая государыня цесаревна Элизабет Петровна! Донашу я вашему высочеству, что их высочество, слава Богу, в добром здравье. Поздравляю вас тезоименитством вашим, дай Боже вам долгия лета жить, и чтоб ваша намерение оканчалась, которо у нас в Кили, и ввсяко ваша намерение оканчалось. Еше ш данашу я вашему цесарьскому высочеству, что приехал к нам принц Орьдов и принц Август. Матушка цесаревна, как принц Орьдов хорош! Истинно я не думала, чтобы он так хорош был, как мы видим; ростом так велик, как Бутурлин, и так тонок, глаза такие как у вас цветом и так велики, ресницы черные, брови темнарусия, воласи такие как у Семона Кириловича, бел, немного почернея покойника Бышова, и румянец алой всегда в щеках, зуби белии и хороши, губи всегда али и хараши, речь и смех так как у покойника Бышова, асанка паходит на асудареву асанку, ноги тонки, потому что молат, 19 лет, воласи свои носит, и воласи на паес, руки падят очинь на Бутурлини, и в Олександров день полажила на нево кавалерию цесаревна», и т. д.

Подумать можно, что пишет какой-нибудь солдат из полка в деревню.

Александра Салтыкова, урожденная княжна Долгорукая, находившаяся как мы видели, в родстве с царским домом, пишет ко двору, к генеральше Балк:

«Гасударяня мая матрена ивановна многолетно здравствуи купно со всеми вашеми! о себе моя гасударяня донашу, еще в бедах своих зживыми обретаюся... Пача всево вас прошу, изволте меня садержать по своему обещанию верно такош где вазможно упоминать в миласти ее величеству, гасударыне циа, вчем на миласть вашу бессумненною надежду имею, такош прашу матушка мая изволте камне писать протсранней, что изволите услышить в деле моем какое будет са мной милосердие и какую силу будет спротивной стараны делать, а я

надеюса что ви извесны от егана нашева желания и ежели миластиво будет решение на нашу суплику, то надеюса вас скоро видеть. Остаюсь вам верьная до смерти александра. Прошу от меня покъланитъца ее миласти анне ильинишне».

Читая это писанье, можно подумать, что это горничная пишет своей барыне, и притом горничная не благовоспитанная. А оказывается, что это деловое письмо одной придворной особы к другой придворной особе, — одним словом, это пишет княжна Долгорукая к ближней особе императрицы Екатерины Алексеевны.

И вот, в следующем, третьем поколении этих женщин являются уже писательницы: они идут в уровень с литературой своего времени, они завоевывают себе место в истории русского просвещения и приобретают историческое бессмертие.

Так спасительно было удаление из русского общества тлетворного духа дворцовой интриги, борьбы из-за места, из-за власти, из-за «времени».

Мы уже познакомились с одною из женских личностей третьего поколения русских женщин XVIII века, с первою русскою писательницею Сумароковою-Княжниною.

Но если явилась первая, то должна была явиться и вторая.

Этою второю была Александра Федотовна Ржевская, родная сестра бывшего потом фельдмаршалом графа Михаила Федотовича Каменского.

Новиков говорит, что девица Каменская «является на поприще российской словесности почти современною Екатерине Александровне Княжниной».

Замечательно, что появлению женщины на литературном поприще способствовало влияние образовывавшихся в то время литературных кружков, интересы которых, по счастью, вращались вне того заколдованного круга, в котором, как белка в колесе, билось высшее русское общество первой половины XVIII столетия, вне круга дворцовой интриги, выискиванья мест, подкапыванья под друзей и недругов, вне круга заговоров для личной выгоды, а не для выгоды страны.

Литература сразу поставила себя выше этих дрязг и, отвернувшись с презрением от Тредьяковского, хотевшего во что бы то ни стало, втереться в этот заколдованный круг, выделилась в особый кружок, удалилась в свою маленькую нравственную территорию, на свой мифологический Парнас, и горячо рассуждала там о греческих богах и богинях, о «дактилях» и «ексаметрах».

Литераторы явились хотя робкими, но честными борцами прежде всего за русское слово, за его чистоту, а потом и за идею правды и добра, за чистоту человека.

Оттого двор императрицы Елизаветы Петровны и отнесся к ним сочувственно, как к людям умным и честным, не вмешивавшимся в политику, которая тогда понималась так узко.

Общество литераторов стало привлекательным, заманчивым. Лучшие люди потянулись в этот лагерь.

Неудивительно, что потянулась туда и женщина, наиболее сочувственно отзывающаяся на всякое живое и доброе дело.

Девицу Каменскую мы видим в обществе Сумарокова и в некотором товариществе с его любимой дочерью «Катинькою», первою русскою писательницею.

Не удивительно, что влияние кружка Сумароковых сделало и Каменскую писательницей.

Как «Катинька» Сумарокова вышла замуж за литератора Княжнина, так и Каменская нашла себе мужа в литературном кружке в лице Алексея Андреевича Ржевского, принадлежавшего к числу хороших знакомых Сумарокова.

Ржевская, подобно Сумароковой, начала рано писать. Стихи ее помещались в тогдашних журналах и привлекали общее внимание людей, начинавших интересоваться чтением, начинавших учиться пониманию общественных интересов.

Сумарокова-Княжнина и Каменская-Ржевская были пионерами человечных прав женщины.

Ржевская, следя за литературой западной Европы, искала там образцов для своих произведений и, побуждаемая славою известных тогда во всей Европе «Перуанских писем», написала оригинальный роман под заглавием «Письма кабардинские».

Еще когда роман был в рукописи, об нем много возбуждено было толков в обществе. Все наперерыв старались прочесть его — и он читался в кружках литераторов.

Слух о новом произведении молодой русской писательницы, соперницы Сумароковой, дошел до двора.

Двор заинтересовался новым романом — это была уже победа женщины над преданием.

Роман, еще не напечатанный, пожелали прочесть во дворце. Современники по этому случаю отзываются, что «рукопись была принята всем двором с необыкновенною похвалою».

Стихи молодой писательницы наперерыв печатались в тогдашних журналах, потому что по свидетельству бытописателей восемнадцатого века на Ржевскую литература возлагала много надежд, — «ожидания были велики».

Но ожиданиям этим суждено было сбыться только наполовину, даже менее: русская литература лишилась одного из талантливейших своих представителей.

Ржевская умерла в 1769 году — всего двадцати восьми лет от роду.

Вот современная эпитафия, отчасти характеризующая нравственный образ второй, по времени, русской писательницы:

Здесь Ржевская лежит: пролейте слезы, музы!
Она любила вас, любезна вам была,
Для вас и для друзей на свете сем жила,
А ныне смерть ее в свои прияла узы.
Среди цветущих лет, в благополучный век,
Рок жизнь ее пресек:
Увянул острмй ум, увяла добродетель,
Погибло мужество и бодрый дух ее.
Могущий Всесодетель!
Она ли участи достойна есть сея,
Чтоб век ее младый пресекло смерти жало?
Не долгий ли ей век здесь жити надлежало?
В достоинствах она толико процвела,
Что полу женскому здесь честию была:
Ни острый ум ее, наукой просвещенный,
Ни нрав, кой столь ее прекрасно украшал,
Который и друзей и мужа утешал,
Ни сердце нежное ее не защитили
И смерти лютыя от ней не отвратили!
Великая душа, мужаясь до конца,
Достойна сделалась лаврового венца.
Скончавшись, Ржевская оставила супруга;
Супруг, в ней потеряв любовницу и друга,
Отчаясь, слезы льет и будет плакать ввек:
Но что ж ей пользы в том? Вот что есть человек!

За Ржевской следуют уже женщины-писательницы екатерининского времени: первое время действуют еще ученицы Ломоносова и Сумарокова, а потом они уступают место ученицам Державина, Новикова, Фонвизина.

Но об этом четвертом поколении русских женщин восемнадцатого века мы скажем в своем месте.

V. ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

Из всех русских женщин восемнадцатого века Екатерина II представляет собою наиболее полное отражение целой половины этого века — всю, так сказать, сумму содержания помянутого пятидесятилетия, все периферии общественной и государственной жизни, совершившиеся в полвека историче-

ского существования России, и все ее положительные и отрицательные стороны.

Богатая личность эта могла бы быть названа, если можно так выразиться, микрокосмом тогдашней России, если бы только по рождению своему не принадлежала чуждой нам народности и связана была с русскою землею не адаптивною, но кровною, органическою связью, хотя, однако ж, адаптивность эта не мешала ей быть едва ли не более русскою по душе, чем те многие из русских женщин, в жилах которых без примеси текла русская кровь, над колыбелью которых пелась русская песня о злой татарщине и о полоняночке и которые с колыбели росли на русском солнышке. Ничего этого не знала Екатерина II.

Но, рассматривая эту личность в зависимости от среды, которая воздействовала на ее собственное развитие и давала для этого развития необходимый материал, в зависимости от условий, от которых не бывает свободна ни одна личность, как бы, по-видимому, самостоятельно ни вырабатывалась ее индивидуальность, мы не можем не заметить, что Екатерина II, при всей видимой самобытности и цельности ее богато одаренной природы, была прямым и непосредственным продуктом времени, несколько ей предшествовавшего. Говоря другими словами, Екатерина является не творцом и не доминирующим началом так называемого «екатерининского века», а только продолжением того, что начали другие, раньше ее. Если кто бросил в русскую почву зерно, из которого вырос «екатерининский век», так это Елизавета Петровна и люди ее времени, начиная от Ломоносова и Сумарокова и кончая такими, мало кому известными личностями, как Княжнина, Ржевская и другие женщины. Самые блестящие годы царствования Екатерины II были только выполнением программы, созданной творческой силою Елизаветы Петровны, значение которой для России до сих пор не объяснено достаточно. Екатерина II была только ее ученицей, но ученицей даровитой, неутомимо деятельной и практической.

Елизавета Петровна, как мы указали на это в ее характеристике, представляет собою более цельный тип, чем какая-либо другая женщина того времени, более чем самые выдающиеся государственные деятели ее века и более чем Екатерина. Она не поддалась рабскому, но вместе с тем только внешнему копированью всего немецкого, хорошего и дурного, лишь бы оно было не русское. Напротив, будучи еще цесаревной, она была свободна от этого нравственного рабства: ее симпатии лежали к русской национальной почве, к русскому

народу и выражались самостоятельно. Живя частным лицом и даже несколько в загоне от Минихов и Остерманов, еще цесаревной, оставшись сиротой после своего великого родителя и скоро за ним сошедшей в могилу матери, Елизавета Петровна сошлась с народом. Она жила в селе, на виду у крестьян и посадских людей, участвовала в сельских, крестьянских хороводах, пела с крестьянскими девушками хороводные песни, сама их сочиняла. Затем она любит и ласкает русского солдатика и находит не неприятным его сообщество. Всякий солдатик и компанеец свободно идет к ней, к своей «матушке-цесаревне», с именинным пирогом и получает чарку анисовки из рук цесаревны, которая и сама не прочь, «по-батюшкину», выпить за здоровье солдатика. Все придворные пети-метры и маркизы не пользуются расположением цесаревны, а, напротив, ей больше нравится общество русских и малорусских певчих, между которыми она сама поет «первым дишкантистом». Ей близок и певчий Чайка, умерший в Киле «от желчи», и певчий Тарасевич, и сержант Шубин; а впоследствии певчий Алексей, сын малороссийского казака Грицька Розума, становится ее супругом. Она сама пишет русские стихи. Она покровительствует созданию русского театра, первых русских гимназий, первого русского университета. При ней получает начало русская литература, русская журналистика. Все русское, придавленное Петром, оживает, получает силу, хотя Россия и не отворачивается от запада, куда Петр насильно повернул ее лицом так круто, что едва не повредил ей позвоночного столба.

В то время, когда все это совершалось, когда русская мысль и русские симпатии находили кругом отголосок и крепли явственно, в это-то именно время молоденькая принцесса ангальт-цербстская, будущая Екатерина II, еще в качестве великой княжны, присматривалась только ко всему русскому и училась тому, что находило и сочувствие, и поддержку в Елизавете Петровне.

Своим практическим умом Екатерина поняла, что для того, чтобы быть русскою царицею и быть любимою своим народом, необходимо быть такою, какова была Елизавета Петровна, подражать ей, продолжать то, что та начала.

И Екатерина II действительно была продолжением Елизаветы Петровны и лучших людей ее времени, хотя — нельзя этого отрицать — продолжением блестящим, затмившим даже свое начало, как Екатерина блеском имени своего затмила скромное имя Елизаветы.

Иначе, по нашему мнению, и нельзя понимать личность Екатерины II.

Все, что мы ниже скажем о Екатерине II, будет подтверждением только того, что мы сейчас уже сказали, по-видимому, лишь a priori.

Екатерина родилась в городе Штетине, в Померании, в 1729 г., 21 апреля, т. е. года через четыре после смерти Петра Великого и через два года по смерти Екатерины I.

По рождению она принадлежала к роду ангальт-цербст-бернбургскому, и родилась в губернаторском доме, потому что отец ее был губернатором прусской Померании. Мать ее была родная сестра того епископа любского, который был женихом Елизаветы Петровны, в то время еще цесаревны, и которого цесаревна страстно любила и долго не забывала; он, как известно, умер женихом цесаревны.

В доме родительском будущая императрица Екатерина II носила имя Софии Августы Фредерики, где и получила первоначальное воспитание.

Из детских ее воспоминаний более крупным должно было оставаться то, что родители ее часто посещали дворец Фридриха II, и девочка-принцесса видывала этого государя, имя которого было таким громким в Европе. Никто, конечно, не догадывался, что и имя маленькой принцессы Софии Августы будет впоследствии не менее громким и будет оспаривать первенство у имени Фридриха, короля-философа.

София Августа — это была девочка живая и резвая. Она, по свидетельству ее биографов, была гибка, как сталь, но и упруга, как стальная пружина: приняв какую угодно форму под давлением чужой воли, она потом опять выпрямлялась и получала свою первобытную форму, в какую выковала ее природа. При этой стальной гибкости, девочка была послушна как ребенок, но подчас проявляла самостоятельность не ребяческую.

До пятнадцати лет девочка ничего не видела, кроме своего Штетина, если не считать посещений королевского дворца. С пятнадцати же лет ей предстояло далекое переселение на восток.

В голове ее матери сложился широкий план — сделать Софию Августу русской императрицей, и она с тактом подошла к выполнению этого плана. Она знала, что Елизавета Петровна чтила память своего жениха, а этот покойный жених был дядя Софии Августы, Елизавета же Петровна была в то время самодержавною русскою императрицею. И вот при помощи Фридриха II она начала устраивать судьбу своей дочери, взяв в основание своих домогательств то, что София Августа — племянница того

самого любского епископа, который когда-то был так дорог Елизавете Петровне.

В 1744 году мать привозит Софию Августу в Москву. Гибкая, упругая и послушная, пятнадцатилетняя девочка скоро полюбилась императрице, и девочку оставляют в России.

В России в это время воспитывался племянник Елизаветы Петровны, сын несчастной сестры ее Анны Петровны, слишком рано умершей в Киле и в наследство после себя оставившей ребенка, который впоследствии был императором русским, под именем Петра III.

Вот с этим-то племянником Елизаветы и предрешена была свадьба резвой принцессы Софии Августы.

Как будущей невесте наследника русского престола, ей дают русских учителей: в греко-российском законе наставлял ее Симеон Тодорский, в русском языке — Ададуров.

София Августа сама предугадала свою судьбу, и с жаром занялась изучением русского языка: русская речь, русские симпатии, которыми была проникнута и Елизавета Петровна, — все это стало для Софии Августы путеводною звездою, и эта звезда довела ее до трона, пронесла ее прославленное имя по всей Европе, покорила ей часть Польши, Новороссию, Крым, часть Кавказа, вписала ее имя в историю в числе великих женщин всего мира.

Ададурову Екатерина обязана столько же, сколько и своей даровитости: при его помощи она поняла, чем она может быть сильна в России, и очень искусно умела этим воспользоваться.

Скоро София Августа приняла греческий закон и названа Екатериною: с этим именем она прославилась, и это имя занесено на страницы истории.

Когда Екатерине Алексеевне исполнилось шестнадцать лет и четыре месяца, последовало ее бракосочетание с великим князем Петром Федоровичем.

Молодые люди были одних лет, но далеко не были одарены равномерными способностями, далеко также не сходились и характерами. Петр Федорович унаследовал характер своего родителя, принца голштинского: это была личность далеко не сдержанная, воля, не направленная к тем целям, к которым она должна быть направлена. Для Петра Федоровича Россия была чужою страною: его симпатии лежали к западу, к родной Голштинии; русские интересы он мог измерить только с точки зрения своих симпатий, Россия почти не знала его, как своего великого князя. У него на западе был один образец — Фридрих II, и когда Россия вела войну с

Пруссией, Петр Федорович, будучи наследником престола, тайно сообщал Фридриху, врагу России, все, что против него предпринималось, в чем сознавался сам впоследствии, когда уже был императором. Он окружен был голштинцами, а русские все стояли от него далеко.

Не так понимала задачу своей жизни его молодая супруга. В своей привязанности к России, к русским людям, к русскому обряду, к русской речи она искала свою силу — и нашла ее.

Свои молодые годы Екатерина не даром употребила. В то время, когда ее супруг изучал голштинские и прусские солдатские приемы, когда в своем кабинете делал разводы и военные парады при помощи оловянных игрушек, изображавших солдатиков в разных прусских и голштинских мундирах, Екатерина усидчиво училась и намечала для себя дельных людей из числа русских придворных.

С самого начала она страстно отдалась набожности. Но ее живой ум требовал новой пищи, новых познаний, и Екатерина с такою же страстью обратилась к чтению серьезных книг, чем и подготовила для всей своей будущей государственной жизни обширный запас сведений. Начав с Плутарха и Тацита, она перешла к Монтескье, от Монтескье к Вольтеру, к энциклопедистам. Вся западная литература была ею прочитана, изучена, оценена. Философские тенденции века не прошли мимо нее: она пытливо взвешивала и теории энциклопедистов, и теории их противников. В двадцать лет она могла поддерживать философский и политический разговор с самым просвещенным человеком своего века, и замечания ее были уместны, вопросы осмысленны, ответы находчивы, иногда едки, но не обидчивы.

Ко двору императрицы она являлась одетою просто, скромно. В то время, когда другие придворные дамы искали ловких, веселых и красивых собеседников, Екатерина держалась больше около старичков, около иностранных посланников, министров, заезжих путешественников и искала у них чему-либо поучиться.

Эта черта замечена и за княгиней Дашковой, когда она была еще молоденькою графинею Воронцовой: это мы увидим ниже, в характеристике княгини Дашковой.

Рассказывают, что прусский министр Мардефельд, пораженный зрелостью суждений Екатерины, когда она была еще великою княжною, шепнул ей на одном из придворных собраний.

— Madame, vous regnerez, ou je ne suis quun sot.

— J'accepte l'augure... — также тихо отвечала Екатерина, и была права.

Мардефельд не ошибся: она действительно царствовала.

В свой интимный кружок она допускала только людей с русским именем — это ей указывала ее путеводная звезда, ее практический ум. Так она приблизила к себе известного впоследствии Захара Чернышева, Льва Нарышкина, А. Строгонова, С. Салтыкова. Салтыков был камергером ее супруга, Петра Федоровича, и потому имел более свободный к ней доступ и пользовался ее дружбой.

Девять лет брак Екатерины был бесплоден, хотя она и испытала два раза несчастные роды — и будущего наследника русского престола все еще не было.

Наследник этот родился только в 1754 году, когда Екатерине было уже двадцать пять лет.

Но как императрица Анна Иоанновна взяла когда-то к себе наследника русского престола, Иоанна Антоновича, едва он только родился, так Елизавета Петровна взяла у Екатерины ее сына, Павла Петровича, поместила его в своих покоях и только изредка дозволяла матери видеть своего ребенка.

Так прошло шесть лет.

Екатерина Алексеевна переживает уже пору первой молодости. Ей уже исполнилось тридцать лет. Пятнадцать лет она замужем. То взаимное отчуждение, которое сказывалось в отношениях Екатерины и Петра вследствие несходства характеров и противоположности интересов, преследуемых ими, с годами становилось открытее и росло в возрастающей прогрессии, между супругами ложилась пропасть — сближение было невозможно.

Надо было иметь много веры в свою силу, чтобы будущее не представлялось для Екатерины угрожающим, и она имела эту веру, имела и реальные основания думать, что у нее под ногами есть почва. Круг друзей Екатерины хотя был не велик, но глубоко ей предан. Страстная привязанность к ней княгини Дашковой, молодой энтузиастки, которую, так сказать, на руках носили лучшие офицеры гвардии, возвышала популярность великой княгини в войске. Екатерина все более и более становилась русскою, имя ее чаще и чаще упоминалось во всех влиятельных кружках, между тем, как великий князь оставался в тени, заслоняемый от России своею голштинскою стеною, которою он, так сказать, сам огородил себя.

Но вот умирает Елизавета Петровна. На престоле Петр III — он выходит из тени по неизбежному ходу дел, а тень переносится на Екатерину.

Но и в этой тени ее фигура выступает величаво, царственно.

Глубоко понят этот роковой в нашей истории момент даровитым художником, Н. Н. Ге и перенесен на полотно в последней его замечательной картине — «Екатерина у гроба Елизаветы Петровны». Император Петр III только что поклонился гробу отошедшей в вечность царственной тетки своей и предместницы, и удаляется со своею свитой: по праву, он должен был первый проститься с покойницей; последнею подходит поклониться гробу покойницы Екатерина; но что-то во всей картине художника говорит, что последняя становится первою, а первый — последним. Неуловимо, по-видимому, выражение лица Екатерины, но художник дал этому лицу столько обаяния и такую определенность мысли, что оно без слов говорит то, что желает высказать: эта смелая, великолепная голова, с ее скромною, исторически верною прическою, так реально отделяется от полотна, что когда подходишь к картине, то так и ждешь, что голова эта поворотится и окинет царственным взглядом подходящего к картине. И следующая за нею княгиня Дашкова, и все эти в почтительном отдалении стоящие мужские фигуры всею своею солидностью выражают, кажется, одну и ту же тайную мысль, которую когда-то Мардефельд шепнул на ухо Екатерине.

И эта мысль скоро осуществилась.

В характеристике княгини Дашковой, на основании ее записок, мы обстоятельно излагаем самый факт восшествия на престол Екатерины, а потому здесь мы не будем говорить об этом предмете, чтоб не повторяться.

Наша цель в данном случае — собственно характеристика самой Екатерины.

Мы сказали, что главная ее заслуга состояла в том, что она, предъявляя свои права на престол, делала это в видах ближайшего ограждения русских интересов, которым угрожала опасность. И в этом случае, роковом в жизни Екатерины и России, Екатерина явилась непосредственным продолжением той государственной идеи, полным выражением которой была только что скончавшаяся дочь Петра Великого.

Эту чисто русскую идею Екатерина и высказывает в первом своем манифесте, с которым она обратилась к России, как императрица.

«Всем прямым сынам отечества российского явно оказалось, — возглашала она в манифесте 28 июня, — какая опасность всему российскому государству начиналася самым делом, а именно: закон наш православный греческий перво

всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона. Второе, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие, заключением нового мира самим ее злодеям отдана уже действительно в совершенное порабощение, а между тем, внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, совсем испровержены. Того ради, убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностию, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо, видев к тому желание всех верноподданных явное и нелицемерное, вступити на престол наш всероссийский самодержавно, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили» (Полн. Собр. Зак. XVI, 11582).

Но, кроме того, русскому народу нужно было осязательное доказательство того, что новая императрица приняла близко к сердцу нужды своего народа и что она хорошо знает эти нужды.

А нужды эти были действительно велики. Эпоха преобразований, войны со шведами и турками, создание флота, построение новых крепостей, проведение каналов, учреждение фабрик и заводов — все это такою тяжестью ложилось на народную экономию, что никогда, кажется, Россия не была так бедна и истощена, как при Петре и первых его преемниках, что народу приходилось расходиться врозь, и он расходился, убегал за границу, в леса, скитался по степям, потому что ему было и есть нечего и платить за свои души нечем.

Екатерина знала это, потому что с самого своего приезда из Штетина прислушивалась к нуждам народным, знала больные места русской земли, и эти-то больные места она хотела заживить, едва только имя ее разнесено было по России манифестом 28 июня.

И вот императрица, на восьмой уже день по восшествии на престол, обращается к русскому народу с такою милостью, которую только русский человек может вполне ценить. Это — удешевление соли, на дороговизну которой русский народ всегда жаловался.

Вот что по этому случаю гласит манифест 5 июля:

«Объявляем во всенародное известие. Мы, взошед на всероссийский императорский престол, промыслом и руководством божиим, по желанию единодушному верноподданных и истинных сынов российских, за первое правило себе постано-

вили навсегда иметь неутомленное матернее попечение и труд о благополучии и тишине всего любезного российского отечества, восстановляя тем весь вверенный нам от Всевышнего народ в вышнюю степень благоденствия; а вследствие того, при самом теперь начале благополучного нашего государствования, восхотели мы, не отлагая вдаль, но в настоящее ныне время облегчить некоторою частию тягость народную, в наипервых в самой нужной и необходимой к пропитанию человека вещи, яко то в соли; но однако ж при сем остаться не может, а воля наша есть еще несравненно, как в сем пункте, так и в прочем для всего общества полезном и необходимом, оказать наши матерния милосердии».

И цена соли объявляется десятью копейками дешевле на пуд против существовавших цен. Это — крупная сбавка цены, и народ действительно почувствовал облегчение.

Таков был первый шаг, который сделала императрица Екатерина II для сближения с русским народом, и шаг этот сделан был как нельзя более удачно, потому что увеличивал ее популярность даже в тех далеких русских захолустьях, куда очень редко заходило ее царственное имя, куда не проникали даже ее манифесты. Популярность Елизаветы была сильна тем, что она была и родом русская и душою русская, что не гнушалась она солдатским именинным пирогом и отплачивала за него солдатику доброй чаркою анисовки, налитою притом рукой самой «матушки-цесаревны». Екатерина в основание своей популярности клала русскую хлеб-соль, и это основание было одно из самых прочных.

Но вот через десять дней после восшествия ее на престол умирает ее супруг, император Петр III, и Екатерина вновь обращается к своему народу с манифестом.

«В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского, получили мы известие, что бывший император Петр III обыкновенным и часто случавшимся ему припадком гемороидическим впал в прежестокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которою мы одолжены к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключения, опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием. Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался. Чего ради мы повелели тело его привезти в монастырь Невский, для погребения в том же монастыре, а между тем, всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим импе-

раторским и матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с телом его последнее учинили прощание и о спасении души его усердные к Богу приносили молитвы. Сие же бы нечаянное в смерти его божие определение принимали за промысл его божественный, который он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему отечеству строить путем, его только святой воле известным».

Затем, целым рядом мер, льгот, распоряжений по части экономии, по части суда и торговли Екатерина доказывает, что она помнит свои обещания, данные русскому народу при своем восшествии на престол. Более русской императрицы Россия еще, кажется, не видела. Она, по-видимому, воскресает после тяжелого времени петровских ломок, после бироновского, остермановского, миниховского, курляндского, голштинского и всяких иноземных владычеств. Это было что-то похожее на первые годы царствования Бориса Годунова, когда тот действительно исполнил данную им всенародно клятву — «за святыя божия церкви, за одну пядь московского государства, за все православное христианство и за грудных младенцев кровь свою пролить и голову положить». Как Борис, показывая на свою рубаху, клялся, что он и ее готов отдать народу, так и Екатерина объявляла, что ничего не считает она ей принадлежащим, но что все это — собственность вверенного ей русского народа.

В первые же дни она начинает преследовать наше старое, историческое зло — всеобщее взяточничество, вымогательство, грабление слабого сильным: она объявляет, что от нее не будет пощады судьям «с омраченными душами» и что малейшее притеснение народа будет замечено ее «недреманным оком» и будет беспощадно наказано.

Подобно Елизавете Петровне, Екатерина доказывает свои русские симпатии и тем, что делает распоряжения, клонящиеся в пользу духовенства, в пользу церковных и монастырских имений. Если масса русского населения недоверчиво относилась к Петру и его преобразованиям, если преемники Петра заслужили в населении еще меньшую популярность, то, отчасти, благодаря тому, что при них духовенство считало себя обиженным, угнетенным: народ не даром кричал, что церковные колокола льют на пушки, а церковными сосудами жалованье платят немцам, за неимением денег. Екатерина тотчас же постаралась сделать себя свободной от подобных упреков: русские уроки Тодорского и Ададурова и пример Елизаветы пошли ей впрок.

Екатерина знает, что Москва — сердце России, что за отчуждение от Москвы, за переселение в свой «парадис», как

Петр называл Петербург, он много потерял в глазах русского народа, — и вот новая императрица, приняв присягу своих подданных, тотчас же собирается в Москву, чтобы этим укрепить свою нравственную связь со страною.

Но, собираясь в путь, она пишет сенату этот лаконический указ, напоминающий донесения цезаря римскому сенату.

«Господа сенаторы! Прошу для пользы обществу потрудиться и до отъезда в Москву, если можно, окончить дела: 1) о сбавке с соли еще цены; 2) вместо бывших сыщиков, сделать в губерниях и провинциях благопристойнейшее учреждение, как бы воров и разбойников искоренят; 3) о медных легковесных деньгах; 4) о таможнях, как им впредь полезнее быть».

Императрица не даром просит сенаторов «потрудиться». Она сама трудится с необыкновенною энергиею, и надо удивляться, как у нее на все хватило времени и сил. Во всю жизнь, до самой смерти, Екатерина проявляла деятельность изумительную.

В приезд свой в Москву на коронацию Екатерина доказала, что, несмотря на иноземное происхождение, она знала, как и чем подействовать на русское чувство москвичей: Москва увидела в ней радетельницу русских интересов, и имя ее молва разносила по всем уголкам России, и к этому имени не относились с тем чувством недоверия, какое возбуждали имена Анны Леопольдовны и Анны Иоанновны, обставленные не русскими фамилиями.

При всем том в Москве нашлась партия, старая дворянская, которая выказала свое недоверие к некоторым действиям или намерениям Екатерины, которых, может быть, у нее и не было. В Москве заговорили, что императрица намерена вступить в брак с одним из своих подданных, именно с графом Орловым, подобно тому, как Елизавета Петровна вступила в морганатический брак с графом Разумовским. Этого достаточно было, чтобы составилась особая партия, противная правительству, чтобы люди этой партии заговорили то, чего говорить не подобало. При этом недовольные из гвардии вспомнили старое время, бироновское и остермановское, когда какая-нибудь кучка гвардейцев могла по своему произволу располагать престолом, и пожелали воротить это старое время, чтобы, подобно турецким янычарам или римским гвардейцам-преторианцам, возводить на трон кого им угодно и низводить того, кто им не угоден. Но Екатерина была не Анна Леопольдовна: недовольные, братья Гурьевы и Хрущевы,

уже в Камчатке убедились, что с Екатериной бороться не легко.

И в отношении покровительства русской мысли, русского образования, литературы и искусств Екатерина поспешила доказать, что она выражает собою продолжение своей предшественницы, Елизаветы: она приблизила к себе представителей русской мысли; Сумароков принадлежал к ее интимному кругу, и без Александра Петровича со своею дочкою, сочинявшего русские народные песенки, не обходилось ни одно литературное предприятие во дворце новой императрицы; Волков, основатель русского театра при Елизавете, нашел также ценительницу в Екатерине II.

Во время коронации, в Москве, Сумароков и Волков устраивают русский народный праздник, который совсем не походил на «потешные» праздники Петра, почти постоянно оскорблявшие русское чувство, русский обряд и русскую народность. В празднике Екатерины, напротив, все рассчитано было на возбуждение национального чувства, и эти 250 колесниц, разъезжавшие по Москве с четырьмя тысячами «лицедействующих», эти куплеты и песни, сочиненные для «лицедеев» Сумароковым — все это и было понятно для московской массы, и возбуждало живейший интерес в зрителях.

После увеселений и народных празднеств, Екатерина, подобно древней русской царице, подобно добродетельной Анастасии, супруге Грозного или подобно Соломонии, отправляется, по русскому обычаю, на богомолье в Ростов, где почивали мощи угодника Димитрия Ростовского. Там, при многочисленном стечении народа, мощи угодника полагаются в великолепную серебряную раку, и императрица отправляется в другие русские старинные города и доезжает до Ярославля, в котором покойный царевич Алексей Петрович думал иметь свою летнюю резиденцию, если б ему пришлось царствовать, и восстановить древнерусское благочестие.

Мало того, Екатерина проявляет себя еще более русскою, чем была Елизавета.

Уже в первый год своего царствования она торжественно объявляет, что с этой минуты в ее державе никто не смеет преследовать ни раскольников, ни русского платья, ни русской бороды. Более полустолетия все русское терпело гонение, и вдруг принцесса ангальт-бернбургская становится на сторону русской бороды и русского зипуна: понятно, какой эффект должно было производить имя этой принцессы, ставшей императрицею Екатериною II.

Она вызывает из-за границы все те сотни тысяч раскольников, которые бежали туда при Петре и его преемниках, и отводит для поселения их лучшие земли за Волгой и в Сибири.

Мало того, она вызывает из-за границы всех русских, бежавших туда из боязни наказания за разные совершенные ими преступления, а равным образом, дозволяет переселиться в Россию и всем иностранцам, желающим колонизировать обширные пространства впусте лежащих земель обширного царства.

«По вступлении нашем на Всероссийский императорский престол, — объявляет она в манифесте 11 декабря 1762 года, — главным правилом мы себе постановили, чтоб навсегда иметь наше матернее попечение и труд о тишине и благоденствии всей нам вверенной от Бога пространной империи и об умножении во оной обитателей. А как нам многие иностранные, равным образом, и отлучившиеся из России наши подданные бьют челом, чтобы мы им позволили в империи нашей поселиться, то мы всемилостивейше сим объявляем, что не только иностранных разных наций, кроме жидов, благосклонно с нашею обыкновенною императорскою милостию на поселение в Россию приемлем и наиторжественнейшим образом утверждаем, что всем приходящим к поселению в Россию наша монаршая милость и благоволение оказываема будет, но и самим до сего бежавшим из своего отечества подданным возвращаться позволяем, с обнадеживанием, что им хотя б по законам и следовало учинить наказание, но, однако ж, все их до сего преступления прощаем, надеясь, что они, восчувствовав к ним сии наши оказываемые матерния щедроты, потщатся, поселясь в России, пожить спокойно и в благоденствии в пользу свою и всего общества».

После этого Екатерина задумывает еще более широкие планы по отношению к России.

Петр, постоянно занятый одною идеею — сделать Россию, посредством флота и войн, могущественнейшею державою в Европе, заботился об образовании России настолько, насколько это образование могло пригодиться ему в достижении его собственных государственных целей, и не успел подумать собственно об образовании русского общества, о просвещении всего народа и поднятии его экономического быта. Екатерина, напротив, в своих заботах о России захватывает вопрос об образовании более широко. Она думает действительно перевоспитать Россию, создать новое поколение отцов и матерей, создать новых людей. Чтобы поднять

русский народ на ту высоту, на которой он, по своему историческому призванию, должен стоять, по мнению Екатерины и ее помощника в этом, И. И. Бецкого, «оставалось единое токмо средство — произвести сперва способом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, кои бы детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие получили они сами».

Правда, эта великая мысль получила неудачное применение, потому что разрешилась основанием «воспитательных домов» в Москве и Петербурге, а равно открытием «Смольного» и других институтов, посредством коих надеялись создать «новую породу или новых отцов и матерей»; однако, в основании самой идеи лежала глубокая истина. Действительно, институты, особенно «Смольный», дали нам новое поколение русских женщин, но, как мы увидим ниже, не таких, каких, конечно, разумела Екатерина.

Уже в 1766 году Екатерину занимал один из важнейших во всей истории русского народа вопросов — это вопрос о наделении землею крестьян, и она поставила на очередь этот исторический вопрос, получивший разрешение только через сто лет после того, как над ним задумывалась Екатерина. По ее предложению основанное тогда Вольное экономическое общество поставило для разрешения такой вопрос: «Полезнее ли для государства, чтобы крестьянин имел собственные земли или владел бы только движимостью, и до какой степени для пользы государства простираться должна сия собственность».

И при Петре, и при преемниках его, а еще более в до петровские времена русская земля страдала от неопределенности земельных прав владельцев, от неизвестности, кому что принадлежит, от невообразимой чересполосности владений, — и вот Елизавета Петровна задумала исправить этот капитальный государственный недостаток, предприняв генеральное межевание всего государства. Екатерина, как продолжательница и исполнительница того, что задумано и начато было Елизаветою, продолжала и в данном случае начатое Елизаветою дело, и вот Россия до сих пор основывает свои земельные права на основании добытых генеральным межеванием результатов.

Около десяти лет Екатерина неутомимо работает над улучшением внутреннего государственного строя, принимает личное и непосредственное участие в этой сложной работе, дает инициативу и направление коллективным работам сената и разных комиссий, пишет проекты, поощряет всякую выда-

ющуюся умственную силу и в самый разгар этой деятельности выступает с капитальным своим произведением, прославившим ее имя во всей Европе — с «Наказом комиссии нового уложения». Цель этого обширно задуманного дела — создать для России новые, сообразные с условиями жизни, законы посредством выборных представителей от всей русской земли. «Наказ» выражал собою как бы программу и руководство для депутатов, которые должны были съехаться в Москву со всех концов государства и выражать собою представительство всех сословий, всех состояний и всех местностей с их разнородным населением.

Много замечательных истин рассеяно в «Наказе», истин, важных собственно потому, что в них выражался личный взгляд Екатерины на многие государственные и общественные вопросы.

Во вступлении к «Наказу» Екатерина ставит следующие слова: «Господи Боже мой! Вонми ми и вразуми мя, да творю суд людем твоим по закону святому твоему судити в правду».

Трудно и неудобно было бы передать в кратком биографическом очерке все богатство содержания «Наказа», но мы позволяем себе остановиться на некоторых положениях, которые должны остаться памятником личного отношения Екатерины к той или другой высказываемой ею истине.

Оригинальную мысль она высказывает о свободе в государстве, о «вольности», как тогда выражались.

«В государстве, — говорит Екатерина, — т. е. в собрании людей, обществом живущих, где есть законы, вольность не может состоять не в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принужденному делать то, чего хотеть не должно».

Относительно наказаний за преступления императрица горячо высказывается против жестокости существующих тогда мер наказаний, против смертных казней и против пыток. «Искусство поучает нас, — говорит она, — что в тех странах, где кроткие наказания, сердце граждан оными столько же поражается, как в других местах жестокими». В другом месте она выражает эту мысль так: «Ежели найдется, страна, где люди инако не воздерживаются от пороков, как только суровыми казнями, ведайте, что сие проистекает от насильства правления, которое установило сии казни за малыя погрешности», т. е., что самые наказания и их неумеренность деморализуют общество, и чем суровее наказания, тем развращеннее становится общество и тем нечувствительнее становится оно к самой жестокости.

Собственно о пытках императрица выражается еще определеннее и абсолютно осуждает их даже в самом принципе. «Употребление пытки, — по ее словам, — противно здравому естественному рассуждению: само человечество вопиет против оные и требует, чтобы она была вовсе уничтожена».

Обширный «Наказ» свой императрица заключает следующею речью: «Хорошее мнение о славе и власти царя могло бы умножить силы державы его, но хорошее мнение о его правосудии равным образом умножает оные. Все сие не может понравиться ласкателям, которые по вся дни всем земным обладателям говорят, что народы их для них сотворены. Однако ж, мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, а по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны. Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какий народ более справедлив (juste — во французском тексте «Наказа», так как он явился разом на двух языках) и, следовательно, более процветающ (heureux) на земле, намерение законов наших было бы не исполнено: несчастие, до которого я дожить не желаю!»

В то время, когда, согласно этому «Наказу», в Москву собирались со всех концов России депутаты для составления нового уложения, императрица предприняла новое путешествие по своему обширному царству, и на этот раз вознамерилась ознакомиться с верхним и средним Поволжьем, чтобы лично ознакомиться с экономическим положением страны и с жизнью ее населения. После Петра и Елизаветы она была первая царственная особа, которая личное ознакомление с народною жизнью считала необходимым вспомоществованием в деле управления страною.

2 мая 1767 года императрица отправилась из Твери по Волге в сопровождении немногочисленной свиты, к которой принадлежали братья Орловы, Чернышевы, Бибиков, Елагин и некоторые придворные чины. Екатерина плыла по Волге на богато отделанной галере «Тверь» и посетила почти все старые русские города, с которыми соединялись важнейшие исторические воспоминания. Прежде всего, государыня посетила Углич, место детских игр и смерти последнего сына Грозного, несчастного царевича Димитрия. Затем проследовала до Ярославля, где к свите ее присоединились многие чужестранные министры. В Костроме Екатерина осматривала Ипатьевский монастырь, где под надзором матери рос когда-то царственный отрок, первый русский царь из дома Романовых. За Костромой следовал

Нижний, родина прославленного в истории нижегородского «говядаря» Козьмы Миныча Сухорукова. За Нижним — Казань, где когда-то полегло не мало русских голов при взятии этого города Грозным.

По всей Волге Екатерину встречал народ, сходившийся из самых отдаленных от Волги местностей, чтобы только взглянуть на императрицу, имя которой с каждым годом становилось популярнее.

Знакомясь во время этого пути с нуждами населения, императрица не прерывала своих занятий государственными делами, и в то же время досуги свои посвящала как переписке с приближенными к ней, но отсутствующими особами, так и специально литературе. Во время этого продолжительного путешествия она занималась переводом на русский язык «Велизария», известного сочинения Мармонтеля, разделив этот труд между некоторыми лицами своей свиты. Так как раздел этого труда произведен был по жребию, то лично императрице досталась девятая глава «Велизария», где говорится о заблуждениях верховной власти.

Насколько либерален был взгляд императрицы в первое время своего царствования на литературное дело, видно из того, что «Велизарий» был напечатан ею в следующем году и посвящен тверскому епископу Гавриилу, почти в то самое время, когда сочинение это, по приговору Сорбонны и парижского архиепископа, в Париже осуждено было на сожжение.

Что в продолжение своего путешествия Екатерина входила в нужды и непосредственно изучала города и местности, чрез которые проезжала, видно из писем ее к Никите Ивановичу Панину, писанных императрицею с дороги.

Из Симбирска, например, она писала ему: «Никита Иванович! Письмо ваше от 3 числа я сего утра получила, из которого я усмотрела, что сын мой, слава Богу, здоров, на будущей неделе неотменно с вами буду. Я завтра к вечеру отселе еду. Гр. Гр. Орлов отложил свою поездку в Саратов, а вместо его брат его и советники опекунства поехали. Здесь такой жар, что не знаешь куда деваться, город же самый скаредный, и все домы, кроме того, в котором я стою, в конфискации, и так мой город у меня же; я не очень знаю, схоже ли это с здравым рассуждением, и не полезнее ли повернуть людям их дома, нежели сии лучинки иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости. Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги были возвращены, дома попусту не сгнили, и люди не приведены были вовсе в истребление, а недоимки по

соли и вину только сто семь тысяч рублей, к чему послужили как кража, так и разные несчастные приключения».

Через пять дней (12 июня 1767 года) Екатерина пишет уже из Мурома: «Я на досуге сделаю вам короткое описание того, что приметила дорогою. Где чернозем и лучшие произращения, как-то симбирская провинция и половина алатырской, там люди ленивы, и верст по пятнадцати пусты, не населены, а земли не разработаны. От Алатыря до Арзамаса, и от сего места до муромских лесов пяди земли нет, коя бы не была разработана, и хлеб лучше нежели в первых сих местах и, en depit du miserable abbe Ziot, нигде голоду нет, и истинно везде хлеба прошлогоднего не молоченного мало естьли скажу вдвое противу того, что съесть могут в один год, не продают же, страшась двухлетнего неурожая; по городам же рубли по три четверть, а по деревням везде излишество; мужики же говорят: «Ныне на все Бог дал цену; хлеб дорог, и лошади дороги, и все дорого», и за то Богу благодарят, у пахотных солдат особливо, в хижинах живут, а скирдов с хлебом бессчетное множество».

Между тем, когда императрица возвратилась из путешествия, комиссия нового уложения открыла свои заседания, и, первым долгом, прочитав «Наказ», постановила поднести Екатерине наименование «великой, премудрой и матери отечества». Но императрица не приняла этого наименования.

Хотя комиссия и не кончила своей великой законодательной работы, однако, почти все последующие законоположения Екатерины едва ли не были выполнением тех мнений о нуждах страны, которые высказаны были депутатами по разным случаям. Что же касается «Наказа», то он остался замечательным памятником ученой деятельности женщины, с такою славою управлявшей русскою землею около тридцати пяти лет.

В очерке характеристики Елизаветы Петровны мы говорили, что она приобрела любовь народа непосредственным с ним сближением, когда была еще цесаревною. Екатерина выражала это сближение и свою нераздельную общность с народом иными способами. Так, желая научить страну оспопрививанию, которое в то время было делом новым и опасным, так что никто не решался подвергнуть себя вакцинации, боясь смерти, Екатерина не отступила перед опытом первого в России оспопрививания, и первая между всеми своими подданными позволила привить себе оспу.

Когда сенат, от лица всей русской земли, выразил Екатерине свое глубокое удивление и благодарность за совершение этого громадного подвига, государыня отвечала, между

прочим, сенаторам: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не знав пользы сего способа, оного страшась, оставались в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы. Вы можете уверены быть, что ныне и паче усугублять буду мои старания и попечения о благополучии всех моих верноподданных вообще и каждого особо».

При своей изумительно неутомимой государственной деятельности, Екатерина успевает уделять свои досуги литературе, и около нее при дворе сосредоточивается почти весь тогдашний литературный и ученый мир. Кроме известных в то время писателей, императрица покровительствует также первым русским женщинам-писательницам и переводчицам — княгине Дашковой, Вельяшевой-Волынцевой, Храповицкой, Зубовой, урожденной Римской-Корсаковой, Херасковой и другим, о которых мы намерены говорить особо. При ее покровительстве выступает на литературное поприще Державин, певец «Фелицы», т. е. самой же Екатерины. Херасков, Фонвизин, Новиков — все это находит нравственную поддержку в той симпатии, какую питает императрица ко всякому умственному труду, ко всякому дарованию. Она сама пишет комедии, сатиры, разные стихотворения, кроме политических и других сочинений. Переводы лучших произведений иностранной литературы особенно ею покровительствуются. Она учреждает даже при академии особый переводческий департамент.

Для исследования России во всех отношениях она отправляет в разные места экспедиции из академиков и других ученых: Румовского — к полярному кругу, Палласа, Георги, Фалька, Рычкова, Ловица, Гмелина, Лепехина, Зуева, Иноходцева — для исследования самых отдаленных местностей обширного русского царства.

Ученые и литературные знаменитости из Европы спешат в Россию: стоит указать только на Эйлера, Даламбера, Дидро и других.

Екатерина задумывает учредить университеты в Пскове, Чернигове, Пензе и Екатеринославе, чтобы поднять общий уровень народного образования.

У нее везде, при всех случаях, на первом плане — «русский народ», «отечество». Ее любимая фраза: «Я не лифляндская императрица, а всероссийская!»

Слава Екатерины растет быстро, неимоверно.

В России, между тем, ничто не нарушает спокойного хода общественной жизни, хотя крестьянские волнения то там, то

здесь и обнаруживают, что положение крепостного населения требовало бы каких-либо радикальных мер, но то было другое время, другие люди, другие понятия.

Как бы то ни было, в общем, Екатерина могла сказать, что она еще «не дожила до того несчастия, до которого — по словам «Наказа» — не желала дожить».

Таково было первое десятилетие царствования Екатерины II, пока царствование это, можно сказать, шло тем путем, который наметили для Екатерины русские, национальные симпатии ее предшественницы Елизаветы Петровны.

Но едва началось отклонение от этого пути, как начались и те несчастия, смуты, беспокойства, до которых Екатерина не желала дожить.

Первым отступлением в этом случае было желание поверстать яицкое войско в гусары.

Яицким казакам, будущим гусарам, велят брить бороды. России это кажется возвращением к временам петровским, к петровским преследованиям и казням.

Из-за бород и из-за казацких вольностей — на Яике бунт. Казаки убивают Траубенберга и продолжают волноваться. Их усмиряют силою оружия. Они покоряются, но только наружно...

— То ли еще будет! — грозят они. — Так ли мы тряхнем Москвою!

И действительно — тряхнули...

В яицком войске является Пугачев. Мы знаем, что затем последовало.

За границей является «сестрица Пугачева», мнимая княжна Тараканова. Но об этой таинственной личности мы скажем особо.

Хотя война с Турциею, раздел Польши, а равно приобретение части Кавказа и расширяют и без того обширные пределы русской земли, но страна чувствует себя истощенною, казна расстроена, для пополнения казны прибегают к новым налогам.

Население не в силах выносить все падающие на него тягости войны и налогов, и страна представляется разом обедневшею. Тягость этого положения обнаруживается то тем, то другим образом — и нет прежнего спокойствия в стране.

Вместе с этими внешними изменениями, изменяется как бы и самый характер Екатерины, чему, конечно, не мало способствовало и время: Екатерина старела, а с летами увеличивалась ее осторожность, недоверчивость, подозрительность и как бы сожаление о том, что прежде многое дозволялось,

многое прощалось, чего бы не следовало ни дозволять, ни прощать. Ко всем явлениям общественной и государственной жизни она начинает относиться взыскательнее и жестче. Жестче становятся ее отношения и к провинностям народа, к провинностям, которые она, по смыслу своего «Наказа», прежде готова была прощать. Повелевая «крестьян в должном повиновении содержать», она постановляет правилом, что крестьяне не могут жаловаться на помещиков, «яко дети на родителей».

Вслед за усмирением яицких волнений, за уничтожением всех видимых явлений того, что носило общее наименование «Пугачевщины», уничтожается и самостоятельное существование Запорожской Сечи, и в манифесте по этому случаю объявляется, что Сечь «в политическом ее устройстве более не существует и причисляется к новороссийской губернии».

Кроме внутренних беспокойств, Екатерину смущают и внешние опасности. Швеция объявляет России войну. Шведский король Густав флотом своим угрожает самому Петербургу и предлагает тяжелые условия мира.

Екатерина в большой тревоге, но желает скрыть ее, говорит, что она готова стать во главе своего войска.

— Если бы он (Густав), — объявляет императрица, — овладел даже Петербургом и Москвою, и тогда не приняла бы я столь унизительных условий, сама выступила бы с войском и доказала бы свету, что можно сделать, предводительствуя русскими!

И после неудачных попыток Густава принудить Россию к разным уступкам, Екатерина в посмеяние шведскому герою пишет забавную пьесу под названием «Горе-богатырь».

Вспыхнувшая около этого времени революция во Франции заставляет Екатерину еще строже относиться ко всем явлениям общественной жизни, которые почему-либо казались ей подозрительными. Она даже высылает из России всех французов и только позволяет оставаться в ее царстве тем, которые под присягою отрекутся от революционных правил. Сочинена была для этого даже особая форма присяги.

В 1790 году является в свет известное сочинение Радищева. Сочинение это возбуждает сильный гнев императрицы.

— Тут рассеяние заразы французской, — говорит она о книге Радищева, — автор — мартинист!

В другой раз императрица выразилась о Радищеве:

— Он хуже Пугачева: он хвалит Франклина.

Радищева суд приговаривает за его вредное сочинение к смертной казни, но императрица смертную казнь отменяет.

В обществе распространяются, между тем, мистические учения. Масонство охватывает высшие слои общества. Против этого явления императрица борется насмешкой, и сочиняет в осмеяние масонских таинств комедии — «Обманщик», «Обольщенный», «Шаман Сибирский».

Результатом изменившихся отношений императрицы к общественным выражениям духовной самодеятельности является преследование Новикова и его литературного общества. Новиков арестуется и приговаривается к пятнадцатилетнему заключению в крепости. Его заподозревают даже в безбожии и повелевают архиепископу Платону испытать его в православном законе. Но Платон, по испытании Новикова, доносит: «Желательно, чтобы во всем мире были христиане таковые, как он...»

Охлаждение императрицы испытывают на себе даже такие лица, как княгиня Дашкова, ее старый друг, и любимый певец императрицы — Державин: Дашкова — за дозволение напечатать при академии известную трагедию Княжнина «Вадим», Державин — за знаменитое свое стихотворение «Властителям и Судиям».

Вместо академии, исполнявшей цензорские обязанности, цензура над печатью передается сенату, и учреждаются особые цензора в главных городах империи.

Частные типографии запрещаются, тогда как несколько лет тому назад Екатерина дозволяла всем открывать вольные типографии на правах всякого заводского или промыслового заведения.

В это время и Державин, так много послуживший к прославлению имени Екатерины, начинает жаловаться и сетовать о прошлом: «В это время, — говорит он, — не мог уже я продолжать писать оды в честь Екатерины... Не мог воспламенить так своего духа, чтобы поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями».

Лучшие деятели, все эти «орлы из стаи Екатерины» во вторую половину царствования императрицы сходят со сцены.

Ушаков, оставивший по себе печальную известность и сошедший было со сцены после царствования Петра, Екатерины I, Анны Иоанновны, Петра II, Анны Леопольдовны и Иоанна VI, номинально царствовавшего, воскресает в лице Шешковского.

Сходят со сцены и женщины деятели, княгиня Дашкова, Храповицкая, Вельяшева-Волынцева, Зубова и другие писательницы, а вместо них являются Ржевская 2-я, Нелидова;

после этих весьма понятен переход к г-же Криднер, Свечиной и им подобным.

Вместо Даламбера, Дидро, Эйлера Европа высылает в Россию контингент католических графов-эмигрантов, маркизов, виконтов, разных кавалеров, выгнанных из Франции революциею, и эти-то пришельцы увлекают русскую женщину в папизм, в ханжество, а там является и русский абсентеизм.

Огорчения вместе с летами все больше и больше подкашивают, между тем, здоровье Екатерины и, наконец, окончательно убивают ее.

В ноябре 1796 года в Петербург является шведский король Густав Адольф в качестве жениха великой княжны, Александры Павловны, дочери наследника престола Павла Петровича и внучки императрицы. Огорчения, испытанные в это время государынею, ускоряют приближение неизбежного конца.

«Все, окружавшие императрицу Екатерину, — говорит Ростопчин, очевидец того, что он рассказывает, — уверены до сих пор, что происшествия во время пребывания шведского короля в С.-Петербурге суть главною причиною удара, постигшего ее в 4-й день ноября 1796 года, в тот самый день, в который следовало быть сговору великой княжны Александры Павловны. По возвращении графа Маркова от шведского короля с решительным его ответом, что он на сделанные ему предложения не согласится, известие сие столь сильно поразило императрицу, что она не могла выговорить ни одного слова и оставалась несколько минут с отверстым ртом, доколе камердинер ее Зотов, известный под именем Захара, принес и подал ей выпить стакан воды».

Удар поразил Екатерину через день после этого огорчения.

Когда императрица упала на пол, то лакеи, по тучности ее тела, долго не могли поднять и положить на постель. Все бывшие при этом растерялись и не знали, что делать.

«Князь Зубов, — говорит Ростопчин, — быв извещен первый, первый потерял и рассудок: он не дозволил дежурному лекарю пустить императрице кровь, хотя о сем убедительно просили его и Марья Саввишна Перекусихина и камердинер Зотов.

Таким образом потерян был целый час. Когда приехал придворный доктор Ромерсон, то было уже поздно: ни кровопусканье, ни мушки — ничто не помогло. Екатерина II скончалась.

Это было 6 ноября 1796 года, когда Екатерине исполнилось шестьдесят семь с половиною лет.

Павел Петрович, вступивший в тот же день на престол, приказал перенести тело своего покойного родителя, бывшего императора Петра III, из Невской лавры в Петропавловскую крепость и поставить рядом с гробом своей только что отошедшей в вечность матери.

В 1873 году императрице Екатерине II воздвигнут в Петербурге памятник против фаса публичной библиотеки, где собрана громадная масса книг, в течение столетия написанных об одной этой замечательной женщине.

VI. МАРЬЯ САВВИШНА ПЕРЕКУСИХИНА

На кладбище Александро-Невской лавры, которое теперь более чем какое-либо другое кладбище в России может быть названо историческим, потому что там как бы по уговору сошлись на вечное успокоение в своих могилах Карамзин, Гнедич, Крылов, Глинка и множество других славных русских людей, когда-то знавших друг друга и дружно работавших на пользу русской земли, в левой половине этого мирного жилища, между могилами знаменитых и когда-то могущественных сановников русского царства, начиная от блестящего князя Мещерского, смерть которого прославлена бессмертным стихом Державина более, чем была славна самая жизнь этого вельможи, и кончая не менее прославленными деятелями нашей земли — Чичаговыми, Завадовскими, Апраксиными, Куракиными, Салтыковыми, Еропкиными, Строгановыми, Бибиковыми и иными многими, между всеми этими могилами, из которых каждая отличается одна от другой разными громкими прибавлениями к именам погребенных в них покойников князей, графов, генералов, сенаторов, членов государственного совета, императорского двора гофмаршалов, обер-гофмаршалов, гофмейстеров, обер-гофмейстеров, адмиралов и пр., и пр., у левого разветвления проложенных между памятниками мостков помещается одна скромная могила, которая никаким внешним отличием, ни громким прибавлением к имени лежащего в ней покойника, ни гербом, ни гордым девизом не говорит о том, что покоящиеся в ней кости принадлежали когда-то графу или графине, князю или княгине, или княжескому младенцу, или, наконец, иному именитому лицу.

Напротив, на памятнике этом только и значатся эти единственные слова:

«Раба божия Мария Саввишна Перекусихина. Представилась 8-го августа 1824-го года, на 85-м году от рождения».

Кто она такая была? Какой пост и какое положение в свете и в жизни занимала? Какой носила титул? Чья была супруга или дочь, кто были ее родители? Ничего этого нет на памятнике.

Действительно, это единственная могила, которая ничего не говорит о жизни похороненного в ней лица. Все остальные, — славные и не славные, именитые и простые, — все носят титулы, начиная от высших государственных и придворных чинов и кончая мелкими гражданскими званиями и должностями. Даже могилки младенцев не лишены титулов, родительских гербов, эпитафий, текстов из священного писания. Одна лишь сказанная могила передает нам только имя крестное, отческое и фамильное похороненного в ней лица и год его смерти.

Между тем, это имя не лишено исторической известности. Лет сто назад, оно было в великой силе. О женщине, носившей это имя, когда-то много говорилось. К ней, при ее жизни, все теперь лежащее около нее с громкими посмертными титулами подходило с ласкательствами и знаками глубокого почтения. У нее заискивало все, что правило русскою землею, начиная от законодателей и кончая славными полководцами, к именам которых история прибавила бессмертные когномены «Задунайских», «Таврических» и иных героев и победителей, напоминающие бессмертные когномены римских полководцев, Сципионов «Африканских», «Атенейских» и других.

И при всем том эта женщина не носила никакого титула и похоронена без титула.

В чем же была ее сила и в чем историческое бессмертие?

Многие, быть может, не согласятся с нами, когда мы скажем, что сила этой женщины и права на историческое бессмертие заключались в том, что она была — только честная женщина и честно любила другую, более славную и самую могущественную в прошлом столетии из всех женщин в Европе — Екатерину II.

«Марья Саввишна Перекусихина, любимая камер-юнгфера императрицы Екатерины II, совершенно ей преданная и пользовавшаяся особою ее доверенностью, которую никогда не употребляла во зло, заслуживает стоять наряду с знаменитыми соотечественниками, — говорит Бантыш-Каменский в своем «Словаре замечательных людей». — Она безотлучно находилась при государыне; довольствовалась двумя, а иногда одною комнатою в дворцах; убегала лести, занятая единствен-

но услугою своей благодетельнице; первая входила в ее опочивальню в семь часов утра; сопровождала Екатерину во время прогулок; была счастлива тогда только, когда видела спокойствие на величественном челе обладательницы многих царств».

Так говорит человек, живший в то время, когда еще жива была характеризуемая нами личность, хотя и писавший о ней в то время, когда личности этой уже не было на свете.

Между тем, живая молва, не всегда правая в своих отношениях к действительным событиям и обыкновенно искажающая истину прямо пропорционально удалению от ее источника, в последнее время набросила на память этой личности более чем сомнительную тень. Вслед за болтливою молвою и наша анекдотическая история не поскупилась в этом случае на намеки и недомолвки довольно прозрачного свойства, которые всегда заставляют предполагать большее, именно тогда, когда слово не досказано, чем тогда, когда слово досказано громко. Результатом этих исторических киваний и подмигиваний было то, что при имени Марьи Саввишны Перекусихиной всегда является двусмысленная улыбка на лице и у того, который произносит это имя, и у того, который его выслушивает.

Но едва ли эти исторические подмигиванья имеют основание.

Девица Перекусихина, напротив, является одною из немногих женщин прошлого века, жизнь которой не положила на ее имя ни одного сомнительного пятна. Это была личность безукоризненной честности, и если имя ее не поставлено рядом с другими историческими именами прошлого века, так это потому, что женщина эта была добросовестнее других. Имея возможность быть всем, чем угодно, пользуясь безграничной доверенностью и дружбой Екатерины, находясь в самом средоточии придворной жизни, полной блеска и соблазнов, окруженная избранною молодежью обеих столиц и всякими карьеристами, которые за счастье для себя сочли бы повести под венец любимую камер-юнгферу императрицы, помогая другим достигать высоких должностей, графских и иных титулов, — Машенька Перекусихина так и осталась и умерла Марьей Саввишной Перекусихиной, не сделавшись ни княгиней, ни графиней, не привязав к своему имени более громкую фамилию или высокое официальное звание статс-дамы, гофмейстерины и т. д. Она не поднялась наверх славы не потому, что не могла, а потому, что не хотела. Она была когда-то и молода, и хороша собой. Уже пожилою особою

она сохранила следы красоты и привлекательности. Ее портрет, бывший на петербургской исторической выставке в 1870 году не мог не обратить на себя внимания: со старого, несколько потрескавшегося полотна Перекусихина смотрит такими добрыми, не лукавыми, но умными глазами. Это — чисто русское, открытое, простое, симпатичное лицо. Она смотрит скорее русскою бабою, хорошею нянюшкою, чем придворною особою, которая могла давать аудиенции светилам государства, перед которой заискивала в черные дни своей жизни княгиня Дашкова, не хотевшая заискивать перед Вольтером и Руссо, от которой ждал ласкового слова Державин, когда хотел, чтобы на него внимательнее взглянула Екатерина или внимательнее выслушала его новую оду.

Перекусихина могла обогатиться, жить в своих вотчинах, повелевать тысячами крестьян, являться, когда пожелает, при дворе, стоять у трона, — и между тем она пряталась за троном, на котором сидел ее царственный друг, и служила этому другу до смерти, иногда, во время своей болезни, принимая взаимные услуги от императрицы, которая сама ухаживала за ней.

И в самом деле, какая бы из придворных особ на ее месте не захотела, что называется, выйти в люди? А Перекусихина не вышла — так и отнесена на кладбище просто Перекусихиной, «рабой божией», без всякого звания, без титула, без герба, без эпитафии, даже без надгробного памятника, так или иначе бьющего на эффект.

Перекусихина родилась в 1739 году. Следовательно, она десятью годами была моложе Екатерины. Когда последняя вступила на престол, Марье Саввишне было двадцать три года. Когда Екатерина умерла, Перекусихиной было уже пятьдесят семь лет.

Какое и где получила она воспитание, неизвестно. Но что она могла быть девушкою образованною, видно из того, что брат, Василий Саввич Перекусихин, бывший пятнадцатью годами старше сестры, получил хорошее по тому времени образование, дослужился до чина тайного советника и умер сенатором в 1788 году, в то время, когда сестра его оставалась по-прежнему простою камер-юнгферою.

Из многих письменных сведений, оставленных современниками Перекусихиной, видно, что она пользовалась огромным значением при Екатерине, но это значение было не официальное, а чисто дружеское. Нам известно из свидетельств современников, как, например, княгиня Дашкова, друг Екатерины и президент Академии наук, обращалась часто к

Перекусихиной, чтоб найти у императрицы благоприятный прием для своих представлений. Все придворные фавориты второй половины прошлого века находились в нравственной зависимости от Перекусихиной.

Насколько сама императрица была привязана к этой женщине, можно заключить из следующего рассказа, приводимого писателями восемнадцатого и девятнадцатого века.

Однажды императрица и ее любимица занемогли в одно время. Перекусихина была больна до такой степени, что не могла встать с постели, и, следовательно, не могла служить своей государыне, тоже сильно занемогшей. При всем том императрица, несмотря на свою слабость, во все время болезни Перекусихиной, навещала свою любимицу каждый день, будучи поддерживаема двумя камер-юнгферами. Но когда болезнь самой императрицы стала внушать всем опасения, то Екатерина, боясь оставить свою любимицу беспомощною после своей смерти, прежде всего вспомнила о ней и позаботилась об ее участи. Она вложила в особый пакет двадцать пять тысяч рублей и надписала на нем: «Марье Саввишне по моей кончине».

После своего выздоровления императрица самолично вручила деньги Перекусихиной, согласно своему завещанию.

— Возьми это, — говорила императрица, — как залог моей дружбы, и пользуйся тем, что я тебе готовила, не надеясь жить.

Екатерина, знала, что ее наперсница твердо решилась не выходить замуж, несмотря на возможность выбора себе партии между самыми блестящими женихами из придворной молодежи и из служебных людей всех сфер, часто шутила на этот счет со своей камер-юнгферой и называла себя самое женихом Перекусихиной.

Так, однажды, при помолвке племянницы Перекусихиной, Екатерины Васильевны Перекусихиной, дочери брата Марьи Саввишны, сенатора Василия Саввича Перекусихина, с Ардалионом Александровичем Торсуковым, впоследствии обергофмейстером высочайшего двора, императрица, одарив невесту, вручила тетке ее перстень со своим портретом в мужском одеянии.

— Вот и тебе жених, — сказала Екатерина, — которому, я уверена, ты никогда не изменишь.

И действительно не изменила.

Первенство при дворе занимали многие избранные, начиная от Салтыкова, Станислава Августа Понятовского, Орлова, Васильчикова, Потемкина, Завадовского и кончая

Зубовым; эти первенствующие лица уступали место другим, восходя от одной ступеньки почестей к другой; много и придворных дам выступало на первый план, как Дашкова, Протасова и другие; они также проходили по придворной сцене, как тени в калейдоскопе: одна Перекусихина оставалась на своем месте, не поднимаясь ни на одну ступеньку выше и не спускаясь ниже, пока сама не опустила в гроб своего жениха Екатерину. «Можно представить себе отчаяние Марьи Саввишны 6 ноября 1796 года, — говорит Бантыш-Каменский, — когда услыхала она о постигшем ударе императрицу! Удар был смертельный, в голову: искусство и усердие докторов остались бесполезны».

Но и в этом отчаянном положении Екатерина могла быть еще спасена, если б придворные, и в особенности Зубов, послушались Перекусихиной. Она первая настаивала, как мы уже видели в характеристике Екатерины, чтобы больной пустили кровь тотчас после удара, но Зубов растерялся и потерял время.

Последнего и единственного жениха у Перекусихиной не стало. Екатерина лежала мертвая.

«Сколь почтенна была тогда Марья Саввишна Перекусихина, — говорит очевидец, граф Ростопчин, в своем сочинении «Последний день жизни императрицы Екатерины II». — Екатерина, переселившаяся в вечность, как будто покоилась в объятиях сладкого сна: приятность и величество изображались по-прежнему на лице ее. Почивальня в мгновение ока, наполнилась воплем женщин, служивших ей. В эту роковую минуту Марья Саввишна, оставшаяся в живых, чтобы оплакивать невозвратную потерю, вооружилась необыкновенною твердостью духа: она не спускала глаз с императрицы, поправляла ей то руки, то голову, то ноги, покоила тело и, несмотря на то, что Екатерина кончила бытие свое, стремилась духом вслед за бессмертною душою».

На престол взошел сын умершей, император Павел Петрович.

Достойно внимания следующее обстоятельство. Известно, что Павел не особенно любил лиц, приближенных своей матери. Многих из них постигла его холодность, даже более — прямая опала, особенно тех, которые были прямыми или косвенными участниками в деле восшествия на престол Екатерины II. Княгиню Дашкову, друга императрицы, Павел Петрович тотчас же сослал в деревню «вспоминать о событиях 28 июня 1762 года», как император сам выразился. У императора Павла все признавали рыцарские наклонности, не-

смотря на его несдержанность. У него, говорят, было хорошее чутье на честных людей, тем более, что, оставаясь долго в стороне от двора матери при жизни ее, он мог лично видеть и слышать, что там делалось. Он, конечно, хорошо знал и ту роль, какую занимала Перекусихина при особе его матери: он знал, что роль эта была честная, а не такая, как ее изобразили исторические анекдоты последнего времени.

Вот почему Павел Петрович, отсылая княгиню Дашкову в деревню, Перекусихину не забыл наградить тотчас же по восшествии на престол. В день коронования своего и императрицы Марии Федоровны, 17 декабря 1796 года, Павел I, «в награду долговременной и усердной службы девицы Перекусихиной», пожаловал ей пожизненный пенсион из своего собственного кабинета в тысячу двести рублей.

Могила Перекусихиной, как мы сказали выше, вся окружена знаменитостями, а около ее собственного памятника поместились и ближайшие родные этой женщины. Несколько поодаль, с левой стороны, лежит ее брат, тайный советник и сенатор Василий Саввич Перекусихин, умерший тридцатью шестью годами раньше своей сестры, еще в восемнадцатом столетии. Упомянутая нами выше дочь его, Екатерина Торсукова, поставила над отцом приличный памятник, который гласит: «Сие плачевное издание от дочери его Катерины Васильевны, по супружеству Торсуковой». В головах у отца легла потом и сама эта дочь, обер-гофмейстерша высочайшего двора. Рядом с нею положен и муж ее, обер-гофмейстер — это все родня Перекусихиной. Несколько в стороне от нее лежат: адмирал Апраксин, родившийся в год основания Петербурга, покоится под великолепной бронзовой плитой, изукрашенной гербами, кораблями, орденами и девизами; через мостки — Анна Александровна Жеребцова, урожденная Еропкина, которую Перекусихина знала еще крошечной девочкой; тут же ее сестра Прасковья, о которой могильная надпись гласит: «У ног лежит сваво отца девица Прасковья Алексеевна Еропкина», которую Перекусихина также знавала ребенком. Несколько далее — граф Гендриков, и его маленьким знала Перекусихина.

Памятник самой Перекусихиной — это простой четырехугольный пьедестал, аршина в два с половиною вышиной, из серого камня, значительно изъеденного временем, солнцем, дождем и всякою непогодою. На мраморной доске простая надпись, которую мы уже привели: «раба божия» — и только. Наверху — крест, уже сильно покачнувшийся на сторону.

Памятник врастает в землю.

VII. КНЯГИНЯ ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА

(урожденная графиня Воронцова)

Без сомнения, большей части читателей памятен весьма распространенный эстамп, изображающий одну замечательную женщину XVIII века в том виде, в каком сохранило ее для нас время в тогдашнем современном портрете: доброе женское лицо, уже даже далеко не молодое и не красивое, лицо это невольно останавливает на себе внимание тем, что на плечах этой пожилой женщины мужской мундир или кафтан XVIII века, грудь украшена звездою, на голове женщины — старушечий чепчик, нечто в роде колпака.

Это, как всем известно, — княгиня Дашкова.

Есть и еще портрет русской женщины, тоже в мужском, только военном мундире, но значительно менее распространенный и менее известный: военный мундир этой последней женщины, тоже уже старушки, украшен Георгиевским крестом.

Это — Дурова, «девица-кавалерист».

Скажем же прежде о Дашковой, как исторической женской личности, а о Дуровой будет сказано в своем месте.

«В XVIII столетии, благодаря петровскому перевороту, русская женщина приобрела человеческие права. Четыре женщины носили в этом столетии императорскую корону и несколько замечательных не коронованных женских личностей оставили следы своего существования на поприще более видном и обширном, чем замкнутые терема. Если подобные личности и появлялись до переворота, то они составляли редчайшие исключения, и если после переворота их можно еще считать исключениями, то уже далеко не столь редкими. В 1762 году одним из главных деятелей возведения на престол русский Великой Екатерины II является девятнадцатилетняя женщина — княгиня Дашкова; она обращает на себя внимание всей образованной Европы, которая, в лице современных писателей, вносит ее имя в историю, и, раз обратив на себя ее внимание, она не исчезает, как метеор, но до последней минуты своей жизни остается личностью замечательнейшею. С большим успехом и честью исполняет; в продолжение одиннадцати лет; должность директора Академии наук (дело до тех пор неслыханное), становится основательницею и президентом Российской академии и до последней минуты своей жизни остается женщиной настолько же, насколько и замечательнейшею личностью».

Такими словами начинает характеристику княгини Дашковой один из современных русских писателей в биографии этой женщины, и нельзя не согласиться с ним, что на подобные личности между женщинами, какою является княгиня Дашкова, не богата история всего человечества. Тем более должны дорожить такими историческими женскими именами мы, русские, юнейшие из всех цивилизованных народов Европы, что эта последняя, вообще мало ценя наши заслуги в истории общечеловеческого развития, не отказывает в этих заслугах некоторым русским историческим женским личностям, относительный процент которых у нас едва ли ниже процента таких же исторических личностей в остальной Европе.

Екатерина Романовна родилась около половины восемнадцатого столетия, в 1744 году, и потому не принадлежит уже к русским женщинам ни петровской, ни бироновской эпохи. Она происходила из знатного рода графов Воронцовых, приходилась сродни графам Паниным и вообще принадлежала к высшим родам русского царства. Уже при самом рождении она отличена была перед другими знатными девушками тем, что восприемницей ее от купели была сама императрица Елизавета Петровна, а крестным отцом — тогдашний наследник престола, впоследствии император Петр III.

Она лишилась матери, когда ей было всего два года. Отец ее, еще молодой человек, не мог заняться воспитанием своих детей, потому что весь отдан был светским удовольствиям, а потому маленькая Екатерина до четырех лет жила у своей бабушки, по обычаю почти всех бабушек, не чаявшей души в своей внучке-сиротке; с четырех же лет маленькую графиню взяли в дом к дяде ее, вице-канцлеру Михайлу Илларионовичу Воронцову, женатому на двоюродной сестре государыни и пользовавшемуся, особенно после падения Бестужева-Рюмина, большим влиянием при дворе. В доме у Воронцова часто бывала сама императрица, обедала и проводила целые вечера. Маленькая крестница императрицы нередко играла на коленях у своей высокой крестной матери, сиживала с ней рядом за столом и вообще пользовалась ее ласками. Воронцов в своей привязанности к племяннице не отличал ее от своей родной дочери Анны, с которою маленькая Екатерина провела все детство и первую молодость, живя в одной комнате. Их и воспитывали вместе, и одевали в одинаковые платья, одни и те же учителя учили обеих девушек.

И несмотря, однако, на эту внешнюю тождественность воспитания, из одной девушки вышла крупная историческая личность, занявшая почетное и даже редко выпадавшее на

долю женщины место, женщины-деятеля в истории, другая же ничем не заявила своих прав на историческое бессмертие.

«Мой дядя, — говорит о себе впоследствии Дашкова в оставленных ею записках, — ничего не жалел, чтоб дать своей дочери и мне лучших учителей, и, по понятиям того времени, мы получили наилучшее воспитание. Нас учили четырем разным языкам и мы говорили бегло по-французски; один статский советник выучил нас итальянскому языку, а г. Бектеев давал уроки русского, когда мы удостоивали их брать. Мы сделали большие успехи в танцовании и немного знали рисовать. Кто мог вообразить, что такое воспитание было не совершенно?»

Время воспитания и обучения длилось до четырнадцатилетнего возраста маленькой графини. Но богатая натура ее не удовлетворялась тем, что она получила; в душе был большой запрос на многое, чего она еще не знала, не видела, не испытывала. Рано проявилось в ней неясное сознание своей силы и чувство богатых внутренних задатков, и это обнаруживалось в ней, с одной стороны, какою-то гордостью, признанием за собой чего-то большего, чем то, что в ней думали видеть, а с другой — страстным желанием раздела чувств, впечатлений, знаний — желанием дружбы и любви. Но отзыва на все это она не могла найти ни в ком: с совоспитанницей своей она не сошлась душою, а других родных никого близко не имела, и только глубокую дружбу воспитала она в себе к своему брату Александру, к которому питала это чувство всю жизнь, как и вообще все ее привязанности отличались полнотою и какою-то законченностью: она всякому чувству отдавалась вся.

Сначала она чувствовала себя вполне одинокою, именно в период брожения молодых сил.

Но в это время случившаяся с ней болезнь едва ли не была тем роковым стимулом, который нередко определяет на всю жизнь дальнейшее развитие и самое призвание человека. Она заболела корью, и так как семья, в которой она жила, имела постоянные сношения с двором, то из опасения, чтобы корь не занесена была во дворец и не заразила великого князя Павла Петровича, молодую девушку удалили за 60 верст от столицы, в деревню, приставив к больной какую-то компаньонку-немку.

Здесь-то, когда болезнь ее несколько облегчилась, в одиночестве, она набросилась на книги, и когда воротилась уже в дом, то страсть к чтению оставалась в ней преобладающей страстью. Она читала все, что находила в богатом доме вице-

канцлера: Вольтера, Буало, Монтескье и др., она читала, как это обыкновенно бывает в период брожения молодых сил, запоем, лихорадочно. Она не останавливалась на легком чтении: философский век захватил и ее своим крылом. Все свои деньги она тратила на книги, и притом на такие, как знаменитая «Энциклопедия» XVIII века и «Лексикон» Морери. Обо всем прочитанном, о своих впечатлениях она ни с кем не могла говорить, это еще больше волновало ее, потому что с братом, уехавшим в Париж, она могла только переписываться. Жажда знаний доходила до страстности, до болезненности. Живя в доме вице-канцлера, она еще ребенком заглядывала в лежавшие у него в кабинете важные государственные бумаги, и невольно интересовалась тем, что там писано, а когда подросла, то решительно не давала покоя всем посещавшим вице-канцлера заезжим ученым, посланникам, художникам, выспрашивая у них обо всем, что занимало ее пытливый ум. Заметив эту даровитость молоденькой девушки, «русский меценат» Иван Иванович Шувалов любезно доставал ей все, что только выходило в Европе замечательного по части литературы.

Эта болезненность не могла не броситься в глаза и не обеспокоить старших за ее здоровье, а императрица показала настолько заботливости об участи своей крестницы, что прислала к ней своего врача, доктора Бургаве, который нашел, что молодая девушка страдает душевным расстройством. Тогда со всех сторон посыпались вопросы о причине этого расстройства, все приняли в ней живое участие, потому что видели в молодой особе неестественную бледность и утомление, и на обращенные к ней по этому случаю вопросы девушка, не желая выдавать своей чувствительности и томившей ее внутренней гордости, отвечала, что все это — просто расстройство, головная боль и т. д.

Для молодой девушки наступило время замужества.

Хотя она и пользовалась полною свободою в доме своего дяди и могла располагать не только своим временем, но и выбором знакомых и удовольствий, однако, ее не влекло к светским удовольствиям и к тому, что соединено с понятием светских «выездов», у нее был небольшой кружок знакомых, к которым она ездила запросто. К числу таких знакомых принадлежала г-жа Самарина.

Знакомство с Самариною косвенным образом было причиною того, что в жизни молодой девушки совершился тот роковой факт, от которого зависит весь дальнейший ход жизни: Екатерина Романовна должна была проститься с девическою свободой.

Однажды Екатерина Романовна возвращалась от Самариной поздно вечером. Ночь была летняя и сестра Самариной вызвалась проводить молодую графиню до дому пешком, приказав карете ехать впереди. Когда они шли, то из другой улицы навстречу им вышел какой-то мужчина в военном платье, который, в сумерках, показался молодой девушке каким-то гигантом. Оказалось, что это был князь Дашков, преображенский офицер, которого Екатерина Романовна никогда не видала, но который был хорошо знаком с Самаринымы. Дашков заговорил с дамами и произвел на молодую девушку такое впечатление, что уличное знакомство превратилось в приязнь, а потом и в глубокую привязанность с обеих сторон.

Но в это время молодая девушка нашла и новую привязанность, которая имела в ее жизни едва ли не более роковое значение, чем замужество. Это — страстная привязанность ее к супруге наследника престола, Петра Федоровича, к Екатерине Алексеевне, будущей императрице Екатерине II.

Однажды, зимой у дяди ее проводили вечер и ужинали наследник престола и его молодая супруга. Екатерина Алексеевна давно слышала о молодой племяннице вице-канцлера, как о замечательной девушке; она знала ее привязанность к серьезным занятиям, о ее развитости, о ее далеко недюжинном уме, выходившем из ряда всего, что только было известно любознательной цесаревне. Цесаревна могла теперь лично убедиться, что такое была эта девушка, и отметила ее, как свою избранницу, потому что будущая императрица обладала именно этим редким свойством — выбора людей.

«В продолжение всего этого памятного вечера, — пишет в своих записках Дашкова, — великая княгиня обращалась только ко мне; ее разговор меня восхитил: возвышенные чувства и обширные познания, которые она выказала, заставляли меня смотреть на нее, как на существо избранное, стоящее выше всех остальных, существо возвышенное до такой степени, что она превосходила все мои самые пламенные идеи о совершенстве. Вечер прошел быстро, но впечатление, которое она произвела на меня, осталось неизгладимым».

Когда великая княгиня прощалась с хозяевами, то нечаянно уронила веер. Молодая графиня поспешила поднять его и подала Екатерине, но эта последняя, не принимая веера, поцеловала девушку и просила сохранить веер, как память о первом вечере, проведенном ими вместе.

— Я надеюсь, — заключила она, — что этот вечер положил начало дружбы, которая кончится только с жизнию друзей.

Действительно, великая княгиня окончательно победила сердце восторженной девушки. Вечер положил начало не только дружбе, но и страстной привязанности молодой Воронцовой к Екатерине: Воронцова впоследствии доказала, что за этот вечер, за этот веер и за привет она готова была идти на плаху во имя той, которой всецело отдала свою волю. Веер остался самым дорогим ее воспоминанием на всю жизнь, и она было завещала положить его с собою в гроб, но только впоследствии, когда Екатерина оттолкнула от себя молодую энтузиастку своим царственным, несколько холодным величием, а Дашкова нашла полную дружескую привязанность к другой женщине, решение это осталось не исполненным.

Это было как раз перед ее замужеством: в феврале 1759 года Екатерина Романовна вышла замуж за того, который ей показался когда-то гигантом, за князя Дашкова.

Будем и мы теперь называть ее княгинею Дашковою.

Обходя подробности о разных семейных обстоятельствах жизни княгини Дашковой, мы будем останавливаться преимущественно на тех сторонах ее жизни, в которых проявлялась ее или политическая, или общественная деятельность.

Вскоре после свадьбы молодые Дашковы представлялись Петру Федоровичу, который в то время жил в Ораниенбаумском дворце.

— Хотя я знаю, что вы решились не жить у меня во дворце, — обратился великий князь к Дашковой, — но надеюсь вас видеть каждый день, и желал бы, чтобы вы проводили более времени со мной, чем в обществе великой княгини.

Но молодая Дашкова уже вся принадлежала, именно этой великой княгине.

— Дитя мое, — говорил ей в другой раз великий князь, — не забывайте, что несравненно лучше иметь дело с честными и простыми людьми, как я и мои друзья, чем с великими умами, которые сосут сок из апельсина и бросят потом ненужную для них корку.

Но Дашкова не думала этого и не боялась. Великая княгиня была ее кумиром, и этому божеству она поклонялась, тем более, что и общество, окружавшее Екатерину, имело более серьезные задатки и более влекло к себе Дашкову, чем общество поклонника голштинского обмундирования и прусских порядков.

И теперь под старинным, современным рассматриваемой нами эпохе, гравированным портретом Екатерины II мы читаем следующую подпись:

Природа в свет тебя стараясь произвесть,
Дары свои на тя едину истощила,
Чтобы на верх величия возвесть,
И, награждая всем, она нас наградила.

Это так писала Дашкова к своему высочайшему кумиру; и Екатерина, со своей стороны, умела поддерживать в Дашковой эту восторженность, хотя сама, по-видимому, и не чувствовала вполне того, чем так ловко побеждала и ум, и волю молодой энтузиастки.

Вот что, между прочим, отвечала ей Екатерина на письмо, при котором были присланы Дашковою эти стихи, которые мы привели выше: «Какие стихи! Какая проза! И это в семнадцать лет! Я вас прошу, скажу более — я вас умоляю не пренебрегать таким редким дарованием. Я могу показаться судьею не вполне беспристрастным, потому что в этом случае я сама стала предметом очаровательного произведения, благодаря вашему обо мне чересчур лестному мнению. Может быть, вы меня обвините в тщеславии, но позвольте мне сказать, что я не знаю, читала ли я когда-нибудь такое превосходное, поэтическое четверостишие. Оно для меня не менее дорого и как доказательство вашей дружбы, потому что мой ум и сердце вполне преданы вам. Я только прошу вас продолжать любить меня и верить, что моя к вам горячая дружба никогда не будет слабее вашей. Я заранее с наслаждением думаю о том дне будущей недели, который вы обещались мне посвятить, и надеюсь, кроме того, что это удовольствие будет повторяться еще чаще, когда дни будут короче. Посылаю вам книгу, о которой я говорила: займитесь побольше ею. Скажите князю, что я отвечаю на его любезный поклон, который я получила от него, когда он проходил под моим окном. Расположение, которое вы мне оба выказываете, право, трогает (меня) мое сердце, а вы, которая так хорошо знаете его способность чувствовать, можете понять, сколько оно вам благодарно».

Екатерина не даром писала ей таким образом: она не могла не предвидеть, что ей нужны будут люди, может быть скоро, как они нужны были ей и во всякую данную минуту. Стих Дашковой, ставившей великую княгиню идеалом человеческого совершенства, мог легко облететь не только Петербург, но и всю Россию, увеличивая популярность Екатерины насчет популярности ее супруга. Кроме того, и личным своим характером, своею пламенною и сильною натурою Дашкова могла пригодиться ей и в случае таких решений, где нужна чья-нибудь восторженная голова, где нужно, не

задумываясь, пожертвовать жизнью, и этой жизнью пожертвуют. Дашкова, едва вступила в придворную жизнь, как уже стала в ряды бойцов Екатерины: своей красотой и молодостью, своим редким в женщине политическим тактом она уже вербовала Екатерине новых союзников, и смелыми, даже дерзкими, ответами великому князю она, как сама признавалась, приводила в ужас его приверженцев и льстецов, и роняла имя Петра Федоровича, возвышая имя его супруги. В Дашковой видели силу воли, которая хотя и могла исходить из юношеской экзальтации, но там, где все иногда зависит от пламенного слова, сказанного в роковой момент, чтобы наэкзальтировать массу, ободрить нерешительных — там экзальтация хорошенькой женщины становилась сильнее целого корпуса гренадеров. Оттого вся гвардия, все товарищи ее мужа, как будто инстинктивно ставили ее в голове немого заговора, который и созревал в мысли каждого в пользу другой женщины, долженствовавшей возвеличить Россию, а не привязать ее к колеснице прусского короля, к которой всеми силами старался привязать ее наследник престола, выдавая даже государственные тайны своему идолу, прусскому королю, в то время, когда Россия воевала с Пруссиею, как он впоследствии и признался секретарю государственного совета, Волкову, говоря: «Помнишь, как ты мне сообщал приказания совета, посылаемые войскам, действовавшим против пруссаков, а я о них тотчас же предупреждал его величество короля».

Понятно, что Екатерина должна была дорожить такой союзницей, как Дашкова.

К концу 1761 года здоровье императрицы Елизаветы не могло не возбуждать тревожных опасений. На престоле виделся уже Петр III, а нелюбимая им супруга скорее всего должна была рассчитывать на монастырь вместо трона, тем более, что великий князь выражал желание развестись с нею и жениться на сестре Дашковой, Елизавете Романовне Воронцовой.

Надо было действовать.

Когда, в половине декабря, доктора решили, что императрице остается жить несколько дней, и Дашкова узнала об этом, она, несмотря на то, что сама была больна, 20 декабря, в полночь, явилась к Екатерине, которая, вместе с другими членами царской фамилии, жила тогда в деревянном дворце на Мойке. Шаг был рискованный, потому что за поступками Екатерины Алексеевны следили, и потому необходимо было, чтоб это ночное посещение осталось для всех тайной. Дашкова

подъехала к заднему крыльцу флигеля, занимаемого Екатериной, и, несмотря на все предосторожности, могла быть узнана, особенно, когда ходы с этой половины флигеля ей были неизвестны, но, к счастью, ей попалась навстречу самая верная горничная великой княгини, Катерина Ивановна, которая тотчас же и поспешила провести ночную гостью в покои великой княгини. Последняя тоже была больна и лежала в постели. Ей доложили о Дашковой.

— О, ради Бога! Введите ее поскорее ко мне, если уж она в самом деле здесь, — воскликнула она в тревоге, зная, что и Дашкова больна.

Дашкова явилась.

— Дорогая моя княгиня, — сказала ей Екатерина, — прежде чем вы сообщите мне причину вашего необыкновенно позднего посещения, согрейтесь: право, вы ужасно мало заботитесь о вашем здоровье, которое так дорого для вашего мужа и для меня.

Она тут же уложила Дашкову к себе в постель и окутала ей ноги одеялом.

Дашкова передала Екатерине все, что знала об ожидании скорой кончины императрицы и о том, какими роковыми последствиями угрожает ей вступление на престол Петра III. Екатерина, конечно, сама знала об этом и приняла меры, о которых Дашкова не знала, но Дашкова настаивала на необходимости действовать теперь же и употребить ее как орудие, потому что она готова жертвовать своею жизнью для своего высочайшего друга.

Екатерина плакала, прижимала к сердцу руку Дашковой, благодарила ее и говорила, что у нее нет плана, что она отдает себя на волю божию.

Может быть, определенного плана у Екатерины действительно еще не было, но что уже было что-то задумано ею вместе с Орловым, это мы увидим впоследствии.

— В таком случае, — говорила Дашкова, — надо действовать вашим друзьям, я чувствую в себе достаточно силы, чтоб воодушевить их всех, а сама я готова на всякую жертву.

Она говорила искренно, — и действительно, это была искра, которая могла зажечь мину: офицеры были на ее стороне и готовы были идти за этой экзальтированной девятнадцатилетней головкой.

— Ради Бога, княгиня, не подвергайте себя опасности, чтоб отвратить зло, которого в сущности нет средств отвратить, — говорила Екатерина, — если я буду причиной вашего несчастья, я вечно буду страдать за вас.

— Во всяком случае, я не сделаю ни одного шагу, который бы мог повредить вам, — возражала Дашкова, — если встретится опасность, пусть я одна буду жертвой. Если б слепая преданность вашим интересам привела меня на плаху, вы все-таки остались бы в безопасности.

Через пять дней императрица Елизавета Петровна скончалась. На престоле был Петр III. Екатерина и ее друзья оставались в тени, но дело, задуманное ею вместе с Григорием Орловым и Дашковой зрело, ни для кого невидимо.

В полгода кружок друзей Екатерины окончательно сплотился до того, что уже можно было решиться на государственный переворот. Кружок этот составляли — Григорий Орлов, Дашкова, другие Орловы, Пассек и Бредихин, друзья мужа Дашковой, Рославлевы и Ласунский, гетман Разумовский — все это влиятельные личности в преображенском и измайловском полках, а потом Никита Иванович Панин.

Наступил канун переворота.

27 июня (1762 года) Дашкова сидела у себя дома вместе с Паниным. Вдруг является Григорий Орлов, весь взволнованный.

— Пассек арестован, — сказал он.

Известие это не могло не поразить: арестование Пассека, происшедшее вследствие того, что солдаты, посвященные в заговор, своим нетерпением видеть скорее на престоле Екатерину выдали роковую тайну, равнялось обнаружению заговора. Это значило, что оборвался волосок, на котором висел страшный топор.

— Развязка близка, — сказала Дашкова, — медлить нельзя. Сейчас же узнайте, за что арестован Пассек — за нарушение ли военной дисциплины, или как государственный преступник? Если наши опасения справедливы, тотчас же дайте нам знать об этом со всеми подробностями.

Дашкова, накинув на плечи большой мужской плащ и надев шляпу, бросилась к Рославлевым, чтоб уведомить их о случившемся. Она шла пешком.

На дороге, как она сама рассказывает, ей повстречался красивый всадник, который мчался куда-то во весь опор. Дашкова, никогда не видевшая младших братьев Григория Орлова, догадалась, что это кто-либо из них. Она окликнула. Это был Алексей Орлов, который скакал от брата объявить Дашковой, что Пассек арестован как государственный преступник, что к дверям его комнаты приставлены четыре часовых и по два у каждого окна.

— Мой брат, — прибавил он, — поехал передать эту новость Панину, а я сейчас объявил ее Рославлевым.

Тут же на улице, где было безопаснее совещаться о тайном деле, чем дома, где могла подслушать прислуга, они условились, как им действовать. Дашкова поручила Орлову известить о происшествии всех своих сообщников — офицеров измайловского полка, чтоб они со своими солдатами готовились к принятию императрицы.

— А вы, — заключила она, — или кто-нибудь из ваших офицеров с быстротою молнии неситесь в Петергоф (где в то время находилась Екатерина) и просите от моего имени императрицу немедленно сесть в приготовленную для нее карету (карету еще накануне Дашкова велела приготовить через жену камердинера Екатерины, Шкурину) и позволить везти себя в Петербург, в измайловский полк, который ждет с нетерпением минуты, когда может провозгласить ее государыней и ввести в столицу. Скажите ей, что ее приезд так необходим, что я даже не хотела написать записки, чтоб не замедлить его несколькими даже минутами, и только на улице словесно просила вас скакать в Петергоф и ускорить ее приезд. Может быть, я сама отправлюсь к ней навстречу.

Эта предусмотрительная молодая заговорщица заказала портному для себя мужское платье, но только к вечеру этого дня, и потому теперь не могла ехать навстречу Екатерине.

Воротившись домой, она, чтоб избежать всяких подозрений, снова легла в постель, но не прошло и часу, как явился младший Орлов, Владимир.

Он приехал спросить, не слишком ли рано беспокоить государыню? Не следует ли отложить ее приезд в Петербург?

Эта затяжка в таком роковом деле поразила Дашкову. Она резко отозвалась о такой непростительной ошибке Орловых.

— Вы уже потеряли самое драгоценное время, — говорила она с досадой, — а что касается до того, что императрица испугается, так, по-моему, лучше в обмороке привезти ее в Петербург, чем подвергнуть опасности провести всю жизнь в монастыре или с нами вместе разделить эшафот.

Тогда Алексей Орлов поскакал в Петергоф. Уже в два часа ночи он разбудил Екатерину словами: «Пассек арестован!»

Дав императрице наскоро одеться, Орлов посадил ее в приготовленную, по распоряжению Дашковой, карету, сам сел на козлы вместо кучера и погнал лошадей во всю мочь. На полпути к Петербургу лошади упали, не выдержав страшной

гонки. Тогда Екатерина пересела в попавшуюся им навстречу крестьянскую телегу, и Орлов снова погнал в столицу. К счастью, Григорий Орлов спешил к ним навстречу с каретою.

В семь часов утра 26 июня 1762 года Екатерину подвезли к казармам измайловского полка.

Императрицу встретила небольшая кучка солдат. Это ее смутило. Но едва она показалась, как ударили тревогу, и весь полк вышел приветствовать новую государыню. К измайловскому полку присоединились и другие. Из домов высыпал народ, и с криками «ура» Екатерина въехала в столицу.

Эта неожиданная весть быстро разнеслась по Петербургу. Когда Екатерина только проезжала по улицам города, приближаясь к Казанскому собору, народ уже встречал ее на улицах и приветствовал в ней свою императрицу.

В соборе встретил ее новгородский архиепископ Сеченов, благословил государыню и отслужил молебен.

Дашкова в это время была дома. Она провела ужасную ночь: торжество ее державного друга, неудача, арест, эшафот — все это пережила она в страшную ночь накануне памятного ей на всю жизнь Петрова дня.

Но теперь и она знала, что та, у которой под одеялом она отогревалась еще так недавно, уговаривая ее позаботиться о троне, в это утро села на трон.

Дашкова поспешила во дворец. Его окружали войска и народ. Только пушка могла пробить эти живые стены, но юная заговорщица, а теперь — друг новой императрицы, легко прошла сквозь эти стены: подданные ее друга узнали ее, взяли на руки и с шумными приветствиями пронесли над своими головами прямо к подъезду. В этом триумфальном шествии по головам народа и войск Дашкова ничего не помнила: платье ее изорвали, волосы растрепались.

Увидев друг друга, императрица и Дашкова бросились одна другой в объятия.

— Слава Богу! Слава Богу! — больше ничего не могли выговорить взволнованные женщины.

Дашкова, заметив, что на императрице нет еще голубой Андреевской ленты, которая составляет необходимую принадлежность царствующей особы в России, снимает с государыни Екатерининскую ленту, и, по ее приказанию, кладет себе в карман, а с Панина снимает Андреевскую и надевает на императрицу.

В тот же день Екатерина приказала войскам, под ее личным предводительством, идти к Петергофу. Дашкову она тоже пригласила следовать с собою.

Дашкова поспешила домой, чтоб надеть на себя мундир преображенского полка, который она взяла у офицера Пушкина, и в то время ей пришло на мысль, что император, еще не свергнутый с престола, может явиться в Петербург, никем не защищенный, и тогда роли могли вновь перемениться.

Пораженная этою мыслью, она вновь явилась во дворец. Императрица в это время совещалась с сенаторами; зала совета была охраняема двумя офицерами; но когда проходила Дашкова, они приняли ее за молодого, неизвестного офицера, по-видимому, торопившегося по важному делу к государыне, и свободно пропустили ее. Дашкова подошла прямо к Екатерине и на ухо шепнула ей о своих опасениях. Тогда государыня тотчас же приказала секретарю совета, Теплову, изготовить указ об охранении въездов в столицу.

Сенаторы, по-видимому, не узнали в молоденьком офицере княгини Дашковой. Екатерина сама потом представила им этого юного офицера, переконфуженного своим внезапным появлением в зале совета, и сенаторы, встав со своих мест, поклонились этой энергической женщине, явившейся перед ними в такое время и в таком необычайном для женщины виде.

К вечеру Екатерина выступила из Петербурга с войском. Она ехала на красивом сером коне, в мундире преображенского полка. Рядом с ней ехала Дашкова, тоже на коне и в офицерском платье. За ними следовала блестящая свита — бывшие друзья Екатерины и Дашковой. Шествие заключалось войском, которое следовало за своею государынею, в числе около пятнадцати тысяч.

Это было необыкновенное шествие. Две молоденькие женщины шли во главе войска, чтобы отнять последнюю тень власти у императора, для одной из них мужа, для другой — государя и крестного отца. Подобные примеры едва ли представит история всего остального человечества.

Ночь застала на походе это необычайное шествие. Нужно было остановиться ночевать, и для этого избрана была известная деревня, Красный Кабачок, где для молодой императрицы и отвели ночлег в харчевне. Екатерина и Дашкова остались в одной комнатке, где была узкая и грязная кровать, на которой должна была спать русская императрица. Дашкова распорядилась разостлать на эту невзрачную царскую постель шинель полковника Керра и легла рядом с императрицей.

Но юная заговорщица, теперь приближенная особа новой императрицы, была настолько предусмотрительна, что, заметив у изголовья государыни какую-то дверь, ведущую в длин-

ный коридор, тотчас же встала, осмотрела все и приставила ко входу в коридор часового.

Но молодым женщинам не пришлось спать и в эту достопамятную ночь. Уснуть они не могли от волнения, и потому до утра занимались рассмотрением манифестов и указов, которые императрица уже заготовила для обнародования по империи.

На другой день войска с императрицей были уже в Петергофе, где и нашли акт отречения от престола императора Петра III, который просил только снабдить его табаком, бургундским вином и философскими сочинениями.

На другой день карета с опущенными шторками, с четырьмя рослыми гайдуками на подножках и конвоируемая отрядом Алексея Орлова, отвезла экс-императора в его любимую Ропшу. Через несколько же дней он скончался там, как сказано в манифесте, от «гемороидальных колик».

С восшествием на престол императрицы, друга Дашковой, историческая миссия этой последней, подобно миссии Жанны д'Арк, казалась конченною.

С этой минуты пошли для Дашковой неудачи и огорчения. Императрица, видимо, охладела к ней с первого же момента царствования. Да оно и понятно: между дружбой двух женщин становилась высокая стена, отделявшая их одну от другой, этой стеной была корона, трон, скипетр, шапка и бармы Мономаха, императорская мантия, идея помазания. Двум женщинам нельзя уже было бросаться в объятия друг другу при всяком удобном случае, как они бросались до сих пор.

Екатерина II поняла это сразу. Дашкова, по-видимому, не поняла этого до самой своей смерти и скорбела о том, будто потеряла дружбу императрицы, будто бы последняя употребила ее как орудие для достижения своих целей и что сверженный император был прав, говоря Дашковой: «Дитя мое, не забывайте, что несравненно лучше иметь дело с честными и простыми людьми, как я и мои друзья, чем с великими умами, которые высосут сок из апельсина и бросят потом ненужную для них корку».

Уже в Петергофе Дашкова поражена была неожиданностью. Она нашла Григория Орлова в покоях императрицы за распечатыванием пакетов с важнейшими государственными бумагами. Мало того, Орлов лежал на диване, потому что у него была контужена нога во время последних горячих скачек из Петергофа в Петербург и из Петербурга в Петергоф, и когда Дашкова с негодованием заметила ему, что он не имеет права распечатывать бумаг, которые подлежат личному усмот-

рению императрицы, Орлов хладнокровно отвечал, что его уполномочила на это сама государыня.

Тут только поняла наивная молодая женщина, что не она одна возвела на престол своего друга и что не она первая в сердце Екатерины.

Двадцать лет потом ни Орлов, ни Дашкова не говорили друг с другом.

В этот же день, в первый день восшествия на престол, Екатерина успела уже высказать свое неудовольствие Дашковой, как императрица подданной.

Дашкова, в простоте своей юношеской невинности, начала распоряжаться солдатами. Сначала, в Петергофе, когда она объяснялась с Григорием Орловым по поводу распечатывания им императорских пакетов, ей пришли доложить, что усталые солдаты забрались в царские погреба и без всякого разбора пьют и разливают дорогое венгерское вино, принимая его за мед, и офицеры ничего не могли сделать с разгулявшеюся толпою. Дашкова вышла к солдатам, объяснила им их неблагоразумный поступок, и солдаты, тотчас же вылив на землю нацеженное ими в шапки вино, отправились пить воду из ближайшего ручья. Дашкова отдала им все деньги, которые при ней были; вывернула даже карманы, чтоб показать, что у нее ничего больше не осталось, и обещала, по приходу в Петербург, дозволить им пить вино в питейных домах на казенный счет, сколько будет душе угодно. Солдаты охотно повиновались юному начальнику.

Но потом, когда императрица с войском и свитой воротилась в Петербург, и Дашкова поспешила домой, чтоб повидаться со своими, она в доме отца нашла целую сотню солдат и по часовому у каждой двери. Молодая женщина разбранила за это начальника караула Каковинского, приказала увести половину солдат, и хотя говорила с офицерами по-французски, однако, солдаты видели, что она делает выговор их начальнику, а равно и им самим.

Это ей не прошло даром.

Уезжая из дому во дворец, Дашкова захватила с собой Екатерининскую ленту со звездой, снятую накануне с императрицы и оставленную в кармане платья, где ее и нашла горничная. Дашкова хотела возвратить эти знаки императрице.

Когда она входила в покои государыни, то уже нашла там Каковинского с Григорием Орловым. Каковинский, как поняла Дашкова, успел уже на нее нажаловаться.

Едва Дашкова увидела Екатерину, как последняя высказала ей неудовольствие за то, что она при солдатах сделала

выговор офицеру, притом же на французском языке, и сама распорядилась отпускать часовых с их караулов.

— Несколько часов прошло с тех пор, как Ваше Величество заняли престол, — отвечала огорченная Дашкова, — и в это короткое время ваши солдаты выказали ко мне такое доверие, что какие бы вещи и на каком бы языке я ни говорила, они не могли оскорбиться.

При этом Дашкова подала императрице привезенную с собою Екатерининскую ленту.

— Потише, — сказала императрица, — вы, конечно, сознаетесь, что не имели права отпускать солдат с их постов.

— Это так, но я не могла позволить Каковинскому, для исполнения собственной прихоти, оставлять Ваше Величество без достаточного числа стражи, — защищалась Дашкова.

— Согласна, согласна и довольна. Мое замечание относилось только к вашей опрометчивости. А это — за ваши заслуги.

И при этом Екатерина возложила на плечо Дашковой Екатерининскую ленту. Молодая женщина, огорченная сделанным ей замечанием, не став на колени для принятия награды, гордо отвечала:

— Ваше Величество, простите меня, если я вам скажу, что пришло время, когда истина должна быть изгнана из вашего присутствия. Позвольте мне признаться, что я не могу принять этот орден: если это только украшение, то оно не имеет цены в моих глазах, если это награда, то она ничтожна для тех, которых услуги никогда не были и никогда не будут продажными.

Екатерина нежно обняла своего бывшего друга, оставшегося все таким же наивным.

— Дружба имеет свои права, — сказала императрица, — я хочу теперь воспользоваться приятной стороной этих прав.

Растроганная Дашкова бросилась целовать руку императрицы, которую, в своей невинности, все еще считала себе равной по правам дружбы.

Но на другой день ее ожидало новое разочарование.

В высочайших приказах, в числе прочих имен, Дашкова прочла и свое имя: ей пожаловали 24000 рублей из кабинета императрицы.

Однако императрица продолжала быть с нею ласкова, заставила ее с мужем переехать во дворец. Каждый вечер Екатерина приходила к ним, заставляла Дашкову играть на фортепиано, а сама с ее мужем пела самые забавные дуэты, и притом государыня и Дашков сильно фальшивили, а им-

ператрица, сверх того, гримасничала и подражала кошкам. «В это время, — говорит биограф этих двух замечательных женщин, — в юной Екатерине трудно было еще узнать великую правительницу России: она была только забавной, бесцеремонной гостьей Дашковых, но где нужно было, она и по отношению к Дашковой показывала себя вполне императрицей».

Дашкова была огорчена и во время коронации. Орловы отвели ей место не в свите императрицы, как кавалерственной даме, носившей Екатерининскую ленту, а в самых задних рядах торжественного кортежа, как простой гвардейской полковнице. Но в тот же день она пожалована была статс-дамою.

В это же время, когда в Москве образовалась партия, которая просила императрицу вторично вступить в брак, надеясь, что она изберет в супруги Орлова, и когда вместе с некоторыми друзьями своими Дашкова выказывала негодование по поводу толков об этом, императрица, под влиянием Орлова, написала мужу Дашковой записку следующего содержания:

«Я искренно желаю, чтобы княгиня Дашкова, забывая свой долг, не заставила меня забыть ее услуг. Напомните ей это, князь. Мне сообщили, что она позволяет себе в разговорах грозить мне».

Дашкову хотели даже запутать в заговор Мировича, который составил план свергнуть с престола Екатерину и на ее место посадить Иоанна Антоновича, сидевшего в крепости, в Шлиссельбурге.

Все это окончательно отдалило от императрицы Дашкову, и она стала уклоняться от двора, особенно же, когда, по смерти мужа, вся отдалась заботам о воспитании своих детей.

Так прошло более семи лет с того памятного дня, когда, стоя, в числе прочих, в голове государственного переворота, Дашкова позволяла было себе думать, что в числе с прочими она останется и в голове управления государством.

Но Екатерина умела ставить людей на свои места, и ровно через двадцать лет после того, как сама заняла престол, она отвела около себя приличное место и для Дашковой, сделав ее президентом Академии наук.

В конце 1769 года Дашкова испросила себе у императрицы позволение отправиться на два года за границу для поправления здоровья детей.

— Чрезвычайно сожалею о причине, которая заставляет вас оставить Россию, впрочем, вы можете как угодно располагать собою, — холодно сказала Екатерина, давая ей отпуск.

Дашкова выехала из России под именем госпожи Михалковой. Это она сделала для того, чтобы своим слишком громким в Европе, после переворота 27—28 июня 1762 года, именем, которое и без того было известно Европе, как имя литературное, не привлекать к себе излишнего внимания иностранцев и тем оградить себя от беспокойства и расходов не по средствам.

Дашкову, с которой было двое детей, сопровождали госпожа Каменская, ее племянница, и Воронцов, один из близких родственников.

Несмотря на принятое ею скромное имя, ее везде узнавали. В Пруссии, великий немецкий король Фридрих II, настоял на том, чтоб она явилась ко двору, и она таким образом познакомилась с «старым Фрицем», первым творцом нынешней единой Германии.

В Германии разные коронованные особы оказывали большую любезность «русской женщине», госпоже Михалковой.

Познакомилась она и с госпожою Неккер, а в Париже подружилась со стариком Дидро, так что была с ним почти неразлучна в продолжение трех недель. Ежедневно она заезжала за стариком и увозила его к себе. Философ-энциклопедист для России не потерял еще тогда того великого обаяния, перед которым недавно преклонялась вся Европа.

В высшей степени интересно, как эти две замечательные личности прошлого века, «русская женщина» и философ-энциклопедист, решали по-своему великий крестьянский вопрос, разрешенный только через столетие после того, как Дидро и Дашкова привлекали его к философскому рассмотрению.

Но об этом после.

До какой степени старик-философ овладел умом русской женщины, можно судить по следующему рассказу самой Дашковой.

Раз вечером, когда у нее сидел Дидро, княгине докладывают, что приехали г-жа Неккер и г-жа Жофрен.

— Отказать, отказать! — быстро говорит Дидро человеку.

Дашкова крайне удивлена.

— Что вы делаете? — говорит она, — с г-жою Неккер я еще в Спа познакомилась, а г-жу Жофрен очень бы хотела видеть, потому что она находится в постоянной переписке с русскою императрицей.

— Да, ведь, вы же говорили, что пробудете в Париже не более двух-трех дней. Она может с вами видеться два или три раза и не будет в состоянии хорошо судить о вас. Нет,

я не могу допустить, чтобы идолы мои подвергались осуждению. Поверьте мне, если бы вы еще месяц оставались в Париже, я сам первый познакомил бы вас с г-жою Жофрен, потому что она отличная женщина, но так как это, вместе с тем, один из парижских колоколов, то я решительно восстаю против того, чтоб позволить ей звонить про ваш характер, не познакомясь с ним совершенно.

В другой раз приехал историк Рюльер. Дашкова знала его еще в Петербурге, когда он состоял при французском посольстве.

Старик Дидро схватил Дашкову за руку, услыхав имя Рюльера.

— Одну секунду, княгиня! — воскликнул он, — позвольте мне вас просить: окончив ваше путешествие, вы захотите вернуться в Россию?

— Что за странный вопрос! Разве я имею право экспортировать моих детей?

— В таком случае, прикажите, пожалуйста, отказать Рюльеру, а я после объясню вам причину.

Рюльеру отказано. Тогда Дидро объяснил Дашковой, что, принимая Рюльера, она этим как бы выказывала одобрение его «Истории революции 1762 года», где бросается очень дурной свет на поступки Екатерины, которая поэтому, как объясняет Дидро, и старалась всеми мерами препятствовать распространению этого сочинения.

Дашковой оставалось только поблагодарить старика за эту находчивость и внимание.

Познакомилась она со стариком Вольтером, который жил в это время в уединении, потому что был постоянно болен. Он принимал ее в халате и в больших креслах, которые получили вместе с сидевшим в них стариком историческое бессмертие, называясь и доселе в самых захолустьях России «вольтеровскими» креслами, т. е. глубокими, покойными, старческими.

За стариком ухаживала племянница его, г-жа Дени.

Вольтер был не по душе Дашковой, особенно своею приторною любезностью. Но когда эта великая развалина давала волю своему великому уму, державшему в узде умы всего человечества в течение почти столетия, то Дашкова невольно подчинилась этой силе, тогда уже угасавшей.

«В первые дни нашего пребывания в Женеве, — пишет она в своих записках, — мы также познакомились с Губертом-«Птицеловом», — прозвище, которое ему доставила страсть к соколиной охоте. Это был человек с огромными

достоинствами, обладавший множеством приятных талантов. Он был поэт, музыкант и живописец. Крайняя чувствительность и веселость были в нем соединены с прелестями превосходного воспитания. Вольтер его боялся, потому что Губерт очень хорошо знал все его особенности и умел изображать на полотне такие сцены, в которых знаменитый писатель встречал некоторые из своих слабостей. Они часто состязались в шахматы. Вольтер почти всегда проигрывал и никогда не пропускал случая дать волю своему неудовольствию. У Губерта была маленькая любимая собачка, которая часто забавляла знакомых хозяина. Он выучил ее делать гримасы, чрезвычайно похожие на те, которые делал Вольтер при проигрыше в шахматы».

За границей Дашкова познакомилась и страстно привязалась к леди Гамильтон, дочери Рэйдера, архиепископа туамского, а равно сошлась и с леди Морган, дочерью Тиздаля, обер-прокурора Ирландии. Она так дорожила дружбой Гамильтон, что случайно доставшийся ей от последней шарфик она хранила как святыню: шарфик этот вытеснил из ее сердца тот исторический веер, который ей подарила Екатерина и который она желала положить с собою в гроб. Леди Гамильтон вытеснила из ее сердца и самую императрицу.

В Европе Дашкова оставалась вполне патриоткой. Так в Данциге, в отеле «Россия», она нашла две картины, на которых изображены были битвы русских с пруссаками. Русские войска представлены были жалкими, разбитыми, а пруссаки — победителями. Дашкова, оскорбленная этим, поручила Волчкову и Штеллингу, состоявшим при прусском посольстве и сопровождавшим ее до Данцига, накупить кистей и красок — и в ночь картины были переделаны: русские мундиры, зеленые с красным, были переделаны в прусские, синие с белым, и русские оказались победителями.

В Ганновере Дашкова была в театре с Каменской. Герцог Эрнест мекленбургский ожидал ее приезда и послал к ней в ложу своего адъютанта.

Раскланявшись с русскими и не обратив внимания на двух немок, сидевших в той же ложе и вежливо уступивших место впереди себя знатным русским дамам, так как в городе все догадывались, кто эти особы, — адъютант от имени его высочества спросил Дашкову: иностранки они, или нет?

Дашкова отвечала утвердительно.

— В таком случае, — продолжал адъютант, — его высочеству угодно знать, с кем я имею честь говорить?

— Милостивый государь, — отвечала княгиня, — не думаю, чтоб в этом была какая-либо надобность его высочеству или вам. А мы, как женщины, можем, я думаю, хоть раз в жизни испросить себе позволение умолчать и, вследствие того, не отвечать на ваш вопрос.

Адъютант был совсем сконфужен, а немки крайне удивлены смелостью Дашковой. Тогда она захотела пошутить над ними.

— Хотя я и не желала сообщить своего имени адъютанту, однако, не могу этого не сделать для вас, которые были так вежливы и любезны с нами. Я — театральная певица, а она (Дашкова указала на Каменскую) — танцовщица. Мы теперь путешествуем с целью ангажироваться на какой либо театр.

Немки были очень огорчены своею ошибкою, принявши Дашкову за важную особу — и повернулись к ней спиной.

Через два года Дашкова воротилась в Россию.

Екатерина, видимо, переменилась к ней. Она пожаловала ей 70000 руб. для покупки какой-либо собственности, и вообще была любезнее, чем до отъезда за границу. Дашкова объясняла эту перемену тем, что при особе императрицы Потемкин уже заменил Орлова, недруга Дашковой.

Но Дашковой уже не жилось в России: ее тянула Европа, да и воспитание детей заботило ее. Она вновь задумала поездку за границу, но уже лет на десять.

Екатерина вновь была недовольна этим предпочтением Европы перед Россиею. Но мы полагаем, что Дашкова осталась бы в России, если б ей выпала на долю широкая государственная деятельность, к которой рвалась ее честолюбивая душа.

Это действительно и случилось, когда Дашкова возвратилась в Россию из своего вторичного и продолжительного путешествия по Европе, где она знакомством со светилами всего мира высоко подняла свое, и без того уже громкое имя.

В ноябре 1782 года императрица, во время одного бала, разговаривая с придворными особами и иностранными послами, сказала Дашковой:

— Я имею сообщить вам, княгиня, нечто особенное.

Окончив разговор, императрица остановилась среди комнаты и, подозвав к себе Дашкову, объявила ей, что назначает ее директором Академии наук и художеств.

Пораженная словами государыни, Дашкова не знала, что отвечать. Императрица в лестных выражениях повторила свою волю.

— Простите меня, ваше величество! — отвечала смущенная Дашкова, — но я не должна принимать на себя такую обязанность, которую не в состоянии исполнить.

Императрица доказывала противное.

— Назначьте меня директором над прачками вашего величества, — говорила Дашкова, — и вы увидите, с какою ревностию я буду вам служить. Я не посвящена в тайны этого ремесла, но упущения, которые могут произойти отсюда, ничего не значат в сравнении с теми вредными последствиями, которые повлечет за собою каждая ошибка, сделанная директором Академии наук.

Императрица настаивает. Говорит, что другие директора были менее способны.

— Тем хуже! — возражала Дашкова, — они так мало уважали себя, что взялись за дело, которого не могли выполнить с честью.

— Хорошо! Хорошо! — сказала императрица: — оставим теперь этот разговор. Впрочем, ваш отказ утвердил меня в той мысли, что лучшего выбора я не могла сделать.

Все взоры придворных обращены на разговаривающих. Лицо Дашковой изобличает ее крайнее волнение. Враги ее ждут, что гордую ученую постигает немилость, опала.

Воротившись с бала домой и не раздеваясь, Дашкова тотчас же пишет императрице свою благодарность и отказ, называет ее «выбор неблагоразумным», говорит, что «сама природа сотворила женщин не директорами», что назначение ее на такой пост — историческое событие, а как историческое — оно должно подлежать и суду истории, что за этот выбор ждет суд истории и императрицу, что частная жизнь коронованной особы еще может не появляться на страницах истории, но что этот шаг императрицы история осудит, что, наконец, чувствуя свою неспособность для такого рода публичной деятельности, как управление академией, она не посмела бы даже сделаться членом какого-либо ученого общества, даже в Риме, где это звание можно приобрести за несколько дукатов, и т. д.

Написав письмо, Дашкова, несмотря на то, что было уже далеко за полночь, скачет к Потемкину и настаивает на том, чтоб он принял ее, если бы даже и лег уже спать.

Потемкин принял ее, хотя, действительно, и был уже в постели.

Дашкова объявляет ему о своем затруднительном положении.

— Я уже слышал об этом от ее величества, — говорил Потемкин, — и знаю очень хорошо ее намерение. Она ре-

шила непременно поставить Академию наук под ваше руководство.

Дашкова стояла на своем.

— Принять на себя эту должность это значило бы, с моей стороны, поступить против совести, — говорила она. — Вот письмо, которое я написала ее величеству и которое заключает решительный отказ. Прочтите, князь, потом я хочу его запечатать и передать в ваши руки для того, чтобы завтра поутру вы вручили его императрице.

Потемкин пробежал письмо и разорвал его на клочки. Дашкова вспыхнула при одной мысли, как он смел разорвать письмо, адресованное императрице.

— Успокойтесь, княгиня, и выслушайте меня, — говорил Потемкин. — Никто не сомневается в вашей преданности ее величеству. Почему же вы хотите огорчить ее и заставить отказаться от плана, которым она исключительно и с любовью занимается в последнее время? Если вы непременно хотите остаться при своем намерении, в таком случае вот перо, бумага и чернила, напишите еще раз ваше письмо. Но поверьте мне, поступая против вашего желания, я, однако, действую, как человек, который заботится о ваших интересах. Скажу более: ее величество, предлагая вам эту должность, может быть, имеет в виду удержать вас в Петербурге и доставить вам повод к более частым и непосредственным сношениям с нею.

Доводы Потемкина подействовали на самолюбивую женщину. Она скачет обратно домой и, не ложась, не снимая бального платья, опять пишет государыне.

Около 7-ми часов письмо послано, и тотчас же получен ответ:

«Понедельник, 8 часов утра.

Вы встаете ранее меня, прекрасная княгиня, и сегодня к завтраку прислали мне письмо. Отвечая вам, я приятнее обыкновенного начинаю свой день. Так как вы не отказываетесь безусловно на мое предложение, то я прощаю вам все, что вы разумеете под словом неспособность, и оставляю до удобного случая присоединить к тому мои собственные замечания. А то, что вам угодно называть моим правом, я заменяю более приличным именем: благодарность. Согласитесь, однако, что для меня замечательная новость — победить такой твердый характер, как ваш. Будьте уверены, что во всяком случае, когда я могу быть вам полезна словом или делом, я всегда буду готова к тому с радостию».

Вечером Дашкова получает письмо от графа Безбородко и копию с указа, отправленного в сенат, относительно нового директора академии. Указ уничтожал притом полномочие «комиссии профессоров», которая в последнее время, после беспорядков, допущенных в академии последним ее директором Домашневым, управляла делами академии.

В письме графа Безбородко, между прочим, было добавлено: «Ее величество поручили мне передать вам, что вы во всякое время, когда вам угодно, утром или вечером, можете обращаться к ней по каждому делу, касающемуся вверенного вам учреждения, и что она всегда готова будет устранять все затруднения, которые могут вам препятствовать при исполнении ваших обязанностей».

Дашкова отправляет копию с указа в академию и просит, чтобы комиссия два дня оставалась при своих занятиях. Вместе с тем она просит прислать ей отчеты академии, устав, положение о правах и обязанностях директора, и пр.

На следующее утро она является во дворец уже с докладом, как должностное лицо, как министр. В толпе придворных к ней подходит Домашнев и предлагает ей свои услуги. В это время отворяется дверь и появляется императрица, но тотчас же снова затворяет дверь и приглашает Дашкову в кабинет.

— Очень рада вас видеть, княгиня, но скажите, пожалуйста, о чем мог говорить с вами этот негодный Домашнев?

Дашкова сказала. При этом не преминула сказать и фразу, до которых вообще была охотница: она объяснила государыне, что ей придется «руководить слепою».

Как бы то ни было, в первое же воскресенье приемная нового директора академии была полна академиков, профессоров, ученых.

Дашкова любезно приглашает их приходить к ней без всякой церемонии.

В понедельник Дашкова в академии. Но предварительно она заезжает к знаменитому Эйлеру, в то время уже слепому старику. Оскорбленный Домашневым, он давно перестал посещать академию. Дашкова берет слепого старика в свою карету, сажает туда же его поводыря, Фуса, который был женат на дочери Эйлера, и молодого Эйлера.

В академии Дашкова говорит блестящую, но высокопарную речь.

Когда все академики заняли свои места, Дашкова села на председательское кресло. Рядом с ней сел профессор аллегории Штелин, определенный в академию еще императором

Петром III. Дашковой не нравится это соседство, и она говорит обращаясь к слепому Эйлеру:

— Садитесь там, где вам угодно, и место, которое вы изберете, конечно, будет первым между всеми.

Слова эти вызвали сочувствие всей академии.

После заседания, она отправляется в канцелярию, производит ревизию сумм, находит растраты, неоплаченные долги, предупреждает кассиров, что будет держаться строгой экономии. Академическую типографию она находит в жалком положении. Узнает, что записки академии не выходят потому, что для печатания их не достает шрифта.

Дашкова немедленно делает распоряжение о приобретении шрифтов, о приведении в порядок типографии, о продолжении издания ученых записок.

Между тем, Дашкова еще не присягала. Генерал-прокурор сената, князь Вяземский, спрашивает императрицу, должен ли он привести к присяге нового директора-женщину, как это установлено законом для всякого поступающего на государственную службу.

— Без сомнения, — отвечает Екатерина, — я не тайком сделала княгиню Дашкову директором академии, и, хотя не нуждаюсь ни в каком ручательстве за ее верную службу, тем не менее считаю эту форму необходимою, потому что она освящает мой выбор и придает ему торжественность.

Дашкова является в сенат и снова говорит блестящую речь.

«Господа! — обращается она к сенаторам, — наверное, вы столько же, сколько и я, удивляетесь моему появлению среди вас. Я пришла сюда произнести присягу в верности императрице, которой уже с давнего времени посвящаю каждое биение моего сердца, — и вот женщина является в стенах вашего святилища!»

От генерал-прокурора она просит все документы и сведения, относящиеся до академии, чтобы проверить обвинения, возводимые на это, столь упавшее после Ломоносова, высшее ученое учреждение.

На несколько лет Дашкова вся отдается делу академии, и доказывает личным опытом, что и в государственной деятельности женщина имеет право стоять на одной высоте с мужчиною.

Она увеличивает доходы академии, уплачивает ее долги, увеличивает число учеников академических, открывает три новых курса — математический, геометрический и естественной истории. Чтение курсов она поручает русским профессорам и

из закрытых классов превращает эти курсы в публичные. Она же первая является и посетительницею академических курсов.

Десять лет она ревностно исполняет свое дело, пока некоторые цензурные неудовольствия, по поводу пропуска академиею трагедии Княжнина — «Вадим новгородский», вновь не вынуждают ее на время оставить Россию.

Как бы то ни было, но академическая деятельность княгини Дашковой — это самая светлая сторона ее жизни.

Несмотря на то, что ей не мало было дела и с одною академиею, она, через год после принятия в свои руки этого учреждения, дала императрице инициативу к открытию еще так называемой «Российской академии», что составляет ныне второе отделение Императорской академии наук.

В цветистой речи, сказанной по этому поводу Дашковой перед лицом всего ученого академического синклита, женщина эта, между прочим, выражалась, что «императрица, свидетельница толиких наших благ, дает ныне новое отличие покровительства и российскому слову, толь многих языков повелителю».

Мы упомянули о цензурных неудовольствиях, испытанных Дашковой. На ней, как на президенте академии, лежали обязанности цензорского надзора над всем, что печатала академия. Вот почему Дашкова едва не впала в немилость за дозволение напечатать «Вадима новгородского», направление которого враги и завистники даровитой женщины старались представить императрице в ложном свете.

Как бы то ни было, при некоторых размолвках и временных охлаждениях, Екатерина до конца своей жизни была милостива к своему прежнему другу: трудно было забыть тот день, когда две молоденькие женщины-амазонки ехали из Петербурга в Петергоф добывать русский императорский трон.

Но вот императрица умирает.

Для Дашковой начинается опальное, тяжелое время.

Тотчас же по восшествии на престол императора Павла Петровича, Дашкова отрешается от всех должностей.

Едва она успела поблагодарить императора «за освобождение от бремени, которое превышало ее силы», и переехать в Москву, как является к ней московский главнокомандующий, Измайлов и объявляет ей приказ императора — «выехать из города и в деревне вспоминать о событиях 1762 года!»

Но едва она переехала в свое имение, село Троицкое, как от Измайлова пришло новое известие: император приказывает Дашковой, оставив Троицкое, ехать в одну из деревень ее

сына, в новгородскую губернию, и там ожидать дальнейших распоряжений».

Дашкова со своими приближенными поселилась в указанном ей глухом захолустье. Крестьянская изба заменила княжеские палаты и императорские дворцы. В заброшенной деревне, у этой деловой женщины, занявшей в истории место в числе первых по времени русских писательниц, не было даже достаточно бумаги, чтобы срисовать скучные и неприглядные виды окрестностей.

Но, однако, нашелся один лист бумаги, на котором княгиня Дашкова и написала просительное письмо государю о смягчении, если не ее участи, то тех, которые добровольно последовали за нею в изгнание.

Государь, узнав, что письмо от Дашковой, не хотел даже раскрыть его, а отправил немедленно курьера с приказанием — отобрать у княгини перья, бумагу, чернила.

Только, когда вслед за этим, в кабинет вошла императрица, держа на руках маленького великого князя, которому в рученьку всунула письмо Дашковой, государь, растроганный, принял письмо из рук сына и обнял малютку, сказав:

— О, женщины! Знают чем разжалобить.

И тотчас же, схватив перо, написал:

«Княгиня Екатерина Романовна, вы желаете переехать в свое калужское имение, — переезжайте. Доброжелательный вам Павел».

С воцарением императора Александра Павловича Дашкова опять возвращена ко двору, где она уж казалась и старушкою, и смешною в своих старомодных нарядах, с устаревшими манерами.

Она увидела, что время ее отошло, и поспешила сама удалиться в свою деревню, где, при содействии мисс Мери Вильмот, двоюродной сестры своей любимицы, леди Гамильтон, и занялась составлением своих знаменитых мемуаров.

Княгиня Дашкова умерла 4 января 1810 года.

При всех недостатках, от которых не свободна была эта женщина, Дашкова, тем не менее, является одною из замечательных русских женщин как прошлого, так и нынешнего столетия.

Современники слишком неравнодушно относились к ней: одни превозносили ее до идеальной высоты, другие низводили в грязь.

Так один современный ей иностранец, бывший в России уже в восьмидесятых годах, рассказывает о ней, между прочим:

«Княгиня уже с давних пор сделалась несносна по своему дурному характеру и заслужила общую нелюбовь. Знаменитая героиня революции 1762 года хвалилась тем, что она подарила трон Екатерине, и в то же время со всех знакомых офицеров и адъютантов собирала дань галунами или аксельбантами. Любимым ее занятием было отделять от шелку золото и серебро, которое она потом продавала. Таким образом, кто хотел приобрести расположение княгини, должен был прежде всего отослать ей все свои старые тряпки с золотым и серебряным шитьем. Зимой она не приказывала топить залы академии и, однако, требовала, чтобы члены аккуратно посещали заседания. Многие из них, впрочем, охотнее выслушивали ее жесткие выговоры, чем соглашались сидеть в таком страшном холоде. Княгиня-президент каждый раз являлась на заседаниях закутанная в дорогую шубу. Очень оригинально было видеть эту женщину одну посреди бородатого духовенства и русских профессоров, которые сидели подле нее с выражением глубокого почтения на лице, хотя в то же время сильно дрожали от холода. Ее обхождение с членами академии было чрезвычайно гордо и даже грубо: с учеными она обращалась, по-видимому, как с солдатами и рабами».

В другом месте этот же писатель говорит:

«Окончательно смешною сделал княгиню процесс с Александром Нарышкиным, который имел поместье по соседству с ее землею. Однажды его свиньи поели капусту на полях Дашковой, и та велела перебить животных. Когда Нарышкин, после того, встретил княгиню при дворе, то громко сказал: «Посмотрите, как с нея течет кровь моих свиней!»

«Такова была эта знаменитая женщина, — заключает он, — которая в Голландии подралась со своей хозяйкой, а в Париже хотела застрелить бедного аббата Шапо (неодобрительно отзывавшегося о России в своем сочинении), которую Вольтер старался уверить в том, что он ей удивляется, а немецкие писатели выставили каким-то божественным гением, и которая кончила тем, что сделалась предметом насмешек для всей России».

Хотя это едва ли правда, потому что Россия поступила бы дурно, если б только смеялась над такой женщиной, которых она все-таки много не может насчитать, однако, и эти отзывы нельзя обходить молчанием, потому что они — отклики времени и левая сторона суда современников.

Не хорошо отзывался о ней и Державин, да он и редко о ком хорошо отзывался. Он приписывает ей «склонность к

велеречию и тщеславию», «хвастовство», своекорыстные расчеты, «без которых она ничего и ни для кого не делала». Он говорит также, что Дашкова без всяких причин не любила и известного механика-самоучку Кулибина, и все это «по вспыльчивому ее или лучше — сумасшедшему нраву».

Но все подобные отзывы, если в них есть и значительная доля правды, ни мало не отнимают исторического значения у этой женщины: это была все-таки крупная личность, и русские женщины всегда могут указать на нее, как на одного из первых практических пионеров современного «женского вопроса», начавшегося теперь так, как ему давно следовало начаться, — с заработка собственного женского куска хлеба.

VIII. «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДОЧЕРИ ЛОМОНОСОВА И СУМАРОКОВА»: ВЕЛЬЯШЕВА-ВОЛЫНЦЕВА, ЗУБОВА, ХРАПОВИЦКАЯ И ХЕРАСКОВА

В предыдущих очерках мы сказали, что возбужденный в русском обществе гением Ломоносова и литературною деятельностью Сумарокова интерес к более высоким идеалам жизни, чем идеалы, которыми питалось наше общество в первую половину прошлого века, и относительно высший и, вследствие этого, более нравственный подъем общественного духа, не могли не вывести русскую женщину из того узкого, заколдованного круга, в котором она до той поры вращалась, и не вызвать в ней проявления духовных ее сил и ее умственного творчества.

Чуткая и восприимчивая по натуре, женщина во все времена служила как бы барометром, по которому можно определять степень подъема или упадка общественного духа и направление общественных симпатий. Мы говорим о лучших женщинах, о таких выдающихся между ними личностях, которые, как чувствительный барометр, способны отражать в себе состояние общественной атмосферы. В Греции, при Перикле, Аспазия была полным отражением всего лучшего, что успело выработать творчество аттического духа в момент его высшего подъема. В Риме, в эпоху общественной деморализации, женщина является более безнравственною и более жестокою, чем мужчина. В эпоху крестовых походов западноевропейская женщина в страстном увлечении идеею освобождения гроба Христова поднимает на свои плечи более

непосильные нравственные подвиги, чем в состоянии были поднять сами крестоносцы, бившиеся в Палестине с неверными.

Никакие исследования не в состоянии так полно и ясно представить всю историю русской земли, как история русской женщины, если бы история эта могла быть обстоятельно разработана; но, к сожалению, женщина, невидимая двигательница всего, что совершается на земле, по врожденной ей скромности, как бы прячется от взоров истории — то в недоступном никому семейном святилище, то в монастырской келье, то в детской, с питаемыми ей будущими деятелями.

Но где женщина как бы невзначай проявляется, там по ее проявлениям можно смело судить, что таково было господствующее направление эпохи, каким его отражает в себе женщина, и что направлением этим она же, невидимо для мира, и руководила, выражая собою знамение времени.

Княгиня Ольга, считая кровавую месть высшим проявлением языческой правды, доводит месть древлянам за смерть мужа до такой изысканности, до какой мужчина не в состоянии был бы ее довести, и первая во всей языческой Руси откликается на идеи христианства.

Рогнеда, с другой стороны, представляет собою крайнее выражение эпохи — гордость «рода»: она не хочет «разуть сапоги робичичу», хотя разуванье жениха невестою было в обычае времени и хотя этот «робичич» — сын сильнейшего князя русской земли.

Софья Витовтовна сама защищает Москву от татар в то время, когда великий князь бежит от страшных их полчищ: значит, приспела пора Руси освободиться от татарского ига. Софья Витовтовна — знамение времени.

Марфа-посадница чутьем женщины угадывает грядущую гибель вольностей Великого Новгорода со стороны Москвы — и погибает последняя, защищая эти вольности.

Софья Палеолог первая вселяет в душу своего мужа сознание царственного величия — и великий князь смело ломает ханскую «басму», чего не смел сделать ни один князь, и в то же время ломает силу удельных князей.

Елена Глинская добивает последнего удельного князя старицкого — и в своем лице начинает единодержавие русской земли: знак, что время единодержавия приспело.

Ирина Годунова, посадив на престол своего брата, сама предвидит, что тот путь, которым она возвела брата на престол, ведет Россию к гибели, что сама она бросает Россию в

пасть смутного времени, — и умирает, говорят, от тоски этого предвидения.

Марина Мнишек — это олицетворение последнего, отчаянного политического единоборства Польши и Руси, и если б победила Марина Мнишек, то, быть может, история русской земли пошла бы иным путем.

Цесаревна Софья Алексеевна — это полное отражение духа всей старой, допетровской Руси, и эта девушка поднимает руку на своего родного брата за то, что тот сам поднимал руку на эту старую, отжившую по форме Русь.

Матрена Кочубей мечтает об отдельной «украинской короне» и загадывает надеть эту корону на свою красивую голову: знак, что идея своей короны носилась в Малороссии.

В течение всей первой половины XVIII века русская женщина или наряжалась в немецкое платье, когда это стало знамением времени, и наряжалась с увлечением, со страстью, или до одурения танцевала в ассамблеях, или же упорно и глухо боролась против всего нового, или вся пропитывалась атмосферою противоновшества, или, наконец, интриговала при дворе, когда никакой другой деятельности для нее не представлялось, и попадала за это на плаху, или в Сибирь, или в монастырское заточенье.

Но вот в воздухе повеяло чем-то иным, более высоким веяньем духа: Ломоносов пересаживает на русскую почву западную науку и свои поэтические образы отливает в новую, невиданную дотоле форму стиха; Сумароков создает русский театр; древний аттический Парнас с его богами и богинями переносится на русскую землю и на него, хотя не без труда, взбираются Княжнин, Херасков, Майков.

Чуткая русская женщина, как ни была деморализована ассамблеями и интригою, мгновенно отразила в себе новое веянье времени, и молоденькие девочки, как, например, дочь Сумарокова (впоследствии Княжнина) или Александра Каменская (впоследствии Ржевская) становятся первыми русскими писательницами, вводят в историю эту новую русскую женщину.

Вместе с ними и за ними выступает целый ряд женщин этого нового направления, имена их: императрица Екатерина II, княгиня Дашкова, Вельяшева-Волынцева, Зубова, Храповицкая, Хераскова, княгиня Меншикова (урожденная княжна Долгорукая), Макарова, Орлова, Нилова, княгиня Голицына, княжна Волконская, Безнини, Хвостова — все это женщины того времени, когда Россия в первый раз со дня начала своего

исторического существования сознала в себе силу умственного творчества, как явление законное, и отнеслась к этой силе с должным уважением.

Об императрице Екатерине II и княгине Дашковой мы уже говорили. Познакомимся несколько с нравственною физиономиею и других, выше поименованных нами женщин, которые названы «литературными дочерьми Ломоносова и Сумарокова».

В сущности, женщины эти были скорее носительницами того знамени, под которым стояли Ломоносов, Сумароков и их последователи, чем «дочерями» этих деятелей слова.

Девица Анна Вельяшева-Волынцева была дочь артиллерии подполковника Ивана Вельяшева-Волынцева.

Под влиянием импульса общественного направления, начавшегося вслед за бироновщиной, Вельяшева-Волынцева рано почувствовала в себе призвание к умственным занятиям, и в то время, когда другие сверстницы ее или видели цель и содержание жизни в танцах и нарядах, или мечтали попасть ко двору, Волынцева искала осуществления своих жизненных идеалов в другой сфере, и нашла это удовлетворение в занятиях умственным трудом, который уже прославил имена двух или трех ее предшественниц, дочь Сумарокова — Княжнину, Ржевскую-Каменскую и княгиню Дашкову-Воронцову.

Впрочем, этот импульс общественного направления сильно в то время отразился и на дворе, так что и сама императрица Екатерина II, очень чуткая к требованиям века, искала славы писательницы и усердно работала над сочинением стихотворений на разные случаи, над составлением театральных пьес и пр.

Данное направление, одним словом, господствовало в умственной атмосфере Петербурга и Москвы, и, конечно, как всегда бывает, наиболее одаренные личности первые служили практическим выражением этого направления.

В то время стоять в уровне передовых требований века значило для женщины уметь владеть пером и стихом.

Вельяшева-Волынцева владела и тем и другим. Стихи ее дали ей литературное имя и — чего иногда напрасно добивались другие ее сверстницы — известность при дворе.

Молоденькая девушка пошла при этом и на другой, более трудный для ее сил, подвиг: она занялась переводом лучших в то время произведений западноевропейской литературы, и избрала для этого наделавшее так много шуму политическое сочинение Фридриха II: «Историю бранденбургскую, с тремя

рассуждениями о нравах, обычаях и успехах человеческого разума, о суеверии и законе, о причинах установления или уничтожения законов».

Перевод этот много наделал шуму в тогдашнем читающем русском обществе, и имя даровитой девушки повторялось во всех кружках, а еще чаще при дворе.

— Вот у меня перевели и Фридриха! — говорила императрица Екатерина философу Дидро, который в то время был в Петербурге. — И кто же, думаете вы? Молодая, пригожая девушка.

— У вас и при вас, ваше величество, — все чудеса света, — отвечал Дидро, — но в Париже мало и мужчин читателей Фридриха!

Известный деятель прошлого века Новиков, много потрудившийся для русского образования и в особенности для привлечения к умственному труду женщины, с большим сочувствием отзывается о трудах Волынцевой и говорит, что она, «в рассуждении своих молодых лет и исправности перевода достойна похвалы».

Тем же общественным движением увлечена была и другая современница Волынцева, Марья Ивановна Римская-Корсакова, вышедшая потом замуж за Зубова.

Римская-Корсакова славилась своими песнями, которые завладели вниманием всего тогдашнего русского общества и пелись повсеместно: это были первые песни, которые вместе с песнями Сумарокова и его дочери дозволила себе петь Россия после раскольничьих стихов, духовных кантат, песенок в роде тех, которые распевала когда-то Ксения Годунова, и редко — народных песен обрядового и бытового цикла.

Сама сочинительница песен считалась «приятнейшею певицею». Песни ее вышли в 1770 году. Эти песни теперь уже, конечно, забыты, как и сама их сочинительница.

Но едва ли кому-либо из читателей известно, что Зубова или Римская-Корсакова обессмертила свое имя такою песенкой, которая стала для России историческим достоянием.

Песенка эта — общеизвестный, теперь уже очень старинный, археологический, так сказать, романс:

Я в пустыню удаляюсь
От прекрасных здешних мест.

Почти целое столетие вся Россия пела эту, некогда модную, великосветскую, чувствительную песенку, и находила

ее восхитительною и по музыке, и по стиху, и по содержанию. Песенка эта пелась и при дворе, и в высших аристократических домах. Как все более или менее бессмертное, она стала потом достоянием нескольких поколений, перешла в самые отдаленные уголки России, пелась потом во всех захолустьях и до настоящего времени поется чувствительными попадьями старинного покроя в самых далеких уголках русской земли под звуки гуслей, тоже становящихся достоянием археологии.

Как бы то ни было, но чувствительная песенка Римской-Корсаковой стала исторической песенкой, и сказать: «Я в пустыню удаляюсь», значит сказать нечто поговорочное, эпическое.

То же веяние времени, те же господствующие симпатии наиболее передового меньшинства отразила в себе и сестра известного составителя ежедневных записок о времени Екатерины II, Александра Васильевича Храповицкого, Марья Васильевна Храповицкая.

Перед нею был пример брата, кое-что писавшего в журналах; за нею были уже примеры таких женщин, как Сумарокова-Княжнина, Каменская-Ржевская, княгиня Дашкова, Вельяшева-Волынцева, Римская-Корсакова. Даровитая девушка не хотела остаться за веком и для нее показалось недостаточным тех знаний, которыми она располагала по тогдашней системе великосветского образования.

Храповицкая знала в совершенстве языки французский, итальянский и немецкий; но не этими знаниями можно было выдвинуться из толпы дюжинности в то время, когда Ломоносов высоко поднял знамя русской народности, а его последователи завоевали для русского литературного слова почет и государственное значение.

Храповицкая, говорит один из писателей старого времени, «не знавши хорошо правил отечественного языка, всегда спрашивала своего брата, Александра Васильевича Храповицкого, быть ее учителем. Храповицкая за привязанность свою к чужим языкам боялась штрафования «Телемахидою», особенною грозою для разборчивых приверженцев к чтению «иностранных книг».

Брат, действительно, сделался руководителем ее по ознакомлению ее с «грамматическими правилами в русском слове», и отдавшись затем изучению русской словесности, она в скором времени сама выступила в свет, как писательница.

В биографическом очерке, посвященном гетманше Скоропадской, мы говорили, что этою женщиною начинается нрав-

ственное объединение малорусской исторической женщины с великорусскою, что после Матрены Кочубей и гетманши Скоропадской самостоятельный исторический тип украинской женщины стирается, и между разными украинками — Четвертинскими, Гамалеями, Кочубеями, Галаганами, Сологубами, Лизогубами, Безбородками и Разумовскими — впоследствии нельзя уже отличить их малорусского происхождения, — так история ассимилировала оба типа русской женщины, как украинцев Гоголя, Костомарова, Кулиша и других ассимилировала она в русских писателей, а малейшее отклонение их от общего русского исторического и народного русла в пользу малорусского ставило уже в разряд народного и политического сепаратизма.

Такою же ассимилированною украинкою является и Храповицкая, в которой никто бы, кажется, не мог узнать историческую преемницу Матрены Кочубей и Настасьи Скоропадской.

Весть о литературных занятиях Храповицкой скоро дошла до императрицы Екатерины.

Рассказывают, что «граф Кирилло Григорьевич Разумовский при первом удобном случае донес императрице, что его землячка Храповицкая запелась на виршах и читает русскую грамоту лучше придворного дьячка. Для Екатерины и этого было достаточно, чтоб пригласить Храповицкую ко двору, еще более поощрить ее в страсти писать стихи, заставить переводить и потом печатать в современных журналах».

Храповицкая вместе с братом сделалась сотрудницей издававшегося тогда Сумароковым еженедельного журнала, под названием «И то и сио».

В то время русская публика только что входила во вкус трагедий. Это были большею частью напыщенные произведения, с ходульными и сантиментальными героями и героинями, которые шестистопным метром говорили монологи на целых страницах, облекались во всеоружие криво понимаемого классицизма и вообще отличались тяжеловатостью. На этот же лад сочинялись и трагедии из древнерусской жизни с Властемирами, Пленирами, Усладами и т. д.

С трагедиею выступила в свет и Храповицкая. В сотрудничестве с братом она написала «Идаманта», и Екатерина II, узнав об этом произведении, пожелала с ним познакомиться.

Хотя, замечает один писатель конца двадцатых годов нынешнего столетия, трагедия Храповицкой «похожа, может быть, была, по выражению нынешних резких цензоров более

на козлопение, нежели на трагедию, но тогда еще не было таких отважных определителей, русские литераторы прямыми глазами видели в Сумарокове отца театра своего, а в последователях Сумарокова видели достойных похвалы учеников его, и потому Екатерина заставила однажды прочесть несколько страниц из «Идаманта», несмотря на шестистопные стихи трагедии, поцеловала сочинительницу и примолвила:

— Хорошо, но если бы вы больше советовались с Александром Петровичем (Сумароков).

В 1778 году Храповицкая перевела знаменитый роман Мармонтеля «Инки, или Разрушение перуанского царства».

Роман этот приобрел громадную славу в свое время. Перевод Храповицкой наследовал эту славу. Спустя сорок лет после появления в свет «Инков», тогдашние писатели утверждали, что в России не было такой библиотеки, которой этот роман «не служил бы украшением». По 1820 год «Инки» имели четыре издания. Но замечательно, что в течение сорока лет разошлось только пять тысяч экземпляров, из чего видно, что в год продавалось не более ста экземпляров. При всем том один из писателей тридцатых годов говорит о Храповицкой и ее романе, как о феномене, и высказывает удивление, что «такая книжная продажа, хотя бы и не у нас, в тогдашнее время есть редкость».

Надо при этом заметить, что «Инки» в то время служили такою настольною и педагогическою книгою для всякого образованного русского семейства, что по этому переводу Храповицкой учились дети, как по образцовому руководству и в отношении языка, и в отношении развития мысли и вкуса учащихся.

К этому же циклу женщин-писательниц принадлежит и Елизавета Васильевна Хераскова.

Знаменитый в свое время Михаил Матвеевич Херасков, творец «Россияды», «Кадма и Гармонии», «Владимира» и других драматических произведений, когда-то считавшихся капитальными, произведений, над которыми плакали и которыми гордились прадеды и прабабушки современного русского поколения, — Херасков, подобно Княжнину, избрал себе супругу из наиболее развитых девушек своего круга, из того разряда женщин, которые, как мы заметили выше, не только становились под знамя своего времени, но и усердно несли в своих руках это знамя.

Еще девушкой Хераскова занималась литературой, и, принадлежа к кружку передовых женщин, была известна Сумарокову и очень им любима за даровитость.

Когда она вышла замуж за Хераскова, Сумароков, рассказывают писатели того времени, «в поздравительном письме своем к ней, новобрачной, щекотал ее самолюбие, говоря, что для женщины ничего нет выгоднее, как быть супругою человека ученого; что вместе со славою мужа ученого никогда не умрет и ее память; что в самых поздних веках прочтут еще: «А супруга такого-то была такая-то», и пр.

Хераскова не была поэтом или стихотворицей, по обычаю того времени: ее не называли ни «пиитою», ни «музою», а просто «литературкою, прозаическою писательницею». Произведения ее, однако, имели значительный круг читателей, и Новиков отзывался о Херасковой, что она имела «слог чистый, текущий, особенными красотами приятный».

По обычаю того времени — называть русских писателей и писательниц именами каких-либо знаменитостей, то «российскими Омирами», то «российскими Сафо», «российскими Коринnами» и пр. — Хераскова носила имя «российской дела-Сюзы».

Но замечательно вот что: едва женщина выступила в свет как писательница, едва она предъявила право на практическое разрешение того, что в наше время принято называть «женским вопросом», как тотчас же явились и противники этого вопроса, мало того — враги, самые злые.

Первым по времени борцом против допущения женщины в литературу был известный тогда писатель В. М. Майков. Он особенно нападал на женщин-писательниц, которые были или женами или дочерьми известных писателей. Майков высказывал в этом случае подозрение, что никогда нельзя решить, кто писал сочинение, под которым подписано имя жены или дочери литератора — сама ли подписавшаяся сочинительница, или ей помогал в этом труде муж или отец.

«Отважный творец «Елисея», — говорит о Майкове один из прежних биографов Херасковой, — всегда объявлял спор против наших тогдашних женщин-авторов, жен и дочерей авторских; он решительно говаривал: «Хорошо, весьма не худо, да вот беда: за жен мужья, а за дщерей родители. Хераскова щегольская барынька, да если б писать ей, то у мужа не было бы и щей хороших: он пишет, она пишет, а кто же щи-то сварит?»

Как бы то ни было, Хераскова и щи варила мужу, и писала, и притом в литературном деле обладала и большим тактом, чем ее муж, и большей практичностью. Она останавливала мужа от исполнения таких литературных замыслов,

от которых она не ожидала ни авторской славы, ни материального прибытка.

Современники свидетельствуют, что Херасков получал очень значительные выгоды от продажи издателям-книгопродавцам лучших своих произведений — «Россияды», «Кадмы и Гармонии» и других.

К концу жизни, почувствовав приступы старческого скряжничества и не чувствуя, что талант его падает, как это и всегда бывает, когда писателем овладевает посторонняя, особенно же денежная страсть, — Херасков написал еще одну объемистую поэму — «Бахариану, или Неизвестного». Написал он эту поэму, не слушая своей умной жены, которая останавливала его от продолжения этого неудачного труда.

Книгопродавцы, которым Херасков предложил издание этого труда, не решались приобрести его отчасти потому, что имя Хераскова уже теряло свое обаяние, книги его шли туже, а между тем, сами не обладая никакими средствами для оценки достоинств литературных трудов, они прислушивались к неблагоприятным отзывам в обществе о новом произведении устаревшего писателя.

Едва ли можно, впрочем, дать какую-либо цену анекдотическому рассказу, ходившему в то время насчет «Бахарианы» и насчет ее покупателей-книгопродавцев. Говорят, будто бы книгопродавцы, слыша об «излишней тягости» в произведении Хераскова, т. е. о тяжеловатости языка, манеры и всего содержания нового произведения, и понимая эту «излишнюю тягость» буквально, как тяжесть на вес, — «книгопродавцы долго прикидывали на руку поэму Хераскова, угадывали вес, колебались взять ли ее, печатать или нет» и т. п.

Хотя и в настоящее время редкие из наших издателей-книгопродавцев настолько обладают личными познаниями, чтобы делать правильную оценку произведений современных писателей, и большею частью руководствуются в этом случае или ходячими слухами о писателе и его произведениях, или курсом его имени на книжной бирже, в литературных кружках, в обществе, вкусами читателей и спросом на автора и на предмет, наконец, вероятностью хорошего или дурного приема произведения со стороны критики, следовательно — вероятностью хорошего или плохого сбыта книги, — однако, нельзя допустить, чтобы и сто лет назад русские книгопродавцы не обладали настолько коммерческим тактом, литературным чутьем и знанием сво-

его ремесла, чтоб буквально понимать «тяжесть» произведения и взвешивать его на руке.

Сто лет назад, когда написана была «Бахариана», русские книгопродавцы, как и г-жа Хераскова, очень хорошо понимали, что время Хераскова отошло, что в воздухе слышится уж что-то другое, что там и здесь раздаются имена новых писателей — Дмитриева, Карамзина и что только один еще Державин сидит непоколебим на своем литературном троне. Вот почему книгопродавцы не решались купить книгу, которую не одобряла и г-жа Хераскова, — и упрямый старик, тихонько от жены, издал ее на свой счет.

Книга, разумеется, не пошла. Скупой старик потерпел убытку до тысячи рублей в виде долга типографии.

Произошла, конечно, семейная сцена, когда Хераскова узнала о неблагоразумной скрытности мужа.

— Ах, Михаил Матвеевич! Что ты наделал! — говорила огорченная супруга (так передают эту сцену современники).

Старик молчит — у него нет оправданий, потому что улика налицо: тысячи рублей из семейной экономии как не бывало. Но деньги все-таки надо еще было внести в типографию, очистить долг, а деньгами распоряжалась жена.

— Делать нечего — аминь! — сказала Хераскова, сжалившись над убитым стариком, — мое пророчество сбылось: возился, писал... На, вот деньги — кинь и знай:

Что в старости твое писанье
И дому и жене одно, сударь, страданье.

— Как жаль, Лизанька, что ты не приохотилась быть пиитой! — отозвался обрадованный старик.

Говоря вообще, как ни малоизвестна историческая память всех этих, поименованных нами здесь четырех женщин, как ни скромно занимаемое ими в истории русского просвещения место, однако, они, соразмерно своим силам, честно служили духовным интересам страны, и, принеся ей хотя ту маленькую долю пользы, которую принято называть лептою вдовицы, сделали свои скромные имена едва ли не более заслуживающими бессмертия в истории человеческого развития, чем имена более громких исторических деятелей, но только на тех поприщах, которые с каждым годом теряют цену в глазах истории.

К сожалению, все произведения названных нами женщин в настоящее время стали библиографическою редкостью, и самое бессмертие честных женских имен с каждым годом все более и более стирается не временем, а нашим равнодушием к памяти наших деятелей.

Часть вторая

I. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПЕРЕВОДЧИЦЫ: КНЯГИНЯ МЕНШИКОВА, ГОСПОЖА МАКАРОВА, ДЕВИЦА ОРЛОВА, КНЯГИНЯ ГОЛИЦЫНА, КНЯЖНЫ ВОЛКОНСКИЕ

Небольшой период времени, начиная от конца пятидесятых и кончая восьмидесятыми годами XVIII столетия, этот промежуток лет в тридцать, не более, по справедливости может быть назван счастливою эпохою в истории развития русской мысли.

Эти тридцать-сорок лет, как ни были они мимолетны, оставили блестящий след в русской истории и дали русскому имени вес и значение в Европе.

Монсы, Балки и им подобные женщины, продукт болезненного состояния общества, сходят со страниц истории. Тайная канцелярия, застенок, Андрей Иванович Ушаков тоже не показываются на этих страницах, потому что в это время им нечего делать, и Россия, по-видимому, не нуждается более в Ушакове: мужчины не съезжаются тайно по ночам, чтоб перешептываться о низложении временщиков; женщина не попадает более в застенок, потому что «вместо заговора против какого-нибудь «канальи Лестока», заинтересована новым произведением своей приятельницы или чувствительным романсом в роде «Я в пустыню удаляюсь» Римской-Корсаковой, или любопытным переводным романом Храповицкой и т. д.

Вместо отрубленных голов, воткнутых на шесты, внимание толпы обращено на выставленные в окнах магазинов бюсты Ломоносова, Сумарокова, на новые книжки, глобусы, картины. О пытках стали забывать. Человеческая кровь сменилась типографскими чернилами — зачем же тут застенок, Ушаков, заплечный мастер?

Подметные письма и «пашквили», доносы, «слово и дело» — заменились «одами», трагедиями, и казни остаются только на сцене.

Во дворце — литературные вечера, и наши герои прямо от чтения новой трагедии скачут к армии и побеждают неприятелей.

Вообще что-то произошло такое, чего прежде не было.

И в государственной и в общественной жизни, в свою очередь, являются и люди, которых прежде не было.

Мало того, происходит какая-то перестановка в классификации достоинств, качеств, понятий заслуг: литературные заслуги ценятся одинаково с заслугами государственными, служебными и т. д.

Мы уже видели, как отразилось все это на женщине и как «прекрасные россиянки» дружно и высоко подняли в своих руках и понесли вперед знамя возрождения русской мысли — знамение времени. В несколько лет русское общество дало истории восемь женских личностей, выставило небывалый в русской земле женский тип — женщин-писательниц, которые прошли не бесследно в истории русского просвещения, и из этих женщин одна была императрица — Екатерина II, одна княгиня — Е. Р. Дашкова, и шесть других писательниц — Сумарокова (Княжнина), Каменская (Ржевская), Вельяшева-Волынцева, Римская-Корсакова (Зубова), Храповицкая и Хераскова.

Когда эти женщины продолжали еще свое литературное дело, к их знамени примкнуло шесть новых женских личностей.

Первою из них является княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая, впоследствии супруга светлейшего князя Петра Александровича Меншикова.

Это вместе с Храповицкою — первые русские переводчицы.

Как на поразительную черту рассматриваемого нами явления укажем на следующее обстоятельство.

Лет за пятьдесят до этого умственного возрождения русской женщины, мы познакомились, в настоящих очерках, еще с одною княжною Долгорукою, Александрою Григорьевною, бывшею замужем за знаменитым Салтыковым, братом царицы Прасковьи.

Мы видели, какова была образованность этой княжны и каковы были ее познания в русской грамоте.

Эта княжна Долгорукая или супруга знаменитого Салтыкова так, например, писала к известной своими интригами и своею трагической участью сестре Анны Монс, Матрене Ивановне Балк:

«Государыня мая матрена ивановна много летно здравъствуй купно са всеми вашими! писмо миласти вашей получила, в катором изволите ответствавать на мое писмо, каторое я к вам писала из кенез Берха, за что я вам матушка мая, Благодарствую и впреть вас прашу неизволте оставить и чаще

писать, что свеликою маею радастию ожидать буду... прашу на меня и не изволте прогневатьца, что мешкала за нещастием моим, на оное ваше писмо ответствавать, понежа у меня батюшка канешно болен огреваю четыря недели истен но в бедах моих несносных не магу вам служить маими писмами; ежели даст Бог Батюшку лехча, буду писать пространо на будущей почте Сердешно сердешно сожелею о вашей балезне изволька мне от писать если вам лехча» и т. д., как мы уже видели раньше.

Бесспорно, язык княжны Долгорукой и правописание — ужасны.

И вдруг, в эпоху возрождения русской мысли, другая княжна Долгорукая, Екатерина Алексеевна, является уже блестящею по своему времени писательницею, участвует в русских литературных журналах, мало того, она первая переводчица, она знакомит Россию с Тассом!

«Воспитанная во всем блеске вельможной дочери, она не только ознакомила себя с лучшими иностранными писателями своего времени, но получила притом и весьма достаточное понятие о правилах языка отечественного, — другая редкость и в наше время!» — говорит о ней писатель тридцатых или двадцатых годов.

Но редкость не в том, что «вельможная дочь получает весьма достаточное понятие о правилах языка отечественного», а в том, что она прекрасным языком переводит Тасса, указывая тем путь будущим переводчикам, и Фонвизин, крупная литературная сила, не умаляющаяся от времени, высказывал глубокое удивление к дарованиям вельможной женщины, которая, при всех «заботах дворских или светских», завоевала себе почетное место в литературе.

Вслед за нею под то же литературное знамя становится девица Наталья Алексеевна Неелова, последствии г-жа Макарова.

Макарова выступает с романом или повестью под заглавием: «Лейнард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников».

Заглавие, конечно, вычурное, как и подобало в то время; содержание романа — тоже ничем не выдающееся, но заслуга здесь в том, что и Макарова, как все предыдущие девять женщин — естественный продукт духа времени.

В ту эпоху на русское общество уже влияла неутомимая деятельность борца за русское просвещение — Новикова: он выискивал и, так сказать, созидал даровитых женщин, под

его влиянием укрепился не один талант, и это влияние его отразилось на всем русском обществе.

«Для Новикова, — говорит один из писателей прежнего времени, — изыскателя и поощрителя отечественных дарований и трудов, было довольно и таких романов, каким был «Лейнард и Термилия», или ему подобные. Сей глубокомысленный писатель, изыскивая, а иногда, так сказать, сотворяя таланты и особливо в женщинах, ожидал от них весьма многого...

«Грамотная мать, — говаривал он, — и в игрушку будет давать своему дитяти книгу, а таким образом и мы пойдем вперед с молоком, а не с сединами...»

«В таком предположении он каждой даме, или девице, занимавшейся чтением русских книг, был всегда и другом и покровителем, и охотно предавал тиснению все их сочинения и переводы. С сего же времени, как можно заметить по влиянию языка наших литераторш на жесткий слог тогдашней нашей прозы, сия последняя начала смягчаться и, кажется, дожидалась только мастера — Карамзина».

«Повесть госпожи Макаровой по своему слогу почти первая приближается к лучшим изменениям в языке, и потому она с этой стороны останется навсегда замечательною».

Мы полагаем, что этих немногих заметок о литературной деятельности княгини Меншиковой и г-жи Макаровой достаточно, мы считаем важным указать только на явление и на его характер.

Насколько явление это имело общий характер и стало отличительною чертою русского общества в помянутый нами тридцати или сорокалетний промежуток времени, можно заключить, между прочим, и из того, что даже степной, в то время никому почти не известный, Тамбов стал литературным городом: в Тамбове, в котором и теперь печатаются только «Губернские Ведомости», в восьмидесятых годах прошлого столетия печатались книги, романы, повести.

Правда, небывалое дотоле явление это объясняли пребыванием там Державина, который в то время был тамбовским губернатором и своею литературною славою увлек за собою на служение музам не одну женщину, но это объяснение нельзя не признать отчасти односторонним: не Державин тут причина явления, а причина эта — известная высота подъема общественного духа.

«Гаврило Романович Державин, будучи губернатором в Тамбове, умел влюбить многих из тамошних жителей и в ли-

тературу, и в театр, в особенности же в сем случае он обратил все внимание на дам, как на первых споспешествовательниц к образованию вкуса».

Так понимали это явление ученики и последователи Державина, мы же объясняем его общим направлением времени.

Действительно, в бытность Державина в Тамбове в этом городе явилось несколько женщин писательниц, из которых наиболее заметный след в истории литературы оставила девица Орлова и княгиня Голицына.

Марья Григорьевна Орлова была, можно сказать, балованное дитя Державина: на всех литературных вечерах, на всех общественных собраниях, которые не обходились без чтения стихотворений, од и всяких торжественных «прологов», во всех благотворительных спектаклях — Державин выставлял Орлову на первое место. Так, например, когда в день открытия в Тамбове театра и народного училища, в день, совпадавший с тезоименитством императрицы Екатерины, на театре был поставлен драматический пролог, сочиненный Державиным на этот случай, Орлова явилась в роли Мельпомены и исполнила свою роль блистательно.

По окончании пролога, Державин торжественно благодарил девушку и, целуя у нее руку, говорил:

— С такими чувствами и с этими только голубыми глазами должна быть наша Мельпомена, а другую русская сцена не допустит явиться перед зрителями.

Но Орлова не остановилась на сценическом выполнении чужих театральных пьес, она сама явилась писательницей, и напечатала в Тамбове роман под заглавием: «Аббатство, или Замок борфордской».

Печатание романов в Тамбове — это действительно то, чего не было ни прежде, ни после.

Если б это продолжалось долго, то в таком случае не удивительно, что Арзамас мог сделаться русским Лейпцигом.

В одно время с Орловою выступила в Тамбове, тоже в качестве писательницы и преимущественно переводчицы, княгиня Варвара Васильевна Голицына, урожденная Энгельгардт.

Она напечатала в тамошней типографии переведенный ею роман: «Заблуждение от любви, или Письма от Фанелии и Мальфорта».

Державин, посылая экземпляр этого романа Хераскову, между прочим, писал:

«Наш степной Тамбов цветет и зреет необыкновенно скоро, у нас и Талия и Мельпомена, свои Феокриты, свои Сафо, все свое. Прочтите наш новый роман, да послужит он многим из ваших указкою и по выбору и по слогу. В столицах не все так переводят» и т. д.

Наконец, в это же время прославились, как хорошие переводчицы, две сестры, княжны Волконские, Екатерина Михайловна и Анна Михайловна.

Надо отдать честь этим девушкам, что их не остановила трудность такой работы, как перевод ученого и весьма капитального в то время сочинения — «Рассуждения о разных предметах природы, художеств и наук».

Известный профессор Озерецковский с большой похвалой отзывался о переводе княжен Волконских, ставя им в заслугу не только выбор такого серьезного сочинения, как выше упомянутое, но и уменье победить все трудности ученой терминологии, которая в то время, конечно, была несравненно менее установлена и выработана, чем в настоящее время: известно, как ученая терминология и теперь затрудняет наших современных переводчиков и переводчиц.

По поводу перевода княжен Волконских Фонвизин говорил одному из своих приятелей:

— Прочти перевод княжен Волконских, — его скоро напечатают, — и ты увидишь, что при изображении моей последней Софьи я еще весьма мало задал ей учености: наши россиянки начали уже и сами знакомить нас с Бонетами и Бюффонами.

К чести «россиянок» прошлого века следует отнести, что они являются как бы прототипами тех полезных женщин-писательниц нашего времени, которые своею переводческою деятельностью значительно пополняют недостаточность научной подготовки русской читающей публики. При чтении современных переводов г-ж Белозерской, Ген, Лихачевой, Марка-Вовчка, Суворинои, Цебриковой и других, нам всегда вспоминаются имена отживших русских переводчиц — Вельяшевой-Волынцевой, Храповицкой, княгини Меншиковой (кн. Долгорукой), княгини Голицыной (урожд. Энгельгардт) и княжен Волконских; почтенная деятельность и первых и последних — не малая заслуга в истории русского просвещения.

Но тридцать лет скоро прошли. К девяностым годам истекшего столетия многое изменилось, и русское общество снова делает какой-то поворот, напоминающий что-то старое, по-видимому, давно отжившее. У общества точно руки опу-

скаются. То, что тридцать-сорок лет назад ставилось людям в достоинство, уже ставится им в вину. Заслуги, ценимые еще так недавно, уменьшают уже цену человеку. Упадок духа заметен во всем. Робость и нерешительность парализуют силу, которую еще так недавно чувствовала и уважала Европа. Мы становимся как будто бессильны внутри, сравнительно слабы извне.

Вспоминается и Ушаков. Но его уже нет. На странице истории, где он стоял, осталось только пятно. Ушакова нужно было заменить другим, создать — и является Шашковский.

Женщина, как и мужчина, опять на время стушевывается. Вместо переводчиц и писательниц являются «монастырки-смолянки», о которых мы скажем в свое время.

II. ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА САЛТЫКОВА, УРОЖДЕННАЯ ГЛЕБОВА

(«Салтычиха»)

В одном из предыдущих очерков (Фрейлина Гамильтон) мы высказали, что историческое бессмертие выпадает иногда на долю таких личностей, к счастию, немногих, которых воля злонаправленная и вся сумма жизненных условий, неудачно сложившаяся в недобрый характер, дают этим личностям бессмертие, как вечный суд истории, как несмываемое пятно на несчастной их памяти и как позорный приговор, имеющий служить нравственным уроком для будущих поколений. История человечества была бы не полна и не правдива, если б она восполняла своим беспристрастным изложением лишь страницы, предназначенные для светлых явлений прошлого и для светлых человеческих личностей, а страницы и части страниц, отведенные для вписания на них явлений темных, без которых светлые, по закону контрастов, не бывают достаточно светлы, и для личностей противоположных светлым, без сопоставления с которыми эти последние казались бы бледными, бесцветными, — оставляла белыми, неисписанными.

К несчастным личностям последнего рода принадлежит и та, имя которой выставлено нами в заголовке этого очерка, написание которого здесь отчасти объясняется и другими побуждениями, руководившими нашим пером.

Побуждения эти следующие. Салтыкова, жившая в восемнадцатом веке, до настоящего времени служит предметом

народных рассказов, далеко не правдоподобных, преувеличенных; на память «Салтычихи» в сознании русского народа легло слишком темное пятно; народ осудил ее в своем легендарном творчестве более жестоко, чем осудило ее государство, и жесточе, чем должна бы осудить история.

Снять с памяти Салтыковой часть этого темного пятна и слишком густые краски, наложенные на нее временем и недостаточным знакомством с истинною историею Салтыковой, вот отчасти наша цель.

«В народе, собственно по Москве, — говорит один составитель статьи о Салтыковой, на основании подлинного о ней архивного дела, — имя «Салтычихи», чрезвычайно популярное, произносится обыкновенно с тем же чувством, как имена Пугачева и Разина. Можно и до сих пор услышать, что «Салтычиха» похищала детей, жарила их и ела, вырезывала у своих крепостных девок груди и также употребляла их в пищу, что первым доносчиком на нее был повар, готовивший для нее кушанье из человеческого мяса».

Имя Салтыковой стало, следовательно, достоянием народа. А такая популярность редко выпадает на долю даже самым светлым историческим личностям, на что нельзя не обратить внимания: народ, к крайнему удивлению историка, не всегда и даже, в большинстве случаев, очень редко и почти никогда не помнит благодетелей человечества, мало помнит тех, которых принято называть «великими людьми» или «героями»; мало помнит тех, которые заслужили право на его любовь и которых он действительно любил, пока знал и помнил: он мало помнит Петра Великого, Екатерину II; но он по-своему хорошо помнит Грозного; он хорошо, наконец, помнит такие личности, какие не стоили бы этой памяти; он больше помнит разбойников, чем героев, и вредных больше, чем полезных.

Так он крепко запомнил и имя несчастной Салтыковой. С одной стороны, она засела в его памяти оттого что о ней в свое время ходила молва, как о каком-то чудовище, с другой — эту молву подкрепил и указ императрицы Екатерины II от 2 октября 1765 года, которым Салтыкова за свои преступления осуждена на вечное заточение в монастырское подземелье и который повелено было тогда в продолжение известного времени прочитывать народу в церквах. Народ поэтому и дал волю своей фантазии о людоедстве Салтыковой и пр.

«Но все эти легенды, — заключает помянутый составитель статьи о Салтыковой, — не подтверждаются никакими положительными данными».

Вот поэтому-то тем более на истории лежит нравственная обязанность снять с памяти Салтыковой то, чего она не заслужила, и разоблачить по возможности истинную ее историю.

«Салтычиха» была дочь ротмистра лейб-гвардии конного полка, Николая Глебова, Дарья Николаевна, по муже Салтыкова.

О молодости Салтыковой и о ее воспитании мы не имеем никаких известий. Была ли это дурно направленная, вследствие отсутствия воспитания, воля, или зачатки жестокости лежали в самом характере этой женщины и развились от недостатка нравственной сдержки, виновато ли тут было отчасти время, отчасти всеобщая ненормальность и ложность отношений между владельцами и подчиненными, или, наконец, что всего вероятнее, вся сумма этих дурно сложившихся условий — неизвестно, но только Салтыкова, овдовев, выказала все свои дурные наклонности, обратив никем не сдерживаемые страсти по преимуществу на своих крестьян, которых у нее было достаточно. Салтыкова была богатая помещица и в ее непосредственном распоряжении находилось много женщин, как в Москве, так и в подмосковном имении, жила она то в Москве, в собственном доме на Сретенке, то в подмосковном селе Троицком.

Обхождение ее с людьми было, действительно, до крайности жестокое: за малейшую провинность со стороны крестьян и особенно дворовых девушек и женщин Салтыкова неистовствовала, мучила разными способами провинившихся женщин, тиранила их с изысканностью и даже собственноручно убивала до смерти. Но чтобы она, как передает народная легенда, ела жареных детей, вырезывала у женщин груди и готовила из них себе жаркое — эти возмутительные подробности ничем не подтверждаются, а, без сомнения, принадлежат к народным измышлениям из цикла крепостного еще творчества.

Жестокое обращение Салтыковой с людьми не могло, однако, оставаться тайною. Хотя по тогдашним законам крестьяне, «яко дети на родителей», не имели права жаловаться на своих помещиков, тем не менее жалобы на Салтыкову разными путями и в разное время поступали в московский сыскной приказ, в губернскую и полицейскую канцелярии; но, с одной стороны, в виду существовавшего тогда закона о непринятии жалоб от крестьян на помещиков, с другой — в виду влиятельности такой личности, как Салтыкова, власти,

как говорится в следственном деле о Салтыковой, «озадариваемые» ею, или оставляли жалобы крестьян без последствий, или же наказывали жалобщиков как бы за ложные доносы, держали в заключении, били кнутом и ссылали в Сибирь, как за не подтверждавшиеся изветы.

Жалоб было действительно много, и все это раскрыто было только впоследствии, когда сама императрица Екатерина II, узнав о жестокостях Салтыковой, приказала строжайше исследовать это дело.

Так, еще 14 декабря 1757 года крестьяне Салтыковой подали жалобу в том смысле, что помещица их, между прочим, «жестоко наказав розгами крепостную девку Аграфену, забила ее собственноручно до смерти палкою».

Через два почти года, 25 мая 1758 года, люди Салтыковой жаловались московским властям, что, между прочими жестокостями, помещица их «из своих рук убила шесть девок».

Затем еще жалобы, найденные в делах.

В октябре того же года, сверх шести убитых девок, Салтыкова в своем подмосковном селе Троицком «убила девку Марью».

В ноябре — «убила племянника гайдука Хрисанфа».

Потом — «забила палками до смерти дворовую женку Анну Григорьеву».

Наконец — «скалкою убила собственноручно жену Ермолая Ильина».

Все эти жалобы, однако, признавались изветами, и жалобщики были наказываемы властями очень жестоко, согласно требованиям самой Салтыковой.

Выхода, казалось, для крестьян не было.

Но вот на престол вступает добрая государыня, которая торжественно и многократно объявляет в первые же дни после своего воцарения, что она будет «матерью своего народа».

К этой императрице крестьяне Салтыковой и обратились в своем горе: они подали ей челобитную в собственные руки, воспользовавшись удобною минутою, когда государыня находилась в Москве для своей торжественной коронации. Прочитав челобитную, государыня высочайше повелела: «Произвести о помещице Салтыковой следствие».

Следствие произведено самым тщательным образом, как того требовали и важность дела и обращенное на него внимание государыни. Все, что было раскрыто следствием, поступило на рассмотрение юстиц-коллегии.

Раскрыты были, действительно, преступные дела, но не одной Салтыковой, а вместе и покрывавших ее властей.

13 января 1765 года вышло грозное определение юстиц-коллегии в виду того, что Дарья Салтыкова, хотя обличаемая обстоятельствами дела, многоразличными показаниями и уликами, не сознается, однако, в своих преступлениях, подвергнуть подсудимую пытке.

Но сенат не сразу решается на эту жестокую меру, тем более, что сама императрица строго осуждала безнравственность пыток и отрицала даже их практическую пользу в судопроизводстве: сенат усовещивал Салтыкову принести полное сознание и раскаяние, а если этого сознания от нее не последует, то только тогда — привлечь подсудимую к пытке.

Но и тут сенат не сразу исполняет эту меру: он желает прежде устрашить подсудимую, ужасами вида пыток исторгнуть из нее чистосердечное признание. Сенат, «чтоб показать подсудимой на деле всю жестокость розыска», повелел предварительно привлечения к розыску самой Салтыковой, в присутствии ее произвести пытки над кем-либо из преступников, уже приговоренных к пыткам.

Но, предварительно этого, к Салтыковой отправляют священника для словесного увещания. Целый месяц священник бился с этой неподатливой женщиной — ничто не действовало, и священник доносит, что ему не удалось исторгнуть от подсудимой «ни признания, ни раскаяния».

Тогда только Салтыкову ввели в пыточный застенок. Но и здесь сначала усовещивали ее, а когда увидели, что все бесполезно, стали на ее глазах пытать приговоренного к пыткам преступника. Но что были для Салтыковой пытки!

Салтыкова смотрела на эти ужасы, для нее не новые, но — как выражается следственное о ней дело — «и это страшное испытание не имело на нее действия».

Донесли и об этом сенату. Донесли и государыне лично, она ужаснулась — так это было непохоже на человека и на женщину.

Это был действительно «урод рода человеческого», как выразилась императрица.

Затем следует самый строгий повальный обыск о личности Салтыковой. Повальным обыском обнаруживаются крупные улики против подсудимой.

Первая подтвердившаяся улика — подсудимая дворовых своих людей морила голодом, брила им головы и в колодках заставляла работать для увеличения их мучений.

Вторая — посторонние люди часто видели крестьян Салтыковой, зимою, на ее дворе, босых, стоявших под ее окнами на морозе, с кровью на рубашках.

Третья — когда Салтыкова убила третью жену у Ермолая Ильина «скалкою и поленом» и отослала хоронить в деревню, то сказала мужу покойной:

— Ты хоть на меня в донос пойдешь, ничего не выиграешь, кроме разве кнута и ссылки, которым подвергались и прежние доносчики.

Замечательно, что всех трех жен Ермолая Ильина Салтыкова убила «скалкою».

Четвертая улика — всех прежних на Салтыкову доносителей действительно били кнутом и ссылали в Сибирь.

Пятая улика — другие доносители сидели в цепях, в подмосковном имении.

Шестая — в 1759 году действительно убито шесть девок: Арина, Аксинья, Анна, Акулина, Аграфена и другая Аграфена.

Но при этом повальным обыском обнаружено было, что наказуемые жертвы жестокости Салтыковой умирали или под ударами, под розгами, или после побоев, без священнического напутствования, потому что, если и приводили к ним после наказания священника, то он уже находил их без языка и они умирали без исповеди.

В виду всех этих фактов, последовал высочайший указ 2 октября 1765 года. В указе, между прочим, говорится: «Сей урод рода человеческого перед многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую».

В заключение этого именного указа, государыня выражает свою волю так:

«Чего ради повелеваем нашему сенату:

1) Лишить ее дворянского названия и запретить во всей нашей империи, чтобы она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь, так как и ныне в сем нашем указе именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа.

2) Приказать в Москве, где она под караулом содержится, в назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на площадь и, поставя на эшафот, прочесть всенародно заключенную над нею в юстиц-коллегии сентенцию, с исключением из нее, как выше сказано, названия родов Дарьи Николаевной мужа и отца, с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее

стоячею на том же эшафоте к столбу и прикрепить на шею лист с надписью большими словами: «мучительница и душегубица».

3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то, чтобы лишить злую ее душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать собственному промыслу творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей и там подле церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой и содержать по смерть таким образом, чтобы она ни откуда в ней свету не имела. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечою, которую опять гасить, как скоро заключенная наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать не входя в церковь».

Следует заметить одно весьма характеристическое обстоятельство: на полях подлинного указа, против слов о н а , везде собственною рукою императрицы написано — о н , т. е. «урод рода человеческого».

Из оставшихся о Салтыковой сведений видно, что с 1768 года по 1779 женщина эта сидела под сводами Ивановского девичьего монастыря, в подземелье, а с 1779 по 1780 — в застенке, пристроенном к южной стене церкви.

Что было с нею после того, неизвестно.

В Полном Собрании действительно нет имени Салтыковой, а в указе она названа только Дарьею Николаевной.

В последнее время изыскатели старины смешивали Салтыкову с княжной Таракановой: смешение это происходило оттого что с течением времени люди забыли, кто сидел в подземелье, и одни думали, что это была Тараканова, другие — Салтыкова.

Утешительно думать нам, живущим в XX веке, что подобные личности, как Салтыкова, после 19 февраля 1861 года уже невозможны, по крайней мере, в известной обстановке.

А что нравственные уроды возможны и теперь это доказывают современные судебные процессы.

Салтыкова же в свое время не была единственным исключением: на нее только пала кара оскорбленного человечества.

Были личности и хуже ее.

III. КНЯЖНА АВГУСТА АЛЕКСЕЕВНА ТАРАКАНОВА, В МОНАХИНЯХ ДОСИФЕЯ

Не более сорока лет как имя княжны Таракановой стало известно в русском обществе и, между тем, оно пользуется теперь большою популярностью.

Популярностью своей оно обязано известной картине даровитого, ныне уже умершего художника Флавицкого, которого историческая картина «Княжна Тараканова» в первый раз появилась на петербургской выставке 1863 года.

Картина, как всем известно, изображает молодую и красивую женщину в тюрьме, в момент наполнения каземата водою от бушующего вне тюрьмы наводнения.

Женщина нарисована одетою в бархатное с атласом платье, но уже изорванное, потертое. В отчаянии ломая руки, женщина стоит вытянувшись на кровати, спасаясь от воды и крыс, которые, испуганные наводнением, бросаются на постель, покрытую грубою овчиной, и цепляются за платье заключенной. Бушующая вода врывается в каземат через переплетенное железными полосами окно.

Это и есть ужасная смерть княжны Таракановой, погибшей, как ошибочно полагали, в Петропавловском каземате в наводнение 10 сентября 1777 года.

Но есть две княжны Таракановы: одна настоящая, истинная, другая — мнимая, самозванка, и художник изобразил смерть самозванки, предполагая, по неимению до 1863 года достоверных исторических сведений о княжнах Таракановых, что изображает смерть истинной княжны Таракановой, а не самозванки.

Истинная княжна Тараканова была дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака ее с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским.

Вообще о детях Елизаветы Петровны и Разумовского ходило много неточных и сбивчивых сведений и преданий, из которых одно противоречило другому, но, к сожалению, и точных сведений об этом предмете сохранилось также мало.

В народе, по некоторым местностям, доселе живут предания, как в посаде Пучеже, например, что дочь Елизаветы, Аркадия, находилась будто бы в этом посаде при тушавинской церкви, под именем Варвары Мироновны Назарьевой, или какой-то инокини, умершей в 1839 году, хотя Варвара Назарьева была совершенно другое лицо, в других местностях предания эти варьируются и сводятся то к имени самой Ели-

заветы Петровны, то к имени известного уже нам ссыльного и помилованного Шубина и т. п.

У иностранных писателей также имеются сведения, конечно, сомнительные, о детях Елизаветы Петровны: у одного — что Елизавета Петровна имела троих детей, дочь княжну Таракановну, и двух сыновей, из которых один, приготовляясь к горной службе, учился химии у профессора Лемана и вместе с профессором был удушен испарениями какого-то газа из неосторожно разбитой ими реторты; у другого — что у Елизаветы Петровны было двое детей — сын, носивший фамилию Закревского, и дочь Елизавета Тараканова; у третьего — что дети Елизаветы воспитывались у одной итальянки, Иоанны, в Италии, и что Елизавета Тараканова там умерла.

По русским, более достоверным, сведениям известно, что у Елизаветы Петровны от брака с Разумовским было двое детей — сын и дочь. О первом письменных сведений никаких не сохранилось, а предание передает, что он жил до начала девятнадцатого столетия в одном из монастырей Переславля-Залесского и горько жаловался на свою участь.

Дочь же Елизаветы Петровны и Разумовского носила имя Августы. На портрете Августы, находящемся в настоятельских кельях московского Новоспасского монастыря, имеется следующая надпись: «Принцесса Августа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в московском Новоспасском монастыре, где по многих летех праведной жизни своей скончалась 1808 года и погребена в Новоспасском монастыре».

Сходство этого портрета с портретами императрицы Елизаветы Петровны говорит о их близком родстве.

По свидетельству г-жи Головиной, которая училась в Ивановском монастыре и сблизилась там с Таракановою, последняя называла себя по отчеству Матвеевною, конечно, вымышленно. По свидетельству той же Головиной, инокиня Досифея, в минуту откровенности, взяв с нее предварительно клятву — никому до смерти не пересказывать того, что от нее услышит, рассказала будто бы следующее:

«Это было давно: была одна девица, дочь очень знатных родителей, и воспитывалась она далеко за морем в теплой стороне, образование получила блестящее, жила она в роскоши и почете окруженная большим штатом прислуги. Один раз у нее были гости и в числе их один русский генерал очень известный в то время; генерал этот и предложил по-

кататься в шлюпке по взморью; поехали с музыкой, с песнями; а как вышли в море — там стоял наготове русский корабль. Генерал и говорит ей: «Не угодно ли вам посмотреть на устройство корабля?» Она согласилась, взошла на корабль, а как только взошла, ее уж силой отвели в каюту, заперли и приставили к ней часовых... Через несколько времени нашлись добрые люди, сжалились над несчастною — дали ей свободу и распустили слух, что она утонула... Много было труда ей укрываться... Чтобы как-нибудь не узнали ее, она испортила лицо свое, натирая его луком до того, что оно распухло и разболелось, так что не осталось и следа от ее красоты; одета она была в рубище и питалась милостыней, которую выпрашивала на церковных папертях; наконец, пошла она к одной игуменье, женщине благочестивой, открылась ей, и та из сострадания приютила ее у себя в монастыре, рискуя сама подпасть за это под ответственность».

Без сомнения, это рассказ искаженный, смешанный: он, главным образом, повествует не об истинной княжне Таракановой, а о загадочной самозванке ее имени, о которой мы скажем в своем месте.

До сих пор не установилось мнения относительно того, почему дочь Елизаветы Петровны получила имя княжны Таракановой. Одни утверждают, что по месту рождения графа Разумовского, в слободе Таракановке, но такого селения в той местности, где родился Разумовский, нет. Другое предположение (хотя предположение это, кажется, еще не было никем высказано печатно, но мы лично слышали его от П. И. Мельникова, составившего обстоятельное исследование о княжнах Таракановых) — это то, что княжна Тараканова получила упрочившееся за ней прозвище от искаженной фамилии некоей г-жи Дараган, которая жила в семействе графа Разумовского и с которой молоденькая принцесса Августа была отправлена за границу.

Где воспитывалась, где жила маленькая принцесса, которой и рождение, и жизнь, и смерть окутаны такою глубокою тайной, ничего не известно; но с вероятностью можно предположить, что до сорокалетнего возраста она оставалась где-либо за границею, а уже в 1765 году, по именному повелению императрицы Екатерины II, привезена была в Ивановский монастырь, еще матерью Августы предназначенный «для призрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей», как сказано в указе Елизаветы Петровны, и там пострижена под именем Досифеи.

Конечно, участь эта постигла злосчастную принцессу Августу из справедливого опасения, что ее именем и рождением могут воспользоваться для своих целей враги царствования императрицы Екатерины, как воспользовались этим именем поляки, выпустившие на Россию самозванку Тараканову, и, как предполагают, они же выпустили на Россию и зимовейского казачьего хорунжего Емельяна Ивановича Пугачева.

Двадцать пять лет прожила инокиня Досифея в монастыре, занимая особые каменные кельи в одноэтажной постройке, примыкавшей к восточной части монастырской ограды, близ покоев самой матери-игуменьи.

Помещение бывшей принцессы составляли две уютные комнатки со сводами и прихожая для келейницы-приставницы. Их нагревала изразцовая печь с лежанкой, по-старинному, окна келий были обращены на монастырь.

На содержание инокини Досифеи отпускалась из казначейства особая сумма, и бывшая принцесса никогда не присутствовала при общей монастырской трапезе, а имела особый стол, обильный и изысканный. Иногда на имя инокини Досифеи игуменья получала значительные суммы от неизвестных лиц, конечно, от родных своего отца, графа Разумовского, и деньги эти инокиня раздавала нищим, делила между бедными и употребляла на украшение монастырских церквей.

В первые двадцать лет своего заключения в монастыре Досифея была положительно ни для кого не видима: ее могли навещать только мать игуменья, духовник, причетник и московский купец Шепелев, торговавший чаем и сахаром на Варварке. Предполагают, что Шепелев этот был родственник известной уже нам Мавры Егоровны Шепелевой, любимейшей наперсницы императрицы Елизаветы Петровны и супруги временщика этой государыни — Шувалова.

Такое строгое уединение Досифеи было, конечно, указано самою императрицею Екатериною II, которая, особенно в последние годы своего царствования, много изменилась в сравнении с тем, что была она при начале своего царствования, и стала ко всему относиться подозрительнее и во всем видеть опасность.

Но когда Екатерина скончалась, жизнь Досифеи стала несколько свободнее: к ней не опасались приезжать иногда высшие сановники Москвы, и в том числе митрополит Платон, навещавший знаменитую своим рождением инокиню по большим праздникам. Посещало ее келью и долго беседовало

с затворницею, между прочим, и одно лицо из императорской фамилии.

В это время, вероятно, имела к ней доступ и Головина, если только приписываемый ей рассказ о Досифее не принадлежит к области вымыслов позднейшей редакции.

Без сомнения, были какие-либо особые причины, заставлявшие Досифею быть до крайности робкой: до самой смерти она все чего-то боялась и при всяком шорохе, при всяком стуке в дверь, бледнела и тряслась всем телом.

Конечно, робость затворницы могла происходить от каких-либо слов, угроз, предупреждений, которые, при свидании с нею перед заточением, могла и должна была сказать ей Екатерина в ограждение собственных интересов и спокойствия государства.

Робость заключенной выражалась даже и в том, что, никем не преследуемая в своем монастырском уединении, она не решалась даже оставить при себе портрет своей матери, портрет покойной императрицы Елизаветы Петровны, на что она имела право даже, не как дочь, а как всякая подданная: после долгого колебания она сожгла его вместе с какими-то хранившимися у нее бумагами.

Таинственностью имени заключенной обусловливалась и вся внешняя обстановка ее монастырской жизни. Досифея никогда не ходила на общие монастырские богослужения, а если и бывала в церкви, то не в те часы, в которые совершалась общая служба. Для Досифеи совершалось одиночное богослужение: в назначенные для этого часы таинственная инокиня, в сопровождении приставленной к ней монахини, одна выходила из своих келий, и отдельным коридором, а потом крытою лестницею проходила прямо в церковь, устроенную над монастырскими воротами. Когда инокиня входила в церковь, то двери запирались и богослужение совершалось для нее одной ее духовником и особо приставленными причетниками. Таким образом, в церковь никто не мог войти и видеть лицо таинственной инокини. Мало того, когда кто-либо из монастырских или посторонних подходил к окнам ее келий, то монастырский служитель обязан был отгонять их.

Мы уже видели, что подобной таинственностью окружено было и заточение второй невесты императора Петра II, княжны Екатерины Алексеевны Долгорукой, когда она находилась в заключении в Новгородском Горицком Воскресенском Девичьем монастыре: и там даже детей наказывали за то, что они в замочную скважину хотели увидеть таинственную узницу.

Рассказывают, что, когда Досифея находилась в монастыре и в то время знаменитый граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, по смерти уже императрицы Екатерины II, доживал в Москве свой век, он никогда не решался ездить даже мимо Ивановского монастыря, а всегда старался объездом миновать это почему-то неприятное для него место.

После мы увидим, что место это действительно могло возбуждать в нем неприятные воспоминания: Орлов обманом взял в Италии знаменитого двойника инокини Досифеи или княжны Таракановой, другую княжну Тараканову, самозванку, которая и погибла в Петропавловской крепости во время наводнения. Орлов мог думать, что в Ивановском монастыре сидит именно та княжна Тараканова, которую он хитростью арестовал в Италии в то время, когда интрига ее раскинула сети почти на всю Европу.

Можно себе представить однообразие жизни заключенной и томительную скуку этого однообразия, особенно после того, как в молодости заключенная могла изведать иную жизнь, видела Европу, могла и имела право рассчитывать, как дочь русской императрицы и русского вельможи, на блестящую партию и счастливую жизнь, хотя бы как частная особа.

В монастыре она все дни проводила за молитвой, за чтением душеспасительных книг и за рукодельем. Все результаты ее труда шли на бедных и на нищих.

Так прошло двадцать пять бесконечных лет до самой смерти.

Последние годы бывшая княжна Тараканова доживала уже в совершенном безмолвии, и на нее смотрели как на праведную.

А, между тем, обрекшая себя на молчание княжна знала и иностранные языки, но ей не с кем было говорить в монастыре на тех языках, на которых она объяснялась в своей молодости и на свободе. Старый причетник, долго живший после нее, рассказывал, однако, что к Досифее как-то раз были допущены игуменьей какие-то важные особы: здесь только, с этими гостями, узница говорила на каком-то иностранном языке.

Таинственность сопровождала ее и в могилу: имени ни инокини Досифеи, ни княжны Таракановой не осталось даже в клировых монастырских ведомостях.

Как печальный остаток XVIII века, княжна Тараканова не дожила до памятного двенадцатого года, она скончалась 4

февраля 1810 года, ветхой уже старушкой, шестидесяти четырех лет, хотя на портрете время смерти ее обозначено 1806 годом.

Как скромна и безмолвна была последняя половина жизни княжны Таракановой, так публичны и пышны были ее похороны: со смертью она переставала быть опасной для кого и для чего бы то ни было.

Похороны эти почтил своим присутствием главнокомандующий Москвы граф Иван Васильевич Гудович, муж графини Прасковьи Кирилловны Разумовской, которая была, следовательно, двоюродною сестрою усопшей княжны. Гудович явился на вынос в полном мундире и в андреевской ленте. На вынос съехалась вся служебная знать Москвы — сенаторы, члены опекунского совета и обломки екатерининского и елизаветинского еще времени старые вельможи, доживавшие свой век в Москве, по привычке; вся эта знать была в мундирах.

Один Платон, знаменитый митрополит и оратор екатерининского времени, по болезни, не мог отпевать дочери Елизаветы Петровны: похороны совершал его викарий, дмитровский епископ Августин, с собором старшего московского духовенства.

Наконец, толпы народа сопровождали тело дочери покойной императрицы. Княжна Тараканова похоронена не в Ивановском монастыре, где жила до смерти, и не на общем кладбище, а там, где покоились тела всех ее предков, от XVII еще столетия, именно в родовой усыпальнице бояр, царственного впоследствии дома Романовых, в Новоспасском монастыре.

Могилу княжны Таракановой и теперь указывают у восточной ограды монастыря, по левую сторону монастырской колокольни, под № 122.

Дикий надгробный камень над прахом княжны Таракановой гласит:

«Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве двадцать пять лет и скончавшейся февраля 4 1810 г. Всего ее жития было шестьдесят четыре года».

«Боже, всели ее в вечных твоих обителях!»

О наружности княжны Таракановой говорят, что она была среднего роста, несколько худощава и чрезвычайно стройна. В молодости она должна была быть необычайной красоты, какою отличались и мать ее и отец: обе дочери Петра Вели-

кого имели замечательно красивую наружность, и красота эта перешла к его несчастной внучке, которой суждена была такая трогательная безвестность. Княжна Тараканова даже в старости, несмотря на многолетнее монастырское заключение, сохраняла остатки далеко не заурядной красоты.

Что же касается ее характера, то она, по свидетельству знавших ее, была кротка до робости, а горькую участь свою сносила безропотно.

Вообще, печальная участь этой женщины, и вся ее загадочная, укрытая в непроницаемую тайну жизнь до сорокалетнего возраста, потом двадцатипятилетнее безмолвное пребывание в монастыре не могут не возбуждать глубокого сочувствия: это была искупительная жертва тяжелой необходимости во имя спокойствия целой страны, которая была ее родиною.

Перед своим вечным заключением княжна имела свидание с Екатериной. Императрица, в виду постигшей уже Россию смуты, пугачевщины, в виду, наконец, другой готовящейся смуты, когда именем княжны Таракановой-самозванки хотели поднять на Россию Францию и Турцию, должна была объявить несчастной дочери Елизаветы Петровны, что удаление ее от света будет искупительною жертвою за Россию, которую могли ожидать новые смуты и потрясения, если именем дочери Елизаветы Петровны воспользуются враги существующего порядка, — и княжна должна была принять на себя эту великую жертву.

IV. КНЯЖНА ТАРАКАНОВА-САМОЗВАНКА

Нам предстоит теперь познакомиться с другою, еще более чем княжна Августа Тараканова таинственною и загадочною личностью прошлого века.

XVIII век, несмотря на то, что события его и лица, в нем жившие и действовавшие, еще так недалеко отошли от нас, невольно поражает какою-то резкостью, какою-то, по-видимому, логическою несообразностью в постановке этих событий одного около другого, в вытекаемости тех или других исторических явлений из тех или других исторических причин, невероятностью контрастов и противоречий между тем, что делалось, и тем, что из этого выходило.

В XVIII веке, по-видимому, все невозможное было возможно и возможное оказывалось невозможным.

События и личности, о которых нам предстоит говорить, делают, по-видимому, чудеса, достигают неимоверных результатов и, в конце концов, эти результаты исчезают как дым, и история продолжает идти своею мерною «тихою стопою».

Люди этого века — одни захватывают на свои плечи, по-видимому, непосильные тяжести, выносят эти тяжести, куда влечет их историческая волна, а потом сами смываются этою волною, другие из неизвестности и ничтожества этою же историческою волною возносятся на недосягаемую высоту, и снова падают, уносятся куда-то из глаз истории или, как мелкие щепки после морского отлива, остаются на берегу и перегнивают вместе с другим мусором.

Тут чернорабочий царь, говорят, прорубает окно в Европу, делает чудеса на неподвижном русском востоке, но окно оказывается слишком широким, в него, говорят, врывается сквозной ветер, и окно мало-помалу, с течением времени, наполовину заколачивают, забивают досками.

Там рыбачий сын из Холмогор, не видавший ни России, ни Европы, хочет взвалить на свои единственные плечи и русскую науку, и создать русскую литературу и ученый язык, хочет совместить в себе всю академию России, — и действительно, совершает такие подвиги, какие греки приписали бы своим полубогам и героям. Но этот силач исчезает, и история идет своею «тихою стопою».

Бедная полонянка, приведенная в русский стан в одной сорочке, надевает впоследствии императорскую порфиру и корону.

Сын виноторговца правит почти всею русскою страною, кончает — в кунсткамере, в банке со спиртом.

Какой-нибудь деревенский певчий казачонок делается графом двух великих империй, супругом великой государыни, а интригою, построенною на имени его дочери, волнуется вся западная Европа.

Какой-нибудь зимовейский казак, косивший сено по найму, предъявляет права на всероссийским престол и отхватывает едва не пол-России под свою власть, и никто не знает, какой невидимый дух сидел в этом загадочном казаке и руководил им.

Какая-то дочь нюренбергского булочника становится не только владетельною особою, но путеводительною политическою звездою нескольких могущественных некогда держав — и кончает тем, что умирает в Петропавловской крепости простою арестанткою и оставляет следы своего существования

лишь на кронверке той крепости в виде небольшой могильной насыпи и посаженной на этом месте белой березы.

Вообще личность, известная более под именем княжны Таракановой за всеми последними историческими исследованиями, остается загадочною не вполне разгаданною.

Полагают, что это — орудие польской интриги, польской мести России за первый раздел Польши. Даже пугачевщину объясняют не иначе, как косвенным отражением этой исторической мести наших соседей, которые и в XVII веке, за неудачи свои в русской Литве, за неудачи иезуитов у Грозного выслали на Россию первого самозванца и дали ему в помощницы Марину Мнишек.

«Пугачевский бунт, — говорит новейший русский биограф княжны Таракановой, обстоятельно изобразивший эту личность, — доселе еще не разъяснен вполне и со всех сторон. Дело о Пугачевском бунте, которого не показали Пушкину, до сих пор запечатано, и никто еще из исследователей русской истории вполне им не пользовался. Пугачевский бунт был не просто мужицкий бунт, и руководителями его были не донской казак зимовейской станицы и его пьяные и кровожадные сообщники. Мы не знаем, насколько в этом деле принимали участие поляки, но не можем и отрицать, чтоб они были совершенно непричастны этому делу. В шайках Пугачева было несколько людей, подвизавшихся до того в барской конфедерации».

«Враждебники России и Екатерины, — продолжает он, — кто бы они ни были, устроив дела самозванца на востоке России, не замедлили поставить и самозванку, которая, по их замыслам, должна была одновременно с Пугачевым явиться среди русских войск, действовавших против турок, и возмутить их против императрицы Екатерины. Это дело — бесспорно польское дело. Князю Радзивиллу или, вернее сказать его приближенным, ибо у самого «пана коханка» едва ли бы достало на то смысла, пришла затейная мысль из западной Европы выпустить на Екатерину еще самозванного претендента на русский престол. Но под чьим же именем выпустить на свет претендента? Под именем Петра III уже явился Пугачев, и кроме него в восточной части России уже прежде того являлось несколько Петров. Императора Ивана Антоновича, не задолго перед тем убитого в Шлиссельбурге, выставить было нельзя, ибо всем было известно, что этот несчастный государь, в одиночном с самого младенчества заключении, сделался совершенным идиотом, не способным ни к какой деятельности, притом же

история покушения Мировича и гибели Ивана Антоновича была хорошо всем известна. Оставались дети Елизаветы Петровны. Правда, они никогда не были объявлены, но об их существовании знали, хотя и не знали, где они находятся. Таинственность, которою были окружены Таракановы, неизвестность об их участи и местопребывании не мало способствовали успеху задумавших выставить на политическую арену нового претендента на престол, занимаемый Екатериной».

Вот как думают объяснить происхождение таинственной личности, известной под именем княжны Таракановой, этого второго Гришки Отрепьева в юбке, кончившего, впрочем, еще более несчастливо, чем первый.

Известно, что в самом начале знаменитой исторической трилогии, записанной в истории под именем трех разделов Польши, толпы польских эмигрантов хлынули за границу. В числе их был и знаменитый князь Казимир Радзивилл, палатин виленский — этот полубог польской шляхты, живший и перешедший на страницы истории под именем «пане коханку».

В 1767 году Радзивилл, по известиям иностранных писателей, взял на свое попечение дочь Елизаветы Петровны, которая будто бы проживала вне России. Кого он взял к себе под этим именем, неизвестно, но что им взята была на воспитание какая-то девочка, это не подлежит сомнению. Одни утверждали, что таинственная девочка была дочь султана, другие — что родители ее были знатные поляки, третьи — что она из Петербурга и должна была выйти замуж за внука принца Георга голштинского.

С именем загадочной девушки вообще неразлучно было представление о ее высоком, царственном происхождении — это в начале ее появления на политическом горизонте. Но после, когда звезда ее стала меркнуть, явились и другие предположения: английский посланник в России сообщал императрице Екатерине, что таинственная девушка была дочь простого трактирщика из Праги, а консул английский в Ливорно, способствовавший графу Орлову-Чесменскому захватить самозванку, утверждал, что она дочь нюренбергского булочника.

Но последние предположения разбиваются в прах при сопоставлении со следующими обстоятельствами: в таинственной девушке поражало всех замечательное образование, необыкновенное уменье вести политическую интригу, короткое знакомство с дипломатическими тайнами кабинетов, уменье

по-царски держать себя не только перед высокопоставленными лицами, но и перед владетельными немецкими государями. Из трактира и булочной это не выносится.

Вот почему талантливый биограф княжны Таракановой говорит, что кто бы ни была эта загадочная женщина, нет сомнения, что она была созданием польской партии, враждебной королю Понятовскому, а тем более еще императрице Екатерине.

«Поляки, — продолжает он, — большие мастера подготовлять самозванцев, при этом они умеют так искусно хоронить концы, что ни современники, ни потомство не в состоянии сказать решительное слово об их происхождении. Более двух с половиною веков тому назад впустили они в Россию Лжедимитрия и даже не одного, но до сих пор никто из историков не может с положительною уверенностью сказать: кто такой был самозванец, известный у нас под именем Гришки Отрепьева, и кто был преемник его, вор Тушинский. То же самое и в деле самозванки — дочери Елизаветы Петровны. Но как несомненно участие отцов иезуитов в подготовке Лжедимитрия, так, вероятно, и участие их в подготовке самозванки, подставленной князем Радзивиллом. Самому князю Радзивиллу, без пособия столь искусных пособников, едва ли бы удалось выдумать принцессу Владимирскую. Этот человек, обладавший несметным богатством, отличавшийся своими эксцентрическими выходками, гордый, тщеславный, идол кормившейся вокруг него шляхты, был очень недалек. Его ума не хватило бы на подготовку самозванки, если бы не помогли ему люди более на то искусные. Он сыпал только деньгами, пока они у него были, и разыгрывал в Венеции перед публикой комедию, обращаясь с подставною принцессой, как с действительною дочерью императрицы всероссийской».

«Кто бы ни была девушка, выпущенная Радзивиллом на политическую сцену под именем дочери Елизаветы Петровны, но, рассматривая все ее действия, читая переписку ее и показания, данные фельдмаршалу князю Голицыну в Петропавловской крепости, нельзя не придти к заключению, что не сама она вздумала сделаться самозванкой, что она была вовлечена в обман, и сама верила в загадочное свое происхождение. Поляки так искусно сумели опутать молоденькую девочку сетью лжи и обмана, что впоследствии она сама не могла отдать себе отчета в том, кто она такая. На краю могилы, желая примириться с совестью, призвав духовника, она сказала ему, что о месте своего рождения и о родителях она ничего не знает».

«Я помню только, — говорила она в последнем своем предсмертном показании князю Голицыну, — что старая нянька моя, Катерина, уверяла меня, что о происхождении моем знают учитель арифметики Шмидт и маршал лорд Кейт, брат которого прежде находился в русской службе и воевал против турок. Этого Кейта я видела только однажды мельком, проездом через Швейцарию, куда меня в детстве возили на короткое время из Киля. От него я получила тогда и паспорт на обратный путь. Я помню, что Кейт держал у себя турчанку, присланную ему братом из Очакова или с Кавказа. Эта турчанка воспитывала несколько маленьких девочек, вместе с нею плененных, которые жили при ней еще в то время, когда, по смерти Кейта, я видела ее проездом через Берлин. Хотя я наверное знала, что я не из числа этих девочек, но легко может быть, что я родилась в Черкесии».

Кроме того, она объяснила, что еще в детстве жила в Киле, что из тамошних жителей помнит какого-то барона фон Штерна и его жену, данцигского купца Шумана, плативщего в Киле за ее содержание и, наконец, учившего ее арифметике Шмидта.

— Меня постоянно держали в неизвестности о том, кто были мои родители, — говорила она перед смертью князю Голицыну, — да и сама я мало заботилась о том, чтоб узнать, чья я дочь, потому что не ожидала от того себе никакой пользы.

Таким образом, от раннего детства у нее остались в памяти маршал лорд Кейт, Швейцария, Берлин, Киль. В Киле она училась. С Голштинией, следовательно, связано было ее детство. Но, ведь, Голштиния играет такую важную роль в истории России того времени, в жизни обеих дочерей Петра Великого — Анны и Елизаветы Петровны.

Загадочность этим еще больше усиливается.

Когда странную девушку эту взяли к Ливорно, при ней нашли бумаги, из которых видно было, что после Киля она жила в Берлине, потом в Генте, в Лондоне. Зачем? С кем? В именах ее — также путаница: сначала она была девица Франк, потом девица Шель, наконец, г-жа Треймуль.

Она хорошо знала по-французски и по-немецки, говорила по-итальянски и по-английски. Но замечательно — ни по-польски, ни по-русски не знала.

Современники говорят, что она отличалась замечательной красотой, и хотя косила на один глаз, но это не уменьшало редкой привлекательности ее лица. Она была умна — это бесспорно. Кроме того, она была изящна, всегда весела, любезна,

кокетлива до такой степени, что при своем уме и красоте могла сводить с ума каждого мужчину и превращать в самое покорное себе орудие.

«И в самом деле, — так очерчивает нравственный облик этой женщины ее биограф, — в продолжение трех-четырех лет ее похождений по Европе одни, очарованные красотой ее, входят из угождения красавице в неоплатные долги и попадают за то в тюрьму, другие, принадлежа к хорошим фамилиям, поступают к ней в услужение, сорокалетний князь римской империи хочет на ней жениться вопреки всем политическим расчетам, и хотя узнает об ее неверности, однако же, намеревается бросить свои германские владения и бежать с прекрасною очаровательницей в Персию. Она любила хорошо пожить, любила роскошь, удовольствия и не отличалась строгостью нравов. Увлекая в свои сети молодых и пожилых людей, красавица не отвечала им суровостью, она даже имела в одно время по нескольку любовников, которых, по-видимому, не очень печалила ветреность их подруги».

Когда она кончила свое образование, то прежде всего мы видим ее в Берлине.

Из Берлина какая-то скандальная история заставляет ее бежать в Гент и переменить имя девицы Франк на имя девицы Шель.

В Генте она сводит знакомство с сыном голландского купца Вантурсом. И с той и другой стороны взаимная склонность, любовь — и Вантурс входит в неоплатные долги. Этих долгов не в состоянии покрыть те суммы, которые девица Шель получает будто бы от какого-то таинственного дяди из Персии.

Дядя в Персии — это, без сомнения, князь Радзивилл, тайно руководящий своим созданием.

Кредиторы хотят сажать Вантурса в тюрьму — и он, бросив жену, бежит в Лондон с таинственною девушкой. Девушка превращается в г-жу Треймуль.

И в Лондоне, как и в Генте, — те же безумная трата денег, роскошь, блеск, кредиторы, опасность тюрьмы — и Вантурс бежит в Париж.

Таинственная девушка остается в Лондоне. У нее новый друг, барон Шенк. Но безумная роскошь гонит и Шенка и странную девушку в Париж.

В Париже г-жа Треймуль имеет свидание с графом Михаилом Огинским, польским посланником.

Но она уже не Треймуль, а русская княжна, «принцесса Владимирская», по имени Алина или Али-Эмете, единствен-

ная отрасль знаменитейшего и богатейшего рода князей Владимирских. Родители ее умерли давно, а воспитал ее дядя, живущий в Персии. Она явилась в Европу, чтоб отыскивать в России свои владения. Сокровища ее персидского дяди также к ней переходят.

В Париже все это кажется одною из сказок Шехеразады, и Париж слепо верит поэтической легенде. Легенду эту подкрепляет авторитет такой личности, как живущая в Париже княгиня Сангушко.

В Париже, как и везде, принцессу Владимирскую окружает царская роскошь и блеск. В свите ее два барона — Шенк и Эмбс, бывший Вантурс. Банкиры Понсе и Макке снабжают их деньгами. В свите принцессы является новое лицо, ее поклонник, маркиз де Марин, который бросает блестящий двор Людовика XV и скачет за таинственной волшебницей в Германию, чтобы быть ее интендантом в каком-то немецком городе.

Скоро эта свита баронов и маркизов увеличивается новым крупным лицом: член знаменитейшей французской фамилии, граф Рошфор де Валькур, гофмаршал владетельного князя Лимбурга де Линанж, находящийся в Париже по делам своего государя, просит руки принцессы Владимирской. Принцесса дает согласие на брак, ждут только согласия государя. Но и этого мало: она запутывает в свою сеть и графа Огинского.

В начале 1773 года принцесса Владимирская вместе со своею свитою исчезает из Парижа и является во Франкфурте-на-Майне. Получив от Огинского бланковый патент на офицерский чин в литовском войске, она вписывает туда Вантурса — и он делается литовским капитаном.

Но вот во Франкфурт является коронованная особа Филипп Фердинанд, владетельный граф лимбургский, стирумский, оберштейнский и иных, князь священной римской империи, претендент на герцогство шлезвиг-голштинское, не задолго перед тем наследовавший престол по смерти старшего брата своего. С ним приезжает и жених принцессы Владимирской, граф Рошфор де Валькур.

Блистательный князь Лимбург, имевший свой двор с гофмаршалом, гофмейстером, камергерами, егермейстерами и прочими придворными чинами, свое войско, своих посланников при венском и версальском дворах, щедро раздававший свои ордена своим подданным, бивший свою монету, как коронованная особа, споривший с прусским королем, славным Фридрихом II, за нарушение его вла-

детельских прав, объявивший себя, наконец, соперником русского великого князя Павла Петровича по спору за наследственные права на Голштинию, этот соперник Павла Петровича просит представить его принцессе Владимирской и, как все прежние ее поклонники, делается послушным рабом этой загадочной личности. Он просит ее переехать в его владения — и принцесса переселяется с ним вместе в замок Нейсес, во Франконии, а ее жених, граф Рошфор де Валькур, арестуется, как государственный преступник.

Во владениях князя лимбургского принцесса Владимирская называет уже себя «султаншей Алиной» (l'a sultane Aline) или Элеонорой. Другие зовут ее «принцессой азовской».

Она учреждает свой орден «орден Азиатского Креста». Уже через сто почти лет после этого, в 1858 году, в Париже были конфискованы дипломы на орден, учрежденный нашею самозванкою, который назывался — «la croix de lordre asiatique, fonde par la sultane Aline».

Действительно, это одна из сказок Шехеразады, а между тем — это история XVIII века.

Кроме ордена, в Нейсесе принцесса Владимирская учреждает свой двор. Маркиза де Марина она назначает интендантом этого двора.

Вскоре князь Лимбург знакомит с нею своего друга, барона фон Горнштейна, конференц-министра трирского курфюрста — и этот министр попадает в число ее жертв.

Но время выпуска ее самой на более широкую политическую сцену еще не настало.

Не зная своего будущего, не подозревая, что она скоро должна будет объявить свои права на корону российской империи, принцесса Владимирская задумывает короновать себя короною влюбленного в нее князя Лимбурга.

— Я получила от дяди письмо, — говорит она ему однажды, — дядя требует возвращения моего в Персию.

Пораженный этой неожиданностью, Лимбург умоляет ее остаться.

— Я не могу долее оставаться в неопределенном положении, — отвечает она, — я должна ехать. В Персии я пристроюсь, там ждет меня жених.

Князь Лимбург в отчаяньи. Желая удержать свою очаровательницу, он предлагает ей свою руку, свою корону, свои владения. Принцесса не отказывает ему, но в то же время настаивает на поездке в Азию, говоря, что полити-

ческие дела вынуждают ее быть там. Обезумевший Лимбург не хочет расстаться с нею.

— Я откажусь от престола в пользу младшего брата, — говорит он, — покину хоть навсегда Европу и в Персии найду счастье в твоих объятиях.

Это было в июле 1773 года.

Пугачев в это время бродил еще по заволжским степям: тень Петра III еще не являлась.

Не выступала и тень дочери Елизаветы Петровны.

Друг князя Лимбурга, барон фон Горнштейн, при известии о помолвке княжны Владимирской, советует, чтобы она оставила греческую схизму и приняла католичество, хотя самозванка, называя себя православной, никогда и ни в какой церкви не приобщалась, как сама после показала. При этом оказываются нужными и документы о ее рождении.

Самозванка по этому поводу пишет о себе:

«Вы говорите, что меня принимают за государыню Азова. Я не государыня, а только владетельница Азова. Императрица там государыня. Через несколько недель вы прочтете в газетах, что я — единственная наследница дома Владимирского и в настоящее время без затруднений могу вступить во владение наследством после покойного отца моего. Владения его были подвергнуты секвестру в 1749 году и, находясь под ним двадцать лет, освобождены в 1769 году. Я родилась за четыре года до этого секвестра, в это печальное время умер и отец мой. Четырехлетним ребенком взял меня на свое попечение дядя мой, живущий в Персии, откуда я воротилась в Европу 16 ноября 1768 года».

И действительно, год ее рождения совпадает с годом рождения настоящей дочери Елизаветы Петровны, княжны Августы Таракановой, хотя впоследствии оказалось, что она убавляла свои года. Она признает себя подданной русской императрицы, но она еще не дочь ее предшественницы — это время еще не приспело.

С этой поры ее величают уже «высочеством». Письма к ней адресуются: «Ее высочеству, светлейшей принцессе Елизавете Владимирской» (A son altesse serenissime, madame la princesse Elisabeth de Volodimir).

Между тем, самозванка заводит переписку с графом Огинским, составляет проект лотереи для распространения между банкирами, пишет о делах Польши, составляет особую записку о них для версальского кабинета.

Князь Лимбург ревнует ее к Огинскому, но она успокаивает его, говоря, однако, что не может выйти за него замуж

до утверждения своих прав в России. В письмо к князю она влагает черновое письмо к русскому вице-канцлеру, князю Александру Михайловичу Голицыну, называет его своим опекуном, сообщает ему о любви к князю Лимбургу и о намерении вступить с ним в брак, изъявляет, что тайна, покрывающая доселе ее происхождение, подает повод ко многим толкам, уверяет Голицына в неизменности своих чувств, благодарности и привязанности к императрице Екатерине II и в постоянном рвении о благе России, прилагает к письму проект о сосредоточении всей азиатской торговли на Кавказе и обещает сама приехать в Петербург, для разъяснения этого проекта, если бы настояла в том надобность.

Опять что-то сказочное, невероятное.

Князь Лимбург окончательно обезумевает от любви, и от видимых противоречий и несообразности в действиях таинственной принцессы, и от ревности. Он грозит даже поступить в монахи, отказаться от престола.

У самозванки являются новые сношения: впоследствии князь Орлов-Чесменский намекал императрице, что самозванка находилась в сношениях с бывшим в то время в Спа Ив. Ив. Шуваловым.

В октябре 1773 года она делается формальной владетельницей графства Оберштейн и переселяется в свои владения.

Пугачев появился в окрестностях Яицка. Знамена его уже развевались по заволжским степям. Вести об этом наполняют Европу.

И самозванка разом преобразовывается. Она что-то затевает. Она отсылает от себя всю прежнюю свою свиту и окружает себя новою прислугою, в том числе берет к себе дочь прусского капитана Франциску фон Мешеде, которая не разлучается с ней до конца всех ее загадочных приключений и вместе с нею, впоследствии, попадает в Петропавловскую крепость.

Осенью же 1773 года к ней в Оберштейн начинает являться из Мосбаха какой-то неизвестный молодой человек и проводит с владетельницей замка наедине по нескольку часов. Никто не знает, кто он. Прислуга зовет его только «мосбахским незнакомцем».

Оказывается, что это поляк, агент и друг князя Радзивилла, Михаил Доманский, который во время барской конфедерации был консилиаржем пинской дистрикции.

Сам Радзивилл намеревается ехать к турецкой армии — поднимать Турцию на Россию, а Доманского командирует к самозванке.

Известно, что в это время происходило в России: Пугачев со своими «толпищами» отхватил от России почти все Заволжье.

Положение дел в России оказывается очень опасным.

Польша находит это очень удобным случаем, чтобы рядом с восточным Пугачевым поставить против России и западного Пугачева — будто бы двоюродную сестру императора Петра III.

В декабре 1773 года разносится по Европе слух, что в замке Оберштейн живет прямая наследница русского престола, законная дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны, великая княжна Елизавета.

Из России доходят все более и более тревожные вести. Поляки оживают. Княгиня Сангушко постоянно сообщает мнимой наследнице русского престола списки мест, занятых шайками Пугачева.

Около нового 1774 года составляется таинственное свидание с самозванкой самого князя Радзивилла: он представляется ей в Цвейбрюкене как русской великой княжне.

Радзивилл и самозванка условливаются между собою: пользуясь замешательством, произведенным Пугачевым, подготовить новое восстание в Польше и в белорусских воеводствах, отошедших по первому разделу во владение России; самой принцессе вместе с Радзивиллом ехать в Константинополь, послать оттуда в русскую армию, находившуюся в Турции, воззвание, в котором предъявить свои права на престол, не по праву будто бы занимаемый Екатериною, свергнуть ее с престола и доставить самозванке императорскую корону. Со своей стороны, самозванка обещает Радзивиллу возвратить Польше отторгнутые от нее области, свергнуть Понятовского с престола и восстановить Польшу в том виде, в каком она находилась при королях саксонской династии.

В это время Радзивилл уже пишет самозванке, как государыне:

«Я смотрю на предприятие вашего высочества, как на чудо Провидения, которое бдит над нашею несчастною страной. Оно послало ей на помощь вас, такую великую героиню».

Французский король Людовик XV одобряет безумный план самозванки.

Разве это не сказка из Шехеразады?

Огинский пересылается с самозванкой посредством аббата Бернарди, бывшего наставником детей его зятя, литовского ве-

ликого кухмистра (обер-гофмаршала), графа Михаила Виельгорского.

Письма князя Лимбурга, все еще продолжавшего считаться женихом самозванки, уже адресуются так: «Ее императорскому высочеству, принцессе Елизавете всероссийской!»

13 мая 1774 года, когда Пугачев завладел уже частью Сибири, лил свои пушки, чеканил свою монету и оглашался по церквам на ектении как царствующий государь, самозванка выезжает из Оберштейна. Князь Лимбург провожает ее до Цвейбрюкена, где они расстаются супругами на время.

После, в Петропавловской уже крепости, она называла князя Лимбурга своим супругом, хотя и объясняла, что они не были венчаны по церковному чиноположению.

Царственный поезд самозванки до Венеции, где ждал ее Радзивилл, обставлен блестящею внешностью: к ней присоединяются на пути ее союзники, поляки. В Париж она шлет к Огинскому проект русского внешнего займа от своего имени, как единственной законной наследницы русской империи.

Людовик XVI, вступивший на французский престол после Людовика XV, дает свою санкцию предприятию Радзивилла и самозванки. «Союзник» ее, «двоюродный брат», Емелька Пугачев, которого сама императрица Екатерина II в письмах к Вольтеру называет «маркизом де Пугачев» — все больше и больше вырастает в своем могуществе, войска его растут как снежная лавина.

В Венеции самозванка является инкогнито, под именем не русской великой княжны, а графини Пиннеберг, как претендентки на Голштинию. От супруга ее приезжает к ней резидент барон Кнорр и занимает при дворе своей повелительницы звание ее гофмаршала.

Для самозванки венецианская республика отводит роскошный дворец — дом французского посольства.

Князь Радзивилл делает ей блестящий официальный визит. Его сопровождает свита. Самозванке представляют — князя Радзивилла, дядю «пана коханка», графа Потоцкого, бывшего главу польской генеральной конфедерации, графа Пржездецкого, старосту пинского, Черномского, одного из влиятельных конфедератов, Микошту, секретаря князя Радзивилла, и других. Радзивилл и Потоцкий в лентах.

На другой день самозванка отплачивает визит сестре князя Радзивилла, графине Моравской.

В «Московских Ведомостях» того времени печатают (№ 38, от 13 мая 1774 года): «Князь Радзивилл и его сестра учатся по-турецки, и поедут в Рагузу, откуда, как сказывают, турецкая эскадра проводит их в Константинополь». М. Н. Лонгинов объясняет, что «сестра» Радзивилла — это самозванка, но П. И. Мельников полагает, что это была графиня Моравская.

Приемные комнаты самозванки полны польских эмигрантов, собирающихся ехать в Турцию с нею и с князем Радзивиллом. Тут же видят и Эдуарда Вортли Монтегю, англичанина, долго путешествовавшего по Востоку, сына известной английской писательницы, леди Мери, дочери герцога Кингстон. Тут же видят и капитанов из варварийских владений султана, Гассана и Мехемета, корабли которых стоят в венецианском порте. Один из кораблей должен везти самозванку к султану.

16 мая назначается отъезд в Константинополь. Корабли ждут ее на рейде. Ждет и вся польская эмиграция.

Самозванка является на рейде. На палубе корабля ее встречает Радзивилл и вся тогдашняя эмиграционная Польша с царским почетом. По придворному этикету ей целуют руку.

Корабли отплыли. Самозванка уже на острове Корфу.

Но противные ветры отбивают ее корабль от острова, и капитан Гассан ее оставляет.

Самозванка и Радзивилл со свитой следуют уже на корабле капитана Мехемета.

В последних числах июля 1774 года корабль бросает якорь у Рагузы.

Рагузская республика смотрела враждебно на действия русского флота в Средиземном море. Рагузский сенат недоволен русской императрицей, и потому радушно принимает ее соперницу, мнимую великую княжну Елизавету.

Ей уступается дом французского консула при рагузской республике.

Между тем, ее «двоюродный брат», Емелька Пугачев, берет Оренбург, Казань, Саратов — все Поволжье.

Самозванка живет в Рагузе: письма ее идут во все страны — к султану, к графу Орлову-Чесменскому, к воспитателям великого князя Павла Петровича, графу Никите Ивановичу Панину. Это царская переписка: в лице самозванки — и мнимая государыня и целый дипломатический корпус. В этой безумной голове создается смелый план действий. Она решается торжественно объявить о своих правах на престол и

послать воззвания — одно в русскую армию, находившуюся в Турции, другое — на русскую эскадру, стоявшую под начальством графа Алексея Орлова и адмирала Грейга в Ливорно.

«Постараюсь, — пишет она к Горнштейну, — овладеть русским флотом, находящимся в Ливорно, это не очень далеко отсюда. Мне необходимо объявить, кто я, ибо уже постарались распустить слух о моей смерти. Провидение отмстит за меня. Я издам манифесты, распространю их по Европе, а Порта открыто объявит их во всеобщее сведение. Друзья мои уже в Константинополе — они работают, что нужно. Сама я не теряю ни минуты и готовлюсь объявить о себе всенародно. В Константинополе я не замешкаю, стану во главе моей армии — и меня признают».

Неизвестно, каким путем у нее являются документы, подтверждающие ее права на русский престол: это подложные духовные завещания Петра I и Елизаветы Петровны. В деле находятся эти документы, переписанные рукой самозванки.

Замечательно мнимое духовное завещание ее матери, императрицы Елизаветы Петровны. Надо удивляться, как сумела составить такой политический акт эта таинственная девушка, которую Екатерина II называла «побродяжкой».

Вот этот факт:

«Елизавета Петровна (это и есть самозванка), дочь моя наследует мне и управляет Россией так же самодержавно, как и я управляла. Ей наследуют дети ее, если же она умрет бездетною — потомки Петра, герцога голштинского (т. е. Петра III)».

«Во время малолетства дочери моей Елизаветы герцог Петр голштинский будет управлять Россией с тою же властию, с какой я управляла. На его обязанность возлагается воспитание моей дочери, преимущественно она должна изучить русские законы и установления. По достижении ею возраста, в котором можно будет ей принять в свои руки бразды правления, она будет всенародно признана императрицею всероссийскою, и герцог Петр голштинский пожизненно сохранит титул императора, а если принцесса Елизавета, великая княжна всероссийская, выйдет замуж, то супруг ее не может пользоваться титулом императора ранее смерти Петра, герцога голштинского. Если дочь моя не признает нужным, чтобы супруг ее именовался императором, воля ее должна быть исполнена, как воля самодержицы. После нее престол принадлежит ее потомкам, как по мужской, так и по женской линии».

«Дочь моя Елизавета учредит верховный совет и назначит членов его. При вступлении на престол она должна восстановить прежние права этого совета. В войске она может делать всякие преобразования, какие пожелает. Через каждые три года все присутственные места, как военные, так и гражданские, должны представлять ей отчеты в своих действиях, а также счеты. Все это рассматривается в совете дворян, которых назначит дочь моя Елизавета».

«Каждую неделю должна она давать публичную аудиенцию. Все просьбы подаются в присутствии императрицы, и она одна производит по ним решения. Ей одной предоставляется право отменять или изменять законы, если она признает то нужным».

«Министры и другие члены совета решают дела по большинству голосов, но не могут приводить их в исполнение до утверждения постановления их императрицею Елизаветою Второй».

«Завещаю, чтобы русский народ всегда находился в дружбе со своими соседями. Это возвысит богатство народа, а бесполезные войны ведут лишь к уменьшению народонаселения».

«Завещаю, чтоб Елизавета послала посланников ко всем дворам и каждые три года переменяла их».

«Никто из иностранцев, а также из не принадлежащих к православной церкви, не может занимать министерских и других важных государственных должностей».

«Совет дворян назначает уполномоченных ревизоров, которые будут через каждые три года обозревать отдаленные провинции и вникать в местное положение дел духовных, гражданских и военных, в состояние таможен, рудников и других принадлежностей короны».

«Завещаю, чтобы губернаторы отдаленных провинций — Сибири, Астрахани, Казани и др. — от времени до времени представляли отчеты по своему управлению в высшие учреждения в Петербург или в Москву, если в ней Елизавета утвердит свою резиденцию».

«Если кто сделает какое-либо открытие, клонящееся к общенародной пользе или к славе императрицы, тот о своем открытии секретно представляет министрам и шесть недель спустя в канцелярию департамента, заведывающего тою частию; через три месяца после того дело поступает на решение императрицы в публичной аудиенции, а потом в продолжение десяти дней объявляется всенародно с барабанным боем».

«Завещаю, чтобы в азиатской России были установлены особые учреждения и заведены колонии при непременном условии совершенной терпимости всех религий. Сенатом будут назначены особые чиновники для наблюдения в колониях за каждою народностию. Поселены будут разного рода ремесленники, которые будут работать на императрицу и находиться под непосредственною ее защитою. За труды свои они будут вознаграждаемы ежемесячно из местных казначейств. Всякое новое изобретение будет вознаграждаемо по мере его полезности».

«Завещаю завести в каждом городе на счет казны народное училище. Через каждые три месяца местные священники обозревают эти школы».

«Завещаю, чтобы все церкви и духовенство были содержимы на казенное иждивение».

«Каждый налог назначается не иначе, как самою дочерью моею Елизаветой».

«В каждом уезде ежегодно будет производимо исчисление народа и через каждые три года будут посылаемы на места особые чиновники, которые будут собирать составленные народные переписи».

«Елизавета Вторая будет приобретать, променивать, покупать всякого рода имущества, какие ей заблагорассудится, лишь бы оно было полезно и приятно народу».

«Должно учредить Военную академию для обучения сыновей всех военных и гражданских чиновников. Отдельно от нее должна быть устроена академия гражданская. Дети будут приниматься в академию девяти лет».

«Для подкидышей должны быть основаны особые постоянные заведения. Для незаконнорожденных учредить сиротские дома, и воспитанников выпускать из них в армию и к другим должностям. Отличившимся императрица может даровать право законного рождения, пожаловав кокарду красную с черными каймами за собственноручным подписанием и приложением государственной печати».

«Завещаю, чтобы вся русская нация от первого до последнего человека исполнила сию нашу последнюю волю и чтобы все, в случае надобности, поддерживали и защищали Елизавету, мою единственную дочь и единственную наследницу российской империи».

«Если до вступления ее на престол будет объявлена война, заключен какой-либо трактат, издан закон или устав, все это не должно иметь силы, если не будет подтверждено согласием дочери моей Елизаветы, и все может быть отменено силою ее высочайшей воли».

«Предоставляю ее благоусмотрению уничтожать и отменять все сделанное до вступления на престол».

«Сие завещание заключает в себе последнюю мою волю. Благословляю дочь мою Елизавету во имя Отца и Сына и святого Духа».

В Рагузе мнимая царевна уже открыто рассказывает окружающей ее блестящей свите французских офицеров и польских эмигрантов такие вещи о своей таинственной судьбе:

— Я дочь императрицы Елизаветы Петровны от брака ее с великим гетманом всех казаков (grand hetman de tous les cosaques), князем Разумовским. Я родилась в 1753 году и до девятилетнего возраста жила при матери. Когда она скончалась, правление русскою империею принял племянник ее, принц голштейн-готторпский, и, согласно завещанию моей матери, был провозглашен императором под именем Петра III. Я должна была лишь по достижении совершеннолетия вступить на престол и надеть русскую корону, которой не надел Петр, не имея на то права. Но через полгода после смерти моей матери жена императора, Екатерина, низложила своего мужа, объявила себя императрицей и короновалась в Москве мне принадлежащею древнею короной царей московских и всея России. Лишенный власти император Петр, мой опекун, умер. Меня, девятилетнего ребенка, сослали в Сибирь. Там я пробыла год. Один священник сжалился над моею судьбой и освободил меня из заточения. Он вывез меня из Сибири в главный город донских казаков. Друзья отца моего укрыли меня в его доме, но обо мне узнали, и я была отравлена. Принятыми своевременно медицинскими средствами была я, однако, возвращена к жизни. Чтоб избавить меня от новых опасностей, отец мой, князь Разумовский, отправил меня к своему родственнику, шаху персидскому. Шах осыпал меня благодеяниями, пригласил из Европы учителей разных наук и искусств и дал мне, сколько было возможным, хорошее воспитание. В это же время научилась я разным языкам, как европейским, так и восточным. До семнадцатилетнего возраста не знала я тайны моего рождения, когда же достигла этого возраста, персидский шах открыл ее мне и предложил свою руку. Как ни блистательно было предложение, сделанное мне богатейшим и могущественнейшим государем Азии, но как я должна бы была, в случае согласия, отречься от Христа и православной веры, к которой принадлежу с рождения, то и отказалась от сделанной мне чести. Шах, наделив меня богатствами, отправил

меня в Европу в сопровождении знаменитого своею ученостью и мудростью Гали. Я переоделась в мужское платье, объездила все наши живущие в России народы христианские и нехристианские, проехала через всю Россию, была в Петербурге и познакомилась там с некоторыми знатными людьми, бывшими друзьями покойного отца моего. Оттуда отправилась я в Берлин, сохраняя самое строгое инкогнито, там была принята королем Фридрихом II и начала называться принцессой. Тут умер Гали, я отправилась в Лондон, оттуда в Париж, наконец, в Германию, где приобрела покупкой у князя Лимбурга графство Оберштейн. Здесь я решилась ехать в Константинополь, чтоб искать покровительства и помощи султана. Приверженцы мои одобрили такое намерение, и я отправилась в Венецию, чтоб вместе с князем Радзивиллом ехать в столицу султана.

Пугачев — это ее брат, сын Разумовского от первого брака, искусный генерал, хороший математик и отличный тактик, одаренный замечательным талантом привлекать к себе народные толпы.

— Когда Разумовский, отец мой, — говорила она, — приехал в Петербург, Пугачев, тогда еще очень молодой человек, находился в его свите. Императрица Елизавета Петровна пожаловала Разумовскому Андреевскую ленту и сделала его великим гетманом всех казацких войск, а Пугачева назначила пажом при своем дворе. Заметив, что молодой человек выказывает большую склонность к изучению военного искусства, она отправила его в Берлин, где он и получил блистательное военное образование. Еще находясь в Берлине, Пугачев действовал, насколько ему было возможно, в мою пользу, как законной наследницы русского престола.

Рассказы эти попадают в тогдашние газеты, как например в «Gazette d'Utrecht» и во «Франкфуртскую газету», особенно распространенные в то время, и обходят всю Европу.

Встревоженная этим рагузская республика сносится с Петербургом о таинственной женщине, но Панин, по приказанию императрицы, велит уведомить рагузский сенат, что нет никакой надобности обращать внимание на «эту побродяжку».

А, между тем, встревоженная императрица только показывала вид, что не боится «побродяжки»: она уже решилась через графа Орлова захватить ее в чужих краях без шума и огласки.

Екатерина в это время вела с Турциею мирные переговоры в Кучук-Кайнарджи.

Мир с Турциею должен был убить все замыслы Радзивилла, все надежды поляков и разрушить планы самозванки.

Она пишет султану и объявляет себя наследницей русского престола. «Принцесса Елизавета, дочь покойной императрицы всероссийской Елизаветы Петровны, — пишет она, между прочим, султану, — умоляет императора оттоманов о покровительстве». Она сообщает ему свои планы, склоняет к союзу, и подписывает под письмом: «Вашего императорского величества верный друг и соседка Елизавета».

Копию с этого письма она посылает великому визирю и просит его переслать ее «сыну Разумовского, monsieur de Ruhaczew» (эта копия находится теперь у известного пианиста Аполлинария Контского).

Вместе с тем, самозванка изготовляет план воззвания к русскому флоту и пишет письмо к графу Алексею Орлову. К письму она прилагает наброски своего манифеста, предоставляя Орлову развить ее мысли для официального акта.

В манифесте, между прочим, говоря о незаконном будто бы завладении Екатериною II русским престолом, самозванка объявляет: «Сие побудило нас сделать решительный шаг, дабы вывести народ наш из настоящих его заключений на степень, подобающую ему среди народов соседних, которые навсегда пребудут мирными нашими союзниками. Мы решились на сие, имея единственною целию благоденствие отечества и всеобщий покой. Божиею милостию, мы, Елизавета Вторая, принцесса всероссийская, объявляем всенародно, что русскому народу предстоит одно из двух: стать за меня или против меня».

Из обширного письма ее к графу Орлову мы решаемся взять только некоторые места.

«Принцесса Елизавета всероссийская желает знать: чью сторону примете вы, граф, при настоящих обстоятельствах?» — так обращается она к Орлову.

...«Торжественно провозглашая законные права свои на всероссийский престол, — говорит она далее, — принцесса Елизавета обращается к вам, граф. Долг, честь, слава, словом, — все обязывает вас стать в ряды ее приверженцев».

«Видя отечество разоренным войной, которая с каждым днем усиливается, а если и прекратится, то разве на самое

короткое время, внимая мольбам многочисленных приверженцев, страдающих под тяжким игом, принцесса, приступая к своему делу, руководится не одним своим правом, но и стремлением чувствительного сердца. Она желала бы знать: примете ли вы, граф, участие в ее предприятии».

«Если вы желаете перейти на нашу сторону, объявите манифест, на основании прилагаемых при сем статей. Если вы не захотите стать за нас, мы не будем сожалеть, что сообщили вам о своих намерениях. Да послужит это вам удостоверением, что мы дорожим вашим участием. Прямодушный характер ваш и обширный ум внушают нам желание видеть вас в числе своих. Это желание искренно, и оно тем более должно быть лестно для вас, граф, что идет не от коварных людей, преследующих невинных».

Она пишет о духовном завещании Елизаветы, о союзе с султаном, Пугачеве-брате.

«Время дорого. Пора энергически взяться за дело, иначе русский народ погибнет. Сострадательное сердце наше не может оставаться покойным при виде его страданий. Не обладание короной побуждает нас к действию, но кровь, текущая в наших жилах. Наша жизнь, полная несчастий и страданий, да послужит тому доказательством. Впоследствии делами правления мы еще более докажем это. Ваш беспристрастный взгляд на вещи, граф, достойно оценит сии слова наши».

Но мнимая Елизавета Вторая напрасно надеялась завлечь в свои сети Орлова.

Вместо того, чтобы обнародовать «манифестик» (le petit manifeste), как называла его сама Лжеелизавета, Орлов тотчас же отправил его в Петербург к императрице.

«Желательно, всемилостивейшая государыня, — писал он, — чтоб искоренен был Пугачев, а лучше бы того, если бы пойман был живой, чтоб изыскать чрез него сущую правду. Я все еще в подозрении, не замешались ли тут французы, о чем я в бытность мою докладывал, а теперь меня еще более подтверждает полученное мною письмо от неизвестного лица. Есть ли этакая (т. е. дочь Елизаветы Петровны), или нет, я не знаю, а буде есть и хочет не принадлежащего себе, то б я навязал камень ей на шею да в воду. Сие ж письмо прислано, из которого ясно увидеть изволите желание. Да мне помнится, что и от Пугачева несколько сходствовали в слоге сему его обнародования, а может быть и то, что меня хотели пробовать, до чего моя верность простирается к особе вашего величества. Я ж на оное ничего не отвечал, чтобы чрез то не утвердить более, что есть такой человек на свете, и не подать

о себе подозрения. Еще известие пришло из Архипелага, что одна женщина приехала из Константинополя в Парос и живет в нем более четырех месяцев на английском судне, платя слишком по тысяче пиастров на месяц корабельщику, а сказывает, что она дожидается меня: только за верное еще не знаю; от меня же послан нарочно верный офицер, и ему приказано с оною женщиною переговорить, и буде найдет что-нибудь сомнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из-за того звал бы для точного переговора сюда, в Ливорно. И мое мнение, буде найдется такая сумасшедшая, тогда, заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт, и на оное буду ожидать повеления: каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейше исполнять буду».

Таким образом, являлось две интриганки: одна на острове Парос, другая — в Рагузе. Так как Лжеелизавета Тараканова не сообщила Орлову своего адреса из боязни, то он сначала мог смешать обеих женщин, желавших уловить его в свою интригу: но, между тем, он решился разыскать и ту, и другую.

На остров Парос он отправляет с особым фрегатом графа Войновича, серба русской службы. Войнович нашел, что эта интрига шла из Константинополя, откуда, не без ведома султана Ахмета, явилась на Парос одна константинопольская красавица, которая должна была обольстить Орлова и посредством подкупа заставить его изменить своей императрице.

Орлов не обратил на нее никакого внимания.

Ему нужна была Лжеелизавета.

Разыскивать эту последнюю он послал Рибаса, впоследствии адмирала русской службы и основателя Одессы, Рибаса, о ловкости которого говорил после и Суворов, желая похвалить дальновидность Кутузова: «Его и Рибас не проведет».

Но Рибас, отправленный Орловым на розыски, как в воду канул. Около трех месяцев Орлов ничего не знал, где он и что с ним.

...«И я сомневаюсь об нем, — писал Орлов императрице уже в конце декабря 1774 года, — либо умер он, либо где удержан, что не может о себе известить, а человек был надежный и доказан был многими опытами в его верности».

Но Рибас не пропал — он рыскал по следам Лжеелизаветы, но не мог ее настигнуть, потому что она оставила Рагузу.

В декабре же Орлов получил из Петербурга инструкции императрицы: «Поймать всклепавшую на себя имя, во что бы ни стало», идти к Рагузе с флотом, потребовать выдачи самозванки, и если сенат рагузской республики откажется выдать ее — бомбардировать город.

Орлов отправляет новых агентов на поиски за самозванкой!

А императрице, между прочим, пишет:

«Ничего им в откровенности не сказано, а показал им любопытство, что я желаю знать о пребывании давно мне знакомой женщины, а офицеру приказано, буде может, и в службу войти к ней или к князю Радзивиллу, волонтером, чего для и абшид ему дал, чтобы можно было лучше прикрыться». Затем Орлов прибавлял в своем донесении: «А случилось мне расспрашивать одного майора, который посылан был от меня в Черную Гору и проезжал Рагузы и дня два в оных останавливался, и он там видел князя Радзивилла и сказывал, что она еще в Рагузах, где как Радзивиллу, так и оной женщине великую честь отдавали и звали его, чтоб он шел на поклон, но оный, услышав такое всклепанное имя, поопасся идти к злодейке, сказав притом, что эта женщина плутовка и обманщица, а сам старался из оных мест уехать, чтоб не подвергнуть себя опасности».

Но Орлову нечего было ехать бомбардировать Рагузу — «плутовки» там уже не было.

У нее произошел совершенный разрыв с Радзивиллом и с поляками: для Радзивилла Лжеелизавета была уже плохою подмогой, потому что мир России с Турцией отнимал у него всякую надежду поднять Турцию на Россию даже именем Елизаветы Второй.

Эта последняя увидала себя всеми покинутою, и здоровье ее сильно было надломлено. Изумительная деятельность молодой девушки, которая за целый штаб вела переписку едва ли не со всеми дворами и везде рассылала свои воззвания и признания, неудачи, огорчения и неумеренная жизнь — все это съедало ее молодое здоровье: у нее открылись несомненные признаки чахотки.

Но вот мы ее видим уже в Италии — сначала в Барлетте, потом в Неаполе, потом, наконец, в Риме.

Между тем, раньше этого она, между прочим, пишет в Петербург к графу Панину, русскому канцлеру: «Вы в Петербурге не доверяете никому, друг друга подозреваете, боитесь, сомневаетесь, ищите помощи, но не знаете, где ее найти: можно найти ее во мне и в моих правах. Знайте, что ни по

характеру, ни по чувствам я не способна делать что либо без ведома народа, не способна к лукавству и коварной политике, напротив, вся жизнь моя будет посвящена народу. Знайте и то, что я до последней минуты жизни буду отстаивать права свои на корону... Я не стану говорить о заключенном мире, — продолжает она далее, — он сам по себе весьма не прочен, вы не знаете того, что я знаю, но благоразумие заставляет меня молчать... Если я не скоро явлюсь в Петербург, то это будет ваша ошибка, граф».

Оставляя Рагузу и направляясь в Италию, Лжеелизавета не унывает оттого что из ее блестящей свиты осталось только три верных ей человека — Чарномский, Ганецкий экс-иезуит и «мосбахский незнакомец» Доманский.

Через море ее перевозит корабль Гассана. Из Барлетты она направляется в Неаполь, где английский посланник Гамильтон выправляет паспорта для нее и для ее немногочисленной свиты.

Лжеелизавета в Риме.

«Иностранная дама польского происхождения, — пишет от 3 января 1775 года аббат Рокотани варшавскому канонику Гиджиотти, — прибыла сюда в сопровождении одного польского экс-иезуита, двух других поляков и одной польской служанки (это — фон Мешеде). Она платит за квартиру по 50 цехинов в месяц, да 35 за карету, держит при себе одного учителя поляка, приехавшего с нею, и одного итальянца, нанятого по приезде ее в Рим. Она ни с кем не имеет знакомства, и ездит на прогулку в карете с закрытыми стеклами. На квартире ее экс-иезуит дает аудиенцию приходящим».

Но смерть, видимо, стучалась уже в дверь этой странной, таинственной женщины: доктор почти не выходил из ее квартиры — больная сильно кашляла.

А между тем, и в этом положении она не отрекается ни от себя, и от своей роли, ни от своей изумительной деятельности.

Папа Климент XIV за несколько месяцев перед этим умер. Конклав избирает нового папу. Члены конклава заперты в Ватикане, и к ним доступ невозможен. Есть слухи, что папою будет кардинал Альбани.

К нему можно только тайно пробраться, и то не в конклав, а к окну. Лжеелизавета желает войти в переговоры с этим кардиналом, но никто к нему пробраться не может.

— Если так, — говорит в раздражении больная, — сегодня же достать мужское платье: я в нем проберусь к кардиналу.

Ее останавливают. Но энергическая девушка заставляет Ганецкого пробраться в Ватикан с окна из конклава и подать письмо от Лжеелизаветы.

Кардинал посылает к ней аббата Рокотани. Аббат представляется самозванке в тайной аудиенции.

«Между нами, — пишет Рокотани своему другу, — начался оживленный разговор о политике, об иезуитах; о них графиня отозвалась не совсем благосклонно, впрочем, говорила больше всего о польских делах».

Она передает аббату записку для вручения будущему папе. В записке она, между прочим, говорит, что приезд ее в столицу римского католичества может иметь весьма важное для ватиканского двора последствие, что ей предназначена Провидением корона великой империи не только для благоденствия многочисленных отдаленных от Рима народов, но и для блага церкви.

Вот уже в какую сторону она поворачивает дело!

При вторичном свидании с Лжеелизаветой аббата Рокотани, явившегося к ней с ответом от кардинала Альбани, самозванка ему сообщает, что намерена ехать в Варшаву для свиданья с королем Станиславом Августом.

— В России, — говорит она, между прочим, — недавно умер мой наместник (это Пугачев, тогда только что казненный), но я возьму часть своего войска для конвоирования и пройду в Константинополь. Я очень больна, но если Провидению угодно сохранить дни мои, я достигну престола и восстановлю Польшу в прежних ее пределах, — восстановлю прежде чем исполнится полгода. Екатерине отдам прибалтийские провинции с Петербургом — с нее будет и этого довольно.

Она порицает образ действий Радзивилла.

— Я его уговаривала помириться с королем Станиславом Августом, но он меня не послушался, и я в том не виновата, что он остается в раздоре с королем. Графа Огинского успела же я помирить с его величеством.

Обаяние этой девушки так велико, что и аббат Рокотани невольно втягивается в ее интересы.

А тут является на подмогу патер Лиадий, служивший некогда офицером в русском войске и положительно уверяющий, что знает дочь императрицы Елизаветы.

— Я помню ее — я видал ее в Зимнем дворце на выходах: ее прочили тогда за голштинского принца, двоюродного брата тогдашнего наследника, а после перемены правительства в 1762 году все говорили, что она уехала в Пруссию.

Даже недоверчивый кардинал начинает чувствовать над собой ее влияние, хотя еще не видал ее.

«Как скоро я достигну цели, — вновь пишет она кардиналу, — как скоро получу корону, я немедленно войду в сношения с римским двором и приложу все старания, чтобы подчинить народ мой святейшему отцу. Только вам одному решаюсь сообщить эту заветную тайну. Примите в уважение опасное положение, в котором я нахожусь, и поймите, насколько я нуждаюсь в ваших советах и помощи. Я утешаю себя мыслию, что ваше высокопреосвященство будете избраны в папы».

Так и с первым русским самозванцем, Лжедимитрием: на этой же основе ткалось предположение об обращении русского народа в католичество.

Кардинал, в ответе своем самозванке, между прочим, употребляет такую фразу: «Провидение будет руководить вашими благими намерениями, и если правда на вашей стороне, вы достигнете своей цели».

В Риме же неутомимая девушка входит в сношение с польским резидентом в столице католичества, с маркизом д'Античи.

Боясь компрометировать свое официальное положение перед Речью Посполитою, резидент назначает девушке свидание в церкви Santa Maria degli Angeli.

Она сообщает ему свое имя, свои планы.

Необыкновенный ум девушки заставляет резидента поколебаться, но рассудок и осторожность берут верх над увлечением. Он советует ей отказаться от своих безумных и гибельных планов

Но ее не так-то легко победить.

«В последнее свидание наше, — пишет она ему через несколько дней, — я нашла в вас столько благородства, ума и добродетели, что по сию пору нахожусь в океане размышлений и удивлений... Но вчера ввечеру получила я множество писем, адресованных ко мне в Рагузу, и в то же время получила известие, что мир не будет ратифицирован султаном; невозможно вообразить, какие смятения царствуют теперь в Порте. Я намерена обратиться с известным вам предложением к Польше и с тою же целью пошлю курьера в Берлин к королю Фридриху. Для себя я ничего не желаю: хочу достичь одной славы — славы восстановительницы Польши. Средства к этому у меня есть, и я не замедлю доставить его величеству королю Станиславу Августу эти средства для ведения войны против Екатерины. Как скоро он поднимет оружие, русский

народ, страдающий под настоящим правлением и вполне нам преданный, соединится с польскими войсками. Что касается до короля прусского — это мое дело: я на себя принимаю уладить с ним соглашение. Курьер, которого я отправляю в Константинополь, поедет через Европу и завезет письмо мое в Берлин. Сама я поеду отсюда также в Берлин и повидаюсь с королем прусским. Во время путешествия до Берлина мне будет достаточно времени подумать о моих депешах, которые король Фридрих получит до прибытия моего в его столицу. Из Берлина поеду в Польшу, оттуда в польскую Украйну, там и неподалеку оттуда стоят преданные нам русские войска. Здесь никто не будет подозревать, куда я отправляюсь, все будут думать, что я поехала в Германию, в тамошния мои владения. Какой бы оборот ни приняли дела мои, я всегда найду средства воспрепятствовать злу. Небо, нам поборающее, доставит успех, если будут помогать нам, если же я не увижу помощи, оставлю все и устрою для себя приятное убежище».

Осторожный резидент отвечает советом — бросить все.

«Позвольте, — пишет он ей, — предложить вам избрать то самое намерение, какое вы высказали в письме вашем ко мне: оставьте всякие политические замыслы и удалитесь в приятное уединение. Всякое другое намерение для людей благомыслящих покажется не только опасным, но и противным долгу и голосу совести, оно может показаться им химерическим или, по крайней мере, влекущим за собой неизбежные бедствия».

В Риме штат самозванки снова увеличивается до шестидесяти человек. Снова является блеск и роскошь. Она бросает деньги народу горстями. Об ней говорит весь Рим. Она обозревает достопримечательности вечного города, картинные галереи, памятники классической архитектуры. Народ валит за ней толпами. Всегда ее сопровождает аббат Рокотани и поражается обширностью ее знаний в искусстве, в архитектуре. Она сама прекрасно рисует, играет на арфе. В салонах своих она является какою-то волшебницею.

Но роковая развязка все ближе и ближе подходит к ней, а она сама слепо близится к этой трагической развязке.

Она пишет обширное письмо к английскому посланнику в Неаполе, сэру Гамильтону, уже снабдившему ее паспортом, открывает ему свою тайну, поверяет свои безумные планы — и этим именно губит себя.

«При сношениях моих с Портой, — прибавляет она, между прочим, — я не забуду интересов вашего двора: ведь ан-

глийская торговля в Леванте сильно подорвана мирным трактатом, подписанным великим визирем».

Сэр Гамильтон, встревоженный этим посланием, из которого он увидел, кому он, по неведению, покровительствовал в своем паспорте, немедленно отправил письмо самозванки в Ливорно, к Орлову.

Это письмо открыло глаза Орлову: он знал теперь, где искать женщину, которую напрасно разыскивали его агенты по Европе.

Он решился, во что бы то ни стало, захватить ее.

Для выполнения этого трудного предприятия он назначает своего генеральс-адъютанта Христенека.

Императрице, между тем, Орлов доносит:

«Всемилостивейшая государыня! По запечатании всех моих донесений вашему императорскому величеству получил я известие от посланного мною офицера для разведывания о самозванке, что она больше не находится в Рагузах и многия обстоятельства уверили его, что оная поехала вместе с князем Радзивиллом в Венецию, и он, ни мало не мешкая, поехал за ним вслед, но по приезде его в Венецию нашел только одного Радзивилла, а она туда и не приезжала; и об нем разно говорят: одни — будто он намерен ехать во Францию, а другие уверяют, что он возвращается в отечество. А об ней офицер разведал, что она поехала в Неаполь. А на другой день оного известия получил я из Неаполя письмо от английского министра Гамильтона, что там одна женщина была, которая просила у него паспорт для проезда в Рим, что он для услуги ее и сделал, а из Рима, получил от нее письмо, где она себя принцессой называет. Я же все оные письма в оригинале, как мною получены, на рассмотрение вашему императорскому величеству при сем посылаю. А от меня нарочный того же дня послан в Рим штата моего генеральс-адъютант Иван Христенек, чтоб об ней в точности наведаться и стараться познакомиться с нею, притом, чтоб он обещал, что она во всем может на меня положиться, и буде уговорит, чтобы привезть ее ко мне с собою. А министру английскому я отвечал, что это надо быть самой сумасбродной и безумной женщине, однако ж, притом дал ему знать мое любопытство, чтоб я желал видеть ее, и притом просил его, чтобы присоветовал он ехать ей ко мне... Но и что впредь будет происходить, о том не упущу доносить вашему императорскому величеству, и все силы употреблю, чтоб оную достать, а по последней мере сведому быть о ее пребывании. Я ж, повергая себя к священным

вашим стопам, пребуду навсегда вашего императорского величества, всемилостивейшей моей государыни, всеподданнейший раб граф Алексей Орлов».

Развязка действительно близко.

Христенек уже бродит под окнами своей жертвы. Расспрашивает о ней прислугу, отзывается о ней с крайней почтительностью.

Ей передают об этом. Первая мысль — русская засада, агент, шпион.

Но испуг проходит: какая-то нравственная слепота толкает ее в пропасть.

Она принимает Христенека. Христенек говорит своей жертве о глубоком участии к ней Орлова.

Снова испуг, а потом опять ослепление.

Роскошная жизнь истощила все ее средства и денег достать неоткуда. А тут Христенек нашептывает, что Орлов признает ее за дочь Елизаветы Петровны, предлагает ей свою руку и русский престол, на который он возведет ее, произведя в России возмущение, так как народ не доволен Екатериной.

Христенек показывает даже письмо Орлова в этом смысле.

Жертва отдается в руки Христенека. Посылая к Орлову курьера, она в письме своем к нему замечает: «Желание блага России во мне так искренно, что никакое обстоятельство не в силах остановить меня в исполнении своего долга».

10 февраля она, уже под именем графини Селинской, выезжает из Рима в двух каретах. За нею едут Доманский, Черномский, Франциска фон Мешеде и слуги. Народ провожает ее кликами «виват», а она бросает в толпу деньги.

Христенек едет следом за нею.

Жертва Орлова, наконец, в Пизе, у него в руках. Но она еще опасна для него — ее нельзя схватить, нельзя арестовать, потому что это было бы нарушением международных прав, и священная римская империя не позволила бы этого России. Притом жертва эта сильна своею популярностью: народ везде встречает ее как царственную особу, а иезуиты, считая ее тоже своею жертвою, способны были бы отплатить за нее Орлову ядом, кинжалом.

Графиню Селинскую окружает свита в шестьдесят человек — вся обстановка царственная. Орлов относится к ней более чем почтительно — он ведет себя как верноподданный: каждый день является к ней в парадной форме и в ленте и не садится в ее присутствии.

Орлов изучает ее, выпытывает, что ему нужно, несмотря на то, что она рассказала ему некоторые из известных уже нам обстоятельств ее жизни, он ищет в ней что-то другое.

«Оная женщина росту небольшого, тела очень сухого, лицем ни бела, ни черна, косы и брови темнорусы, а на лице есть веснушки. Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски, думать надобно, что и польский язык знает, только ни как не отзывается, уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит... Свойство имеет она довольно отважное и своею смелостью много хвалится», — так описывает ее Орлов в своем донесении императрице.

В течение недели Орлов окончательно увлекает ее своей любезностью, предупредительностью — и страстная женщина отдается своему тюремщику.

А тюремщик, между тем, доносит императрице: «Она ко мне казалась быть благосклонною, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец, я ее уверил, что я бы с охотою женился на ней, и в доказательство, хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достичь бы до того, чтобы волю вашего величества исполнить, но она сказала мне, что теперь не время, потому что еще не счастлива, а когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым».

В это время, по предварительному уговору Орлова с английским консулом в Ливорно, сэр Джон Диком, этот последний уведомляет Орлова, будто по случаю столкновения там английских чиновников с русскими, необходимо личное присутствие графа. Узнав об его отъезде, влюбленная женщина не имеет сил расстаться с Орловым и решается сопровождать его в Ливорно.

Жертва сама отдавалась в руки. В Ливорно стояла русская эскадра, которая и могла увезти пленницу в Россию.

К приезду своих знатных гостей сэр Джон Дик готовил роскошный обед. На другой день такой же роскошный завтрак. Жертва не догадывается, что настоящий тюремщик не Орлов, а английский консул.

По улицам города народ толпами встречает таинственную принцессу, окруженную царским блеском. Вечером она в опере — но это канун ее тюрьмы, последний вечер свободы.

За завтраком у консула заходит речь о русском флоте. Принцесса изъявляет желание видеть его, полюбоваться морскими маневрами.

Все общество отправляется на рейд. Народ опять провожает восторженными кликами русскую великую княжну.

На кораблях играет музыка. Раздаются пушечные выстрелы — это царский салют. Матросы стоят на реях. Принцессу встречают громким «ура»: ее, внучку Петра Великого, приветствует созданный им флот, приготовивший ей тюрьму.

Принцессу поднимают на палубу адмиральского корабля «Трех Иерархов» посредством спущенного кресла. Орлов проводит ее между рядов офицеров, а кругом гремит «ура»!

Общество пьет за здоровье принцессы. Начинаются маневры. Все выходят из кают на палубу. Орлов, контр-адмирал Грейг, Христенек, жена контр-адмирала, жена консула, Чарномский, Доманский — все стоят в почтительном отдалении от «Елизаветы».

Стоя у борта и глядя на маневры, принцесса забывает, по-видимому, все окружающее... Она царица — это ее подданные...

Вдруг она слышит, что позади ее кто-то повелительным тоном требует шпаги у Христенека, Доманского и Чарномского. Она оборачивается: перед ней стоит незнакомый офицер... Именем императрицы он объявляет арест!

Это был гвардейский капитан Литвинов. Ни Орлова, ни Грейга, ни дам — никого нет... Точно все, что происходило за несколько минут назад, был сон. Да, это действительно был ужасный сон.

— Что это значит? — строго спрашивает принцесса.

— По именному повелению ее императорского величества вы арестованы, — отвечает Литвинов.

— Где граф Орлов? — вскрикивает она.

— Арестован по приказанию адмирала.

Обморок. Бесчувственную арестантку относят в каюту.

Судьба сводит последние счеты таинственной личности.

Когда к пленнице воротилось сознание, она пишет к Грейгу письмо, резко протестует против сделанного ей насилия и требует назад свою свободу.

Грейг ничего не отвечал.

Пленница пишет к Орлову. Она зовет его к себе. Она просит разъяснить ей, что случилось.

«Я готова на все, что ни ожидает меня, — писала она, — но постоянно сохраню чувства мои к вам, несмотря даже на то, навсегда ли вы отняли у меня свободу и счастье, или еще имеете возможность и желание освободить меня от ужасного положения».

«Ах, — отвечает ей Орлов, — в каком мы несчастии! Но не надо отчаиваться — будем терпеть. Всемогущий Бог не оставит нас. Я нахожусь в таком же печальном состоянии, как и вы, но преданность моих офицеров подает мне надежду на освобождение. Адмирал Грейг, по дружбе своей, давал было мне возможность бежать. Я спрашивал его, что за причина поступка, сделанного им. Он сказал, что получил повеление и меня, и всех, кто при мне находится, взять под стражу. Я сел в шлюпку и проплыл было уже мимо всех кораблей. Меня не заметили. Но вдруг увидал я два корабля перед собой и два сзади, все они направились к моей шлюпке. Видя, что дело плохо, я велел грести изо всех сил, чтоб уйти от кораблей; мои люди хорошо исполнили мое приказание, но один из кораблей догнал меня, к нему подошли другие, и моя шлюпка была окружена со всех сторон. Я спросил: «Что это значит? Пьяны что ли вы?» Но мне очень учтиво отвечали, что они имеют приказание просить меня на корабль со всеми находившимися при мне офицерами и солдатами. Когда я взошел на борт, командир корабля со слезами на глазах объявил мне, что я арестован. Я должен был покориться своей участи. Но надеюсь на Всемогущего Бога. Он не оставит нас. Что касается адмирала Грейга, он будет оказывать вам всевозможную услужливость, но прошу вас, хотя на первое только время, не пользоваться его преданностью к вам, он будет очень осторожен. Мне остается просить вас, чтобы вы берегли свое здоровье, а я, как только получу свободу, буду искать вас по всему свету и отыщу, чтобы служить вам. Только берегите себя, об этом прошу вас от всего сердца. Ваше письмо я получил, ваши строки я читал со слезами, видя, что вы меня обвиняете в своем несчастии. Берегите же себя. Предоставьте судьбу нашу Всемогущему Богу и вверьтесь ему. Я еще не уверен, дойдет ли это письмо до вас, но надеюсь, что адмирал будет настолько любезен и справедлив, что передаст его вам. От всего сердца целую ваши ручки».

Орлов всего более заботится о том, чтобы живою доставить ее в Петербург, оттого и умолял беречь здоровье.

В Пизе, между тем, шел арест ее бумаг и части прислуги. Остальная свита была распущена.

Арест таинственной красавицы произвел в населении Ливорно сильное негодование. Народ грозил русским, толпы подъезжали в шлюпках к кораблям, но русские матросы грозили, что будут стрелять в толпу. Тосканский двор также негодовал и протестовал против нарушения международных прав.

Опасаясь, что пленница с тоски не осилит переезда до Петербурга, Орлов велел доставить ей книг для чтения. Но она скоро поняла свою участь, и не дотрагивалась до них.

Через пять дней русская эскадра вышла в море. Сам Орлов, боясь, что его умертвят в Италии за сделанное им женщине насилие, без дозволения императрицы ускакал в Россию сухим путем, второпях послав императрице черновое донесение о совершенном им подвиге.

«Угодно было вашему императорскому величеству повелеть: доставить называющую принцессу Елизавету, которая находилась в Рагузах (писал Орлов). Я со всеподданническою моею рабскою должностию, чтобы повеление вашего величества исполнить, употреблял все возможныя мои силы и старания, и счастливым себя почитаю, что мог я оную злодейку захватить со всею ее свитою на корабли, которая теперь со всеми с ними содержится под арестом на кораблях, и рассажены по разным кораблям. При ней сперва была свита до шестидесяти человек, посчастливилось мне оную уговорить, что она за нужное нашла свою свиту распустить, а теперь захвачена она, камермедхен ее, два дворянина польских и несколько слуг, которым имена при сем прилагаю...

«Признаюсь, — говорит он далее, — всемилостивейшая государыня, что я теперь, находясь вне отечества в здешних местах, опасаться должен, чтобы не быть от сообщников сей злодейки застрелену или окормлену. Я ж ее привез сам на корабли на своей шлюпке и с ее кавалерами, и препоручил над нею смотрение контр-адмиралу Грейгу, с тем повелением, чтоб он всевозможное попечение имел о ее здоровье, и приставлен один лекарь; берегся бы, чтоб она, при стоянии в портах, не ушла, тож никакого письмеца никому не передала. Равно велено смотреть и на других суднах за ее свитою. В услужении же оставлена у ней ее девка и камердинер. Все ж письма и бумаги, которые у ней находились, при сем на рассмотрение посылаю с подписанием нумеров: я надеюсь, что найдется тут несколько польских писем о конфедерации, противной вашему императорскому величеству, из которых ясно изволите увидеть и имена тех, кто они таковы. Контр-адмиралу же Грейгу приказано от меня, по приезде его в Кронштадт, никому оной женщины не вручать без особливого именного указа вашего императорского величества».

Затем он описывает ее наружность, а потом говорит о том, что узнал о ней.

«Я все оное от нея самой слышал, — продолжает он, — сказывала о себе, что она и воспитана в Персии и там очень великую партию имеет; из России же унесена она в малолетстве одним попом и несколькими бабами; в одно время была окормлена, но скоро могли ей помощь подать рвотными. Из Персии же ехала чрез татарские места, около Волги; была и в Петербурге, а там, чрез Ригу и Кенигсберг, в Потсдаме была и говорила с королем прусским, сказавшись о себе, кто она такова; знакома очень между германскими князьями, а особливо с трирским и с князем Голштейн-Шлезвиг или люнебургским; была во Франции; говорила с министрами, дав мало о себе знать; венский двор в подозрении имеет; на шведский и прусский очень надеется: вся конфедерация ей очень известна и все начальники оной; намерена была отсель ехать в Константинополь прямо к султану, и уже один от нее самый верный человек туда послан, прежде нежели она сюда приехала. По объявлению ее в разговорах, этот человек персиянин и знает восемь или девять языков разных, говорит оными всеми очень чисто. Я ж моего собственного о ней заключения не делаю, потому что не мог узнать в точности, кто оная действительно. Свойство она имеет довольно отважное и своею смелостию много хвалится: этим-то самым мне и удалось ее завести, куда я желал».

Говоря потом, как он влюбил ее в себя, чтоб легче обмануть, и как подобным же образом обманул другую свою «невесту Шмитшу» (она надзирала во дворце за фрейлинами), Орлов прибавляет: «Могу теперь похвастать, что имел невест богатых! Извините меня, всемилостивейшая государыня, что я так осмеливаюсь писать, я почитаю за должность все вам доносить так, как пред Богом, и мыслей моих не таить. Прошу и того мне не причесть в вину, буде я по обстоятельству дела принужден буду, для спасения моей жизни, и команду оставя, уехать в Россию и упасть к священным стопам вашего императорского величества, препоручая мою команду одному из генералов, по мне младшему, какой здесь на лицо будет. Да я должен буду и своих в оном случае обманывать, и никому предстоящей мне опасности не показывать: я всего больше опасаюсь иезуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам. И она из Пизы уже писала во многия места о моей к ней привязанности, и я принужден был ее подарить своим портретом, который она при себе имеет, а если захотят и в России мне недоброхотствовать, то могут поэтому придраться ко мне, когда захотят. Я несколько со-

мнения имею на одного из наших вояжиров, а легко может быть, что я ошибаюсь, только видел многия французские письма без подписи, и рука мне знакомая быть кажется (Орлов подозревал Ив. Ив. Шувалова, но напрасно: то была рука князя Лимбурга). При сем прилагаю полученное мною одно письмо из-под аресту, тож каковое она писала и контр-адмиралу Грейгу, на рассмотрение. И она по сие время все еще верит, что не я ее арестовал, а секрет наш наружу вышел. Тож у нея есть и моей руки письмо на немецком языке, только без подписания имени моего, и что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу и ее спасти. Теперь я не имею времени обо всем донести за краткостию время, а может о многом доложить генерал-адъютант моего штаба. Он за нею ездил в Рим, и с нею он для виду арестован был на одне сутки на корабле. Флот, под командою Грейга, состоящий в пяти кораблях и одном фрегате, сейчас под парусами, о чем дано знать в Англию к министру, чтоб оный, по прибытии в порт английский, был всем от него снабжен. Флоту же велено, как возможно, поспешать к своим водам. Всемилостивейшая государыня, прошу не взыскать, что я вчерне мое донесение к вашему императорскому величеству посылаю, опасаюсь, чтобы в точности дела не проведали и не захватили курьера и со всеми бумагами».

Раздражение итальянцев против Орлова действительно было сильно: по Европе разнесся слух, что он сам собственноручно умертвил свою жертву, по отплытии русской эскадры от итальянских берегов, именно в Бордо.

До самого Плимута пленница была еще несколько покойна: она все надеялась, что на английских водах Орлов освободит ее — она все еще верила ему.

В Плимуте же, когда эскадра отходила по направлению к России, несчастная все поняла. Ею овладело бешенство. Но она лишилась чувств, и ее вынесли на палубу.

Она была беременна от Орлова, а между тем чахотка, видимо, съедала ее.

Очнувшись на палубе, она бросилась к борту, чтобы спрыгнуть в адмиральскую шлюпку, но ее схватили.

На берег стали собираться толпы любопытных. Грейг поторопился отплытием из Плимута.

«Я во всю жизнь мою никогда не исполнял такого тяжелого поручения», — писал он Орлову.

Но вот 11 мая корабли бросили якорь в кронштадтском рейде. Экипажу под страхом смерти запрещено было говорить о пленнице.

Донесли императрице, которая была в Москве, после казни Пугачева, «братца» привезенной пленницы.

«Господин контр-адмирал Грейг (собственноручно писала Екатерина). С благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа и уведомилась, вас поздравляю и весьма вестию сею обрадовалась. Что ж касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеления от меня посланы господину фельдмаршалу князю Голицыну в С.-Петербург, и он сих вояжиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша во всегдашней моей памяти, и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства».

Все распоряжения относительно важной пленницы производились в глубочайшей тайне.

Глубокою таинственностью окутан и самый въезд этой женщины в Петербург.

24 мая, вечером, Голицын требует к себе капитана преображенского полка Александра Толстого, и объявляет ему, что по высочайшей воле на него возлагается чрезвычайно важное секретное поручение. В другой комнате, у налоя с крестом и евангелием, уже ждал священник. Толстого привели к присяге в том, что под страхом строжайшего наказания он будет вечно молчать о том, что предстоит ему исполнить в следующую ночь. После присяги фельдмаршал приказал капитану тою же ночью ехать с командой в Кронштадт, принять с корабля «Трех Иерархов» от адмирала Грейга женщину и находящихся при ней людей, тайно провезти их в Петропавловскую крепость и сдать коменданту Чернышеву. Команда, наряженная с Толстым, также дает клятву вечного молчания.

В эту же ночь особая яхта приплыла в Кронштадт — это была команда, посланная за пленницей. В Кронштадте она пристала прямо к «Трем Иерархам». Для большей осторожности Грейг приказал Толстому и его команде весь следующий день до ночи не выходить даже из кают, чтобы никто на рейде не видел, что за люди и откуда и зачем они приехали.

В следующую ночь таинственная пленница была уже в алексеевском равелине, а утром начались допросы.

Не станем говорить о допросах и показаниях Доманского, Чарномского, Франциски фон Мешеде и Кальтфигнера, потому что это слишком увеличило бы объем настоящего очерка.

Остановимся несколько на допросе самой принцессы: в этом допросе, ее показаниях, в ее удивительной стойкости и, наконец, в ее страшном конце так много трагического.

Ее допрашивали по-французски.

Когда князь Голицын вошел в ее каземат, она пришла в сильное волнение. Но это была не робость, а гнев. С достоинством и повелительным тоном пленница спросила князя.

— Скажите мне, какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении?

Князь строго заметил ей, что она должна дать прямые и неуклончивые ответы на все, о чем ее будут спрашивать, и начал допрос:

— Как вас зовут?

— Елизаветой, — отвечала пленница.

— Кто были ваши родители?

— Не знаю.

— Сколько вам лет?

— Двадцать три года.

— Какой вы веры?

— Я крещена по греко-восточному обряду.

— Кто вас крестил и кто были восприемники?

— Не знаю.

— Где провели вы детство?

— В Киле, у одной госпожи — Пере или Перон.

— Кто при вас находился тогда?

— При мне была нянька, ее звали Катериной. Она немка, родом из Голштинии.

О своем детстве она прибавила новые подробности.

— В Киле, — говорит она, — меня постоянно утешали скорым приездом родителей. В начале 1762 года, когда мне было девять лет от роду (следовательно, тотчас по кончине императрицы Елизаветы Петровны — замечателен этот факт), приехали в Киль трое незнакомцев. Они взяли меня у госпожи Перон и вместе с нянькой Катериной, сухим путем, повезли в Петербург. В Петербурге сказали мне, что родители мои в Москве и что меня повезут туда. Меня повезли, но не в Москву, а куда-то далеко, на персидскую границу, и там поместили у одной образованной старушки, которая, помню я, говорила, что она сослана туда по повелению императора Петра III. Эта старушка жила в домике, стоявшем одиноко вблизи кочевья какого-то полудикого племени. Здесь у приютившей меня старушки прожила я год и три месяца, и почти во все это время была больна.

— Чем вы были больны?

— Меня отравили. Хотя быстро данным противоядием жизнь моя была сохранена, но я долго была нездорова от последствий данного мне яда.

— Кто еще находился при вас в это время?

— Кроме Катерины, еще новая нянька, от нее я узнала несколько слов, похожих на русские. Потом начала в том же доме у старушки учиться по-русски, выучилась этому языку, но впоследствии забыла его. На персидской границе я была не в безопасности, поэтому друзья мои, но кто они такие, я не знала и до сих пор не знаю, искали случая препроводить меня в совершенно безопасное место. В 1763 году, с помощью одного татарина, няньке Катерине удалось бежать вместе со мной, десятилетним ребенком, из пределов России в Багдад. Здесь принял меня богатый персиянин Гамед, к которому нянька Катерина имела рекомендательные обо мне письма. Год спустя, в 1764 году, когда мне было одиннадцать лет, друг персиянина Гамеда, князь Гали, перевез меня в Испагань, где я получила блистательное образование под руководством француза Жана Фурнье. Гали мне часто говаривал, что я законная дочь русской императрицы Елизаветы Петровны. Тоже постоянно говорили мне и другие окружавшие меня люди.

— Кто такие эти люди, внушившие вам такую мысль?

— Кроме князя Гали, теперь никого не помню. В Персии я пробыла до 1769 года, пока не возникли народные волнения и беспорядки в этом государстве. Тогда Гали решился удалиться из Персии в Европу. Мне было семнадцать лет, когда он повез меня из Персии. Мы выехали сначала в Астрахань, где вместо сопровождавшей нас персидской прислуги, Гали нанял русскую, принял имя Крымова и стал выдавать меня за свою дочь.

Потом она рассказала о своей жизни в Европе — все что уже нам известно, только с некоторыми изменениями.

Выслушав весь ее рассказ, князь Голицын снова начал допрос:

— Вы должны сказать, по чьему научению выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны.

— Я никогда не была намерена выдавать себя за дочь императрицы, — отвечала она твердо.

— Но вам говорили же, что вы дочь императрицы?

— Да, мне говорил это в детстве моем князь Гали, говорили и другие, но никто не побуждал меня выдавать себя за русскую великую княжну, и я никогда, ни одного раза не утверждала, что я дочь императрицы.

Голицын показал ей отобранные у нее завещания Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны, а также известный нам «манифестик», посланный ею из Рагузы к Орлову.

— Что вы скажете об этих бумагах? — спросил он.

— Это те самые документы, что были присланы ко мне при анонимном письме из Венеции. Я говорила вам о них.

— Кто писал эти документы?

— Не знаю.

— Послушайте меня, — сказал князь Голицын, — ради вашей же собственной пользы, скажите мне все откровенно и чистосердечно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий.

— Говорю вам чистосердечно и с полною откровенностию, господин фельдмаршал, — с живостью отвечала пленница, — и в доказательство чистосердечия признаюсь вот в чем. Получив эти бумаги и прочитав их, стала я соображать и воспоминания моего детства, и старания друзей укрыть меня вне пределов России, и слышанное мною впоследствии от князя Гали, в Париже от разных знатных особ, в Италии от французских офицеров и от князя Радзивилла относительно моего происхождения от русской императрицы. Соображая все это с бумагами, присланными ко мне при анонимном письме, я, действительно, иногда начинала думать, не я ли в самом деле то лицо, в пользу которого составлено духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны? А относительно анонимного письма приходило мне в голову, не последствие ли это каких-либо политических соображений?

— С какою же целью писали вы к графу Орлову и посылали ему завещание и проект манифеста?

— Я писала это к графу Орлову потому, что пакет из Венеции был адресован на его имя, а ко мне прислан при анонимном письме. И письмо к нему от имени принцессы Елизаветы писала не я — это не моя рука.

После многих еще вопросов и увещаний, князь Голицын опять настоятельно просил свою арестантку открыть ему все.

— Я вам открыла все, что знала, — отвечала она решительно. — Больше мне нечего вам сказать. В жизни своей приходилось мне много терпеть, но никогда не имела я недостатка ни в силе духа, ни в твердом уповании на Бога. Совесть не упрекает меня ни в чем преступном. Надеюсь на милость

государыни. Я всегда чувствовала влечение к России, всегда старалась действовать в ее пользу.

Все было записано, что ни говорила она. Потом все это прочли ей и дали подписать.

Она взяла перо и твердо подписала: Elisabeth.

Но князь Голицын не решался послать эти показания императрице: он все еще надеялся добиться истины.

До 31 мая он все ходил в каземат к пленнице, все уговаривал ее сказать правду, но все напрасно.

— Сама я никогда не распространяла слухов о моем происхождении от императрицы Елизаветы Петровны. Это другие выдумали на мое горе, — твердила она.

Ей показали ответы Доманского, которые уличали ее именно в этом.

Упрямая женщина не смутилась и твердо сказала:

— Повторяю, что сказала прежде: сама себя дочерью русской императрицы я никогда не выдавала. Это выдумка не моя, а других.

Надо было, наконец, послать императрице это любопытное дело.

В своем донесении фельдмаршал добавлял о пленнице: «Она очень больна, доктор находит жизнь ее в опасности, у нее часто поднимается сухой кашель, и она отхаркивает кровью».

На другой день по отправлении донесения государыне Голицын получил два письма пленницы — одно к нему, другое к императрице. В первом она писала, что не чувствует себя виновной ни перед Россиею, ни перед императрицею, что иначе не поехала бы на русский корабль, зная, что на палубе его она будет во власти русских. Императрицу она умоляла смягчиться над ее печальною участью, назначить ей аудиенцию, чтобы лично разъяснить ее величеству все недоумения и сообщить очень важные для России сведения.

И это письмо она подписала по-царски: Elisabeth.

«Императрица была сильно раздражена этою лаконическою подписью, — говорит составитель обстоятельной биографии этой несчастной женщины. — По правде сказать, какую же другую подпись могла употребить пленница? Зовут ее Елизаветой, это она знает, но она не знает ни фамилии своей, ни своего происхождения. Она была в положении «непомнящей родства», но во времена Екатерины такого звания людей русское законодательство еще не признавало. Как же иначе, если не «Елизаветой»,

могла подписать пленница официальную бумагу? Но императрице показалось другое: она думала, что, подписываясь Елизаветой, «всклепавшая на себя имя» желает указать на действительность царственного своего происхождения, ибо только особы, принадлежащие к владетельным домам, имеют обычай подписываться одним именем. Под этим впечатлением Екатерина не поверила ни одному слову в показании, данном пленницей. «Эта наглая лгунья продолжает играть свою комедию!» — сказала она».

Вследствие этого императрица написала Голицыну: «Передайте пленнице, что она может облегчить свою участь одною лишь безусловною откровенностию и также совершенным отказом от разыгрываемой ею доселе безумной комедии, в предположение которой она вторично осмелилась подписаться Елизаветой. Примите в отношении к ней надлежащие меры строгости, чтобы, наконец, ее образумить, потому что наглость письма ее ко мне уже выходит из всяких возможных пределов».

Тогда Голицын посылает в каземат секретаря следственной комиссии Ушакова объявить арестантке, что в случае ее дальнейшего упорства прибегнут к «крайним способам» для узнания самых «тайных ее мыслей». Несчастная клялась, что показала только сущую правду, и говорила с такою твердостью, с такою уверенностью, что Ушаков, возвратясь к фельдмаршалу, выразил ему свое личное убеждение, что пленница сказала всю правду.

Тогда Голицын опять сам пошел к ней. Он обещал ей помилование, прощение всего, лишь бы она сказала всю правду и объявила, откуда получила копии с духовных завещаний Петра, Екатерины I и Елизаветы.

— Клянусь всемогущим Богом, клянусь вечным спасением, клянусь вечною мукой, — с чувством говорила заключенная, — не знаю, кто прислал мне эти несчастные бумаги. Проступок мой состоит лишь в том, что я, отправив к графу Орлову часть полученных бумаг, не уничтожила оставленные. Но мне в голову прийти не могло, чтоб это упущение когда-нибудь могло довести меня до столь бедственного положения. Умоляю государыню императрицу милосердно простить мне эту ошибку и самим Богом обещаюсь хранить вечно о всем этом деле молчание, если меня отпустят за границу.

— Так вы не хотите признаться? Не хотите исполнить волю всемилостивейшей государыни?

— Мне не в чем признаваться, кроме того, что я прежде сказала, а больше того не могу ничего сказать, потому что

ничего не знаю. Не знаю, господин фельдмаршал. Видит Бог, что ничего не знаю, не знаю, не знаю.

— Отберите же у арестантки все, — сурово сказал фельдмаршал смотрителю равелина, — все, кроме постели и самого необходимого платья. Пищи давать ей столько, сколько нужно для поддержания жизни. Пища должна быть обыкновенная арестантская. Служителей ее не допускать к ней. Офицер и двое солдат день и ночь должны находиться в ее комнате.

Услыхав этот жестокий приговор, несчастная залилась слезами. Твердость духа, столь упорно державшаяся в больной, покинула ее.

Два дня и две ночи проплакала она. Тюремщики не отходили от нее. Ни она их не понимала, ни они ее. Двое суток она ничего не ела. Чахотка съедала ее: она кусками отхаркивала кровь.

Знаками она успела заставить догадаться своих сторожей, что ей хотелось бы написать письмо. Ей дали перо, бумагу, и чернила.

Она вновь написала фельдмаршалу обширное письмо, доказывая свою невинность, доказывая, наконец, бессмысленность попыток, в которых ее обвиняли. Она говорила, что не виновата в том, что за границей ее называли всеми возможными именами — и дочерью Елизаветы, и сестрою Иоанна Антоновича, дочерью, наконец, султана. — «Да если б, наконец, — прибавила она, — весь свет был уверен, что я дочь императрицы Елизаветы, все-таки настоящее положение дел таково, что оно мной изменено быть не может. Еще раз умоляю вас, князь, сжальтесь надо мной и над невинными людьми, погубленными единственно потому, что находились при мне».

И вот начинаются новые посещения каземата князем Голицыным, новые спросы, передопросы, усовещиванья, наконец, угрозы «крайними мерами».

— Я сказала вам все, что знаю, — продолжала настаивать несчастная. — Что же вы от меня еще хотите? Знайте, господин фельдмаршал, что не только самые страшные мученья, но сама смерть не может заставить меня отказаться в чем-либо от первого моего показания.

Голицын сказал, что после этого она не должна ждать никакой пощады.

«Но, — прибавляет биограф, — вид почти умирающей красавицы, вид женщины, привыкшей к хорошему обществу и к роскошной обстановке жизни, а теперь заключенной в

одной комнате с солдатами, содержимой на грубой арестантской пище, больной, совершенно расстроенной, убитой и физически и нравственно, не мог не поразить мягкосердого фельдмаршала. Он был один из добрейших людей своего времени, отличался великодушием и пользовался любовью всех знавших его. Забывая приказания императрицы принять в отношении к пленнице меры строгости, добрый фельдмаршал, выйдя из каземата, приказал опять допустить к ней Франциску фон Мешеде, улучшить содержание пленницы, страже удалиться за дверь и только смотреть, чтобы пленница не наложила на себя рук. Голицын заметил в ее характере так много решительности и энергии — свойств, которыми сам он вовсе не обладал, — что не без оснований опасался, чтобы заключенная не посягнула на самоубийство. Она была способна на то, что доказала на корабле «Трех Иерархов».

Обо всем этом Голицын донес императрице 18 июня.

29 июня императрица отвечала фельдмаршалу:

«Распутная лгунья осмелилась просить у меня аудиенции. Объявите этой развратнице, что я никогда не приму ее, ибо мне вполне известны и крайняя ее безнравственность, и преступные замыслы, и попытки присваивать чужия имена и титулы. Если она будет продолжать упорствовать в своей лжи, она будет предана самому строгому суду».

Говорят, что в это время пленницу навестил граф Алексей Орлов. О свидании его со своей жертвой после рассказывал тюремщик, которому слышно было, как несчастная женщина в чем-то сильно укоряла своего предателя, кричала на него и топала ногами. Что они говорили между собою — никто не знает. Без сомнения, ужасно было это свидание: ведь, жертва готовилась быть матерью ребенка от того самого человека, который ее предал, а теперь стоял перед нею...

В это время императрица прислала из Москвы к Голицыну двадцать так называемых «доказательных статей», составленных на основании показаний самой пленницы, ее свиты и захваченной у них переписки. «Эти статьи, — писала Екатерина, повелевая передопросить арестантку, — совершенно уничтожат все ее ложные выдумки».

Но и «доказательными статьями» от пленницы ничего не добились. Даже добрейшего фельдмаршала взорвала непоколебимая стойкость этой почти умирающей молоденькой женщины.

От нее он пошел в каземат Доманского.

— Вы в своем показании утверждали, что самозванка неоднократно перед вами называла себя дочерью императрицы Елизавета Петровны, — сказал ему Голицын. — Решитесь ли вы уличить ее в этих словах на очной ставке?

Доманский смутился. Но, несколько оправившись и придя в себя, он твердо отвечал, что — нет, что такого показания он не давал.

Голицына рассердило это упорство.

От Доманского, которому он пригрозил очной ставкой с Черномским, фельдмаршал отправился в каземат этого последнего.

Но и очная ставка сначала не помогла. Доманский утверждал, что пленница не называла себя дочерью императрицы. Но потом сбился в словах, запутался и стал умолять о помиловании.

— Умоляю вас, простите мне, что я отрекся от первого моего показания и не хотел стать на очную ставку с этою женщиной. Мне жаль ее, бедную. Наконец, я откроюсь вам совершенно: я любил ее, и до сих пор люблю без памяти. Я не имел сил покинуть ее, любовь приковала меня к ней, и вот — довела до заключения.

— Какие же были у вас надежды? — спросил его Голицын.

— Никаких, кроме ее любви. Единственная цель моя состояла в том, чтобы сделаться ее мужем. Об ее происхождении я никогда ничего не думал и никаких воздушных замков не строил. Я желал только любви ее, и больше ничего. Если б и теперь выдали ее за меня замуж, хоть даже без всякого приданого, я бы счел себя счастливейшим человеком в мире.

Ему и ей дали очную ставку. Они говорили по-итальянски.

Смущенный и растерянный Доманский сказал ей, что она называла себя иногда дочерью императрицы.

Резко взглянула на него пленница, но ничего не сказала.

Доманский совершенно потерялся.

— Простите меня, что я сказал, но я должен был сказать это по совести, — говорил он в смущении.

Спокойным и твердым голосом, смотря прямо в глаза Доманскому, пленница отвечала, будто отчеканивая каждое слово:

— Никогда ничего подобного серьезно я не говорила и никаких мер для распространения слухов, будто я дочь покойной русской императрицы Елизаветы Петровны, не предпринимала.

Так и эта очная ставка ничем не кончилась.

Прошло еще несколько дней. В Москве празднуют кучук-кайнарджийский мир. Голицыну жалуют бриллиантовую шпагу «за очищение Молдавии до самых Ясс».

А Голицын, между тем, пишет императрице о своей арестантке: «Пользующий ее доктор полагает, что при продолжающихся постоянно сухом кашле, лихорадочных припадках и кровохаркании ей жить остается недолго. Действовать на ее чувство чести или на стыд совершенно бесполезно, одним словом — от этого бессовестного создания ничего не остается ожидать. При естественной быстроте ее ума, при обширных по некоторым отраслям знаний сведениях, наконец, при привлекательной и вместе с тем повелительной ее наружности, ни мало не удивительно, что она возбуждала в людях, с ней обращавшихся, чувство доверия и даже благоговение к себе. Адмирал Грейг, на основании выговора ее, думает, что она полька. Нет, ее за польку принять невозможно. Она слишком хорошо говорит по-французски и по-немецки, а взятые с ней поляки утверждают, что она только в Рагузе заучила несколько польских слов, а языка польского вовсе не знает».

Почти умирающая, она все еще, однако, не теряет надежды на свободу, на жизнь.

Она снова просит бумаги и перо. Докладывают об этом Голицыну. Тот думает, что ожидание близкой смерти, быть может, заставит ее распутать, наконец, тайну, от которой действительно у всех могла голова закружиться, — такая масса фактов и никакого вывода!

Ей дают перо и бумагу. Она снова пишет обширное письмо, исполненное самого безотрадного отчаянья. Пишет и императрице письмо и особую записку.

Не приводим этих новых подробностей о таинственной женщине: тут целые массы фактов, сложных, запутанных, невероятных, — и факты эти не вымышленные, и все эти факты группируются около одной личности, около этой непонятной, умирающей женщины.

«Требуют теперь от меня сведений о моем происхождении, — пишет она, между прочим, — но разве самый факт рождения может считаться преступлением? Если же из него хотят сделать преступление, то надо бы собрать доказательства о моем происхождении, о котором и сама я ничего не знаю.

Или в другом месте: «Вместо того, чтоб предъявить мне положительные сомнения в истине моих показаний, мне твер-

дят одно, и притом в общих выражениях, что меня подозревают, а в чем подозревают, и на основании каких данных, того не говорят. При таком направлении следствия, как же мне защищаться против голословных обвинений? Если останутся при такой системе производства дела, мне, конечно, придется умереть в заточении. Теперешнее мое положение при совершенно расстроенном здоровье невыносимо и ни с чем не может быть сравнено, как только с пыткой на медленном огне. Ко мне пристают, желая узнать, какой я религии, да разве вера, исповедуемая мной, касается чем-либо интересов России?»

А от императрицы, между тем, новое повеление, от 24 июля: «Удостоверьтесь в том, действительно ли арестантка опасно больна? В случае видимой опасности, узнайте, к какому исповеданию она принадлежит, и убедите ее в необходимости причаститься перед смертию. Если она потребует священника, пошлите к ней духовника, которому дать наказ, чтоб довел ее увещаниями до раскрытия истины, о последующем же немедленно донести с курьером».

Боятся, чтобы она не унесла с собой своей тайны в могилу.

А генерал-прокурор к этому повелению прибавляет: «Священнику предварительно, под страхом смертной казни, приказать хранить молчание о всем, что он услышит, увидит или узнает».

Но через день императрица шлет новое повеленье: «Не допрашивайте более распутную лгунью, объявите ей, что она за свое упорство и бесстыдство осуждается на вечное заключение. Потом передайте Доманскому, что если он подробно расскажет все, что знает о происхождении, имени и прежней жизни арестантки, то будет обвенчан с нею, и они потом получат дозволение возвратиться в их отечество. Если он согласится, следует стараться склонить и ее, почему Доманскому и дозволить переговорить о том с нею. При ее согласии на предложение — обвенчать их немедленно, чем и положить конец всем прежним обманам. Если же арестантка не захочет о том слышать, то сказать ей, что в случае открытия своего происхождения она тотчас же получит возможность восстановить сношения свои с князем лимбургским».

Голицын снова является к заключенной. Он находит ее в совершенно безнадежном состоянии, почти умирающею.

— Не желаете ли вы духовника, чтобы приготовиться к... смерти? — спрашивает князь, наклоняясь к умирающей.

— Да.

— Какого же вам священника, греко-восточного или католического?

— Греко-восточного.

Но больше она говорить не может. Голицын уходит.

Еще прошло несколько дней. Голицын опять в каземате. Это было 1 августа.

— Я теперь узнал о вашем происхождении, — говорит он.

«Услышав от меня сии слова (доносил потом Голицын государыне), пленница сначала видимо поколебалась, но потом тоном, внушавшим истинное доверие, сказала, что она хорошо узнала и оценила меня, вполне надеется на мое доброе сердце и сострадание к ее положению, а потому откроет мне всю истину, если я обещаю сохранить ее в тайне. «Но я могу решиться только на письменное признание, — сказала она, — дайте мне для того два дня сроку».

Прошло два дня. Голицыну докладывают, что с арестанткой случился такой жестокий болезненный припадок, что она не только писать, но даже и говорить не может.

Прошло еще четыре дня. Ей стало легче. Она просит доктора сказать фельдмаршалу, что к 8-му числу постарается кончить свое письмо.

И действительно кончила, но не одно, а два, к нему и к императрице.

Умирающая беременная женщина в последний раз просит сжалиться над ней. «Днем и ночью в моей комнате мужчины, — пишет она, между прочим, — с ними я и объясняться не могу. Здоровье мое расстроено, положение невыносимо. Лучше я пойду в монастырь, а долее терпеть такое обхождение я не в силах».

Императрице пишет, что солдаты даже ночью не отходят от ее постели. «Такое обхождение со мной заставляет содрогаться женскую натуру. На коленях умоляю ваше императорское величество, чтобы вы сами изволили прочесть записку, поданную мною князю Голицыну, и убедились в моей невинности».

В этой записке есть одно замечательное место. Она говорит, что, по возвращении из Персии, она намеревалась приобрести полосу земли на Тереке. «Здесь я намерена была посеять первые семена цивилизации, посредством приглашенных мною к поселению французских и немецких колонистов. Я намеревалась образовать таким образом небольшое государство, которое, находясь под верховным владычеством рус-

ских государей, служило бы связью России с Востоком и оплотом русского государства противу диких горцев». Она хотела употребить для этого князя лимбургского, как своего помощника, и он уже отказывался от престола в пользу брата. Граф Орлов должен был склонить императрицу к принятию этого проекта.

В заключение опять просит пощадить ее. «Я круглая сирота, одна на чужой стороне, беззащитная против враждебных обвинений».

До и после этого не переставали надеяться, что от нее что-нибудь узнают. Едва слышно она отвечала на вопросы, что сказала всю правду, а о своем происхождении она не знает и не знает.

— Я знаю, кто вы, — сказал, наконец, Голицын, — я имею ясные на то доказательства.

Больная даже приподнялась на постели.

— Кто же я?

— Дочь пражского трактирщика.

Больная вскочила с постели и с сильнейшим негодованием вскричала:

— Кто это сказал? Глаза выцарапаю тому, кто осмелился сказать, что я низкого происхождения!

Силы ее оставили. Она упала на постель.

Прошел август, сентябрь и половина октября, больная уже не вставала с постели. Смерть, видимо, приближалась к ней.

В конце ноября арестантка родила сына. Это был сын графа Орлова. Что должна была чувствовать умирающая мать при взгляде на этого ребенка!

Говорят, что его потом вырастили, что он служил в гвардии, нося фамилию Чесменского, и умер в молодых летах.

Пришла, наконец, и смерть к таинственной женщине.

— Где вы родились и кто ваши родители? — спрашивает умирающую священник Казанского собора Петр Андреев.

— Бог свидетель — не знаю, — отвечает умирающая.

Священник увещевает ее, просит не уносить с собой тайны в могилу.

— Свидетельствуюсь Богом, что никогда я не имела намерений, которые мне приписывают, никогда сама не распространяла о себе слухов, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны.

— А документы? — спрашивает священник.

— Все это получено мной от неизвестного лица при анонимном письме.

— Вы стоите на краю могилы, — сказал священник, — вспомните о вечной жизни и скажите мне всю истину.

— Стоя на краю гроба и ожидая суда пред самим Всевышним Богом, уверяю вас, что все, что ни говорила я князю Голицыну, что ни писала к нему и к императрице, — правда. Прибавить к сказанному мною ничего не могу, потому что ничего больше не знаю.

— Но кто были у вас соучастники?

— Никаких соучастников... не было... потому что... и преступных замыслов... мне приписываемых... не было.

Она чувствовала себя так дурно, что просила священника прийти на другой день.

На другой день те же увещания и то же решительное утверждение со стороны умирающей, что она все сказала, что больше она ничего не знает.

Она говорила все слабее и слабее. Священник, наконец, не мог понимать ее слов. Началась агония.

Священник оставил ее, не удостоив причастия.

Агония продолжалась более двух суток. В семь часов пополудни 4 декабря 1775 года таинственной женщины не стало: действительно, она унесла-таки в могилу тайну своего рождения, если только сама знала ее.

Солдаты, бессменно стоявшие при ней на часах, тайно вырыли там же в равелине глубокую яму и труп загадочной женщины закидали мерзлою землей. Красоты, которая так обаятельно действовала на все, не стало. Обрядов при погребении не было никаких.

Картина Флавицкого, изображающая смерть этой женщины в виду всего сказанного здесь, не имеет исторической правды.

V. БАРОНЕССА АННА ХРИСТИНА КОРФ
(урожденная Штегельман)

Баронесса Корф была одною из того многочисленного сонма «Русских иноземок», владычество которых в русской земле обнимает всю первую половину прошлого столетия и так долго было памятно России.

Принадлежа России, по служебным и экономическим интересам своих отцов, мужей и братьев, рожденные и воспитанные в России, хотя не в русских нравах, женщины эти, как их мужья и отцы, только временно и притом экономически тяготели к русской земле, а все их симпатии лежали к западу,

так что, едва лишь кончались выгодные операции этих иноземцев и иноземок в русском царстве, или состояние их солидно округлялось, или же, наконец, дальнейшее пребывание в русской земле не представляло прочных шансов на успех, — все эти чужеядные растения выползали из русского огорода и ветвями своими перетягивались на Запад, в более родную им атмосферу.

Баронесса Корф в России ничего не сделала и никаким актом своей деятельности не оставила по себе памяти на страницах русской истории, но, по случаю одного рокового события на западе Европы, она попала в список исторических женщин, связав свое имя с другим именем, вполне историческим и очень громким, — почему и мы не считаем себя в праве обойти ее молчанием, хотя в тех видах, что в истории французской революции неизбежно должно упоминаться имя баронессы Корф, русской по рождению и по подданству.

Анна Христина была дочь известного петербургского банкира Штегельмана, биржевые операции которого составляли заметное явление в коммерческой жизни Петербурга второй половины прошлого века.

Дочь богатого банкира вышла замуж за барона Корфа, родного племянника того Корфа, который правил Пруссиею во время занятия ее русскими войсками в семилетнюю войну, а потом при Петре III был петербургским обер-полицеймейстером.

Муж Анны Христины служил России в чине полковника, командовал одним из русских полков, именно козловским, и состоял адъютантом при фельдмаршале графе Минихе.

В царствование Екатерины II он был убит при штурме Бендер, 16 сентября 1770 года.

Едва овдовела его супруга Анна Христина, как тотчас же покинула Россию. Она уехала со своею матерью в Париж, где и жила постоянно, в течение 20 лет, так как к России не влекли ее уже никакие ни нравственные, ни экономические интересы.

И в Париже она, без сомнения, так же затерялась бы в массе имен, не оставивших по себе следа в истории, как затерялась бы, конечно, и в России, если б одно, по-видимому, не важное по себе, событие, но повлекшее за собою целый ряд роковых для Франции и для всей Европы последствий не заставило в свое время повторять имя баронессы Корф повсеместно.

Это — неудачное бегство из Парижа короля Людовика XVI в 1791 году.

Ночью 9 июня 1791 года Людовик XVI исчез из Парижа.

Из произведенного затем расследования оказалось, что с 9 на 10 июня, около полуночи, Людовик XVI, королева, дофин, принцесса-дочь, принцесса Елизавета и г-жа Турцель тихонько вышли из дворца и пешком отправились к Карусели. Там ждала их карета. В этой карете королевское семейство отправилось к воротам Сен-Мартен. У ворот ожидал их дорожный берлин, заложенный шестеркою лошадей. Пересев в этот экипаж, король с семейством отправился в путь по направлению к Бонди.

При первом известии о бегстве короля, Париж пришел в необыкновенное волнение. Дом министра де Монморена, за подписью которого, как оказалось тогда же, был выдан паспорт королю, но только на чужое имя, был осажден толпами народа, и только отряды национальной гвардии могли отстоять этот дом от разграбления.

Но король из Франции не выехал — на дороге он был арестован и привезен обратно в свою столицу.

Вскоре вся Европа узнала, что непосредственным орудием в бегстве французского короля была русская подданная, баронесса Корф, что паспорт для прикрытия отъезда короля из своего королевства она выправляла на свое семейство и передала его королю, знаменитому арестанту французского народа, снабдив притом царственного беглеца на дорогу значительною суммою денег.

Помощником ее в этом деле был известный тогда всей Европе граф Аксель Ферзен, швед, находившийся во французской службе и бывший в дружеских отношениях с баронессою Корф и ее матерью. Граф Ферзен, получив от баронессы Корф ее паспорт, вручил его королю; граф же Ферзен приготовил для несчастного короля карету у Карусели и дорожный берлин у ворот Сен-Мартен; граф Ферзен, наконец, был и тем переодетым кучером, который вывез короля из Парижа.

Вот что, между прочим, через несколько дней после арестования Людовика XVI писал русский посланник в Париже Симолин к графу Остерману в Петербург.

«...Когда национальному собранию было доложено, что король путешествовал с паспортом, выданным на имя г-жи Корф, для проезда во Франкфурт с двоими детьми, камердинером, тремя слугами и горничной, за подписью Монморена, тогда потребовали этого министра к допросу.

Он приведен был под стражею и без труда доказал, что он не способствовал и не мог способствовать бегству королев-

ской фамилии, и совершенно отклонил от себя обвинение. Между тем, народ с такою яростью устремился к его дому, что ударили тревогу и надлежало отправить на место несколько отрядов национальной гвардии, чтобы спасти дом от разграбления».

«Так как я был в некотором роде соучастником в этом великом событии настоящей минуты, хотя самым невинным образом, то считаю себя обязанным дать объяснение тому, что касается моего участия в этом деле.

В первых числах этого месяца, г-жа Корф, вдова полковника Корфа, бывшего в службе ее императорского величества и убитого 20 лет тому при штурме Бендер, просила меня чрез посредство одной особы доставить ей отдельные паспорта, один для нее, а другой для г-жи Штегельман, ее матери, на проезд во Франкфурт. Я передал эту просьбу, на письме, г-ну Монморен, и он тотчас же приказал изготовить паспорты и переслал их ко мне. Несколько дней спустя, г-жа Корф написала ко мне, что она, уничтожая разные ненужные бумаги, имела неосторожность бросить в огонь и свой паспорт, и просила меня достать ей другой такой же. Я в тот же день отнесся к секретарю, заведывающему паспортной экспедицией, приложив ее письмо к своему письму, и он заменил мнимо сгоревший паспорт другим. Не моя вина и не вина г-на Монморена, если г-жа Корф вздумала из своего паспорта сделать такое употребление, к какому он не назначался и которого мы далеко не могли предвидеть».

«Так как в печатных известиях, явившихся по поводу этого события, г-жа Корф названа была шведкою, то я счел себя вправе восстановить истину посредством письма, которое написал к г-ну де Монморену, и напечатал в газетах и копию с коего позволяю себе приложить здесь, так же и копию с письма г-жи Корф, в котором она горько жалуется на свою неосторожность. Я нисколько не сомневаюсь в том, что предубеждение, которое могло составиться в публике на мой счет, рассеется само собою».

«В субботу около четырех часов пополудни король возвратился в Париж и вышел из экипажа перед Тюильрийским дворцом».

В то же время Симолин объяснил и французскому министру де Монморену, каким образом они оба были обмануты г-жею Корф.

«Лишь сегодня утром, — писал он министру 25 июня, — читая газеты, узнал я о несчастном действии пас-

порта, о котором я три недели тому имел честь просить ваше сиятельство. В них я прочел, что баронесса Корф — шведка, что в глазах публики, которой мнением я безмерно дорожу, может дать мне вид посягателя на права и обязанности г-на шведского посланника. Спешу исправить эту ошибку объяснением, что баронесса Корф — русская, родилась в Петербурге, вдова барона Корфа, полковника, бывшего на службе императрицы, убитого при штурме Бендер в 1770 году, что она — дочь г-жи Штегельман, родившейся также в Петербурге, и что обе они жили уже 20 лет в Париже. Итак, эти дамы не могли и не обязаны были ни к кому иному, кроме меня, обращаться за получением паспортов, и, не будучи с ними ни в каких связях, — потому что я не имел даже чести никогда их видеть, — я не имел ни возможности, ни права отказать им в маленьком одолжении, принятием участия в этом деле. Правда, о паспорте представлено было, будто бы он сгорел, как г-жа Корф сама писала в том письме, которое я приложил к моей просьбе о повторительной выдаче паспорта; но мое поведение в этом случае было так же просто, как и прямо, и, я смею надеяться, каждый согласится, что я не мог подозревать, чтоб оно могло подать повод даже к малейшему косвенному обвинению ни вашего сиятельства, ни меня, несмотря на неблагоразумное употребление, которое было, по-видимому, сделано с этим другим паспортом».

«Надеюсь, впрочем, что ваше сиятельство найдете уместным, чтоб я дал этому письму гласность в газетах».

А вот и самое письмо баронессы Корф, которым она с женскою ловкостью сумела обмануть одного дипломата, одного министра и одного секретаря паспортной экспедиции:

«Я чрезвычайно огорчена. Вчера, сжигая разные ненужные бумаги, я имела неловкость бросить в огонь паспорт, который вы были так добры — доставили мне. Мне чрезвычайно совестно просить вас исправить мою глупость (mon etourderie) и вводить вас в хлопоты, которых я сама виною».

Просто и невинно — совершенно по-женски.

Со своей стороны, граф Ферзен оставил такую записку о своем участии и содействии к побегу короля:

«Граф Ферзен честь имеет уведомить графа де Мерси, что король, королева, их дети — дофин, принцесса-дочь, принцесса Елизавета и г-жа Турцель выехали из Парижа в понедельник в полночь. Граф Ферзен имел честь сопровож-

дать их до Бонди, куда они благополучно прибыли в половине второго часа без всяких приключений».

Кому не известно, как дорого обошлась эта ночная прогулка королю-беглецу: подобно капитану корабля, бросающему свой экипаж во время бури, он был казнен опьяневшими и обезумевшими от штурма матросами и пассажирами.

Франция пережила революцию, террор, неисчислимые казни — такой штурм, какого ни одна страна в мире никогда не выдерживала.

Франции было не до баронессы Корф. А, между тем, эта женщина для спасения короля пожертвовала всем своим состоянием. С кого она должна была получить деньги, данные бывшему королю Франции для вспомоществования его побегу? Король этот кончил свое царствование и жизнь на плахе. Франция не признавала королей — не признавала и долга, который могла считать себя в праве требовать от нее баронесса Корф, предъявлявшая свой иск к тени погибшего короля.

Франция считала себя по отношению к казненному королю своему тоже кредитором, как и баронесса Корф, и потому последняя должна была искать для себя удовлетворения вне Франции.

Баронесса Корф, как практическая немка и дочь банкира, так и сделала: она обратилась со своим иском к Австрии.

Баронесса Корф, предъявляя свой иск австрийскому императору, объясняла, что она потеряла все свое состояние во имя принципа, дорогого для всех императоров и королей: она спасала короля.

Участие в этом деле баронессы Корф принял тот же граф Аксель Ферзен, который тоже многим пожертвовал, спасая короля.

Сохранилась любопытная переписка по этому иску баронессы Корф.

Вот что писал из Стокгольма 30 марта 1795 года граф Ферзен императрице Екатерине II.

«Государыня! Обстоятельства постоянно лишали меня дорогого преимущества быть известным лично вашему императорскому величеству и лично принести к стопам вашим дань моего благоговения и удивления; посему я счел возможным представить вам выражение этих чувств письменно; и те высокие качества, коими ваше величество обладаете, как государыня и как лицо частное, дали мне смелость и убеждение, что вы благосклонно позволите мне умолять вас о благодетельном участии, — о действиях оного свидетельствует все-

ленная, — в пользу двух женщин, подданных вашего величества и заслуживающих быть ими. Благородное и великодушное поведение их, в очах монархини, умеющей, как вы, государыня, ценить и награждать заслуги, кажется титулом, достаточным для того, чтоб привлечь на себя взор благосклонности и участия».

«Предмет просьбы, которую я беру смелость препроводить к вашему императорскому величеству, достаточно объяснит вам состояние и заслуги госпожи Штегельман и ее дочери, баронессы Корф; мне остается только представить вашему величеству те старания, которые были сделаны в их пользу, и ту безуспешность, которою сопровождались они до сих пор. Разные дела, все в таком же роде, частью через других лиц представлены были императору (австрийскому) в бытность его в Брюсселе. Я предлагал даже и средства, известные мне, для их удовлетворения. По сведениям, собранным мною относительно душевных качеств этого государя, и по советам, мне данным, я счел за нужное начать с окончания дел, касавшихся до меня лично, дабы поставить себя в возможность сделать что-нибудь в пользу других, при отсрочке решения (по их делам), и помочь нуждам госпож Штегельман и Корф, но определение императора было отложено до времени возвращения этого государя в Вену. Тогда-то госпожа Корф представила ему свою записку; но ни она, ни я не могли еще получить надлежащего решения. Эта неизвестность заставит меня решиться ехать в Вену, лишь только окончу семейные дела, призывавшие меня в Швецию, и я буду просить у императора справедливости в пользу госпож Штегельман и Корф. Ваше величество, без сомнения, согласитесь, что их поведение заслуживает уважения, и что не следует, чтобы привязанность и преданность к государям, особенно в настоящее время, оплачивалась бедностью или нуждою. Никто лучше вашего величества не доказал, сколько вы чувствовали эту истину, и все несчастные находили у вашего величества или убежище или помощь. Итак, осмеливаюсь просить у вас этой помощи для госпож Штегельман и Корф, — оказать вспомоществование в их крайней нужде, и вашего участия, государыня, чтобы способствовать успеху их справедливого иска. Влияние вашего императорского величества на венский кабинет мне известно: одно слово ваше, государыня, или ордер вашему посланнику — подкрепить вашим участием просьбу двух женщин, подданных вашего величества, доставит им легкую возможность получить уплату их капитала, или же обеспечение в

уплате процентов, а пособие, которое ваше величество благоволите им оказать, послужит им на уплату долгов, в которые они вошли, и на их насущные потребности. Умеренных сумм, которые моя дружба могла предложить им, доставало только на их дневное пропитание».

«Господин Симолин, которого ваше императорское величество по всей справедливости удостаиваете своей благосклонности, извещен обо всем, касающемся госпож Штегельман и Корф, и господин Штединг (шведский посланник при русском дворе) будет иметь возможность, если ваше величество изволите приказать, сообщить подробности об их личностях».

«Я слишком хорошо знаю, государыня, безграничную доброту вашего императорского величества, и потому не опасаюсь, чтоб мой поступок показался нескромным монархине, ревностной ко всякого рода славе, и которой постоянное славолюбие — отыскивать несчастных и помогать им. Итак, указывать вам этих несчастных значит нравиться вам, и потомство столько же будет благословлять ваши благодеяния, сколько удивляться вашему царствованию».

Почти год не было никакого решения по делу г-жи Корф.

Тогда граф Ферзен вторично обратился к русской императрице с просительным письмом от 15 февраля 1796 года:

«Государыня! Благосклонность, с которою ваше императорское величество изволили принять первое письмо, которое я имел уверенность писать к вам, и та, еще большая, милость, которую благоволили присоединить к ней, подав мне надежду на ваше участие в пользу справедливых исканий госпож Штегельман и Корф относительно денег, которые они дали покойным их католическим величествам, внушают мне смелость напомнить вашему величеству это благодетельное обещание, о котором дела большой важности, без сомнения, заставили вас позабыть. Теперь больше чем когда-нибудь я уверен, что одно слово посланника вашего величества уничтожит все затруднения или скорее замедления, которые делаются относительно уплаты, и граф Разумовский, извещенный мною подробно относительно этого иска и средств к его удовлетворению, кажется, думает, что для вашего величества нисколько не было бы компрометацией то участие, которое вам угодно было бы оказать этим двум женщинам, вашим подданным, являющимся в настоящую минуту жертвами своих принципов, усердия и привязанности к несчастным государям».

«Итак, осмеливаюсь умолять ваше императорское величество, дабы вы благоволили дать повеление своему послан-

нику, и доброта, характеризующая все действия вашего величества, внушает мне уверенность, что я не тщетно умолял вас дать эти повеления, и что ваше величество благоволите прибавить еще одно — приказать, чтоб немедленно были отправлены те повеления, которые вам благоугодно будет послать».

На это последнее письмо Екатерина отвечала графу Ферзену 25 марта того же года:

«Господин граф Ферзен. Я получила ваше письмо, от 15 февраля, касательно госпож Штегельман и Корф и сегодня же сделала распоряжение, чтобы было приказано посланнику моему в Вене принять в их делах участие и стараться помочь успеху их домогательств. Удовлетворяя таким образом вашей просьбе в интересах этих дам, я очень рада случаю уверить вас в моем уважении и благосклонности, а затем прошу Бога, чтобы он не оставлял вас, господин граф Ферзен, своею святою, праведною помощию».

Тогда же, по приказанию императрицы, граф Остерман писал к графу Разумовскому в Вену следующее:

«Милостивый государь! Граф Ферзен, находящийся теперь в Вене, отнесся непосредственно к императрице, прося заступничества ее величества за вдову Штегельман, которая хлопочет об уплате ей венским двором денежных сумм, данных ею взаймы покойному Людовику XVI во время его несчастного бегства из Парижа. Граф Ферзен, кажется, также прямо заинтересован в этом деле. Ее императорское величество приказала мне поручить вам разузнать настоящие подробности и обстоятельства сего дела, и совокупно с графом Ферзеном употребить с вашей стороны все старания в пользу г-жи Штегельман при министерстве его величества императора римского, но только в таком случае, когда вы убедитесь в законности ее претензии и узнаете о степени внимания, с каким венский двор принимает просьбу вдовы Штегельман, не придавая, однако ж, вашему ходатайству ни в каком случае официальной формы и держась в пределах чисто дружеского посредства с нашей стороны».

Дальнейшая судьба баронессы Корф неизвестна.

Говоря вообще, история русской женщины ничего бы не потеряла, если б имя баронессы Корф и совершенно было выпущено из списка русских исторических женщин; но имя этой женщины, как мы заметили выше, стало историческим на западе; оно неизбежно приплетается к истории бегства и казни Людовика XVI, к истории французской революции;

русское правительство в свое время не могло отказать г-же Корф в признании ее русскою по праву подданства и рождения; баронессу Корф так или иначе произвела Россия; женщина эта долго жила в нашем отечестве: все это, вместе взятое, ставит баронессу Корф в то исключительное положение, при котором имя ее не может быть обойдено молчанием ни историею Франции, ни историею русской женщины.

Притом же баронесса Корф является едва ли не первою из тех женщин, которые, особенно во второй половине XVIII века и в первой половине XIX стали нередко менять русскую жизнь и русские симпатии на более привлекательную жизнь Запада, отрекались от своей страны, которой не знали, от своего народа, которого не любили и не хотели да и не умели служить ему, отрекались от своей религии, чтоб променять ее на более привлекательную по своей внешней, политической и светской обстановке форму католицизма и с которыми мы еще имеем познакомиться в предстоящих наших очерках: это Свечина, княгиня Волконская, княгиня Голицына и другие.

VI. ГЛАФИРА ИВАНОВНА РЖЕВСКАЯ
(урожденная Алымова)

В то время, когда дочь Сумарокова, впоследствии, по мужу Княжнина, и Каменская, по мужу Ржевская, воспитанные в кружке представителей только что зарождавшейся в России литературы, начинают собою новое поколение русских женщин, женщин-писательниц, когда вслед за ними выступает с этим же именем еще более крупная женская личность, княгиня Дашкова, президент Академии наук, а за нею целый ряд женщин-писательниц, учениц Ломоносова, Сумарокова, Княжнина, Новикова, в то время, когда русская женщина как общественный деятель и литератор становится уже весьма заметным явлением в общественной жизни, — нарождается новое поколение женщин, которые вырастают и развиваются под иными уже условиями, вне прямого влияния литературных и общественных деятелей, и вносят в русскую жизнь новый тип женщины, до того времени еще неизвестный.

Одним словом, нарождается поколение будущих «институток».

Как Сумарокова-Княжнина начинала собою поколение женщин-писательниц, так с Глафирою Ржевскою зачинается поколение женщин-институток.

Девическое имя Глафиры Ржевской было — Алымова.

Алымова родилась в 1759 году, в то время когда Сумарокова-Княжнина уже заслужила славу женщины-писательницы, и притом первой по времени; а когда умерла вторая, по времени, русская писательница Александра Ржевская, рожденная Каменская, Глафире Алымовой было только десять лет.

Около этого времени, как известно, императрица Екатерина II, при непосредственном руководстве Ивана Ивановича Бецкого, основала первый в России женский институт, при Смольном монастыре, получивший, при своем основании, название «Общества благородных девиц».

До основания Смольного института русские девушки воспитывались большею частью дома: так дома воспитаны были первые русские писательницы — Сумарокова-Княжнина и Каменская-Ржевская. С основания же института при Смольном монастыре дочери благородных родителей отдавались в это заведение.

Одною из первых поступивших в это заведение была Глафира Алымова, происходившая из дворянской, но бедной фамилии.

Для биографии Алымовой имеется богатый источник — это ее собственное жизнеописание, к которому, однако, следует относиться с крайней осмотрительностью, так как без критики сообщаемых ею фактов, отзывов и оценок едва ли возможно принимать на веру многие из ее показаний.

Родилась она в многочисленном семействе, где, следовательно, при неимении достаточной обеспеченности к жизни, рождение нового ребенка равнялось несчастью.

Поэтому Алымова, впоследствии Ржевская, так говорит о своем рождении:

«Не радостно было встречено мое появление на свет. Дитя, родившееся по смерти отца, я вступила в жизнь со зловещими предзнаменованиями ожидавшей меня участи. Огорченная мать не могла выносить присутствия своего бедного девятнадцатого ребенка и удалила с глаз мою колыбель, а отцовская нежность не могла отвечать на мои первые крики. О моем рождении, грустном происшествии, запрещено было разглашать. Добрая монахиня взяла меня под свое покровительство и была моею восприемницею».

Только по прошествии года родные с трудом уговорили мать малютки Алымовой взглянуть на своего девятнадцатого ребенка.

Первое, что сохранилось в памяти девочки, это то, что мать тяготилась ею и не любила ее, как старались уверить ребенка услужливые родные.

Совсем еще крошкой взяли ее в Смольный институт, и здесь уже выработался ее характер без всякого влияния домашнего воспитания.

Сразу девочка сделалась любимицей начальницы института, госпожи Лафон, и знаменитого И. И. Бецкого, под непосредственным руководительством которого состояли все учебные и благотворительные заведения екатерининского времени.

Алымову все баловали — и начальство института, и сама императрица, а за ними и все воспитанницы заведения, смотревшие на нее отчасти как на круглую сиротку.

Со своей стороны, маленькая Алымова страстно привязалась к госпоже Лафон и к Бецкому.

О своей привязанности к первой она, между прочим, сама говорит в своих записках с такой оригинальной откровенностью:

«Мое чувство к госпоже Лафон походило в то время на сильную страсть: я бы отказалась от пищи ради ее ласк. Однажды я решилась притвориться, будто я не в духе, чтобы рассердить ее и чтобы потом получить ее прощение: она так трогательно умела прощать, возвращая свое расположение виновным. Это заметила я в отношениях к другим и пожелала испытать всю прелесть примирения. Видя ее удивленною и огорченною моим поведением, я откровенно призналась ей в своей хитрости».

Хитрость и притворство — едва ли не первое чувство, развиваемое в молодых существах затворническою жизнью институтов и монастырей, при совершенном изолировании их от жизни общественной. Баловство же, предпочтительно перед другими оказываемое некоторым личностям, развивает в них самолюбие в ущерб другим добрым инстинктам человеческой природы.

Невыгодность такого воспитания отразилась отчасти на первых русских женщинах-институтках, из числа которых мы и выводим теперь перед читателями личность Алымовой, а после укажем на подобную же, хотя с иными нравственными задатками личность Нелидовой.

Алымова, кроме того, что она является первою женскою личностью из поколения институток или так называемых «монастырок», заслужила право на историческое бессмертие еще и тем, что место в русской истории отводит

ей знаменитый любимец и друг Екатерины II, И. И. Бецкий.

Алымова, если верить ее запискам, была последнею несчастною страстью этого славного своею общественною и государственною деятельностью старика; не верить же ее запискам вполне мы не имеем права, хотя и можем сомневаться в правдивости некоторых из ее рассказов, в верности окраски тех или других событий, непосредственно связывавшихся с жизнью этой женщины.

Так всего менее мы можем доверять ей, без критики, там, где она дурно отзывается о Нелидовой, может быть, из понятного чувства соперничества и женской, а наиболее придворной завистливости.

О Бецком она, между прочим, говорит:

«Затрудняюсь определить его характер. Чем более я о нем думаю, тем смутнее становится он для меня. Было время, когда влияние его на меня походило на очарование. Имея возможность делать из меня что ему вздумается, он по своей же ошибке лишился этого права. С сожалением высказываю это, но от истины отступать не хочу».

Это говорит она о несчастной к ней страсти семидесятипятилетнего старика, когда, между тем, самой девушке было только семнадцать-восемнадцать лет.

Далее Алымова говорит в своих записках относительно привязанности к ней Бецкого:

«С первого взгляда я стала его любимейшим ребенком, его сокровищем. Чувство его дошло до такой степени, что я стала предметом его нежнейших забот, целью всех его мыслей. Это предпочтение нисколько не вредило другим, так как я им пользовалась для блага других: ничего не прося для себя, я всего добивалась для своих подруг, которые благодарны мне были за мое бескорыстие и, вследствие этого, еще более любили меня...»

Еще далее о Бецком:

«Я бессознательно чувствовала, что он мне подчинялся, но не злоупотребляла этим, предупреждая малейшие желания его. Исполненная уважения к его почтенному возрасту, я не только была стыдлива перед ним, но даже застенчива».

— Но скоро Бецкий, — продолжает Алымова, — «перестал скрывать свои чувства ко мне и во всеуслышание объявил, что я его любимейшее дитя, что он берет меня на свое попечение, и торжественно поклялся в этом моей матери, затеплив лампаду, перед образом. Он перед светом удочерил меня».

В продолжение трех лет старик навещал ее каждый день и, по-видимому, весь сосредоточился в своем неудержимом к ней чувстве.

«Три года протекли как один день, посреди постоянных любезностей, внимания, ласк, нежных забот, которые окончательно околдовали меня. Тогда бы я охотно посвятила ему свою жизнь. Я желала лишь его счастья: любить и быть так всецело любимою казалось мне верхом блаженства».

Ни слякоть, ни дождь, ни снег, никакие государственные заботы не отвлекали Бецкого от посещения своего молоденького друга: каждый день он у нее — она буквально зреет на его руках.

Сначала он думал привязать к себе девушку, ослепив ее драгоценными подарками, но она от всего отказывалась. Затем, как бы шутя, он при других спрашивал ее: чем она охотнее желала бы быть — женой его, или дочерью? Девушка отвечала, что предпочитала бы быть его дочерью.

Но вот наступило время выпуска девиц из института — выходила из него и Алымова.

Бецкий по этому случаю носит ей образцы платьев, материй, украшений, предлагая ей выбирать самое дорогое, все, что только могло ей понравиться.

Но сама императрица, с любовью следившая за первым выпуском «смолянок» и ласкавшая девочек, особенно некоторых избранных, как своих детей, одарила Алымову всем необходимым, пожаловала ее фрейлиною и в числе некоторых других фрейлин и высоких придворных, особ женского пола, назначила ее присутствовать при встрече невесты великого князя Павла Петровича, долженствовавшей в это время прибыть в Россию.

Бецкий и здесь не покидал ее, давал ей на дорогу деньги, следил с ревнивой любовью за каждым ее шагом, и Алымова с сожалением высказывается по этому случаю о добром старике, которым не во время овладела несчастная страсть к слишком молоденькой для него девушке.

«Несчастный старец! — восклицает она по этому поводу, — душа моя принадлежала тебе! Одно слово, и я была бы твоею на всю жизнь. К чему были тонкости интриги в отношении к самому нежному и доверчивому существу?.. Тебя одного я любила и без всяких рассуждений вышла бы за тебя замуж».

Но старик, ослепленный страстью, сам поступал неблагоразумно и оттолкнул от себя девушку: он ревновал ее ко всем

и ко всему, даже женщин, любивших девушку, он стал удалять от нее, желая, чтобы все ее симпатии и все ее время, каждый шаг ее и помысл принадлежали ему одному безраздельно.

Такая деспотическая в своем проявлении страсть сначала беспокоила девушку, а потом начинала уже сердить ее, отдалять от ослепленного старика.

«Он не выходил из моей комнаты, — продолжает Алымова, — и даже, когда меня не было дома, ожидал моего возвращения. Просыпаясь, я видела его около себя. Между тем, он не объяснялся. Стараясь отвратить меня от замужества с кем-либо другим, он хотел, чтобы я решилась выйти за него, как бы по собственному желанию, без всякого принуждения с его стороны. Страсть его дошла до крайних пределов и не была ни для кого тайною, хотя он скрывал ее под видом отцовской нежности. В семьдесят пять лет он краснел, признаваясь, что жить без меня не может. Ему казалось весьма естественным, чтобы восемнадцатилетняя девушка, не имевшая понятия о любви, отдалась человеку, который пользуется ее расположением».

Но девушке, брошенной в водоворот придворной жизни, и притом такой одуряющей и ослепляющей жизни, какая была при блестящем дворе Екатерины II, начинали уже многие нравиться из придворных мужчин.

Особенное же внимание она обратила на умного и образованного придворного, уже нам известного из прежних очерков, Алексея Андреевича Ржевского, за которым, как мы знаем, была замужем вторая из русских писательниц, Каменская-Ржевская, и о котором в эпитафии этой самой жены его поэтом сказано было:

Скончавшись, Ржевская оставила супруга,
Супруг, в ней потеряв любовницу и друга,
Отчаясь, слезы льет и будет плакать ввек...

Но Ржевский, по-видимому, не вечно «слезы лил» о своей первой жене, а полюбил Алымову и посватался за нее.

Алымова отослала его к Бецкому, как к своему отцу, опекуну и благодетелю, и сама сказала старику о предложении Ржевского.

Старик был поражен этим известием. Им овладело отчаяние и злоба — девушка, которая оставалась его единственною привязанностью на земле, пропадала для него навеки.

Чтобы отвратить свою любимицу от этого замужества, Бецкий уверял ее, что она обманута Ржевским и князем Ор-

ловым для каких-то своих тайных целей, и прибавлял к этому, что он «умрет с горя, если она будет несчастлива».

Девушка покорно отказалась вследствие этого от руки Ржевского, и Бецкий на коленях благодарил ее, просил прощения за минутную вспышку, которую он дозволил себе, узнав о том, что девушка отвечала было согласием на предложение Ржевского.

Долго продолжалась потом борьба между привязанностью девушки к Ржевскому и жалостью к старику.

Не станем повторять за рассказчицей длинного и утомительного по своим мелочным подробностям повествования о том, как хитрил Бецкий, чтобы отвратить девушку от замужества, как чернил Ржевского, как потом был обнаруживаем в своей хитрости, сознавался в ней, снова вымышлял разные проделки, — все это едва ли может быть принято вполне на веру, тем более, что рассказчица, видимо, усиливает краски, бросающие невыгодную тень на личность Бецкого.

Как бы то ни было, но борьба кончилась не в пользу Бецкого: девушка вышла за Ржевского.

В первое время Бецкий уговорил молодых жить у него в доме. Но и здесь он продолжал ту же тактику — старался уронить мужа в глазах жены, отвратить от него ее привязанность, отвратить ее от двора и тем поставить в единственную зависимость от самого старика.

Ржевские не выдержали этой жизни и оставили старика в его грустном уединении, на попечении дочери, госпожи де Рибас.

Старик слег. Ржевская часто навещала его из жалости, а почти умирающего старика, говорит она, все еще «влекло ко мне неугасаемое чувство».

Скоро доступ к больному старику был запрещен для Ржевской, потому что немощного Бецкого охраняла упомянутая де Рибас, которую Ржевская в своих записках не без злобы чернит как злую женщину, снабжая ее именем «аргуса».

«В эту пору, — говорит Ржевская, — старик ослеп и почти терял рассудок».

Оценивая вообще характер отношений к ней Бецкого, она прибавляет:

«И. И. Бецкий мог мне сделать много добра, а, между тем, имея самые благие намерения, он принес мне много вреда. Никто в мире не любил меня так сильно и с таким постоянством. Он мог сделаться моим мужем, служить мне

отцом, благодетелем, но, по собственной вине не достигнув своих целей, он стал играть роль моего преследователя. Будучи предметом моей первой привязанности, он мог легко жениться на мне, без огласки, послужившей лишь к его стыду».

Далее Ржевская рассказывает о себе, что она поступила ко двору будто бы «с отвращением», и не могла пробыть там долее года.

Но мы и здесь позволяем себе не доверять ее искренности, как не вполне доверяли и тому, что говорила она о своих отношениях к Бецкому.

Как бы то ни было, но двадцать шесть лет продолжались ее сношения с двором, и притом сношения слишком эгоистические, корыстные, как она и сама невольно проговаривается.

«Не все тщеславны, суетны и низкопоклонны, — говорит она, — я имею счастие принадлежать к исключениям этого рода. Имея некоторую гордость душевную, я не поддавалась превратностям судьбы и посреди рабства сохраняла независимость, хотя и носила цепи им налагаемые, но только до тех пор, пока положение это могло быть полезно детям моим, когда же они перестали в нем нуждаться, я покинула двор».

Откровенность эта едва ли говорит в пользу той, которая этим самым признанием хочет возвысить себя во мнении света.

С чувством некоторого недоверия относимся мы и к другим подробностям записок Ржевской.

Она говорит, что с самого начала вступления своего в свет она вполне видела, что императрица Екатерина II очень любит ее и покровительствует ей.

Сомнения в этом мы не допускаем, тем более, что в пользу этого говорят личные признания самой императрицы в некоторых из ее писем к смолянкам, с которыми она иногда любезно переписывалась, как со своими балованными детьми.

В письме к хорошенькой смоляночке Анне Левшиной, которую она везде называет «черномазою Левушкой», великая Екатерина следующие слова относит к Алымовой: «Алимушка.... Ты заслуживаешь великую мою благодарность за приятное приветствие, тобою мне сделанное, и что ты умеешь выманивать монахинь из келий своею игривостью...»

Затем, когда «Алимушка» поступила ко двору, ее стали подозревать в предпочтении двора наследника престола Павла

Петровича, резиденция которого была в Гатчине, двору императрицы-матери, в том, что будто бы, как тогда выражались, Алымова изменяла «большому двору» в пользу «двора малого».

Еще когда Алымова была в Смольном, ее очень любила великая княгиня Наталья Алексеевна, первая супруга великого князя Павла Петровича. Наталья Алексеевна часто ездила в монастырь. С Алымовой она занималась музыкой, дружескою беседою и вообще оказывала ей заметное предпочтение. Великая княгиня обещала взять Алымову к себе в качестве друга. Будучи уже больною, Наталья Алексеевна присылала ей записочки с графом Разумовским, букеты и вообще относилась к ней самым дружественным образом.

Но хотя Наталья Алексеевна умерла, Алымова поступила, однако, во двор ее супруга, великого князя, фрейлиной к заменившей Наталью Алексеевну новой супруге великого князя, Марье Федоровне.

Когда великий князь поехал в Берлин, чтобы встретить свою невесту, Алымова в числе прочих назначена была в церемониал этой встречи, как состоящая в штате великой княгини.

В Мемеле их представили невесте цесаревича. Великая княжна любезно заметила, что великий князь «особенно бранил» ее, Алымову. Марья Федоровна была всю дорогу любезна с Алымовой и предпочитала ее даже жене фельдмаршала Румянцева.

Алымову вскоре назначили в компаньонки к великой княгине, которой она должна была читать, присутствовать при ее уроках на русском языке, сопровождать на балы, в концерты, ко двору, в церковь, на прогулки и пр.

Но великая княгиня будто бы скоро стала ревновать ее к своему супругу.

«Она постоянно стала охладевать, — пишет Ржевская, — стала сдержанна, потом начала холодно обращаться со мной! К великому удивлению моему я узнала, что ревность была причиной этой перемены».

Боясь неудовольствий, Алымова предостерегала великого князя по этому случаю, и все напрасно.

«Когда я его предостерегала, он отвечал, что ему надоели все сплетни, что он знать их не хочет, и по-прежнему был ко мне внимателен. Это продолжалось до моего замужества. Я надеялась, что свадьба моя положит конец этому ухаживанью. Ничуть не бывало: оно еще усилилось».

В Алымову все влюбляются — и старик Бецкий, и великий князь — это-то и подрывает веру в искренность ее признаний, и мы позволяем себе вновь сомневаться в этой искренности.

«Между нами завязалась дружба», — говорит она далее, и в другом месте прибавляет: «Дружба наша была самого невинного свойства, между тем, милость обходилась мне весьма дорого, причиняя много неприятностей».

Великий князь и великая княгиня попросту ездили к ней, часто у нее завтракали, обедали, что для Ржевской казалось очень разорительным.

«Великий князь так привык ко мне, — продолжает она свои признания, — и так мне верил, что даже, когда был мною недоволен, не переставал оказывать мне уважение. Не хвастаясь, могу сказать, что я удерживала его в пределах долга в отношении к его супруге, восхваляя ее достоинства. Не так действовала Нелидова, когда она попала в милость...»

Вот где разгадка всего — Нелидова ее соперница, но об ней мы скажем в своем месте.

Десять лет продолжалась дружба великого князя со Ржевской.

«Мне нужно было съездить в Москву. Во время моего отсутствия, продолжавшегося два года, великий князь привязался к Нелидовой».

«Inde irae», как говорили римляне.

Впрочем, когда Ржевская воротилась из Москвы, Павел Петрович очень ей обрадовался, но она не понравилась госпоже Бенкендорф, любимице великой княгини.

Нельзя не заметить, что Ржевская в своих записках везде старается уронить Нелидову.

Случится ли у великого князя с супругой размолвка, и Ржевская поясняет:

«Причиной этого была госпожа Нелидова, овладевшая умом великого князя. Весьма умная, она была отвратительно не хороша собой».

Время, между тем, шло. У Ржевской есть уже взрослая дочь, которую тоже пожаловали во фрейлины.

Дочь выходит замуж за Свистунова — и вот со дня этой свадьбы Ржевская окончательно разрывает связь с двором.

Дело было таким образом, как рассказывает сама Ржевская:

Павел Петрович, бывший уже императором, желал лично присутствовать на свадьбе и при одевании невесты. Свадьба

должна была происходить в Павловске. Но фавориты императора Кутайсов и княгиня Гагарина, питая зависть к Ржевской, были недовольны этим распоряжением, и успели возбудить против Ржевской гнев императора.

Кутайсов, бывший при императорском дворе обер-шталмейстером, замедлил высылкой для Ржевских в Царское Село придворных карет. Боясь запоздать, Ржевская и дочь сели в свои кареты и поспешили ко двору. Но они все-таки на два часа опоздали.

Разгневанный император велел отрешить от должности мужа Ржевской, жениха ее дочери Свистунова и его отца, бывшего камергером императорского двора.

Начался обряд венчания. Император не выходит. Обеспокоенная этим, Ржевская спрашивает Гагарину, что за причина такой медленности императора. Ей объясняют, что император в гневе. Ржевская просит Гагарину объясниться с государем, но та отвечает, что она не смеет решиться на это, и отправляет к императору записку, написанную карандашом там же в церкви. Павел приказал сказать Ржевской, что просит их после венца к себе в кабинет.

«Такой милости он доселе никому не оказывал», — прибавляет Ржевская.

Но с того дня она удаляется от двора, считая свое положение в нем не только щекотливым, но и опасным.

Муж ее, бывший сенатором, хотя и был отрешен от должности, но ему назначена была пенсия за пятьдесят лет.

Когда умер Ржевский, вдова решилась выйти замуж вторично.

Вторым мужем она избрала себе француза-савойца, Ипполита Ивановича Маскле, который известен как переводчик на французский язык басен Хемницера и Крылова, а потом был русским консулом в Ницце.

Ржевская, не сказав ничего о своем намерении императрице-матери, Марье Федоровне, которая считалась ее покровительницей, просила разрешения на брак у самого императора Александра Павловича чрез графа Толстого.

Император, будто бы, просил позволения лично приехать к Ржевской для объявления своей воли.

— Никто не в праве разбирать, сообразуется ли такое замужество с вашими летами и положением в свете (сказал будто бы государь при свидании с Ржевскою). Вы имеете полное право располагать собою, и по-моему прекрасно делаете, стараясь освятить таинством брака чувство, не

воспрещаемое ни религией, ни законом чести. Так должно всегда поступать, если это только возможно. Я полагаю, что одиночество вам в тягость: дети, будучи на службе, не могут оказывать вам должного ухода. Вам нужен друг.

Ржевская прожила до второй четверти нынешнего столетия и умерла в 1826 году, в Москве, шестидесяти семи лет от роду. Похоронена она на Ваганьковом кладбище.

Портрет, снятый с этой женщины еще в ее молодости, когда она была еще «Алимушкой», любимицей Екатерины Великой, принадлежит к лучшим произведениям художника Левицкого и висит рядом с портретом ее соперницы, Нелидовой, и вместе с портретами первых «монастырок-смолянок» в петергофском дворце. В последнее время портреты эти взяты, кажется, в Эрмитаж. Портрет Алымовой-Ржевской-Маскле был на исторической выставке 1870 года в Петербурге. «Алимушка» изображена играющею на арфе.

К «Алимушке» относится следующее место в послании Сумарокова к смолянкам, игравшим его «геройски драмы слезны»:

Как Рубановская в пристойной страсти ей
Со Алексеевой входила во раздоры,
И жалостные взоры
Во горести своей
Ко смерти став готовой,
В минуты лютого часа
С Молчановой и Львовой
Метала в небеса.
Арсеньева, цветя век старый избирает,
Служанку с живостью Алымова играет,
Под видом Левшиной Заира умирает.

«Алимушка», значит, хорошо играет служанок.
Но перейдем к ее сопернице Нелидовой.

VII. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА НЕЛИДОВА

Нелидова принадлежит к женским личностям, составляющим переход от того поколения русских женщин, которых создало живое движение общественной мысли, начавшееся с Ломоносова, продолжавшееся при Державине и на время остановившееся с прекращением деятельности Новикова и его кружка, к тому поколению, крайними представителями которого являются госпожа Криднер, госпожа Татаринова и целый ряд женщин-мистиков, иногда ханжей, на целое полстолетие остановивших живой процесс общественной мысли.

Нелидова принадлежит уже к периоду времени застоя этой мысли, бессильно порывавшейся, в отдельных субъектах, освободиться от мистического кошмара и фальсификации пиетизма в течение пятидесяти лет и окончательно освобожденной только современным нам поколением женщин.

Она родилась 12 декабря 1756 года.

Следовательно, первая молодость Нелидовой и лучшие годы развития совпадают с тем временем, когда первые порывы общественного возбуждения, увлекшего за собою также и лучших из русских женщин, стали вновь уступать место общественной апатии и нравственной распущенности.

Притом же самое воспитание Нелидовой, равно и следовавших за нею трех поколений русских женщин, принадлежало уже не самому обществу, а Смольному монастырю, основанному в 1764 году и ставшему до известной степени, вместе с другими открытыми впоследствии институтами, регулятором женского развития и известного направления русской женщины до самого последнего времени.

Двадцати лет Нелидова вышла из Смольного института и тогда же, 14 июля 1776 года, пожалована была во фрейлины к великой княгине Марье Федоровне, супруге тогдашнего наследника престола Павла Петровича.

В Петергофском дворце до настоящего времени сохранялись портреты некоторых смольнянок XVIII века, и в числе этих портретов обращает на себя внимание портрет молоденькой Нелидовой.

Портрет рисован с нее, когда она была еще в институте, в 1773 году, и принадлежит художественной кисти известного тогдашнего живописца Левицкого.

«Нельзя не остановиться перед этим прелестным произведением Левицкого, — говорит новейший биограф Нелидовой, — Нелидова представлена во весь рост. Это маленькая фигурка, вовсе не красивая, но с выражением живым и насмешливым, с умными, блестящими глазами и чрезвычайно лукавою улыбкою. В ней есть какая-то изысканность, но общее впечатление привлекательно».

Когда Нелидова поступила во фрейлины к великой княгине, Павел Петрович жил тогда своим отдельным двором, в Гатчине.

Двор великого князя представлял крайнюю противоположность двору его царственной матери, Екатерины Великой. Последний или «большой двор» отличался блеском и тем поражающим величием, которое ему придавала Екатерина, вме-

сте с тем, двор этот не чужд был известной нравственной распущенности, изнеженности.

«Малый двор» отличался сравнительно пуританскою скромностью, умеренностью, но в то же время не свободен был от некоторой натянутости, суровой сухости и крайней дисциплины при солдатской простоте жизни.

Поступив в «малый двор», Нелидова скоро усвоила себе его взгляды, нравственность, требования. Мало того, как умная женщина, она сумела отчасти подчинить себе эти требования, создать себе независимое положение именно тем, что поняла дух того кружка, в который попала, и ловко приноровилась к людям.

Она скоро вошла в доверие великого князя и его супруги: восторженность и рыцарский дух первого находили в Нелидовой сочувственный отзыв, задушевность и беззаветную преданность идеям и правилам великого князя, доброта и сердечность последней находили в Нелидовой такой же отзыв и такое же понимание.

Ближе всего можно определить Нелидову, сказав, что это была ловкая женщина.

Великого князя она возвышала в его собственном мнении. Она, в минуты восторженности, заверяла его, что он будет образцовым государем, если только не изменится и будет действовать согласно своим чувствам, по самой природе — как она искусно доказывала — высоким и рыцарским.

Порывистость и вспыльчивость Павла она умела обезоруживать шуткой, остроумной выходкой, даже иногда резкостью, которая озадачивала его своею неожиданностью и смиряла: на брань Павла она нередко отвечала бранью.

Но она же была и душой «малого двора». Она умела быть и неподражаемой хохотуньей, неподражаемо играла на дворцовых спектаклях, неподражаемо танцевала.

Ей только стоило появиться в Гатчине, где пребывал «малый двор» вдали от столичного шума, чтоб потом без нее не могли уже обойтись, потому что без нее все скучали, без нее чего-то не доставало.

Своей ловкостью, своим характером, живостью, находчивостью, тактом она, что называется, обошла великого князя, околдовала.

Она также околдовала и великую княгиню Марью Федоровну, которая верила ей, не тяготилась ее присутствием при муже, не ревновала.

Между тем, петербургское общество и «большой двор» говорили не в пользу чистоты отношений Нелидовой к «ма-

лому двору» и, быть может, ошибались, преувеличивали. Как бы то ни было, на отношения Павла к его «приятельнице», как обыкновенно называли Нелидову, смотрели недоверчиво, двусмысленно, потому что все, что делалось и говорилось в «малом дворе», до мелочных подробностей передавалось «большому двору».

Павел это знал, и уверенный в чистоте своих отношений к фрейлине своей супруги, с свойственной ему рыцарской гордостью не обращал внимания на дворцовые и городские толки.

Мало того, отправляясь в 1788 году в Финляндию, на войну со шведами, великий князь пишет матери особое письмо, в котором опровергает клевету относительно близости к нему Нелидовой и заявляет о чистоте побуждении, соединяющих его с этою девушкой, а в доказательство дружбы к ней и серьезного расположения поручает ее великодушию императрицы, на случай, если он погибнет в предстоящем ему походе на неприятеля.

Все это еще более рисует рыцарские правила Павла, правила, хранителем которых он считал себя всю жизнь.

Время, между тем, идет. Нелидова живет при малом дворе уже четырнадцать лет — постоянство дружбы с обеих сторон действительно замечательное.

1 ноября 1790 года шведский посланник Стендинг, между прочим, пишет своему королю Густаву III:

«Великая княгиня, сколько видно, занимается исключительно воспитанием детей своих, и ей приятно, когда заведешь речь об этом. Она всегда очень ухаживает за великим князем, а он, по-видимому, обращается с ней довольно холодно».

Вот единственная тень на Нелидову.

Но вот для Нелидовой проходит уже первая молодость: ей тридцать шесть лет. Прочность ее при дворе стала чем-то установившимся, обычным, без чего быть не должно. Она сознает свою силу, но не злоупотребляет ею, хотя подчас резка, раздражительна, не в меру колка.

О непостижимой дружбе ее с великим князем говорит весь свет. Французский «Монитер» даже печатает о ходячих в Петербурге на этот счет толках.

Неизвестно, печатные ли толки о предмете, ни для кого не бывшем новостью, или обидное извращение истинного смысла отношений, существовавших между великим князем и Нелидовой, или, наконец, какая-либо случайная размолвка, или вспышка прорвалась в этих отношениях, только в июне

1792 года Нелидова почему-то решается порвать шестнадцатилетнюю дружескую связь с будущим повелителем России и удалиться в Смольный монастырь.

Тайно от великого князя она относится к императрице Екатерине Алексеевне чрез графа Безбородко и ходатайствует у нее о дозволении возвратиться в «Общество благородных девиц», при этом, по понятным побуждениям, присовокупляет, что возвращается в это убежище «с сердцем, столько же чистым, с каким она его оставила».

Хотя просьба оставлена была без последствий, однако, посягательство со стороны Нелидовой разорвать шестнадцатилетнюю дружбу с высоким другом своим глубоко поражает Павла.

Это можно видеть отчасти из писем к нему князя Куракина, пользовавшегося особенным расположением великого князя: он был близкий член интимного кружка.

Вот что, например, пишет князь Куракин 28 июля 1792 года из своего саратовского имения:

«Новость, которую вы изволите сообщать мне, мой дорогой повелитель, озадачила меня. Возможно ли, чтобы наша приятельница, после стольких опытов вашей дружбы и вашей доверенности, дозволила себе и возымела намерение вас покинуть? И как могла она при этом решиться на представление письма императрице без вашего ведома? Мне знакомы ее ум и чувствительность, и чем более я о том думаю, тем непонятнее для меня причины, столь внезапно побудившие ее к тому. Во всяком случае, я рад, что дело не состоялось и что вы не испытали неудовольствия лишиться общества, к коему вы привыкли. Чувствую, что вам тяжело было бы устраивать образ жизни на новый лад, и вполне представляю себе, как в первые минуты этот неожиданный поступок должен был огорчительно подействовать на вас».

В письме от 7 октября 1792 года Куракин, между прочим, говорит:

«Я всегда разумел вас, как следует, мой дорогой повелитель, всегда ценил значение и свойство того чувства, которое привлекает вас к нашей приятельнице; знаю, как много своим характером и прелестью ума своего содействует она настоящему вашему благополучию, и поэтому желаю искренно, чтобы ваша дружба и доверенность к ней продолжались. Пчела, собирая мед для улья своего, не садится на один только цветок, но всегда ищет цветка, в котором меду более. Так поступают пчелы. Но так же ли должны действовать

и существа, одаренные разумением, чувствительностию, с истинным достоинством способные направлять свои желания и поступки к лучшему и к тому, что их удовлетворяет и наиболее им приличествует».

Тут уже не один «характер» и не одна «прелесть ума» сделали Павла нравственно независимым от очаровавшей его когда-то молоденькой хохотуньи, тут уже предъявляла свои права шестнадцатилетняя привычка, это такая сила, против которой бороться было не легко.

Но Павел победил упорного своего друга: Нелидова осталась у него на глазах и «устраивать жизнь на новый лад», как выражался Куракин, надобности не предстояло.

Но покой Павла был ненадолго восстановлен: новое огорчение готовила ему Нелидова, и огорчение более чувствительное.

Через год она вновь просится в монастырь, и на этот раз уже решение ее твердо. Двор Павла опустел — так казалось его кружку.

Неизвестно, тосковала ли Нелидова по своей прежней жизни; поддерживала ли сношения, хоть тайные, с гатчинским двором; как жила она в монастыре — об этом периоде ее временного отшельничества ничего, по-видимому, не сохранилось. Так она жила три года вдали от двора великого князя. Но в ноябре 1796 года удар поражает Екатерину. На престол вступает Павел Петрович. Что же Нелидова?

Она не осталась в монастыре. Монастырь она сменила на роскошное помещение в Зимнем дворце, куда перешел царственный друг ее.

В день коронования нового императора Нелидова является уже камер-фрейлиной. Ей жалуется великолепный портрет императрицы, усыпанный бриллиантами. Нелидова создает собою новый вид временщика: она воскрешает в себе начало XVIII столетия. Нелидова — это Бирон в юбке, только Бирон добрый, без кровожадных и хищнических инстинктов.

Восемнадцать месяцев влияние ее на императора и на ход дел неотразимо. Она — средоточие кружка, правящего судьбами России. В ее роскошном кабинете — центр государственного тяготения; в этом кабинете нередко проводит время император; в кабинете часто собирается весь кружок, содействовавший императору в управлении русскою землею — князья Куракины, известный писатель и докладчик Павла Юрий Нелединский-Мелецкий, граф Буксгевден, Нелидов, Плещеев.

Но девица-временщик не злоупотребляет своей силой подобно Бирону, Лестоку, Меншикову: она пользуется своим влиянием на дела умеренно, благоразумно, она по возможности на добро направляет горячее безволие императора, везде, где хватает ее силы; она спасает невинных от неровного и часто не в меру страстного гнева императора.

Мало того, сила ее так велика, что она является даже покровительницей по отношению к своей императрице Марье Феодоровне.

Нелидова своим заступничеством спасает орден великомученика Георгия от уничтожения, задуманного было Павлом в силу того, что орден этот учрежден был его матерью, к которой он питал горькое чувство. Перед Нелидовой все преклоняется, все льстит ей, лишь бы ловкая лесть нашла доступ до государя. Ей уже за сорок лет, а она еще охотно танцует, потому что льстецы клянутся ей, что она танцует восхитительно. Она любит зеленый цвет — и придворные певчие одеты в зеленое. После уже, когда Нелидова отходит на второй план, певчие переодеваются во все бланжевое, потому что княгиня Гагарина любит бланжевый цвет. Нелидова знает свою силу, потому что знает силу привычки Павла: она даже не отвечает на его слова, не говорит иногда с ним ни слова — и он прощает ее, не сердится на нее. Она в неудовольствии «кидает через его голову башмак» — и Павел, не знавший сдержки, не уничтожает, однако, ее своим гневом, а снисходит к ней, как к любимому и избалованному ребенку.

Может статься, император ценил в ней и ее образцовое бескорыстие, чем и измерял силу ее честной привязанности к нему и к правде: богатых без счету предлагаемых ей подарков Нелидова не брала; щедрые милости его отклоняла, когда могла озолотить себя и своих родных. Нелидова действительно имела искусство быть временщиком и не заслужить общей ненависти: это — большое искусство или большая честность.

Но и ее «время» должно же было отойти. Двадцать два года она была первою, надо же было быть и последнею, если не второю: тут середины не бывает.

В 1798 году Павел отправился в Москву, а оттуда предпринял путешествие в Казань.

В Москве император отличает своим вниманием Анну Петровну Лопухину — и то, чем двадцать два года безраздельно владела Нелидова, он переносит на новую женщину,

к которой разом заговорила страсть в императоре, не привыкшем к сдержке.

Он приглашает Лопухиных в Петербург. Лопухины принимают эту честь, как милость, и переселяются в Петербург.

Звезда Нелидовой гасла.

Она сразу поняла, что время ее отошло, что двадцати двухлетняя привычка бессильна против страсти, что ей бороться с молодой красавицей не под силу, ей, уже вступившей в пятый десяток лет своей жизни.

Как Цезарь, она не привыкла быть второю в Риме; она не выносит того, чего не вынес Цезарь, — и удаляется за Рубикон, чтоб уж никогда оттуда не возвращаться: она заключается опять в Смольный монастырь, где она была еще девочкой, где достала себе ту силу, которою побеждала всех более двадцати лет.

С нею рухнул и весь ее блестящий кружок — от кормила правления отходят Куракины, Буксгевден, Нелидов.

Для Петербурга и для двора это было действительно большое событие.

От Нелидовой остается во дворце только ее тень, ее память — это комнаты, долго еще называвшиеся «нелидовскими покоями». С 1799 года покои эти назначены были для пребывания в них иностранных принцев.

Но и из монастырского уединения Нелидова следила за ходом совершающихся при дворе дел, которые не предвещали, по-видимому, ничего хорошего.

Императрица не оставляла ее в этом уединении: всякий раз, когда она бывала в Смольном, она навещала бывшую любимицу своего супруга и передавала ей и свою скорбь о том, что тревожило ее в угрожающем ходе дел, и свои вполне основательные опасения за будущее.

Часто навещал ее и петербургский полицеймейстер Антон Михайлович Рачинский, сестра которого была в замужестве за братом Нелидовой, Александром. Рачинский считал как бы своею обязанностью докладывать Нелидовой о том, что делалось и подготовлялось в Петербурге, подобно тому, как он суточными рапортами докладывал государю о состоянии Петербурга. Вскоре, однако, по приказанию Павла, Нелидова покидает Петербург и переселяется в замок Лоде, близ Ревеля.

Там уже до нее доходят слухи о внезапной кончине Павла и о вступлении на престол нового государя, Александра Павловича.

Хотя намерение относительно ссылки императрицы в Холмогоры и о заключении великих князей в крепость покойный император отложил, конечно, не вследствие письма к нему Нелидовой, однако, государыня не забыла этого заступничества за нее своей камер-фрейлины и стала оказывать ей еще большее расположение.

Они виделись почти ежедневно, и вдовствующая государыня так привязалась к этой женщине, бывшей когда-то душою их дома, что даже в 1817 году, уезжая в Москву, пригласила ее с собой.

Наконец, скончалась и Мария Федоровна, в 1828 году. У Нелидовой никого почти не осталось от того времени, когда она была первенствующим лицом в государстве.

Ее стали забывать. Гостиная ее пустела. Она сама уже смотрела ветхой старушкой. От прежнего величия у нее оставались только, в ее полном распоряжении, придворная карета и камер-лакей.

Но и это у нее каким-то образом было отнято.

Однажды Нелидова собралась куда-то выехать и приказала подать карету. Ей доложили, что ни кареты, ни камер-лакея у нее больше нет.

Уязвленная в своем самолюбии, гордая старушка тотчас же пишет государю письмо, в котором просит одолжить ей придворную карету на несколько дней, пока она не купит себе новую.

Ловкий маневр старой придворной особы был хорошо понят Николаем Павловичем.

Через несколько дней государь едет в Смольный. Осмотревши, по обыкновению, заведение и выходя из института, Николай Павлович направляется не к выходной парадной двери, а по коридору в отдельные помещения института.

Свита и институтское начальство в недоумении, перешептываются между собою, и, наконец, докладывают государю, что выходное крыльцо не тут, что, может быть, его величество по рассеянности идет не обычным выходом.

Николай Павлович отвечает, что он сам знает расположение института и его парадный выход, и продолжает идти по тому же коридору.

Оказалось, что он направлялся в помещение Нелидовой.

При этом свидании государь объявил обрадованной старушке, что он никому не приказывал отнимать у нее то, что ей было прежде пожаловано. И вот, после этого визита гостиная старушки снова наполняется посетителями, старушка

опять вырастает в глазах общества, ей льстят, перед нею унижаются.

Но Нелидова уже развалина. Больше восьмидесяти лет она живет на свете, до самой могилы изощряет свой колкий язык над придворными, заслуживающими ее беспощадной кары, и продолжает привлекать толпы аристократии пленительностью своей беседы, своего обхождения, рассказами о старине.

Это был «кумир поверженный», «храм покинутый»...

Она умерла, наконец, в 1839 году, 2 января, восьмидесяти двух лет от роду, захватив своею жизнью два столетия и пережив много великих событий.

В могилу с собой она унесла тайну своих отношений к бывшему императору Павлу: тайна так и осталась тайной, хотя враги Нелидовой и силились разоблачить ее, как это делала предшественница этой женщины, Глафира Ржевская-Алымова, в своей любопытной, но, по-видимому, несколько пристрастной автобиографии.

В этом отношении Нелидова была больше, чем скромна, — она была нема, и так и умерла загадкой.

Современные о ней сведения большею частью говорят в ее пользу: это была честная и бескорыстная женщина, которая, при своем положении, могла больше сделать зла, чем добра; но первого она не делала, а для делания последнего она не выросла — ее не научили ни жизнь, ни воспитание, ни вся ее обстановка.

Закулисной стороны жизни она не знала, она знала только закулисную сторону дворца: темное издали не казалось ей темным, потому что она смотрела на него из своего светлого, придворного далека. Ей только льстили, ей поклонялись, в ней искали.

С нею переписываются самые сильные люди ее времени — и вся переписка их вертится на фразах, на поклонах, на перекрестном огне шуток, а иногда и на милых, деликатных, блестящих, но все же не совсем безгрешных сплетнях и пересудах.

Известный вельможа и приближенный императора Павла Юрий Нелединский-Мелецкий, лицо не безызвестное и в истории русской литературы, как писатель временного умственного застоя, следовавшего за Новиковым, пишет Нелидовой остроумные, но такие пустые, бессодержательные письма, которые ясно обнаруживают, что уровень общественной мысли и общественных интересов действительно понижается на время.

3 марта 1800 года Юрий Нелединский-Мелецкий пишет ей, между прочим: «Ничто до вас относящееся мною не забыто — судите сами. Ни Марфа, ни Алексаша (горничные Нелидовой) уже не при вас, последняя замужем, а вместо нее ваши волосы убирает горничная девицы Львовой. Из мужчин у вас все тот же Василий. Жако здоров и продолжает поедать пудру, когда вы за вашим туалетом. У вас уже нет более птички-ряполова, названного в мою честь Юркою».

Ряполов-Юрка — это Юрий Нелединский-Мелецкий.

Вот на чем вертятся письма двух таких личностей времени застоя, как Нелидова и одно из литературных светил той эпохи.

А между тем, и Нелидова была светилом эпохи.

Екатерина Великая, находившая время, при своих многосложных трудах, переписываться с институтками Смольного монастыря «как с Левшиной, Алымовой и другими, в одном письме к первой замечает о молоденькой тогда «выпускной» Нелидовой:

«Появление на горизонте девицы Нелидовой есть феномен, который я наблюдать буду очень пристально, в то мгновенье, когда всего меньше ожидают, и сие может случиться скоро»...

Сильно постаревший Сумароков пишет в честь Нелидовой и других институток вирши, в благодарную отместку за то, что девочки играют на сцене его стихокованные, торжественные, напудренные трагедии:

А вы,
И все товарищи во воспитаньи ваши,
Живущи на брегах Невы,
Заслуживаете к себе почтенья наши,
Явите и другим,
Своим сестрам драгим,
Нелидова, Барщова,
Письмо без лестна слова!
Свидетельствуйте им: кому приятна честь,
Не станет никому стихи тот ложью плесть,
Бесчестен автор той, кто чтит и сеет лесть.
Свидетельствуйте то сестрам своим любезным
И прилепившимся к геройским драмам слезным,
Играющим в трагедии моей,
Хотя мне видети того не удалося.
Со Ипокреною их действие лилося:
Как Рубановская в пристойной страсти ей
Со Алексеевой входила во раздоры,
И жалостные взоры,
Во горести своей

Ко смерти став готовой,
В минуты лютого часа,
С Молчановой и Львовой
Метала в небеса.
Арсеньева, цветя, век старый избирает,
Служанку с живостью Алымова играет,
Под видом Левшиной Заира умирает и т. д.

Можно сказать, что все эти женщины, поименованные в послании Сумарокова, хотя и вступают в жизнь еще в период усиленного подъема общественной мысли, тем не менее одной ногой стоят уже за той чертой, за которой начинается продолжительный застой этой мысли.

Дашкову — президента Академии наук сменяют такие женщины, как Глафира Ржевская и Нелидова, которых мировоззрение ограничивается одним двором; Ржевскую и Нелидову сменяют Татаринова и Криднер, которые считают себя пророчицами, следующие за ними русские женщины бросаются в католичество и т. д.

Русские женщины нового времени

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ЖЕНЩИНЫ
XIX ВЕКА

Анне Никаноровне Мордовцевой,
Вере Даниловне Мордовцевой,
Наталье Иосифовне Первольф,
с любовью посвящает
муж, отец и дедушка — автор.

Предисловие

Посвятив настоящий том изображению женских исторических личностей собственно девятнадцатого века, мы считаем необходимым пояснить, что в принятом нами выделении женщин первой четверти девятнадцатого века из числа женщин последней четверти восемнадцатого, мы руководствовались чисто внешними, хронологическими признаками, потому что между восемнадцатым и девятнадцатым столетиями наша история не положила такой резко разграничивающей черты, какую положила она между веком восемнадцатым и семнадцатым: там в русской жизни совершилось, так сказать, коренное органическое видоизменение вследствие особых историко-физиологических причин, так что крайние годы двух хронологически-смежных двадцатипятилетий так же резко отличаются друг от друга по всем проявлениям русской государственной и общественной жизни, как крайние годы, может быть, двух смежных тысячелетий здесь — крайние годы двух смежных двадцатипятилетий восемнадцатого и девятнадцатого веков имеют между собой много родственного, и кажется, будто бы восемнадцатое столетие, его идеи и требования незаметно вливаются в идеи и требования девятнадцатого и смешиваются с ними, подобно тому как в устье реки, впадающей в море, пресная речная вода смешивается с морской, так что нельзя различить, где кончается река и где начинается море.

Оттого и женщины восемнадцатого века, с их внешним видом и нравственной физиономией, с их понятиями и стремлениями, переходят в девятнадцатый век, и если б такие женские личности, как баронесса Криднер, графиня Зубова или иначе Наташа Суворочка, Марья Поспелова, Анна Бунина и госпожа Свечина, не принадлежали всей суммой своей деятельности и самыми цветущими годами своей жизни девятнадцатому веку, то их смело можно было бы поставить между женщинами восемнадцатого века и они не шли бы в разлад с его жизнью и колоритом этой жизни, тем более что и по рождению и по воспитанию они принадлежали восемнадцатому столетию. Только уже девицы Луполова, Хомутова, девица-кавалерист Дурова, г-жа Фролова-Багреева, девицы

Волкова, Кульман и г-жа Осипова отражают в себе веяние новой жизни, иного воспитания, иных общественных симпатий, — и эти-то женщины бесспорно могут быть уже названы детьми девятнадцатого века.

Хотя при этом мы не можем не сознавать, что при изображении исторической женщины девятнадцатого века на нас должна была бы лежать нравственная обязанность пополнить это изображение еще некоторыми женскими личностями, которые выразили собой одну сторону русской жизни, нами не тронутую, но, в виду того что в настоящее время для беспристрастного изображения и оценки русской женщины этого именно исторического типа, говоря юридическим языком, земская историческая давность еще не исполнилась, изображение и оценку этого богатого типа русской женщины мы и оставляем будущим исследователям. Тому же, кто заметит нам вообще неполноту сделанного нами подбора женских исторических личностей девятнадцатого века, мы позволим себе ответить благоразумными словами одного римлянина, обращенными к другому римлянину по поводу излишней скромности первого: quid volumus — non possumus, quid possumus — id nolumus.

I. БАРОНЕССА ЮЛИЯ КРИДНЕР
(урожденная Фитингоф)

Два последних столетия, как мы и прежде говорили, успели дать истории не мало крупных женских личностей, с которыми мы уже отчасти и познакомились в лице императрицы Екатерины Второй, княгини Дашковой и других; но едва ли между ними найдется такая женщина, которая, помимо своего прирожденного и общественного положения, в своей личной индивидуальности носила бы такой запас нравственной силы, что могла бы единственно лишь могуществом своего слова и неотразимостью морального обаяния ставить самые судьбы Европы в зависимость от этого обаяния и с помощью этой нравственной силы господствовать над нею даже и после своей смерти.

А такой именно женщиной была та, имя которой написано в заголовке этого очерка.

Достаточно сказать, что, когда, после поражения Наполеона I, император Александр Павлович задумал составить политическую коалицию для поддержания на будущее время политического равновесия Европы, баронесса Криднер близко стояла у начала этого исторического дела, руководила его направлением и дала ему тот, отчасти мистический, характер, который обнаруживается даже в самом имени этой замечательной политической коалиции первой половины нынешнего столетия: составленный императором Александром Павловичем черновой проект европейской коалиции был на предварительном просмотре и одобрении Юлии Криднер; она же дала этой коалиции и мистическое имя, потому что на черновом проекте слова в заголовке — «Священный союз» — написаны рукою Юлии Криднер.

Юлия, по отцу Фитингоф, а впоследствии по мужу баронесса Криднер, родилась в Риге, 21 ноября 1764 года. Отец ее вел свой род от тевтонских рыцарей, а мать была дочь знаменитого русского фельдмаршала Миниха. И отец и мать Юлии были личностями далеко недюжинными в том обществе, в котором жили: это были личности с сильными, энергичными характерами, и, без сомнения, зерно этой мо-

ральной силы вложено было ими в природу дочери, которая и проявила эту силу, когда ей пришло время проявиться.

Хотя отец Юлии и гордился своим древним родом, однако, титулами не дорожил и за официальными отличиями и почестями не гнался, а раньше других понял практическую истину, что древность рода и рыцарство не соединимы с коммерческими делами, и потому вел эти дела с таким успехом, что стал богатейшим человеком в Лифляндии. Жена его была красавица, и вероятно от нее дочь наследовала эту красоту, оказавшуюся столь могущественной, что обаяние этой красоты было неотразимо: красота эта сделалась для Юлии такой же надежной союзницей и силой, как и ее богатые дарования.

Коммерческие предприятия отца и светская блестящая жизнь матери были, однако, причиной того, что Юлия лишена была основательного образования, хотя, по обычаю того времени, и получила внешний лоск французского воспитания, и притом в такой мере, что могла впоследствии делаться одной из замечательных во французской литературе писательниц.

Четырнадцати лет Юлия успела уже побывать в Германии, Франции и Англии, хотя, конечно, ничего не могла вывезти оттуда, кроме пустого знакомства с внешними формами жизни и с теми ее блестящими проявлениями, которые сами собой бросаются в глаза, не имея цены в глазах людей положительных.

В шестнадцать лет Юлия была уже завидной невестой, и ее окружил рой поклонников. Расчетливый отец хотел было сосватать ее за одного своего соседа-помещика, чтоб соединить и округлить имения, и девушка была уже помолвлена, несмотря на отчаяние с ее стороны и на безотчетную боязнь этого замужества; однако, неожиданная болезнь спасла ее от нежелательного ей брака: Юлия заболела корью, долго оставалась с обезображенным лицом, и этим расстроила чуть было не состоявшийся уже брак с нелюбимым человеком.

Но через два года Юлия не миновала замужества, только уже с таким человеком, которого она потом страстно любила.

Биографы Юлии говорят, однако, что «она не была красавица, но у нее было чрезвычайно привлекательное и выразительное лицо, прекрасные руки, чудесные светло-русые волосы при голубых глазах, и пленительная грация — это высшая из всех женских прелестей».

По свидетельству же других современников, Юлия была поразительно хороша и обаяние ее было неотразимое, магическое.

Юлия вышла замуж за барона Криднер, которому было лет сорок и который уже успел потерять двух жен: на Юлии он женился в третий раз. Это был блестяще-воспитанный по тому времени человек, хороший собеседник в обществе и признанный дипломат, которого дарования оценены были несколькими царственными особами.

Уже впоследствии баронесса Криднер признавалась своему другу, знаменитому Бернардену де-Сен-Пьеру, что выходила замуж не любя своего жениха, но что на этот шаг подвинуло ее честолюбие, желание блистать в обществе и при дворе. Вышло, однако, так, что она вскоре горячо и страстно привязалась к своему пожилому и серьезному мужу, и в известном своем романе «Валерия», написанном ею уже за границей, в Германии и Франции, она, видимо, представила самые счастливые годы своей молодости, и в то же время изобразила своего мужа с такой силой и грацией, что современники, отдавая дань уважения таланту писательницы, узнавали в героях романа как мужа Юлии, так и самую писательницу.

Этот брак барона Криднера и Юлии Фитингоф соединил два замечательных в своем роде характера, из которых каждый проявлялся своеобразно в течение всей их жизни. В первые годы после замужества Юлии муж ее находился русским посланником в Берлине, и когда однажды он давал бал в честь дочери своего государя Павла Петровича, великой герцогини Мекленбург-Шверинской, от государя пришла депеша с повелением немедленно объявить войну Пруссии. Посланник, находя, по своим соображениям, объявление войны несвоевременным и несправедливым со стороны своего правительства, решился не исполнить повеление государя, и тотчас же представил Павлу I свои доводы относительно этого предмета, с твердостью отстаивая законность своих действий, по-видимому, столь дерзких. Можно было ожидать страшных последствий от этого своевольного ослушания посланника, особенно принимая во внимание вспыльчивый и порывистый нрав императора Павла I, и Криднер, действительно, ожидал своей гибели: три недели он ждал решения государя относительно своей участи, ждал немилости, отставки, ссылки, не спал в течение всех этих трех недель и так расстроил свое здоровье, что оно с той поры оказалось непоправимым.

Через три недели пришел этот страшный ответ императора: царь милостиво благодарил посланника за праздник, устроенный им в честь императорской дочери, но относительно необъявления Пруссии войны не высказал никакого гнева и во всю свою жизнь продолжал любить своего смелого посланника.

Такова была личность, с которой судьба свела Юлию Фитингоф, теперь уже баронессу Криднер. И она со всем пылом молодости прильнула к этому сильному характеру. Она любила его безгранично и с нежной готовностью старалась исполнять и даже предупреждать всякое его желание. Пользуясь этим, Криднер хотел заняться развитием ума и природных талантов своей молоденькой жены, но Юлия еще не ступила на тот путь, где могла сказаться ее природная богатая сила: эта внутренняя сила проявлялась пока только в светском лоске и в том обаянии красоты, которое в первые годы жизни баронессы Криднер так могущественно действовало на всех, с кем она сталкивалась, не потеряв, впрочем, своей неотразимости даже и тогда, когда женщина эта была уже стара.

В 1784 году баронесса Криднер родила сына, и в том же году она была представлена ко двору императрицы Екатерины II.

Первое путешествие, которое она предпринимала вместе с мужем, это поездка в Венецию, куда барон Криднер назначен был посланником от русского двора. Венеция, как самостоятельное государство, как независимая и некогда могущественная республика, доживала в это время свой последний блестящий век, доживала, если не так, как жила, честно и грозно для соседей, не так могущественно, как бывало когда-то, когда в руках ее было все Средиземное море и вся почти южная европейская торговля, а дожи ее были пышнее римских цезарей, но зато доживала весело, роскошно. Весело жилось там и баронессе Криднер, страстно влюбленной в своего мужа. Для того, чтобы набрать ему букет любимых им цветов или редких плодов, она отправлялась иногда пешком в очень далекие экскурсии, она окружала мужа самым горячим и нежным вниманием, но он, по-видимому, или как ей казалось, холодно ценил всю эту силу любви молодой женщины, потому что нередко усталый от исполнения своих дипломатических и светских дел, он с трудом мог принимать ласки жены с той же теплотой, на которую она, по свойственной ей природе страстности, могла рассчитывать. Это мучило ее и увеличивало ее страсть, по-

тому что натура ее была действительно из таковых, что страсть, какая бы она ни была, страсть любовная или мистическая, увлечение человеком или идеей, — только более разгорались в ней при виде сопротивления.

Так однажды муж Юлии долго откуда-то не возвращался. Встревоженная этим баронесса, в ночь, разослала везде гонцов искать своего мужа, думая, что он погиб в Бренте, утонул, убит, — и сама вышла искать его. Встретив жену, Криднер сделал ей за эту напрасную тревогу кроткий выговор, и лег спать.

— Увы! — говорила она сама себе, признаваясь впоследствии в этих увлечениях: — ему лишь бы добраться до постели и заснуть (как часто думают и говорят жены вообще о своих деловых или не особенно ласковых мужьях).

В бытность свою в Венеции, Юлия Криднер внушила к себе глубокую страсть секретарю посольства, Александру Стахееву, в котором страсть к жене своего начальника усилилась потому более, как он сам признавался, что Юлия слишком пламенно любила своего мужа и не находила в нем равной силы привязанности. Но Стахеев был беспредельно предан своему начальнику, и, мучимый своим чувством, боясь сознаться в нем перед предметом своей привязанности и боясь оскорбить своего любимого начальника, Стахеев бросил Венецию, в надежде, что разлука и время убьют сами собой его страсть, и спасут его от тоски.

Но через год они снова встретились — в Копенгагене. Страсть Стахеева не угасла в течение годичной разлуки, но только более улеглась в нем под давлением рассудка. Он видел, что в Юлии произошла некоторая перемена, что проявления страсти ее к мужу несколько утратили прежние формы вспышек, но в ней заметно было новое проявление страстности, только эта страстность обратилась в честолюбивое желание светских побед, в желание покорять людей обаянием красоты и блеска. Стахеев решился бежать и из Копенгагена, но перед бегством он оставил своему начальнику письмо, в котором объяснял причину своего внезапного удаления от посольства и прибавлял: «я не могу объяснить, но это верно, что я ее люблю потому, что она вас любит. Если бы она не так дорожила вами, она была бы похожа на других женщин, и я бы перестал ее любить».

Муж имел неосторожность показать Юлии это письмо — и это, в числе прочих мотивов, помогало развиваться ее неу-

меренному тщеславию и жажде властвовать над всеми своей красотой.

В 1789 году, чувствуя, что здоровье ее несколько расстроено, Юлия поехала для развлечения в Париж и отдалась там такой неудержимой светской жизни, что быстро успела задолжать знаменитой тогда модистке m-lle Бертен до 20 000 франков. В Париже она познакомилась с одним французским офицером, де-Фрежвилем, и, очарованная его красотой и умом, увлеклась им, равно увлекла и его. Вместе с этим новым предметом страсти она путешествовала по Германии, и, воротившись к мужу в Данию, все еще под обаянием новой страсти, просила у мужа развода. Криднер не дал согласия на развод, и Юлия осталась с ним. Из Дании уже она ездила к матери в Ригу, и, будучи потом в Берлине, окончательно разорвала связь свою с де-Фрежвилем, и с тех пор ни разу с ним не встречалась. Но зато она встретилась вновь с Стахеевым.

«Это была грустная и оскорбительная для обоих встреча, — говорят биографы баронессы Криднер, — и встреча эта более не возобновлялась».

В 1792 году Криднер поссорилась с мужем, и хотя потом несколько и сошлась с ним, но прежнего молодого счастья она уже не могла купить этим примирением с мужем, и бывалое душевное равновесие к ней уже более не возвращалось. Характер ее менялся, начало нравственного перелома, подкосившего потом всю ее жизнь, уже намечалось в этой странной женщине, хотя, конечно, никто не знал, что из этого выйдет. В ней стала проявляться какая-то нервность, раздражительность, неровность характера, вспышки. Она отдалась литературным занятиям, и этим только причиняла новые неприятности мужу: прусский король, Фридрих Вильгельм III, при дворе которого барон Криднер был посланником от русского императора, знал литературные занятия баронессы Криднер, подозревал в ней недружелюбные к себе отношения, и стал холоден к ее мужу. Из Берлина Юлия уехала путешествовать без мужа, даже не посоветовавшись с ним, и это была их последняя разлука — больше они уже не виделись. Юлия посетила Германию, Францию, Швейцарию. По поводу ее странного отъезда муж написал ей грустное, но ласковое письмо, — и скоро после того умер.

Юлия узнала о смерти мужа в 1802 году, в Париже.

В Париже началась для Криднер новая жизнь, более богатая духовным содержанием, чем все доселе проведенные ею

годы в гоньбе за удовольствиями, победами, за блеском и лестью. Тут она вошла в лучший литературный кружок того времени: в числе ее друзей стояли Шатобриан, Бенжамен-Констан, Бернарден де Сен-Пьер, госпожа Сталь и все светила французской интеллигенции. В Париже, охваченная иной духовной атмосферой, она успела кончить свой знаменитый роман «Валерию», начатый еще в Берлине.

Во время этого духовного ее возрождения застала ее весть о смерти мужа, и глубоко поразила впечатлительное сердце этой страстной женщины, которая не знала меры ни в чем. Она глубоко тосковала по мужу, она отказалась от света, от друзей, от своего избранного литературного кружка и переселилась в Лион.

Но время и занятия мало-помалу заглушали резкие боли сердца и тоску, которые она переживала после потери мужа, и, наконец, она снова решилась отдать себя той жизни, от которой было так торжественно отказалась. Но поворот к прежнему казался ей неловким: ей стыдно было сознаться, что время победило ее с ее тоской и решимостью отказаться от жизни, — и она прибегла к хитрости. В числе ее прежних поклонников был доктор Ге (Gay). Этого старого друга своего Криднер просила написать нечто похвальное относительно героини романа «Сидонии» и Ге удачно исполнил ее просьбу, написав и напечатав элегию — ловкую рекламу к роману, еще не вышедшему в свет, и к действующим лицам романа. Выдумка удалась вполне. Роман и автор романа сильно заинтересовали весь парижский интеллект. Друзья стали упрекать прекрасную отшельницу Криднер за сокрытие как своего таланта, так и самой себя в глуши, упрашивали бросить скромность и отдать талант свету, которому он по праву принадлежит, друзья прямо просили Криднер явиться снова «украшать Париж».

И вот Криднер снова в Париже.

Знаменитый роман готовится к выпуску. О романе и об авторе его говорят везде. Но этого мало для честолюбивой женщины. Криднер скачет по Парижу, посещает всех модисток этого города — законодателя мод, упрашивает их выпустить в свет разные модные безделушки — ленты, банты, шарфы — à la Valerie. Модистки весь Париж наряжают à la Valerie — реклама небывалая — и вдруг является сама Valerie, роман баронессы Криднер!

Понятно, какой громадный эффект производит роман, какую громкую известность разом приобретает баронесса Криднер, как писательница!

Она переживала таким образом вновь торжественные минуты победителя, но только победа совершена была уже иным оружием.

Все это, однако, вместе с треволнениями прежней кипучей жизни, не могло не ложиться известной нравственной тяжестью и чем-то сокрушающим на всем характере Криднер...

Но скоро она и это пережила.

Приближалась новая нравственная катастрофа в жизни этой странной женщины, и уже катастрофа последняя.

Криднер из Парижа поехала к матери в Ригу. Здесь-то, именно, и совершился перелом в ее жизни, вследствие одного весьма странного обстоятельства, хотя, может быть, нравственный перелом в ней готовился давно, а обстоятельство это было только внешним, механическим толчком, ускорившим самый факт перелома. Осенью, утром, стоя у окна, она увидела проходящего мимо окон одного лифляндского дворянина, который когда-то был в числе ее горячих поклонников, поравнявшись с Криднер, дворянин поклонился ей, но тотчас же весь задрожал, упал на землю, и его нашли уже мертвым. Случай этот навел на впечатлительную душу Криднер такой ужас, что все опасались за ее рассудок. Ей стало казаться, что вся ее прежняя жизнь — ряд самых непростительных увлечений, противных природе и духу человеческому, что страсть к светскому блеску, роскоши, к тщеславным победам над людьми — преступна, что это прямое оскорбление Провидения. Она заперлась в своем доме и проводила ужасные дни и ночи. Хотя потом это потрясение и миновало, однако, следы его остались неизгладимыми на лице и на всем характере баронессы — это следы глубокой меланхолии.

Там же, в Риге, после этого случая, она испытала и другого рода потрясение, как бы указавшее ей, какой нравственный путь должна она избрать в своей последующей жизни.

Однажды ей понадобился сапожник, которого к ней и привели. Счастливая, довольная наружность этого человека так поразила тосковавшую женщину, что она спросила его:

— Вы, кажется, счастливы?

— Да, я самый счастливый человек! — отвечал тот наивно.

Всю ночь, Криднер думала об этой встрече, и не могла разрешить мучившего ее вопроса: почему этот человек счастлив? Наивный ответ сапожника всю ночь звучал у нее в ушах. На утро она сама отправилась к счастливому человеку, чтоб узнать источник его счастья. Она долго говорила с ним, уз-

нала, что он принадлежит к секте «моравских братьев» или «гернгутеров», которые почему-то вообще сделались предметом особенного интереса всей Европы в начале девятнадцатого столетия, и даже наш Жуковский писал восторженные оды в честь русской колонии гернгутеров, находящейся в Сарепте, саратовской губернии. Эту Сарепту поэты называли даже «колонией Христа».

«Сарепта тихая! Колония Христа!»

Разговор с гернгутером подействовал на Криднер успокоительно, но в то же время произвел на нее такое впечатление, что она избрала последним путем своей жизни — путь пиетизма, дошедшего у нее до какого-то фантастического увлечения идеей добра, до крайнего притом мистицизма, который и дал ей громадную популярность.

Красавица Криднер стала «мистиком и пророчицей».

Так рассказывают биографы этой необыкновенной женщины о нравственном переломе, совершившемся в ее жизни.

Но едва ли не вернее исторически объяснить эти явления не чем другим, как естественными фазисами жизни человеческой, которые у впечатлительных и даровитых натур сопровождаются особенно резкими переломами не только в образе жизни, в убеждениях, но и в самых основах характера. Такие переломы, как известно, были в жизни Игнатия Лойолы, Мартина Лютера, Магомета и других исторических личностей — переломы, стоявшие на рубеже двух половин жизни: первая половина — беззаботная или бурная молодость, работа порывистая, неровная, и последняя половина — сознательная деятельность и борьба во имя известной идеи, которой всецело отдается впечатлительная натура избранного человека.

Баронесса Криднер была из таких богатых натур: бурная молодость, исполненная побед, торжества самолюбия, сознания своей обаятельности и неотразимости своей красоты, но молодость проходила, наставали сороковые годы — годы вообще очень тяжелые для женщины, особенно же для такой царицы красоты, как Криднер — и вот где источник ее нравственного потрясения, тоски, сомнений, меланхолии и, наконец, последнего жизненного перелома.

Всепобеждающая красота прошла, литературная слава была не прочна, должна была поддерживаться нередко тяжким, мучительным трудом, да и вообще дальнейшие победы на этом пути были сомнительны, надо было искать новых

побед — и она нашла их в своих богатых нравственных силах.

Она пошла проповедовать живым словом и самой жизнью, как и следовало пророку.

В 1806 году, ровно как ей исполнилось сорок лет, Криднер отправилась в Германию в качестве сестры милосердия, чтобы ходить за ранеными во время страшных тогда войн с Наполеоном I.

Во время своих скитаний по Германии, Криднер встретилась с несчастной прусской королевой, мужа которой Наполеон лишил царства и унизил до последней степени, на королеву Криднер произвела глубокое впечатление, и между ними завязана была тесная дружба.

После скитания по Германии, Криднер надолго основалась в Карлсруэ, где и поселилась в семействе Юнга Штиллинга, известного мистика, разделявшего некоторые мистические убеждения Сведенборга. В Карлсруэ Криднер отдалась тихой и уединенной жизни, посвящая все свое время бедным и занятиям литературой. Там она написала свою повесть «Отильда», которую и читала Гортензии Богарне, супруге бывшего короля Голландии и матери Наполеона III. Мистические доктрины Юнга Штиллинга не могли не увлечь экзальтированную женщину, и Криднер стала в ряды его последователей, все более и более отдаваясь мистическому направлению. Там же она сошлась с известным Оберлином, пастором в Ban de la Koche, который имел репутацию духовидца. Мало того, она вошла в кружок мистического шарлатана Фридриха Фонтэна, который держал у себя в доме ясновидящую, Марию Кумрин. С помощью денег, которых Криднер имела достаточно, Фонтэн задумал основать особую мистическую колонию, купил для этого, на деньги Криднер, имение, земли, но король, зная мистическое шарлатанство Фонтэна, не позволил слишком нагло обманывать народ в его королевстве и приказал изгнать из своих владений Криднер в двадцать четыре часа, что и было исполнено строго.

Изгнанная Криднер переселилась в Баден и там окончательно утвердила свою репутацию пророчицы.

Это было в 1814 году, во время заключения Наполеона I на острове Эльбе.

В это время в Бадене находилась королева Гортензия вместе со своей приятельницей, девицей Кошле. Однажды, когда королева и девица Кошле, находясь у себя дома, вспоминали события последних лет и оплакивали падение Наполеона I, вдруг входит Криднер. Появление ее навело ужас на Гортен-

зию и ее друга: пришедшая казалась необыкновенно возбужденною и взгляд ее показался им каким-то вдохновенным, пророческим. Она действительно начала свои страшные пророчества, как бред возбужденной женщины. Она говорила, что мир ожидают новые бедствия, что для Европы скоро наступят новые ужасы, что Наполеон покинет остров, на котором его заключили союзники, что будет новая ужасная война, что Наполеона вновь ожидает более страшное падение, — говорила все то, что действительно и случилось вскоре: бегство Наполеона с острова Эльбы, новое восшествие на престол, роковое Ватерлоо, новое и последнее его заключение на острове святой Елены. Она говорила это стоя, волосы ее были распущены, она была, говорят, прекрасна с этими ужасными пророческими словами на устах.

Криднер, несмотря на то, что располагала значительными денежными средствами, жила в это время с самой поразительной скромностью: вместе с дочерью она помещалась в одной комнатке, и все, что она имела в доме — это было одно распятие. Все свои средства она отдавала на нищих.

В это же время положено было начало ее сношений с императором Александром Павловичем.

27 ноября 1814 года она писала к фрейлине государыни девице Роксанде Стурдза, с которой была в дружеских сношениях, письмо странного, мистического содержания. Она вновь предсказывала то, что должно было совершиться — бегство Наполеона, гибель и унижение Франции, окончательное падение наполеонидов. «Франция будет наказана... Буря поразит лилии...» и т. д. — пророческие предсказания грядущих событий, которые всякий светлый ум мог, конечно, предвидеть отчасти и без дара пророчества. Письмо это было показано императору, и глубоко поразило его своим содержанием: особенно государя поразило предсказание о том (что и случилось), что Наполеон покинет Эльбу и снова станет во главе своей армии.

Еще более поразил государя случай в Гейльброне, где он в то время находился. Утомленный событиями последних лет, глубоко опечаленный, сидел он за чтением Библии. По поводу предсказаний Криднер о предстоящих великих событиях в Европе, император вспомнил об этой женщине, и — как сам впоследствии признавался — пожелал, чтоб она была в это время с ним.

«Хотел бы я, — думал Александр, — чтобы она была здесь и я мог поговорить с нею».

Вдруг ему докладывают, что баронесса Криднер тут и желает видеть государя. Это показалось ему необычайным делом, какою-то таинственною, руководящею нитью в его судьбе.

Криднер действительно явилась к императору, и глубоко потрясла его своею речью, исполненною строгого величия и необыкновенной, увлекательной страстности.

Современники говорят, что она и в это время была еще прекрасна: по словам ее биографов, она была более чем красива — она была неотразимо обаятельна.

Это свидетельство современников едва ли можно заподозрить в преувеличении. Когда Криднер была еще молода, то обаяние ее красоты и какой-то внутренней силы было так могущественно, что когда она в Береже купила в какой-то лавке простой носовой платок и повязала им голову, то в тот же почти день все платки из той лавки были раскуплены до одного (так было всесильно что-то, что она носила в себе: это что-то больше, чем красота).

Состарившись, Криднер потерять своего обаяния не могла, и это обаяние проявлялось только в иной форме, не в красоте лица, а в какой-то неотвратимой привлекательности, которую испытывали на себе все, на кого она желала действовать своим словом, примером или убеждением. Ей и ее мистическим силам верили даже люди высокообразованные. Так Жанлис говорит о ней: «Это необыкновенная и интересная женщина, говорящая самые странные вещи с спокойным убеждением!»

Но большинство положительных людей не признавали ее учения и даже смеялись над ее внешними странностями и над миссией, на которую она претендовала.

По желанию императора Александра Павловича, Криднер сопровождала его в Гейдельберг, и там окончательно покорила себе его волю в сфере нравственных воззрений. Биографы Криднер свидетельствуют, что в это время женевец Эмпейтаз, разделявший мнения Криднер, дочь его, хорошенькая и восторженная девушка, и будущий зять г-жи Криднер, Бернгейм, способствовали этой странной женщине «руководствовать в нравственном отношении главу православной церкви».

Разразилась буря при Ватерлоо. Наполеон погиб, как предсказывала Криднер. Император Александр, отъезжая в Париж, пригласил с собой Криднер, и она последовала за победоносным царем. В Париже она жила рядом с дворцом в Елисейских полях, который занят был русским государем.

Слава Криднер росла необычайно. Толпы ее почитателей увеличивались с каждым днем. «Скептик и насмешник Бенжамен Констан, — говорит один жизнеописатель Криднер, — переживший страсть свою к госпоже Сталь и в то время испытывавший всю горечь безнадежной любви к прекраснейшей женщине во Франции, искал утешения у г-жи Криднер. Г-жа Рекамье, причина его страданий, не охотно была допущена на ее молитвенные собрания, при которых часто присутствовал император. Г-жа Криднер просила эту обворожительную красавицу не являться к ней в таком блеске красоты и не развлекать молящихся светскими мыслями».

Когда потом император Александр задумал составить политический союз и коалицию для поддержания на будущее время спокойствия в Европе, то подчинение этой коалиции религиозному влиянию было замечательным результатом сношений его с Криднер. Черновой проект этой коалиции, как мы сказали выше, подвергнут был просмотру и одобрению Криднер, и самые слова в заголовке проекта — «Священный союз» — Криднер написала своей собственной рукой. Один заголовок этого замечательного политического акта дает уже необыкновенной женщине, судьбой которой мы заняты, историческое бессмертие.

Но замечательно, что в описываемое время женщиной этой, как свидетельствуют ее биографы, положительно не руководило ни честолюбие, ни тщеславие. Когда Александр Павлович возвращался в Россию и приглашал ее с собой, Криднер не последовала за государем, хотя это и было условлено между ними ранее.

Криднер осталась за границей и направила свою проповедь в Швейцарию. Время это — самые любопытные и знаменательные страницы в ее жизни. Странная популярность ее дошла до того, что едва она являлась в какой-либо город или местечко, как власти тотчас же обращались к ней с просьбой — немедленно выехать от них. За ней шли толпы народа действительно как за пророком: эти толпы, всегда жадные слушать необыкновенную речь или видеть что-либо необычайное, а еще более жадные до ее богатых раздач милостыни, осаждали дома, где бы она ни останавливалась, тысячи народа, как говорят ее биографы, при виде Криднер, громко требовали от нее пиши духовной и телесной, слова и денег. Как она ни была богата, но она все раздавала бедным, так что для нее самой с дочерью Жульеттой нередко оставался один только черный хлеб, которым они и

питались. Поведение ее действительно было таково, что не могло не вызывать оваций самых громких и не привлекать к ней толпы народа, почему ее и изгоняли из городов, как нарушительницу общественного спокойствия. Раз в Карлсруэ она увидала девушку, которая, сметая пыль и сор с лестницы одного дома, заливалась горькими слезами. Криднер спросила ее о причине слез. Девушка объяснила ей, что она прежде занимала высшее положение в обществе, но что обстоятельства заставили ее унизиться до роли служанки, до такой постыдной работы.

— Твоя работа не постыдная, — сказала ей Криднер, — Дева Мария была из царского рода, а мела сама, и Сын Божий часто брал метлу из рук матери и облегчал ее труды.

И Криднер взяла метлу из рук плачущей девушки и стала мести сор вместо нее.

В Швейцарии ходила к ней бедная женщина, лицо которой до того обезображено было раком, что все гнушались ею и никто не мог ее видеть. Эту женщину Криднер при всех собравшихся к ней слушателях поцеловала, и, когда дочь заметила ей неосторожность этого поступка, говоря, что от прикосновения к зараженному телу можно и самой заразиться, Криднер отвечала дочери:

— Не брани меня! Подумай, сколько лет бедняжка переносила отвращение себе подобных.

В 1821 году Криднер воротилась наконец в Петербург после продолжительного отсутствия. Ей было уже под шестьдесят лет, но в ней оставалась все та же молодая страстность и те же порывы, что и в молодости, руководили каждым ее действием, каждым словом. Однако император Александр уже перестал желать ее присутствия, как желал прежде. Ему неприятны были толки о пасторе Фонтэне, с которым Криднер была в близких сношениях по своему мистическому учению и которого шарлатанство и разные другие весьма предосудительного свойства дела были публично обнаружены. Императору неприятна была пылкость ее речей, которые она говорила везде, где представлялся случай, неприятна была настоятельность советов вступиться за греческое дело, неприятны были толпы, собиравшиеся слушать эту экзальтированную старуху. Император намекал даже ей, что он желал бы видеть ее менее ревнивой.

Но она не могла быть иной, не могла молчать и бездействовать — и оставила навсегда Петербург.

Здоровье ее было сильно расшатано аскетической жизнью, особенными трудами и окончательно разрушено тем

внутренним огнем, на котором она как бы сама себя сжигала всю жизнь. Она стала готовиться к смерти, избрав для этого полное уединение. Друзья советовали ей переселиться в теплые края, чтоб восстановить разрушенное здоровье, и с этою целью княгиня Голицына, ее друг и почитательница, увезла ее на зиму в Крым, где намеревалась даже основать особую колонию вроде колонии для прибежища всех нуждающихся в духовной помощи этой мистической личности.

Но утомительная дорога в Крым еще более надорвала здоровье старухи.

После такой неимоверной жизни, какую провела она, Криднер скончалась 25 декабря 1824 года, когда ей исполнилось шестьдесят лет. Смерть ее, говорят биографы, была «спокойна и безмятежна».

За несколько дней до смерти она написала сыну трогательное письмо, в котором вылилась как бы собственная оценка ее жизни и деятельности и которое было ее последним словом и духовным завещанием:

«Добрые дела мои останутся, а злые (как часто принимала я за голос Божий то, что было только плодом моего воображения и моей гордости!) забудутся по милости моего Господа. Мне нечего предложить Богу и людям, кроме многочисленных моих прегрешений, но кровь Иисуса Христа очистит меня от всякого греха».

Видно, что богатые силы этой женщины искали исхода и нашли его не там, где от них ожидалась реальная польза.

Немало, таким образом, погибло у нас великих женских сил и в восемнадцатом, и в девятнадцатом веках.

II. ГРАФИНЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗУБОВА, УРОЖДЕННАЯ СУВОРОВА

(Суворочка)

Есть женщины, которых историческое бессмертие не вытекает непосредственно из их личной деятельности, которые так и умерли бы, не оставив по себе никакого следа в истории, не передав позднейшему потомству даже своего имени, как умирают миллионы людей, из коих одни, как поднятая ветром туча пыли, исчезают бесследно, осаживаясь на земной поверхности и смешиваясь с землею, а другие, хотя и оставляют на разных каменных, мраморных и бронзовых плитах и крестах свои имена, но и эти имена стираются от времени, выветриваются от непогоды, выедаются

солнцем, — если б жизнь этих женщин не связывалась какою-либо нитью с другой жизнью, бессмертную память которой нельзя вытравить из страниц истории ни временем, ни непогодой.

К таким историческим женским именам принадлежит имя «Суворочки».

Историческое бессмертие таких имен — рефлективное бессмертие, отраженное.

Имя Суворочки всем известно, потому что оно освещено и прославлено именем знаменитого полководца, и если б оно было само по себе так же ничтожно, как имя Прошки, лакея того же Суворова, то история и в таком случае не могла бы обойти его: сила бессмертия исторических лиц в том и состоит, что они бросают луч бессмертия на все, что стояло близко их, на что падало их внимание, на чем отражались их симпатии, а иногда и гнев. Тысячи примеров представляет этому история: Гогарт обессмертил свою собаку, посадив ее рядом с собой на своем знаменитом портрете, а Алкивиад — отрубив своей собаке хвост.

Таково могущество исторического бессмертия.

Если б мы и ничего не имели сказать о дочери Суворова, то уж одно обращение к ней в письмах такого лица, как ее отец, в письмах, писанных с Кинбурна, из-под Очакова, из Фокшан, с рымникского кровавого поля, — одно обращение это заносит имя Суворочки на страницы истории.

В 1774 году, Суворов, вскоре после поимки Пугачева, женился на дочери князя Прозоровского, княжне Варваре Ивановне Прозоровской. Суворову в это время было сорок пять лет, а молодой жене его двадцать четыре года.

1 августа 1775 года у них родилась дочь, которую и назвали Натальей.

Но Суворов не был счастлив в своей супружеской жизни, хотя первое время после брака супруги жили согласно и не разлучались даже во время беспрерывных мыканий Суворова из одного конца России в другой, от одной битвы к другой.

Так он возил с собою жену и маленькую Наташу-Суворочку по Кубани, когда сражался с горцами, жил с ней в Таганроге и Ростове.

После, когда девочке исполнилось одиннадцать лет, ее поместили в Смольный институт, где она жила, по-видимому, на несколько исключительном положении, под непосредственным попечением начальницы института г-жи Лафон.

При постоянно скитальческой жизни отца девочка редко видела его ласки, но неутомимый старик любил свое детище, свою Наташу, которую называл «сестрицей», и, как ни был поглощен делами полководца, непрестанными битвами с турками и поляками, не забывал утешать своего ребенка письмами, которые вполне характеризовали эту беспокойную, подвижную, вечно торопливую личность.

Он и письма своей дочери писал как-то натиском, наскоком, точно брал приступом Смольный монастырь или посылал ультиматум, и снова умолкал на неопределенное время.

Но в этих письмах, при всей их шутливой форме, при лихорадочной торопливости, звучит нежное и глубокое чувство.

Среди кровавых сцен войны, с полей битв, когда еще кругом лежали неубранные трупы, Суворов шутил с девочкой, рассказывая ей, как они дрались с турками, сильнее чем девочки дерутся за волосы, шутя, пишет ей, что он танцевал в балете и ушел с бала с поврежденным от пушечной картечи боком, с «дырочкою» в левой руке от пули, что у лошади его «мордочку отстрелили». Говорит, что ему так весело на море, на днепровском лимане — поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, лисички, синички, в воде стерлядки, осетры.

А все-таки видно, что старик скучает по своей Наташе.

«Любезная Наташа! — пишет он из Кинбурна, 20 декабря 1787 года, когда девочке было только двенадцать лет. — Ты меня порадовала письмом от 9 ноября. Больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье, и того больше, как будем жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку Софью Ивановну (Лафон), или она тебя выдерет за уши да посадит за сухарик с водицей. Желаю тебе благополучно препроводить святки. Христос Спаситель тебя соблюди новой и многие года! Я твоего прежнего письма не читал за недосугом, отослал к сестре Анне Васильевне (сестра Суворова — замужем за князем Горчаковым). У нас все были драки, сильнее, нежели вы деретесь за волосы, а как вправду потанцевали, то я с балета вышел: в бок пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка да подо мною лошади мордочку отстрелили, насилу часов через восемь отпустили с театра в камеру. Я теперь только что поворотился, выездил близ пятисот верст верхом в шесть дней, а не ночью. Как же весело на Черном море, на лимане! Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерлядки, осетры, — пропасть.

Прости, мой друг Наташа, я чаю, ты не знаешь, что мне моя матушка государыня пожаловала Андреевскую ленту за веру и верность. Целую тебя, Божие благословение с тобой. Отец твой Александр Суворов».

Сколько ни старается великий полководец замаскировать свое глубокое чувство к ребенку, но оно пробивается во всем, в ласке, в шутке, в каждом штрихе писем его, и этот Суворов, которому ничего не стоило положить на месте до десяти тысяч человеческих тел, этот новый Ганнибал плачет всякий раз, когда получит письмо от дочери, — плачет «от утехи».

Как ни дорога ему слава полководца, слава героя, но чувство к дочери пересиливает все: хочется ему посмотреть на свою Суворочку, какова она в белом платьице, каково растет.

«Милая моя Суворочка! — пишет он 16-го марта 1788 года. — Письмо твое от 31-го генваря получил. Ты меня так им утешила, что я по обычаю моему от утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному слогу, что я завидую, чтоб ты меня не перещеголяла?.. Ай да Суворочка! Как же у нас много полевого салату, птиц, жаворонков, стерлядей, воробьев, полевых цветов. Морские волны бьют в берега, как у вас в крепости из пушек. От нас в Очакове слышно, как собачки лают, как петухи поют. Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье, как-то ты растешь! Как увидимся, не забудь мне рассказать какую приятную историю о твоих великих мужах в древности. Поклонись от меня сестрицам (институткам). Благословение Божье с тобою».

29 мая он снова пишет из Кинбурна. На сцене опять зайчики, уточки, кулички — но тут же и сто турецких корабликов, из которых иные большие, как весь Смольный.

«Любезная Суворочка, здравствуй. Кланяйся от меня всем сестрицам. У нас уж давно поспели дикие молодые зайчики, уточки, кулички... Недосуг много писать. Около нас 100 корабликов, иной такой большой, как Смольный, я на них смотрю и купаюсь в Черном море с солдатами: вода очень студена и так солона, что барашков можно солить. Прощай, душа моя!»

А не покидает старика ни мысль о дочери, ни мысль о славе древних героев: просит дочь, когда увидятся, научить его, как ему последовать великим героям древности. И тут же слегка приподнимает край завесы, за которою скрываются ужасы войны, но он рисует эти ужасы опять-таки шутливо,

в виде «пения» собачек, «лаяния» коров, блеяния кошек, корабли — это лодки, на которых турок больше, чем мух в Смольном, орудия такие большие, как камеры, в которых спит Суворочка с другими институтками.

«Голубушка Суворочка, целую тебя. Ты меня еще потешила письмом от 30-го апреля. На одно я вчера тебе отвечал. Когда Бог даст, будем живы и здоровы и увидимся, рад я с тобою поговорить о старых и новых героях, лишь научи меня, чтоб я им последовал. Ай да Суворочка, здравствуй, душа моя, в белом платье, носи на здоровье, расти велика... Ах, теперь-то Наташа, какой же у них по ночам в Очакове вой: собачки поют волками, коровы лают, кошки блеют, козы ревут, а я сплю на косе. Она так далеко в море, в лимане, как гуляю, слышно, что они говорят. Они так около нас очень много, на таких превеликих лодках, шесты большие к облакам, полотна на них на версту. Видно, как табак курят, песни поют заунывные. На иной лодке их больше, чем у вас во всем Смольном мух: красненькие, зелененькие, синенькие, серенькие. Оружия у них такие большие, как камера, где ты спишь с сестрицами. Божие благословение с тобою».

По взятии Очакова Суворов едет в Петербург на свидание с своей Суворочкой, которой уже четырнадцатый год.

Можно себе представить, как он вел себя в институте, с «сестрицами» и с своею Суворочкою — шутки и каламбуры нигде его не покидают. И можно себе представить, как хохотали молоденькие институтки при виде проказ великого полководца.

В апреле 1789 года он снова пишет своей дочери с дороги. Через Киев он скачет в Яссы и с дороги шлет привет своей любимице.

В августе он уже в Берладе и шлет дочери письмо, наполненное известиями о поющих стрепетах, о летающих зайцах, о прыгающих скворцах, о том, как он сам кормит изо рта молоденького скворца, о том, что пишет к ней орлиным пером — и опять железные кегли, свинцовый горох, а горох такой, что если в глаз попадет, то и лоб прошибет.

И опять хочется старику видеться с своей Наташей.

«Суворочка, душа моя, здравствуй!.. Поцелуй за меня сестриц. У нас стрепеты поют, зайцы летят, скворцы прыгают на воздухе по возрастам: я одного поймал из гнезда, кормили из роту, а он и ушел домой. Поспели в лесу грецкие да волоцкие орехи. Пиши ко мне изредка. Хоть мне недосуг, да я

буду твои письма читать. Молись Богу, чтоб мы с тобой увиделись. Я пишу к тебе орлиным пером, у меня один живет, ест из рук. Помнишь, после того уж я ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем такими большими кеглями железными, насилу подымешь, да свинцовым горохом: коли в глаз попадет, так и лоб прошибет. Прислал бы к тебе полевых цветков, очень хороши, да дорогой высохнут. Прости, голубушка сестрица, Христос Спаситель с тобою».

Следующее затем письмо от 11 (22) сентября 1769 года Суворов пишет со страшного поля рымникской победы, говорит о том, как 5000 турецких трупов легло на месте, перечисляет свои трофеи, пленных и пр.

Вскоре затем он уже обращается к своей дочери как к «графине двух империй» (comtesse des deux empires), потому что за рымникскую победу он пожалован был графом и российской и австрийской империй. Говорит, что ему, точно Александру Македонскому, императрица прислала рекрипт на полулисте — и за что же? — «за доброе сердце Суворочкина папаши...»

«Comtesse des deux empires, любезная Наташа Суворочка. A cela ай да, надобно всегда тебе только благочестие, благонравие, добродетель. Скажи Софье Ивановне и сестрицам, у меня горячка в мозгу, да кто и выдержит? Слышала, сестрица душа моя, еще де ma magnanime mere рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому, знаки св. Андрея, тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, первой класс св. Георгия. Вот каков твой папенька за доброе сердце! Чуть, право, от радости не умер! Божье благословение с тобою». И уже подписывается не просто «Суворов», а «граф Александр Суворов-Рымникский».

В письме от 3-го ноября опять шутки на первом плане: козочки, тетерки, чижики... Но старик тоскует по дочери — «тошно» ему. Он зовет к себе всех институток, и сам бы полетел в Смольный посмотреть на свою любимицу, да крыльев нет.

«Ай да любезная сестрица!.. У меня козочки, гуси, утки, индейки, петухи, тетерки, зайцы, чижик умер, я их выпустил домой. У нас еще листки не упали и зеленая трава. Гостинцев много: наливные яблоки, дули, персики, винограду на зиму запас. Сестрицы, приезжайте ко мне, есть чем подчивать: и гривенники и червонцы есть. Что хорошего, душа моя сестрица? Мне очень тошно, я уж от тебя и не помню когда писем не видал. Мне теперь досуг, я бы их читать стал. Знаешь, что ты мне мила: полетел бы в Смольной на тебя посмотреть,

да крыльев нет. Куда право какая, еще тебя ждать 16 месяцев, а там пойдешь домой. А как же долго! Нет уже не долго, привози сама гостинцу, я для тебя сделаю бал... Целую тебя, душа моя...»

В декабре того же года он пишет к дочери серьезное письмо и притом на немецком языке, называет ее «графиней и имперской графиней» Grafin und Reichsgrafin Наташа Суворочка) — «почтительнейше благодарит ее сиятельство за письма...»

Но тут же у него невольно прорывается глубокое чувство: он говорит, что военные дела на время приостановились, а иначе он не читал бы писем дочери, — «ибо они бы мне помешали ради моей нежности к тебе».

«Графиня и имперская графиня Наташа Суворочка. Поцелуй всех моих сестриц. Благодарю почтительнейше ваше сиятельство за письма ваши от 14-го июня и ноября, и благодарю Бога за сохранение твоего, столь мне дорогого здоровья попечениями несравненной твоей матери Софьи Ивановны, осчастливь ее за то Всемогущий! Дела наши приостановились. Иначе я не читал бы твоих писем, ибо они бы мне помешали ради моей нежности к тебе. У нас здесь московская зима, и я прихожу из церкви совсем замерзший. С полным удовольствием провел я несколько дней в Яссах, и там был награжден одною из драгоценнейших шпаг...» Потом вдруг бросает этот солидный немецкий тон и оканчивает письмо по-русски: «Ну полно, душа моя сестрица, уж я очень серьезен. Ай да как мир, так я приду с тобой потанцевать, а коли зарезвишься, то пусть тебя Софья Ивановна изволит приказать высечь. Бог даст, как пройдет 15 месяцев, то ты пойдешь домой, а мне будет очень весело. Через год я эти дни буду по арифметике считать... Какие у нас здесь землетрясения: на меня однажды чуть печь не упала, так что я вспрыгнул. Целую тебя, любезная сестрица Суворочка».

Суворочка, однако, быстро растет. Ей уж пятнадцать лет. Уж она умеет, как утверждает Суворов, «рассуждать, располагать, намерять, решать, утверждать», — а старик все продолжает с нею проказничать.

«И я, любезная сестрица Суворочка, — говорит он в 1790 году, — был тоже в высокой скуке, да и такой черной, как у старцев кавалерийские робронды. Ты меня своим крайним письмом от 17 апреля так утешила, что у меня и теперь из глаз течет. Ох, как же я рад, сестрица, что Софья Ивановна слава Богу. Куда как она умна, что здорова! Поцелуй ей за

меня ручки. Вот еще, душа моя, по твоему письму, ты уж умеешь, рассуждать, располагать, намерять, решать, утверждать, в благочестии, благонравии, добродушии и просвещении от науки: знать, тебя Софья Ивановна много хорошо сечет... Здравствуйте, мое солнце, мои звезды сестрицы. У нас в поле и в лесу дикая петрушка, постарнак, свекла, морковь, салаты, трава зеленая, спаржи и иного очень много. Великие овощи еще не поспели и фрукты. Гуси маленькие ай да такие выросли большие! Караси белые больше скрыпки, стрепеты да дунайские стерляди, и овечье толстое молоко. Прости сестрица Суворочка...»

Следующее письмо, 21 августа, намекает Суворочке на страшную битву с турками.

«Ma chère soeur! В Ильин и на другой день мы были в трапезной с турками. Ай да ах, как же мы подчивались, играли, бросали свинцовым, большим горохом, да железными кеглями в твою голову величины. У нас были такие длинные булавки и ножницы, кривые, прямые, и рука не попадайся, тот час отрежут, хоть и голову. Ну, полно с тебя, заврались. Кончилось иллюминацией, фейерверком. С праздника турки ушли, ой далеко, Богу молиться по-своему. И только, больше нет ничего...»

Выдержав страшную тифозную горячку, старик снова развлекает свою дочь шутками:

«Душа моя сестрица Суворочка... У нас сей ночи был большой гром, и случаются малые землетрясения. Ох какая ж у меня была горячка: так без памяти и упаду на траву, и по всему телу все пятна. Теперь очень здоров. Дичины, фруктов очень много, рыбы пропасть, такой у вас нет, в прудах, озерах, реках, и на Дунае, диких свиней, коз, цыплят, телят, гусят, утят, яблоков, груш, винограду. Орехи грецкие, волоцкие поспели, с кофеем пьем буйволиное и овечье молоко. Лебеди, тетерева, куропатки живые такие, жирные. Синички ко мне в спальню летают. Знаешь рой пчелиной, у меня один рой отпустил четыре роя. Будь благочестива, благонравна и здорова...»

Но одно письмо, начало которого отрезано, писанное по-французски, не имеет почти ни одной шутки. Это — наставление дочери, потому что она уже взрослая девушка.

«Сберегай в себе природную невинность, когда напоследок окончится твое учение. Насчет судьбы своей предай себя вполне промыслу Всемогущего, и, насколько позволит тебе твое положение, будь непререкаемо верна великой монархине. Я ее солдат, я умираю за мое отечество, чем выше возводит

меня милость ее, тем слаже пожертвовать мне собою для нее. Смелым шагом приближаюсь к могиле: совесть моя не запятнана. Мне шестьдесят лет, тело мое изувечено ранами, и Бог оставляет меня жить для блага государства. К ответу за то я должен буду и не замедлю явиться перед великое его судилище. Вот сколько разглагольствований, моя обожаемая Суворочка. В эту минуту я забываю, что я ничтожный прах и снова обращусь во прах. Нет, милая сестрица, я больше не видал Золотухина (он погиб на штурме Измаила — а за него Суворов прочил свою Наташу!): с письмом твоим он, может быть, блуждает вокруг скал обширного и бурного моря. Деньги, данные на гостинцы, ты могла бы употребить на фортепианы, если Софья Ивановна прикажет. Да, душа моя, тебе пойти будет домой. Тогда, коли жив буду, я тебе куплю очень лутче с яблоками и французские конфекты. Я больше живу, голубушка сестрица, на форпостах, коли grande dévotion не мешает, как прошлого году, а в этом еще не играли свинцовым горохом. Прости, матушка...»

Суворочка, наконец, кончила курс в Смольном, и 3 марта 1791 года пожалована во фрейлины. Императрица взяла ее во дворец и поместила в своей уборной.

Но дочь Суворова не долго оставалась во дворце. Оригинальный старик, приехав в Петербург, вызвал из вологодской деревни свою сестру Марью Олешеву, взял Наташу из дворца и поместил ее в собственном доме, на Итальянской улице, под попечением тетки.

Отчасти это обстоятельство и послужило началом холодности императрицы: рымникского героя послали осматривать шведскую границу.

Иногда он наезжал к дочери, и, конечно, являлся ко двору. Холодность императрицы продолжалась. В дневнике Храповицкого под 1 декабря записано об императрице: «Довольны, что откланивались Суворов и князь Прозоровский. Ils sont mieux à leurs places. Я сказал, что уборная не велика. Усмехнулись. «Qui, cette chambre est trop petite».

К этому времени принадлежат два письма к Суворочке из Финляндии.

«Душа моя Наташа, — говорится в одном из них, — Божие благословение с тобою! Будь благочестива, благонравна и в праздности не будь. Благодарю тебя за письмо с дядюшкой. Тетушке кланяйся. Как будто мое сердце я у тебя покинул. Ай да, здесь у нас великое катание на воде, в лесу, на каменных горах, и много очень хороших вещей: рыбы, диких птиц, цветов, маленьких цыплят — жаль! Как наш колдун

(Берр) приехал к нам в гости, то и время теперь хорошее: поют ласточки, соловьи и много птиц. Мы вчера кушали на острове, завтра хочем плавать в немецкую обедню, а там пойдем далеко. Я тебя буду везде за глаза целовать... Как пойдешь куда гулять, и придешь назад домой, то помни меня, как я тебя помню!»

Другое письмо заключает в себе наставление, как Суворочке вести себя при дворе. Письмо писано по-французски.

«Богиня невинности да охраняет тебя всегда. Положение твое переменяется. Помни, что дозволение свободно обращаться с собой порождает пренебрежение. Берегись этого. Приучайся к естественной вежливости, избегай людей, любящих блистать остроумием: по большей части это люди извращенных нравов. Будь сурова с мужчинами и говори с ними не много, а когда они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием. Надейся на Провидение! Оно не замедлит упрочить судьбу твою... Я за это отвечаю. Когда будешь в придворных собраниях, и если случится, что тебя обступят старики, покажи вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей не давай. Это князь, И. И. Шувалов, графы Салтыковы, старики Нарышкины, старый князь Вяземский, также граф Безбородко, Завадовский, гофмейстеры, старый граф Чернышев и другие».

Когда Суворочка стала невестой и один «молодец» присватался к ней, Суворов преподал дочери такой стихотворный совет (из Польши):

Уведомляю сим тебя, моя Наташа:
Костюшка злой в руках, взяла вот так-то наша!
Я ж весел и здоров, но лишь немного лих,
Тобою что презрен мной избранный жених.
Когда любовь твоя велика есть к отцу,
Послушай старика, дай руку молодцу.
Но, впрочем, никаких не слушай, друг мой, вздоров.
Отец твой, Александр граф Рымникский-Суворов.

Дочь на это отвечала тоже стихами:

Для дочери отец на свете всех святей,
Для сердца же ее любезней и милей —
Дать руку для отца, жить с мужем по неволе,
И графска дочь ничто — ее крестьянка боле.
Что может в старости отцу утехой быть?
Печальный вздох детей, иль им в веселье жить?
Все в свете пустяки, богатство, честь и слава,
Где нет согласия, там смертная отрава,
Где ж царствует любовь, там тысячи отрав,
И нищий мнит в любви, что он как Крез богат.

Надо предполагать, что здесь Суворов под «молодцом» разумеет кого-либо из тех, которых не сама девушка избрала, и оттого она отказывается от рекомендуемого отцом жениха.

Но у нее был на примете другой молодец — это граф Николай Александрович Зубов, которого тоже Суворов знал как храброго и распорядительного офицера.

В это время, по взятии Варшавы и Костюшки, Суворов имел торжественный прием в Петербурге. В это же время и состоялась свадьба его дочери с графом Зубовым.

С этой поры характер писем отца к дочери несколько изменяется: Суворов по-прежнему ласков с дочерью, но уже не называет ее Суворочкой — она потеряла это славное имя, иногда продолжает старик шутить в письмах, но уже реже — герой чувствует, что тело его разбито, изможжено, что пора ему перейти в ряды знаменитых мертвецов.

Но он все еще тот же неутомимый Суворов.

«О Наташа! — пишет он с похода. — Коли б ты здесь ехала, то бы так и плавала в грязи, как в пруду, сплошь версты две-три на один час. 19 ч. марта в Таршане. Кривы строки, свеча очень темна, на скамейке. Также ночью много напугались: великой дождь, гром, молния, лошади потеряли глаза, увезли в пустую степь чрезвычайно далеко, их из грязи люди таскали, повозки так нас качают, как в колыбели. Мой очень покорный поклон: графу твоему мущине, бабушке, дядюшке, тетушке, Аркадию (сын Суворова) и всем нашим родным и неродным знакомым, и всем нашим приятелям»...

Другое письмо, из-за Чернигова, от 17 марта, ограничивается словами: «тепло, дождь, а колеса по ступицу».

Из Киева, от 20 марта, 1796 года, все письмо состоит из двух слов: «Великая грязь».

В этом году скончалась императрица.

Отец Суворочки в опале. Он живет в селе Кончанском, звонит на колокольне, читает в церкви вместо дьяка, поет, играет с деревенским ребятишками в бабки. Наташа редко получает от него письма.

Почти через год Суворов снова шлет коротенький привет Наташе уже из Италии: «Любезная Наташа! За письмо тебя целую, здравствуй с детьми, благословение Божие с вами».

Такой же коротенький привет из Тортона к сестрице Наташе: «Сестрица Наташа! твое письмо я получил в Тортоне. Христос Воскресе! Целую тебя с детьми».

В деловых письмах к ее мужу он также постоянно делает приписки, относящиеся к Наташе: или — «любезной Наташе

Божие благословение», или — «Наташа! один раз моя карета так катилась боком, боком и чуть гулять не пошла в пропасть», или, наконец — «Наташа! сего дня вторник страстной недели, от вербного воскресенья я буду кушать после завтра. Левою ногою очень хромлю, она к качелям не поспеет».

Когда, в 1797 году, Суворочка родила великому полководцу первого внучка, Александра, Суворов пишет уже из ссылки, из Кобрина: «Вы меня потешили тем, чего не имел близ семидесяти лет: читая дрожал... Наташа, привези графа Александра Николаевича (это новорожденного-то), ко мне в гости, а он пусть о том попросит своего батюшку, твоего мущину».

Когда больной и обиженный герой задумал удалиться в монастырь, в Нилову пустынь и ходатайствовал у императора Павла об утверждении духовного завещания, государь, между прочим, в рескрипте от 2 октября 1798 года, объявил, что назначаемые графине Зубовой, купленные Суворовым деревни и бриллианты, утверждаются за ней.

Последнее письмо Суворова к дочери относят к марту 1800 года. В письме этом недужный старик говорит своей Наташе, что посылает ей свое благословение, и прибавляет: «Я одной ногой из гроба выхожу. Целую тебя».

Но через несколько месяцев он уже обеими ногами лежал в гробу: 6 мая, едва началось столетие, великого старика не стало. Дочь не могла быть при его кончине, потому что, по случаю беременности, должна была оставаться в Москве.

Остальная жизнь графини Зубовой, бывшей Суворочки, не имеет уже исторического интереса: интерес этот умер вместе с ее великим отцом и историческая миссия Суворочки кончилась.

Дочь Суворова скончалась в 1844 году на семидесятом году жизни.

III. МАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ПОСПЕЛОВА

(Муза речки Клязьмы)

В свое время о юной Поспеловой много говорили и писали. Ею интересовались и искали знакомства с нею наши умственные светила конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века, и тогдашние поэты в стихах оплакали ее раннюю смерть.

Поспелова — это самородок, какие иногда появлялись на Руси и к которым всегда, по исключительности этого явления, лежали симпатии общества в большей или меньшей степени.

Но, как всегда бывает, самородок, отысканный людьми в куче щебня и мусора, скоро переставал быть самородком, потому что его шлифовали, переливали в известную форму, чеканили из него рубли и гривенники.

Так было и с Ломоносовым, и в последнее время с Кольцовым, Никитиным.

Так было и с Поспеловой.

К ее судьбе когда-то относили сентиментальный стих Жуковского:

> Как часто редкий перл, волнами сокровенный,
> В бездонной пропасти сияет красотой!
> Как часто лилия цветет уединенно —
> В пустынном воздухе теряя запах свой.

«Разительна сия мысль поэта, — поясняли, со своей стороны, панегиристы Поспеловой, — и живо представляет удел тех, которых дары могли быть славою отечества, свойства души — прелестью обществ, и жизнь — благом, для света, но коих дни, как цветы, кратковременны и скрываются в безвестности уединения, как лилия в пустыне, как перл в океане. Так угасла и жизнь Поспеловой».

Поспелова составляет как бы запоздалое явление умственной жизни второй половины восемнадцатого века.

Родилась она в бедном чиновничьем семействе и потому не могла рассчитывать ни на воспитание в Смольном монастыре, куда поступали в то время дочери большей частью знатных и старинных дворян и откуда выносили исключительно светское направление, ни на обстоятельное воспитание дома, воспитание, которое в свое время подарило обществу несколько женских личностей, далеко оставивших за собою воспитанниц института.

Поспелова сама себя называла «неученой и неопытной воспитанницей природы».

Другого воспитателя, кроме природы, она и не могла иметь: пять братьев и четыре сестры Поспеловой требовали от отца-чиновника немало корма, платья и обуви, и ему было не до воспитания самородки-девочки, которая «возрастала в углу маленького домика», сама себя образовывая, «сама приготовляя блестящую стезю своему имени», как выражались ее восхвалители. Но сама Поспелова с большим сочувствием от-

зывается об отце, об его нежности, которая делала их всех счастливыми.

Отец кое-как успевал доставать для своей любознательной девочки некоторые книги, и она, читая с сестрами все, что попадалось под руку, разговаривая о прочитанном, приобретая некоторые сведения в истории и литературе, сама начала делать попытки к выражению своих творческих стремлений, хотя и незнакома была сначала даже с рутинными механическими приемами стихотворства, указываемыми в школах.

Не имея ни одного учителя, она в то же время сама научилась по-французски, сама подготовила себя в музыке, сама училась рисованию, что ее биографы и назвали «усилиями торжествующей прилежности».

Одним словом, из девочки выходило то, что называют гениальным ребенком, чудом природы, а тогдашние восхвалители Поспеловой назвали это явление чуть не нравственным уродством, аномалией — «отступлением природы».

Скоро ее семейство лишилось и последней поддержки: отец Поспеловой умер.

Вдове-матери удалось выдать замуж трех старших сестер Поспеловой, а «прелестное дитя, Мария, меньшая дочь, утешала семейство опытами в словесности».

Опыты эти скоро сделались известными.

В то время высшим и почетнейшим творчеством считалось сочинение «од», над которым изощряли свой ум «отцы российской словесности» — Ломоносов, Державин и все другие, менее крупные литературные светила того времени. Поспелова, только что еще вышедшая из детского возраста, тоже начала пробовать свои силы на торжественных одах, не отказываясь и от других стихотворных и прозаических опытов.

Произведения девочки сначала ходили по рукам, в рукописях, а потом в 1798 году изданы были отдельной книгой под заглавием «Лучшие часы жизни моей».

Замечательно, что это едва ли не первый в России опыт полного издания сочинений одного автора, а еще замечательнее то, что издание это явилось не в Москве и не в Петербурге, а в провинции — во Владимире-на-Клязьме, в типографии губернского правления.

В литературном мире тотчас же заговорили об этом редком явлении, и знаменитый тогдашний поэт, князь Иван Михайлович Долгорукий, назвал Поспелову «музою речки Клязьмы».

Так она и пошла с тех пор под именем «музы речки Клязьмы».

По обычаю поэтов того времени, Поспелова написала оду в честь императора Павла и послала свое произведение в Петербург по почте. Ода была принята благосклонно и сочинительнице пожалован бриллиантовый перстень.

«Чиновник, — говорит один из биографов Поспеловой, — отправленный из почтамта с сим подарком, спрашивая автора, которому должен доставить оный, с изумлением увидел девицу, еще в первых летах юности!»

В то время о Поспеловой Москва заговорила еще более. Все старались видеть молоденькую писательницу, приглашали ее к себе, осыпали похвалами, и, конечно, портили девочку.

После оды в честь императора Павла, после его смерти она написала другую похвальную оду — на восшествие на престол императора Александра Павловича.

Замечательно, что впоследствии, когда Поспелова уже умерла, и Россия, вывернувшись из-под тяжелой пяты Наполеона I, высвободила из-под нее и всю порабощенную им Европу, в оде Поспеловой к императору Александру найден был пророческий смысл, именно в следующих стихах.

Наш царь покрыт щитом чудесным:
Кто против стать его дерзнет?
Он громом воружась небесным,
Ад целый под пятой сотрет.
Его храня сапфирны крылы
Божественны простерли силы...

«Так и сбылось, — писали панегиристы Поспеловой, убеждаясь в несомненном прорицательстве ее стихов: — кто забудет двенадцатый год? Александр ополчился и спас Европу».

С тех пор, как о Поспеловой заговорили, самородок перестал уже быть самородком. Явились мастера, которые начали шлифовать и гранить его, и к таким гранильщикам принадлежал известный тогда в Москве литератор Подшивалов, который и принял в свои руки развитие «музы речки Клязьмы».

Но как бы ни был велик удельный вес самородка, он без образования далеко не пойдет: и гению нужна почва, подготовка.

Так из всех самородков без образования, в сущности, ничего капитального не вышло: самородку надо перестать быть самородком, чтоб создать что-либо бессмертное.

Под руководством Подшивалова девочка стала только литературной соперницей девиц Свиньиных, дочерей сенатора Свиньина, тоже известных в свое время писательниц.

Державин и Карамзин, со своей стороны, заинтересовались даровитой девочкой — «владимирской стихотворицей», заставляли ее печатать свои произведения в Москве, и она вновь издала свои труды в 1801 году под заглавием — «Некоторые черты природы и истины, или Оттенки мыслей и чувств моих».

Все это, даже самые названия, — так пахнет далекой, наивной стариной: в этих «Чертах» или «Оттенках мыслей и чувств моих» есть и стихи, и прозаические произведения в роде «Стенаний при гробе друга», «Вечерних размышлений», «К солнцу», «Дружба» и т. п.

Известность «клязьминской музы» растет все шире и шире.

«И вот, — говорят добродушные биографы Поспеловой, — один из почтенных московских дворян, человек очень богатый и уже в летах, читавши книжку «Лучшие часы», любопытствовал видеть автора и, увидя, забыл неравенство состояния и лет, предложил ей руку, желая разделить богатство свое со всем ее семейством, и обеспечить участь всех ее родных».

Но почтенному жениху отказали — и «муза речки Клязьмы» осталась весталкой, т. е. в девках.

В 1803 году замужняя сестра Поспеловой едет в Петербург и почитатели юной писательницы восклицают, что «ангел утешитель ее, Мария, желая умерить печаль сестры», сопровождает ее в невиданную дотоле новую столицу.

В Петербурге, понятно, Поспелова заводит новые литературные знакомства и пишет оригинальный роман «Альманзор», но печатать свои произведения уже боится, понимая всю недостаточность своего образования, а вместо того «по совету учителей вкуса» старается пополнить недостаток своих знаний.

В 1804 году она возвращается в Москву, но хрупкое здоровье ее не выносит усилий труда.

То, чего она боялась при наступлении нового, 1800 года, настало для нее раньше, чем она ожидала.

При самом наступлении XIX столетия, именно накануне 1 января 1800 года, Поспелова, между прочим, писала:

«Я содрогаюсь, помышляя, что целые миллионы людей, населявших землю, живших, наслаждавшихся жизнью и процветавших юностью, — за одно пред сим столетие, — ныне

носятся во прахе. Пройдет несколько времени, и мы подобно им увянем».

Она увяла скорей, чем ожидала.

По возвращении ее из Петербурга в Москву жизнь ее приходит к исходу. Является упадок сил, скоротечная чахотка, поздние заботы докторов, даже московских медицинских знаменитостей Пекена, Мухина и др. и — полная безнадежность на выздоровление.

В этой безнадежности больная девушка пишет в Петербург к сестре: «Мой долг, мое удовольствие утешать милых мне в горести, даже и в то время, когда самой нужно утешение».

Следует консилиум медицинских знаменитостей — и смерть 8 сентября 1805 года.

Юного поэта, не достигшего двадцатидвухлетнего возраста, хоронят в Донском монастыре. Гроб его несут через всю Москву почитатели таланта и, по обыкновению, украшают поздними цветами.

На могиле пишут эпитафию:

Любовь и дружество, рыдая в сих местах,
Поспеловой сокрыли прах.
Казалось, грации ее образовали,
Но дни ее пресек неотвратимый рок,
И смерть похитила бессмертия венок,
Который музы обещали.

Оплакивая раннюю смерть «музы речки Клязьмы», писатели цитируют ее произведения и находят в них «ум, природою образованный, чувствительность, от сердца проистекающую, задумчивую мечтательность, благоговение к Творцу и природе, любовь к уединению и мирным благам жизни».

В других ее произведениях находят, что «юная певица идет смело стезею Державина»:

Темнит, темнит сияние Норда
Красу и блеск держав других!
С чела величественна, горда
Спадет дождь лучей златых!
На щит величья опираясь,
В деснице гром держащ побед,
Венцом своим — небес касаясь,
Он славой наполняет свет,
Своей почти полшара звездной
Порфиры сению покрыл,
Волнистых океанов бездной
Ее как перлом обложил! и т. д.

Или в оде «на разбитие маршала Массены Суворовым» в Швейцарии Поспелова говорит о победителе:

Как буря облака — грядою
Он гонит галлов пред собою.

«Сии прелестные цветы поэзии и философии возращены семнадцатилетнею музой, которой дар, еще в неразвитии изумляющий, смертию похищен от отечества на двадцать втором году ее жизни, и гроб сокрыл навеки от земли черты ангела, душою своему виду подобного».

Подобные причитания о рано похищаемых смертью талантах русской литературе выпало на долю повторять каждый год.

IV. АННА ПЕТРОВНА БУНИНА
(Российская Сафо)

В конце восемнадцатого и начале девятнадцатого столетия, когда русская интеллигенция начала отражать в себе внешние по преимуществу формы культурной жизни Запада и когда вместе с классицизмом и романтизмом к нам привилась тогдашняя несколько напускная сентиментальность, когда западная пастораль превратила наших Макаров, гонявших телят неведомо куда, в буколических пастушков, а Акулек, пасших гусей и свиней, в романтических пастушек, когда серый мужичок-смерд превратился в «поселянина», в «пейзана», Пошехонье — в классическую Аркадию, Парголово — в Парнас, когда «российская земля» начала «рождать российских Омиров», «российсих Пиндаров», «российских Виргилиев, Овидиев и Горациев», на Руси появились и классические женщины — «российские Сафо», «российские Коринны», «муза речки Клязьмы» и другие.

Мы видели, что «музою речки Клязьмы» была Поспелова.

«Российская Сафо» явилась в лице Буниной, современницы Поспеловой.

Бунина была дочь рязанского помещика, и, как не принадлежавшая к особенно знатным дворянским родам, не попала в Смольный монастырь, чем, без сомнения, и сохранила свою индивидуальность, которая, как мы уже говорили при обозрении других женских личностей того времени, значительно стиралась при институтском воспитании.

Бунина воспитывалась дома — не знала монастырских стен.

Один из прежних ее биографов говорит, что девушка эта, «при обыкновенном дворянском воспитании, довершила оное с необыкновенным успехом собственно сама и, наделенная дарами муз при самом рождении своем, стала на первую ступень наших стихотвориц. Решительно можно сказать, что мы не имели ей подобных».

Это сказано было очень давно, когда новая русская женщина еще не пробовала своих сил в общественной деятельности и когда силы эти могли выявлять только случайно.

Поэтому и Карамзин мог сказать о Буниной: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно».

На Буниной, как и на некоторых других той эпохи женщинах, лежит печать нравственного воздействия кружка Новикова, Державина, Карамзина, еще тогда только пробовавшего силу своего творчества.

Одновременно с тем как Поспелова начала печатать свои произведения то в московских журналах, то в провинциальной губернской типографии Владимира-на-Клязьме, в тогдашних журналах стали появляться и произведения Буниной, обратившие на себя внимание современной интеллигенции.

Как почти в большинстве случаев, на Буниной отразилось влияние среды, и преимущественно мужской, в то время когда молодой ум наиболее восприимчив: мужчина был и ее первым руководителем на литературном поприще — это родной ее племянник Борис Карлович Бланк, в свое время известный стихотворец.

Затем круг ее литературного знакомства значительно расширился и она могла уже считать в числе своих «друзей и советников» известного руссофила и литератора Шишкова, бывшего впоследствии министром народного просвещения, князя П. И. Шаликова, Державина, Львовых, графа Хвостова.

По примеру Поспеловой, в то время уже схороненной, однако, на кладбище Донского монастыря, Бунина в 1807 году издала первое полное собрание своих стихотворений с приличным тому романтическому времени заглавием — «Неопытная муза».

Но «Неопытная муза» с каждым годом завоевывала себе почетное место в ряду русских деятелей и в скором времени стала членом некоторых тогдашних ученых и литературных обществ.

За ней утвердилось имя «российской Сафо», которой Бунина старалась подражать в своих псевдоклассических произведениях.

По этому случаю один из тогдашних литераторов сказал о девушке-литераторе:

Я вижу Бунину — и Сафо наших дней
Я вижу в ней.

Имя это так за ней и осталось навсегда.

Не ограничиваясь, однако, дилетантизмом в литературе, Бунина солидно отнеслась к своему призванию и, изучая литературу Запада, старалась положить твердые основы и русской литературе как науке по отношению к современным ее требованиям, занявшись изучением законов русского стопосложения: этот вопрос стоял тогда на очереди, потому что ни Жуковского, ни Пушкина в ту пору еще не было.

В 1808 году Бунина перевела в сокращенном виде «Правила поэзии» аббата Батте и к своему изданию приложила примеры русского стопосложения.

Затем Бунина издала особое сочинение со свойственным тому времени дидактическим характером — сочинение «О счастии».

Между прочим, говоря о себе самой, Бунина замечает, что счастью она «была всегда отдаленной знакомой»: этим она выражала, что жизнь не особенно задалась ей, и действительно многое, на что она имела бы полное право рассчитывать, отнято было у нее обстоятельствами и средой. При всем том, имя ее из литературных и светских кружков перешло во дворец, где она нашла покровителя в императоре Александре Павловиче. Государь, в то время еще не озабоченный делами всей Европы, которую ставил вверх дном Наполеон, охотно поощрял дарования Буниной, награждал ее, отличал своим особенным вниманием между другими русскими женщинами, лично ему известными. Бунина была принята ко Двору.

Такое же покровительство оказывала девушке-писательнице и государыня Елизавета Алексеевна. Для нее Бунина перевела на русский язык нравоучительные и философические «Беседы» Блера и на счет государыни предпринимала путешествие в Англию, где, подобно княгине Дашковой, Свечиной и другим русским временным и постоянным женщинам-эмигранткам, завязала знакомство с лучшими умами того времени.

Путешествие Буниной имело и то значение, что она как бы шла рядом с Карамзиным, и, когда тот прославился

«Письмами русского путешественника», Бунина возбуждала всеобщий интерес своими письмами с дороги, которые могли бы быть поставлены в параллель с письмами Карамзина и назваться «Письмами русской путешественницы».

Хотя слава этой женщины росла и ширилась, однако ни слава, ни общее уважение не скрасили ее жизни, которая была полна тревог, борьбы, несчастий и разочарований, чему в значительной степени способствовали крайняя впечатлительность и цельность натуры.

«Тяжко и бурно было бытие мое! — говорит она в своем предсмертном письме к родственнику. — Первые годы были исполнены душевных, последние телесных скорбей и недугов. Но да благословится имя Господне! Судьбы его неисповедимы, стези праведны: благо ми, яко смирил мя еси!»

Подобно Руссо, она оставила свои тайные признания, о которых в предсмертном послании к Д. М. Бунину, между прочим, говорит: «Оне вовсе не приносят мне особенной чести, не хочу стяжать уважения, которого недостойна. Кийждо от своих дел прославится и постыдится».

К числу особенных заслуг Буниной в то юное для русской литературы время относили сделанный ею перевод «Науки о стихотворстве» Буало.

Что касается до оригинальных ее произведений, то они делали имя этой женщины почти таким же в свое время почетным, как имя Державина. По крайней мере, о многих ее сочинениях, а наиболее об известной стихотворной повести-басне «Падение Фаэтона» говорили, что произведение это «усваивал себе» сам Державин, единовластно царивший в свое время на Парнасе.

В «Падении Фаэтона» есть довольно живые и остроумные места, как светлые лучи самостоятельного таланта. Бунина уже перерастает в этом произведении плаксивый и надутый романтизм. Между прочим, говоря о путешествии бога Фаэтона по небу, в жилище Феба, Бунина рисует картину, как Фаэтон в своем падении едва не сжег своими огненными конями всей Вселенной. Прежде всего загорелись возвышенные места земной поверхности, горы, и ранее всех вспыхнул поэтический Парнас.

Гора эта, по выражению Буниной, —

Всех прежде запылала,
Всех прежде жертвою пожара стала,
Затем что с низа до верхов
Была завалена стихами...

Расстроенная жизнью и больная физически, Бунина в конце двадцатых годов составляет духовное завещание, которое в свое время было опубликовано как замечательное литературное явление и как последнее примирительное слово сильного ума, подобно тому как напечатано было политическое духовное завещание знаменитого Палацкого, наделавшее столько шуму в славянском мире.

Между прочим, в завещании своем Бунина говорит:

«По соизволению правосудного Бога, протекло еще четыре года и три месяца болезненного моего на земле странствия от дня того, в который, поруча душу свою Единосущной Троице, во имя ее написала я духовное завещание. Столь великое число событий, не возмогших войти в ум, ни в сердце мое, свершилось надо мною в течение сего времени! Не прозорливы очи смертного и все пути его во тьме. Ушима нашима слушаста, и не слышали, очима нашима соглядаста, и не видели. Витаю, где сени себе не созидала, почию, где ложа своего не стлала! Созиждимое мною не мне в упокой! Покой мой и брашна отынуд».

«Не до конца прогневается Господь, ниже во век враждует. Собравый на главу мою скорбь и болезнь уготовал для ран моих елей помазания. Велия благодать твоя, Господи! Не по беззаконию моему сотворил еси мне, но утвердил надо мною милость свою. Но ты, Господи, положил елей в руки четы, коей имена не были вписаны мною в число имен врачевателей моих: ты прилепил их ко мне сердоболием и обшел меня состраданием».

О ком это она говорит, о какой «чете» — неизвестно.

«Свидетельствуюсь Богом, к которому готовлюсь на суд не лицеприятный» — говорит она далее — «что не было в сердце моем противу ближних и кровных моих ни злоумышления, ни лести, ни коварства. В простоте сердца любила я их, если же кого озлобляла, то просто, по безумию моему, по суетности, или запальчивости. Прошу их простить меня искренно во всех обидах, учиненных мною словом или делом, ведением или неведением, волею или неволею, подобно так и я их искренно, с непамятозлобием, от чистого сердца прощаю. Господи! Кому, аще не тебе, Всеведец, воздам благодарение за мир и тишину души моей! Нет у меня ни врагов, ни оскорбивших, ни опечаливших меня. Душа моя не питает досады: воспоминание о зле изгладии в ней, яко соние восстающего. Я не завидовала преуспеянию других, и не искала препнуть его, позавидовавших же мне и препинавших путь мой с непамятозлобием прощала.

Не судите меня, ближние, во гресех моих, да и сами не будете судимы».

«Ослаби, остави прегрешения мои, Господи, и изведи от тла живот мой. Многомилостивый! В руце твои дух мой предаю».

Любопытно письмо Буниной, при котором она передавала свое духовное завещание родственнику своему, Д. М. Бунину. Письмо это также было публиковано, как литературное достояние своего времени.

Вот оно:

«Истинный друг и благодетель мой! Прими искреннее благодарение умирающей родственницы за твое простое, бесхитростное и деятельное дружество, составлявшее в течение четырех лет отраду и счастье бедственной моей жизни. Да вознаградит тебя с беспримерной в доброте твоей супругой здесь и за пределами гроба общий наш отец, милосердый и правосудный! Я ничего более не могу сделать, как призывать на ваши главы его благословение...

...Оставляю тебе духовное свое завещание, прошу исполнить по нем неукоснительно и со всевозможной точностью. Сердце твое нежно и мягко, и я не боюсь пренебрежения. Оставляю тебе мои записки. Они вовсе не приносят мне особенной чести: не хочу стяжать уважения, которого недостойна. Кийждо от своих дел прославится и постыдится. Хочу предстать пред вами без всяких внешних украшений. Сии тайные записки откроют вам, почему поступки мои не всегда были сообразны между собой и один другому часто противоречили. Но, готовясь предстать на судилище, чуждое лицеприятия, смело исповедую, что при других обстоятельствах я была бы гораздо лучше, нежели какова ныне. В сердце моем, по благости творческой, насаждено благое семя правоты и чести, которые чтила я не только от юности моей, но и от самого еще младенчества. Орудия, служившие ко вреду моему, могли бы, при лучшем воспитании, быть направлены к единому благу. Что вело меня к напастям и погибели? Чрезмерная нежность сердца, пылкие страсти, мечтательное воображение и постоянство в избранных путях. Меняться я не могла и, невзирая на чудесные роды перехода от одного рода жизни к другой, всегда, в сущности, оставалась одинаковою. Те же друзья, те же пристрастия, те же самые вкусы и то же влечение сердца. Сии свойства должны обратиться в достоинства человеку, если он не получил превратного воспитания. Я была попущена ловить дурные и хорошие примеры без указателя, который означал бы место для одних одесную, для других

ошую. Если Богу было угодно посещать меня несчастиями, то я стенала безотрадно, если в душе моей возгорался какой-либо пламень, я думала: «душа моя создана пламенною — охладить ее не в моей воле». Я даже не подозревала свободы человека. Мне никогда не приходило в голову, что человек, в особенности женщина, не должны стремиться ни к чему иному, кроме исполнения своих обязанностей. Я знала твердо, что надлежит обуздывать себя там, где необузданность наша может повредить ближнему, никому не вредила и даже не желала зла. Сим я думала исполнить все свои обязанности. Между тем падала из бездны в бездну, ввергалась из напасти в напасть.

Все сие, мой милый и бесценный друг, увидишь в моих тайных записках. Прочти их внимательно с милейшей сердцу моему и ни в чем не искусившейся твоей супругой. Когда прочтешь, вникнешь и сообразишь обстоятельства, то вручи сии записки П. Н. С. Отец его был нежным моим отцом, действующей пружиной моего спасения и, вероятно, многое сообщил ему. Благословение Всевышнего да пребудет на вас. Молитесь за бедную душу облагодетельствованной вами и любящей вас».

Письмо это было писано 4 декабря 1827 года, а в 1829 году Бунина умерла.

Что сталось с ее записками — неизвестно, по крайней мере, мы ничего не знаем о последующей судьбе их, а между тем они, без сомнения, многое объяснили бы нам как в самой жизни этой женщины, так и в особенности в отношениях ее к другим лицам, к своему времени и его явлениям.

Бунина, между прочим, указывает на недостаток правильного воспитания в ее жизни, на предоставление ей полной свободы «ловить» хорошие и дурные примеры, на недостаток разумного и нравственного руководства. Нет ничего удивительного, что в словах ее следует видеть только малую долю того, что в действительности представляло неутешительного тогдашнее воспитание женщины. Если дело это даже в настоящее время едва может быть названо початым, но далеко еще не поставленным так, как бы того требовала и человеческая правда и общественное благо, то можно себе представить, на чем стояло воспитание женщины более столетия назад, во времена детства Буниной.

С другой стороны, если Буниной недоставало единственно правильно поставленного тогда воспитания — институтского, то едва ли ей следовало об этом жалеть: суживающее значение его даже в ту эпоху выказалось так явственно, что, стань в

жизни Буниной на место Бориса Бланка г-жа Лафон, из этой женщины быть может не вышло бы и того, что из нее вышло.

В числе прочих писателей и писательниц своего времени Бунина попала в знаменитую сатиру Батюшкова — «Видение на берегах Леты».

В этой сатире всем досталось — не одной Буниной. Обжора Крылов на берегу Леты является особенно забавным: он и в аду спрашивает себе пообедать. Сатира эта написана около 1809 года, когда литературное имя Буниной было уже очень громко, как и имя Крылова, но в печати сатира эта появилась только в 1841 году, а до того времени она в течение тридцати лет ходила в рукописи и жадно читалась всеми. Бунина в «Видении» не названа по имени, а она носит там название «русской Сафо», которых тогда уже насчитывалось три — Бунина, Извекова и сочинительница драмы «Густав».

Вот что говорится в сатире о «русских Сафах», виденных поэтом в аду, на берегу Леты — реки забвения:

Тут Сафы русские печальны,
Как бабки наши повивальны,
Несли расплаканных детей.
Одна — прости Бог эту даму! —
Несла уродливую драму,
Позор для ада и мужей,
У коих сочиняют жены.
«Вот мой Густав, герой влюбленный!»
— «Ага!» — судья певице сей:
«Названия этого довольно!
Сударыня, мне очень больно,
Что вы, забыв последний стыд,
Убили драмою Густава.
В реку, в реку!» О жалкий вид!
О тщетная поэтов слава!
Исчезла Сафо наших дней
С печальной драмою своей.
Потом и две другие дамы
(На дам живые эпиграммы)
Нырнули в глубь туманных вод.

Но сатира сатирой, а история говорит не то: и Крылов не утонул в Лете — басня его обессмертила, и на имени Буниной все-таки покоится луч бессмертия.

V. СОФЬЯ ПЕТРОВНА СВЕЧИНА

Имя Свечиной еще так недавно произносилось как имя личности живой и действующей, личность эта еще на памяти многих из нас возбуждала столько толков, столько разнород-

ных отзывов о своей деятельности, еще много осталось лиц, которые знали Свечину близко, у которых хранятся еще ее письма, не успевшие пожелтеть от времени, — одним словом, все это было еще так недавно, что госпожу Свечину можно было бы поставить в число исторических личностей нашего времени, смотреть на нее как на достояние истории, еще, так сказать, не остывшей, не ставшей историей мертвых или историей в полном значении этого слова, — если б Свечина по характеру своей деятельности не принадлежала исключительно чуждому для нас XVIII веку. От всего исторического образа Свечиной, когда она была еще жива, веяло уже чем-то прошлым, отжившим свое время, веяло этой именно исторической мертвенностью, которая называется историческим бессмертием, а теперь, когда имя Свечиной отнесено, так сказать, на великое кладбище человечества, стало достоянием истории, она по праву, по времени своего рождения и по идеям, выражением которых служила вся ее жизнь, исключительно должна принадлежать восемнадцатому и началу девятнадцатого века.

Свечина умерла только в конце 1858 года.

Вот что вскоре после смерти этой бесспорно замечательной русской женщины писала о ней другая русская женщина, живой талант которой несомненно дает и ей право на историческое бессмертие.

«Очень недавно, — говорит эта даровитая русская женщина в 1860 году, — с небольшим год, как она (Свечина) сошла в могилу, и вот уже являются во Франции два больших тома, вмещающих в себе ее биографию, переписку и сочинения, найденные после ее смерти в ее бумагах. Граф Фаллу взял на себя труд этого издания и разделил честь разбирания бумаг покойницы с ее многочисленными друзьями, которых счел долгом назвать по имени или в предисловии или при заглавии отрывков из ее сочинений. Все это свидетельствует о необыкновенной важности, которую придают жизни и деятельности покойной. Действительно, г-жа Свечина была известна всему знатному, фешенебельному, ученому и особенно богомольному Парижу, она была влиятельным членом, почти центром ультрамонтанской партии. Гостиная ее соединяла всех знаменитых католиков, всех яростных приверженцев папы, в Париже носился слух, что г-жа Свечина своими советами, разговорами, своим влиянием действовала на молодые таланты католической церкви, славилась своей горячей к ней любовью, только что не доходившей до изуверства, и проповедовала всем обращение в католицизм. После ее смерти, глубоко по-

разившей всех друзей римской церкви, как говорят, речь шла даже о том, чтобы причислить ее к лику католических святых.

Свечина родилась в Москве 22 ноября 1782 года.

Отец ее был знаменитый в то время санкт-петербургский генерал-губернатор и один из приближенных к императрице Екатерине Второй статс-секретарей (secretaire intime), Петр Соймонов. Это был человек глубоко образованный по тому времени, знакомый с философскими теориями XVIII века, следовательно — ярый вольтерьянец, на глазах у которого происходили самые крупные события того замечательного времени: и французская революция, и попытки какого-то нового движения в передовых людях России, и вообще все, чем ознаменовался переход общества от XVIII к XIX веку.

Софья — так назвал Соймонов свою дочь в честь императрицы Екатерины Алексеевны, которая до принятия православия носила тоже имя Софии, — с самого раннего детства сделалась предметом горячей заботливости умного отца, который ничего не жалел для ее образования и вообще для развития своей любимицы, оказавшейся притом очень даровитым ребенком. Девочке дано было самое блестящее по тому времени воспитание, которое, конечно, главным образом отразилось на знании языков, на развитии вкуса к изящному посредством рисования, музыки и танцев.

Уже в детстве Софья проявила зародыши будущего своего характера и той крупной воли, которой она бесспорно была с избытком наделена.

Несколько рассказов из ее детства могут до некоторой степени обрисовать зачатки слагавшегося в ребенке характера.

Маленькой девочке страстно хотелось иметь часы, и обладание часами она считала чем-то недосягаемым. Зная это пламенное желание ребенка, отец подарил ей часы, которым Софья обрадовалась выше всякой меры. Но вдруг эта странная девочка решила в своем уме следующую трудную и не для ребенка задачу: лучше часов, думала девочка, нет ничего на свете, отказаться от самого дорогого предмета — большая победа над собой, как она это не раз слышала от старших, — и вот маленькая Софья решилась победить себя. Она принесла часы к отцу, отдала ему их, тот понял мотивы, руководившие странной девочкой, спрятал часы в бюро, — и с тех пор об этих часах у отца с дочерью никогда не было речи.

Конечно, это могли быть проблески будущей упругой воли, но могло руководить ребенком и тщеславие.

Замечательную волю проявила девочка и в другом случае. У Соймонова был кабинет редкостей, в котором, кроме кар-

тин, статуй и прочих замечательных предметов, находились и мумии. Для Софьи кабинет этот представлялся чем-то страшным, таинственным, потому что сухие мумии внушали ей ужас. Но она и здесь решилась победить себя: однажды девочка вошла в кабинет, когда там никого не было, вынула мумию, обхватила ее руками, прижала к себе, поцеловала и — лишилась чувств. В этом положении застал ее отец и только тут понял, что девочка боялась мумий и хотела победить в себе чувство невольного ужаса.

Рассказывают еще один случай из ее детства, из которого видно, что девочка осмысленно прислушивалась ко всему, что вокруг нее говорилось и делалось, и замечательно своеобразно относилась к тому, что ей западало в умненькую головку.

В 1789 году Софье было семь лет, когда в Петербурге особенно были горячие толки о французской революции и о некоторых наиболее крупных событиях того смутного времени. Однажды Соймонов подъезжает к своему дому и видит, что он необыкновенно освещен. Оказалось, что это сделано по приказанию семилетней девочки.

Изумленный отец спросил ее, что за причина такого освещения.

— Нам следует отпраздновать взятие Бастилии и освобождение несчастных арестантов, — отвечала девочка.

До шестнадцати лет продолжалось воспитание Софьи, но это было все-таки чисто французское воспитание, потому что о ином воспитании в то время не понимали в русских высших классах. Биограф Свечиной, граф Фаллу, говорит, что в четырнадцать лет Софья хорошо знала по-немецки, по-французски и по-итальянски, прибавляет даже, что знала хорошо и по-русски, хотя последнее известие очень сомнительно, так как Свечина во всю свою жизнь ничем не доказала своих познаний в русском языке и всю жизнь писала, говорила и думала по-французски, что и неудивительно для конца XVIII и начала XIX века, так как в известных слоях русского общества и по настоящее время господствует плохое знание родного языка, не только литературного, но и разговорного. Но взамен этого Софью учили языкам еврейскому и латинскому, так как тогда знание этих языков считалось фундаментом высшего и основательного образования.

Шестнадцати лет Софья представлена была ко двору и пожалована во фрейлины к императрице Марии Федоровне.

Относительно наружности молодой Свечиной биографы ее говорят, что она не была хороша собой, но прелестна своей неотразимой симпатичностью и своим светлым умом: ее ничем

не выдававшемуся лицу придавали особую красоту маленькие добрые голубые глаза, свежесть молодого лица и грация походки.

О матери Свечиной нет никаких известий. Видно, что на нее не легла печать влияния нежной матери.

В семнадцать лет Софья по воле отца вышла замуж за генерала Свечина, которому в то время было 42 года. Есть основание полагать, что она выходила за него, не чувствуя к нему никакого расположения, а единственно из уважения к желанию отца, тем более, что говорят, девушка была неравнодушна к одному молодому человеку, любившему ее, но не имевшему на своей стороне таких качеств и преимуществ, которые бы заставили отца Софьи предпочесть его заслуженному генералу. При всем том отец нежно любил свою дочь, и, без сомнения, не распорядился бы так самопроизвольно всей ее будущей жизнью, если б в самой Софье проявилась такая же воля не отдавать своей руки нелюбимому человеку, какую она проявила еще в детстве, возвратив отцу самую дорогую для нее вещь или до обморока пересилив в себе ужас, возбуждаемый в ней видом мумий.

Но скоро после свадьбы отца Софьи постигло большое несчастье: он был удален от дел, выслан в Москву, где вскоре и умер от удара. Это было страшным горем для дочери, потому что это был единственный человек, которого Софья горячо любила, которого не могла не любить за те добрые отношения, в каких он находился к своей дочери с самого ее детства. Это горе было первым крупным горем в ее молодой жизни, и оно-то заставило ее сосредоточиться в себе, искать утешения в такой нравственной силе, которой люди не в состоянии были дать ей.

Отсюда начало ее пиетизма, ставшего руководящей силой всей ее последовательной до могилы, но какой-то странной жизни.

В то время в России, в особенности же в Петербурге и Москве, находилось очень много французских эмигрантов, и одной из выдающихся между ними личностей был кавалер д'Огар (chevalier d'Augard), ревностный приверженец бурбонской династии и еще более ревностный приверженец католицизма. Он был в России уже на службе и занимал должность императорского библиотекаря. Свечина, страстно любившая чтение, сошлась с д'Огаром и подружилась с ним. Со стороны д'Огара было первое сильное влияние на развитие пиетизма в Свечиной, и это влияние прошло потом через всю ее последующую жизнь, вылившись в определен-

ную форму — страстной приверженности к идеям римской церкви.

Уже тридцать лет спустя, после своего знакомства с д'Огаром, Свечина писала в одном из своих писем: «Честь введения католицизма между русскими принадлежит кавалеру д'Огару. Все зависит от начала».

Но видно, что не все зависело от начала...

Скоро на жизненной дороге Свечиной явилась другая личность, которой влияние оказалось еще более неотразимо, чем влияние д'Огара, и последствия этого влияния оказались уже бесповоротны для всей последующей жизни Свечиной.

Это был знаменитый граф Жозеф де-Местр, нравственное обаяние которого испытывала не одна Свечина, но и более непреклонные личности.

Здесь лежит начало национального, религиозного и политического ренегатства Свечиной.

Свечина делается окончательно католичкой, потом окончательно перестает быть русской и окончательно даже теряет симпатии к своей родине, к своему народу, ко всей России, хотя иногда и называет ее своей родиной, сама, впрочем, не зная вполне, какой стране предпочтительно отдать это дорогое название и связанные с этим названием дорогие чувства — России или Франции.

Свечиной было двадцать пять лет, когда она познакомилась с графом де-Местром и вынесла на себе давление его моральной силы.

«В ту пору, — говорит граф Фаллу, — она горела желанием учиться, была робка мыслию, весела и откровенна в дружеском кружке, серьезна и строга, когда отдавалась мышлению, понимала все, что было высоко, была снисходительна к низшим, нежна и милосердна к бедным, дружественна к людям, погруженным в горе и раскаяние. Уж и тогда речь ее не проходила незамеченною».

В это время она читала янсениста Флери. Граф де-Местр, узнав об этом, горячо восстал против этого писателя, ревниво оберегая догматы чистого католицизма, и советовал Свечиной читать критиков и противников философских и богословских теорий Флери. Свечина горячо ухватилась и за это чтение.

В тридцати пяти томах или тетрадях оставшихся после нее заметок, выписок, личных отзывов и соображений около этого времени встречаются уже такие афоризмы, ее собственные или чужие, из которых видно, что воля ее была уже не совсем свободна и быстро шла — если можно так выразиться — к

принесению себя в жертву другой, более неподатливой воле и идеям, более, по ее мнению, последовательным. Она уже делает афоризмические заметки во всех тетрадях своих, заметки вроде того, что «сомневаться — значит, никогда не знать» или «не хотеть знать» (douter c'est toujours ignore) и т. п.

Не успела она перечитать все книги, рекомендованные ей де-Местром, как уже сделалась католичкой — и России с ее народными интересами для нее не существовало уже более. Между тем это было — если можно так сказать — такое народное время! Наступал «двенадцатый год», и Свечина ничем, по-видимому, не отозвалась на общее народное дело. Правда, она была в числе знатных дам, участвовавших в сборе пожертвований на сожженную Москву, но за этими пожертвованиями она обращалась к помощи и к посредству находившихся в России католических аббатов!..

Как отразились на Свечиной и на ее симпатиях к Франции самые события двенадцатого года, кто погиб из ее родных в этой великой народной гекатомбе, что пережила она в это второе русское «лихолетье» — из оставшихся после нее бумаг ничего не видно.

Видно только, что и глаза ее, и сердце уже исключительно смотрели на Запад, в дорогой Париж, в центр католичества, а от России сердце ее совсем отворотилось.

Когда в 1816 году де-Местр выехал из России, выехала за ним и Свечина, а за собой увлекла и своего бесцветного безвольного супруга. Муж Свечиной — это была действительно какая-то мутная личность, о которой ничего не было слышно и которая ничем и нигде не проявляла своего человеческого существования. Сорок лет Свечина таскала его за собой или скорее он тащился за нею, бросая Россию, и жил за ее спиной, постоянно в тени, никем невидимый и никому неведомый. Даже детей от него не было у Свечиной.

Тройственное ренегатство Свечиной было громадной победой для католиков: они хотели, чтоб эта победа всем казалась громадной. Поселившись в Париже, она сблизилась со всем блестящим светом этой столицы мира: тут были и государственные люди, и литераторы, и художники, и представители духовной, клерикальной аристократии. Особенной дружбой она связана была с герцогиней Дюра, у которой она и познакомилась с тогдашней светской, литературной и политической женской знаменитостью, со звездой первой величины парижского света, с госпожой Сталь, знакомства и сближения с которой Свечина страстно добивалась.

Вот с каким чисто французским эффектом произошло это знакомство. Герцогиня Дюра, чтобы свести две женские знаменитости, устроила у себя званый обед и пригласила госпожу Сталь и Свечину. Во весь обед Свечина упорно молчала. Госпожа Сталь после обеда подошла к ней и спросила:

— Мне говорили, что вы желаете со мной познакомиться: правда ли это?

— Конечно, правда. Но вы знаете, что право начать разговор принадлежит королю, — отвечала Свечина.

Для этого-то красного словца она весь обед принуждала себя молчать.

Фраза, сказанная Свечиной, разнеслась по Парижу, по светским гостиным и разом завоевала Свечиной громкую известность. С тех пор победы ее следовали за победами и Свечина сама становилась центром кружка, а потом центром партии и главой целой католической лиги, все политические нити которой она так искусно умела стянуть к себе и крепко держать в своих ловких руках до самой своей смерти. Все шло к ней за советом, за репутацией, за покровительством, за местом: она была всесильна у кардиналов и у папы.

В этом чаду славы и силы где уж было ей скучать о России и интересоваться муравьиной работой русского народа?

В 1818 году она, однако, воротилась в Россию, чтоб устроить дела по имению и навсегда потом покинуть свою родину.

Опять видно, что на Свечиной с детства не легло теплое влияние матери: для нее не существовало родины.

Впрочем, была у нее истинная родина, родина ума и сердца — это Франция, а самое сердце этой родины — Париж и католицизм. У нее у самой сердце превратилось во «французское сердце» — это буквально так было, по ее же собственным словам.

— Благодарю Бога от всего моего всецело французского сердца, — говорила она однажды. (C'est avec un coeur tout francais que je remercie Dieu.)!

Когда в Париже ей говорили иногда, что она иностранка и многого французского понять не может, она огорчалась и плакала от всего своего «французского сердца».

«Русского сердца» в нее не вложили ни жизнь, ни воспитание.

В Париже Свечина пережила и страшную для нее революцию 1848 года: она уже была старушкой, и такие потрясения были ей, конечно, не легки.

Прервав окончательно всякие умственные и кровные связи с Россией, с ее судьбой, с ее народом, Свечина не хотела, однако, продавать своих русских имений с крестьянами, говоря, что не хочет окончательно разрывать связь с родиной, что хочет оставить неприкосновенным свое наследие, свое русское достояние и что «не может отказаться от крестьян, вверенных ей Провидением!».

Это патриотическое решение объясняют, впрочем, тем, что, продав свои имения и крестьян, вверенных ей Провидением, она во Франции получала бы менее доходов, чем в России, так как там капитал и рента дают не более 3 — 4%, а в России был казенный процент 6 да даровые крепостные рабочие руки.

Между тем по поводу войны России с Францией Свечина выражалась, может быть, искренно:

— Для всех — это только война: для меня же — это междоусобная война.

В последние годы своей жизни она была дружна со знаменитым публицистом и историком Алексисом Токвилем и часто с ним переписывалась, делясь с историком своими взглядами, соображениями, сочувствуя его историческим работам, вызывая его на откровенные объяснения относительно его политических и нравственных воззрений, относительно задуманных им работ и т. п.

Вот одно из множества к ней писем Токвиля, до некоторой степени характеризующее отношения его к этой во всяком случае замечательной русской женщине:

Замок Токвиль, 1856 г., января 7.

...«Спешу благодарить вас за последнее ваше письмо, которое меня заинтересовало и тронуло, в нем вы высказались вполне. Вы показываете такую ко мне благосклонность, которую я хотел бы заслужить, дружба людей, подобных вам, налагает обязательства: за нее мало просто благодарить — ее надо оправдать.

По мере того, как я подвигаюсь в труде, которым вы так любезно интересуетесь, я чувствую, что поток чувств и мыслей влечет меня в сторону, противную той, куда стремятся мои современники. Я продолжаю страстно любить то, к чему они равнодушны. Теперь, как и всегда, я считаю свободу первым благом в мире, как и всегда, я вижу в ней источник мужественных добродетелей и великих действий. Ни спокойствие, ни благосостояние не заменят свободы. Между тем я вижу, что люди моего времени — говорю о людях честных (образ мыслей людей другого разбора меня не интересует) —

примиряются легко с другим порядком дел. Хотел бы думать и чувствовать как они, но не могу: природа моя противится этому еще более, чем моя воля.

Впрочем, не думайте, чтобы предмет моей книги сколько-нибудь касался событий и лиц нашего времени (книга о которой говорит Токвиль — это «L'Ancien Regime et la Revolution»), но вы знаете не хуже меня, что книга, самая чуждая обстоятельствам эпохи, заключает в своем направлении нечто приятное или неприятное для современников. Какая бы ни была книга, это «нечто» составляет ее дух: этим-то она привлекает или отталкивает читателей. Я слишком долго заговорился о самом себе, но в том виноваты вы сами: уверяю вас, что говорить о себе не моя привычка».

Из русских Свечина была дружна с известной фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны — Роксандой Стурдзой. Об этой дружбе свидетельствуют многочисленные письма, равно и переписка Свечиной с Александром Тургеневым о разных благотворительных делах.

Свечина, когда еще была в России, сильно восставала против распространенного тогда в Европе иллюминатства и мистицизма, господствовавшего и при дворе императора Александра Павловича, который в то время находился под сильным нравственным влиянием странной мистической личности, баронессы Криднер, о коей мы уже говорили в одном из предшествовавших очерков.

Свечина дожила почти до освобождения крестьян, которых она никак не решалась ни освободить, ни продать, как существа, «вверенные ей Провидением». Свечина, как мы видели выше, скончалась в конце 1858 г. после тяжкой болезни.

Из всего, что осталось после этой, бесспорно крупной, исторической женской личности последнего времени, видно, что это была действительно недюжинная личность, но только далеко не реальная современная сила, а смесь какого-то резонерства и религиозного педантизма с несколько сухим холодным сердцем. Тут сила была разбита в мелкие куски под молотом насильно привитой, мертвенной идеи католицизма.

Начитанность Свечиной была огромной. В ее заметках попадаются сотни выписок из всего ей прочитанного и передуманного, начиная от Пифагора, Ликурга, Марка-Аврелия, Бернардена де-Сен-Пьера, «Ночей» Юнга, проповедей Бурдалу, Жанлиса, Горация и кончая Жан-Жаком Руссо, Мармонтелем, Лагарпом, Паскалем, Дюсисом, Фенелоном, Массильоном и госпожой Сталь. Все это пересыпано личны-

ми афоризмами, куплетцами, вроде следующих резонерствующих стишков:

Bonheur et malheur sont deux frères
Qui furent toujours ennemis.
Fortune et hazard sont leurs pères
Qui furent toujours amis.

«Добро и зло — это два брата, которые, всегда были врагами. Счастье и случай — это их отцы, которые всегда были друзьями». Разве это не резонерство?

Или ее собственные афоризмы: «Une amitié serait jeune après un siècle, une passion est déjà vielle après trois mois».

Странно: дружба и деловая переписка с Токвилем — и такие институтские умственные занятия.

Мало того, в особой книге, которая носит странное название — «Airelles, klukva podsnejnaia» (клюква подснежная) — попадаются такие афоризмы: «Есть души, которые, подобно ветхозаветным жрецам, живут только жертвами, ими приносимыми».

Вся эта книга, носящая странное заглавие «клюквы подснежной», и изображенное французскими буквами, наполнена подобными, не менее странными заметками, иногда исполненными глубокого смысла, иногда же детски наивными.

Видно, что сильный женский ум не нашел своей дороги: он думал найти ее в склепе мертвых идей, чуждых живой, реальной работе человеческой мысли.

Как бы то ни было, но над судьбой этой женщины, как и над судьбой всех русских католиков, вроде иезуита Мартынова, иезуита князя Гагарина, княгини Гагариной и других, — нельзя не задуматься.

Россия вправе сожалеть, что Свечина не была ей ничем полезна.

VI. ДЕВИЦА ЛУПОЛОВА

(Параша-сибирячка)

В типах русских женщин начала девятнадцатого столетия нас не могут не поражать некоторые весьма замечательные явления.

Одна из них, например, как баронесса Криднер, своим личным обаянием, прелестью своего блестящего ума и своею блестящею красотою увлекает за собою все, что только сталкивается с ней на жизненной дороге. Когда красота ее стала проходить, у нее в запасе остается еще одна надежная си-

ла — сила ее таланта, и она, раз явившись на литературное поприще, увлекает всю интеллигенцию Парижа силою своего творчества, как незадолго перед тем она увлекала все окружающее ее силой своей красоты и личного обаяния. Ее «Валери» становится на время идеалом и образцом подражания для миллионов женщин образованной Европы, от ее творчества ждут нового еще не сказанного никем слова — и вдруг, в то время, когда Париж еще не успел бросить моды à la Valeri, Криднер отказывается от всего, чем светла и блестяща была ее жизнь, от своих друзей, от обаяния славы, и становится нищим пророком, ест черный хлеб, своими собственными руками метет улицу, кормит нищих, погружается в какой-то странный, но опять-таки обаятельный для всего окружающего мистицизм. И вот, этот по своей воле нищий мистик становится советником могущественнейшего в мире государя, дает известное направление его нравственным, политическим и религиозным стремлениям, кладет не последний камень в основу здания политического «Священного союза» сильнейших государей Европы. Женщина эта становится страшна для общественного спокойствия мелких государств Европы, потому что за ней и за ее словом идут массы, она возбуждает народное движение, где бы ни появлялась, где бы ни раздалось ее слово.

Рядом с ней и одновременно с ней выходит из России другая женская личность, которая становится нравственным средоточием громадной политической силы, несколько веков заправлявшей судьбами всего мира, средоточием католической пропаганды и сильнейшим орудием всемогущего католического рычага — иезуитов. Мы говорим о Свечиной. Весь аристократический и католический Париж, вся католическая интеллигенция, как, например, знаменитый историк и публицист Токвиль или известный французский министр и писатель Фаллу, весь монаршествующий Рим — все это преклоняется перед какою-то непостижимой моральной силой этой женщины, с нею совещаются старые вожаки католицизма, она дает протекцию молодым, будущим вожакам католической идеи. Эту женщину хотят канонизировать, внести в тот список бессмертия, который делает человека редко живучим — и не стареющим, и не умирающим в умах масс, и превращает его в предмет поклонения, в религиозный культ. Но эта женщина, как и Криднер, отвернулась от России, для той и другой чужды ее интересы, потребности и нужды ее народа, одна из них умирает, порываясь обратить симпатии России на мнимо возрождающийся древне-

греческий мир, другая — борясь за преобладание над миром идей католичества, чуждых ее покинутой родине.

Тут же наконец является еще и третья женская личность, которая также предъявляет обаяние своей нравственной силы на все, с чем она сталкивается, и эта женщина также становится пророчицей и мистиком. И где же? В среде петербургской конногвардейской молодежи, открывает свою мистическую проповедь в Михайловском дворце, становится главою какой-то религиозной секты, какого-то странного раскола, похожего на цивилизованную хлыстовщину, пока правительство не обращает на нее внимания и не лишает ее возможности действовать на несоответствующем ее званию и общественному положению поприще. И между тем эта женщина, эта хлыстовская пророчица — бывшая фрейлина, женщина из знатной фамилии, получившая воспитание в Смольном монастыре, и притом не православная по религии своего рождения. Это — Татаринова, урожденная фон-Буксгевден.

Ясно, что в трех этих личностях проявляется избыток нравственной силы, которая ищет исхода и находит его там, где указывают условия места и времени.

Но тут же рядом, в период этого начинающегося брожения нравственных сил, стоят и другие женские личности, у которых избыток внутренней силы тоже ищет исхода, но условия, в которые жизнь поставила эти личности, не дают им этого исхода: для этих последних личностей заперта дверь и в Европу, где бы они могли, подобно Криднер и Свечиной, развернуть во всей широте богатства своего духа, да притом этим личностям, не получившим европейского образования, и делать было бы нечего в Европе, для них заперта дверь и к такой деятельности, которая фрейлину Буксгевден превратила в хлыстовскую пророчицу и могла удовлетворить требованиям ее духа.

В то время, когда деятельность Криднер и Свечиной привлекает к себе внимание всей Европы, из самых далеких захолустьев русской земли, из Сибири и Вятки выходят две молоденькие девушки, которые не будучи никем руководимы, не видя ни от кого ни материальной, ни нравственной поддержки, — одна пробирается пешком из Сибири до Петербурга и спасает своего отца от вечной ссылки, другая надевает на себя грубую солдатскую амуницию, и лет восемь скрывает под этой грубой одеждой свой пол, перенося невероятные трудности войны и всякие лишения.

Мы говорим о девице Луполовой и кавалеристе-девице Дуровой.

Читая современные — 1805 года — известия о похождениях первой, мы невольно останавливаемся на мысли, что едва ли скромные, но благородные подвиги Луполовой не были тою нравственною возбудительною силою, которая дала толчок и исход богатым нравственным силам последней. Нас утверждает в этом предположении и то обстоятельство, что начало похождений Дуровой, тайно бежавшей из отцовского дома в 1806 году, совпадает именно с тем временем, когда вся Россия заговорила о похождениях Луполовой. А Луполова, между тем, пробираясь, в 1801 году, из Тобольска в Петербург, должна была пешком проходить через тот город, где росла Дурова, проводя свою юность в таких занятиях, которые так не гармонировали с ее полом.

Как бы то ни было, но Луполова и Дурова — это две родственные богатые силы, которые в жизни пошли разными путями потому только, что одна из них получила хотя какое-либо среднее дворянское, домашнее образование, другая же не получила никакого.

И замечательно, что первоначальная родина и той и другой девушки — Малороссия, бесспорно давшая России не одну даровитую личность за все время своего нераздельного с Великой Россией политического существования.

Прасковья Луполова родилась в Елисаветграде Херсонской губернии в 1784 году. Отец ее был бедный дворянин, Григорий Луполов, состоявший в чине прапорщика.

Жизненная обстановка, в которой родилась Луполова, была до того скудна, что девочке не только не дали никакого воспитания, но даже она лишена была возможности узнать русскую грамоту.

Впрочем, семейное несчастье, постигшее всех Луполовых в то время, когда Параше исполнилось только тринадцать лет, едва ли не было причиной того, что девочка осталась даже без такого первоначального образования, которое могло быть доступно и семейству бедного прапорщика: в 1798 году отец Луполовой за какие-то преступления сослан был в Сибирь с лишением чинов и дворянства.

Позор и ссылка были, таким образом, тою жизненной школой, в которой пришлось бедной девочке брать первые, тяжелые уроки жизни.

Но эти уроки, большей частью деморализующие и ожесточающие людей, в настоящем случае дали совершенно иные результаты, и именно те, которые разумел Пушкин говоря:

... Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

«Любя нежно отца своего, — говорит Бантыш-Каменский в «Словаре замечательных людей», — Луполова последовала за ним в самое заточение, утешала, подкрепляла горестную его старость. В сие бедственное для них время, одна мысль только занимала Луполову: освобождение родителя. Три года неотступно просила она, чтобы отпустили ее в С.-Петербург, где надеялась исходатайствовать прощение у милосердного государя. Дорожа ее присутствием, находя в ней последнюю отраду жизни своей, отец долго не соглашался, наконец уступил ее убеждениям».

Недостаточность сведений об этой замечательной личности, к сожалению, не позволяет нам уяснить самый процесс, с помощью которого сложилась в молодой девушке ее упрямая воля, не позволяет нам выяснить и тех нравственных побуждений, под которыми естественное чувство привязанности к отцу, сожаление о его несчастье и желание помочь ему превратились в то могучее чувство, называемое иногда словом idee fixe, иногда верою, которое горами ворочает, как образно выражается это в нашей народной речи, чувство, которое делает чудеса там, где, кажется, даже самое чудо невозможно, чувство, которое из слабого человека делает силача, труса превращает в героя, неведение делает равносильным знанию, чувство, одним словом, которое граничит с фанатизмом и безумием, с одной стороны, и гениальностью — с другой. Сказка ли, слышанная девочкой в детстве о могучих богатырях, о поисках живой и мертвой воды, сказание ли какое о подвигах великих угодников, рассказы ли старых людей о примерах великого милосердия царей — без сомнения, что-нибудь подобное засело в молодую голову и превратилось в неотвязную мысль, выросло в непоколебимую идею, стало целью, призванием жизни.

Как бы то ни было, но, когда девушке исполнилось двадцать лет, она пустилась в путь, как сказочный царевич, чтобы отыскать свободу своему отцу: она намеревалась из Тобольска пробраться в Петербург.

Все денежные средства Луполовой заключались в одном рубле.

С такими же средствами Ломоносов вышел из дому искать по белу свету знаний.

Понятно, что при таких средствах и при известной обстановке молодой странницы далекая дорога представляла для одинокой девушки, по-видимому, непобедимые трудности. Но она победила их несокрушимостью своей воли.

Добравшись до Екатеринбурга и, конечно, питаясь в пути подаянием, как питаются до сих пор многие из наших богомольцев, из Сибири доходящие до Киева и до Почаева, Луполова некоторое время оставалась в Екатеринбурге, где начала учиться грамоте. Опять замечательный факт, свидетельствующий о том, что жизненные цели и требования девушки были широки, а, между тем, сама же жизнь сузила их до самых обидных размеров.

Из Екатеринбурга до Вятки Луполовой удалось доплыть водой, потому что там каждую весну ходили суда и лодки с железными и другими товарами.

От Вятки до Казани ей опять пришлось идти пешком с котомкой за плечами, и вот в этот-то переход она должна была посетить и тот скромный город, где тосковала по несвойственной для женщины деятельности другая, подобная Луполовой, девушка, другая замечательная женская личность девятнадцатого века — Дурова, «девица-кавалерист», о которой мы скажем особо.

Наконец, только 5 августа 1804 года Луполова достигла Петербурга.

В продолжение своего трудного пути, когда Луполовой выпадали особенно тяжелые минуты и когда менее сильная личность упала бы духом, эта упрямая девушка настойчиво повторяла:

— Жив Бог! Жива душа моя!

Ведь это то же, что у Галилея, осуждаемого на смерть, срывается с языка историческая фраза об обращении земли вокруг солнца: «А все-таки она вертится!» Эта мысль о движении земли засела в мозгу, и ее не вытеснит из головы даже боязнь смерти. Это то же что у Колумба в самые страшные моменты его жизни, живо было засевшее в его мозгу упрямое убеждение: есть же какая-нибудь земля к западу от Европы — и земля нашлась. Такое непобедимое упрямство убеждения возможно только у великих людей, которые похожи на сумасшедших и действительно делаются ими, когда в их голову засядет идея, невозможная по времени, несбыточная по обстоятельствам.

Не легко было, однако, и в Петербурге Луполовой привести в исполнение заветную мечту своей молодой жизни. Время чудес прошло: достижение всякого задуманного предприятия обуславливается теперь известными формами жизни, бывает обставлено такими рамками, о которых люди, жившие во времена чудес, и понятия не имели.

Надо было написать прошение, и притом так, чтобы дело, о котором взялась хлопотать упрямая девушка, выступило из

ряда обыкновенных, выступило из рамки. Надо было это прошение подать в установленном порядке, а согласно установленному порядку, всего скорее надо было ожидать отказа на прошение: в Сибири не мало Луполовых, сосланных туда с лишением прав дворянства — закон ни для кого не должен делать исключения.

Но природа и жизнь сами иногда делают исключения. Не у всех Луполовых, не у всех сосланных в Сибирь есть такие дочери, какая была у Григория Луполова.

И действительно, упрямая девушка добивается своего. Она находит в Петербурге покровительницу в одной госпоже, «славившейся, — как говорит биограф, Луполовой, — христианской любовью к бедным и несчастным». Эта особа дала случай девушке познакомиться с одним сенатором, находившимся в комиссии для пересмотра прежних уголовных дел. В нем девушка возбудила к себе участие своей самоотверженностью, своей непоколебимой волей и настойчивым решением спасти отца, которого она страстно любила. Чувство удивления и участия к необыкновенной девушке возбуждено было и в других членах комиссии, — и просьба Луполовой была особо доложена государю Александру Павловичу.

«Александр изрек виновному помилование за добродетели его дочери, — говорит биограф Луполовой, — дозволил ему возвратиться в прежнее жилище и иметь пребывание, где пожелает, исключая обеих столиц».

Мало того, государь пожаловал девушке две тысячи рублей на обеспечение ее участи. Августейшая фамилия, со своей стороны, оказала ей денежное пособие. Петербург, «узнав о необыкновенной девушке, о Параше-сибирячке, — под этим именем Луполова сделалась известна всей России — охотно поспешил ей на помощь, оказывая знаки внимания и удивления «избавительнице отца».

О Параше-сибирячке заговорила вся Россия. Это была действительно та Параша Луполова, подвигам которой русский народ до сих пор удивляется и до сих пор рукоплещет тени исторической женщины, когда тень эта является на сцене в известной театральной пьесе, под названием «Параша-сибирячка».

Когда в Петербурге расспрашивали девушку, как не боялась она одна пуститься в далекий путь, не имея ни денег, ни поддержки, она уверенно отвечала:

— А для чего мне было бояться? Я знала, что Бог не оставляет несчастных.

Когда девушку хвалили за ее необыкновенный подвиг, она также наивно отвечала:

— За что меня хвалить? Разве дочь не должна все терпеть для отца?

Но не один Петербург и не одна Россия говорили о Параше-сибирячке: о ней заговорили в Европе, иностранные газеты разнесли ее скромное имя по всему свету. Знаменитая в то время и особенно известная в России французская писательница г-жа Котень сочинила особый роман, взяв канвой для него подвиги Луполовой и опоэтизировав ее личность. Роман этот под заглавием «Елизавета, или Пример детской любви» долго читался у нас на Руси и в остальной Европе.

Но как часто бывает с личностями, подобными Луполовой, она вышла из своего торжества не теми дверями, в которые обыкновенно выходят люди благоразумные и практические и в которые, по их мнению, должна была выйти и Луполова. Луполова и в этом случае поступила так, как никто бы ни поступил на ее месте, потому что такие личности, как Луполова, наша Антигона, не ходят путями проторенными и никогда не кончают самодовольным успокоением.

Луполова в самый момент своего торжества и славы отвернулась от всего этого и ушла в монастырь.

Богатство, замужество, счастье — все брошено.

«Уже навсегда была обеспечена участь ее, — говорит Бантыш-Каменский, — оставалось ей только наслаждаться славой в цветущих летах, вознаградить скучные дни, проведенные на севере, жизнью шумной, рассеянной, которую мы привыкли называть весельем, но Луполова среди счастья вспомнила о своем обете и удалилась в Десятинский девичий монастырь новгородской епархии».

Но недолго прожила она и в монастыре.

В декабре 1809 году Луполова умерла на двадцать пятом году жизни.

Вот что по поводу ее смерти новгородский корреспондент писал в тогдашнюю «Северную Почту»:

«В прошедшем месяце скончалась здесь известная всему свету добродетелями своими, девица Прасковья Луполова. Шесть лет тому назад пришла она пешком из Тобольска в С.-Петербург, пройдя около четырех тысяч верст, сопровождаемая одной бедностью и состраданием человечества, пришла повергнуться к престолу милосердного государя и просить о помиловании отца своего, сосланного в Сибирь в 1798 году по лишении дворянского достоинства за некоторое преступление. Еще в юных летах жизни постиг ее с матерью несчастный

жребий родителя, за которым она из детской горячности последовала и в самое заточение: желание быть избавительницей отца, возродясь тогда в ее невинной душе и возрастая купно с ее летами, заставило ее наконец совершить толикий подвиг, невзирая на все препятствия и трудности столь дальнего пути, но полагаясь во всем на Провидение Божие».

Дальше мы увидим, что в то время, когда Луполова умирала в монастыре, другая девушка, для которой Луполова была тем, чем Геродот был для Фукидида, доказывала современным и будущим женщинам, что если существует в мире рабство женщины, то цепи для этого рабства куют себе сами же женщины, и что разрешение так называемого женского вопроса находится в руках у самих же женщин.

VII. АННА ГРИГОРЬЕВНА ХОМУТОВА

Хомутова в наших очерках является не первой исторической женщиной из этой фамилии.

С одной из Хомутовых мы уже знакомы, но только под другой фамилией.

Мы знакомы с несчастной фрейлиной Марьей Даниловной Гамильтон, которая была «девкой» (как тогда называли фрейлин) при дворе Екатерины Алексеевны, супруги царя-преобразователя Петра Великого, и которой прекрасную голову за детоубийство, Петр сначала приказал отрубить через палача, потом целовал эту мертвую, отрубленную голову в виду толпы народа, затем велел положить ее в спирт и хранить сначала в кабинете своей супруги, а потом в Музее академии наук.

Фамилия графов «Гамильтонов», еще в смутное время Стюартов вышедшая в Россию из Шотландии, впоследствии, по законам естественного обрусения и народной русской фонетики, переделана была в фамилию «Хомутовых». Уже при Петре I «Гамильтоны» писались то «Гаментовы», то «Гамонтовы», то «Хаментовы», то, наконец, «Хамантовы», а потом и окончательно превратились в русскую фамилию «Хомутовых».

Фрейлина Гамильтон-Хомутова казнена в 1719 году.

Почти через столетие после этой несчастной девушки выступает на историческое поприще другая женская личность из этой обрусевшей фамилии — Анна Григорьевна Хомутова.

Она родилась в Москве в 1784 году и первое ее развитие принадлежит тому времени, когда общественное направление умов екатерининской эпохи уступало уже место другому на-

правлению, когда в обществе начало господствовать поколение женщин «институток» или «монастырок», сменившееся затем поколением женщин-мистиков.

Хомутова, по счастью, составляет исключение из этих двух поколений русских женщин: она не принадлежит ни поколению «монастырок», ни поколению женщин-мистиков, потому что домашнее воспитание не наложило на ее направление того своеобразного оттенка, какой налагало на женщину воспитание институтское, а счастливо сложившиеся условия спасли ее от увлечения мистическим направлением женщин начала XIX века.

Благоприятные условия, под которыми самостоятельно развивалась личность Хомутовой состояли, главным образом, в следующем:

Во-первых, Хомутова родилась в Москве и первое время своего развития провела в Москве же, в семействе, стоявшем несколько поодаль от петербургского общества, которое в это время испытывало на себе влияние эмигрировавшего из Франции католического дворянства, разных графов и маркизов, которые вместе с иезуитами напустили на высшее петербургское общество тонкий, но одуряющий туман мистицизма и некоторых из русских женщин аристократических фамилий увлекли в католицизм: оттого Хомутова не вышла похожею ни на Татаринову, ни на Криднер, ни на Свечину.

Во-вторых, живя и воспитываясь в Москве, Хомутова не попала в Смольный монастырь и потому не выработалась под общий тип «женщин-монастырок», со слабыми сторонами которых мы познакомились в лице Глафиры Ржевской и Нелидовой.

В-третьих, живя в Москве на свободе, она училась дома, и хотя приобрела в своем воспитании французский лоск, французскую речь, но в то же время в богатом и гостеприимном доме своего отца она постоянно видела и слышала лучших русских людей тогдашнего времени, постоянно находилась в сношениях с литературным кружком, и оттого сердце ее больше лежало к русским писателям своего времени и к их идеям, чем к французским аристократам-эмигрантам, бросившимся в набожность, и иезуитам.

Впоследствии, общество Хомутовой постоянно составляли Раевские, Ермолов, слепец-поэт Козлов, князь Вяземский, Жуковский и потом Пушкин и Лермонтов.

Отец ее был генерал-лейтенант и сенатор Григорий Аполлонович Хомутов, а мать — Екатерина Михайловна, урожденная Похвиснева.

Богатый дом Хомутовых в Москве был постоянно посещаем избранным московским обществом и так называемой литературной знатью. Кругом себя девушка видела не те примеры, какие видели монастырки, а речи вокруг нее велись не о тех предметах, о которых могли вести беседу эмигрировавшие маркизы и католические патеры.

Вот почему одна особа, знавшая Хомутову лично, говорит о ее наклонностях следующее:

«Рукоделием она мало занималась, а с любовью и увлечением следила за литературой. Имея светлый ум, прекрасную память и удивительную, щеголеватую легкость выражать свои мысли, она писала большую часть времени, записывала все, что видела и слышала, и излагала в виде повестей происшествия, случившиеся в большом свете, поэтизируя и, конечно, меняя имена и название местностей».

Бывая в Петербурге, она дружеским образом сблизилась там только с двумя женщинами, которых понятия не противоречили с ее умственным миром, — с Марией Никитичной Дурновой и графиней Анной Владимировной Бобринской.

Первая была ее руководительницей в большом свете, на гуляниях, на придворных балах.

Графиня Бобринская вводила ее в такое общество, где вопросы науки и литературы не были вытесняемы другими вопросами, которыми тогда болела петербургская аристократия, вопросами мистики, каким-то напускным пиетизмом и худо скрываемым ханжеством. У графини Бобринской устраивались литературные и музыкальные вечера, чтения, импровизация.

О личном характере Хомутовой особа, близко ее знавшая, говорит, что «душа ее была пылкая, поэтическая, сердце самое любящее», что «для родных, для друзей она забывала себя и отдавалась им с полным самоотвержением».

Важно для ее развития было и то, что в первой своей молодости она находилась в самой искренней дружбе с известным нашим поэтом-слепцом, Козловым, который приходился ей двоюродным братом.

Знакомство это и молодая дружба окончательно определили направление и симпатии девушки на всю последующую жизнь, как это почти всегда бывает с впечатлительной молодостью.

«Одна из самых сильных ее привязанностей, в первой молодости была к двоюродному брату, слепцу-поэту Козлову, — говорит госпожа Розе в своих воспоминаниях о Хомутовой. — Сходство в пылкости характеров, в любви к

поэзии, в сочувствии ко всему высокому их тесно связывало. Они оба были молоды, счастливы и часто вместе увлекались светскими веселостями, но когда страстная любовь запала в душу Козлова (это к Софье Андреевне Давыдовой, на которой он потом и женился) и долго, отчаянно его волновала, Хомутова сделалась ему постоянным, неизменным другом утешителем, со всей женственной преданностью.

Хомутова осталась девушкой.

После нашествия французов на Москву, Хомутова переехала на время в Петербург, где и жила преимущественно в обществе Дурновой и графини Бобринской.

В это время Хомутова вела уже свои записки, в которые вносила все замечательное в ее жизни, все ей виденное и слышанное, характеристики событий и личностей, с которыми она сталкивалась или которые проходили мимо нее.

В бытность ее в Петербурге в 1814 году, из Европы тревожно ожидались известия о том, что делают там наши войска, вышедшие вслед за Наполеоном I для освобождения всех европейских народов от железной диктатуры этого человека.

И вот в дневнике Хомутовой под 21 апреля записано, между прочим, что во время ее гуляния вместе с Дурновой весть о гибели Наполеона принес им знаменитый Александр Иванович Тургенев.

«Тургенев, — говорится в дневнике, — подошел к нам на набережной и сказал: «Великая европейская драма разыграна. Наполеон отказался от престола, он на острове Эльбе. Наш император во всем блеске своего величия». Пока мы разговаривали, к нам присоединился Сергей Уваров (тогда еще не граф и не министр, а только попечитель петербургского учебного округа) и вмешался в разговор. «Делиль, — сказал он, — угадал эту славную будущность в своих двух стихах, адресованных Александру:

Sur le front de Louis tu mettras la couronne:
Le sceptre le plus beau est celui, que l'on donne».

«Графиня Бобринская, проезжавшая в эту минуту в карете, остановилась и показала нам портрет генерала Сакена, назначенного губернатором Парижа. В честь этого старого друга их дома она затащила нас в кондитерскую Молинари, где донельзя угостила бисквитами и конфектами».

Все это невольно переносит воображение в ту знаменательную эпоху и ставит нас лицом к лицу с людьми, давно исполнившими свою историческую миссию и давно уже умершими.

В другом месте она в нескольких бойких строках живо рисует перед нами картину тогдашнего высшего петербургского общества, и преимущественно тогдашних женщин, которые тоже все уже давно покончили свое существование, одни забытые всеми, другие — оставившие по себе след на земле.

Гуляет она в Летнем саду и видит все петербургское общество, томимое ожиданием из Европы императора и победоносных войск, где у каждой из гуляющих есть или муж, или брат, или отец, или какой-либо другой из родственников, друзья, дорогие сердцу, возлюбленные женихи.

«Каждое утро там, в Летнем саду, — пишет Хомутова 10 мая, — сходилось все общество: князь Юсупов всегда был подле княжны Полины Щербатовой, для которой мечтали о замужестве, но увы! оно недолго продолжалось. Княгиня Салтыкова (урожденная княжна Долгорукая) гуляла, сопровождаемая большой свитой, опираясь на руку Сафоновой, как Калипсо на Евхарис, княгиня Долгорукая (урожденная княжна Гагарина), во всем блеске красоты и счастья, под руку с мужем, не замечая всех своих поклонников, княжна Лопухина, бледная, грациозная, скользила между деревьев, как очаровательное видение, красавица Нарышкина скрывала под улыбкой свое беспокойство: ветка полыни, которую она хотела вплести в венок из лавров, дрожала в ее руке, Лунина и Демидова пестро одетые, князь Гагарин, вечно озабоченный, скрестив руки, Тургенев, исправлявший тогда важные должности, приходил в сад поздно».

С Пушкиным Хомутова познакомилась только в 1826 году, и вот что по этому случаю записано в ее дневнике под 26 октября:

«Поутру получаю записку от Корсаковой (это — Марья Ивановна Римская-Корсакова, мать дочерей-красавиц, на которых Пушкин уронил луч бессмертия в своем «Онегине»): «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин», — Пушкин, возвращенный из ссылки императором Николаем, Пушкин, коего дозволенные стихи приводили вас в восторг, а недозволенные имели в себе такую всеобщую завлекательность. В 8 часов я в гостиной у Корсаковой, там собралось уже множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина, так что, когда он взошел, все они устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтобы он сказал ей хоть слово. Не будучи ни молода, ни красива собою и по обыкновению одержимая несчастною застенчивостью, я не совалась вперед, и, неприметно

для других, издали наблюдала это африканское лицо, по которому так и сверкает ум. Я слушала его без предупредительности и молча. Так прошел вечер. За ужином кто-то назвал меня, и Пушкин вдруг встрепенулся, точно в него ударила электрическая искра. Он встал и, поспешно подойдя ко мне, сказал: «Вы сестра Михаила Григорьевича, я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности».

После Хомутова очень сблизились с Пушкиным, часто потом они виделись, беседовали о литературе. Летом 1836 года уже перед смертью поэта, Хомутова постоянно видала его, особенно у Раевских.

Но с Козловым ей пришлось вновь свидеться не ранее тридцатых годов. Лет двадцать они не видели друг друга: расстались молодыми, полными надежд и сил, а встретились почти стариками, хотя, как говорит г-жа Розе, «с живым чувством постоянной дружбы и ярким воспоминанием молодости, не увядающей в таких сердцах».

Козлов давно уже был живой развалиной: разбитый параличом, слепой, безногий — он сам уже не мог двигаться, и как евангельский расслабленный постоянно лежал на своем одре.

Встреча с Хомутовой, которую он когда-то любил, с которой делился каждым движением своего сердца, каждой мыслью, сильно потрясла больного поэта.

Глубокое впечатление этой встречи излилось в прекрасных стихах поэта под названием: «К другу весны моей после долгой разлуки».

В это же время Хомутова познакомилась и с Лермонтовым.

— Последний, — говорит г-жа Розе, — узнав случайно из оживленного рассказа поэта Козлова, сколько былого счастья шевельнулось в его душе при этой неожиданной встрече в тогдашней его грустной жизни, написал к Хомутовой эти прекрасные стихи, которыми как бы осветил историческую память и поэта-слепца и его друга-женщины:

Слепец страданием вдохновенный
Вам строки чудные писал,
И прежних лет восторг священный
Он перед вами изливал.
Он вас не зрил, но ваши речи,
Как отголосок юных дней,
При первом звуке новой встречи
Его встревожили сильней.
Тогда признательную руку
В ответ на ваш приветный взор,
Навстречу радостному звуку

Он в упоении простер.
И я — поверенный случайный
Надежд и дум его живых,
Я буду дорожить, как тайной,
Печальным выражением их.
Я верю, годы не убили,
Изгладить даже не смогли
Все, что вы прежде возбудили
В его возвышенной груди.
Но да сойдет благословение
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновение
Умели снять венец мучения
С его преклонной головы.

О Хомутовой рассказывают, что память у нее была удивительная: она помнила решительно все, что читала, могла сказать наизусть целые поэмы и запоминала целиком разговоры. Она знала дни рождения и именин всех знакомых и напоминала им все эпохи их жизни.

В сороковых годах она, расставшись с Москвой, с литературными и великосветскими кружками, жила в Ярославле со старшим братом своим Сергеем, и там занималась воспитанием его семейства. Она учила истории детей его, двух племянников, племянницу и одну сиротку, Екатерину Розе, сообщившую в печати некоторые любопытные сведения о жизни своей учительницы, одной из самых симпатичных женских личностей старого времени, еще, впрочем, так недалеко от вас отошедшего.

При своих уроках Хомутова не пользовалась ни книгами, ни руководствами, но просто диктовала своим ученикам по памяти историю каждого государства отдельно и никогда при этом не путалась ни в фактах, ни в хронологическом их размещении.

В Ярославле она прожила до смерти старшего брата.

Затем вместе с дочерью его она является вновь в Петербург, но уже дряхлой старухой. Не многие встретили ее из старых знакомых, потому что раньше ее покончили счеты с жизнью, а что уцелело от старого времени, то встретило ее по-прежнему сочувственно.

Но Петербург, который она когда-то так хорошо описывала, теперь виднелся ей только из окна: старушка уже в креслах доживала свой век, перешагнув за вторую половину девятнадцатого столетия.

Умерла она в 1856 году на семьдесят втором году жизни и отвезена в ярославскую деревню Хомутовых, где и похоронена.

Не так похоронена была, как мы видели, ее бабушка или прабабушка — фрейлина Гамильтон.

Но другое время — другие люди.

VIII. НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА
(Кавалерист-девица)

Если бы женская личность, имя которой поставлено в заголовке настоящего очерка, жила в более отдаленные времена, то, прочитав рассказ о ней в каком-либо древнем хронографе, мы подумали бы, без сомнения, что это — продукт творческой фантазии народа, повествовательная фабула, измышленная по примеру средневековых легендарных сказаний об Александре Македонском, о Карле Великом, о рыцаре Баярде, что это, одним словом, романтический вымысел, которым услаждается воображение человека, сознающего в то же время, что выводимая перед ним личность — не реальная личность, а идеал, достижение которого возможно лишь только в представлении.

Но женская личность, о которой мы говорим, жила так недавно, умерла на нашей памяти — это была реальная женская личность, которую многие до сих пор помнят, вспоминают о ней, потому что любили ее, были с ней дружны, видели ее старческое увядание и смерть. Могила ее еще не пострадала от времени. То, что она писала — до сих пор читается с интересом.

А между тем жизнь этой странной женщины представляется чем-то сказочным, невероятным, отдающим далекой, неслыханной, положительно мифической стариной.

Женщина эта — Надежда Дурова, известная под именем «кавалериста-девицы».

События ее молодости возбуждают глубокое удивление, и именно в настоящее время Дурова, как необыкновенное явление, заслуживала бы серьезного изучения, потому что то, что сделала эта женщина, служит самым веским аргументом в пользу того, что женщина способна на всякое великое дело в такой же мере, как и мужчина, и что, при известном направлении ее воли и при известном воздействии на нее обстоятельств жизни и воспитания, различие, полагаемое между мужчиною и женщиною и основанное на некотором физиологическом неравенстве или скорее половом несходстве, окончательно падает перед живым доказательством совершенно противного, представляемым личностью этой именно девицы Дуровой.

Нельзя без особенного глубокого чувства удивления смотреть на портреты этой женщины, находящиеся в устарелых ныне изданиях и, без сомнения, известные большинству читателей.

Один из этих портретов приложен к изданным в 1839 году Дуровой собственным «Запискам», в которых она говорит о своей богатой приключениями жизни. На портрете этом, к сожалению, очень не искусно сделанном, Дурова изображена молоденькой девочкой четырнадцати лет: личико девочки полно детской невинности, но оно несколько задумчиво, грустно и даже, по-видимому, робко, девическая коса ее не подчинена никаким законам прически, а просто спадает на спину позади плеч, беленькое простое платьице без всяких украшений ясно говорит, что это ребенок, еще не сознающий в себе женщины, но признаки физической возмужалости несомненно обнаруживают, что девочка развивается в женщину, растет, крепнет.

Другой портрет, приложенный к известному изданию «Сто русских литераторов», изображает Дурову уже пожилой женщиной, пожалуй старухой, но эта старушка облечена в военную форму, на груди у нее блестит Георгиевский крест. Кроткое, хотя некрасивое, но симпатичное лицо смотрит также задумчиво, по-видимому, грустно и даже несколько робко.

Шестьдесят лет назад именем Дуровой была полна вся Россия: об ней говорили, начиная от царского дворца и кончая бедной мужицкой хатой. Теперь только ее имя забыто, как забывается все на свете, вытесняемое другими именами, другими событиями.

Вот что в 1836 году уже писал знаменитый поэт наш А. С. Пушкин в тогдашнем «Современнике»:

«В 1808 году молодой мальчик по имени Александров, вступил рядовым в конно-польский уланский полк, отличился, получил за храбрость солдатский Георгиевский крест и в том же году произведен был в офицеры в мариупольский гусарский полк. Впоследствии перешел он в литовский уланский и продолжал свою службу столь же ревностно, как и начал.

По-видимому, все это в порядке вещей и довольно обыкновенно, однако ж это самое наделало много шуму, породило много толков и произвело сильное впечатление от одного нечаянно открывшегося обстоятельства: корнет Александров был девица Надежда Дурова».

«Какие причины заставили молодую девушку хорошей дворянской фамилии, оставить отеческий дом, отречься от

своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тайные, семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная, неукротимая склонность? Любовь?.. Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время сильно занимали общество».

«Ныне Надежда Андреевна Дурова сама разрешает свою тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем издателями ее любопытных записок. С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной, с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным».

Вот какой глубокий интерес возбуждала эта женщина в людях, до которых доходили только отголоски о том, что была эта женщина для своих современников.

Мы позволяем себе несколько долее остановиться на этой действительно замечательной личности нашего, еще столь свежего, прошлого.

Дурова, по матери, энергические наклонности которой она, по-видимому, наследовала и силою своей воли направила их таким необыкновенным путем, ведет свой род из Малороссии, неоспоримо давшей России немало личностей, которыми смело может гордиться великая семья русского народа.

Она была из роду Александровичей и против воли родителей вышла замуж за гусарского ротмистра Дурова. Когда отец не соглашался выдать ее замуж за Дурова, девушка бежала ночью из своего дома и тайно обвенчалась с тем, кого избрало ее своевольное сердце. Отец проклял непокорную дочь.

Молодые Дуровы вели скитальческую, полковую жизнь — постоянно на марше, постоянно в походах, в лагере, в палатке.

Мать страстно желала иметь сына, которого она намеревалась назвать Вадимом или иным романтическим именем, и вместо сына после страшных мук, доведших ее до продолжительного обморока, родила девочку.

Когда родильница пришла в чувство, она потребовала к себе ребенка. Вместо сына ей подали дочь. Мать оттолкнула от себя несчастную девочку и с тех пор возненавидела ее.

Вследствие походной жизни родителей, девочка и родилась и воспиталась на марше. Бродячая жизнь, неудобства скитания с грудным ребенком еще более ожесточили мать против неудачно родившейся дочери.

Однажды ребенок так сильно раскричался в дороге, так долго не давал матери спать, что она, выведенная из терпения, выбросила малютку из окна кареты, прямо под копыта гусарских лошадей.

«Гусары, — говорит о себе Дурова в своих записках, — вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни, они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло».

Седло — первая колыбель Дуровой.

Огорченный отец боялся потом отдать малютку матери, а передал ее на попечение своего флангового гусара Астахова.

«Воспитатель мой Астахов, — говорит Дурова, — по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронные конюшни, сажал на лошадей, давал играть пистолетами, махал саблею, а я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали, вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим перед зарей разные штучки, я слушала и наконец засыпала».

Так своеобразно рос ребенок.

Начав сознавать себя, девочка стала бояться матери. Увидя ее, ребенок обмирал со страху и хватался ручонками за гусарскую грубую шею своего любимца Астахова.

Девочке пошел пятый год, когда отец ее вышел в отставку.

Маленькая Надя (так звали девочку) должна была разлучиться с своим пестуном Астаховым, к которому успела сильно привязаться.

«Взяв меня из рук Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела, всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим, я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтоб она дала мне пистолет пощелкать».

Вырастая, девочка усваивает себе привычки и наклонности самого живого и резвого мальчика, она бегает везде, везде раздается ее голос: «эскадрон направо! заезжай! с места марш-марш!» Мать в отчаянии, журит, наказывает ее, но все напрасно.

Отец получил место городничего в одном городе, на Каме — и они переехали жить в этот город.

Девушка говорит, что мать ее сама развила в ней страсть к свободе и к военной жизни, не понимая того, что делает.

«Она не позволяла мне, — говорит Дурова, — гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса, я должна была целый день сидеть в ее горнице и плесть кружева, она сама учила меня шить, вязать и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется, и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам».

Но вот девочке уже десять лет. Мать говорит отцу при ребенке, что боится огня ее глаз, боится этой дикой воспитанницы флангового гусара и что желала бы лучше видеть свою дочь мертвой, нежели с такими наклонностями.

Вследствие этого упрямая мать продолжает держать девочку взаперти, не позволяет ей ни одной детской радости.

«Я молчала и покорялась, — замечает Дурова, — но угнетение дало зрелость уму моему, я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и как взрослая начала обдумывать план успеть в этом. Я решилась употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья, и переодевшись уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действо замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая украсться от надзора матушки, эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости, она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть, темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье, я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу».

За этим следовали, конечно, выговоры, жесткая несдержанная брань и наказание не всегда умеренное, даже жестокое.

Прошло еще два года.

Отец купил себе черкасского жеребца под верховую езду. С этой поры все планы девочки сосредоточиваются на этом диком коне: она учит его привыкать к себе, кормит хлебом, сахаром, солью, всем, что она могла отыскать, — и дикий конь привязывается к девочке, знает ее, ходит за ней, как овца.

Каждое утро, когда еще все спали, маленькая Надежда садилась на своего Алкида — так звали коня — и скакала по двору. Алкид сделался ее другом в полном значении этого слова, как мы и увидим далее.

«С каждым днем, — продолжает Дурова, — я делалась смелее и предприимчивее, и исключая гнева матери моей, ни-

чего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте, я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье...»

По ночам она скакала на своем коне в поле, карабкалась по горам. В семействе ее думали даже, что она лунатик, когда видели ее в ночное время пробирающейся к конюшне, к своему Алкиду.

На четырнадцатом году девочку отвезли в Малороссию к бабке Александровичевой.

«Мне наступал уже четырнадцатый год, я была высока ростом, тонка и стройна, но воинственный дух мой рисовался в чертах лица, и хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка моя говорили мне, что я совсем не хороша собой. Лицо мое было испорчено оспой, черты неправильны, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость напечатлели на физиономии моей выражение страха и печали. Может быть, я забыла бы наконец все гусарские замашки и сделалась бы обыкновенной девицей, как и все, если бы мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве, что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы, что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему, что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этого описания, я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим».

И отец говорил нередко, что желал бы иметь сына на старость, вместо нее — Надежды. А она, между тем, так любила отца.

Все это, само собой разумеется, развило в ней отвращение к ее собственному полу — и она искала выхода из своей нравственной каторги.

В Малороссии она несколько отдохнула, успокоилась, даже немного помирилась с мыслью, что она женщина. «Здесь, — говорит она, — меня не шнуровали и не морили над кружевом».

И девушке стало там легко, свободно — женщину не бранили там, не проклинали самую принадлежность к несчастно-

му полу, там, напротив, занялись девушкой, ласкали ее, сводили загар с ее лица, там нашлась для нее и сверстница, соседка, девица Остроградская. Дурова скоро сошлась с ней — и девушки начали читать вместе, рисовать, гулять.

Там же, в Малороссии, молодая девушка почувствовала было в себе пробуждение женских инстинктов — она увлеклась было одним молодым человеком, Кирьяком, и уже вполне покорилась было своему призванию, как женщина, покорилась без протеста, без сожаления, без боязни, потому что испытала прилив нового чувства...

Но мать молодого человека поставила пропасть между им и девушкой — и последняя должна была сама раздавить в себе только что зарождавшееся чувство.

Она воротилась домой — и в ней снова воскресли ее прежние симпатии, Малороссия была забыта... Снова на сцене Алкид, ружье, дикая скачка по полю.

По ее просьбе, отец, ни в чем не отказывавший своей любимой дочери, велел сшить ей «казачий чекмень» и подарил в ее собственность Алкида. Девушка ездит с отцом кататься, привыкает к жизни наездника, отец учит ее красиво сидеть, крепко держаться в седле и ловко управляться с лошадью.

Девушке пошел шестнадцатый год.

Но вот в их город приходит казачий полк. Полковник и офицеры этого полка часто бывают у отца Дуровой, но девушка прячется от них, потому что, задумав бежать за этим полком, она боялась, чтоб казаки впоследствии не узнали ее, приглядевшись к ее наружности.

15 сентября 1806 года казаки вышли из города. Девушка решилась бежать 17 числа — в день своих именин.

«В день семнадцатого сентября, — говорит она, — я проснулась до зари, и села у окна дожидаться ее появления может быть, это будет последняя, которую я увижу в стране родной. Что ждет меня в страшном свете? Не понесется ли вслед за мною проклятие матери и горесть отца? Будут ли они живы? Дождутся ли успехов гигантского замысла моего? Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель действий моих! Мысли эти толклись в голове моей, то сменяли одна другую...».

Перед ней на стене висела отцовская сабля.

«Я сняла саблю со стены, — продолжает она, — и, смотря на нее, погрузилась в мысли, сабля эта была игрушкой моей, когда я была еще в пеленах, утехой и упражнением в отроческие лета, и почему ж теперь не была бы она защитой и славой моей на военном поприще? Я буду носить тебя с

честью, — сказала я, поцеловав клинок, и вкладывая ее в ножны.

День этот я провела с моими подругами. В одиннадцать часов вечера я пришла проститься с матушкой, как то делала обыкновенно, когда шла уже спать. Не имея сил удержать чувств своих, я поцеловала несколько раз ее руки и прижала их к сердцу, чего прежде не делала и не смела делать. Хотя матушка и не любила меня, однако же, была тронута необыкновенными изъявлениями детской ласки и покорности, она сказала, целуя меня в голову: «Поди с Богом»! Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слыхавшей ни одного ласкового слова от матери своей. Я приняла их за благословение, поцеловала впоследнее руку ее и ушла.

Комнаты мои были в саду. Я занимала нижний этаж садового домика, а батюшка жил вверху. Он имел обыкновение заходить ко мне всякий вечер на полчаса. Он любил слушать, когда я рассказывала ему где была, что делала или читала. Ожидая и теперь обычного посещения отца, положила я на постель за занавес мое казацкое платье, поставила у печки кресла, и стала подле них дожидаться, когда батюшка пойдет в свои комнаты. Скоро я услышала шелест листьев от походки человека, идущего по аллее. Сердце мое вспрыгнуло! Дверь отворилась и батюшка вошел! «Что ты так бледна?» — спросил он, садясь в кресла. — «Здорова ли?» Я с усилием удержала вздох, готовый разорвать грудь мою, последний раз отец мой входит в комнату ко мне с уверенностью найти в ней дочь свою! Завтра он пройдет мимо с горестью и содроганием. Могильная пустота и молчание будут в ней... Батюшка смотрит на меня пристально: «Что с тобой? Ты, верно, нездорова?» — Я сказала, что только устала и озябла. — «Что ж не велишь протапливать свою горницу? Становится сыро и холодно».

Настала минута прощания.

«Прощай, ложись спать», — сказал батюшка, вставая и целуя меня в лоб. Он обнял меня одною рукою и прижал к груди своей, я поцеловала обе руки его, стараясь удержать слезы, готовые градом покатиться из глаз. Трепет всего тела изменил сердечному чувству моему. Увы! Батюшка приписал его холоду. «Видишь, как ты озябла», — сказал он. Я еще раз поцеловала его руки. «Добрая ночь!» — промолвил батюшка, потрепав меня по щеке, и вышел. Я стала на колени близ тех кресел, на которых сидел он, и, склонясь перед ними до земли, целовала, орошая слезами то место пола, где стояла нога его».

Девушка, сколько боялась матери, столько любила отца, к которому страстно была привязана. Это был, по-видимому, добрый, хороший человек, и Дурова везде его хвалит с увлечением, хотя и не скрывает, что он имел слабости — был неверен ее матери и не только любил других женщин, но, как сама она выражается «переходил от привязанности к привязанности».

«Через полчаса, — продолжает Дурова, — когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб скинуть свое женское платье, подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот, и начала одеваться в казачью униформу. Стянув стан свой черным шелковым кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала преобразившийся вид свой: остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию, я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой».

Таким образом, возврата к прежнему для этой странной, энергической девушки уже не было.

«Наконец, — говорит она далее, — дверь отцовского дома затворилась за мной и — кто знает — может быть, никогда уже более не отворится для меня!..»

На берегу Камы она бросила на песок капот свой со всеми принадлежностями женского туалета: «Я не имела варварского намерения заставить отца думать, что я утонула, и была уверена, что он не подумает этого».

Девушка вышла на гору.

«Ночь была холодная и светлая, месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с гор: за Камой, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные, обширные леса и зеркальные озера рисовались как на картине. Город, у подошвы утесистой горы, дремал в полуночной темноте, лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла... Что мыслит теперь отец мой? Говорит ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придет уже пожелать ему доброго утра?»

Слуга ждал ее на горе с Алкидом. Девушка собралась как бы на обыкновенную ночную прогулку — и, сев на коня, ускакала надолго, очень надолго, если не навсегда...

«Версты четыре Алкид скакал с одинаковой быстротой, но мне в эту ночь надобно было проехать пятьдесят верст до селения, где, я знала, что была назначена дневка казачьему полку. Итак, удержав быстрый скок моего коня, я поехала

шагом, скоро въехала в темный сосновый лес, простирающийся верст на тридцать. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ехать шагом и, окруженная мертвой тишиной леса и мраком осенней ночи (так как луна успела скрыться), погрузилась в размышления: итак я, на воле... свободна... независима! Я взяла мне принадлежащее — мою свободу! — драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку. Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим и наградой!»

На рассвете она приехала к месту казацкой дневки. Для нее началась жизнь — и как тяжко добывался ей каждый шаг в этой жизни, буквально ей созданной.

При расспросах полковника казачьего полка, девушка назвалась Александром Васильевичем Дуровым, сыном дворянина, ушедшим тайно от отца, потому что отец не хотел отпустить молодого человека в войско.

Полковник позволил ей ехать с своим полком до того места, где она могла приписаться в один из регулярных полков, так как в казаки ей, не урожденному казаку, поступить было нельзя.

Казакам она сразу полюбилась. Она казалась им «малолетком». У «малолетка» этого они находили «черкесскую талию», у него была хорошая посадка на седле, хороший конь, и грубым, но добрым казакам одинокая девушка, принятая ими за мальчика, пришлась по душе.

В тот же день она уехала с полком. Казаки, выступив в поход, запели свою любимую песню:

«Душа добрый конь!»

«Меланхолический напев ее, — говорит Дурова, — погрузил меня в задумчивость: давно ли я была дома, в одежде пола своего, окруженная подругами, любимая отцом, уважаемая всеми, как дочь градоначальника! Теперь я казак, в мундире, с саблей, тяжелая пика утомляет руку мою, не пришедшую еще в полную силу. Вместо подруг меня окружают казаки, которых наречие, шутки, грубый голос и хохот трогают меня. Чувство, похожее на желание плакать, стеснило грудь мою. Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла ее и прижалась к ней лицом... Лошадь эта была подарок отца. Она одна оставалась мне воспоминанием дней, проведенных в доме его... Наконец, борьба чувств моих утихла, я опять села прямо и, занявшись рассматриванием грустного осеннего ландшафта, поклялась в душе никогда не позволять воспоминаниям ослаблять дух мой, но с твердо-

стью и постоянством идти по пути мною добровольно избранном».

Так дошла она до земель донского войска.

Когда полк был распущен по домам, то полковник взял юного воина с собой в станицу, догадываясь, что мальчик сам не найдет дороги к армии, а что удобнее ему будет дойти вместе с казаками. Жена полковника приласкала этого странного, застенчивого юношу, как своего сына, и девушка довольно долго оставалась в этой доброй семье, в Раздорской станице. Наконец, она вышла в поход вместе с атаманским полком. Поход продолжался всю зиму, и только к весне полк дошел до м. Дружкополя, на Буге. Там квартировал брянский мушкетерский полк генерала Лидерса.

Оттуда казаки пошли в Гродно. Пошла за ними и девушка.

В Гродно она поступила в конно-польский полк — и вот она улан, кавалерист... Каждый день она на учении. Она усердно изучает военное дело, изучает неустанно, энергически, так что нельзя не удивляться этой упругой, несокрушимой воле поистине удивительной девушки, почти ребенка — ведь ей только шестнадцать лет!

Молоденького уланика все полюбили сразу: ротмистр Казимирский ласков к ней, часто приглашает к себе, бережет ее как матушкина сынка, а это между тем была батюшкина дочка. Добрый ротмистр, офицеры и товарищи уланы-солдаты не подозревают, что под уланским кивером кроется погибшая девичья коса...

Для девушки начинается настоящая жизнь солдата, рядового труженика, чернорабочего воина — трудовая жизнь.

И вот в это-то время Дурова обращается со своим замечательным словом к женщине вообще и по преимуществу к девушкам:

«Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда! Я ей дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце! Ею проникнуто мое существование, ей оживлено оно! Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восхищение! Одни только вы можете знать цену моего счастья! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения, которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечной защитой, Бог знает от кого и от чего! Вы, повторяю, одни только вы можете понять, каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев, и при мысли, что по всем этим местам я

могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения. Я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: «Ты, девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться». Увы, сколько прекрасных ясных дней началось и кончилось, на которые я могла только смотреть заплаканными глазами сквозь окно, у которого матушка приказывала мне плесть кружево».

Но тяжко подчас приходилось девушке и в этой новой, добровольно избранной ею жизни. Не всякому и мужчине было бы по плечу то, что она выносила на своих нежных плечах, созданных для кружев, газа, блонды или для того, чтобы быть обнаженными на блестящем бале.

Ротмистр Казимирский назначил Дурову в первый взвод вместе с новым товарищем ее Вышемирским под команду поручика Бошнякова.

Квартируют они в Литве, в этой бедной, бесхлебной стороне. Голодают привыкшие ко всему солдаты, голодает и не привыкшая к этому девушка. Но она голодает по воле — живуча ее энергия, и эта энергия поддерживает ее слабеющее молодое тело.

Какая бы девушка вынесла хотя бы следующую жизнь:

«Более трех недель сидим мы здесь: мне дали мундир, саблю, пику, такую тяжелую, что мне кажется она бревном, дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами, все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надеюсь, однако ж, привыкнуть, но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть — так это к тиранским казенным сапогам! Они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую, нога моя была свободна и легка, а теперь! Ах, Боже! Я точно прикована к земле тяжестью моих ног и огромных брячащих шпор!

С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться и, будучи всякий день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа четыре сряду, успеваю нарыть столько, чтобы наполнить им мою фуражку, тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке, чтобы она сварила ее, суровая эта женщина всегда с ворчанием вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчанием высыпает в горшок и, когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу. Что за злая баба! А кажется, ей нечего жалеть картофеля,

он весь уже снят и где-то у них запрятан, плод же неусыпных трудов моих не что иное, как оставшиеся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшиеся от внимания работавших».

Но девушка не унывает, не падает духом, не думает о возврате домой к нежно любящему ее отцу.

Прошло немного времени — и вот она мечтает о битвах, она счастлива, что полк их идет в дело, за границу, против страшного Наполеона.

«Мы идем за границу! В сражение! — восклицает она. — Я так рада и так печальна! Если меня убьют, что будет со старым отцом! Он любил меня...»

«Через несколько часов я оставлю Россию и буду в чужой земле... Пишу к отцу, где я и что я теперь. Пишу, что, падая к стопам его и обнимая колена, умоляю простить мне побег мой, дать благословение и позволить идти путем, необходимым для моего счастья. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и они будут говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велено выводить лошадей, мы сию минуту выступаем, мне позволяют ехать, служить и сражаться на моем Алкиде. Мы идем в Пруссию...»

Наконец она сталкивается лицом к лицу со смертью — и не пятится назад.

22 мая 1807 года в Гутштадте она записывает в своем дневнике:

«В первый раз еще видела я сражение и была в нем. Как много пустого наговорили мне о первом сражении, о страхе, робости и, наконец, отчаянном мужестве. Какой вздор! Полк наш несколько раз ходил в атаку, но не вместе, а поэскадронно. Меня бранили за то, что я с каждым эскадроном ходила в атаку: но это, право, было не от излишней храбрости, а просто от незнания, я думала, так надобно, и очень удивлялась, что вахмистр чужого эскадрона, подле которого я неслась как вихрь, кричал на меня: «Да провались ты отсюда! Зачем ты здесь скачешь?» Воротившись к своему эскадрону, я не стала в свой ранжир, но разъезжала поблизости: новость зрелища поглотила все мое внимание, грозный и величественный гул пушечных выстрелов, рев или какое-то рокотание летящего ядра, скачущая конница, блестящие штыки пехоты, барабанный бой и твердый шаг и покойный вид, с каким пехотные полки наши шли на неприятеля, все это наполняло душу мою такими ощущениями, которых я никакими словами не могу выразить...»

Во время битвы она увидела, что несколько человек неприятельских драгун, окружив русского офицера, выбили его

выстрелами из седла. Раненый офицер упал, и драгуны хотели рубить его лежащего. И что же делает эта шестнадцатилетняя девочка?

«В ту же минуту, — говорит она, — я понеслась к ним, держа пику на перевес. Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались врозь...»

Она спасла раненого, посадила его на свою лошадь и отправила в обоз, а сама осталась спешенной в самой жаркой сече. Спасенный ею раненый был Панин, офицер из знатной фамилии.

Труды боевой жизни истомили наконец этого необыкновенного ребенка, истомили физически, но не сломили ее духа, ее упрямой воли: истомили ее необычайные трудности летучей войны — голод, холод, недостаток сна, сырость, спание в болотах.

«Есть, однако ж, границы, далее которых человек не может идти! — записывает она в своем дневнике. — Я падала от сна и усталости, платье мое было мокро. Двое суток я не спала и не ела, беспрерывно на марше, а если и на месте, то все-таки на коне, в одном мундире (у меня украли шинель), беспрестанно подверженная холодному ветру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабевали от часу более. Мы шли справа по три, но если случался мостик или какое другое затруднение, что нельзя было проходить отделениями, тогда шли по два в ряд, а иногда и по одному, в таком случае четвертому взводу приходилось стоять по несколько минут неподвижно на одном месте, я была в четвертом взводе и при всякой благодетельной остановке его вмиг сходила с лошади, ложилась на землю и в ту же секунду засыпала. Взвод трогался с места, товарищи кричали, звали меня, и, как сон часто прерываемый не может быть крепок, то я тотчас просыпалась, вставала и карабкалась на лошадь, на своего Алкида, таща за собой тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановке, я вывела из терпения своего унтер-офицера и рассердила товарищей: все они сказали мне, что бросят меня на дороге, если я еще хоть раз сойду с лошади: «Ведь, ты видишь, что мы дремлем, да не встаем же с лошадей и не ложимся на землю, делай и ты так». Вахмистр ворчал вполголоса: «Зачем эти щенята лезут в службу! Сидели бы в гнезде своем!» Остальное время я оставалась уже на лошади — дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида, поднималась с испугом: мне казалось, что я падаю! Я как будто помешалась. Глаза открыты, но

предметы изменяются как во сне. Уланы кажутся мне лесом, лес уланами. Голова моя горит, но сама дрожу, мне очень холодно. Все на мне мокро до тела...»

Трудно поверить, чтобы человек мог все это выносить, а между тем это выносила нежная девочка — и ужасы битвы, пожженные села, трупы убитых товарищей и неприятелей, — и девочка видела все это и не пятилась назад.

Она выносит на своих плечах и Фридланд — это страшное воспоминание из нашего прошлого.

«В этом жестоком и неудачном сражении, — говорит она, — храброго полка нашего легло более половины! Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и в свою очередь не один раз были прогнаны. Нас осыпали картечью, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня. О, я их терпеть не могу! Дело другое ядро. Оно по крайней мере ревет так величественно, и с ним везде короткая разделка. После нескольких часов жаркого сражения остатку полка нашего велено несколько отступить для отдохновения. Пользуясь этим, я поехала смотреть, как действует наша артиллерия, вовсе не думая того, что мне могут сорвать голову совершенно даром. Пули осыпали меня и лошадь мою, но что значат пули при этом диком, безумолкном реве пушек...»

И тут она спасает одного улана своего полка. Раненный в голову улан обезумел — ездит по полю, но не падает — прирос к седлу, по привычке: кажется, и мертвый он не упал бы со своего коня, потому что девушке прямо говорили старые солдаты, что улан никогда, даже убитый, не должен падать с лошади — он имеет право упасть только вместе с конем!

Девушка берет ополоумевшего от раны товарища и доставляет в безопасное место, сама подвергаясь тысячам опасностей.

Генерал Баховский, когда она раз воротилась к эскадрону после спасения одного товарища, не вытерпел и стал бранить ее за безрассудную храбрость, говоря, что «храбрость ее сумасбродная, сожаление безумно», что «бросается она в пыл битвы, когда не должно, ходит в атаку с чужими эскадронами, среди сражения спасает встречного и отдает лошадь свою кому вздумается, а сам (сам — он!) остается спешенным среди сильнейшей сшибни».

После этой боевой, тяжелой жизни войска возвращаются в Россию. Они в Полоцке.

Слухи о необыкновенной девушке доходят наконец и до государя императора Александра Павловича.

Вот что она пишет по этому случаю в Полоцке:

«Какой-то важный переворот готовится в жизни моей. Каховский спрашивал меня: согласны ли были мои родители, чтобы я служила в военной службе, и не против ли их воли это сделалось? Я тотчас сказала правду, что отец и мать моя никогда б не отдали меня в военную службу, но что, имея непреодолимую наклонность к оружию, я тихонько ушла от них с казачьим волком. Хотя мне только семнадцать лет, однако ж я имею уже столько опытности, чтобы угадать тотчас, что Каховский знает обо мне более, нежели показывает, потому что, выслушав мой ответ, он не показал и виду удивления к странному образу мыслей моих родителей, не хотевших отдать сына в военную службу, тогда как все дворянство предпочтительно избирает для детей своих военное звание. Он сказал только, что мне должно ехать в Витебск к Буксгевдену с господином Нейдгардтом, его адъютантом».

Тут был и Нейдгардт. Молча поклонившись необыкновенной девушке, он повел ее к себе на квартиру. У нее взяли оружие. Когда он ввел ее в зал, из всех дверей повысовывались головы — все догадывались, что под этой странной личностью кроется что-то не то, за что выдает себя молодой уланик.

Привезли ее затем в Витебск к главнокомандующему.

Точно сказочная Жанна д'Арк воскресла в России и явилась продолжать свое дело.

— Я много слышал о вашей храбрости, — сказал Буксгевден: — и мне очень приятно, что все ваши начальники отозвались об вас самым лучшим образом... Вы не пугайтесь того, что скажу вам, — продолжал он: — я должен отослать вас к государю. Он желает видеть вас. Но повторяю, не пугайтесь этого: государь наш исполнен милости и великодушия, вы узнаете это на опыте.

Девушка, однако, испугалась. Ей представилась картина прощания с полком, со своей полной тревог жизнью, с товарищами.

— Государь отошлет меня домой, ваше сиятельство, — и я умру с печали!

Этот порыв тронул главнокомандующего.

— Не опасайтесь этого, — сказал он: — в награду вашей неустрашимости и отличного поведения, государь не откажет вам ни в чем. А как мне велено сделать о вас выправки, то я к полученным мною отзывам вашего шефа, эскадронного командира, взводного начальника и ротмистра Казимирского,

приложу еще и свое донесение. Поверьте мне, что у вас не отнимут мундира, которому вы сделали столько чести.

Девушку сдали на руки флигель-адъютанту государя, Зассу. С ним она и отправилась в Петербург.

Когда девушка в форме рядового улана вошла в кабинет императора, «государь, — говорит сам этот необычайный улан, — тотчас подошел ко мне, взял за руки и, приблизясь со мной к столу, оперся одной рукой на него, а другой, продолжая держать мою руку, стал спрашивать вполголоса и с таким выражением милости, что вся моя робость исчезла и надежда снова ожила в душе моей».

— Я слышал, — сказал государь, — что вы не мужчина: правда ли это?

«Я не вдруг собралась с духом сказать: «да, ваше величество, правда». С минуту стояла я, потупив глаза, и молчала, сердце мое сильно билось и рука дрожала в руке царевой. Государь ждал. Наконец подняв глаза на него и сказывая свой ответ, я увидела, что государь краснеет: вмиг покраснела я сама, опустила глаза и не поднимала уже их до той минуты, в которую невольное движение печали повергло меня к стопам государя».

Император расспрашивал, что было причиной, побудившей ее поступить таким образом.

Девушка все сказала, что уже нам известно.

Государь хвалил ее неустрашимость, говорил, что «это первый пример в России», что «все ее начальники отозвались о ней с великими похвалами, называя храбрость ее беспримерной».

— Мне очень приятно этому верить, — продолжал государь: — и я желаю сообразно этому наградить вас и возвратить с честью в дом отцовский, дав...

Она не дала кончить государю. Вскрикнув от ужаса, девушка упала к ногам императора.

— Не отсылайте меня домой, ваше величество! Не отсылайте! Я умру там, непременно умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию. Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотела ей пожертвовать для вас...

Девушка обнимала колена государя.

Император был тронут, поднял ее и спросил изменившимся голосом:

— Чего ж вы хотите?

— Быть воином, носить мундир, оружие. Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь. Другой

нет для меня. Я родилась в лагере. Трубный звук был колыбельной песнью для меня. Со дня рождения люблю я военное звание. С десяти лет обдумывала средства вступить в него — в шестнадцать достигла цели своей одна без всякой помощи. На славном посту своем поддерживалась одним только своим мужеством, не имея ни от кого ни протекции, ни пособия. Все согласно признали, что я достойно носила оружие, а теперь, ваше величество, — хотите, отослать меня домой. Если б я предвидела такой конец, то ничего не помешало б мне найти славную смерть в рядах воинов ваших.

Государь был видимо растроган.

— Если вы полагаете, — сказал он, — что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашей наградой, то вы будете иметь ее, и будете называться по моему имени — Александровым. Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойной этой чести отличностью вашего поведения и поступков. Не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть беспорочно и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем.

После этого государь приказал определить ее офицером в мариупольский гусарский полк.

Когда девушка вышла из кабинета, ее окружили пажи: «Что говорил с вами государь? Произвел ли вас в офицеры?»

В другой раз, когда она входила в кабинет государя, император встретил ее словами:

— Мне сказывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне об этом.

Она рассказала о том, как спасла Панина.

— Это известная фамилия, — заметил государь, — и неустрашимость ваша в этом одном случае сделала вам более чести, нежели в продолжение всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей — сострадание. Хотя поступок ваш служит сам себе наградой, однако ж справедливость требует, чтоб вы получили и ту, которая вам следует по статуту: за спасение жизни офицера дается Георгиевский крест.

И он вдел ей в петлицу этот орден.

Из Петербурга девушка опять поехала в полк.

Опять начались труды военной жизни.

Не будем следить шаг за шагом за невероятными переходами и подробностями этой жизни — в целом и в частях вся эта жизнь так драматична, исполнена такого глубокого интереса, что многому с трудом бы верилось, если бы все это не было в действительности так, как оно дошло до нас и как

это могли засвидетельствовать сотни лиц, между которыми обращалось это странное, непонятное для них существо и из которых некоторые еще остались в живых. Драматизм событий, связанных с жизнью Дуровой, усиливается от того именно, что главное действовавшее в этой драме лицо было не тем, за что все его принимали.

Наконец девушке захотелось к отцу: три с половиной года она не видала его. Мать ее, между тем, умерла.

«Я много переменилась — выросла, пополнела (пишет она по этому случаю), лицо мое из белого и продолговатого сделалось смуглым и круглым, волосы, прежде светлорусые, теперь потемнели».

И вот она едет одна на перекладных за тысячи верст.

«Я приехала домой точно в ту пору ночи, в которую оставила кров отеческий — в час пополуночи. Ворота были заперты. Я взяла из саней саблю и маленький чемодан и отпустила своего ямщика в обратный путь».

С печалью входит она в дом отца, пробравшись в сад через то отверстие, в которое она лазила еще ребенком. «И теперь я вошла через него. Думала ли я, когда вылезала из этой лазейки в белом анифасном платьице, робко оглядываясь и прислушиваясь, дрожа от страха и холодной ночи, что войду некогда в то же отверстие и тоже ночью — гусаром!»

Все спит кругом. Словно Одиссей, и она находит дома престарелых друзей своих — собак: ее узнали эти собаки, а люди сначала не узнали.

Отец плакал от радости и все плакали, глядя на нее — да и было отчего. Это была уже не та резвая девочка, которую все знали — это был другой человек, переживший так много, создавший из своей собственной жизни такую глубокую драму.

Но недолго жилось ей дома. Жизнь, полная потрясающих ощущений и контрастов тянула ее к себе, потому что еще не израсходовала ее богатых, дерзких сил.

И вот она снова на походах, на маршах. Ей самой рассказывают ее историю, — а никто не знает, что та сказочная личность, о которой рассказывается, тут же с ними слушает, что о ней рассказывают.

В необходимых случаях она прямо обращалась к государю с своими письмами. Когда она нуждалась в деньгах, то писала об этом лично императору, и он приказывал выдавать ей деньги сначала через графа Ливена, потом через Аракчеева, а после через Барклая-де-Толли. Им велено было доводить до

сведения государя «все просьбы и желания» таинственного молодого офицера.

В апреле 1811 года она вновь перешла в уланы, в литовский полк.

Наступил наконец памятный 1812 год. Войскам много работы.

«Сегодня сказали мы последнее прости гостеприимному дому Платера, всему жилищу нашему в Домбровице, и всему, что нас любило, и всему, что нас пленяло (пишет она от 11 марта 1812 года). Мы идем в Вельск, выострим свои пики, сабли, и пойдем далее.

«Говорят старики уланы, что всякий раз, как войско русское двинется куда-нибудь, двинутся с ним и все непогоды. На этот раз надобно им поверить: со дня выступления провожают нас снег, холод, вьюга, дождь и пронзительный ветер. У меня так болит кожа на лице, что не могу до нее дотронуться, по совету товарищей я каждый вечер умываюсь сывороткой, и от этого средства боль немного прошла, но я сделалась так черна, так черна, что ничего уже не знаю чернее себя».

Видно, что нежное лицо девушки не для вьюг и ветров создано, хоть она подставляет это лицо под вьюги и под палящее солнце вот уже шестой год.

«Подъямпольский (пишет она далее о своем эскадронном начальнике) занят расчетами в штабе, я осталась старшим офицером по нем и командую эскадроном, впрочем, я калиф на час, через два дня царствование мое кончится».

Из шестнадцатилетней девочки вышел уже эскадронный командир и старые усачи уланы не подозревают, что ими командует девочка.

А вот и ее повседневная обстановка в кругу этих усатых улан:

«В этом селении, — говорит она о с. Кастюхновке, — назначена эскадрону нашему дневка. Квартирой нам четверым офицерам служит крестьянская хижина, почернелая, закоптелая, напитанная дымом, с растрепанной соломенной кровлей, земляным полом и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передний угол этой лачуги принадлежит нам, у порога и печи расположились наши денщики, прилежно занимаясь чисткой удил, мундштуков, стремян, смазыванием ремней и тому подобными кавалеристскими работами. Неужели нам оставаться целый день в такой конуре и в таком товариществе? Мы решились ехать на весь день к помещику селения, Соколовскому».

Но через несколько дней опять начинается трудовая жизнь сторожевых пикетов: всю ночь на седле, в разъездах, потому что тут под боком страшный неприятель, который уже поработил и унизил всю Европу — надо сторожить зорко.

Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади оседланы, мы одеты и вооружены, с полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает за селение содержать пикет и делать разъезды, другая остается в готовности на лошадях. Днем мы спим. Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец Жуковского:

Близ Наревы дом мой тесный:
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет,
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.

«Это точь-в-точь мы, литовские уланы: всякую полночь седлаем, выезжаем, и домик, который занимаем — тесен, мал и близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений, воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с той, какую вела я в Домбровице! Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу: о, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни! Балы, танцы, волокитства, музыка... О, Боже, какие пошлости, какие скучные занятия!»

Действительно, странное, непостижимое существо эта девушка.

Она переносит все — и не жалуется. Как мономан известной идеи она и тело и нервы отдает в кабалу этой идее — и то, от чего другому больно, не причиняет ей боли.

Эскадрон переходит через узкую плотину. Переход затруднен и эскадрон Дуровой стеснен другими, напирающими сзади кавалеристами. Лошади бьются, бесятся, стоят на дыбах. Девушку вдавили в самую середину кавалерийской свалки. «Хотя я и видела, — говорит она, — как стоящая передо мной лошадь располагалась меня ударить своей, хорошо подкованной ногой, но во власти моей было только с мужеством дождаться и вытерпеть этот удар. От жестокой боли я вздохнула от глубины души!..» Ногу разнесло — и бедный кава-

лерист, долженствовавший бы носить юбку вместо рейтуз, смачивает раненую ногу водой, своей ежедневной порцией, которой до сих пор она не знала употребления. Ногу так разнесло, что едва-едва девушка спаслась от ампутирования больного члена.

Наши войска отступают перед страшным Наполеоном. Идут без дороги, лесами, болотами... А сзади идет битва... Уланы пока еще не в деле.

Дурова уже старый солдат. Она умеет командовать, знает все порядки, все тонкости и хитрости военного дела, даже партизанского. Она расставляет ведеты, сменяет их, по ночам рыщет от ведета к ведету, чтоб все было в порядке, чтоб страшный неприятель не захватил их врасплох...

Ведет она отряд — но надо, чтоб неприятель не услыхал бряцания кавалеристской сбруи. «Я приказываю уланам ехать по траве, прижать сабли коленом к седлу и не очень сближаться одному с другим, чтоб не бренчать стременами»...

И это девушка, попавшая в наполеоновскую бойню из-за плетения кружев...

А Наполеон все напирает, все подвигается вглубь России. Русские войска все отступают.

Все тяжелее и тяжелее становится для необыкновенной девушки эта воинская страда. Она не спит ни дни, ни ночи, не сходит с коня, то рыщет с ведетами, то с квартирьерами отводит места под лагеря, то летает на своем скакуне, как ординарец.

Наконец не выносит этого мыкания слабый организм молоденькой девушки — и вот как трогательно ее признание в том, что раз она не вынесла гонки по полям и нечаянно заспалась в своей временной квартирке.

Три дня и три ночи она не смыкала глаз, пока занимали место под Кадневым. «Я не в силах долее выносить, — говорит она в своем журнале, — возвратясь из лагеря в местечко, я послала улана на дорогу смотреть, когда покажется полк и дать мне знать, а сама пошла в квартиру в намерении что-нибудь съесть и после заснуть, если удастся. В ожидании обеда легла я на хозяйскую постель и более ничего уже не помню... Проснувшись поздно вечером, я очень удивилась, что дали мне так долго спать — в горнице не было ни огня, ни людей. Я поспешно встала и, отворя дверь в сени, кликнула своего унтер-офицера. Он явился. «Разве полк не пришел еще?» — спросила я. Он отвечал, что нет, а что пришел только один киевский драгунский. — «Для чего ж вы не разбудили меня?» — «Не могли, ваше благородие, — вы спали

сном смертным, мы сначала будили вас тихонько, но после трясли за руки, за плечи, посадили вас, поднесли свечу к самым глазам вашим наконец брызнули холодной водой в лицо ваше, все напрасно — вы даже не пошевелились. Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы не успев разбудить вас, положили опять в постель. «Бедное дитя! Он как мертвый! Зачем вы берете таких молодых в службу?» Она, наклонясь к вам, прислушивалась дышите ли вы»...

И между тем все еще не разоблачалась тайна ее пола. Она тихонько от своих товарищей офицеров и от солдат ходит на реку купаться, и никто не подозревал, что под уланскими рейтузами и грубым мундиром — непривычное к этой жесткой одежде тело женщины, знавшее только кисею да шелк.

А Наполеон все гонится по пятам. Нет отдыху нашим войскам. То там, то здесь происходят стычки, партизанская расправа. Но армия все бежит вглубь своего неизмеримого отечества.

Девушка изнемогает и всего больше боится, что это изнеможение от нечеловеческого труда припишут ее полу, ее хрупкости, неспособности, недостатку энергии.

«Охота же так бежать!» — восклицает она в своих любопытных записках... — «Я не знаю, что мне делать. Смертельно боюсь изнемочь. Впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола. Мы идем и день и ночь. Отдохновение наше состоит в том только, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса. Уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей, а я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не только не спим, но и не едим. Спешим куда-то! Ах, бедный наш полк! Чтоб прогнать сон, меня одолевающий, я встаю с лошади и иду пешком, но силы мои так изнурены, что я опять спешу сесть на лошадь и с трудом поднимаюсь на седло. Жажда палит мою внутренность. Воды нет нигде, исключая канав по бокам дороги. Я сошла опять с лошади и с величайшим неудобством достала на самом дне канавы отвратительной воды, теплой и зеленой. Я набрала ее в бутылку и, сев с этим сокровищем на лошадь, везла еще верст пять держа бутылку перед собой на седле, не имея решимости ни выпить, ни бросить эту гадость. Но чего не делает необходимость! Я кончила тем, что выпила адскую влагу»...

«Если б я имела миллионы, — говорит она далее, — отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном

изнеможении. Все мои чувства жаждут успокоения... Мне вздумалось взглянуть на себя в светлую полоску своей сабли (вместо зеркала!) — лицо у меня бледно, как полотно, и глаза потухли! С другими нет такой сильной перемены и верно от того, что они умеют спать на лошадях, я не могу...

«В эту ночь Подъямпольский бранил меня и Сазарова за то, что люди наших взводов дремлют, качаются в седле и роняют каски с голов. Полчаса спустя после этого выговора мы увидели его самого едущего с закрытыми глазами и весьма крепко спящего на своем шагистом коне. Утешаясь этим зрелищем, мы поехали рядом, чтоб увидеть чем это кончится: но Сазаров хотел непременно отомстить ему за выговор: он пришпорил свою лошадь и проскакал мимо Подъямпольского, конь его бросился со всех ног, а мы имели удовольствие видеть испуг и торопливость с какой Подъямпольский спешил подобрать повода, выпавшие из руки его».

Но вот русские войска уже перед Смоленском. Им объявляют манифест, что «государь не удерживает более мужества войск и дает свободу отомстить неприятелю за скуку противовольного отступления, до сего времени необходимого».

И вот девушка заносит в свой любопытный дневник:

«Я опять слышу грозный, величественный гул пушек! Опять вижу блеск штыков. Первый год моей воинственной жизни воскресает в памяти моей... Нет! Трус не имеет души, — иначе как мог бы он видеть, слышать все это и не пламенеть мужеством? Часа два дожидались мы приказания под стенами крепости Смоленской наконец велено нам идти на неприятеля. Жители города, видя нас проходящих в порядке, устройстве, с геройской осанкой и уверенностью в своих силах, провожали нас радостными восклицаниями, некоторые, а особливо старики беспрерывно повторяли: «Помоги Бог! Помоги Бог!» каким-то необыкновенно торжественным голосом, который и заставлял меня содрогаться и приводил в умиление».

Под Смоленском девушка участвовала в битве и была на волосок от смерти.

Когда ее эскадрону велено было поворотить от неприятеля, чтоб завлечь его далее, в середину русского войска, Дурова скакала позади своего эскадрона, надеясь на быстрый бег своего коня.

«Удерживая коня, — говорит она, — неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона, но, слыша близко за собой скок лошадей и увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться. Любопытство мое было вполне награж-

дено: я увидела скачущих за мной на аршин только от крестца моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину. При сем виде я хотя не прибавила скорости моего бега, но сама не знаю для чего закинула саблю за спину острием вверх».

Девушка, однако, спаслась.

А вот описание случая, где видна такая трогательная заботливость о Дуровой ее начальника, ротмистра Подъямпольского, которому так жаль и страшно было за нежного мальчика (как ему казалось) в этом царстве ужаса и смерти.

Войска стоят друг против друга. Идет артиллерийское дело вперемежку с ружейным огнем.

«На этом месте мы будем до завтра (говорит девушка). Бутырский полк сменен другим, и теперь пули не только долетают до нас, но и ранят. Подъямпольскому это очень неприятно. Наконец наскучa видеть, что у нас то того, то другого уводили за фронт, он послал меня в Смоленск к Штакельбергу сказать о критическом положении нашем и спросить, что он прикажет делать? Я исполнила как было велено: сказала Штакельбергу, что у нас много ранено людей и спросила какое будет его приказание? «Стоять, — отвечал Штакельберг, — стоять, не трогаясь ни на шаг с места. Странно, что Подъямпольский присылает об этом спрашивать!» Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру. «Что, — кричал мне издали Подъямпольский, — что велено?» — «Стоять, ротмистр!» — «Ну, стоять, так стоять», — сказал он спокойно и оборотясь к фронту с тем неустрашимым видом, который так ему свойствен, хотел было несколько ободрить солдат, но к удовольствию своему увидел, что они не имеют в этом нужды: взоры и лица храбрых улан были веселы: недавняя победа одушевила черты их геройством. Весь их вид говорил: беда неприятелю! К вечеру второй полуэскадрон спешился, и я, имея тогда свободу отойти от своего места, пошла к ротмистру спрашивать о всем том, что в этот день казалось мне непонятным. Подъямпольский стоял у дерева подперши голову рукой, и смотрел без всякого участия на перестрелку, приметно было, что мысль его не здесь. «Скажите мне, ротмистр, для чего вы посылали к Штакельбергу меня, а не унтер-офицера? Не правда ли, что вы хотели укрыть меня от пуль?» — «Правда, — отвечал задумчиво Подъямпольский, — ты так еще молод, так невинно смотришь и среди сих страшных сцен так весел и беспечен. Я видел как ты скакал позади всего эскадрона во время беспорядочного бегства нашего от кирпичных сараев, и мне каза-

лось, что я вижу барашка, за которым гонится стая волков. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если тебя убьют, то это будет убийство противное законам. Дай Бог, чтоб я не был этому свидетелем! Ах, пуля не разбирает. Она пробивает равно как грудь старого воина, так и сердце цветущего юноши». — Меня удивило такое грустное расположение духа моего ротмистра и необыкновенное участие ко мне, какого прежде я не замечала, но, вспомня, что у него брат, нежно им любимый, остался в мариупольском полку один, предоставленный произволу судьбы и собственного разума, нашла весьма натуральным, что мой вид незрелого юноши и опасности войны привели ему на память брата, детский возраст его и положение, в каком он может случиться при столь жаркой войне».

Не дрогнуло сердце девушки и перед страшной бородинской битвой. Она дралась вместе с прочими, из коих одни погибли, а другие уцелели.

Заглянем в ее дневник.

«26 августа. Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолкаемого рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шипели и, как град, осыпали нас, не обращали на себя ничьего внимания, даже и тех, кого ранили — и они не слыхали их: до них ли было нам!.. Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку»... и т. д.

Дурова пишет, что она зябла весь бородинский день, хоть дело и было жаркое — ветер пронизывал насквозь: сам Наполеон получил насморк — исторический насморк, помешавший ему выиграть роковую битву...

Девушка получила контузию в ногу от ядра — и все оставалась в рядах, пока ее не отослали к прочим раненым.

В высшей степени интересно знакомство девушки со знаменитым «дедушкой Кутузовым», отдавшим Москву французам.

— Что тебе надобно, друг мой? — спросил Кутузов, смотря пристально на явившегося к нему молоденького, безусого уланика.

— Я желал бы иметь счастье быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости, — отвечал молоденький уланик.

— Какая же причина такой необыкновенной просьбы, а еще более способа, каким предлагаете ее?

Девушка рассказала, что заставило ее принять эту решимость, и увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбле-

ния в полку за невольное несоблюдение формальности, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях.

— Я родилась и выросла в лагере, — говорила она между прочим: — я люблю военную службу со дня моего рождения, посвятила ей жизнь мою навсегда, готова пролить всю кровь свою, защищая пользу государя, которого чту как Бога, и, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаем смертью...

Она остановилась, как сама признается, отчасти от полноты чувств, частью же от замешательства: она заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило девушку покраснеть: она угадала мысль Кутузова, и чтоб оправдаться, решилась сказать о себе все.

— В прусскую кампанию, ваше высокопревосходительство, все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою и даже сам Буксгевден назвал ее «беспримерной», что после всего этого я считаю себя вправе назваться храбрым, не опасаясь быть сочтен за самохвала.

— В прусскую кампанию! Разве вы служили тогда? Который вам год? Я полагал, что вы не старее шестнадцати лет.

Девушка сказала, что ей уже 23-й год и что в прусскую кампанию она служила в конно-польском полку.

— Как ваша фамилия? — спросил поспешно главнокомандующий.

— Александров.

Кутузов встал и обнял девушку.

— Как я рад, — говорил старик, — что имею наконец удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об вас. Останьтесь у меня, если вам угодно, — мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных. Что ж касается до угрозы расстрелять вас, — прибавил Кутузов, усмехаясь, — то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу: это были пустые слова, сказанные в досаде. Теперь пойдите к дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем.

Девушка пошла было, но Кутузов позвал ее.

— Вы хромаете? Отчего это?

Дурова сказала, что в сражении под Бородиным получила контузию от ядра.

— Контузию от ядра! И вы не лечитесь! Сейчас скажите доктору, чтоб осмотрел вашу ногу.

Дурова отвечала, что контузия была очень легкая и что раненая нога почти не болит.

«Говоря это (прибавляет девушка), я лгала: нога моя болела жестоко и была вся багровая».

Немного после она пишет:

«Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу как осиновый лист... Меня посылают двадцать раз на день в разные места. На беду мою Коновницын вспомнил, что я, быв у него на ординарцах, оказалась отличнейшим из всех, тогда бывших при нем. «А, здравствуйте, старый знакомый!» — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим, и с того дня не было уже мне покоя: куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне!» — и бедный уланский ординарец носился как бледный вампир от одного полка к другому, а иногда и из одного крыла армии к другому».

Наконец Кутузов велел позвать к себе этого бледного ординарца.

— Ну, что, — сказал он, взяв девушку за руку как только она вошла, — покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? Что твоя нога?

Девушка принуждена была сказать правду, что нога болит до нестерпимости, что от этого у нее всякий день лихорадка, и что она машинально только держится на лошади по привычке, но что сил у нее нет: «и за пятилетнего ребенка».

— Поезжай домой, — сказал главнокомандующий, смотря на девушку с отеческим состраданием, — ты в самом деле похудел и ужасно бледен. Поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно.

«При сем предложении, — говорит Дурова, — сердце мое стеснилось».

— Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армии? — сказала она печально.

— Что ж делать! Ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай! Теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь: в таком случае успеешь застать нас на месте.

«Я видела необходимость (пишет Дурова) последовать совету Кутузова: ни одной недели не могла бы я долее выдерживать трудов военной жизни».

— Позволите ли, ваше высокопревосходительство, привезть с собой брата моего? — спросила она. — Ему уже четырнадцать лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим.

— Хорошо, привези, — сказал Кутузов, — я возьму его к себе и буду ему вместо отца.

Через два дня после этого разговора, Кутузов опять потребовал к себе Александрова — девушку.

— Вот подорожная и деньги на прогоны, — сказал он, подавая то и другое: — поезжай с Богом. Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, мой друг.

«Великий полководец обнял меня с отеческой нежностью», — прибавляет девушка в своем дневнике.

И вот бледный больной офицерик скачет домой. Путь его лежит на Калугу, на Казань, на Каму — к отцу.

«Лихорадки и телега трясут меня без пощады (читаем мы в дневнике девушки). У меня подорожная курьерская и это причиной, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они, хотя и слышат как я говорю, садясь в повозку — «ступай рысью», но не верят ушам своим, и, заставя лихих коней рвануть разом с места, не прежде остановят их, как у крыльца другой станции».

Промчались мимо Калуги, Казани. Везде расспросы о Москве, о войске, о Наполеоне...

А вот и знакомые места — Кама, свой город.

«Наконец я дома! Отец принял меня со слезами. Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр. Я отдала ее Наталье (старой служанке), которая говорит, что сошьет себе капот из нее».

Выздоровев и отдохнув у отца, девушка опять хочет покинуть его и даже берет у него сына.

Весной они выехали к войску. Впереди опять труд, опасности, вероятная возможность смерти. Но много еще энергии в этом молодом существе...

Она в Москве — в сожженной, разрушенной. В Москве она узнает, что Кутузова уже не стало.

Надо вновь скакать, догонять армию, которая шла брать Париж, освобождать Европу.

Девушка показывает брату развалины Смоленска, находит то место, где французские палаши махали за ее спиной.

Доскакали до Слонима.

Но таинственное имя необыкновенной девушки уже пронеслось по всей России. Об ней говорят, ей интересуются, об ней рассказывают сказки, однако, ее никто не видал в лицо, никто ее не знает, никто не догадывается, что сказочная девушка, предмет толков всей России — это и есть тот самый

молоденький, бледный уланик, которого все принимают за мальчика, за слишком юного офицерика успевшего, однако, получить солдатского Георгия.

«Замечаю я, — говорит она уже в 1818 году, — что носится какой-то глухой, невнятный слух о моем существовании в армии. Все говорят об этом, но никто ничего не знает, все считают возможным, но никто не верит. Мне не один уже раз рассказывали собственную мою историю со всеми возможными искажениями: один описывал меня красавицей, другой уродом, третий старухой, четвертый давал мне гигантский рост и зверскую наружность, и так далее. Судя по сим описаниям, я могла бы быть уверенной, что никогда ничьи подозрения не остановятся на мне, если б одно обстоятельство не угрожало обратить наконец на меня замечания моих товарищей: мне должно носить усы, а их нет, и разумеется — не будет. Наши офицеры уже часто смеются мне, говоря: «А что, брат, когда мы дождемся твоих усов?» Разумеется, это шутки, они не полагают мне более восемнадцати лет, но иногда приметная вежливость в их обращении и скромность в словах дают мне заметить, что если они не совсем верят, что я никогда не буду иметь усов, по крайней мере сильно подозревают, что это может быть. Впрочем, сослуживцы мои очень дружески расположены ко мне и весьма хорошо мыслят, я ничего не потеряю в их мнении: они были свидетелями и товарищами ратной жизни моей».

Из Брест-Литовска она вместе с войском направляется заграницу.

Не станем следить за ее походной жизнью: в ней так много чего-то необычайного, романтического, что всего и передать невозможно в сжатом очерке. Притом же записки ее составляют целых три тома.

Часть войска подошла к Модлину. Девушка со своим эскадроном содержит сторожевые пикеты.

«Вчера, — говорит она, — полковник прислал мне бутылку превосходных сливок в награду за маленькую сшибку с неприятелем и за четырех пленных».

После этого она стоит с войском под Гамбургом. В Богемии девушка описывает красоту тамошних гор. В Праге русские войска привлекают толпы.

Под Гамбургом до них дошли вести о взятии Парижа союзными войсками. Эта весть заставила Даву сдаться той части войска, где находилась наша героиня.

Военные действия на время прекращаются.

Дурова с одним товарищем офицером путешествует по Дании, по Голштинии. С большой занимательностью рассказывает она разные случаи из своих поездок по этой последней стране.

Затем войскам велено возвратиться в Россию. Дуровой особенно грустно было расставаться с голштинским гостеприимством.

Уж не полюбила ли она там кого? А что-то похоже на это.

«Голштиния, гостеприимный край, прекрасная страна! — восклицает она, конечно, недаром. — Никогда не забуду я твоих садов, цветников, твоих светлых, прохладных зал, честности и добродушия твоих жителей. Ах, время, проведенное мной в сем цветущем саду, было одно из счастливейших в моей жизни!..

Я пришла к полковнику сказать, что полк готов к выступлению. Полковник стоял в задумчивости перед зеркалом и причесывал волосы, кажется, не замечая этого. «Скажите, чтоб полк шел, я останусь еще на полчаса», — сказал он, тяжело вздохнув. — «О чем вы вздохнули, полковник? Разве вы неохотно возвращаетесь на родину?» — спросила я. Вместо ответа полковник еще вздохнул. Выходя от него, я увидела меньшую баронессу, одну из хозяек нашего полковника, прекрасную девицу лет двадцати четырех всю расплаканную. Теперь я понимаю, отчего полковнику не хочется идти отсюда... Да, в таком случае родина — Бог с ней!»

Покрытые славой войска воротились в Россию. Наполеона забросили в такую даль, куда ворон костей не заносит.

Приходилось и Дуровой прощаться с боевой жизнью, с конем и товарищами.

Отец истосковался по ней и зовет ее к себе.

«Мне казалось, — пишет она, заканчивая свою эпопею, — что вовсе не надобно никогда оставлять меча, и особливо в мои лета. Что я буду делать дома? Так рано осудить себя на монотонные занятия хозяйством. Но отец хочет этого — его старость. Ах, нечего делать! Надобно сказать всему прости — и светлому мечу, и доброму коню, друзьям, веселой жизни, ученью, парадам, конному строю, скачке, рубке, всему, всему конец!.. Все затихает, как не бывало, и одни только незабвенные воспоминания будут сопровождать меня на дикие берега Камы, в те места, где цвело детство мое, где я обдумывала необыкновенный план свой...

Минувшее счастье, слава, опасности, шум, блеск, жизнь, кипящая деятельностью — прощайте!..»

Дальнейшая судьба этой женщины так же замечательна, хотя уже и теряет тот высокий драматизм, которым поражались ум и воображение ее современников и который продолжает поражать и нас, имеющих перед своими глазами женщин иного закала, иных стремлений, исходящих, однако, из того же нравственного источника — из врожденной человеку любви к свободе, к самостоятельному труду, к самостоятельному распоряжению своей личностью и своей волей.

Дурова — это прародительница всех новых русских женщин, всего этого множества девушек, ищущих знания, труда, посещающих публичную библиотеку, лекции профессоров, медицинские курсы, жаждущих поступления в университет, в акушерки, в доктора, оставляющих свои дома, свои примитивные женские занятия, бросающих родину, чтобы учиться там, где это представляет более удобств, больше приспособленности, хотя, по-видимому, дорога, которой шла Дурова, так широко расходится с той дорогой, по которой пошло современное поколение русских женщин.

Дурова была первая русская женщина, которая своею собственной жизнью доказала, что с твердой волей и для женщины, как и для мужчины, все достижимо, и что если еще есть противники истинного женского вочеловечения, утверждающие, будто бы для женщины не все то возможно, что возможно для мужчины, то, напротив, защитники женщины всегда могут указать им на пример Дуровой и сказать, что то, что возможно для мужчины, возможно и для женщины и что нет ничего, доступного мускульным и духовным силам мужчины, что не было бы, в одинаковой мере, не недоступно и для женщины.

Шестнадцати лет, когда всякая другая девушка не рискует еще снять с себя коротенького платьица и считает слишком дерзким выезд на бал, когда сверстницы ее не ходят даже в церковь без провожатых, без нянек, гувернанток и маменек под предлогом, что это неприлично и небезопасно, Дурова, этот полудикий ребенок, учившийся на медные гроши, не зная ни света, ни людей, в темную ночь скачет глухим бором, верхом на диком коне, для соединения с казачьим полком — и не падает духом при всех трудностях, какие встречает в дальнейшем ходе своей жизни.

Вспомним также, что это было много лет назад, когда взгляд на призвание женщины был еще уже, еще исключительнее чем теперь.

Каждый рискованный шаг, каждое неосторожное слово, движение — могут выдать тайну ее пола, разрушить «необыкновенный план» ее — и она не выдает себя ничем.

Она слышит кругом себя грубые шутки казаков, далеко недвусмысленные выражения своих товарищей боевой жизни, далеко недвусмысленные поступки их, потому что они в своем мужском кружке ничем не стеснялись, — и хоть ее девственное сердце сжимается, краска молодого лица обличает ее тревогу, ее девственную стыдливость и подчас брезгливость, — но она все-таки не падает духом.

Старые женщины, видя в ней ребенка, пустившегося в такой рискованный путь, ласкают ее, жалеют ее одинокую, как бы осиротелую, девушка глотает тайком слезы, но духом не падает.

Целую зиму, едва вырвалась из дому в одном «казацком чекменике», она в походе ищет полка, рискует попасть в «вербунку», терпит унижения — и не отступает от своего «необыкновенного плана».

Обращают ее в простого солдата, одевают в грубую солдатскую форму, надевают на нежные ноги девушки словно железные, казенные сапоги, приковывающие ее к земле, цепляют к ногам, привыкшим к тонким и мягким ботинкам, железные, громко брячащие шпоры — и железные эти сапожищи не должны жать ее нежную ногу, она должна принуждать себя не чувствовать боли ног, не слыхать тяжести этих железных сапог — и не отступает от своего «необыкновенного плана».

Дают ей в руку тяжелую дубовую уланскую, словно бревно, пику, заставляют делать этим бревном всевозможные эволюции, способные вывихнуть в плече самую здоровую, самую грубую мускулистую руку солдата, привыкшего к сохе и цепу — и это дубовое бревно не вывихивает ее нежной руки, не заставляет ее отступить от своего необыкновенного плана.

Она голодает по целым суткам, питается картофелем, вырываемым ей же с тяжелым трудом из земли, тогда как дома всякая Наталья горничная могла накормить свою барышню самыми лакомыми кушаниями, не спит ни дни, ни ночи — и не жалеет о том, что променяла рабскую жизнь барышни на мучительную, но вольную жизнь улана.

Она тоскует по своем отце, мучат ее сомнения и опасения, что, быть может, нежно любивший ее «батюшка» истосковался по ней, болен, умер — и она заставляет свое сердце молчать, глаза — не плакать, и вихрем бросается в первую битву под град пуль, картечи, ядер.

Первая битва, вид раненых и убитых товарищей, кровь, весь этот ад и ужас человеческой резни — не пугают ее, сердце девушки не только не коченеет от ужаса, но оно полно

мужества и девочка спасает закаленных в бою товарищей, очертя голову бросается в самые жаркие сечи, вся пробитая дождем до рубашки, до тела — и не жалеет о своем беленьком, непромоченном дождем платьице, которое бросила дома, не жалеет своей одинокой, теплой постельки, брошенной в доме отца, в своем покойном, садовом флигельке.

Сколько имен, лиц, мировых событий проходит перед ее глазами — несчастный Фридланд, битва под Смоленском, далее Бородино, Наполеон, Кутузов, Барклай-де-Толли, сколько мучительных сомнений, тревоги, боязни, какие контрасты в положении — стоянки в сырых литовских лачугах... спание в болоте... там Петербург... кабинет государя... опять полк, жизнь на пикетах — от одних этих контрастов могла закружиться голова, подкоситься ноги, а девушка, между тем, тверда на ногах, все переносит, все переживает.

Семь лет она не знает другого общества, кроме общества лихих, не совсем нежных гусарских и уланских офицеров и солдат, которые перед нею нараспашку, не подозревая ее пола.

В течение семи лет девушка могла наконец и полюбить кого-либо из своих товарищей, но она и любить не смеет.

Напротив, были случаи, что девушки и молодые женщины, принимая ее за молодого человека, привязывались к ней, открывались ей в любви, просили взаимности — и ей предстояла новая нравственная борьба, сожаление о тех несчастных, которые принимали ее не за то, чем она была на самом деле.

Нежное лицо ее горит на солнце, осенний ветер и пыль чернят ее розовые щеки, руки, привыкшие только к иголке, грубеют от таскания тяжелой пики, такой же тяжелой сабли, заступа, лошадиной скребницы — и женщина не жалеет того, что для женщины дороже жизни — не жалеет своей красоты, забывает даже то, что и она могла бы нравиться, быть любима.

Но уже в детстве она как бы притупила в себе чувствительность женщины.

Вот, напр., что говорит она о своем детстве:

«Живя в Малороссии и часто гуляя по полям и лесам, она, если находила змею, тотчас же наступала на нее ногой, наклонялась, брала ее осторожно рукой за шею, близ самой головы, и держала, но не так крепко, чтоб она задохлась, и не так слабо, чтоб могла выскользнуть. С этим завидным приобретением, — говорит она, — я возвращалась в комнаты бабушки, и когда ее не было дома, то бегала за Ганкой, Хив-

рей, Вивдей, Миртой и еще несколькими, таких же странных имен, девками, которые все хотя были гораздо старше меня, но с неистовым воплем старались укрыться куда попало от протянутой вперед руки моей, в которой рисовалась черная змея — в настоящем смысле рисовалась, потому что она то яростно шипела, выставляя что-то изо рта, то очень картинно обвивала хвостом мою руку, обнаженную до локтя, то опять развивала и махала им в воздухе».

Собираясь проститься навсегда со своей лагерной жизнью, со спанием под открытым небом она пишет:

«Я не знаю, как мне привыкать будет жить в комнатах. Мне кажется, что иначе (как в поле) и не должно помещаться, по крайности так просторно, как на открытом воздухе, среди обширных полей. Теперь мне уже нисколько не смешно, что Торнези (товарищ ее) бреется, умывается и одевается на большой дороге, по которой то идут полки, то скачут курьеры, и невежливая пыль облаком налетает на его намыленную бороду. Я также просыпаюсь поутру без малейшего беспокойства, что открываю глаза на большом, столбовом тракте, встаю, скидаю галстук, мундир, подбираю рукава до самых плеч и умываюсь, то есть обливаю водой голову, лицо, руки, шею, и прежде нежели успею обтереть все это полотенцем, пыль налетит и сделает меня чернее, нежели я была до умывания».

Девушке приходилось привыкать и не к таким неудобствам. Волосы становятся дыбом при чтении хоть бы следующих строк:

«Близ нашего полка стоит Новороссийский драгунский полк. Мы послали к своим соседям просить чайника, чтоб согреть воду. Усаковский принес его сам, говоря, что и он будет пить с нами, пришел и Стремоухов.

— Вот еще какие затеи! До чаю ли теперь! Может быть, через час ты будешь корчиться на самом этом месте, на котором теперь греется твой чайник.

— Тогда-то и будет, — отвечал добрый Усаковский, — а теперь мы напьемся чаю.

«Однако ж мы не напились чаю: вода только вскипела, раздалось: «мундштучь! — садись!» Вмиг воду вылили, все пришло в движение, в порядок, все выстроилось, выровнялось, и прежде, нежели тронулось с места, ядра начали скакать по фронту нашему и драгунскому, и — увы! — Усаковский в самом деле корчился с полминуты с расшибленной головой на том самом месте, где кипел его чайник...

Всякий вечер мы сходимся к огню, все, кто уцелеет в продолжение дня. Если кого уже не станет в кругу нашем, о том поговорим, пожалеем с четверть часа, а там опять разговор наш весел. Теперь не то время, чтоб долго сожалеть о потере друзей, потому что всякий имеет надежду или опасение последовать за ним на другой же день, если еще не в эту ночь.

В теперешней жизни нашей нет ничего так обыкновенного и так мало обращающего на себя внимания, как смерть. Здесь ее владычество и здесь именно никто об ней не думает, не боится и в грош ее не ставит.

— А где такой-то?

— Убит.

— Ну, так позови ко мне того-то.

— И он убит.

— Ну, глупец! Затвердил: убит! убит! Пошли, кто там остался в живых из унтер-офицеров.

И приказания, и вопросы, и ответы делаются так холодно, так покойно, как бы дело шло о людях куда-нибудь посланных, а не отправившихся на вечный покой. Все, что мы видим, слышим, испытываем каждый день, теряем в разуме нашем: хорошее — все то, что в нем было хорошего, дурное начинает казаться дурным вполовину, а иногда и с примесью хорошего».

Замечательную психологическую тонкость выказывает Дурова, говоря, что она чувствовала себя женщиной только тогда, когда она, как кавалер, на бале, должна была уступать место дамам и исполнять разные их поручения.

Эта обязанность моего костюма вовсе мне не нравится. В танцах я всегда мысленно браню свою даму, если она говорит со мной вполголоса, взглядывает на меня чаще, нежели водится, особливо если дает глазам своим выражение, которое для мужчины имело бы свою цену, но для меня... Мне кажется тогда, что она передразнивает меня! Но ничто не бывает мне так досадно, как то, когда, устав от мучительного вальса, только успею сесть на стул и вдруг кто-нибудь из моих товарищей подводит ко мне свою даму и говорит: «Уступи, брат, свое место... Le rage au coeur!» Я встаю, забываю свой колет, шпоры, помню только свои права и хмурю брови, но стул все-таки отдаю»...

После невероятных трудов боевой жизни, Дурова перенесла свою деятельность на другое поприще. Это была богатая натура: убив около десяти лет лучшей поры своей жизни, от шестнадцати до двадцати пяти лет, она не заглохла в своем

уединении — напротив, она доказала, что непостижимое увлечение военною славою было только одним из проявлений ее богатых сил, которые раньше не могли найти исхода, а между тем силы эти искали живого дела.

В своем камском захолустье девушка никого не видала, кроме отца-гусара, в детстве знала только флангового Астахова да конюшню, возбудить ее творческих сил никто не мог, научить ее чему-нибудь другому, кроме верховой езды, никто же не мог — и она понесла свои богатые силы под пули и ядра.

Но когда Дурова вышла из-под влияния узкой гусарской среды — она понесла свои силы на служение другой идее. Самоучка — она стала одним из заметных в свое время писателей, и всю свою остальную жизнь посвятила литературе. Если бы раньше кто-либо натолкнул ее на этот путь, если б раньше она под влиянием не флангового гусара, а хоть бы под влиянием одной дельной, попавшейся ей книги, а еще больше под влиянием умного человека почувствовала в себе жажду знания — из нее мог бы выйти, без сомнения, один из самых крупных деятелей мысли и слова.

Литературная деятельность ее началась в 1836 году изданием записок о своей жизни под заглавием «Кавалерист-девица», а затем дополнением к этой книге, изданным в 1839 году.

Тонкое чутье А. С. Пушкина отгадало в ней писательницу.

Дурова писала много, печатая свои статьи преимущественно в тогдашних лучших журналах — в «Библиотеке для чтения» Сенковского и в «Отечественных Записках» 1837, 1838, 1839 годов. Это были романы, повести, рассказы. Из них наиболее известны: «Гудишки», «Павильон», «Елена», «Ирчук», «Угол», «Граф Мавриций», «Два слова из житейского словаря», «Серный ключ» и другие.

Вообще Дурова, как историческая личность недавнего прошлого, ждет исторической оценки.

Стыдно сознаться, но эта замечательная женщина умерла в крайней бедности в чине штаб-ротмистра.

IX. НАСТАСЬЯ ФЕДОРОВНА МИНКИНА

На долю редкого из исторических деятелей выпадало такое единодушное нерасположение и современников, и потомства, какое выпало на долю Аракчеева, всемогущего

временщика императора Александра I. Суровым рисуется образ Аракчеева в понятиях нашего времени, несимпатичною представляется деятельность этого человека в приложении им к делу своего могущества, жесток он был, и как человек и как временщик, зато жестко относится к нему и память ближайшего потомства, и есть основание полагать, что жесток будет по отношению к нему и суд истории, хотя последняя всегда смягчает свой приговор по отношению к каждому историческому деятелю в той степени, в какой деятель этот был и продуктом и выражением своего времени.

Как бы то ни было, но Аракчеев не был, по-видимому, никем любим при жизни, как остается нелюбимым и по смерти. Даже народ, редко и почти никогда не произносящий в своей песне и былине жесткого приговора об исторической личности, какова бы она ни была, если только он удостоит ее своею памятью, — народ не добром поминает Аракчеева, распевая иногда и доныне о том, что —

...Ракчей дворянин
Солдат гладом поморил.

Но была одна личность при жизни Аракчеева, которая его любила, хотя и тут является сомнение, искренно ли она его любила: некоторые факты разоблачают, что едва ли...

Это была женщина, имя которой стоит в заголовке настоящего очерка.

Едва ли можно считать делом особенной важности знакомство с биографическими подробностями Настасьи Минкиной. Достаточно знать, что она была любима Аракчеевым, заменила ему жену, любовницу, друга, хозяйку дома, следовательно, удовлетворяла, всем духовным и иным потребностям сурового временщика, и таким образом может до известной степени служить мерилом той суммы духовного содержания, которое вмещала в себе личность Аракчеева.

После Аракчеева остались в высшей степени любопытные письма к нему от Настасьи Минкиной. В этих письмах рисуется целиком образ этой женщины, умевшей победить и сердце, и волю, и ум непобедимого государственного сподвижника императора Александра Благословенного, рисуются ее отношения к Аракчееву и роль, какую она играла при временщике и в обществе, самом высшем в России, неизбежно сталкивавшемся с Аракчеевым в его государственной и частной жизни и неизбежно преклонявшемся пред ним вследствие высоты его положения.

Настасья Минкина — это простая женщина, едва умеющая писать, но пишущая толково, с деловым практическим

навыком и легкостью, хотя с безбожным неведением, доходившим по-видимому до дерзкого пренебрежения всеми этимологическими, синтаксическими и фонетическими законами письменной русской речи. Это баба самая расторопная, деятельная, подвижная, с характером, который был по плечу ее возлюбленному временщику. Это страстная личность, которая, как львица за детенышем, следит не только за сыном любви, за своим и Аракчеева сыном Мишей прижитым, как она уверяет, от влюбленного в нее сурового временщика, но как львица следит и за самим львом Аракчеевым, за его любовью к себе, хотя и изображает из себя покорную рабу, готовую на всякие жертвы для своего господина.

Настасья Минкина — это и экономка в богатом, почти царском доме Аракчеева, и его метрдотель и управляющий его обширных имений, и строгий староста над крестьянами, и неумолимый ревизор над всем, что касается порученных ему вотчин.

Минкина — это действительно око Аракчеева, и не только его око, но и его правая рука, с палкой и плетью в этой руке.

Деятельность Минкиной изумительна, и ее глаз везде доглядает, начиная от аракчеевских кухонь, поварских и кладовых, где она царствует, и кончая аракчеевскими садами, цветниками, прудами, полями, лесами, сенокосами, аракчеевскими крестьянами, управляющими, старостами, головами, рабочими, архитекторами, фельдъегерями, — она все держит в своих крепких руках, и обо всем дает отчет постоянно отсутствующему по делам государства и по личным делам императора Аракчееву.

О характере и наружности Минкиной вообще говорят, что «это была страстная женщина, смуглой кожи, с магнетизмом в черных глазах».

Еще рассказывают, что Минкина, кроме домохозяйства, очаровывала сурового графа умением гадать на картах и предузнавать будущее, что, близкая к народу через хожалых и богомолок, она все знала, что делалось в Петербурге, и потому гадания ее были иногда удачны до поразительности, чем она и побеждала суеверного, мало развитого, всесильного временщика.

Но обратимся к самим письмам Минкиной: капитальнее этих свидетельств о ней самой ничего нельзя найти другого.

У Аракчеева было богатое имение, село Грузино с деревнями. Имение это устроено было действительно богато, по-царски, потому что и Аракчеев, управлявший всей Россией и

устраивавший ее по своему разумению, умел, конечно, устроить и свое собственное богатое гнездо, а Минкина, гениальный помощник Аракчеева, умела дать этому гнезду и домашнему в нем хозяйству все то, что могла ему дать самая неутомимая и притом самая полномочная хозяйка.

Зимой она жила с графом в Петербурге, на лето же всегда переезжала в имение, а когда граф бывал в отсутствии, что при его полновластном заведывании почти всеми государственными делами в империи случалось чрезвычайно часто, Минкина вела с ним самую деятельную переписку.

Часть опубликованной в «Русском архиве» переписке Минкиной с Аракчеевым относится к 1816 — 1820 годам.

Печатая письма Минкиной, редакция помянутого журнала поясняет: «правописание восстановлено», в подлинниках оно, разумеется, вопиющее.

Вот что писала Минкина своему господину и возлюбленному 17 августа 1816 года:

«Батюшко, ваше сиятельство Алексей Андреевич. Прибыв в Грузино 15 числа августа к ночи, нашла все в доме благополучно и в порядке — люди все здоровы, а также и скот благополучен. У флигелей музыканского и людского крыльца переделаны, в погребном флигеле пол опустили ниже и лестницу для входа в комнату перенесли к южной стене — к церкви, теперь делают крыльца у сего флигеля и у башнаго, дорожку из плиты, между флигилей музыканского и людского перестилают вновь и делают под плиту из щебня бут. В саду после отъезда вашего сиятельства дорога от оранжереи к домику, называющемуся моим именем, и до чугунных ворот отделана. Клубника выполота и вновь посажена, деревья и все растения убраны в оранжерею 3-го числа, стрижка по дорогам кончена, а теперь продолжается обрезка по куртинам, по лесу верхи и прорезают липовые аллеи, из еловой рощи назначенные лишние елки вынуть — выняты. На цветочном острове по берегу посажено флоксов красных диких: 300 кустов. При сем посылаю образчики парчи и бархата и перевязь для вашего сиятельства. 12-го числа приезжал в Грузино генерал Левашев с своим адъютантом, кои, переночевав, на другой день катались по деревням и перед отъездом заходили в церковь во время службы, а также и в первый день были в соборе. Целую руки ваши. Слуга ваша Настасья Федорова».

Никакой управляющий и никакой староста лучше этого делового письма не могли бы, кажется, написать.

В письме этом обращает на себя внимание и то место, где Минкина говорит о «домике, называющемся ее именем».

Письмо от 9 сентября имеет уже совершенно другой характер.

Минкина пишет о посещении Грузина Ланским и двумя дамами, о том, что она «женила» какого-то Герасима на крестьянской девке, получила ковер из Парижа и проч. Но что особенно характерно — это ее резкий отзыв о Ланском, которого она называет то бешеным, то дураком, то глупым и просит даже своего возлюбленного графа запретить посещать Грузино таким дуракам, как Ланской, почему-то крайне не полюбившемуся строгой Настасье Федоровне.

«Батюшко, ваше сиятельство Алексей Андреевич. Вчерашний день поутру был у нас Ланской Сергей Сергеевич с двумя дамами, был в обоих домах и в Летней Горе, а после был в соборе у обедни, предлагали им, что не угодно ли чай или кофе и после обедни фриштыкать, но от всего отказались, торопясь ехать. Герасима женила на крестьянской девке из Черниц-Мелеховской крестьянина Якова Денисьева Палагее. В доме, слава Богу, все благополучно и люди все здоровы, а также скот и птицы благополучны. Ковер для собора, присланный из Парижа, получен, коего мерой 22 аршина 15 вершков. Настасья Федорова, целую ручку вашу, верная слуга».

«Скажу вам, отец мой, горница гостиная готова, только не повесила занавески, потому что зимние рамы буду ставить — как хороша вышла эта комната! У нас был бешеный Ланской. Ах, друг, этот дурак не стоит, чтобы быть в Грузине. Поверь, граф, что я столь сердита на него — скакал во весь упор — я была это время на пристани — подумала, что вы едете во весь дух, но карета желтая показалась, догадалась, что Ланской, и думала, что спешит к обедне. Подумай, душа моя, — прямо в сад и в дом, а потом в собор, и всего три четверти был в милом Грузине. Спросить его, что он видел, то, верно, не может сказать — какие глупые были вопросы у человека! Бегал почти по саду, — сделайте милость, не позволяйте навещать дуракам. Скажу, что я обижена осталась и тем и сем, делала приглашения, но не в час все. Прости, ожидаю в скором времени увидеть отца своего».

Оказывается, что Минкина считала себя обиженной, зачем Ланской не принял ее любезного приглашения как хозяйки — зайти к ней в гости, побеседовать, умненько все осмотреть и «пофриштыкать». Ясно, что бывшие с Ланским дамы не решились явиться гостями у Настасьи Федоровны.

Прошло три года после этого письма.

Отношения Минкиной к Аракчееву становятся еще задушевнее, еще дружественнее, интимнее: видно, что они — свои

люди. Но зато эти письма обнаруживают, насколько Минкина умела угождать своему могущественному другу и чем именно угождать: всякой мелочью она старалась доказать ему, что думает только о нем, о его привычках, о его вкусах.

Видно также, что и суровый Аракчеев отвечал на ее нежности такими же нежными письмами. Это доказывает «приписочка» в его письме к своей черноглазой возлюбленной.

Она называет его своим «единственным другом», уверяет, что любит его «более своей жизни». Она считает себя нераздельною с ним: «окороки — для стола нам», «мороженое — замена нам в десерте» и т. д. Она хвалится ему, что ее приглашают к себе люди «превосходительные».

С Клейнмихелем, сильным лицом и как бы преемником Аракчеева в следующее затем царствование, Настасья Минкина, по-видимому, свой человек: Клейнмихель дарит ей разливательную ложку, книжку от пьянства, посылает ей записки.

Отвечая на письмо графа и извещая его о том, что она выписала из Петербурга новую посуду, Минкина говорит: «Меня очень тронула ваша приписка: я вам говорила, что недоставало и что выдала из запасной у меня посуды. Не думайте, отец мой, — я нарочно все так поставлю, чтобы вы увидели мою преданность к вам».

Умелая предупредительность ее поистине замечательна.

«В молошнике, — продолжает она, — разбил крышку Матюшка, но я хотела такую достать, зная, что вы любите их, у меня к ней крышка хрустальная, но все хотела купить точно такую. Я получила от Петра Андреевича разливательную ложку, фаянсовую, желтую, еще книжку, как излечить пьяниц, все положено у вас в кабинете. Любезный мой отец, посылаю вам двойную георгину. Вы не изволили ее видеть, а я боюсь, чтобы не отцвела без вас, также письмо — вы увидите, что меня просят превосходительные. У меня работают в саду, именно чистят пруд и косят луг, который к Волхову, а я занимаюсь своими варениями. Вас прошу, чтобы Тимофея отдать поучиться мороженое делать — нам будет замена в десерте, также формочки поискать для мороженого. Прошу вас, отец, купить два маленьких окорока, они выгодны для стола нам, и лимоноватой воды, дрождей два куш... Я получила конфекты. Я получила теперь лучше не в пример, как конфекты, так и укладка их. Верьте, что ни одна конфетка не испортилась, вы увидите, также их везли как прежние. Вам было угодно купить сафьяну для стульев, которые из Высокого. Прошу вас, мой единственный друг, беречь свое здо-

ровье, я прошу Всевышнего отца о сохранении зашем. Будьте покойны по дому вашему. Я сказала, что люблю более жизни вас, то и хочу всем доказать, что слуга верная своему графу».

Через три дня она опять пишет своему, по-видимому, покорному ей повелителю, и это письмо открывает новые стороны в ее отношениях к могущественному временщику: письмо все пересыпано нежностями, уверениями в страстной любви, восклицаниями вроде того, что — «о друг, сколь любовь мучительна!» и проч.

Сама она уверенно говорит о любви к ней сильного графа, но желает только, чтоб и его любовь была такова, какую она к нему чувствует. Она просит его не сомневаться в ее любви и признается, что сама-то в нем сомневается, но «все прощает» своему единственному другу. «Что ж делать, — прибавляет она, — что молоденькие берут верх над дружбой!»

Но тут же очень ловко напоминает ему, что у них есть сын, «общий сын» их, как она выражается: это известный Михаил Шумский, обучавшийся тогда в пажеском корпусе. Мальчик, по-видимому, не знал, кто его отец, но Минкина открыла ему тайну его происхождения и теперь в письме к Аракчееву просит простить ее за это открытие.

После мы увидим, что Минкина обманывала и Аракчеева, и своего названного сына Мишу насчет происхождения этого ребенка: он не был сын Аракчеева.

Но вот это замечательное письмо:

«20 июля 1819 года — утро, иду к обедне, мой отец.

Любезный мой отец граф!

Сколь ваше милое письмо обрадовало — как вы ко мне милостивы! Ах, душа, дай Бог, чтобы ваша любовь была такова, как я чувствую к вам — един Бог видит ее. Вам не надобно сомневаться в своей Н,.. которая каждую минуту посвящает вам. Скажу, друг мой добрый, что часто в вас сомневаюсь, но все вам прощаю, — что делать, что молоденькие берут верх над дружбою, — но ваша слуга Н... все будет до конца своей жизни одинакова. Желаю, чтоб наш сын общий был примером благодарности, я ему всегда говорю, что Бог нам дал отца и благодетеля, вас, душа единственная моему сердцу, прости моему открытию: любви много и более не могу любить. У нас все, слава Богу, хорошо: люди и скот здоровы, я немножко своим желудком страдаю — но все пройдет. Дай Бог вас видеть в вашем милом Грузине. Одно утешение вас успокоивать. О друг! сколь любовь мучительна, прости! Три дня еще ожидать вас — прошу Мишу поцеловать, если он заслуживает ваших милостей. Я занима-

юсь домашним — при вас некогда будет — как варением, так и сушкою зелени и бельем и постелями, все хочется до вас кончить, мой друг чтобы видел, что Настасья вас любит».

Опасаясь, однако, чтобы «молоденькие» в самом деле «не взяли верх над дружбою», Минкина хочет вытеснить из сердца и помышлений графа этих соперниц своей оригинальной красотой и потому просит его о приобретении ей нарядов — дорогого бархату на капот, турецкий платок и проч.

«Отцу моему графу, — пишет она, — прошу, прости мою смелость.

Отец мой, милый граф, прости великодушно моей смелости, что смею вас беспокоить своими нарядами. Прошу, когда вы будете в Москве, то купите мне черного бархату на капот 14 аршин хорошего, за что я буду заслуживать ваши великие ко мне милости. Также когда будете в Варшаве, то, батюшко, прошу по образцу 6, а если можно 12 пар простынь. Друг и отец мой! Еще если будете в Одессе, прошу купить турецкий черный платок хороший. У меня есть жалования 400 р., когда буду благополучна до вашего приезда, то верно заслужу. Прости смелости моей, если беспокою отца моего. Я бы в Петербурге купила, но зимой очень дорого, а летом не живу в нем. Умоляю у ног ваших — не сердитесь на свою Н... Вы знаете, что не могу без слез просить лично вас. Целую ручки ваши. Верная слуга ваша Настасья Ф.»

В феврале 1820 года Минкина переезжает из Грузина в Петербург, навещает в пажеском корпусе своего сына и обо всех подробностях сообщает вечно отсутствующему по делам сиятельному сожителю своему, жалуясь, что скучно без него.

«Что могу писать окроме своей скуки без вас, мой друг»?

Далее переносит речь на сына.

«Когда я приехала в Петербург, нашла Мишу, слава Богу, здоровым, и я приехала на вторник, но Миша не был еще камер-пажем, — в среду я была у Ав... Семеновны Ерш... и слышу, что мой Миша в лазарете. Ах, отец мой, как мне было тяжко на сердце»!

В другом месте опять возвращается к тому же предмету:

«5-го числа у меня была Екатерина Григорьевна с радостной весточкой, что Миша камер-паж, но все еще в лазарете, у него болит горло»...

Говоря, что во время Масленицы к ней приезжали разные гости, она прибавляет, конечно, не без горечи: «Вы можете судить, как я веселилась, — нет отца, нет сына со мной, одни слезы и грусть, хотя посещали довольно, но все ложно. Не будь у вас, то верно не заглянут ко мне»...

Без сомнения, из высших гостей к ней лично никто не заглянул бы, если б она не была так близка к Аракчееву и так сильна у него.

Но вот Миша выходит из лазарета.

«В воскресенье поутру я посылала к Мише и слышу, что Миша вышел и будет представляться государыне Елизавете Алексеевне. Ах, отец мой, какая радость разлилась по сердцу моему! В два часа послала я лошадей за ним, когда мы увидали друг друга, одни слезы были благодарностью к Богу и к вам, мой отец».

Затем Минкина выражает беспокойство относительно здоровья Аракчеева.

«Вы пишите, что болит у вас грудь. Прошу, берегите свое здоровье — оно дорого для меня, вы наш отец и друг. Просим Бога о сохранении вашей жизни и здоровья. Целую ножки и ручки ваши. Ожидаю отца благодетеля к нам».

Вообще письма ее так и пестрят выражениями — «целую ручки и ножки ваши».

Ловкость и умение этой женщины замечательны во всех отношениях. У Аракчеева заболевает мать. Сын спешит к старухе. И вот Минкина пишет своему сожителю новые нежные письма, говорит о его сыновней привязанности, о «чувствительности» его сердца и о том, что только она одна может ходить за ним и угождать ему.

«Любезный мой отец граф! Что могу сказать вам после вашего дружеского письма? Грусть мучит мою душу, не могу придумать, где вы теперь, мой благодетель. Если вашей матушки не лучше и вы у ней, то позвольте мне быть с вами. Я знаю ваше чувствительное сердце — сколь вы мучите себя — я буду делить с вами горесть. А если вы останетесь одни там, то верьте, что и я не менее буду чувствовать мучение, не в силах выдержать послушания. К вам приеду в тележке, чем представлять каждую минуту вас с растерзанным сердцем. Я уверена в Карле Крестияновиче, но все не я с вами! Отец, умоляю у ног ваших, успокойте себя и свою преданную слугу. Вот три дня как я не найду места, воображая вас плачевным. Верю, что дорога родительница, но что делать!»

И тут же посылает ему список гостей, бывших в воскресенье в Грузине «для любопытства».

С своей стороны Аракчеев просит возлюбленную «не оставлять его».

«Вы пишите, — отвечает она ему, — чтоб не оставила и была бы верная слуга. Один гроб заглушит чувства моей к

вам любви, и я люблю вас столь много, что не могу более любить, этому Бог свидетель».

Тут все пускается в ход — и одиночество, и страждущее сердце: «есть облегчение для страждущего сердца, когда есть с кем делить печаль».

Через несколько дней опять послание на нескольких листах:

«Отец мой граф! Я получила ваши милые письма, за которые целую ваши ручки и ножки, за галстук также целую ваши ручки. Если вас мне не беречь и не любить, то я недостойна и по земле ходить. Вы мой отец и все мне сделали. Вы любите моего Мишу, неужели я могу все это забыть! Нет, мой любезный друг, нет минуты, чтоб могла вас забыть: всегда прошу Бога о сохранении вашего здоровья и продолжении жизни вашей на многие годы, чтоб нам, сиротам, видеть отца и благодетеля веселого между своих подданных. У нас в доме все, слава Богу, хорошо — люди здоровы, а также скот и птицы благополучны, лошадей проезжают, как при вас было. Посылаю к вам записку. Вы можете видеть, что я езжу по деревням».

В деревнях — она и староста, и голова, и управляющий, и ревизор, и судья. «Бранит голову» за упущения, распоряжается рабочими, буквально обо всем доносит своему повелителю, как «подданная» его.

«Также я нашла в Любуни не порядочно у старшины в доме: он худо смотрит за своим домом — за что также пожурила: когда у него не порядочно, то можно требовать, чтоб было у других хорошо? И за голову бранила, что он худо смотрит».

Самым обстоятельным образом Минкина сообщает графу о происшествиях в его имениях, о том, кто из крестьян захворал, кто ленится, кого змея укусила. Случаются воровства — она тотчас делает расследования и допросы. Это губернатор в вотчинах временщика. Но губернатор этот не прочь заговорить и о цветнике — что хорошо-де она его устроила, и прибавляет: «Я воображаю, мой отец, что вы выходите из спальни и целуете за сюрприз...»

Сообщает, какова погода, каков хлеб, каков умолот, какие произошли ошибки в постройках, что не досмотрено архитектором.

«Бедных не забываю я, если только можно где помочь, я всегда и буду делать: все ваше, мой друг, и я ваша, моя душа».

Заключение также трогательно: «Прости, истинно друг сердцу моему. Верная слуга ваша по гроб свой Настасья Федорова — жива, здорова, любит очень вас, мой отец».

Мало того, она следит за учением сына в корпусе:

«От Миши получила я письмо, слава Богу, здоров. Я писала Екатерине Григорьевне об учителе математическом, она пишет, что постарается приискать, но мне Семен сказал, что Петрушевского брат хорошо знает, я спросила у Петрушевского — он говорит, что де учениками занимается, когда готовятся к выпуску — он знает хорошо».

Несколько времени Аракчеев не пишет ей — и она в отчаянии.

«Мы писем не получали от вас, мой родной отец, — видно, вы забыли свое милое Грузино или вы на меня сердитесь, — скажи, отец мой! Вчерашний день 22 числа был у нас В. Ф. Ильин, сказал, то вы к ним пишите. Это сокрушает меня, я не верила ему, потому что вы любите свое Грузино, то, верно, напишите, чтоб в нем все было хорошо. Не говорю о себе, несчастная, скажу, что у вас все, слава Богу, хорошо и благополучно — как по дому, так и по вотчине».

Какими средствами Минкина держала Аракчеева в нравственной от себя зависимости, можно отчасти видеть из письма от 2 сентября 1820 года:

«Отец мой граф! Я получила сейчас записку от Клейнмихеля, что можно писать к вам, но, мой друг, не знаю, как ваше здоровье. Последнее письмо писано было вами 17 августа, за которое благодарю душевно. Целую ваши милые ручки. Сам Бог спасет вас. Он един утешитель нам. Вы всегда слышали от меня, что я надеюсь на него, а после на вас, душа моя.

«Слышу, в Петербурге получили письма, ко мне нет. Скажи, душа, если вы любите кого, то тяжко сердцу вашему было бы — так и я, несчастная женщина, которая посвятила свою жизнь собственно для вашего спокойствия, не могу узнать, как мой отец в своем здоровье, но надеюсь на всевышнего отца, он спасет ваше здоровье. За платье и за платок целую ваши ручки и ножки. Мише послала письмо и платья Софье Карловне, — для меня все хорошо, что вы только пожалуете. Марья Яковлевна целует ваши ручки за подарок. Описать мне, душа моя, о своих знакомых я не смела, и более при горести не пришло в голову — только думала, где мой друг и отец? как его здоровье? Вот что было с моим сердцем, оно видело всю мою горесть. Платья людям шьют, прислали одну пару очень хорошо сшитую, теперь дошивают последние. Думаю, что будет готово к вашему приезду».

Наконец приведем отрывки из последнего письма, писанного на другой день после вышеприведенного.

Минкина получила письмо от Аракчеева и тотчас посылает нарочного в Чудово отслужить молебен. Затем поясняет — «сколь оное обрадовало мое сердце, увидев милый ваш почерк и названия, лестные вашему преданному слуге и другу. Я сказала единожды: един гроб заглушит чувства моей к вам благодарности, служить и беречь и любить — одна моя отрада есть».

Затем снова высказывает радость по случаю получения письма. «Ах, как я рада, что получила письмо ваше — вижу, что любима еще. Что не придет в горестное мое сердце! Дай Бог государю многие несчетные годы, что любви моего отца, и вам — прошу Бога о сохранении здоровья вашего. Он один спасет и подкрепит вас. Письмо посылаю наудачу: не знаю, дойдет ли до рук ваших милых. Вы поберегите себя, душа моя, когда поедете, то не жалейте сделать потеплее шинель себе, там дешевле. Вспомните, что годы не прежние, молодость прошла. Прошу, ради Бога, поберегите себя. Дай Бог, чтобы вы скорее, мой отец, приехали».

Такою рисуется в своих письмах эта женщина, умевшая, словно ягненка, укрощать неукротимого временщика. Ясно, что для того, чтобы быть довольными друг другом и по-своему счастливыми, Аракчеев и Минкина сошлись характерами и Аракчееву более развитой женщины, чем Минкина, не желалось.

Как бы то ни было, но и эта женщина жестоко обманула Аракчеева.

Когда Минкина умерла, Аракчеев узнал, что тот мальчик Миша, впоследствии известный Михаил Шумский, которого Аракчеев считал своим сыном от Минкиной, был не только не его сын, но даже и не Минкиной. Он был подложный.

X. ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА ФРОЛОВА-БАГРЕЕВА

(урожденная Сперанская)

Если законы физической и духовной наследственности как в животных, так и в людях, указываемые Дарвином и Декандолем, до известной степени справедливы, если добрые и дурные свойства родителей, их гениальность, ум и безумие, их добродетели и пороки в значительной доле переходят к детям, то более всего явление это подтверждается фактом по отношению к дочери знаменитого русского исторического деятеля Сперанского.

Дочь Сперанского явилась в свете как раз с наступлением XIX столетия, а потому всей своей жизнью и деятельностью принадлежит первой половине этого века, хотя на первоначальном домашнем воспитании ее отразилась система воспитания самого конца XVIII столетия.

Но дочь Сперанского, по счастью, спаслась от господствовавшего тогда в высших слоях русского общества институтско-монастырского воспитания, о котором часто сам Сперанский в своей многосложной переписке с дочерью отзывался как о воспитании, лишающем женщину лучшей ее силы — подготовленности к семейной жизни во всех ее положениях, на всех высотах, при всех переходах счастья и крайнего несчастья, замыкаемого нищетой.

Елизавета была единственная дочь Сперанского, рожденная от брака его с мисс Стивенс, кровной англичанкой.

До двенадцати лет девочка воспитывалась так, как бы она была рождена в английском семействе, а потому едва ли не первые стихи, которые она начала писать, были английские.

Отец ее, весь поглощенный в это время кипучей своей неимоверно многоплодной деятельностью, преобразовавшей внутренний государственный строй, а равно упорной борьбой со своими сильными завистливыми врагами, не мог уделить ни своего времени, ни своего внимания на личное руководство воспитанием дочери и старался наверстать это упущение уже впоследствии, в горькие и долгие годы своей опалы.

Мать Елизаветы умерла рано, и девочка осталась сиротой в доме отца, поглощенного день и ночь своей неутомимой, поистине изумительной деятельностью.

Но враги Сперанского добились своего: в памятный всей Европе 1812 год у императора Александра «отняли», как государь сам выражался, Сперанского, и отняли его не только у государя, для которого он, по собственному сознанию императора, был «правой рукой», но эту правую руку отняли и у всей России.

Сперанский поехал в ссылку. С ним поехала и единственная дочь его Лиза, с которой он только в этом изгнании познакомился, и в этом же изгнании отец и дочь сблизились так, что надо удивляться той страстной привязанности, которая выросла из этого сближения и которая всю жизнь всецело соединяла эти два замечательные существа.

Впоследствии в Сибири Сперанский вспоминал в одном из своих писем к дочери о своей жизни с ней в ссылке, в Великополье. «Это было, — говорит он, — счастливейшее время моей жизни, когда я занимался только Богом и тобой:

бедность, грозя железным своим прутом, одна могла меня оттуда выгнать».

Около пяти лет прожил Сперанский с дочерью в изгнании и действительно в этом изгнании принадлежал только Богу и своей страстно любимой Лизе: здесь он пополнял недостаточность ее русского образования — в истории, в языке, в литературе, и здесь-то развивал он в ней ту глубоко-сознательную любовь к России и к русскому народу, которой проникнуты были потом все сочинения его дочери.

В 1816 году, когда прошло время напрасных опасений относительно питаемых будто бы Сперанским симпатий к Наполеону, Сперанский был вызван из ссылки и послан губернатором в Пензу.

К этому времени относится его многосложная переписка с дочерью, которая оставлена была на время этой почетной ссылки отца в деревне, в Великополье, на попечении г-жи Вейкардт, дочери известного банкира Амбургера и в то время жены домашнего врача у графа Шувалова.

Каждую почту отец и дочь посылали друг другу письма, и если проходило несколько дней без известий друг о друге, то оба они страдали и мучились друг за дружку. Письма положительно летали между отцом и дочерью раза по два и по три в неделю, — и сколько умилительного в этих заботах великого человека о своей любимой девочке, которой в это время было уже семнадцать лет, сколько теплоты и гениальной отзывчивости на все в этом замечательном человеке, которого ошибочно обвиняли в педантизме и бюрократической сухости.

Напротив, это была богатая, высоко даровитая и поэтическая личность — и все эти качества как в зеркале отразились в его любимой дочери.

Но лучше всего, мы надеемся, самые письма познакомят нас и с дочерью великого Сперанского и с самим Сперанским.

Первое письмо его к дочери из Пензы было от 22 октября 1816 года.

«Третьего дня, — пишет он, — в три часа утра наконец достиг я Пензы. В семь часов я был уже в мундире и на службе. Стечение зрителей необыкновенное. В крайней усталости Господь дает мне силы. Доселе все идет весьма счастливо. Кажется, меня здесь полюбят. Город действительно прекрасный. Все потребности жизни довольно дешевы и в изобилии. Но что мне в изобилии и потребностях, когда нет главной, единственной, нет моей Лизы? Приносят с почты письма, множество вещей приятных от друзей из Петербур-

га — но от тебя ни строчки. Это не упрек и не жалоба, я заключаю из сего только то, что вы в Великополье после меня прожили больше недели. С нетерпением ожидаю следующей почты».

Через день: «Почта еще не пришла, а наша отходит. Прости, моя милая. Поручаю тебя всем милостям Небесного Отца. Не забывай утренних наших молитв, не разрывай начатого знакомства с единым другом, с которым ни смерть самая разлучить тебя не может. Лобызаю тебя заочно... Господь с тобою».

Но вот письмо от Лизы получено и Сперанский отвечает:

«На другой день после предыдущего моего письма получил я твое первое письмо из Великополья. Благодарен, любезнейшая моя Елисавета, что с такой точностью держишь свое слово. Письма твои суть мой насущный хлеб. Описание хлопотливых ваших сборов столь верно, что все лица я как бы вижу пред собой. Наука различать характеры и приспособляться к ним, не теряя своего, есть самая труднейшая и полезнейшая в свете. Тут нет ни книг, ни учителей, природный здравый смысл, некоторая тонкость вкуса и опыт — одни наши наставники. Я предчувствую, что в сей науке ты сделаешь великие успехи. Благодаря Промыслу, который, не без причины и не без благости, посылает нам несчастия и разлуки, ты скорее или вернее других будешь ходить без подпоры. Может быть, кое-где и спотыкнешься, но и тут беда не велика, зато менее самолюбия и более снисхождения к ошибкам других».

«...Обедам и пирам я конца не вижу. Зима угрожает театром, балами и собраниями. Еще сносно, ежели бы ты была здесь. Но без тебя — исчисли все мои жертвы, всю потерю моего времени, всю разлуку с моими греческими и еврейскими седыми бородами...»

Елизавета отвечает отцу на первые его письма. Сперанский в восторге от писем своей Лизы.

«Нет, моя милая Елизавета, тебе не надобно учиться у Sevigne, чтобы прельщать меня твоими письмами. Желал бы расхвалить тебя, но боюсь собственного своего самолюбия. Пиши, моя прелестница, точно так, как доселе писала, описывай твое общество, твои свидания, твои разговоры, раздробляй иногда собственные свои ощущения: это познакомит тебя более с собой и оживит в мыслях моих всю картину настоящего твоего бытия. Повтори здесь переведенную тобой из Lady of the Lake песню: «Тень друга вьется» и проч.

Девушка постоянно занята уроками, чтением в своем уединении, и не тяготятся им. У нее так много работы, а с ней и знаний: она даже латинскую Библию читает в подлиннике. Она даже от удовольствий отказывается, и отец называет такую жизнь девушки «произвольной неволей».

«Я называю ее произвольной по кротости, с коей входишь ты во все изгибы твоего положения. Все к лучшему, мой друг, неволя сия дает еще более мягкости твоему характеру, а ты знаешь, что всего мягче и тягуче — золото.

Благодарен, моя милая, и истинно благодарен, что ты читаешь латинскую Библию. Это совершенно личный мне подарок».

Девушка — вся в отца: это такой же гибкий ум, способность анализа, обаятельный ум.

Девушка в письме к отцу высказывает удивление, за что ее находят умной.

«Ты дивишься, что тебя находят умной, — отвечает он. — Я точно в том же положении здесь. Это доказывает вообще слабость разума человеческого, одна линия выше обыкновенного, и все кричат: чудо!»

Девушка не останавливается на тех знаниях, которые приобрела от отца. Она идет далее — находит себе учителей и вновь учится.

«Новое твое завоевание, немецкий язык, — пишет по этому случаю Сперанский, — весьма меня радует. Некогда ты будешь меня водить, как слепого Велизария. В языках ты настоящий русский богатырь: ибо все наши богатыри родились сиднями. Не оставь, однако же, итальянского и напиши, кто будет учителем».

А эта милая заботливость о своей Лизе в письме от 21 ноября 1816 года:

«Прошедшая почта не принесла мне ни одного письма из Петербурга, сии почтовые запутанности весьма неприятные, а особливо у кого есть за тридевять земель Лиза. Одно утешение, что завтра получу от тебя вдруг два письма. Тебе уже известно, моя милая Елизавета, что государь наградил нас с тобой арендой и жалованьем. Самая справедливость требует, чтоб я с тобою поделился, дарю тебе, мой друг, с Сонюшкой (дочь г-жи Вейкардт) на обновку к Новому году по вашему выбору — угадай сколько? По сто рублей каждой. Признайтеся, большие мои дуры, что это очень щедро».

Говоря о том, что почетное удаление его в Пензу развязывает ему руки и что он теперь может быть совершенно

свободен, выйдя в отставку, Сперанский прибавляет, что он этого не сделает, не посоветовавшись с своей Лизой.

«Ты смеешься? — прибавляет он. — Но знаешь ли ты, дурочка, что по мере того, как мой разум с летами слабеет, твой должен укрепляться и что я с тобою только составляю одно целое, без тебя же я не могу иметь всей полноты моего бытия».

Дочь просит отца сообщать ей подробно о Пензе, о том, как бы они могли там вдвоем устроиться.

Сперанский отвечает, что был бы счастлив жить вместе с нею, но пока просит не приезжать к нему по разным соображениям, потерпеть — и прибавляет: «Правда, что мы с тобой и не избалованы... Вся опасность только в том, чтоб не избаловаться и не принять случайного за непременное — чтоб не отучиться спать на жесткой постели...»

Свои стихи, переводы, упражнения — девушка все это шлет отцу.

«Муза твоя не дремлет, — отвечает, между прочим, Сперанский. — Стихи твои прекрасны и, что до меня, как старого твоего учителя, всего драгоценнее, ни одной погрешности в языке!»

Время между тем идет. Дочь и отец тоскуют друг о друге.

«Уже 12-е декабря! — пишет Сперанский. — Уже поворот солнца с зимы на лето! Как время течет, мне его не жаль, пусть себе течет, оно для того и сделано, чтоб идти и вести нас к вечности. Сверх той большой, таинственной вечности, к которой все мы должны готовиться, у меня есть своя, особенная, — свидание и соединение с моей милой Лизой. Когда придет этот март или май месяц? Но он наконец придет, ранее или позже, мы будем вместе и уже будем неразлучны».

Девушка спрашивает, может ли она кому-нибудь показывать письма отца — этого ей не хочется.

«Весьма справедливо не показывать никому моих писем. Это было бы разглашением святыни. Совсем иначе говорят с глаза на глаз, нежели втроем, даже и между друзьями. А мои письма к тебе суть беседа моего сердца с твоим, и я не желал бы, чтоб кто-нибудь нас подслушал».

Сперанский собирается купить себе имение под Пензой и сообщает об одной деревне: «Я хотел бы купить ее на твое имя, не знаю, что-то есть для меня привлекательное, чтоб тебе все принадлежало, а мне ничего, мне что-то приятно от тебя, мой друг, зависеть».

Много пишет он своей Лизе на первый день Рождественских святок и, между прочим, говорит: «Прошедшая не-

деля была для меня счастливее предыдущей. Я получил от тебя два письма: одно с почтой, другое с Агафьиным братом. Последнее есть картина подлинно живописная чтения твоего Марии Стюарт. С каким удовольствием буду я тебя слушать, моя чародейка, когда ты будешь мне волшебным твоим жезлом открывать и указывать сии неизвестные мне земли! Письмо твое написано прекрасно и правильно даже! Это значит, что ты писала его не торопясь и не была развлекаема».

Говоря о том, что он любит и приятельницу своей Лизы — Сонюшку Вейкардт, Сперанский оговаривается:

«Истинно я люблю ее как дочь, но не так люблю, как тебя: она по тебе занимает у меня второе место, но первого без тебя ни кто бы, кажется, не занял, оно без тебя осталось бы навеки праздно, если бы ты и действительно имела десять родных сестер — и лучше тебя и сто раз умнее. Есть какая-то неизменяемая форма для любви родительской, и ты именно для меня вылита в сию форму».

1 января Сперанский поздравляет свою дочь с Новым 1817 годом.

«Сегодня мне исполнилось 45 или 46 лет (прибавляет он). Сколько времени потерянного в науках тщетных, в исканиях ничтожных, в местах воображения! Если бы Бог не даровал мне тебя, то я мог бы сказать, что я 45 лет работал Лавану за ничто. Полезнейшим временем бытия моего я считаю время моего несчастья и два года, которые посвятил я тебе».

Все, что он своим великим умом и своими нечеловеческими усилиями сделал для России, — все это он считает ничтожным с тем, что мог бы сделать для своей любимицы!

Уже в январе Сперанский задумал о том, как переедет к нему его Лиза — готовит деньги, маршруты, экипажи.

«С каким восхищением встречу я тебя на границе благословенной нашей губернии, покажу тебе новую нашу деревню и, наконец, водворю тебя, после толиких странствований, в новом твоем отеческом доме!»

Елизавета снова присылает к отцу свои стихи.

«Благодарен за стихи, — отвечает Сперанский, — но скажи мне, стихи «К Надежде» — перевод или сочинение? Это не привет, но сущая правда. Они имеют такое сходство в обороте своем с лучшими немецкими стихами, что я в недоумении. Если это сочинение, как я и люблю верить, то сие доказывает, что ум твой занят и напоен немецкой словесно-

стью. Я рад: ибо она и изящна, и оригинальна. Есть некоторые неисправности в языке, но и это мне приятно, это значит, что в Пензе я буду еще иметь удовольствие тебя доучивать и содержать тебя в моей зависимости».

Девушка пишет о своих занятиях Шекспиром и Шиллером. Говорит, что увлечена Шиллером, и советует отцу учиться по-немецки.

Отец отвечает, что после Шиллера французская словесность будет для дочери «казаться без цвета и без вкуса».

«Я о сем не жалею, — прибавляет он, — но вот о чем ты сама, может быть, пожалеешь: если, увлеченный твоими живописными картинами, пущусь я по совету твоему в море немецкой словесности: тогда что будет с моим губернаторством? Я должен буду все оставить, даже и еврейский мой язык, и ты одна всего будешь виною. Продолжай, однако же, писать ко мне о новых твоих открытиях, невзирая на все последствия».

Сперанский теперь ни о чем другом не думает, кроме свидания со своей Лизой. А между тем еще январь.

«Со следующей почтой пришлю твой маршрут. Удивительно, как идет время. Думаю о тебе каждый день, каждый час, а писать к почте не успеваю. Это оттого, что думать и любить тебя несравненно легче, нежели писать, хотя и писать приятно. Прости. Христос с тобой».

Через несколько писем, в которых речь идет о поездке дочери, Сперанский не может удержаться, чтоб не сказать: «С каким удовольствием слышу я стук плотников и слесарей в комнатах, которые для тебя готовлю! Это сокращает расстояние предлинных трех месяцев, кои должен я еще провести без тебя. Прощай, моя милая. Христос с тобой».

В другом месте, говоря о своей любви к дочери, Сперанский оговаривается, что ради ее счастья он готов на все — даже ее не видеть, если это необходимо: «Я не чувствую почти тяжести жертв, когда они тебе только полезны. Бог не попустит, чтоб я из тебя когда-нибудь пожелал сделать собственную мою куклу».

Переписка между Лизой и отцом идет неустанная.

В первый день Пасхи Сперанский пишет первой ей — своей «Лизуте». Приветствует ее со всей нежностью.

«Вместо красного яичка посылаю тебе собственный мой лик, пусть он тебя поздравит и за меня поцелует. Здесь находят его весьма схожим. Его писал один здешний дворянин, amateur, кисть не самая мастерская, но удивительная в сходстве. Он и тебя напишет, мою милую дуру, когда ты сюда приедешь».

Наконец дочь едет. Целая масса писем идет ей навстречу с разными распоряжениями, пожеланиями, деньгами, экипажами. Едет она с г-жой Вейкардт.

«Желаю только, чтоб дорога ваша как можно более походила на прогулку. Спешить слишком нет нужды, лишь бы вы были покойны. Не забывайте каждый день поутру и ввечеру по несколько верст ходить пешком, это существенно. Да не загорите, чтоб не приехать вам сюда арапками».

Еще письмо: «...Здесь полная весна (конец апреля), деревья распустились: воды упали, все тебя ожидает, все призывает твою музу, чтоб воспевать здешние красоты. Ты смеешься, дура, а я уверен, что ты будешь здесь писать и лучше, и охотнее».

Задержка в отъезде. Горе с обеих сторон. Письма еще учащаются. Уже июнь наступил.

Еще одно письмо к Лизе наудачу, и это уже последнее. «Как не верить мне положительному твоему обещанию отправиться 15-го июня? Я так давно сего желаю. И так, добро пожаловать, все здесь у меня готово, а готовее всего мое сердце».

«...Прощай, моя милая, мне так близко кажется свидание с тобой, что уже и писать не хочется. Жаль уменьшить предметы разговоров. На две недели предаю уши и внимание мое в полную твою волю. Прощай. Христос с тобой».

Но и это не последнее письмо. Еще одно письмо встречает «милую дуру» на дороге — это поздравление с приближением к пределу пути.

«...Еще пять, шесть дней — и ты дома!.. Целую обе руки твоего ангела-хранителя...»

И вот «милая дура» с отцом, в Пензе. Как один день пролетел год и несколько месяцев счастья — общей жизни.

И снова у Сперанского отнято его счастье — его «милую дуру» опять увезли в Петербург.

«Какая пустота, любезная моя Елисавета, с тех пор как вы уехали, — пишет он 1-го октября. — Вот две недели уже минуло, а я не имел еще духу сойти вниз и быть в ваших комнатах. С летами, кажется, я становлюсь малодушен».

В следующем письме он предостерегает дочь от известного нечистотой своих деяний Магницкого.

«С Магницким будь осторожнее: ибо и в Петербурге поведение его не одобряют. Приезд твой, верно, произведет толки. Старайся разрушить их, уверяя, что в конце зимы или в начале весны ты сюда возвратишься, хотя, впрочем между нами, дело не совсем невероятное, что мы зимой

будем вместе». И тут же поправляет грамматические ошибки своей Лизы: «Не пиши превозходительству, но превосходительству».

Снова письмо за письмом летят в Петербург. Из Петербурга тоже.

«Первое письмо моей Елисаветы из Петербурга, с сего времени начнется опять письменная наша беседа, и Богу одному известно, скоро ли превратится она опять в разговоры».

Девушка пишет о Магницком — далеко не хвалит его.

«Замечание твое о Магницком весьма справедливо, — отвечает Сперанский. — ...Он давно перестал меня слушать. В слабой его голове советы мои потеряли всю силу с тех самых пор, как счастье лишило их очарования. С тех пор он стал умнее, а я пред ним глупее. Это одно дает точную меру рассудительной его силе. Впрочем, должно быть справедливым: я забавлялся, играл некогда умом его, теперь должно платить за сии игрушки...»

...«Ради Бога не оставляй пения: ибо на сто музыкантов едва найдешь одну певицу. Тебе же и стыдно оставить сие упражнение после столиких усилий — и дозволь себе сказать — успехов».

«...У нас нового ничего нет. Балы наши еще не начались, да и что мне до балов, когда нет моей волшебницы?..»

«...Внизу еще не бывал, и быть не могу до зимы...»

Дочь пишет, что хочет учиться композиции, генерал-басу. Отец поддерживает эту мысль.

«Вообще во всякой науке, — говорит он, — надобно добираться до того, чтоб мыслить и самому изображать свои мысли. Что за стихотворец, который умеет только читать стихи чужие? Что за стихотворец, например, я? Дело другое ты. Вот для чего мне всегда хотелось, чтоб ты получила понятие о генерал-басе... А итальянский язык?»

Говоря, что продает свой дом в Великополье и тем делает себя независимым от долгов, Сперанский прибавляет: «Независимость есть единое благо, коего нам недоставало, все прочее, по милости Божией, я имею: Лиза, здоровье и друзья, как твоя мама (г-жа Вейкардт). Чего же более?..»

«...Весьма умно распорядилась ты с деревьями, и может ли Лиза сделать что-либо худо? Везде ум и особливо здравый, зрелый рассудок...»

Действительно, оба эти существа жили как бы одним умом, одним сердцем.

«По согласию мыслей твоих с моими, — пишет отец, — мне остается почти только пожелать чего-либо, чтоб и считать

уже исполненным. Каким образом двое часов на таком расстоянии могут идти столь согласно?..»

Письмо к дочери от 17 декабря 1818 года Сперанский начинает эпиграфом из «Дон Карлоса» Шиллера:

Wie schon ist es und herrlich, Hand in Hand,
Mit einem theuern, vielgeliebten Sohne
(Tochter! прибавляет Сперанский),
Der Tugend Rosenbahn zuruck zu eilen,
Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen!

«Тебе, любезная моя Елисавета, по всей справедливости, принадлежат все мои успехи. На прошедшей неделе я прочитал Дон Карлоса сперва начерно, теперь читаю набело и с удовольствием... Но сделай милость, не учись по-турецки, ни по-татарски, ты меня замучишь, если мне везде за тобой следовать должно. И немецкий твой язык мне довольно дорого стоит. Были дни, в кои я сидел за ним часов по 12-ти, c'est une rage. Нет ничего лучше в некоторых случаях, как заупрямиться, мне же всегда нужно заняться чем-нибудь весьма трудным, чтоб отбить от себя прилив мыслей и воспоминаний...»

Новый 1819 год по-прежнему дочь и отец встречают в разлуке.

Сперанского тяготит мысль, что его в Петербурге забыли, и тяготит самая жизнь.

«Поздравляю тебя, любезная моя Елисавета, — пишет он, — с Новым годом и со днем моего рождения. Если б не было тебя: то день сей был бы для меня, по истине, днем печали и горестных воспоминаний».

Через несколько писем Сперанский как бы шутя дает знать дочери, что он более не вынесет своей пензенской ссылки.

«Предваряю тебя, любезная моя Елисавета, пишет он в половине января, что, если в течение сего месяца ты не пришлешь ко мне курьера, чтоб я явился к тебе в Петербург, то 1-го февраля отправлю я на тебя жалобу государю и буду просить отпуска на 4 месяца. В самом деле, я на сие решился. Не думаю, чтоб мне отказали, и таким образом в марте я буду в Петербурге, а далее что Бог даст».

Граф Кочубей пишет из Петербурга Сперанскому, что «дивится» образованию его дочери.

Со своей стороны, девушка, постоянно занятая, сообщает отцу свое мнение о русской литературе.

«Рассуждения твои о литературе нашей, — отвечает Сперанский, — справедливы, но мне горько думать, что она

осуждена всегда на игрушки. Мне кажется, недостаток силы происходит от ее младенчества. С возрастом придет и сила. Для легкой шутки надобен только ум, но для сильных произведений потребно размышление и сила воображения, возбуждаемая и управляемая классическими образцами. А у нас именно сего-то и не достает. Авторы, тобой приводимые, суть не что иное, как остроумная неуч. Я их помню. Сам Крылов есть порядочный невежда. Впрочем, есть невежество гения и невежество остроумия, первое мы видим в Шекспире».

Отец а дочь ждут свидания как спасения. Но свидания не разрешают.

«Мысль, с тобой видеться, любезная моя Елисавета, — пишет Сперанский 11 февраля, — так мною овладела, что мне кажется и писать уже к тебе нечего. Для чего происшествия сего тяжелого, грубого, свинцового мира не летят так, как мое воображение? Еще две или три вечные недели я должен провесть между страхом и надеждой»...

А 18 февраля он вновь пишет: «Правда ли, любезная моя Елисавета, что еще две-три недели и мы с тобой опять вместе? Признаюсь, горько мне будет в сем обмануться, лучше бы не надеяться. Трудно мне будет извинить обстоятельства: трудно, но не возможно. В расчете благоразумия я должен бы был теперь готовиться к отказу, но нещадный разум едва смеет прикоснуться к крыльям воображения. И неумолимый смягчается!»

Но страшным ударом был для Сперанских не только отказ в отпуске, но приказ немедленно ехать в Сибирь генерал-губернатором.

Враги никак не хотели выпустить его в Петербург.

«Что сказать тебе, — пишет он в отчаянии своему единственному другу, — о новом ударе бурного ветра, который вновь нас разлучает по крайней мере на год. Вчера я получил весть сию и, признаюсь, еще не образумился. Думаю, однако же, что Господь даст мне силы перенести и сие огорчение, по всей вероятности последнее: ибо есть конец всякой силе изобретения и есть же конец всякому и терпению. Я надеюсь, что моего станет еще на год, но не более».

«...В положении моем есть нечто таинственное, почти суеверное», — пишет он в следующем письме, выражая надежду, что через год наконец он доберется до Петербурга — через Сибирь!.. «Есть надежда, что я к той же цели приду, хотя путем довольно длинным и вместо 1500 верст должен буду сделать около 12000 (оказалось еще больше!). Надежда сия, однако же, есть тайна, которую тебе одной я вверяю...»

Через три дня Сперанский вновь пишет:

«Третьего дня, в самый день светлого воскресенья отправил я с фельдъегерем к тебе мрачное письмо мое. Не печалься, моя любезная Елисавета, чем более я всматриваюсь в свое положение, тем более нахожу в нем перст Провидения, а где Провидение, там надежда. Описав большой круг, я приду к той же самой точке, к соединению с тобой и к жизни безмятежной. Бог даст мне силы. Здоровье мое самым видимым образом укрепляется, а с здоровьем и с духом бодрым чего перенести невозможно!»

Письма дочери поддерживают его энергию: дочь просит отца не падать духом.

«Письмо твое, любезная моя Елисавета, от 27 марта весьма меня обрадовало, — отвечает Сперанский. — Я привык все относить к тебе, все чувствовать в тебе. Русское твое сердце на сей раз весьма кстати пособило твоему рассудку. Одна разлука с тобой составляет всю мрачную сторону моего нового назначения, все прочее довольно ясно и даже блистательно, а лучше всего то, что сия перемена венчает мою службу хотя странным, но весьма приличным и благовидным образом. Думаю, впрочем, что и без расчетов самолюбия путешествие мое для образования сего края будет небесполезно. Может быть, Жуковские и Мерзляковы, из рода тунгусов и остяков, воспоют некогда мое имя, как греки воспевали своего Кадма или скандинавцы Одина. Само собой разумеется, что в сих песнях и ты не будешь забыта, и имя Елисаветы — моей дуры, займет несколько полустиший в их гекзаметрах».

8 мая Сперанский выехал из Пензы. 13 мая он уже пишет дочери из Казани. 18 — из Перми.

«Сегодня отсюда пускаюсь в Тобольск, где надеюсь быть в самый Троицын день 25-го мая. Нельзя и для свидания с тобой более спешить!»

И в Сибири у него одна дума — его милая Лиза.

«И здесь, любезная моя Елисавета, — пишет он из Тобольска, — то же небо, тот же благотворный свет солнечный, те же люди, смешение добра и зла, тот же Отеческий промысл, объемлющий все пространства, сближающий меня с тобой во всех расстояниях, укрепляющий и исполняющий сердце мое доверием и надеждой».

Как новый генерал-губернатор, скачет он, не зная устали, вдоль и поперек всей Сибири, и везде его разыскивают письма его Лизы, а его письма со всех мест летят навстречу письмам дочери.

«Трудно видеть луга более тучные, лучше испещренные, — пишет он из Томска уже, — и если б не был я за 1500 верст от тебя, то можно бы сим повеселиться, но сердце мое сжато и не прежде раскроется, как при обратном отсюда путешествии».

«Письмо твое, любезная моя Елисавета, от 8-го июня, дошло ко мне 14-го июля, — говорит он в следующем письме, — какое ужасное расстояние: а через две недели я буду от тебя еще далее. Как же не желать, как не искать нам вечности, все соединяющей, когда здесь все разделить нас может?

Рассуждение твое о чувствительности прекрасно и даже весьма основательно. Упражняйся, любезная, чаще в сих размышлениях, но упражняйся с пером в руке: ибо сим одним образом можешь ты установить и удержать полет твоих мыслей...»

Тоскует девушка, боится будущего.

«Ты стареешь, — пишет ей отец на это, — ради Бога не допускай себя стареть, не теряй розовых твоих мыслей, не дозволяй входа в сердце твое пустым страхам: не все ли, не везде ли мы в руках Всевышнего промысла, не ломают ли себе ног на паркетах, и сверх того прошедшее должно тебе ручаться за настоящее и будущее. Что бы ни говорили, а есть предчувствие, и сие предчувствие удостоверяет меня, что судьба моя еще не исполнялась и не прежде исполнится, как по соединении с тобой...»

Положительно можно сказать, что девушка, едва вышедшая из детского возраста, одна спасала великого человека от отчаяния, которому он готов был поддаться, когда будущее его было так мрачно.

«Среди нестройных криков страстей и жалоб, здесь меня окружающих, я читал, любезная моя Елисавета, письмо твое и мысли о несчастье, как музыку Гайдена... Продолжай утешать меня, мне нужны твои утешения...»

Много работая над своим развитием, хорошо подготовленная отцом, Елисавета в то же время берет на себя обязанность учить детей.

«Поздравляю тебя в звании учительницы детей, — пишет ей Сперанский. — Весьма не худо учить и лучший способ учиться. Ты будешь со временем miss Edgeworth...»

5 сентября в день именин дочери Сперанский пишет уже из Иркутска: «Давно ли, любезная моя Елисавета, день твоего ангела праздновали в Пензе? Это кажется вчера. Между тем сколько происшествий, какая разлука, какая отдаленность!

Но сила любви не знает расстояний. И в Иркутске праздную сей день, счастливейший в моей жизни, благодарением Всевышнему Отцу, который вместо всех благ жизни даровал мне тебя. Ангел-хранитель невинности и чистоты душевной да будет с тобой!

В это время девушка познакомилась с Жуковским и сообщает об этом отцу.

«...Свидание с Жуковским, — отвечает на это Сперанский, — есть действительно происшествие, редко встречаются гении, и, с того времени как встретился Шиллер с Гете, ныне случилось это в первый раз. Тут нельзя ошибиться, если он Шиллер, то ты Гете. Соразмерность почти верная...»

Тоскуя по отцу, девушка выражает желание быть мальчиком, чтоб иметь свободу пуститься в Сибирь.

«Запрещаю тебе желать быть мальчиком, — отвечает Сперанский. — Ты рождена именно для того, чтоб быть моей Елисаветой, и десяти мальчиков за сие я не возьму. Сверх того, это и не нужно, даже и в том предположении, в предположении для меня горестном и слишком невероятном, чтоб ты принуждена была посетить Сибирь, никакое превращение к сему не нужно...»

В одном письме девушка говорит о «твердости», о том, что она есть у женщин.

«Смело говори и рассуждай, любезная моя Елисавета, о твердости, — отвечает ей на это отец, — истинная твердость в нашем веке может быть более принадлежит женщинам, нежели мужчинам. И с чего мужчины взяли присвоить себе исключительно сие достоинство? Можно иметь в самой высшей степени чувствительность и вместе твердость, я подозреваю даже, что одно без другого быть не может, и истинная чувствительность едва ли не родная сестрица твердости. Как можно, например, быть твердым в несчастье без живого чувства какой-либо главной идеи, нами обладающей? Кто скорее бросится в реку за утопающим ребенком? Отец или мать? Мать, без сомнения. А разве пренебрежение опасностей не есть твердость? Может быть, нам можно с вами поделиться, мы возьмем себе на нашу часть твердость продолжительную, упорную, а вы внезапную, стремительную, хотя, впрочем, и не знаю, справедлив ли будет и сей раздел. Жизнь вашего пола есть почти беспрерывное терпение.

«Как бы то ни было, сочинение твое о твердости принесло мне много утешения. Мысли вообще основательны, много есть тонких и счастливых выражений, одному женскому перу свойственных. С небольшими поправками оно могло бы быть

с удовольствием прочитано и не отцом. Ты спрашиваешь, неужели в слоге твоем нет ошибок? Есть, но они уменьшаются так, что и из Пензы поправлять их не стоило бы труда, а из Иркутска!»

Наступил наконец и 1820 год. Девушка все в разлуке с отцом и, чтоб хоть чем-нибудь утешить его, посылает ему к новому году свой портрет.

Сперанский благодарит свою любимицу за это нежное внимание. «Предо мной на столе всегда стоят две твои пензенские миниатюры, — пишет он, — к сожалению, одна из них, в сарафане, наиболее сходная, линяет. Теперь будет чем заменить».

Перед одной Елисаветой своей Сперанский ничего не скрывал. «К тебе одной, — говорит он, — моему единственному другу, пишу я с полной откровенностью и доверием».

Ей доверяет он и следующее: «Сибирь для меня есть театр довольно выгодный, — говорит он. — Если не много я здесь сделал: по крайней мере много осушил слез, утишил негодований, пресек вопиющих насилий и, что, может быть, еще и того важнее, открыл Сибирь в истинных ее политических отношениях. Один Ермак может спорить со мной в сей чести. Все сие, разумеется, я пишу только к тебе и для тебя».

В феврале Сперанский скачет в Кяхту, оттуда в Верхнеудинск, потом в Нерчинск, где спускается «в преисподнюю на 36 сажен под землей, чтоб видеть своими глазами последнюю линию человеческого бедствия и терпения», и отовсюду письма его направляются в Петербург — все к той же Лизе: каждое свое впечатление он одной ей доверяет.

Даже под заглазным руководством такого отца крепнет характер и воля девушки, закаляемая несчастьем.

«Буря застала тебя в такие лета, — пишет ей отец из Иркутска, — когда ты ее не чувствовала. Ты играла в Нижнем, играла в Перми и начала чувствовать бытие твое в Великополье. Все вероятности есть, что, оставаясь в Петербурге, ни ум, ни характер твой не получили бы ни развития, ни твердости. Я не мог бы тобой заниматься, обстоятельства более изнежили бы тебя, нежели укрепили. Ты была бы по сие время не что иное, как вялый ребенок. Таковы суть большая часть женщин... Несчастье! Его должно было бы называть другим именем, именем благороднейшим, какое только есть в происшествиях человеческих. В духовном смысле оно есть помещение в число чад Божиих, сыноположение. В моральном — сопричтение в дружину великодушных. Несчастие! Его должно было бы вводить в систему воспитания

и не считать его ни оконченным, ни совершенным без сего испытания».

Ни Сперанский, ни дочь его не знали, что им готовится новое испытание. Они надеялись летом 1820 года быть уже вместе.

Но враги их не дремали. И на эту предстоящую зиму отца отрывали от дочери.

«Как бы то ни было, — пишет Сперанский в мае 1820 года, — я должен буду провести будущую зиму в Сибири и именно в Тобольске. Мои собственные огорчения тут не должны быть в счет принимаемы, я всегда найду силу их перенести... Чувствительность моя вся в тебе. Если при сем отдалении нашего свидания нужны тебе мои какие-либо советы, требуй их откровенно и не полагай никаких пределов моим чувствам. Не бери в счет моего бытия, думай только о своем счастье и будь уверена, что я буду совершенно счастлив, когда за 6000 верст буду знать, что ты счастлива...»

Безнадежность свидания еще более учащает письма между отцом и дочерью. Они желают знать друг о друге — все, всякую мельчайшую подробность.

«Ты ничего мне не пишешь о твоем пении, — спрашивает Сперанский. — Как жалко, что люди так глупы, что не слышат в твоем голосе будущего его раскрытия, не знают цены его timbre, который требует только упражнения и гибкости. Некому слушать, и я очень понимаю, что и петь для глухих не хочется, но пой для меня и верь, что за 6000 верст я услышу!»

Время идет медленно. Даже письма дочери не сокращают его для изгнанника. В половине июня к Сперанскому приезжает из Петербурга курьер с бумагами. «Сей курьер, глупый человек, не знал, что у меня есть дочь в Петербурге, не привез мне ни одного письма», — с горестью говорит ссыльный генерал-губернатор.

Но зато другая радость, хотя минутная, оживляет его. Из Петербурга возвращается один енисейский купец, который видел своими глазами Лизу. «И он, и товарищ его, — пишет по этому случаю Сперанский к дочери, — не могут тобой нахвалиться и без слез не могут вспомнить, что такие высокие люди, как Елизавета Михайловна и Марья Карловна так с ними были ласковы».

Дела опять загнали Сперанского в глубь Сибири. В августе он пишет уже из Красноярска. Говорит, что письма дочери и выраженные в них надежды на свидание раздирают его душу. Кроме того, из некоторых ее писем он заключает,

что его Лиза еще кого-то любит, кроме него. Он говорит ей об этом — девушка не понимает и спрашивает отца, что это значит.

«Первое движение мое во всякой глубокой душевной скорби есть бежать в горнее мое отечество. В сем расположении мыслей я стараюсь скорее распорядить земные дела мои и сделать последнее мое завещание, и какое другое могу я иметь дело на земле, кроме твоего счастья? Письмо мое к тебе было в существе своем не что иное, как вопрос: можешь ли ты найти другого в жизни спутника, кроме меня, который, по странному сцеплению судьбы, вместо того чтоб тебя вести, запинает твой путь. За шесть тысяч верст я не мог разрешить сего вопроса. Ты еще не знаешь всей заботливости, всей тонкости отеческого сердца. Некоторые черты твоих писем открывали мне, что нечто лежит у тебя на сердце, я не мог определить, что именно. Я видел четыре действующих лица, но не знал, как их сложить. Все, что мог и должен был я сделать, было предоставить тебе полную свободу разрешить тебя на все случаи, уверить, что одно знание, один слух о твоем счастье есть уже для меня действительное счастье. Я должен был сие сделать потому, что в любви к тебе не имею я никакого самолюбия и что, жертвуя всем, я желаю одного, чтобы ты была неприкосновенной, чтобы на одного меня излили все, что есть горестного в судьбе моей. Я не могу чувствовать радостей жизни без тебя. Но могу жить и без радостей, одного желаю и прошу у Бога чтобы ты была счастлива. Вот содержание письма моего. Никогда не перестанешь ты меня привязывать к земле, доколе желание сие не совершится, и, если бы должно было еще пять раз быть в Сибири, я чувствую себя в силах все перенесть без ропота и без ослабления... Мысль отделить мое бытие от твоего счастья есть выше всего моего терпения...»

И это говорит Сперанский — холодный будто бы формалист, бюрократ... Мало того, о том, кого его Лиза изберет себе в мужья, он говорит: «Тот, кто искренно любит мою Лисавету, должен по первому ее знаку прилететь с того света, иначе он ее не знает или любовь его есть игра ума и воображения...»

Возвращаясь из Красноярска на запад Сибири, Сперанский находит в Томске новые письма от дочери. «Еще два письма от моей Елисаветы, — говорит он. — Если бы и не было другой выгоды возвращаться с востока на запад, то одна встреча твоих писем стоила бы путешествия...»

В другом письме благодарит свою Лизу за присланные ею рисунки своей кисти. Пишет уже из Семипалатинска: «Живопись твоя прекрасна... Итальянский язык есть последняя черта моих о тебе желаний. Окончив ее, кажется, все будет окончено, что было начато, и без тщеславия можно быть покойным. Ты не отстанешь от своего века, сколько бы ход образования его не был обширен и стремителен. Все двери познаний, все источники чистых удовольствий тебе открыты...»

Из Тобольска, 9 октября: «Если сердце моей Елисаветы спокойно, то нет для меня горестей на свете. Сие одно существенно, все прочее исчезает как мечта, как призрак при первом нашем взгляде друг на друга...»

Девушка следит за литературой и замечания свои сообщает отцу. Является как литературная новость «Руслан и Людмила» Пушкина. Чутье подсказывает девушке, что из Пушкина выйдет что-то большое, и она делится этим открытием с отцом. Сперанский отвечает: «Руслана я знаю по некоторым отрывкам. Он действительно имеет замашку и крылья гения. Не отчаивайся, вкус придет, он есть дело опыта и упражнения. Самая неправильность полета означает тут силу и предприимчивость. Я так же, как и ты, заметил сей метеор. Он не без предвещания для нашей словесности».

А вот как превосходно Сперанский очерчивает характер своей дочери:

«Итак, к тебе опять возвратился ребяческий твой нрав. Уверяю тебя, что и в шестьдесят лет он тебя не оставит, если силой ты его не выгонишь. Это есть печать, которую на известные характеры налагает сама природа, горести могут ее затмить, но не изгладят, проглянет солнце надежды — и печать тут. Я первый ее в тебе приметил, для других и теперь еще это тайна, они не знают, к чему отнести все это, что есть в характере твоем приятного, а это candeur, это не есть откровенность franchise, ни простота simplicite, ни то, что называют naivete, хотя часто смешивают одно с другим (собственно говоря, ты не имеешь naivete). Это есть нечто невыражаемое на словах, но в природе это можно отличать и указать. Я бы назвал это белизной нрава: ибо и в самом деле candeur по-нашему означает белизну. Дар бесценный, источник тонкой, глубокой внутренней чистоты и невинности, тихих удовольствий и кроткого веселонравия. Дети все почти имеют сей дар, но у кого он неглубоко на сердце положен, тот теряет его скоро. Редкие сохраняют. Но я знаю примеры, что сохраняют

до глубокой старости. Я его совсем не имею. У тебя он от матери».

О литературных занятиях своей дочери Сперанский пишет:

«Я тебе предсказывал, любезная моя Елисавета, что слава стихов твоих промчится до пределов мира. Англия есть средоточие всех сообщений, следовательно, чрез год, чрез два — имя твое известно будет и в Америке... С твоими стихами делается то же, что с моими мыслями: их печатают на всех европейских языках».

Мы бы никогда не кончили, если б продолжали делать хотя самые характеристические выписки из писем Сперанского к дочери. Ограничимся несколькими строками из его последних сибирских писем.

На новый 1821 год он, между прочим, пишет дочери: «Мне кончилось сегодня пятьдесят лет. По общему счету жизнь довольно долговременная — а готов ли я... Одно достоверно, что собственно для себя я не привязан к миру, но слишком много привязан к твоему счастью и по странному противоречию чего не желаю себе, того желаю тебе. Вот тонкая игра самолюбия...»

Все еще подозревая, что девушка, быть может, уже привязалась к кому-либо и ждет только отца, чтоб сообщить ему о своем выборе, Сперанский пишет:

«Время еще не ушло и спешить я не вижу никакой нужды. У меня есть множество идей, кои должно сообщить тебе. Ты знаешь, что я прежде никогда не говорил с тобой о сих предметах, ибо считал сие неблаговременным. Вот почему нужно нам прежде все сие разобрать и уложить вместе, ибо что бы ни говорили, но самая пламенная любовь зависит от идеала и в правильном составлении сего идеала состоит все дело. Можно утвердительно сказать, что каждый предмет любви знаком был нам прежде. Мы образ его нашли уже в душе своей, и человек тут есть только подлинник сего образа. Тут две ошибки быть могут. Ошибка в образе и ошибка в приложении его к человеку. Сколько слез пролито от сих двух ошибок, какие ужасные они имели последствия».

5 февраля Сперанский пишет дочери последнее свое письмо из Сибири: «Скоро буду с тобой в одной части света... в Европе...»

1 марта он пишет уже из Пензы. Как ни устал, но торопится к дочери: «Каждый лишний день без тебя — для меня жертва...»

17 марта он уже в Москве.

«Москва! — воскликнул он. — Москва! И семьсот только верст расстояния от моей Елисаветы. Легко понять все, что в сей мысли есть для меня радостного...»

До сих пор, следя за жизнью дочери Сперанского, мы по необходимости должны были говорить больше о ее отце. Это потому, что сам Сперанский в своих обращениях к дочери сумел очертить ее нравственную физиономию и познакомить с главными моментами ее девической жизни так, что лучшего источника для знакомства с его дочерью и желать нельзя.

Теперь мы обратимся к дальнейшим эпохам жизни собственно Елизаветы Михайловны Сперанской.

Вскоре по возвращении из Сибири отца она вышла замуж за Фролова-Багреева. Насколько отец оправдывал ее выбор в этом случае, насколько «подлинник», о котором говорил Сперанский в письме из Сибири, отвечал идеалу его дочери о человеке, могшем заменить ей отца на всю последующую жизнь — мы не знаем.

Известно только, что, и после замужества, дочь Сперанского продолжала жить с отцом. Лучшего общества для такой женщины, как дочь Сперанского, трудно было бы и желать. В доме Сперанского собиралось все, что было лучшего, развитого и образованного в России. Приезжие знаменитости, путешественники, иностранные послы, артисты и представители русской литературы — все это соединялось в доме Сперанского, и центром всего этого избранного общества была молодая и образованная дочь славного русского государственного деятеля.

Из числа русских литераторов она пользовалась особенной дружбой Пушкина, «полет гения» которого, она едва ли не раньше других угадала своим чутким умом, когда отец ее был еще в Сибири, и писала об этом отцу.

В 1839 году Сперанский умер.

Страстно привязанная к своему гениальному отцу, Багреева-Сперанская не в силах была оставаться после его смерти в том доме, где столько счастливых лет они провели вместе, и потому она бросила не только этот дом, но и Россию надолго.

Багреева-Сперанская уехала в Европу. Там лично могла она проверить свои знания на тех образцах и явлениях, которые на каждом шагу представляла культурная жизнь образованных народов. Явления эти имели такое сильное на нее влияние, что она нравственно подчинилась им, и, хотя от отца еще наследовала сознательную любовь к России и

к ее народу, хотя покойный отец усердно поддерживал в ней русские симпатии, помогал ее литературному развитию и давал ему направление исключительно русское, однако, Европа и первоначальное нерусское воспитание осилили: из дочери Сперанского не вышло русской писательницы, Багреева-Сперанская сделалась известной как писательница европейская.

Возвратившись в Россию, Багреева-Сперанская поселилась в своем украинском имении и занялась воспитанием своих детей, улучшением положения крестьян и литературными работами, которые, однако, сделались известными уже почти под конец ее жизни, когда она стала печатать их в Европе.

Но тревожная жизнь ее не обошлась без катастроф и в этот период жизни. Дети ее подросли, сын подавал большие надежды и мог рассчитывать на блестящую будущность, но, поступив без согласия матери в военную службу, он нашел там смерть в среде развращенного товарищества: в одной ссоре, за попойкой, желая защитить жизнь своего товарища, он сам пал от руки пьяного его противника.

Это было страшным ударом для матери.

В тоске по сыне она нигде не могла найти утешения — ни в России, ни в Европе. Наделенная от природы впечатлительностью и восторженностью отца-энтузиаста, она думала, что найдет это утешение в пилигримстве и, по старому русскому обычаю, отправилась в Иерусалим на богомолье, отдав предварительно свою дочь замуж за князя Кантакузена и освободив таким образом себя от материнских забот.

Полтора года она ходила по святым местам, и, возвратившись в Россию, вся отдалась единственной страсти, развитой в ней еще отцом, — страсти к литературным занятиям.

Первое, что ей было издано в свете, — это «Русские богомольцы в Иерусалиме» (Les pelerins russes a Jerusalem). Собственно же она вступила на литературное поприще еще при жизни отца, именно в 1829 году, издав книгу о воспитании детей, которая не прошла незамеченною в России, особенно в то время, когда самые педагогические понятия в русском обществе были только в зародыше.

Но так как уже не было в живых ее руководителя — отца, который ревниво и с любовью следил за образованием ее русского литературного языка и вкуса. Поправлял каждую малейшую ошибку в ее слоге, сам учил ее писать стихи и серьезные трактаты о разных предметах, — то симпатии ее вновь перешли на сторону Европы в такой мере, что первое свое большое сочинение она издала на французском языке

под упомянутым нами выше заглавием — «Les pelerins russes a Jerisalem».

Однако, здоровье ее, разбитое волнениями и несчастиями прежней жизни и потрясенное трагическою смертью любимого сына требовало, чтоб она избрала себе место жительства в более здоровом, чем в России, климате.

Багреева-Сперанская избрала для своей жизни Вену, где и поселилась с 1850 года.

И в Вене, как и в Петербурге у отца, дом ее был средоточием самого образованного литературного и артистического кружка.

В Вене она продолжала свои литературные занятия, и вскоре Европа прочла в «Revue des Deux-Mondes» отрывок из большого сочинения «Xénia Damianowna» («Ксения Демьяновна»), обративший на себя всеобщее внимание и не без удивления прочитанный русской публикой, которая почти ничего не знала об авторе.

С тех пор Багреева-Сперанская начала работать еще с большим жаром.

Хотя иностранный биограф ее (Auguste Schnée) и говорит, что Багреева-Сперанская представляет редкий психологический феномен, потому что у нее будто бы уже под старость открылся литературный талант, однако, нам известно из писем ее отца, что талант этот обнаружен был отцом ее лет тридцать пять еще назад, когда она была еще девочкой, а потом она выступила в свет в 1829 году с самостоятельным педагогическим сочинением.

После «Ксении» написала она еще несколько сочинений, как-то «Тунгузское семейство» (Une famille tongouse), «Старовер и его дочь» (Le starower et sa fille), «Невские острова» (Les iles de la Neva), и много других сочинений.

Но в то время когда она готовила их к печати и отдала уже в переписку, усиленные умственные занятия окончательно сломили ее расстроенное здоровье, и она в четыре дня умерла воспалением в мозгу.

Это было 14 апреля 1857 года.

Умирая, она передала свои сочинения Августу Шнее, который и издал большую часть из них в так называемой «Международной библиотеке».

К сочинениям этим принадлежат:

1) Irene, ou les bienfaits de l'éducation.
2) La vie de cheteau en Ukraine.
3) Lettres sur Kiew.
4) Un tzar des cosaques — из времени пугачевщины.

5) La couronne de Hongroie.
6) Le prémier Romanoff — трагедия на немецком языке.
7) Souvenir d'un voyage en orient.
8) Le livre d'unne femme.

В семидесятых годах в Европе явилась особая биография этой женщины, принадлежащая г. Виктору Дюре под заглавием: «Un portrait russe, l'oeuvre et le livre d'une femme, de m-me Bagreef-Speranski, par Victor Duret. 1867. Leipzig».

«Доброта, ум и талант суть дары такие редкие, скажу более, такие несовместимые, что тот, кто обладает одним из этих даров, может уже считаться избранником неба. Багреева-Сперанская обладала всеми этими дарами.

«В жизни она нашла одни горести, зато в смерти — бессмертие».

Так отзывается о дочери Сперанского заграничный издатель ее сочинений и один из друзей этой женщины.

XI. МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА ВОЛКОВА

Едва ли не более всего на истории русской женщины отразилась борьба умирающего, но живучего XVIII века с молодым, не установившимся брожением века XIX, и хотя в этой борьбе и в этом брожении еще не видно, что выйдет из русской женщины, однако, уже начинает намечаться ее моральный и общественный образ.

Молодая Поспелова, эта юная «муза речки Клязьмы», русский женский самородок и в то же время едва ли не последний отколок XVIII века, не переживает этого брожения и, съедаемая своим собственным внутренним огнем, кончает чахоткой не выполнив своего призвания.

Дочь Суворова — историческая Суворочка — исчезает как дым едва уложили в гроб ее отца, тоже обломок XVIII века.

Криднер, Татаринова, Свечина и почти все женщины высшего общества, охваченные этим брожением, в которое вкинули западных дрожжей в виде католических патеров и эмигрантов-аристократов, бежавших от французской революции, — эти женщины отворачиваются от России для того, чтобы погрузиться в мистицизм, пророчество, ханжество, наконец, в католичество.

Те русские женщины, которые очутились вне этого мистического круга или случайно, или по своему общественному положению, тоже ищут выхода из нравственного хаоса: Хо-

мутова вся отдается умственной жизни, потому что случайно попадает в подходящую умственную сферу, Дурова, воспитанная на дикой воле, выходит из космического хаоса надев на себя уланский мундир и взяв в руки боевую саблю отца.

У этих последних женщин начинает уже биться сердце за что-то более или менее определенное, не из-за придворных интриг, не из-за мистических и католических вопросов, а из-за чего-то более близкого, за что-то более осязательное и реальное — за Россию, за русский народ, за его благосостояние.

А тут нагрянул памятный «двенадцатый год».

Страшное общественное бедствие могло заставить задуматься и самую пустую женщину, а для личностей более развитых этот неожиданный удар и этот, вследствие самой оглушительности удара, необычайный подъем народного духа, этот общий крик страны, ухватившейся за спасение своего последнего достояния, своей свободы, своей жизни, это сожжение городов, оттеснение России от своей исторической сердцевины куда-то на восток, к Волге, за Волгу, в степи, к Азии — все это отозвалось спасительным ужасом в самых беззаботных умах и создало женщину нового русского типа, подобно тому, как севастопольское лихо создало Россию конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, Россию лучшую, какою она была когда-либо, создало всех нас такими, какими мы явились в то хорошее памятное время.

Такою новосозданною русской женщиной, женщиной, выдвинутою исключительно «двенадцатым годом», является Марья Аполлоновна Волкова, не похожая ни на тот тип русской женщины, представительницами которого служили Криднер и Татаринова, ни на тот, который выразился в Свечиной, ни даже не тот, которого образцы мы видим в Поспеловой и Багреевой-Сперанской.

Девица Волкова была дочь действительного тайного советника Аполлона Андреевича Волкова и Маргариты Александровны, урожденной Кошелевой.

Росла она в богатом московском доме, в котором собиралось все знатное московское общество, князья и графы, княгини и графини, и проводили время так, как это времяпровождение изображено в «Горе от ума».

Как большинство тогдашних аристократических девушек, молоденькая Волкова воспитывалась в Смольном монастыре и получила шифр, который ее в первое время по выходе из института очень радовал, потому что с этим новым знаком своего ученого женского отличия, с этим женским аксельбан-

том девушка могла гордо танцевать на балах и в собрании, могла похвалиться своею ученостью, наконец, шифром могла привлекать к себе толпы поклонников.

Так было и начала свою светскую жизнь Волкова по выходе из Смольного и по переселении на житие в Москву.

Из Волковой могла выйти пустая светская женщина. Но «двенадцатый год» переделал всю ее природу, и из нее вышло существо мыслящее, серьезное, думающее о пользах своей страны.

А таких женщин между русскими до того времени еще не было, по крайней мере они не выявились ничем.

За нравственным переломом этим можно следить шаг за шагом, момент за моментом по самым письмам Волковой, писанным ей в Петербург к приятельнице, Варваре Ивановне Ланской, и сохраненным для потомства дочерью этой последней, Анастасией Сергеевной Ланской, по мужу Перфильевой.

«Двенадцатый год» почти только в начале.

В то время когда «кавалерист-девица» Дурова геройски несет уже тяжелую ношу боевой жизни, защищая вместе с целой русской армией наши границы от налетающих орд Наполеона, Волкова вот что пишет Ланской 11 апреля из Москвы:

«Вчера мы снова появились в свете, на ужине у графини Разумовской: это был день ее рождения. Я слышала у нее Штейбельта, который, однако, отнюдь не привел меня в восторг. Что касается игры, то он Фильдова мизинца не стоит. При этом хвастун, всех презирает, лицо у него препротивное и окончательно не понравилось мне. Вот какое впечатление сделал на меня ваш лучший петербургский артист. Кроме его я слышала братьев Бауер, из которых один играет на виолончели, а другой на скрипке. У первого, действительно, премилый талант. Я слушала его с большим удовольствием, несмотря на то, что друг Ромберг избаловал мой слух. Вечер закончили длинным и вовсе не интересным макао. Нынче я еду ужинать в небольшом обществе у графини Соллогуб, которая сидит постоянно дома, так как собирается родить. Мама отправляется на ужин к Апраксиной, и я очень рада, что могу провести вечер у Соллогуб, которая жалуется, что я совсем у нее не бываю. Мне очень весело в ее обществе.

Говорят, что на Пасхе в собрании будет большой праздник в честь статуи императрицы Екатерины. Если это правда, то я буду иметь случай обновить мой шифр».

Об общественных вопросах — ни слова. А Россия между тем уже стонет от ужасов войны.

22 апреля Волкова вновь пишет:

«Христос Воскресе, мой милый друг. Вчера был праздник в собрании и весьма неудачный. Граф Мишо очень дурно распорядился, так что празднество это своей нелепостью вполне соответствовало уродливым украшениям залы. Вообрази себе тысячу особ, разряженных как куклы, которые ходят из одного угла в другой, наподобие теней, не имея другого развлечения, кроме заунывного пения хора, состоящего из 30 человек. Не было ни ужина, ни танцев, словом — ничего. Двенадцать болванов, стоящие во главе нашего бедного собрания, вчера вполне выказали свою глупость. Надеюсь, что нынешний год будет последним годом их царствования. Четырех уже сменили, и поступившие на их место хотят начать с того, что велят нынешним летом уничтожить страшных чудовищ, поставленных в виде украшения их предшественниками.

Как видишь, я весьма неудачно дебютировала с моим шифром.

Вот тебе новость. Камер-юнкер Муханов женится на маленькой княжне Мещерской, племяннице графини Головкиной, которая, следовательно, приходится тебе сродни».

Болтовня и светские сплетни — больше ничего.

Та же самая светская болтовня повторяется и в письмах от 29 апреля, 9, 13, 18, 26 мая и 1 июня.

В этих письмах только и речи о том, что «Пушкина выходит замуж за Гагарина», что свадьба будет пышная и великолепная, наподобие свадеб, которые праздновали пятьдесят лет тому назад, что «Пушкина непременно хочет показать все кружева, купленные ей в приданое дочери», что ради этого все московские маменьки должны подчиняться несносному этикету, что Соллогуб «обсчиталась, предполагая, что родит в конце марта», что «графиня Сен-При, приехавшая из Каменец-Подольска, распустила слух о свадьбе Волковой с герцогом де-Граммон», что «это известие облетело всю Москву», что в Москве «нет других новостей, кроме дуэли Мордвинова с Шатиловым (в которой первый вел себя прескверно, а последний был ранен) и еще свадьбы Даши Нащокиной с Бахметьевым, у которого прекрасное состояние», что «у Гудович родился сын», что «все московские дамы беременны», что «нынешнее лето акушерки заработают много денег», что «жених молодой Мещерской совершенный олух», и так далее, и так далее в подобном же роде.

Повторяем, — это такая болтовня, которая уж ни в каком случае не заслужила бы исторического бессмертия, если б

болтовне этой не суждено было под ударом общественного грома, превратиться в осмысленную речь, полную ума, чувства и гражданского такта.

Россия ждет беды с часу на час. Начальство над Москвою вверяется Растопчину.

Тон писем Волковой меняется.

Уже 7 июня она пишет из деревни, из подмосковного имения Высокого, куда было ее семейство переехало на лето:

«Вообрази, Растопчин наш московский властелин! Мне любопытно взглянуть на него, потому что я уверена, что он сам не свой от радости. То-то он будет гордо выступать теперь! Курьезно бы мне было знать, намерен ли он сохранить нежные расположения, которые он выказывал с некоторых пор. Вот почти десять лет как его постоянно видят влюбленным и, затем, глупо влюбленным. Для меня всегда было непонятно твое высокое о нем мнение, которого я вовсе не разделяю. Теперь все его качества и достоинства обнаружатся. Но пока я не думаю, чтобы у него было много друзей в Москве. Надо признаться, что он и не искал их, делая вид, что ему нет дела ни до кого на свете. Извини, что я на него нападаю, но ведь тебе известно, что он никогда для меня не был героем ни в каком отношении. Я не признаю в нем даже и авторского таланта. Помнишь, как мы вместе читали его знаменитые творения».

В письме от 14 июня она, между прочим, говорит: «Мне интересно знать подробности перевода «Дмитрия Донского» на французский язык. Признаюсь, я не высокого мнения об этом произведении».

24 июня семейство Волковых, в виду грозных событий, ожидаемых Москвой, возвращается в этот город.

Как быстро меняется язык писем Волковой!

«Мы дожили, — говорит она, — до такой минуты, когда, исключая детей, никто не знает радости, даже самые веселые люди. Нас, быть может, ожидает страшная будущность, милый друг!»...

Она не обманулась.

О Растопчине она говорит: «Третьего дня у нас вечером был Растопчин и просидел несколько часов. Мундир его не украсил, и он ужасно уродлив без пудры. Громадный лоб его весь открыт. До сих пор им довольны, быть может потому, что все новое нравится, впрочем, я никогда не сомневалась, что у него в тысячу раз более ума и деятельности, чем у бывшего нашего фельдмаршала. Остается знать, как он будет действовать».

Но Москва еще веселится — не знает, что пирует на собственной своей могиле. Волкова пишет, что московские баре все живут цинично, развратно, особенно кружок близких ее семейству аристократов.

«Это общество мужей-холостяков устроило за городом пикники, на которые дам не приглашают, а на место их берут цыганок, карты и вообще не стесняются. Спрашиваю тебя, каково видеть это женщине, у которой есть хотя сколько-нибудь чувства. Н. слишком глупа и безалаберна, а Гагарина слишком молода, чтобы видеть вещи в настоящем свете. Одна Соллогуб все понимает. Я ее застала с опухшими глазами, она призналась мне, что плакала, не говоря причины, но я готова пари держать, что толстый граф причина ее слез. Меня приводят в негодование подобные вещи. Спрашивается, как же не бояться замужества, имея подобные примеры перед глазами?»

И Волкова, действительно, всю жизнь осталась в девушках.

Между тем страшная драма все более и более усложняется, а развязка еще так далека и так страшна.

«Мы здесь все грустны и приуныли, — пишет Волкова 1 июля. — Я нахожусь в постоянном страхе. До сих пор до нас доходят лишь ложные слухи. В Москве говорят, что французов побили раз пять или шесть. Хорошо бы, если бы мы в действительности одержали хотя одну победу, тогда бы мы скоро отделались от жестокого врага человечества. Следует желать, чтобы в настоящем случае оправдалась русская пословица: глас народа — глас Божий. В настоящее время я чувствую более чем когда-либо, какое счастье не быть лишенной веры в Провидение: она не дает впадать в отчаяние, что непременно случилось бы, если б полагались на силы и гений жалкого человечества».

Через неделю Волкова пишет своей приятельнице очень любопытное письмо, в котором выказался взгляд тогдашней московской женщины на петербургскую и высокое мнение о себе самой Москвы.

В Москву приехало семейство графов Виельгорских. Молодая графиня — «премилый ребенок», но ребячество ее, по мнению Волковой, слишком безнадежно.

«Что касается до ее ребячества, — пишет Волкова, — не могу дать тебе лучшего образчика его, как рассказав, что она понять не может почему настоящая война всех интересует. Я из сил бьюсь, объясняя ей, что от этого зависит общее спокойствие, слова мои даром пропадают: она гораздо более ду-

мает о кружевах и тряпках нежели о судьбе страны, в которой живет. На первых порах я приметила в ней желание разыгрывать петербургскую барыню (впрочем, со мной она очень вежлива) в отношении некоторых особ, которых она даже оттолкнула своим обращением. Третьего дня, оставшись одна с ней и Дашей, я начала разговор о том, какое неприятное впечатление производит важничание особ, приезжающих из Петербурга. Я говорила вообще, никого не называя, и потому свободно могла высказывать, до чего это кажется смешно нам, москвичам. Я прибавила, что такие особы обыкновенно бывают всеми покинуты, так как у нас не любят тех, кто высоко задирает нос.

«Мы очень хорошо знаем, что говорится про нас в Питере, но так как это не мешает ни нашему счастью, ни спокойствию, ни удовольствиям, то мы мало обращаем внимания на то, что о нас говорят. Но, коль скоро попадают в наше общество, мы хотим, чтобы действовали по-нашему».

Таковой осталась Москва до настоящего времени.

В конце вышеприведенного письма, Волкова, между светскими новостями, не забывает прибавить:

«Сердца, ум и глаза устремлены у всех на берега Двины. Только об этом и говорят».

С каждым днем девушка, по-видимому, преобразуется — напор событий перерабатывает ее, вырабатывая из нее мыслящую женщину.

«В течение прошлой недели, — говорит она 15 июля, — я столько видела, слышала и перечувствовала, что, при всем моем желании, милый друг, я не могу передать тебе словами всего мной испытанного в последнее время...»

«Спокойствие покинуло наш милый город, — пишет она через неделю. — Мы живем со дня на день, не зная, что ждет нас впереди. Нынче мы здесь, а завтра будем Бог знает где. Я многое ожидаю от враждебного настроения умов. Третьего дня чернь чуть не побила камнями одного немца, приняв его за француза. Здесь принимают важные меры для сопротивления в случае необходимости, но до чего будем мы несчастны в ту пору, когда нам придется прибегнуть к этим мерам...»

Еще через неделю она, между прочим, пишет:

«Я нахожу, что всех одолел дух заблуждения. Все, что мы видим, что ежедневно происходит перед нашими глазами, а также и положение, в котором мы находимся, может послужить нам хорошим уроком, лишь бы мы захотели им воспользоваться. Но, к несчастью, этого-то желания я ни в ком не

вижу, и признаюсь тебе, что расположение к постоянному ослеплению устрашает меня более, нежели сами неприятели... Сумасбродство и разврат, которые господствуют у нас, сделают нам в тысячу раз более вреда, чем легионы французов...»

«Народ ведет себя прекрасно», говорит эта девушка аристократка в письме от 5 августа: едва ли она не первая русская женщина, которая сказала это слово о русском народе.

В другом месте она говорит: «Мы отложили нашу поездку в деревню, узнав, что там происходит набор ратников. Тяжелое время в деревнях, даже когда на сто человек одного берут в солдаты и в ту пору, когда окончены полевые работы. Представь же, что это должно быть теперь, когда такое множество несчастных отрывается от сохи. Мужики не ропщут, напротив, говорят, что они все охотно пойдут на врагов и что во время такой опасности всех их следовало бы брать в солдаты. Но бабы в отчаянии, страшно стонут и вопят, так что многие помещики уехали из деревень, чтоб не быть свидетелями сцен, раздирающих душу».

Москва запружается ранеными.

«У Татищева, который служит в комиссариате и, следовательно, находится во главе всех госпиталей, недостало корпии, и он просил всех своих знакомых наготовить ему корпии. Меня, — пишет Волкова, — первую засадили за работу, так как я ближайшая его родственница, и я работаю целые дни. Маслов искал смерти и был убит в одной из первых стычек, люди его вернулись... Сердце обливается кровью, когда только и видишь раненых, только и слышишь, что об них. Как часто ни повторяются подобные слухи и сцены, а все нельзя с ними свыкнуться...»

В августе приехала в Москву знаменитая тогда во всей Европе женщина — госпожа Сталь — личный враг Наполеона.

Вот как самостоятельно и оригинально отнеслась Волкова к этой звезде первой величины:

«Объявляю тебе, что я вполне разделяю мнение твоего мужа о г-же Сталь. Она неделю пробыла в Москве, бывала в знакомых мне домах, и я не имела ни малейшего желания видеть ее и ничуть не искала встретиться с ней. Что же она сделала такого прекрасного, чтобы возбуждать восторг? Сочинения ее безбожны и безнравственны или безалаберны (extravagantes), последние по-моему лучше, по крайней мере, они никого не совратят с истинного пути. Свет погиб именно потому, что люди думали и чувствовали так, как эта женщина. Я почти того же мнения о Коцебу. Правда они оба известные

писатели, но, признаюсь, не стоят того, чтоб ими восхищались».

Назначение Кутузова главнокомандующим вызвало в Волковой большую радость.

«По всему видно, что нам приходится поплатиться за безрассудство двух наших главнокомандующих», — говорит она по поводу поражения русских под Смоленском. «Негодяи, продавшие себя Наполеону, не имеют у нас влияния над войском, и потому неудивительно, что оно отвергает нововведения тех злодеев, которые исключительно овладели умом нашего бедного монарха... Французы провели наших как простаков...»

В числе изменников Волкова указывает и на Сперанского — странное подозрение!

В Москве больше оставаться нельзя. Волковы едут в Тамбов, чтоб не видеть ужасов, которые уже совершались в Москве.

Мастерскою кистью описывает девушка и путешествие свое до Тамбова... Все бежит вглубь страны, в глушь... Везде новобранцы... В дороге девушка страшно тоскует, не спит — но здорова, и даже усталости не чувствует: так наэлектризована ее мысль.

По дороге девушка видит везде пленных. Города тоже наполнены французами и всеми европейскими нациями.

В Козлове их окружили пленные турки... «Двое из них, — говорит девушка, — влюбились в Полину Валуеву и в меня и пришли предложить mama обменить нас за двух полковников. Матушка заметила, что дружба их зашла слишком далеко, и отослала нас...»

Множество драгоценных замечаний, отзывов, характеристик и сцен записано Волковой, и письма ее становятся для нас богатым историческим материалом.

Из Тамбова она, между прочим, пишет о Москве: «Растопчин отлично действует, за это я его полюбила более, чем ты когда-либо любила его. Не можешь вообразить, как все и везде презирают Барклая...»

Дошли до нее слухи и о Бородине.

«У нас дыбом стали волосы от вестей 26 и 27 августа, — пишет она 3 сентября. — Прочитав их, я не успела опомниться, выхожу из гостиной, мне навстречу попался человек, которого мы посылали к губернатору, чтобы узнать все подробности. Первая весть, которую я услыхала, была о смерти братца Петра Валуева, убитого 26. У меня совсем закружилась голова, удивляюсь, как из соседней комнаты не

услыхали моих рыданий несчастные двоюродные сестры. Дом наш невелик, я выбежала во двор, у меня сделался лихорадочный припадок, дрожь продолжалась с полчаса...»

В это время она получила письмо от Ланской с известиями о Петербурге, о г-же Сталь.

«В моем грустном настроении, — писала ей на это Волкова, — я далеко неблагосклонно встретила твои размышления о г-же Сталь. Скажи, что сталось с твоим умом, если можешь ты так ей интересоваться в минуты, когда нам грозит бедствие. Ведь ежели Москва погибнет, все пропало! Бонапарту это хорошо известно, он никогда не считал равными обе наши столицы. Он знает, что в России огромное значение имеет древний город Москва, а блестящий, нарядный Петербург почти то же, что все другие города в государстве. Это неоспоримая истина. Во время всего путешествия нашего даже здесь, вдалеке от театра войны, нас постоянно окружают крестьяне, спрашивая известий о матушке-Москве. Могу тебя уверить, что ни один из них не поминал о Питере. Жители Петербурга, вместо того чтобы интересоваться общественными делами, занимаются г-жой Сталь, им я извиняю это заблуждение, они давным давно впадают из одной ошибки в другую, доказательство — приверженность ваших дам к католицизму. Но ведь твоим, милый друг, редким умом я всегда восхищалась, а ты поддаешься влиянию атмосферы, среди которой живешь! Это меня крайне огорчает. Я этого от тебя не ожидала. Да что же такого сделала эта дрянная Сталь, чтобы возбудить такой восторг? Коринна сумасшедшая, безнравственная, ее бы следовало посадить в дом умалишенных за ее сумасбродство и за бегание по Европе пешком с капюшоном на голове, в намерении отыскать своего дурака Освальда. Последний — такая личность, которой я не могу себе вообразить, он меня бесит, я не терплю этих нерешительных характеров, которые вечно колеблются, в мужчине это более чем нестерпимо. Дельфина, по-моему, в тысячу раз хуже Коринны. Этот отвратительный роман представляет смесь беззаконий и сумасбродства, его и нельзя читать хладнокровно. Можно ли восхищаться женщиной, осмелившейся изобразить такую скверную сцену в церкви, а именно: женатый Леонс требует от Дельфины клятвы перед алтарем, что она будет принадлежать ему? Разве это не отвратительно? И ты восторгаешься автором такой гадости? Меня это крайне огорчает, я понимаю, что муж твой должен радоваться, что ты против собственной воли излечилась от этого восторга!.. Г-жу Сталь я не уподоблю Вольтеру. Как он ни был дурен, все

же он гениален, он гадости говорил и проповедовал прелестным слогом, но и этого достоинства нет у г-жи Сталь. Я сделала усилие над собой, чтобы толковать с тобой о постороннем предмете: лишь одно занимает меня, я не знаю ни минуты покоя, и если бы не вера в Божие милосердие и убеждение, что Богу все возможно, я бы сошла с ума как Зинаида...»

События, одно другого поразительнее, бьют, так сказать, прямо в голову и не дают опомниться.

Французы в Москве...

«Что сказать тебе, с чего начать? — пишет Волкова 17 сентября. — Надо придумать новые выражения, чтобы изобразить, что мы выстрадали в последние две недели. Мне известны твои чувства, твой образ мыслей, я убеждена, что судьба Москвы произвела на тебя глубокое впечатление, но не могут твои чувства равняться с чувствами лиц, живших в нашем родном городе в последнее время перед его падением, видевших его постепенное разрушение и, наконец, гибель от адского могущества чудовищ, наполняющих наше несчастное отечество. Как я ни ободряла себя, как ни старалась сохранить твердость посреди несчастий, ища прибежища в Волге, но горе взяло верх: узнав о судьбе Москвы, я пролежала три дня в постели, не будучи в состоянии ни о чем думать и ничем заниматься. Окружающие не могли поддержать меня. Как я предвидела, удар на всех одинаково подействовал, на лица всех сословий, всех возрастов, всевозможных губерний — произвел ужасное впечатление...»

Понятно после этого то недоброе чувство, с которым девушка начинает относиться вообще к нашему нравственному порабощению, проявившемуся в высших классах русского общества в виде — весьма, впрочем, естественного — преклонения перед всем западным. Чувство это в данный момент доходит у нее до крайности, граничащей с обскурантизмом. «Когда я думаю серьезно о бедствиях, причиненных нам этой несчастной французской нацией, — говорит она в другом месте, — я вижу во всем Божию справедливость. Французам обязаны мы развратом, подражая им, мы приняли их пороки, заблуждения, в скверных книгах их почерпнули мы все дурное...»

Но это недоброе чувство не мешает ей, однако, вполне человечно относиться к тем несчастным пленным врагам, которых толпами гоняли из одного города России в другой. «Несмотря на все зло, которое они нам сделали, — говорит она, — я не могу хладнокровно подумать, что этим несчаст-

ным не оказывают никакой помощи, и они умирают на больших дорогах, как бессловесные животные».

Как результат всего пережитого и передуманного у девушки вырабатывается в это тяжелое для России время истинная оценка добрых качеств русского народа. Русская аристократка — она начинает вглядываться в народ и любит его.

«Мы живем, — пишет она все еще из Тамбова, — против рекрутского присутствия, каждое утро нас будят тысячи крестьян: они плачут, пока им не забреют лба, а сделавшись рекрутами, начинают петь и плясать, говоря, что не о чем горевать, видно, такова воля Божия. Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего, и отдаю ему полную справедливость».

В другом письме она говорит: «Крестьяне, виденные нами вчера, были разорены нашими же войсками, мне их стало еще жальче оттого, что, рассказывая о всем с ними случившимся, они не жаловались и не роптали. В такие минуты желала бы я владеть миллионами, чтобы возвратить счастье миллиону людей, — им же так мало нужно!»

«Что ни говори, а быть русским... есть величайшее счастье, хотя бы мне пришлось остаться в одной рубашке, я бы ни чем иным быть не желала, вопреки всему...»

Зато всякий раз ее возмущает негодование, когда до нее доходят вести, что, несмотря ни на что, Петербург продолжает веселиться.

«Нам говорят, — пишет она 15 октября, — что между тем как вся Россия в трауре и слезах, у вас дают представления в театре и что в Петербурге в русский театр ездят более чем когда-либо. Нечего вам делать! Не знаю, как русский, где бы он ни был теперь, хоть в Перу, может потешаться театром!»

В письме от 27 ноября она вновь возвращается к этому предмету: «Я не могу удержать своего негодования касательно спектаклей и лиц, их посещающих. Что же такое Петербург? Русский ли это город или иноземный? Как это понимать, ежели вы русские? Как можете вы посещать театр, когда Россия в трауре, горе, развалинах и находилась на шаг от гибели? И на кого смотрите вы? На французов, из которых каждый радуется нашим несчастиям!»

Но страшное время прошло. В России не осталось ни одного француза, кроме пленных и мертвых...

Однако прежней Волковой уже не было. Она сама сознается, что с июня по ноябрь состарилась на десять

лет — и что уже ей не помолодеть: она стала другим человеком.

«Я никогда не была щеголихой, — говорит она в одном из последних писем, — и потому мне ничего не значит обойтись без щегольства. Но я не могу с такой же философией отказаться от талантов, которые развивала с самого детства и коими забавляла тех, кому желала доставить удовольствие. Я более не буду в состоянии позабавить тебя пением, потому что я совершенно потеряла голос...»

Последнее свое письмо от 31 декабря 1812 года она заключает следующими словами: «Вообрази — теперь открывается, что величайшие неистовства совершены были в Москве немцами и поляками, а не французами. Так говорят очевидцы, бывшие в Москве в течение шести ужасных недель.

Я теперь ненавижу Растопчина и имею на то причины. О! ежели мы с тобой когда-нибудь увидимся, сколько мне придется рассказать тебе».

Всматриваясь вообще в нравственную физиономию этой женщины, мы не можем не заметить, что в ней довольно явственно уже обозначаются те черты, которые потом вполне определительно выразились во всем — если можно так сказать — московском направлении русской мысли: это сознательный патриотизм в той исключительной форме, которая отрицала всякий компромисс с так называемым западничеством.

Волкова отражает в себе первые попытки того направления, которое более конкретно выразилось в целом ряде русских деятелей и последней формой которого было учение славянофилов: Киреевские, Аксаковы, Хомяков и другие состоят в таком же, так сказать, двоюродном родстве с Волковой, в каком, с другой стороны, Белинский может быть поставлен по отношению к Багреевой-Сперанской, княгине Голицыной и другим.

Издатель писем Волковой говорит, что «высокими нравственными качествами приобрела она уважение самого императора Николая Павловича, который выслушивал ее правдивые речи и около 1839 года вызывал ее к себе в гости в Петербург, где приказал отвести ей помещение в Зимнем дворце и окружал вниманием», что «Волкова не должна быть забыта в исторических преданиях, как благороднейшая представительница старинного московского быта», что письма Волковой напоминают собой известный рассказ Пушкина — «Рославлев», и что не ее ли, может быть, и имел в виду поэт

в помянутом рассказе и от нее, быть может, собрал бытовые черты «двенадцатого года».

Двух лет не дожила Волкова до освобождения крестьян, которых она научилась любить в памятную для нее и для всей России эпоху: умерла Волкова в 1859 году почти в один год с Багреевой-Сперанской, Хомутовой и Свечиной.

XII. ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА ТАТАРИНОВА

(урожденная фон-Буксгевден)

Странное, болезненное время переживала Россия во всю первую половину нынешнего столетия.

Общественная мысль, лишенная возможности безбоязненного проявления, или замыкалась сама в себе, или разбивалась, так сказать, на какие-то осколки общественного мнения, бросалась в мистицизм, в «иллюминатство», в «адамитство», в исковерканное франк-масонство, в разные не имевшие ни числа ни смысла ереси, толки, учения: мысль эта, не имея возможности быть общественной, подобно крови, лишенной правильной и здоровой циркуляции, портилась, заражалась от недостатка воздуха, загнаивала весь общественный организм и, опять-таки, подобно испорченной крови, выходила наружу в виде прыщей, злокачественных вередов и всяких наружных язв и нагноений.

Из коноводов-раскольников вышли раскольничьи боги, христы, богородицы, на которых последователи их молились, как на чудотворные образа, как язычники на своих идолов. Мистики превратились в пророков и пророчиц, в роде баронессы Криднер. Хлыстовство и скопчество заразило все слои русского общества, перекинулось в самые высшие сферы, в придворную знать, заразило войско, гвардию.

Мало того, в России явилась даже секта — «Наполеоновщина»! «Поклонники» и «Поклонницы Наполеону» были из православных русских в Пскове и из католиков в Белостоке. Оттуда «Наполеоновщина» перекинулась в Москву, в тамошнее богатое купечество. «Поклонники Наполеону» в собраниях своих поют разные нелепые молитвы и поклоняются бюсту Наполеона, как образу, пророчествуя (уже после смерти Наполеона), между прочим, о том, что он жив, а только до времени вознесся на небо. Они заказывают в Париже изящную гравюру, изображающую это вознесение, ставят ее к бюсту — и молятся!

Всех подобных болезненных сумасбродств даже перечислить невозможно.

В чаду этого умственного угара, вслед за баронессой Криднер, выступает другая такая же исступленная, но более темная по своим деяниям личность — это Татаринова, бывшая смолянка, девушка аристократической фамилии, придворная особа, превратившаяся в хлыстовскую богородицу!

Изумительное явление!

Татаринова родилась в 1783 году. По отцу и матери она принадлежала к знатной фамилии русских немцев: отец ее был из рода фон-Буксгевденов, а мать — баронесса Мальтиц.

Рожденная в аристократическом круге, маленькая Екатерина фон-Буксгевден должна была получить и аристократическое воспитание: она, как водится, поступила в Смольный институт, где и находилась под особым покровительством графини Адлерберг.

Следовательно, по институту она была совоспитанницей таких знаменитостей-смолянок как любимица императрицы Екатерины «Алимушка» или Алымова-Ржевская, в которую был влюблен славный деятель екатерининского времени И. И. Бецкий, как красавица Левшина, которую особенно любила Екатерина и в своих письмах называла «черномазой Левушкой», затем как любимица великого князя, а потом императора Павла I, Екатерина Ивановна Нелидова, и наконец, Наташа Суворочка.

По выпуске из института, молоденькая фон-Буксгевден, как говорит один из последователей ее аристократическо-хлыстовского учения, «награждена была фрейлинским приданым», и жила первое время у своего брата, лейб-гвардии измайловского полка капитана фон-Буксгевден, у которого постоянно видела самую высшую знать Петербурга — Чернышевых, Паскевича, Эттингена и других.

Под влиянием мистического настроения эпохи, увлекшей такие личности, как баронесса Криднер г-жа Свечина, и даже высших представителей русской интеллигенции, как, например, Новиков, а затем и сам император Александр Павлович, — молоденькая Буксгевден, как утверждают ее прозелиты, не любила блистать в свете, а поддалась другой, господствовавшей в то время, моде, — внешней благотворительности, делам милосердия и посещению бедных. В ее время быть аристократкой — значило отдать некоторую дань пиетизму, ханжеству.

Юная Буксгевден вполне последовала за этой модой.

Находясь в кружке знатной военной молодежи, между гвардейскими офицерами, девушка избрала себе и мужа в этой сфере: она вышла замуж за офицера Татаринова.

Начавшиеся в то время походы русских войск заставили и Татаринову постоянно следовать за полком мужа, с которым она не разлучалась и в последующие заграничные кампании 1812 — 1815 годов.

Когда она находилась заграницей, в ней окончательно совершился нравственный кризис.

Как в Дуровой «девице-кавалеристе», лишения и трудности походной жизни закалили врожденную энергию до стоицизма, так в Татариновой эта бродячая жизнь, иногда тяжелая, иногда безобразная по обстановке, развила еще более пиетические и мистические наклонности, особенно же когда у нее умер единственный восьмилетний сын, так что, по возвращении из походов, она уже окончательно готова была замкнуться в тесный круг какого-либо мистического общества, начиная от франк-масонства и кончая хлыстовщиной и скопчеством. Кризис, таким образом, совершился в пользу религиозного фанатизма.

Татаринова попала на одного из тогдашних «теософов», который и отуманил ее и без того экзальтированную голову.

Это был действительный статский советник Багинский, находившийся в Варшаве.

— Возлюбите, сударыни, Спасителя паче всех и паче всего, — говорил Багинский Татариновой. — Он один утешит и успокоит сокровищное сердце ваше. Читайте на первый раз вот эту книжку — «Капли меда».

Он дал ей эту мистическую книжку и, кроме того, снабдил письмом в Ригу к фон-Гюне, тоже одному из «теософов» еще екатерининского времени.

Татаринова явилась к Гюне.

— Желаете ли вы, — сказал этот последний, — я познакомлю вас с людьми, которые имеют в себе духа любви Божией?

— Вы осчастливите меня этим, — отвечала и без того уже отуманенная Татаринова.

И Гюне ввел ее в свою мистическую сферу.

Раньше этого времени мать Татариновой г-жа фон-Буксгевден определена была еще императором Павлом Петровичем к великой княжне Александре Александровне в качестве главной статс-дамы и потому имела свое местопребывание во дворце, именно в Михайловском.

По возвращении из заграничных походов и после вступления в мистический кружок фон-Гюне Татаринова разошлась с мужем, который был назначен директором гимназии в Рязань, и поселилась во дворце у матери.

«Вскоре потом отверзлись уста Екатерины Филипповны», — говорит один из последователей ее мистического учения.

Что всего удивительнее, так это то, что такие фразы, как «отверзлись уста», для пророчествования говорятся не в XVI или XVII веках, даже не в начале XIX, а почти в наши дни, в семидесятых годах, каким-то статским советником Иоанновым, сообщившим в 1872 году в «Русский Архив» сведения о «духовном союзе» Татариновой.

Татаринова, бывшая воспитанница Смольного института, аристократка, немка по происхождению и по религии, вдруг принимает православие и из придворной особы превращается в пророчицу, и притом хлыстовскую, хотя этот оттенок ее раскольнического учения сначала маскировался каким-то особенным пиетизмом и мистицизмом, так что она казалась чем-то вроде фанатички Криднер.

К новой пророчице в Михайловский дворец начали стекаться толпы слушателей преимущественно из военной и статской аристократии, чтобы внимать ее поучениям, нередко бессмысленным, переходившим в горячечный бред. Тут были Милорадовичи, Миклашевские, князья Енгалычевы, князья Крапоткины, Лермонтовы, Урбановичи, Рачинские, Пилецкие, Бригены, Пиперы, знаменитые Головины, князья Голицыны, обер-гофмаршал Кошелев и знатнейший из русских живописцев, академик Боровиковский, называвший Татаринову своею «матерью».

Когда Татаринова усомнилась затем в божественности своего призвания, а быть может, и по другим менее благовидным причинам отказалась от роли пророчицы и удалилась было в деревню, к ней явились ее духовные ученики и «дети» — Милорадович, Миклашевский и другие — и просят ее воротиться, не оставлять их без своей духовной пищи, без поучении, без пророчеств.

Татаринова внемлет их мольбам и возвращается к своей пастве.

Слава ее пиетической жизни и пророчеств дошла наконец до императора Александра Павловича, и он пожелал ее видеть — это обстоятельство, кажется, было не последней побудительной причиной мистического настроения тогдашнего высшего общества: мистиками интересовались такие даже ли-

ца, как император Александр I,освободивший Европу от тирании Наполеона.

Государь, находившийся до того времени в самых добрых и дружеских отношениях с баронессой Криднер, два раза призывал к себе Татаринову и говорил с ней о ее религиозных мнениях. В них, говорят, не оказалось ничего предосудительного, и государь, как утверждают последователи секты Татариновой, остался ей доволен.

— Продолжайте, — сказал будто бы ей император, — ныне распространились на западе карбонарии и проникли уже в мою державу.

Вообще, по свидетельству поклонников Татариновой, Александр Павлович благоволил к этой женщине и всякий раз, когда проезжал через Рязань, где, как мы сказали, Татаринов был директором гимназии, приглашал его к своему столу и любил с ним разговаривать. Со своей стороны Татаринов, приезжая иногда в Петербург, оказывал своей жене знаки глубокого уважения.

Огромное стечение поклонников Татариновой и ее доктрин, поклонников, которых она принимала в отведенном ее матери помещении Михайловского дворца, стоило пророчице недешево, так что на поддержание этих духовных бесед не хватало ее фрейлинского содержания.

Тогда, обитавшая в ней сила пророчества, по свидетельству последователей Татариновой, вывела пророчицу из этого финансового затруднения. Они рассказывают, будто бы Александр Павлович, по внушению свыше, вновь призвал к себе Татаринову и беседовал с ней о ее учении.

— Я на молитве получил расположение предложить вам по восьми тысяч ассигнациями ежегодно для вашего вспомоществования, — сказал будто бы император пророчице. — Прошу вас принимать их чрез князя Александра Николаевича Голицына.

Нет сомнения, что «расположение» это пришло к государю иными путями и оно явилось у него потому, что за Татаринову кто-либо искусно умел ходатайствовать, поклонники же пророчицы объясняли это таинственной силой.

Вскоре, однако, о Татариновой стали ходить темные слухи, так что правительство принуждено было обратить на нее внимание.

В сентябре 1817 года правительство получило донос, что Екатерина Татаринова содержит какую-то особенную секту и приводит в нее других. Это последнее обстоятельство донос подтверждал письмом, писанным Татариновой к жене поль-

ской службы майора Франц, Анне. В письме этом Татаринова, называя Анну Франц «дрожайшей во Христе сестрицей», просила ее не открывать никому их тайны, ибо де Господь запрещает бросать перлы пред «нечистыми животными». При этом Татаринова изъясняла, что вся тайна их секты заключается в гл. 14 посл. I-го к коринфянам, в ст. 1 — 5, где говорится: «Держитеся любве, ревнуйте же духовным: паче же да пророчествуете. Глаголяй бо языки, не человеком глаголет, но Богу. Никто же бо слышит, духом же глаголет тайны. Пророчествуяй же, человеком глаголет созидание, утешение и утверждение. Глаголяй бо языки, себе зиждет: а пророчествуяй, церковь зиждет», и т. д. Наконец Татаринова в письме этом уведомляла Анну Франц, что мать ее, г-жа Буксгевден, уедет из дворца до сентября и тогда она, Франц, может занять ее комнату в Михайловском дворце.

При принятии в секту г-жа Франц приведена была в бесчувствие, и будто бы явившийся ей пророк сказал, что вскоре явятся ангелы и возьмут ее от сей жизни, а потому советовал ей для приобретения спасения быть благотворительной (этим пророчеством, надо полагать, желали выманить у своей жертвы деньги). Другая же жертва Татариновой, Варвара Осипова, рассказывала, что при приеме ее в секту она положена была в постель и, не знает отчего, пришла в беспамятство, когда же очувствовалась, то явился ей пророк, предрекавший, что придет к ней корабль с деньгами и тогда она сама будет раздавать бедным деньги.

Приверженцы секты Татариновой собирались каждое воскресенье утром в шесть часов в квартиру пророчицы.

В комнате, где происходили самые собрания, повешен был на стене большой образ — «Тайная вечеря». Все собравшиеся садились вокруг комнаты, вставали, читали вслух «Отче наш», потом из Евангелия, а затем майор Пилецкий, бывший секретарем человеколюбивого общества, и Федоров, отставной придворный музыкант, говорили проповеди по смыслу чтения, и, наконец, все присутствующие, став на колени, пели нараспев следующие стихи, которые обыкновенно поются в собрании хлыстов, а равно и у скопцов:

Дай нам, Господи,
К нам Иисуса Христа!
Дай нам сына Твоего!
Господи, помилуй грешных нас!
Из Твоея полноты,
Дай, Создатель, теплоты,
Наряди из нас пророка,
Чтобы силы подкрепить,

Засуди судом небесным
И не дай врагу мешать,
Ниспосли живое слово
Здесь просящим всем сердцам,
Ты Христос, Ты наш Спаситель!
Иного Бога нет у нас,
Твоей силой укрепимся,
За тобой вослед идем.
Прими слезы Твоей твари,
И поставь всех на пути.

Во время молитв, один становился на середину, вертелся кругом на восток, по окончании же молитвы подходил к каждому и пророчил, большею частью лестными предсказаниями, нараспев, скороговором, без всякого порядка в речах и часто без смысла, так что из этих пророчеств едва ли что можно было понять. Пророчествовали же больше женщины, и преимущественно «глава союза», сама Татаринова. Вообще все сектанты заражены были мыслью, что на них сходит божественное вдохновение. Пророки и пророчицы уверяли притом, что когда они бывают в состоянии пророчествования, то не помнят себя и говорят не собою, но Святым духом, и потому сами не знают, что кому предрекают.

Из этих сведений генералом Вязмитиновым составлена была записка для государя, который, рассмотрев ее, приказал оставить происходившие у Татариновой собрания без внимания, как не заключавшие в себе важности.

При всем том Татариновой оставаться во дворце больше было не велено.

Прошло после этого двадцать лет.

В 1837 году находившийся в услужении у тайного советника Попова один крепостной человек обнаружил правительству, что в Петербурге, на выезде близ московской заставы, на дачах, принадлежащих чиновнику Федорову и медику Косовичу, статской советницей Татариновой учреждена религиозная секта.

Вследствие этого показания 8 мая в десять часов вечера, по высочайшему повелению, петербургский обер-полицеймейстер генерал-майор Кокошкин, начальник штаба корпуса жандармов генерал-майор Дубельт и обер-прокурор синода граф Протасов прибыли на помянутые дачи и приняли предварительные меры, чтоб, во время осмотра внутреннего жилья и допроса живущих там лиц, не могло что-либо укрыться от наблюдения, а потом после некоторой задержки были впущены во внутренность дач.

В этих дачах найдены были следующие лица:

Статская советница Татаринова, ее приемыш и воспитанница Анна Александровна Васильева, генерал-лейтенантша Елизавета Павловна Головина, ее дочь Екатерина и сын Сергей, тайный советник Василий Михайлович Попов, член совета главноначальствующего над почтовым департаментом, его дочери — Вера восемнадцати лет, Любовь — шестнадцати и Софья — двенадцати, статский советник Пилецкий, инженер-капитан Буксгевден, брат Татариновой, титулярный советник Федоров, придворный музыкант, его жена и дочь. Кроме того, у этих лиц имелось четырнадцать человек прислуги.

Производившие обыск посетили сначала тайного советника Попова, которого нашли спящим. Он указал устроенную в занимаемом им доме особенную молельню, состоящую из двух покоев, внутренность коих имела вид церкви с образами и огромными церковными подсвечниками, но без иконостаса и алтаря. В одной из этих комнат находился стол с ящиками для хранения церковных свечей, другая обставлена стульями, между коими одни кресла, назначенные, как показал Попов, для «старшины союза» — конечно, Татариновой.

Дочери, поочередно, показали не то, что говорил отец, а именно: что в назначенные дни собирались в одну из молелен все, живущие на даче Федорова, и некоторые из посторонних посетителей, как-то: князь Енгалычев с женой, служащий в канцелярии государя императора коллежский асессор Родионов и сын генерала Головина, юнкер Инженерного училища. Собиравшиеся обыкновенно одевались в белую одежду, женщины в платья обыкновенного покроя, а мужчины в белые халаты. Тут начинали петь разные духовные песни, один или одна из принадлежащих к союзу начинали вертеться и такое движение продолжалось обыкновенно до тех пор, как вертящийся почувствует в себе «вдохновение», иногда же это кружение исполнялось всеми вдруг.

Средняя из дочерей Попова, шестнадцатилетняя Любовь, беспрерывно оказывала отвращение к этим обрядам и тем навлекала на себя гнев отца, и в особенности Татариновой, которая, выдавая себя вдохновенной, приказывала Попову телесно наказывать дочь свою. Попов в течение более года бил ее палками по два, иногда по три раза в неделю, иногда до крови, не дозволял ей иметь сообщения с сестрами, держал ее в строгом уединении, на ночь запирал в чулан и брал к себе ключ. Она действительно найдена была запертой в чулане, между жилыми комнатами, не имеющем окон, кроме одной только двери, от которой ключ был у отца. Сестры ее

утверждали, что она всегда пользовалась цветущим здоровьем, и только со времени этих истязаний начала чахнуть, и, как сказано в акте обыска, «на ней осталась, так сказать, одна кожа и кости, так что вид сей девицы внушает невольно сострадание».

После этого осмотрен был дом занимаемый Татариновой. У ней все приемные комнаты украшены были образами огромной величины, с такими же подсвечниками перед каждым. Образа эти были почти все работы знаменитого академика Боровиковского, каждый из них оценен был в 1500 и 1000 руб., особенно замечательна была икона архистратига Михаила у престола, затем были образа академика Олешкевича и художника Залесского. Все эти картины оценены в 10.000 руб. сер. и находятся теперь в соборе Александро-Невской лавры.

В спальне Татариновой на маленьком столике, стояла дароносица, в которой найден кусок белого сдобного хлеба.

Татаринова, как сказано в акте обыска, приняла объявленную ей высочайшую волю с должным благоговением, выдала немедленно все свои бумаги и, в безусловной преданности православной церкви, старалась, однако же, доказать истину своего учения. По ее собственным словам, она достигает до высочайшей степени духовного совершенства исполнением своих обрядов, и еще следующим средством: пред началом какого-либо намерения, посредством письма на имя Христа Спасителя, вопрошает его: должно ли исполнить предначертанное или отказаться от своего намерения? Письмо это кладет она вечером к подножию образа Спасителя, а утром всегда уже в невольных песнях возглашает полученный ей ответ.

И всему этому верили люди более или менее образованные, принадлежавшие к высшему кругу!

В доме, занимаемом Федоровым, более всего обнаружено было, как сказано в акте, признаков сильнейшей преданности к этой фанатической секте. У него две молельни, из коих одна украшена как самая лучшая церковь: образа, паникадила, плащаница, хоругви — все в изящном вкусе, и, сверх того, ряд отдельных комнат, также украшенных различными священными предметами и отделанных с некоторой даже роскошью.

В заключение акта было выражено: «сколько судить можно из сделанных вопросов упомянутым лицам, тайный советник Попов и генерал-лейтенантша Головина, в особенности первый, предались учению Татариновой единственно из сильного чувства фанатизма. Татаринова же, по-видимому, извле-

кает из своего учения и довольно выгодное средство к существованию. Пилецкий и Буксгевден также находят в своем религиозном обряде возможность жить спокойно и в довольстве без трудов. Федорова можно подозревать в том, что он, под личиною смирения, скрывает свои корыстные виды, и основал свои доходы на щедрые приношения особ, принадлежащих к союзу Татариновой, ибо, после неоднократно сделанных ему вопросов об источниках его избытка, он не дал ответа удовлетворительного».

Что это был «союз» отчасти фанатиков, отчасти мошенников, видно из того, что тайный советник Попов состоял делопроизводителем всех вообще дел о скопцах, и он же, после вопросов известного пророка скопческого, Селиванова, сказал: «Господа! Если бы не скопчество, то за таким человеком пошли бы полки полками».

Подобно некоторым раскольникам, союзники Татариновой не употребляли мясной пищи.

Дело о Татариновой, после арестования главных ее союзников, рассматривалось в особом секретном комитете, и пророчица присуждена была к заключению в Кашинский женский монастырь Тверской губернии. Туда же заключена была и ее воспитанница.

Другие члены союза также разосланы были по монастырям.

Но монастырская жизнь пророкам и пророчицам была не по душе.

Родственники Татариновой и она сама несколько раз просила об освобождении ее из монастырского заключения, но граф Протасов в 1843 году отозвался, что Татаринова остается упорной в своем фанатизме и уверяет, что «она оскорбит Святого духа, если плоды, какие видит от своих религиозных занятий признает заблуждением».

На всеподданнейшем об этом докладе написано было карандашом: «нельзя после такого отзыва».

В 1846 году вследствие вновь поступившего ходатайства об освобождении Татариновой, граф Протасов требовал у нее отзыва — «согласна ли она дать письменное обязательство оказывать неизменное повиновение православной церкви, не входить ни в какие не благословенные церковью общества, не распространять ни тайно, ни явно прежних своих заблуждений и не исполнять никаких особенных обрядов под опасением строжайшего по законам взыскания».

Сперва Татаринова упорствовала, но в 1848 г. дала подписку, вследствие которой ей и разрешено было жить в Москве.

Но ей и в Москве не жилось покойно: она и там завела свое пророческое гнездо.

В октябре же 1848 года граф Орлов получил безыменное письмо от какой-то женщины, которая извещала его, что рассеянное в 1837 году общество, носившее имя «Тайного общества адамистов», не совсем истреблено, а что пагубное сборище это вновь возрождается и т. д.

Действительно, сборище Татариновой не только возрождалось, но пускало корни еще глубже, завело обширную переписку с своими прозелитами и снова перебралось в Петербург.

Замечательно, что в эту хлыстовскую секту Татариновой втянут был и известный деятель и писатель сороковых-пятидесятых годов, Яков Владимирович Ханыков, действительный статский советник, состоявший по министерству внутренних дел. Ханыков женат был на дочери Головина, Екатерине Евгеньевне Головиной, рьяной последовательнице Татариновой, с которой они и были взяты в сборище 1837 года.

Ханыков, по свидетельству лиц, близко его знавших, «был человек высокого образования, но, попав в закоренелое сектатское семейство и общество, не имея твердого характера и к тому же влюбленный, подчинился влиянию обстоятельств и воздуха, его окружившего, и, мало-помалу, конечно, не разделяя сумасбродств семейства и близких к оному посетителей, терпел для сохранения семейного спокойствия происходившие там таинственные чтения, в котором тесть его принимал такое живое участие, образованный и заслуженный генерал от инфантерии Е. А. Головин», к ним примкнул и отец Ханыкова, у которого замечались «меланхолические приступы», после того как младший сын его замешан был в известном деле Петрашевского.

Как бы то ни было, но хлыстовские собрания Татариновой происходили в квартире Ханыкова...

До каких нелепостей доходил дикий фанатизм учеников Татариновой можно судить, например, по следующему обстоятельству.

Один из учеников Татариновой, некий «статский советник Иоаннов», о котором мы уже упоминали, пишет в «Русском Архиве» 1872 года, что однажды знаменитый Головин, доверенное лицо государя Николая Павловича, командовавший отдельным корпусом, уходя из собрания Татариновой, был остановлен пророчицей.

— Огромная сила взята от меня и отражена на вас, — сказала пророчица. — Но я не знаю ныне, что это значит.

Старик генерал перекрестился и откланялся. Воротившись домой, он положил двадцать пять поклонов, и затем «объявил об этом событии Екатерине Филипповне, восходя потом до сотен, тысяч и, наконец, до пяти тысяч еженочно, как побуждал его дух с легкостью полета птицы, в течение пяти часов, переменяя потное белье каждый час и чувствуя себя потом чрезвычайно хорошо, душевно и телесно, что и есть отчасти принятая им с доверенностью сила, действию коей он не воспротивился».

И это говорится в 1872 году!

Тут что-либо одно из двух: или огромная нравственная сила самой Татариновой, сила фанатизма, если она была не обманщица, или неизмеримая глупость ее последователей.

Странная женщина эта умерла 12 июня 1856 года. Уже одно то поразительно, что немка и фрейлина фон-Буксгевден стала хлыстовской богородицей.

XIII. ЕЛИЗАВЕТА БОРИСОВНА КУЛЬМАН

«Елизавета Кульман принадлежит и лицам, которых имена удерживаются в памяти, как прекрасное местоположение там, где оно встречается редко, как светлый день в глубине нашего мрачного и неприязненного севера. Она бесспорно — необыкновенное явление в нравственном мире. Это была одна из тех душ, в которую природа бросает горстью семена сильных стремлений и богатых надежд, которым дает все — мысль зиждущую, светлую, образы стройные, к ним звуки или краски животворящие для представления их людям, наконец, волю жить единственно для избранной цели или мечты. Это была душа гениальная. Представьте же себе грубую, отвратительную нищету, оспаривающую у искусства и славы сию душу, рожденную для высокого назначения, вообразите себе как она, разбив цепи позорных нужд развертывает орлиные крыла свои и, изумив нас быстротой и могуществом своего полета, неожиданно падает в могилу, чтобы изумить нас снова ничтожеством надежд, которые человек называет великими, вопреки урокам судьбы, представьте себе сию смесь высокого, отрадного, малого и злополучного, отпечатанную яркими чертами на одной и той же ткани, и вы, может быть, захотите узнать некоторые подробности о сем замечательном явлении».

Так в тридцатых годах девятнадцатого столетия, один из известных русских писателей и профессор Петербургского

университета говорил об одной, ныне почти всеми забытой, очень молоденькой особе, почти девочке, по поводу удостоения Императорской академией издания ее сочинений.

Имя этого действительно необыкновенного ребенка было то, которое выставлено в заголовке настоящего очерка.

Хотя отзыв почтенного профессора о девице Кульман не совсем свободен от восторженности и преувеличения, в свое время весьма понятных и естественных, но нашим поколением не вполне разделяемых, хотя отодвинутая от нас почти на столетие деятельность Кульман и является перед нами в виде отрывочных, несовсем законченных порывов действительно творческой силы, еще не окрепшей и недоразвившейся до определенного направления, хотя, наконец, самый образ Кульман представляется, правда, каким-то светлым, фантастическим, но в то же время слабо и бледно очерченным обликом, при всем том, личность эта не должна быть пройдена незамеченной в истории умственной жизни России.

В самом деле, было что-то обаятельное в личности этой женщины, почти ребенка, и что-то далеко нерядовое в процессе развития ее духа, так что современники ее были поражены этой личностью, как необычайным явлением, и когда девочка умерла (к Елизавете Кульман нельзя даже применить имени «девушка» или «женщина», так как самое высшее развитие ее творческих сил проявилось уже между тринадцатым и пятнадцатым годами ее жизни, а умерла она семнадцати лет от роду) — Русская академия спешит издать все, что осталось от ее мимолетного существования и от ее слишком кратковременной деятельности, приводит в порядок найденные после нее бумаги, записывает устные о ней рассказы, составляет ее биографию, и издает все это как небывалый образчик поразительно раннего развития творческих сил человека, выявившихся притом среди самых неблагоприятны жизненных условий.

Девица Кульман вся принадлежит уже XIX столетию.

Родилась она в Петербурге 5 июля 1808 года в то самое время, когда другая эксцентрическая женская личность нашего столетия, девица Дурова, уже второй год носила уланский мундир и в рядах русских войск дралась с неприятелем русской земли.

Елисавета Кульман представляет собою явление совершенно иного характера, чем вышепоименнованная личность.

Отец ее был Борис Федорович Кульман, служивший прежде в войсках графа Румянцева-Задунайского и храбро сражавшийся под его знаменами.

Оставив военную службу, он избрал гражданское поприще, и с чином коллежского советника продолжал свое скромное служение в одной из некрупных гражданских должностей, зарабатывая скудное пропитание огромному семейству, в котором, кроме семи сыновей, имелась еще и дочь Елизавета, во всех отношениях необыкновенный ребенок.

Огромная семья эта скоро осталась без опоры: Борис Кульман умер, когда дочь его была совсем крошечным ребенком, и умер — как выражается биограф Елизаветы Кульман — «оставив в наследие детям, своим честное имя и глубокую нищету».

Огромная осиротелая семья не только не имела на что воспитаться и образоваться, но даже нуждалась в простом прокормлении.

Но у жены покойника, у матери огромной семьи Кульман, не было недостатка в уме и энергии: это был сильный характер, и одинокая женщина эта, при глубокой нищете, не только спасла себя от отчаяния, но и детей своих умела вытащить из той пропасти, в которую обыкновенно падает большинство людей бедных, не находящих ни в ком поддержки.

В эту нищенскую пропасть не допустила она упасть и свою богато одаренную природой девочку.

«На Васильевском острове, — говорит упомянутый нами выше профессор, биограф Елизаветы Кульман, — под кровом ветхой хижины, нанимаемой за самую скудную плату, жило это дитя, едва имея насущный хлеб, купленный ценою тяжких материнских трудов, и, незнаемое светом, готовило ему пример редких дарований и необычайной воли. Природа любит свое дело совершать втайне, без шума, как бы ревнуя своей славе, она не хочет, чтобы люди портили его своим надменным и своекорыстным соучастием».

До пятого года девочка была очень слабым, хилым ребенком, так что мать справедливо опасалась за ее жизнь, но ребенок вырос кое-как, не умер в период хилости и скоро затем начал крепнуть и развиваться физически и умственно.

Уже на пятом году девочка проявила необыкновенные способности.

Порывы творчества начали в ней сказываться в самом раннем детстве: так, все, что она видела, все, что приходилось ей слышать от других, девочка превращала в образы, олицетворяла в своей поэтической фантазии.

Около домика, где жила она с матерью, расположен был маленький садик, заменявший для девочки весь пока ей ви-

денный мир. В этом садике она проводила большую часть летних дней, заботилась о цветах, которые там росли и которые составляли предмет ее страстной привязанности, сохранившейся в ней в продолжение всей ее кратковременной жизни. Особенной ее любовью пользовался небольшой кустик жасмина, подаренный ей хозяином дома, где жило семейство Кульман, и сделавшийся предметом самых нежных ее попечений.

На этом жасминном кустике девочка начала свое творчество, потому что с ним она постоянно говорила как с живым, думающим и чувствующим существом, которое ее понимало и могло ей отвечать: этому кустику девочка поверяла все, о чем ей самой думалось, и если, при колебании жасмина ветром, листья его шевелились, девочка уверена была, что листья говорят с ней и сама начинала вести с ними беседу.

На заборе их домика часто садились вороны, которые искали для себя корма во всяких обросках и в помойных ямах, и девочка думала, что когда ворон каркал, то это он благодарил Бога за то, что он послал ему корм, когда ворон голодал.

Этого достаточно было, чтоб девочка создала и вложила в уста ворону такую речь:

«Хоть я и черен, как уголь, и люди меня гонят от себя, но Бог, отец людей и птиц, меня не покидает: по его милости у меня все-таки есть пища на день, и дерево, где провести ночь».

В палисаднике, недалеко от окон домика Кульман, растет тополь. Когда ветер качает ветви дерева и ветви наклоняются к окну, у которого стоит девочка, ей кажется, что тополь зовет ее к себе.

Девочка бежит к матери, просит, чтоб та отпустила ее в сад.

— Зачем? — спрашивает мать. — Теперь холодно и ты простудишься.

— Нет, мама, — отвечает девочка. — Мне непременно надо пойти вон к этому тополю: он кивает мне головой и что-то шепчет, но отсюда ничего не слышно.

Идут в сад и мать, и девочка. Но тополь ничего не говорит.

Видит девочка мух в паутине.

— Паук уложил их спать, — говорит девочка.

— Как? — спрашивает мать.

— Да ведь пауки — няня мух, — отвечает странный ребенок. — Я видела, как он сперва уложит муху, потом качает

ее в сеточке из паутины, пока муха не уснет, а там сидит над ней долго, долго, чтоб с ней не случилось чего худого.

Послушная во всем, девочка крайне упорна, когда у нее оспаривают то, что она создала в своей не в меру беспокойной фантазии.

Что она выдумала — того у нее нельзя отнять или заставить не верить продуктам своего творческого воображения.

Воображение это было действительно не в меру беспокойное, развитое до болезненности.

Кроме того, у девочки была необычайная память: все, что она слышала и видела, она помнила необычайно долго и отчетливо, а что ей читали — передавала целыми тирадами.

Наконец, когда пришло время учить маленькую Кульман, то она показала такую же выше меры развитую способность усваивать сообщаемые ей знания, как выше меры развито было творчество ее фантазии. За отсутствием учителей, которых не на что было нанять, девочку взял на свое попечение старый друг ее отца, г. Гросс-Гейнрих, который был наставником во многих домах Петербурга.

Г. Гросс-Гейнрих страстно привязался к своей необыкновенной ученице и рано распознал в ней задатки редких дарований.

До десятилетнего возраста девочка очень хорошо знала языки русский, немецкий и французский. С десяти лет она уже начала учиться по-итальянски, очень полюбила этот язык и изучила его в совершенстве, как изучала все, за что ни принималась.

Любознательность развивалась в ребенке в такой возрастающей прогрессии, что нельзя было не удивляться, равно изумительна была и ясность ее мысли, быстрота соображения и способность анализа, комбинаций, выводов.

Пристрастившись к итальянскому языку, она скоро перенесла свои симпатии на лучших творцов итальянской поэзии и в укладистой памяти ее вмещались целые поэмы.

«Нельзя было смотреть без умиления на сию одиннадцатилетнюю девочку, — замечает ее биограф, — когда она, сидя в маленьком своем садике, проникнутая тайным сочувствием с гением, певцом Иерусалима, повторяла своим серебряным голосом прелестные его октавы».

Девочка, по-видимому, скоро переживала все возрасты, как бы торопясь жить и умереть.

Священник горного корпуса Абрамов, овдовевший и потерявший дочь, предложил г-же Кульман приют в своем доме. Предложением этим воспользовались, и это помогло

девочке сблизиться с директором горного корпуса Медером, также имевшим влияние на развитие богатых дарований маленькой Кульман.

При содействии Медера, с детьми которого девочка подружилась, она со свойственной ей любознательностью увлеклась изучением истории, естественных наук, часто посещала минералогический кабинет горного корпуса, и усваивала себе таким образом самые разнообразные познания.

Однажды, когда девочке пошел двенадцатый год, она спрашивала своего учителя, — знает ли он рай?

Гросс-Гейнрих сначала затруднился ответом, зная, что неполнота и неопределенность ответа не удовлетворит, а только больше возбудит любознательность девочки и вызовет ее на новые, труднейшие вопросы, но потом, воспользовавшись тем, что он помнил из произведений Данта и Клопштока о рае, а из Виргилия об элизиуме, он, на основании изображаемых этими писателями идеалов блаженной жизни, нарисовал ей по возможности полную картину того, о чем девочка любопытствовала слышать.

Картина рая глубоко поразила ребенка.

— Хорошо! И я напишу рай, если буду жива, — решила девочка.

На двенадцатом же году она приступила к изучению еще одного языка — латинского. Желание это явилось в ней вследствие не столько прямой личной любознательности, сколько желания сделать приятное для старика Абрамова.

Девочка решила в своем уме сказать старику священнику поздравительное слово на языке Цицерона, и тотчас же приступила к изучению этого языка.

В несколько месяцев она уже могла читать Корнелия Непота, а потом и письма Цицерона.

В день именин священника она действительно приветствовала его на языке Цицерона в такой мере, в какой этот язык мог быть доступен девочке и усвоен ею до возможности писать на нем.

В благодарность за латинскую речь священник начал учить девочку церковно-славянскому языку, и она охотно изучала язык Кирилла и Мефодия.

Раз в обществе зашел спор о классических языках и некоторые из спорящих доказывали их практическую бесполезность, отдавая преимущество языкам живым, новейшим, как имеющим ближайшее применение к требованиям и понятиям современной жизни.

Гросс-Гейнрих доказывал, напротив, превосходство и безотносительные достоинства греко-классической речи, превозносил красоты и прелесть Гомера, недосягаемость создания в новейшее время поэтических образов древней Греции.

Услыхав это, девочка затосковала. Жадный ум ее требовал новой пищи, которой ему еще не пришлось отведать, требовал знакомства с классическим миром.

И вот она учится по-гречески.

Необычайная память делает то, что через четыре месяца девочка сама уже читает на языке «семидесяти толковнинов» Евангелие от Матвея.

Все это происходило тогда, когда девочка успела пережить только двенадцать лет своей коротенькой жизни.

Затем в скорости она уже переводит Анакреона и не останавливается на простых переложениях, а переводит Анакреона русскими, немецкими и итальянскими стихами!

«Не удивительно после всего этого, — говорит биограф Елизаветы Кульман в тридцатых годах, — что такой человек, как г. Гросс-Гейнрих, сидел часто возле нее не говоря ни слова, смешанный, сбитый со своего учительского пути могучим стремлением сего необычайного ума, делался простым наблюдателем, и вместо того, чтобы учить, сам учился таинствам природы, раскрывавшимся перед ним в лице ее помазанницы».

На четырнадцатом году она уже изучала Гомера.

Скоро потом ознакомляется она с литературами, английской, испанской и португальской: беспокойный ум ее постоянно требует увеличения приемов новой пищи, и она не останавливается ни перед какими трудностями.

Она наконец изучает новогреческий язык, и притом в таком совершенстве, что возбуждает изумление в природных греках.

Один грек, — говорят ее биографы, — искавший в России убежище от кровавых тревог, раздиравших тогда возрождавшуюся Грецию, стал говорить с нею на своем языке, и, не быв предуведомлен о ее родине и происхождении, совершенно был убежден, что она гречанка, и, судя по ее произношению, он назначил даже место ее родины на одном из островов Архипелага.

Нищета не убивает этой замечательной силы.

Стоя в кухне у печки — так как девочка сама готовила для своей семьи скудный обед, таскала дрова и проч. — она в то же время успевала подбегать к столу и продолжать свои учебные и авторские занятия.

Бедность, по-видимому, не тяготила ее и не смущала ясность ее духа.

В своей нищете она сравнивала себя с дочерями древних царей, которые сами ходили за водой и белье в море полоскали.

— О! я высоко ценю себя, — смеялась она, держа в одной руке кухонную ложку, а в другой перо, — это символы моей верховной власти — один над домашним хозяйством, а другой над царством мечты.

Биограф Кульман так описывает ее наружность и интеллектуальные черты ее:

«В этом существе природа, казалось, хотела соединить все, чем возносит она избранных своих над толпой людей обыкновенных. Девица Кульман была отличной красоты. Стройный, довольно высокий рост, возвышенное чело, длинные каштановые волосы, алебастровая белизна лица, оттененная легким румянцем, и совершенно греческий профиль, глаза большие, ярко-лазуревого цвета — все это ничего еще не значило в сравнении с удивительной выразительностью ее физиономии. В ней было что-то необыкновенное, поражавшее всякого при первом взгляде на нее, — что-то не от здешнего мира. Какое-то царственное величие дышало в чертах лица ее, взор ее был важен, большей частью задумчив. Но улыбка ее была исполнена невыразимой прелести, точно так, как и ее голос, которым, по словам знавших ее, она особенно отличалась. Гибкий, серебряный, он принимал на себя, казалось, все напечатления, все тоны ее богатых чувствований, и он доходил к сердцу, как очаровательная музыка, особенно, когда она говорила что-нибудь от полноты души. Она прекрасно пела и декламировала. Можно сказать, что гений древней Греции, воодушевив ее своими изящными идеями, разлил во всей ее особе то очарование полной красоты, коего памятники мы видим в классических изваяниях. В обществе она невольно увлекала к себе внимание всех. Одна знатная дама, увидев ее в первый раз, не могла скрыть своего восхищения и сказала окружавшим ее: «Кто эта девица? Она должна быть высокого рода...»

Относительно процесса ее творчества и внешних проявлений этого процесса биограф говорит:

«В эти торжественные часы душевного преображения, углубленная в мысль, которую намерена развить в сочинении, она делалась неподвижной, чело ее было нахмурено, уста полуотверсты, взор устремлен был на один предмет, лицо становилось бледным и физиономия ее выражала что-то суровое.

Все положение ее принимало вид страдательный. Казалось, она принадлежала какой-то мощной, таинственной силе, которая налагала на нее знамение своей непобедимой власти.

Такое состояние было непродолжительно.

Взор ее прояснялся, она начинала ходить скорыми шагами по комнате, стан ее выпрямлялся, голова принимала вид величавый, — она вся была исполнена радости, сияния и жизни.

Это был торжественный праздник ее духа, та священная минута, в которую она могла сказать себе:

«Создание готово!»

При этом в ней замечали странное физиологическое явление: руки ее во время этого творческого процесса были холодны как лед, и она терла их одна о другую, чтоб отогреть.

Это был тот священный холод, о котором говорит и Гейне, когда к нему прилетала таинственная птица — его вдохновение, и он забывал все окружающее.

В обществе Елизавета Кульман была застенчива, робка, пока не увлекалась, или не была чем-либо особенно возбуждена, когда голос ее переходил в серебряное бряцание.

Творчество ее было прямым продуктом избытка внутренних сил, которые требовали исхода.

«Она хотела, — говорит ее восторженный биограф, — чтоб ее некогда прочли и поняли. Кто же из ангелов не хотел бы, чтобы прочли и поняли его сердце? Так! Она была ангелом на земле и умерла в семнадцать лет, чтобы не перестать быть им».

Так можно было увлекаться личностью Кульман только в 30-х годах.

Для более полной характеристики Кульман приведем еще одно замечание ее биографов, основанное на показаниях людей, лично знавших «русскую Коринну», как ее не стеснялась назвать даже наша академия:

«В характере девицы Кульман, — говорят ее биографы, — было одно качество, которое неразлучно сопутствует людям, предназначенным совершить на земле что-нибудь важное, — это постоянство усилий в достижении предположенной цели. Ее нельзя было отклонить от какого-нибудь предприятия словами — оставьте, это трудно. Напротив, подобный совет производил только то, что она сосредоточивала свою деятельность именно на этот трудный предмет».

Так и Дурова, мы видели, обыкновенно брала на себя то, что казалось бы ей не по силам: так всегда любит испытывать себя истинная человеческая сила, выходящая из ряда золотой посредственности.

Самая деятельность Кульман была не рядовая: внутренняя сила толкала ее делать больше того, что может сделать обыкновенный человек.

Постоянно занятая и торопящаяся жить, девушка спала обыкновенно не более семи часов в сутки, вставала всегда в семь часов утра, а летом раньше, и в течение восемнадцати часов в сутки работала. Отвлечений от работы у нее было не много. При бедности, у них не всегда был даже чай, который поэтому не отнимал у нее рабочего времени, затем, занятия по кухне, разделяемые с умственной работой, и чтение. Выездами и гостями она также не убивала своего времени.

В работах своих она держалась известной системы и строго определенного порядка. Шутя она говорила, что превосходит в этом отношении самого Франклина, который в одном из своих сочинений сознавался, что ему было очень трудно привыкать к порядку жизни и в распределении занятий.

Биографы превозносят доброту и нежную деликатность Кульман в обхождении со всеми.

Однажды на выставке в Академии художеств она заметила молодого персиянина, посланного Аббас-Мирзой в Европу для развития замеченных в нем дарований художника. Картины этого персиянина, выставленные с прочими, мало обращали на себя внимание публики, занятой другими картинами. Сам художник-персиянин стоял в толпе в надежде узнать какое впечатление на зрителей произведут работы, и что будут о них говорить. Но о них ничего не говорили, ими никто не был заинтересован. Девушке стало жаль художника и она подошла к нему, вызвала его на разговор, расспросила его о поездке в Англию, о впечатлениях, вынесенных им из Европы, о его занятиях живописью, хвалила его картины и проч., и таким образом возбудила в нем упавшее было мужество.

Кульман сама занималась рисованием, несмотря на постоянную работу над приобретением знаний во всем, на чем только мог остановиться ее пытливый ум.

Нельзя не удивляться, как у нее на все это хватало времени.

Но этой необыкновенной личности не суждено было жить и довести своего призвания до полной законченности.

«Рука смерти, — говорит ее восторженный биограф, — держалась за стебель сего прекрасного цветка в то самое мгновение, когда он развертывался во всей полноте жизни и красоты».

Смерть подкосила ее так рано не потому, что девушка злоупотребляла своими силами, убивая их излишним умственным трудом, а просто съела ее бедность.

У Кульман теплого пальто не было, не на что было купить шубу — и она поплатилась жизнью за гнусную нищету человеческую.

Не усиленный труд, — говорят панегиристы Кульман, — отнял у России будущую гордость русских женщин, а недостаток лисьей или заячьей шкурки для прикрытия нежного тела девушки: «труд для нее был наслаждением, а природа человеческая в таких случаях несколько крепче, нежели как думают. Судьба не столь изысканными путями привела девицу Кульман ко гробу: она употребила для этого самое действительное средство — бедность».

Простудилась она в половине октября 1824 года. На свадьбе у одной своей родственницы, при выходе из церкви, ей пришлось долго оставаться на крыльце, и ее продуло холодным осенним ветром.

Она занемогла тотчас же, хотя, может быть, и не смертельно.

Но 7 ноября того же года, как известно, было страшное, доселе памятное наводнение.

Васильевский остров, где жили Кульман, был особенно затоплен водой, и во время этого наводнения больная девушка еще более простудилась.

Скоро показались признаки опасной болезни — скоротечной или так называемой «галопирующей» чахотки.

Когда весть о болезни этой замечательной девушки дошла до высочайшего двора, то государыня императрица Александра Федоровна, вдовствующая императрица Мария Федоровна и великая княгиня Елизавета Алексеевна, знавшие о необыкновенных дарованиях Елизаветы Кульман от статс-секретаря Лонгинова, поспешили оказать ей всевозможную помощь, но для больной все уже было бесполезно.

Она таяла как свечка по меткому народному выражению.

Больная сама поняла, что скоро должна умереть, и пользуясь последними днями жизни, писала об этом своей подруге, говорила, что ей уже снилось будто она умерла, привыкла к образу новой, неведомой людям жизни, и т. д.

Но только матери она не хотела пугать своей страшной тайной.

Другу же своему Гросс-Гейнриху она все сказала — призналась, что спокойно ждет смерти и готова встретить ее.

Гросс-Гейнрих утешал девушку — отрицал неизбежность скорой смерти, говорил о выздоровлении.

На его поздние утешения больная отвечала словами своего любимого поэта Шиллера.

Ein mächtiger Vermittler ist der Tod.

— Два мои брата, — прибавила она, — пали с честью на поле битвы (в 1812 году). Они были так же молоды. Я не должна уступать им в твердости.

Она, почти уже умирая, диктовала свои сочинения, поправляла их, делала переводы своих поэтических произведений на другие языки, читала любимых авторов, как бы прощаясь с ними навеки.

Перед смертью, как это всегда бывает с чахоточными, она несколько оживилась, но это было уже предсмертное оживление.

19 октября 1825 года сошлись к ее постели немногие родные и знакомые. Она потребовала священника и просила читать над ней отходную, чтобы самой выслушать эту последнюю на земле молитву.

Во время чтения отходной больная оборотилась на левый бок, склонилась головой на руку — и умерла, а чтение продолжалось над мертвой.

Похоронена она была на Смоленском кладбище.

Памятник над ней сделан из каррарского мрамора искусным художником Трескорни в греческом стиле.

Памятник изображает прекрасную женщину в гробе. Эта мраморная женщина тоже склонилась головой на левую руку, как и умиравшая Елизавета Кульман.

Гроб увенчан листьями аканфа, а меж ними видна роза, оторванная от стебля.

Кругом гроба надписи на славянском, греческом, латинском и на всех новейших европейских языках, так хорошо знакомых усопшей.

Но особенной глубиной смысла, применимого к данному случаю, отличается надпись испанская, которая гласит:

«Бог послал ее на землю не для того, чтоб оставить ее здесь, но чтобы показать людям свое творение».

Осуществлением своим памятник обязан участию государынь Александры Федоровны и Елизаветы Алексеевны.

В 1833 году Русская академия, как мы сказали выше, издала все, что осталось после Елизаветы Кульман, и все, что относилось до ее жизни.

Вторая часть стихотворений Кульман носит название «Стихотворений Коринны».

Название это дано им вот по какому случаю.

Известно, что греческая стихотворица Коринна, по преданию, одержала победу над знаменитым Пиндаром. Елизавета Кульман не верила этому преданию о торжестве Коринны.

— Я этим победам Коринны не очень верю, — говорила она, — характер Пиндара столь возвышен, столь стремителен, что едва ли можно было кому-либо превзойти его, особенно женщине, или же судьи, присудившие венец Коринне, были слишком пристрастны. Однако ж все жаль, что из произведений ее ничего не осталось нам: в Греции нелегко было приобрести славу поэта, а она имела ее.

Гросс-Гейнрих сказал на это, что она сама, Елизавета Кульман, может воскресить Коринну, может написать стихотворения, а потом сказать, что нашла их в никому неизвестном манускрипте и перевела, сделав при этом ученые примечания, аннотации и проч., подобно Макферсону, поступившему таким образом с поэмами будто бы Оссиана.

Девушка смеялась этой выдумке, но вскоре после этого разговора показала Гросс-Гейнриху написанное ею стихотворение в форме обращения к Мирто, которую, как свою воспитательницу, Коринна благодарит за развитие и усовершенствование своего таланта.

Стихотворение оканчивается так:

Когда в течении жизни
И мне своим искусством
Пленить других удастся,
То я, Мирто, кумир мой,
Тебе за все успехи
Обязанною буду:
Ты, лиры златострунной
И пения царица,
С младенчества со тщанием
Коринну приучала
К радивому служенью
Дающим славу музам.

Гросс-Гейнрих одобрил этот опыт, и с тех пор Кульман составила целую серию стихотворений от лица Коринны.

Она и называлась поэтому «русской Коринной».

Теперь стихотворений Кульман почти никто не знает.

XIV. КНЯГИНЯ ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛКОНСКАЯ

(урожденная княжна Белосельская)

К началу XIX века Россия переживала уже целое столетие с той поры, как перестала, по-видимому, быть и казаться старой Россией. Целое столетие, говоря словами доверчивых поэтов, русские двери были открыты настежь в Европу для свободного циркулирования живительных соков цивилизации.

Целое столетие, таким образом, русская женщина имела в своем распоряжении, чтобы, повинуясь естественным законам движения, продолжать наступательный ход далее от того места, на котором остановились их допетровские бабушки.

Мы видели уже отчасти, как прожиты были русской женщиной эти сто лет новой жизни. Мы не могли не заметить при этом, что женщина большей частью и в XVIII столетии, как и в XVI при Новикове и Державине, как и при Сильвестре и Адашеве являлась такой, какой хотел ее видеть мужчина.

Когда Новиков говорил ей, что она будет способнее исполнять назначение человека, если ей одинаково будут повиноваться игла и перо, рисунок на выкройке и корректурный лист из-под типографского станка, женщина бралась за перо и за корректуру, не оставляя, однако, иголки. Когда же Боратынский сказал ей, что чернилами она только способна свои пальчики испачкать, женщина задумывалась и бросила перо для канвовой иглы.

Действительно, и в первой половине XIX столетия все еще далеко не решенным оставался вопрос о том, имеет ли право и должна ли женщина разделять свой труд и свой ум между иглой и пером.

Боратынский едва ли шутил, когда обращался к женщинам с таким словом:

Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, смазливые вострушки.
Красавицам не много в нем добра,
И им амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются!
Уносят их летейские струи...
На пальчиках чернила остаются.

Ясно, что по понятиям того времени, пером женщина могла забавляться как не совсем опрятной «игрушкой» — это

было не дело, а забава, потому что на перо и мужчины того времени смотрели отчасти как на игрушку, на забаву ума, дозволенную при сытости желудка.

В это-то время и под влиянием высказанных нами воззрений общества, русская жизнь дала еще несколько более или менее заметных женских личностей, из которых об одних мы уже сказали, что могли, а о других постараемся сказать, что можем.

В то время когда из Волковой, под давлением событий двенадцатого года, вырабатывалась вполне русская женщина, вернее московская, дошедшая в своем патриотизме до исключительности, когда дочь Сперанского под влиянием гения своего отца, посвящает свои силы на разработку вопроса о необходимости пополнить недостаточность и бессистемность воспитания юношества, а потом, почувствовав, что со смертью горячо любимого ею отца, связь ее с Россией как бы порвалась, окончательно разрывает эту связь и отказывается даже от русского языка, чтобы заменить его французским и немецким, когда Хомутова после разлуки с другом своим, поэтом Козловым, которого нравственное влияние на нее было несомненно, тоже впадает в какую-то апатию, когда, наконец, Дурова променяла саблю, которой билась в рядах соотечественников против легионов Наполеона I, на перо писательницы едва ли не под косвенным воздействием Пушкина, а Кульман, чуть ли не единственная женская личность, взявшаяся за перо не для забавы, а по неотразимым велениям своего собственного гения, погибла потому лишь, что не имела теплого салопа, — в это время появляется новая блестящая женская личность, из которой могло выйти нечто замечательное, если б и эта женщина не сделалась жертвой нравственных болезней своего времени.

Мы разумеем княгиню Волконскую.

«Это была женщина, — говорит один из почтенных знатоков истории XVIII и XIX веков, — необыкновенная по уму, красоте, разнообразным талантам и душевной энергии, женщина, оставившая довольно яркий след в истории нашего общества и в наших литературных преданиях».

Но «яркий след» этот, к сожалению, и остается пока лишь только «следом», потому что вообще сведения о жизни и деятельности этой женщины очень скудны. Между тем жизнь эта, по словам того же почтенного исследователя нашей старины, «возбуждает живейшее любопытство».

Княгиня Волконская была дочь обер-шенка князя Александра Михайловича Белосельского, по матери родного пле-

мяника знаменитых графов Чернышевых, крупных государственных деятелей елизаветинских и екатерининских времен. Мать ее была из роду Татищевых.

Княжна Белосельская рано лишилась матери, которая умерла в 1792 году в Турине, где жила с мужем, представлявшим лицо русского посланника. Оставшись на попечении отца, маленькая княжна всем своим дальнейшим развитием обязана личным его заботам: подобно Сперанскому, учившему свою Лизу, князь Белосельский первый дал литературное и эстетическое развитие своей дочери, потому что сам считался страстным любителем словесности, хотя, к сожалению, по обычаю того времени, мог скорее назваться французским писателем, чем русским: стихи его читались больше в Европе, чем в России, князя Белосельского, как писателя, ближе знали Вольтер и Делиль, чем Державин и Новиков, имя князя Белосельского славилось литературной известностью больше на берегах Сены, чем на берегах Невы и Москвы-реки.

Понятно, что и сердце дочери, выросшей на руках этого отца, должно было больше тяготеть к Парижу, к Риму, к Турину, чем к Москве и Петербургу.

Воспитывалась ли молодая княжна в Смольном институте по обычаю всех тогдашних юных аристократок — достоверно неизвестно. Мы знаем только, что в 1808 году она была уже фрейлиной и состояла при особе королевы Луизы-прусской, бабки царствовавшего тогда императора Александра Павловича, приезжавшей погостить в Россию.

Об этом обстоятельстве сама княгиня Волконская вспоминала через тридцать уже лет в одном из своих стихотворений, именно в «Песни невской». В стихотворении этом, содержание которого, главным образом, относится к пожару Зимнего дворца, княгиня Волконская говорит, между прочим (относительно сгоревшего Зимнего дворца), следующее:

Там царицы в фатах да повойниках
Говорили купцам слово ласково.
Из Порусьи давно там являлася
Королева краса чужеземная,
Словно лунный свет в окна царские.
Она много терпела за свой край родной
И в день черный ему всем пожертвовала!
Ему все отдала, камни, золото
И одни жемчуга сохранила себе,
В жемчугах и в слезах она помнится мне.

Молодая княжна Белосельская вышла потом замуж за князя Никиту Григорьевича Волконского.

Пока она жила с мужем в Петербурге, то и по сану мужа, и по своему уму, и по красоте, и по образованию, занимала самое высокое положение при дворе. Когда затем, после 1812 года она оставила Россию, то такое же блестящее положение занимала и в Европе, особенно в Теплице и Праге, где император Александр, находившийся в то время в Германии, любил бывать в ее обществе, равно как и тогда, когда она жила в Париже после 1813 года, а затем в Вене и Вероне во время блестящих европейских конгрессов.

В это время княгиня Волконская постоянно вращалась в самом центре придворной и дипломатической жизни. Политические литературные и художественные знаменитости искали ее знакомства и тяготели к ее кружку, потому что тяготение это вызывалось и обуславливалось благоприятными условиями, которые соединяла в себе Волконская: знатность ее и богатство еще более казались привлекательными, потому что возвышались ее красотой и любезностью, красоте и любезности, в свою очередь, помогали признанная всеми разнообразная ученость княгини и аристократическая талантливость. Музыкальные знаменитости охотно окружали ее потому, что она блестящим образом исполняла лучшие музыкальные пьесы того времени и считалась самой даровитой исполнительницей новых произведений Россини. Знаменитости сценического мира уважали в ней сценические знания, потому что она доказывала их практически, сама исполняя на сцене модные пьесы своего времени. Ученые знаменитости не скучали с ней потому, что она считалась ученой женщиной — слыла за женщину-филолога, знала латинский язык и признавалась лучшей ученицей члена нашей академии филолога Андрея Мериана, она же была другом известного нашего ученого Гульянова.

Поэт и композитор — она сама писала кантаты и сочиняла к ним музыку: так известна ее кантата, написанная в память императора Александра Павловича и положенная ею же на музыку. К этой кантате, составляющей теперь библиографическую редкость, приложен ее портрет, гравированный с подлинника работы К. П. Брюллова.

Воротившись из Европы в Россию, она поселилась в Москве, где и жила, как говорят недавно опубликованные о ней сведения, в богатом доме брата своего, у Тверских ворот, в доме, «который она умела обратить в настоящую академию наук и искусств».

По всем проявлениям, это была натура крайне впечатлительная, увлекающаяся, и потому, к сожалению, не на-

столько стойкая и постоянная, чтобы отдаться одному какому-либо делу: когда она была в Европе — европейская жизнь всецело овладела ее симпатиями, и она умела сама приковать к себе внимание и сочувствие всего, что было в Европе умного, образованного, талантливого, ученого. В России — на нее повеяло новыми влияниями, и, в свою очередь, она стала центром тяготения всего, что могла дать в то время русская жизнь самого образованного и даровитого.

«Все, что было лучшего в русской словесности, с почтением окружало высокоталантливую княгиню», — говорит один из современных московских писателей, для которого еще живы предания двадцатых-тридцатых годов.

Пушкин под влиянием обаяния, разливаемого на всех окружавших этою женщиною, пишет ей свое знаменитое послание при посвящении одной из удачнейших поэм своих — «Цыганы»:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани:
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоходом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

Это она — «царица муз и красоты».

Боратынский, по словам которого «смазливые вострушки» не должны «трогать парнасского пера», потому что для них существуют другие «игрушки» — любовь, и потому что рифмы — неблагодарное дело, так как от занятий литературой «на пальчиках чернила остаются», — этот самый Боратынский посвящает княгине Волконской свои блестящие стихи: «Из царства виста и зимы...»

Солидный и строгий философ И. В. Киревский также не спасается от неотразимого обаяния этой женщины и также посвящает ей единственное, написанное им в этом несвойственном ему духе, хвалебное стихотворение.

«Живший тогда в Москве Мицкевич, — говорит тот же московский писатель, — находил себе восторженное сочувствие в княгине Волконской, а молодой Веневитинов привязан был к ней всеми силами души. С. П. Шевырев был у нее домашним человеком. Словом, княгиня Волконская была центром московской умственной жизни».

Нет ничего удивительного, что Волконская, налагая обаяние своей личности на всех ее окружавших, сама отдалась обаянию окружавшей ее умственной сферы, в которой было столько свежих сил, и взаимно служила этим силам.

Из европейской женщины она стала русской, по-видимому, до мозга костей, но только по-видимому — это было опять-таки что-то в роде нервного увлечения, результат темперамента и фантазии.

В то время, когда на ее литературно-музыкальных вечерах собирались все знаменитости, русские и приезжие, все тогдашние маэстро смычка и пера, она стремительно бросилась в изучение русской литературы, в непосредственное ознакомление с русской народностью, с русскими древностями и с современным бытом страны. Она, говорят, «готова была даже составить особое русское общество для обнародования памятников старины и народности».

К этому периоду ее увлечения принадлежит одно из археологическо-литературных ее произведений — именно археологический роман, под именем «Ольга», который, странным образом, при двойственности натуры этой женщины, явился из-под ее пера разом на русском и на французском языках!

Роман этот уцелел только в отрывках.

Но момент увлечения как быстро пришел, так быстро и прошел: такие люди ничего прочного не сделают.

Одна страсть вытеснила другую, как постоянно во всей ее жизни одно увлечение сменялось другим, еще более порывистым и также скоропреходящим.

«Все это соединение благоприятных условий, как часто бывает у нас, пропало для России быстро и безвозвратно, — говорит с прискорбием почтенный издатель отечественных памятников прошлого и нынешнего века. — Вследствие ли частных или общественных причин, Бог весть, княгиня Волконская в 1829 году уехала в свою издавна любимую Италию и с тех пор, кажется, не возвращалась домой. Она поселилась в Риме, посвятила себя делам милосердия и скончалась в 1862 году строгой подвижницей иного закона. С глубокой скорбью будущий историк отметит, что все вы-

сокие дары, коими столь щедро наделена была покойная княгиня, не принесли для России той пользы, какой можно было ожидать».

Да они и Европе не принесли никакой пользы — никому не принесли...

Княгиня Волконская, подобно другой такой же даровитой русской женщине, Свечиной, стала католичкой, и насильно хотела забыть Россию.

Но забыть ее, по-видимому, было нелегко. Есть основания думать, есть даже факты, доказывающие, что вольная отшельница из России часто думала о России.

Так она русским воспоминаниям посвящает особое стихотворение, о котором мы говорили выше — именно «Песнь невская». Оно написано уже в 1837 году через восемь лет после того, как Россия для отшельницы стала чужой страной и народ ее чужим.

Вот это стихотворение, в котором до известной степени отражается личность самой писательницы:

Стоит царский дворец на Неве-реке,
Перед ним лежит площадь белая,
А на ней стоит царь гранитный столп.
Петербургский мужик притащил его,
Притащил его из порогов лесных.
На столпе том стоит ангел родственный.
Загляделся родной на старинный свой дом.
И себе на уме: Благодарствуй, брат!
Хорошо — высоко ты поставил меня,
Наводнений, огня не терпеть мне здесь!
У дворца в глазах река бурная,
Река бурная, беспокойная.
На другой стороне люди вещие,
А за ними лежат плахи царские.
Там палаты стоят и купеческие,
Где купцы после думы собираются,
И мудреным изделиям цену кладут,
Миллион языков там коверкают,
А причина всему — изба ветхая,
Изба ветхая на Неве видна.
Стоял царский дворец на Неве-реке,
Стены крыты все тканью шелковой,
Зеркала на стенах исполину в рост,
А под ними столы все сибирские,
Малахитовы, чудо дивное,
А в окнах все цветы кашемирские,
Итальянские и голландские.
Вился плющ на ширмах решетчатых,
А под плющом царица сиживала,
Думу думала с детенышками.
Поджидала царя, как проглянет на них

Промеж дел и забот государственных.
Там бывало народ начинал с царем
Новый русский год в гриднях светлых, златых.
.....
Что гудит река? Что ворчит Нева?
«Ох ты Ладога! Ты зачем на меня
Повалила свой лед? Он мешает мне!
Ты не слышишь там что-то кроется,
Словно в крепость тать забирается.
Там трещит везде... мне не нравится.
Скоро воды мои всем понадобятся,
Не всегда ж от меня злу потопному быть!
Ой готовьте вы, братцы, ломы острые,
Топоры, да пешни, ведра новые!
Да смотрите ж в ведрах, чтоб не мерзла вода!»
Загорелся дворец, и сгорел дворец,
И народ готов, как везде за царя
Положить свои там головушки.
Золы черные уж над ними курган.
Где надежам-царям хорошо было,
Там валятся снега в жерло черное!
Вы зачем собрались, люди умные,
Люди умные, мастера-столяры,
А и плотники новгородские!
Уж не новый дворец ли затеяли.
Ах, и впрямь уж дворец в мысли строится,
Скоро сказывается сказка русская,
Скоро делается дело с русскими.
Станет скоро дворец, что волшебный дом,
Живописный дворец и весь мраморный.
А искусство у нас, ведь, привозный цвет,
Хоть привозный цвет, да сроднился он
С почвой русскою, с русским разумом.
Грудь ее уж полна семян собственных.
Ах, расти, южный цвет, ты на севере!
Ты в теплице цвети, как на солнышке!
И туда, ведь, глядит оно ясное,
Ветер ласковый, сила южная,
Благодатная роса райская!

Ясно, что на языке этого стихотворения лежит еще печать увлечения русским народным говором, русским народом, русской стариной.

Вообще достойно глубокого внимания замечательное явление в истории русской женщины первой половины XIX века — это католический прозелитизм.

Явление это и его исторические причины ожидают еще самостоятельного ученого исследования, и желательно было бы, чтобы этот важный пробел в истории русской женщины был возможно скорее пополнен.

На этот пробел должно занестись имя княгини Волконской, как и имя Свечиной и иных.

XV. ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ОСИПОВА

Для истории русской женщины, как и для истории всей России, драгоценны и такие женские личности, нравственный облик которых, даже при положительной недостаточности биографических подробностей о их жизни, какой-либо хотя лишь одною чертой, ярко выступает из хаоса обыденной жизни и становится неизгладимым по отношению к истории нашего развития вообще и в особенности по отношению к другим историческим личностям, которые налагали свою собственную, индивидуальную печать на это развитие и помогали ему своею нравственной силой.

Как дорог для потомства цельный осколок какого-либо древнего, в мусоре отысканного произведения гениального ваятеля, если целое изваяние и утратилось, так дороги для целой картины исторической русской жизни цельные так сказать осколки женских личностей, осколки, по которым до некоторой степени воссоздается цельный образ человека и само собой уясняется его значение, его удельный вес среди всего, что его окружало, на что этот человек имел прямое или рефлективное, отраженное влияние.

Таким, можно сказать, осколком художественного произведения русской жизни представляется нам Прасковья Александровна Осипова — этот спасительный друг Пушкина и оживляющий друг Языкова, может быть, более воздействовавший на возбуждение творческих сил двух наиболее любимых когда-то Россией поэтов русских, чем самые сложные и самые влиятельные условия жизни, среды и обстановки.

Есть исторические женские имена, которые так и останутся лишь именами, но имена эти бессмертны: история не сохранила ни каких-либо подробностей о их жизни и деятельности, ни даже ясного представления о их нравственном образе, она и не сохраняет этих подробностей, как ничтожных частиц в общей массе крупных исторических фактов, но историческое бессмертие за этими именами все-таки сохраняет.

Имя Форнарины стоит рядом с именем Рафаэля — и этого достаточно, чтобы первое имя было бессмертно, как бессмертно второе. Имена Стеллы и Ванессы входят в жизнь бессмертного Свифта, потому ли что эти женщины обе любили поэта, потому ли что поэт любил обеих этих женщин, и если кроме этого простого, примитивного, так сказать факта

ничего не было бы известно о Стелле и Ванессе, то все-таки бессмертие этих женщин не могло бы стереться с страниц истории, и скорее сотрутся безличные образы скифов, даков и других народов на бессмертной колонне Траяна, скорее время истребит бронзу и мрамор, увековечившие некоторые имена древности, чем сотрутся с исторической памяти имена женщин, как тех, о которых мы кстати упомянули, так и других, о которых мы не упоминали.

Да история и не нуждается в мелких, анекдотических подробностях о некоторых личностях: для потомства достаточно знать имя лица и единый рельеф его жизни, чтобы преемственно воссоздавать его нравственный облик... Гекуба, Андромаха, Аспазия, Клеопатра, Мессалина, Беатриче — все это лишь облики...

Так по двум-трем чертам воссоздается и образ русской женщины, имя которой освещается одним воспоминанием рядом с именами Пушкина и Языкова — этого для нас достаточно: мы можем обойтись и без биографических подробностей, которые могут в некоторых случаях составлять лишь исторический балласт.

Прасковья Александровна Осипова была соседка Пушкина по его псковскому имению, селу Михайловскому, где впоследствии и похоронен поэт.

Осипова жила в соседстве с селом Михайловским, в своем имении, селе Тригорском, вместе с бессмертными именами деятелей русской мысли тоже получившем историческое бессмертие, как остается целые тысячелетия бессмертным неведомое местечко на берегу Черного моря, где жил в изгнании Овидий.

Осипова давно уже была дружна с семейством Пушкина — с его отцом Сергеем Львовичем и матерью Надеждой Осиповной — и всегда оказывала самое теплое расположение к молодому поэту, которого значение в истории русского развития уже провидело общество. Осипова с своей стороны женским чутьем угадывала гениальные силы, таившиеся в молодом писателе, и всегда радушно принимала его в своей семье: у Осиповой, когда она особенно оказалась спасительной силой для Пушкина, придавленного временным несчастьем, были уже взрослые дочери, и оттого радушная семья ее представляла еще большую, так сказать, духовную полноту и законченность, где можно тоскующему изгнаннику, каким был в то время Пушкин, вполне отдохнуть душой.

Осипова была для Пушкина больше чем мать, и именно тогда, когда Пушкин нуждался в поддержке и ласке.

Вот тот светлый исторический луч, который освещает облик этой женщины.

В 1824 году Пушкин за свои литературные вины и за неосторожность в словах был привезен с юга России к отцу в село Михайловское и отдан под надзор местного жандармского начальства, местной полиции и местного, псковского губернатора, которым тогда был Адеркас.

Отец Пушкина, встревоженный ссылкой сына, неосторожно вызвал его на резкие и непочтительные ответы — и между отцом и сыном вышли крупные неудовольствия.

В этом случае нетерпеливая горячность Пушкина, без сомнения, окончательно бы погубила поэта, если б его не спасла именно Осипова.

В раздражении против отца, Пушкин имел неосторожность послать губернатору Адеркасу следующее странное прошение:

«Милостивый государь, Борис Александрович! Государь Император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Но важные обвинения правительства пали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить его Императорское Величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства».

Осипова случайно узнала об этом сумасбродном послании своего друга, и желая по возможности поправить дело, поспешила написать в Петербург к Жуковскому, который был в то время приближенным к государю лицом, прося его содействия в том критическом и опасном положении, в которое сам себя поставил Пушкин.

Вот это письмо Осиповой к Жуковскому, бесспорно имеющее историческое значение.

«Милостивый государь Василий Андреевич. Искреннее участие (не светское), которое я с тех пор как себя понимать начала, принимаю в участи Пушкина, пусть оправдывает в сию минуту перед вами меня, милостивый государь, в том, что, не имея чести быть вам знакомой, решилась начертать сии строки. Из здесь приложенного письма усмотрите вы в каком положении находится молодой, пылкий человек, который, кажется, увлеченный сильным воображением, часто к несчастию своему и всех тех, кои берут в нем участие, действует прежде, а обдумывает после. Вследствие некоторых

недоразумений, или лучше сказать, разных мнений, по одному же, однако, предмету с отцом своим, вот какую просьбу послал Александр к нашему Адеркасу. Я все то сделала, что могла, чтоб предупредить следствие оной, но я не знаю, удачно ли, потому что г. Адеркас, хотя человек и добрый, но был прежде полицеймейстер. Я трепещу следствий для нежной матери, да и отца! Может вогнать прежде времени во гроб. Несмотря на все, что теперь происходило, Александр, кажется, имеет счастие пользоваться вашим доброжелательством. Не дайте погибнуть сему молодому, но право хорошему любимцу муз. Помогите ему там, где вы, а я, пользуясь несколько его дружбой и доверием, постараюсь, если не угасить вулкан, по крайней мере, направить путь лавы безвредно для него.

Если вам угодно отвечать Александру Сергеевичу так, чтобы кроме его никто не видал ваших писем, то мое имя да служит вам эгидой».

В этом письме Осипова удачно характеризует Пушкина как человека, который прежде действует, а после уж обдумывает то, что сделал. Письмо обнаруживает также, что женщина эти принимала зависевшие от нее меры, чтобы сделать безвредной для Пушкина посланную им к губернатору просьбу.

К счастью, просьба не попала в руки Адеркаса, потому что посланный Пушкина не застал губернатора в Пскове.

Жуковский отвечал на письмо Осиповой, и как видно из следующего письма этой последней к Жуковскому, писал и самому Пушкину и его отцу, по-видимому, в примирительном духе.

На письмо Жуковского Осипова отвечает ему новым, в высшей степени замечательным письмом, обнаруживающим и светлый ум этой женщины и глубокое понимание натуры любимейшего из русских поэтов, погибшего, через тринадцать лет, именно таким образом, как предвидело умное сердце женщины.

Приводим вполне и это письмо, ставшее теперь для России драгоценным историческим памятником.

«Вчерашний день получила я письмо ваше и приятной обязанностью себе поставлю исполнить желание ваше насчет положения дел любезного нашего поэта. К похождению письма его можно смело сказать, что на сей раз Pouschkine fut plus heureuxque sage. У вас был ужасный потоп (знаменитое наводнение Петербурга 7 ноября 1824 года), а у нас распутица, нигде нет проезду. Посланный его, не нашед губернатора во

Пскове, через неделю возвратился, не отдав письма никому. Теперь отдал его Александру Сергеевичу и он сказал мне вчера, что его уничтожил, и душе моей стало легче.

Желаю искренно, чтоб советы ваши приняты были Сергеем Львовичем и исполнены. Мне приятно было заметить из письма вашего, что мы с вами совершенно согласны во мнении насчет несогласия сих двух особ, отца и сына. А причина сих вечных между ними несогласий есть странная мысль, которая, не знаю отчего, вселилась с обеих сторон в их умах. Сергей Львович думает, и его ничем не можно разуверить, что сын его не любит, а Александр уверен, что отец к нему равнодушен и будто бы не имеет попечения о его благосостоянии. От сего происходит, что они обоюдно толкуют, каждый в свою очередь, поступки один другого ложно, а потому действуют равно ошибочно. Быв лишь чуждая и посторонняя совершенно между ими, я более правды говорила любезному нашему анахорету, чем бы он выслушал от своей нежной Надежды Осиповны.

Я живу в двух верстах от села Михайловского, где теперь Александр Пушкин, и он бывает у меня всякий день. Желательно бы было, чтоб ссылка его сюда скоро кончилась, иначе я боюсь быть нескромной, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь, Василий Андреевич, меня угадали. Если Александр должен будет оставаться здесь только, то прощай для нас русских его талант, его поэтический гений, и обвинить его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, и здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в пламя — а там поздно будет размышлять о следствиях.

Все здесь сказанное не пустая догадка, но прошу вас, чтобы и Лев Сергеевич (брат поэта) не знал того, что я вам сие пишу. Если вы думаете, что воздух и солнце Франции или близлежащих к ней, через Альпы, земель, полезен для русских орлов и оный не будет вреден нашему, то пускай останется то, что теперь написано, вечной тайной. Когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет.

Я не буду извиняться перед вами, что пишу так много. Сердце было на конце пера, и я слишком искренно привержена к семейству Пушкиных, чтобы равнодушно видеть их в горестях. Я забывала в недавнем времени всю грусть души своей и каждую минуту думала только о Сергее Львовиче и Надежде Осиповне...»

Пушкин был спасен.

В приведенном нами письме сказывается хорошая женщина и хороший человек, который мог быть действительным другом наших поэтов.

«Пушкин более счастлив, чем благоразумен...» Если Пушкин будет оставлен в Пскове, «то прощай для русских его талант, его поэтический гений...» «Псков хуже Сибири и там пылкой голове Пушкина не усидеть...» «Пушкин без дальнего размышления из огня вскочит в пламя...» — это такие мысли, которые очерчивают всего Пушкина, тем более что опасениям Осиповой, к несчастью, суждено было сбыться: именно эта горячность, за которую преимущественно боялась Осипова, заставила Пушкина стать под пулю, которая и уложила его в могилу. Действительно, у Осиповой сердце было на конце пера, когда перо это высказывало те роковые опасения, которые тяготели над всею жизнью Пушкина и из опасений перешли в дело.

Несколько иным характером отличались отношения Осиповой к Языкову.

Летом 1826 года молодой поэт, еще в качестве студента дерптского университета, приехал в Тригорское, чтоб погостить у радушной хозяйки этого села. Там Языков подружился с Пушкиным, и эта страстная дружба кончилась лишь со смертью старейшего из них.

В семействе Осиповой и Языков, так и Пушкин, был как бы любимым и балованным сыном: молодой студент тем более подходил под положение сына для Осиповой, что с сыном ее, Вульфом, Языков связан был самой тесной дружбой.

Лето, проведенное Языковым в гостях у Осиповой, осталось самым дорогим для него воспоминанием на всю жизнь.

«Я вопрошал совесть мою и внимал ответам ее, — писал он к Вульфу в начале 1827 года, — и не нахожу во всей моей жизни ничего подобного красотою нравственною и физическою, ничего приятнейшего и достойнейшего сиять золотыми буквами на доске памяти моего сердца, нежели лето 1826 года».

Мало того, через двадцать лет, 17 сентября 1846 года, за несколько месяцев до смерти, Языков, больной, разбитый морально и физически, снова вспоминал лето, проведенное им в гостях у Осиповой, и так писал тому же Вульфу:

«Вези мой поклон и почтение в Тригорское всем и каждому, кто меня помнит, и всем местам, кои я помню о сю пору и никогда не забуду...» Недолго, впрочем, оставалось ему помнить...

С временем пребывания Языкова у Осиповой связаны не только лучшие годы его жизни, но и лучшие его поэтические произведения, из которых одно носит название «Тригорского», другое — послание к Пушкину, и два послания к П. А. Осиповой.

Отпуская, после каникул, Языкова в Дерпт, Осипова приглашала его приехать погостить и на следующие каникулы, просили его приезжать и дочери Прасковьи Александровны, но молодой поэт, страдавший крайней застенчивостью, не решился приехать на следующий год. «Я тяжело виноват перед Прасковьей Александровной, — писал он к Вульфу в 1827 году, — ... моя многогрешная (добро) застенчивость принудила меня не отвечать на почтенное письмо: зане стыдилась отвечать отрицательно...»

Но вместо себя Языков 1 мая отправил к Осиповой следующее грациозное послание в благодарность за присланные ему цветы:

Благодарю вас за цветы,
Они священны мне: порою
На них задумчиво покою
Мои любимые мечты,
Они пленительно и живо
Те дни напоминают мне,
Когда на воле в тишине,
С моей Каменою ленивой
Я своенравно отдыхал
Вдали удушливого света
И вдохновенного поэта [1]
К груди кипучей прижимал!
И ныне с грустью безутешной
Мои желания летят
В тот край возвышенных отрад,
Свободы милой и безгрешной,
И часто вижу я во сне:
И три горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы,
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы, —
Приют прохлады в летний зной,
Наяды полог, полог продувной:
И те отлогости, те нивы,
Из-за которых, вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское один —
Вольтер и Гете и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый,

[1] Пушкина, конечно

И ту площадку, где в тиши
Нас нежила, нас веселила
Вина чарующая сила —
Оселок сердца и души,
И все божественное лето,
Которое из рода в род,
Как драгоценность, перейдет,
Зане Языковым воспето!
Златые дни! Златые дни!.. и т. д.

И действительно, память о лете 1826 года, воспетом Языковым, переходит из рода в род, как перейдет, конечно, к позднейшим временам и имя воспетой и Пушкиным и Языковым П. А. Осиповой.

Другое послание Языков написал Осиповой из Дерпта в благодарность за присланные ей из тригорского сада плоды.

Вот это стихотворение, связанное с памятью женщины, которая становится бессмертной рефлективным бессмертием других исторических имен.

Плоды воспетого мной сада,
Благословенные плоды.
Они души моей отрада,
Как славы светлая награда,
Как вдохновенные труды,
Прекрасных ряд воспоминаний
Они возобновляют мне,
И волны прежних упований
Встают в сердечной глубине!
Скучаю здесь: моя Камена
Оковы умственного плена
Еще носить осуждена,
Мне жизнь горька и холодна,
Как вялый стих, как Мельпомена
Ростовцева иль Княжнина,
С утра до вечера я занят
Мирским и тягостным трудом,
И Бог поэтов не помянет
Его во царствии своем.
И долго сонному забвенью
Мой не потухнет фимиам,
Но я покорен провиденью
И жду чего?.. не знаю сам...
Я утешаюсь горделиво
Мечтой, что в вашей стороне
Самостоятельное живо
Воспоминание обо мне.
И благодарен вам душою
За ваш подарок, и в ответ
Из края скуки и сует,
Вы благосклонною рукою
Мои убогие дары
Примите — пару книжек модных

Произведений ежегодных
Словоохотной немчуры.
Мои ж стихи да будут знаком,
Что скоро и легко для вас
Мой пробуждается Парнас,
И что поэт Языков лаком
Везде всегда воспоминать
Свой рай и вашу благодать.

Хотя, как мы видели в предшествующем очерке, и княгиня Волконская, подобно г-же Осиповой, принадлежала уже к числу русских женщин, завершающих собой цикл того женского поколения, которому современная русская женщина, женщина шестидесятых и начала семидесятых годов, приходится, можно сказать, родной дочерью, хотя и Волконской, и Осиповой выпало на долю служить до некоторой степени центром нравственного тяготения таких умственных сил русского общества, как Пушкин и вся современная ему интеллигенция наша, — однако разными путями шли обе эти женщины, и в то время, когда первая при своих бесспорно богатых внутренних задатках, потеряв почву под ногами, перенесла свои симпатии на чуждые и ей, и ее родной земле интересы, другая, сколько могла и сколько научена была своим временем, всецело сберегла свои симпатии к тому близкому и родному ей миру, которому всякая живая сила должна служить по мере возможности.

В этом явлении достойно внимания то обстоятельство, что современная нам женщина, подобно этим двум, только что нами упомянутым, женским личностям, унаследовала от женщины сороковых и тридцатых годов эту необъяснимую, по-видимому, двойственность стремления: более шаткие из них не знают сами, чему отдать свои симпатии, и готовы отдать их хотя бы живучему при своей дряхлости католицизму, более же цельные женские натуры действительно поняли назначение женщины и честно, с изумительной стойкостью учатся служить делу своей родины, как служила ему, насколько умела и могла, и та симпатичная женская личность, бледный облик которой мы сейчас старались сколько возможно воспроизвести.

XVI. УНТЕР-ОФИЦЕРША НАДЕЖДА КИРИЛЛОВА

Римская история сохранила нам поэтический образ несчастной девушки, красота которой была причиной ее трагической смерти, а смерть этой невинной девушки вызвала народное

волнение: отец собственноручно зарезал свою любимую дочь, чтоб она не досталась сластолюбивому патрицию, а народ, в виду окровавленного трупа жертвы-красавицы, жестоко отомстил всем патрициям и смерть девушки, и свои старые давние накопившиеся обиды.

В Севастополе, но это было далеко не то, что в Риме, — не те краски, не те тени, не те образы: вместо поэтической римлянки и ее гордого отца-плебея у нас является унтер-офицерша Надежда Кириллова и ее муж, а вместо сластолюбивого патриция выходит на сцену сластолюбивый штаб-лекарь Верболозов.

Уже прежде мы высказали мысль, что как нередко женщина вообще появляется на страницах истории, как ни бледны вообще исторические образы женщин как у нас, так и у всех народов, как ни прикрыта от посторонних глаз ее закулисная историческая роль, однако несомненно то, что влияние женщины на ход исторических событий неотразимо, что, по-видимому, слабая рука ее руководит невидимо для других волей мужчины, и из своей скромной области, из спальной, из детской, женщина так или иначе направляет события своего времени то мольбой, то советом, то любовью, то лаской, то своей женской слезой.

Но когда женщина оставляет спальную и детскую, когда страсть и общее дело увлекают ее на улицу, на площадь, сила ее бывает неотразима.

Примером этому может служить так называемый «женский бунт» в Севастополе — событие, случившееся в 1830 году, странное по той форме, в которой оно выразилось, и ужасное по своим последствиям.

Хотя событие это не исключительно связано с именем женщины, стоящей в заголовке настоящего очерка, однако ближайшим исходным пунктом его так или иначе служила именно эта женская личность. Летом 1829 года в Севастополь завезена была чума из Бессарабии, где она тогда свирепствовала во время турецкой войны. Зараза завезена была в Севастополь не сухим путем, а морем, на кораблях.

Для предупреждения распространения заразы город был отрезан от моря и от всех окрестностей строгой карантинной цепью. Карантинное оцепление продолжалось около года. Бедное население, лишенное всяких средств иметь посторонний заработок, пришло в самое ужасное положение, и хотя к весне 1830 года зараза, по-видимому, совершенно прекратилась, однако местное начальство из предосторожности не снимало карантинной цепи и тем привело население до

положительного отчаяния. В самом бедственном положении находилось население примыкавших к городу слободок, особенно же Корабельной.

«Жители Корабельной слободки, — говорится в одном официальном документе, относящемся к этому событию, — в сие бедственное для них время, которое по причине необыкновенно в то время холодной зимы было весьма для них ощутительно, столько претерпели, что не имеют слов достаточно изъяснять тогдашнее их бедственное положение. Будучи лишены всякого с городом и ближними селами сообщения, не имея что есть и пить, равно и отопить свои жилища, они ежедневно видели несчастные свои семейства и малолетних детей своих, изнуряемых голодом и холодом и, при малейшей кому-либо из них приключившейся болезни, по освидетельствовании медицинских чинов, были забираемы в карантин, на Павловский мысок, где и были содержимы по пятидесяти и более дней, и многие из них там умирали, возвратившиеся же из оного находили дома свои совершенно опустошенными. Раздаваемое им продовольственной комиссией в сие время пособие было столь незначительно, что оного многим из них и на одну неделю не было достаточно, как-то: по одной мерке муки на целое семейство за все время оцепления, по одной или по две вязанки дров, некоторым же по сорока и пятидесяти копеек, а многие совсем ничего не получали. Представляя себе будущее свое состояние в настоящем его виде, они усматривают, что будет едва ли не хуже прошедшего относительно продовольствия их будущей зимой, ибо они прежними годами в продолжение летних месяцев выходили из места жительства и в ближних местах нанимались к уборке сена, для жатвы хлеба, где и зарабатывали в течение лета по сто и более рублей и сим способом зимой содержали и кормили свое семейство. Но как уже второе лето проходит в непрерывном оцеплении города от окрестностей, где они и старались что-либо заработать и, не имея к зиме ни хлеба, ни топлива и едва ли какое рубище для прикрытия наготы своей и детей своих, умоляли всех членов комиссии войти в их жестокое положение и довести оное до сведения благодетельного начальства. Положение их представляется им тем ужаснее, что в течение прошедшей зимы все они вообще прежде заработанные кое-какие деньги принуждены были истратить, кроме того, не будучи в состоянии, по дороговизне, в достаточном количестве покупать дрова, принуждены были сжигать многие свои необходимые вещи, как-то: столы, скамейки, сун-

дуки, кровати, полы и даже выламывали кусками кровли домов, только бы не замерзнуть от холода».

Положение населения было тем более отчаянно, что рабочая пора проходила, а оцепление с города не было снято и жители справедливо заявляли, что если не скоро освободят их от карантинной цепи, то они совсем погибнут и начальство о сем не узнает, ибо оное никогда, исключая сие время существования заразы, не имело надобности входить в их положение и снабжать их хлебом и топливом, а потому открытие города не только не представляет ни малейшей для них пользы, но еще наводит страх от голода и холода.

Между тем чума действительно давно прекратилась, а карантинная цепь все стоит, народ не смеет пробраться за цепь даже тайно, а кто пробирается, того хватают и отсылают на Павловский мысок, голодный скот, не имея корма, тоже рвется за цепь, а сторожевые солдаты его пристреливают. Ужасные «мортусы», с ног до головы зашитые в кожи и облитые смолой, вооруженные железными крюками, все еще рыщут по городу и всякого подозреваемого в чуме хватают и тащат в карантин. Обязанности «мортусов» исполнялись людьми, приговоренными к каторжной работе. По городу вместе с «мортусами» продолжают рыскать доктора и ищут зачумленных. На улицах, на площадях — мертвая тишина, уныние, церкви заперты, звона колоколов не слышно. Больных приобщают посредством лжицы, навязанной на длинный шест. Имущество и платье умершего сжигается. Народ гоняют в бухту и силой купают в воде «подобно скотам». Подозрительных окуривают.

Народ начинает думать, что причиной этого бедствия — доктора, что они держат в осадном положении город и в заблуждении начальство, чтобы получать двойной оклад жалованья. В городе распространяется слух, как это было и во время холерных эпидемий, будто «мортусы», подкупленные начальством и докторами, морят народ, бросая ядовитые вещества в колодцы и источники.

Эти нелепые народные толки превратились в непоколебимое убеждение, когда унтер-офицерская жена Надежда Кириллова заявила, что штаб-лекарь Верболозов уморил все ее семейство, и хотя она сама спаслась, но двое ее детей действительно умерли от отравы.

Надежда Кириллова была отчасти права, но она бросила в массу слишком горючий материал.

Кириллова нравилась Верболозову, и он ухаживал за ней. Русская Лукреция отвергала все предложения влюбленного

доктора, и тогда он решился поступить с нею по-римски, но только приемы для этого употребил более современные, далеко не героические.

У Кирилловой умер отец, восьмидесятилетний старик. Так как, по карантинным правилам, всякого умершего во время чумы нужно освидетельствовать, чтобы удостовериться не умер ли он от заразы, и по этому уже назначать способ и приемы его погребения, то Верболозов, желая хотя косвенно победить упрямую красавицу, объявил отца Надежды умершим от чумы и распорядился оцепить дом ее, как чумной.

Но и эта мера не победила целомудренной унтер-офицерши: она вела себя, как настоящая римлянка.

Тогда Верболозов прибег к другим мерам: он не послал за своей жертвой, подобно римскому консулу, своих ликторов — «мортусов», а употребил для этого орудием робкую еврейку, Ривку Зильберберг.

— Поди уговори Надежду Кириллову, — сказал он ей, — а не то я тебя объявлю чумной и отправлю на Павловский мысок.

Напуганная еврейка отправилась исполнять поручение страшного доктора, но и ее посредничество не имело успеха.

Но сластолюбивый и изобретательный старик не остановился и на этом: видя бесполезность угроз, он прибег к задабриванью предмета своей страсти. Верболозов принес Кирилловой коробку конфект, но когда она и ее маленькие дети попробовали этого приношения, то с ними тотчас же сделалась рвота, перешедшая в кровавый понос. Хотя сама Надежда осталась жива, но двое ее малюток на другой же день померли.

Народ положительно и громко заговорил, что лекаря морят народ для своих выгод, и потому продолжают держать город на чумном положении.

Другой случай, после происшествия с Кирилловой, раздражил население еще более.

Жена одного солдата заболела чумной горячкой и три дня мучилась ужасным образом. Боясь дать знать об этом медикам, чтобы они не объявили больную чумной и не оцепили всего дома, муж этой женщины обратился к «мортусу» Тыщенку, прося прекратить ее страдания. «Мортус» дал больной раствор яду, после которого несчастная и умерла. Об этом происшествии узнали власти и нарядили следствие: оказалось, что Тыщенко не первый уже раз давал больным свои сильные лекарства на случай предсмертных мучений, и все его пациенты умирали быстро.

Тогда народ пришел к положительному убеждению, что лекаря и «мортусы» морят людей и для своих выгод объявляют город чумным, тогда как, по его понятиям, чума давно оставила город.

Одним словом, чаша была полна с краями — оставалось только влить в нее еще одну каплю, чтобы глухой ропот перешел в открытый мятеж.

Этою каплей была смерть матросской вдовы Зиновьи Щегловой, в Корабельной слободке.

Щеглова умерла 31 мая 1830 года. Между тем за несколько дней до этого, именно 27 мая, карантинное оцепление было снято с самого Севастополя, как признанного уже не чумным городом, а с Корабельной слободки, вероятно из осторожности, велено было снять карантинную цепь только 3 июня.

По карантинным правилам Щеглову нужно было освидетельствовать, и для этого в слободку командирован был штаб-лекарь Шрамков.

Об этой личности следует сказать, что он, к несчастью, был одной из главных причин женского бунта в Севастополе. Подобно Верболозову, преследовавшему Надежду Кириллову, Шрамков нагло относился ко всем женщинам, и из девятисот показаний, отобранных после бунта от женщин следственной комиссией, каждое оканчивалось такою фразой: «претерпевала истязания от штаб-лекаря Шрамкова», который самым непозволительным образом нарушал женскую скромность, и если в числе показаний некоторые и были без вышеупомянутой фразы о Шрамкове, то показания эти принадлежали женщинам, перешедшим уже сорокалетний возраст.

По освидетельствовании умершей Щегловой, Шрамков объяснил ее смерть чумой.

Народ поражен был этим известием. Когда начальство, чтобы удостовериться окончательно в истине донесения Шрамкова, командировало для освидетельствования трупа еще старшего врача Ланга, то этот последний, к несчастью, найдя у покойной на шее нарыв, со своей стороны, признал ее умершей от чумы и распорядился взять тело Щегловой в карантин для предания его земле по карантинным правилам, как чумное.

Случай этот повел к тому, что начальство города должно было вновь признать существование чумы и постановить: «Так как чума в Корабельной слободке прошла еще не совершенно, то продлить срок ее оцепления еще на четырнад-

цать дней». При этом постановлено было, чтобы слободка не сообщалась с населением самого Севастополя, уже свободного от оцепления раньше установленного для слободки срока.

Тогда население Корабельной, не видя конца карантинным мерам, решилось не выдавать тела Щегловой и, кроме того, настаивать на том, что она умерла не от чумы, а от преклонных лет, потому что ей было уже шестьдесят лет.

Пока карантинное начальство распорядилось прислать «мортусов» за трупом Щегловой, около трупа собралось уже до пятидесяти женщин, готовых собой защищать тело от перенесения в карантин.

Явились четыре «мортуса» с чиновником Яновским, чтобы взять труп. Женщины, защищая его, вступили с «мортусами» в драку, избили самого Яновского и так пробили камнями головы двум «мортусам», что те вскоре после этого и умерли.

Дали знать об этой неожиданной вспышке военному губернатору, которым был тогда генерал-лейтенант Столыпин.

Но пока губернатор успел прислать вооруженных солдат, женский бунт уже вспыхнул: раз что раздражение прорвалось наружу, его уже трудно было затушить, пока горючий материал сам не перегорит и не потухнет.

Раздражение женщин прежде всего опрокинулось на докторов, и в особенности на того, который прежде подвергал их неприличным истязаниям — на штаб-лекаря Шрамкова, объявившего притом, что слободка продолжает быть чумной: разъяренные женщины окружили несчастного доктора, били его по голове, по шее, под бока, таскали по земле, рвали на нем мундир, и кроме того, наиболее озлобленные из них и наименее скромные делали с ним и то, о чем говорить в печати неприлично. Затем, обезумевшие от своего собственного увлечения тигрицы стали обыскивать свою жертву, надеясь найти у него отраву, раздели несчастного донага, таская его с рук на руки разбили стекло находившихся у него в кармане часов и приняли осколки стекла за следы пузырька с ядом. Отобрав у него деньги, женщины не взяли их себе, а передали часовому, оставив у своей жертвы только один рубль. Затем подняли несчастного с земли, повели по улицам Корабельной и кричали, что поймали его с отравой.

Случай Верболозова с Кирилловой был у всех в памяти — доктора должны быть отравители!

День был знойный. Чтобы удобнее производить допросы своей жертве, женщины притащили изувеченного доктора под тень одного дома и начали над ним свой суд.

— А скажи, Шрамков, кто тебя послал морить людей? — спрашивали его.

— Зачем ты их опаивал? — допытывались другие.

— Какой это мы у тебя разбили пузырек?

— Отчего умерла Щеглова и мортусы ли ее задавили?

Требуя ответов на все эти вопросы, женщины в то же время принуждали его дать им подписку в справедливости их подозрений относительно чумы, и уверяли, что после подписки его отпустят.

Доктор умолял их не требовать от него подписки, говорил, что он не имеет на это права, но его не слушали — от него требовали подписку.

— Да что вы его слушаете! Он заодно со всеми, — кричали из толпы.

Снова началось битье и таскание по земле злополучного доктора. Затем его повели в бухту и искупали в наказание за то, что и их гоняли для купания в бухту «подобно скотам».

После купания доктор приведен был снова в слободку, заперт в тот самый дом, в котором умерла Зиновья Щеглова, и снова потом выпущен.

Между тем с так называемой «южной стороны» Севастополя показался небольшой отряд вооруженных солдат, но, заметив толпу более чем из пятисот женщин, не решился идти на явную опасность, а воротился назад за подкреплением.

С «северной стороны» Севастополя видно было, что делалось на «южной»: там происходили приготовления войск к формальному походу против «северной стороны».

Заметив это, женщины пришли в ужас, и подняли вой. На этот вой выбежало еще до полутора тысячи женщин с детьми — вопли и крики отозвались во всем городе.

Узнав в чем дело, матросы, в числе трехсот человек, пришли на помощь своим женам, детям и родственницам. Улицы оказались тесны для такой многочисленной толпы, и вся масса волнующейся черни повалила на площадь. Тело Щегловой было также вынесено на площадь.

Наконец с «южной стороны» является и войско. Несколько взводов вооруженных солдат под предводительством контр-адмирала Скаловского, войдя в слободку, обложили бунтовщиков с двух сторон.

Так как Скаловский не имел от губернатора полномочия действовать силой оружия, то он приказал одной роте солдат пробиться сквозь толпу женщин к трупу Щегловой, чтобы взять ее и похоронить по карантинным правилам.

Толпа, впрочем, вела себя благоразумно и, не оказывая никакого сопротивления, выдала солдатам не только труп Щегловой, но и доктора Шрамкова, бывшего как бы в плену, с тем чтобы он отправлен был на Павловский мысок для выдержания установленного карантина, так как на некоторое время он был заключен, по его же уверениям, в чумном доме и мог поэтому заразиться чумой.

Но Скаловский имел еще два других поручения от губернатора — уговорить толпу разойтись по домам и потом склонить все население Корабельной слободки к тому, чтобы оно вышло во временный лагерь, так как мера эта всегда считалась самой успешной для искоренения чумы.

Но на оба предложения контр-адмирала толпа отвечала дерзостью и негодованием.

Скаловский, видя неудачу, должен был удалиться на «южную сторону», а приведенное войско оставил на «северной» для того, чтобы оно препятствовало сообщению бунтовщиков с Севастополем.

Тогда Столыпин посылает к бунтовщикам новую вооруженную силу. Тот же Скаловский привел еще три роты елецкого пехотного полка, чтобы поддержать уже высказанные толпе свои требования, но толпа продолжала стоять на своем — ни по домам не расходилась, ни в лагерь не уходила.

Так прошел первый день мятежа.

1 июня в Севастополь приехал таврический гражданский губернатор и настойчиво советовал Столыпину принять против бунтовщиков самые решительные меры. Мнение гражданского губернатора поддерживали и все прочие военные власти, сознававшие невозможность действовать на раздраженную толпу увещаниями. Но Столыпин, вследствие своего мягкого характера и все еще надеясь, что бунтовщики образумятся, никак не решался прибегнуть к вооруженной силе.

Гражданский губернатор, поссорившись со Столыпиным, уехал в Симферополь, ничего не сделав для подавления мятежа.

К бунтовщикам снова являются власти — Скаловский, генерал-губераторский чиновник по особым поручениям Семенов и другие.

Вместо увещаний начинаются жесткие и неуместные угрозы.

— Если вы не покоритесь, — кричит Семенов к толпе, — то вас погонят на купание как скотов, пожгут ваше имущество и насильно выведут в лагерь.

На эти угрозы женщины отвечали:

— Ни по домам не пойдем, ни в лагерь не выйдем, ни купаться не станем и ни на какую новую окурку не согласны.

Столыпин посылает наконец к бунтовщикам священников.

Бунтовщики со слезами говорят священникам, что они нисколько не хотят упорствовать перед начальством, что они с радостью разошлись бы по домам, но что они дольше не могут выносить оцепления.

— За все время оцепления, — говорили они, — у нас по причине окурки и карантинных мер не осталось никакой одежды и обуви, ни у кого нет чего есть, чем избу вытопить. Весь скот наш или подох с голоду, или продан за бесценок, или его постреляли. Мы сами от голоду пришли в совершенное изнеможение и не можем кормить грудных ребят, которые от этого страждут и неминуемо должны умереть. Мы не бунтовщики, мы есть хотим, а Семенов говорит, что нас будут купать как скотов и имущество наше пожгут.

Ушли и священники, а толпа все стоит на площади в осадном положении.

Столыпин посылает к толпе с новыми предложениями: чтобы склонить толпу выйти в лагерь, он обещает сверх положенного провианта, топлива и воды по пяти копеек ассигнациями на душу на приварок.

Столыпину отвечают, что прежнего провианта было недостаточно, а на пять копеек никакого приварка приготовить нельзя по причине страшной дороговизны припасов.

Старик губернатор теряет наконец терпение и велит разыскать всех зачинщиков: «Буде такими окажутся мужчины, то предать их военному суду, а если женщины, то наказать их сильно розгами через «мортусов» в разных частях города, для лучшего примера». Бунтовщикам, кроме того, объявляют, что против них употребят оружие.

— Мы не бунтовщики, и зачинщиков между нами никаких нет, и нам все равно — умереть ли с голоду, или от чего другого.

В заключение толпа объявила, что она намерена быть в оцеплении только до 3 июня, когда кончится первый семидневный срок, и что никоим образом не желает быть в оцеплении второй четырнадцатидневный срок, назначенный для снятия цепи по случаю смерти Зиновьи Щегловой.

Положение дел было критическое. Женский бунт переходил в общий мятеж. Все матросы, которые и не находились на площади, а оставались в гавани и в бухте при своих обязанностях, пришли в то же непокорное состояние, потому что

у многих из них между оцепленными на площади были или жены, или дети, или другие родственники.

Столыпин понял опасность положения города и доносил генерал-губернатору князю Воронцову, между прочим, следующее:

«Я не должен скрыть от вашего сиятельства, что расположение умов частей морских экипажей, в Севастополе находящихся, весьма неблагонадежно, так что они, почти не скрываясь, говорят: в случае, если бы начальство вознамерилось действовать на мятежников силой оружия, то они выжидают только первого выстрела, чтобы идти к ним на помощь».

В виду такой грозной перспективы Столыпин созвал военный совет. На совете решено: «Содержать Корабельную слободку в строгом оцеплении и стеснении тем усиленным количеством войск, которые имеются в распоряжении, доколе ослушники не придут в надлежащее повиновение».

Но повиновение было невозможно — ослушникам нечего было есть.

При всем том, на своем совете толпа решила — до 3 июня, до конца положенного начальством срока, не пробиваться через цепь даже и в том случае, если бы она состояла не из вооруженных войск, а из одних только деревянных рогаток.

Действительно, эта нестройная и голодная масса вела себя вполне благоразумно. Когда к оцепленным явился Скаловский, чтобы лично осведомиться о положении дел, оцепленные с клятвами обещали ему не нарушать оцепления. Они только просили милости, пощады, потому что были голодны.

Но когда Скаловский объявил оцепленным решение военного совета, то осажденные пришли в ужас, женщины подняли плач, слившийся в один общий вой. Они рвали на себе волосы, целовались друг с другом и в отчаянии бегали по всему оцеплению. Дети следовали примеру матерей. Мужчины плакали навзрыд.

Сцена эта произвела на войско самое тяжелое впечатление, поддерживавшееся постоянными причитаниями женщин и ревом детей во всю ночь на 3 июня.

Это была роковая ночь.

Во время всеобщего воя и плача многие из оцепленных женщин и находившиеся с ним мужчины составили нечто в роде военного совета. На этом совете решено было, что на другой день осажденные так или иначе должны прорвать цепь. Так как без борьбы дело не могло обойтись, то шкиперский помощник Кузьмин вызвался научить осажденных

боевому фронту, на что и получил единодушное согласие. Тотчас же в качестве командира Кузьмин начал обучать всех осажденных боевым приемам, и в этом странном учении, среди ночного плача, женщины принимали весьма деятельное участие. В течение ночи оцепленным преподаны были приемы маршировки, различных боевых эволюций, группировки по ротам, по взводам и указывались выгодные позиции в предстоящей битве.

А между тем сторожевые войска должны были смотреть на эти странные, небывалые ночные боевые приготовления и ждать дальнейшей развязки.

На военном же совете осажденные определили время начатия действий и самый план наступления на войска и на город. На совете же составлен был список всем лицам, которые должны были пасть жертвой народного озлобления.

Севастопольский военный губернатор генерал-лейтенант Столыпин внесен был в список жертв первым. За ним следовали члены продовольственной комиссии, члены медицинского совета, далее — флотский начальник контр-адмирал Сальти и прочие члены, начальник карантинной линии князь Херхуладзев и карантинные чиновники.

Смерть ожидала, следовательно, и Верболозова, оскорбителя и врага Надежды Кирилловой.

На совете же наконец постановлено было — послать лазутчиков для возмущения Артиллерийской и Каторжной слободок, а равно и всего Севастополя или, по крайней мере, для разведывания, как они отнесутся к предприятию осажденных.

Исполнение этого поручения возложено было на матроса первой статьи Соловьева. Ему была дана подробная инструкция, как действовать и как донести осажденным о результате командировки. По инструкции в числе доводов для начатия бунта были следующие: жители Корабельной слободки умирают с голоду, их всех хотят перебить или сослать в Сибирь, и поэтому они хотят взбунтоваться, наконец, как скоро начнется возмущение, в нем примут участие татары и арнауты, а «турки пришлют из Константинополя свой флот, о чем им в свое время дано знать. Условный знак для начатия возмущения — колокольный звон и крики «ура!».

Соловьев отправился. На дороге он встретился с плотником Никитиным и уговорил его идти с собой для совместного выполнения взятого им на себя поручения.

Прежде всего лазутчики посетили адмиралтейство, где находились казармы рабочих экипажей. Рабочие экипажи все были готовы пристать к бунтовщикам.

В Адмиралтейской слободке лазутчики нашли расположение умов, еще более для них благоприятное и готовое к мятежу.

Наконец они зашли и на «хребет Беззакония» — уголок, преимущественно заселенный матросами и голытьбой. Голытьба и матросы с радостью шли помогать осажденным.

Но здесь часов уже в одиннадцать лазутчики были схвачены и приведены к губернатору.

Ни мало не медля, Столыпин отряжает против бунтовщиков бригадного командира Воробьева с тремя батальонами сухопутного войска и двумя орудиями, совершенно обнажая таким образом город от войск, в котором остался один только орловский батальон.

Но и Воробьев не должен был еще употреблять в дело вооруженную силу, а только строго наблюдать за оцепленными.

В пять часов к оцепленным командируется Скаловский, который к немалому удивлению узнает, что осажденные ведут себя смирно и никаких признаков возмущения не обнаруживают, а, напротив, клятвами заверяют, что не думали и не думают выходить из карантинной цепи.

Но тишина эта была перед бурей. Раньше вечера бунтовщики ничего не думали предпринимать. Они ждали, что к вечеру цепь будет снята. Они сами решили, что будут повиноваться до срока, ранее определенного начальством для снятия цепи, а срок этот, по их мнению, кончался вечером.

Но вот наступил и вечер, а цепь не снимается.

Толпа стала волноваться. Осажденные заявили открытое намерение прорвать цепь и стали напирать на нее, выставляя вперед малолетних детей и грудных ребятишек. Женщины опять подняли рыдание и вой, лезли на цепь массой, защищаясь детьми, как щитами.

Воробьев немедленно посылает к губернатору спросить: что ему делать?

Но между тем цепь от напора массы начала уже прорываться.

В этот критический момент получается приказ губернатора через плац-адъютанта: действовать против толпы оружием и продолжать стрельбу до тех пор, пока непокорные с площади не пойдут прямо в лагерь.

Воробьев командует батальонам строиться в боевой порядок и наводить на бунтовщиков пушки. Испуганная толпа с криком бросается назад и, припав к земле, снова ставит перед собой детей.

Это был ловкий маневр со стороны бунтовщиков.

Когда бригадный командир дал приказ стрелять, артиллеристы, видя перед собой детей, пришли в недоумение, куда направить выстрелы, и первый залп пустили на воздух.

Такой неожиданный исход первого выстрела ободрил бунтовщиков, но он навел ужас на бригадного командира. Канонир Елисеенко наотрез отказался стрелять в детей, и таким образом единственная надежда на артиллерию пропала.

Воробьев очутился в руках бунтовщиков. Цепь разорвана. Оцепленные и оцеплявшие смешались, бросаясь целовать друг друга. Пушки взяты. Все офицеры также взяты в плен, потому что они не значились в числе приговоренных к смерти.

Воробьев тотчас же был растерзан самым зверским образом.

Затем вся эта смешанная толпа — женщины, за ними матросы и солдаты с торжеством и неистовыми криками «ура!» двигается на «южную сторону», на Севастополь.

Чтобы охватить город со всех сторон, толпа разделяется на партии. Одна из этих партий под предводительством яличника Кондратия Шкарелупова отправляется на Павловский мысок, к церкви св. Владимира, взламывает дверь колокольни и бьет в набат, вместе с набатным звоном колоколов раздается нескончаемое «ура!» Это было сигналом для жителей всего Севастополя с слободами.

Партия Шкарелупова бросается по всем домам и казармам искать, нет ли там кого из приговоренных к смертной казни, и находит лишь одного Шрамкова.

Все доктора — и Шрамков, признавший Зиновью Шеглову зачумленной, и Верболозов, оскорбивший Надежду Кириллову, и Ланг — все были в числе приговоренных.

Но странно, как это часто бывает с обезумевшей толпой, Шрамков был пощажен: так как он находился в карантине, то толпа решила не трогать казенного здания, не разорять карантина — и Шрамков остался в живых.

Затем партия Шкарелупова идет на Севастополь, где должны были совершаться все ужасы возмущения, и соединяется с другими партиями.

Первым делом бунтовщиков, по переходе на южную сторону, было броситься на кабаки. Но полиция предупредила их. Угадывая, на что может быть способна опьяневшая толпа, и без того уже обезумевшая, полиция поспешила, пока имела возможность, разбить бочки в питейном подвале и в тех кабаках, к которым за толпой доступ был еще возможен. При всем том, водка не вся была уничтожена и бунтовщики, бро-

сившись на оставшиеся в целости питейные дома, успели выпить дарового вина на 3712 руб. 40 коп.

Водка поддает жару диким зверям, и эти несчастные звери, под именем «доброй партии», вновь делятся на отдельные партии и рассыпаются по всем улицам Севастополя, словно на охоту, за ловлей своих жертв.

Нескончаемое «ура!» и набатный звон сопровождают это возмутительное дело.

Одна партия бросается на адмиралтейство, разбивает его ворота и принимает к себе двести матросов рабочих экипажей.

Другая хватает плац-адъютанта Родионова, того самого, который привез растерзанному толпой Воробьеву приказ губернатора действовать против мятежников пушками, и начинает его истязать, не предавая, однако, смерти.

Вот как Родионов сам говорит о нападении на него толпы:

«Около 8-го часу окружило меня со всех сторон до 200 человек матросов и разного звания людей с дубинами, мне неизвестных. Видя их такое дурное и законам противное предприятие, я обратился для спасения жизни на двор к г-же Быченской, но со двора оного стоявшим там унтер-офицером был выгнан с произнесением слов «пусть вас всех перебьют», то я полагаю, что и он в сем случае содействовал на выезде же моем из оного двора, тоже полного бунтовщиками, встречен был бунтовщиками, которые, не говоря ни слова, начали меня бить дубинами в грудь, и только слышал произносящиеся ими слова: «это губернаторский помощник, бей его!» От таких ударов свалился я с лошади на землю, на которой лежащему также нанесли несколько жестоких ударов, отчего сделался я совершенно бесчувственным, наконец, вырвали полусаблю и сорвали с мундира эполеты и тащили по земле от дому Быченской до питейной конторы, и в сие время отрубили левое ухо, дали в голову несколько ран, плечо и локоть побито саблей, грудь и бока отбиты дубиной».

Так как в программу бунта не входили ни истязания, ни грабежи, ни убийства раньше определенного времени, потому что бунтовщики хотели прежде отобрать у лучших людей города подписки в несуществовании чумы, чтобы потом уже иметь законные, по их мнению, причины к возмущению и убийствам, то плац-адъютанта и не убили до смерти, а только поистязали его несколько за то, что он кстати подвернулся на глаза и притом он же привез покойному Воробьеву приказ стрелять в них.

Губернатор, узнав, что весь город охвачен бунтом и что в его распоряжении не осталось ни одной роты солдат, кото-

рые все пристали к мятежникам, тотчас же дал весть о беззащитном положении Севастополя во все места и просил присылки войск из Крыма, Одессы и с Кавказа.

Вместе с тем Столыпин отправил к бунтовщикам контр-адмирала Скаловского и севастопольского коменданта, генерал-адъютанта Турчанинова.

Скаловский бросился к питейной конторе, и его тотчас же окружила пьяная и разъяренная толпа.

«Я требовал, — говорит он, — чтобы толпа разошлась по своим местам, но народ кричал, что их хотят еще мучить карантинным оцеплением, и в ту же минуту говорили, окружив меня, многими голосами, чтобы убить меня. Находясь среди свирепствующего народа, я, предавая жизнь свою в руки их, требовал, чтобы они образумились и вошли бы в обязанность своей присяги и не подвергали себя такому буйству. Никакие убеждения не были приняты, толпа народа стеснила меня с шумом, ругательствами и угрозами на жизнь мою, которая уже и без того была во власти их. В таком положении толпа народа умножалась и подвигалась вниз к соборной церкви, на которой били тревогу в колокола. Приближаясь к церкви, начали рвать с меня мундир и эполеты, потому что я не имел ни одного человека для своей защиты».

Турчанинов был уже около собора. Его также били и истязали, но он спас свою жизнь тем, что дал бунтовщикам подписку в несуществовании чумы.

Около собора в это время стоял в каре орловский батальон, не ходивший на северную сторону вместе с прочими войсками и не принимавший никакого участия ни в бунте, ни против бунтовщиков. Скаловский успел протесниться в это каре, где был и Турчанинов, и предлагал этому последнему начать действия с помощью орловского батальона, но Турчанинов отвечал, что батальон слаб и что на верность его нельзя рассчитывать. Во всяком случае стрелять в бунтовщиков было опасно.

Другие партии с дубинками в руках рассыпались по домам и выгоняли жителей на площадь, чтобы оттуда идти в церковь. Бунтовщикам хотелось церковью освятить свое ужасное дело, которое они считали правым, и потому всех гнали к церкви.

Но им также нужны были и подписки, как бы разрешительные документы на мятеж. Такую подписку они взяли у городского головы Носова и у некоторых других влиятельных граждан.

Одна толпа ворвалась в дом протоиерея Гаврилова и вместе с прочим духовенством повела его к соборной церкви.

Это было уже к девяти часам вечера. Все, что рыскало по городу, собралось около этого времени к собору. Соборная площадь едва вмещала это сборище, состоявшее тысяч из шести мужчин и женщин.

Так как церковь была заперта, то бунтовщики требовали от Гаврилова как от главного духовного лица в городе церковных ключей, но протоиерей отвечал толпе, что ключей он им не даст, что они могут довольствоваться и колокольней, которую уже взяли для произведения набата. Хотя некоторые мятежники и бросились было на священника, чтобы рвать на нем ризы, так как он выведен был из своего дома в облачении, но другие закричали, что дверь церковная уже разбита — и толпа хлынула в церковь, ведя с собой и духовенство. Но надо было освятить кровавое дело. А освятить его можно только тогда, когда оно правое, доброе дело.

И вот безумная толпа добивается своей правоты. Она вынуждает протоиерея там же в церкви, в алтаре, дать подписку такого содержания:

«1830 года июня 3 дня, по требованию доброй партии, сим свидетельствую, что в городе Севастополе нет чумы.

Протоиерей Софр. Гаврилов».

«и не было»...

(м. п.)

«Протоиерей Софр. Гаврилов».

Последнюю добавку — «и не было» — толпа настояла вписать в подписку после.

Такую же подписку дал иеромонах Пахомий и прочее духовенство.

Взяв подписки, коноводы мятежа вынесли эти листки на площадь и, показывая их толпе, говорили:

— Вот подписки, данные лучшими в городе, и по ним видно, что в Севастополе чумы не было и нет, — значит, нас морили доктора.

Толпа отвечала громогласным «ура!».

Итак, кровавое дело сделано правым — теперь его надо освятить.

Подобно гайдамакам, которые святили ножи, которыми собирались резать попов-ляхов и евреев, севастопольские бунтовщики также требовали освятить предстоявшие им убийства.

Они требовали, чтобы протоиерей служил им молебен на убиение. Священник отказывался, говорил о беззаконии их

дела, но народная ярость заставила его повиноваться — он благословил убийства!

Теперь только должно было начаться самое дело согласно тому решению, какое принял военный совет бунтовщиков в предшествовавшую ночь. Надо было убивать тех, которые занесены были в смертный список.

Но многие из обреченных на смерть, предвидя свою гибель, успели скрыться из города. Бежала продовольственная комиссия, бежало карантинное начальство, бежала полиция с полицеймейстером Грушецким во главе и бежал медицинский совет. Бежал и тот штаб-лекарь Верболозов, который своими притязаниями к Надежде Кирилловой был отчасти причиной того, что буря, которая могла сама собой утихнуть, разразилась над Севастополем.

Но в городе еще оставался губернатор, — старик не оставил своего поста.

Толпа, получив благословение на свое нечистое дело, окружила дом губернатора. Столыпин был дома. Бушующая масса ворвалась во двор. Желая образумить безумцев, старик вышел на балкон и хотел говорить к народу. Но бунтовщики были уже в его комнатах, пробрались на балкон и не дали старику говорить: его сбросили на руки толпы, в объятия смерти.

Долго таскали по земле несчастного старика, рвали на нем мундир, эполеты. Дружное «ура!» приветствовало это скверное дело. Во время истязания старика, прапорщица Дарья Семенова, завладев саблей Столыпина, неистовствовала самым неприличным образом.

Старик был растерзан. Но этого мало: мещанин Яков Панков проплясал на изуродованном трупе Столыпина.

Также растерзан был инспектор военного карантина Стулли, а дом его разграблен.

Страшная и вместе с тем поразительно эффектная была картина этого бунта.

Когда народ вышел из собора и затем покончил с жизнью Столыпина и Стулли, наступила ночь. Толпа только что разгулялась после долгого сидения в цепи, а между тем по улицам мрак, в домах мрак — не видно кого бить, кого миловать. Надо осветить город, иллюминовать это постыдное торжество.

И вот придумывается оригинальное освещение, доказывающее притом, что бунтовщики в ослеплении своем надеялись, что Бог помогает их делу. Укрепив по улицам и на площади длинные шесты и привесив к ним иконы, они зажигали перед

иконами свечи как в церкви — и таким образом освещали свое кровавое дело.

Надо было теперь покончить со всеми лекарями, которые выдумывали чуму и морили народ в оцеплении голодом, купали в бухте, окуривали, а скот его пристреливали. Надо было так же надругаться над Шрамковым, как он надругался над трупом старухи Щегловой и над всеми молодыми женщинами, надо сделать над Верболозовым то, что он сделал над детьми Надежды Кирилловой.

Но доктора, как мы сказали выше, все бежали из города. Остался один только Каменский, который и был убит. Слуга медика Салоса имел несчастье быть похожим на своего господина — и тоже был убит ошибкой, вместо барина.

Бросились к вице-инспектору Семенову, к тому самому, который, два дня тому назад, грозил оцепленным женщинам, что их «погонят на купание как скотов и пожгут их имущество». Но он также исчез из города. Толпа пришла в крайнее остервенение, когда узнала, что у него нет даже собственного дома, что он живет в наемной квартире — и поэтому даже разрушить нечего в ознаменование мести над беглецом.

Бросились в дом вице-адмирала Патаниоти и также не нашли его дома. Этот генерал по своей трусости в самом начале бунта передал команду флотом контр-адмиралу Скаловскому и бежал в рейд, на корабль. Бунтовщики ограбили его дом.

— Ребята! — кричал при этом один пощаженный бунтовщиками офицер. — Зачем вы разоряете дом начальника? Ведь он хороший человек и был для матросов как отец, да к тому же он прибыл в Севастополь, когда город был уже оцеплен.

— Врешь! — отвечали ему из толпы. — Какой он отец и хороший человек, когда он нас, плотников, бил по зубам?

И дом был действительно ограблен.

Бросились на дом контр-адмирала Примо, не нашли его самого, а дом разграбили.

Нахлынули затем на дом унтер-лейтенанта Боровича — и также разорили. Борович спрятался. Сначала нашли на чердаке его жену и убили. Но его никак не могли найти. Некоторые из толпы уговаривали товарищей не искать и не убивать его.

— Он добрый человек, и всегда стоял за матросов.

— Это так точно, но он благородный и его надо убить, — отвечали другие.

Несчастного нашли спрятавшимся в тарантасе — и убили.

После того убили еще комиссара.

Больше бить было некого: все власти, как сухопутные, так и морские, приговоренные «доброй партией» к смерти, скрылись — кто на корабли, кто за городскую заставу.

Кровавая ночь кончалась. Начинало светать. Кончилась и безумная оргия озлобленного населения.

В этом бунте замечательно следующее явление: убивая приговоренных к смерти и разрушая их дома до основания, мятежники не дотронулись ни до одного казенного здания и даже не приблизились к казначейству. Даже пушки и ружья, отнятые у войска, возвращены в целости.

Следующий день прошел в волнении, но без убийств. Бунтовщики были полными обладателями города. Но в нем еще оставался комендант, генерал Турчанинов. Около девяти часов утра бунтовщики окружили его дом и требовали формального распоряжения о снятии карантинного оцепления с Корабельной слободки и о возобновлении церковного богослужения. Турчанинов отвечал, что это выше его власти. Ему грозили возобновлением опустошений и убийств — и он дал требуемое разрешение.

После этого толпы отхлынули по домам на отдых. Они не спали четыре дня и четыре ночи.

Но в два часа город опять на ногах. Надо освятить конец бедствия церковным торжеством.

Толпа идет на Павловский мысок, призывает священника, объявляет ему распоряжение коменданта о снятии оцепления, велит открыть церковь, облачиться причту, выдать иконы и хоругви и отслужить перед всем народом благодарственное молебствие.

Пропев «Тебе Бога, хвалим», толпа с иконами и хоругвями обходит Корабельную слободку, проходит по всем ее улицам, переходит на южную сторону и, несмотря на сопротивление коменданта, приказывает ему распорядиться, чтобы соборное духовенство в полном облачении, с крестами, хоругвями и образами, встретило торжественную процессию, двигавшуюся с северной стороны.

Соборное духовенство и все население Севастополя с иконами и хоругвями, с хлебом и солью встречает торжественное шествие. Пять батальонов вооруженного сухопутного войска и моряки отдают ему честь.

Снова молебствие и пение «Тебе Бога, хвалим», снова шествие народа по улицам, по бухте: в торжественном гимне принимал участие едва ли не весь город.

Все обойдено, все освящено — все, что было осквернено чумой и убийствами.

И вот настает в городе и в предместьях совершенная тишина. Матросы по-прежнему работают на своих местах, женщины — дома. Сознание вины засело в голову каждого: но воротить того, что сделано, нельзя.

С 6-го числа в Севастополь начали со всех сторон стекаться войска и на другой день уже составилась целая армия.

Начался суд над бунтовщиками и убийцами. Одних зачинщиков, предводителей, убийц и грабителей найдено 980 человек — мужчин и женщин.

29-й флотский экипаж приговорен к смертной казни весь.

В 17-м и 18-м экипажах приговорен к смертной казни десятый.

Из простого народа осуждено на смерть 75 человек.

Наконец, многие приговорены к кнуту, к розгам, к каторге, к прогнанию сквозь строй.

Но князь Воронцов отнесся вполне гуманно к причинам возмущения и смягчил приговоры, конфирмовав казнить смертью только семерых.

Канонир Елисеенко, отказавшийся стрелять в малолетних и грудных детей, был приговорен к смерти, но Воронцов отменил казнь, повелев сослать его на поселение без всякого наказания.

Из женщин, поднявших все это кровавое дело и отчасти руководивших им, триста семьдесят пять конфирмованы к гражданской смерти.

Была ли в числе их и унтер-офицерша Надежда Кириллова — неизвестно.

Результатом женского бунта в Севастополе было следующее повеление государя императора Николая Павловича, выраженное в рескрипте к князю Воронцову:

«Печальные события, совершившиеся в Севастополе, показывают необходимость, привести наконец в исполнение предположение, чтобы чины морского ведомства не имели в сем городе собственных домов, также принять и другие меры для истребления духа своеволия и непокорности, столь неожиданно оказавшегося на самом деле. Убеждаясь сим, я приказал адмиралу Грейгу всех женатых нижних чинов, находящихся в Севастополе, равно и имеющих там собственные дома, перевести в Херсон, а вам вместе с сим поручаю: женам их и всем прочим женщинам, живущим в так называемых слободках, выдать паспорта и выслать их из Севастополя, куда кто пожелает, слободки же те уничтожить совершенно».

XVII. ДОМНА АНИСИМОВА
(Слепая Доманя)

В то время когда русская академия, желая почтить достойной памятью замечательный талант поэта-девушки, похищенной у жизни нуждой в тот самый момент, как гений этого необыкновенного ребенка, говоря немножко цветистым языком той эпохи, только что начинал развертывать свои могучие крылья, когда академия собирала и приводила в порядок оставшиеся после Елизаветы Кульман произведения и, вместе с любопытными сведениями о ее недолголетней жизни, удостаивала их особым изданием, — в то время где-то на Оке, в глухом, мало кому известном рязанском захолустье, деревенская девушка, нянька чужих крестьянских детей, слепая и обезображенная оспой, качая деревенских ребятишек, пела над ними колыбельные песни своего собственного сочинения и притом импровизировала не только эти простые колыбельные песни, но создавала целые оригинальные стихотворения, никем и ничему не ученая и по своей слепоте, конечно, не умевшая ни читать, ни писать.

Так начал свои песни и Кольцов, разъезжая по воронежским и донским степям, в качестве прасола или табунщика, за «нагуливаемыми» для убоя стадами. Кольцов также слагал свои думы в уединении, без всякого руководства, как слагает их дикарь в лесу, киргиз в степи и в кибитке. Только Кольцов был зрячий человек, умел читать и писать, жил в губернском городе, а не в захолустье, мог видеть книги, мог учиться из книг и даже несколько обучался в гимназии.

Между тем слепой рязанский Оссиан — девушка, никогда не видавшая даже города, не видала и книг, а, убаюкивая чужих ребятишек, в то время когда крестьяне работали в поле, создавала свои думы из такого же материала, из какого создает свои песни птица, сидящая в лесу на ветке. Но и птица видит зелень, леса, поля, солнце, других птиц — это материалы для ее творчества, а слепая деревенская девушка и этого материала не имела в своем распоряжении.

Вот что, между прочим, говорил об этой слепой певице один из ее современников, открывший этого слепого Оссиана — няньку в деревенской глуши:

«Верстах в двух от низменных берегов родной Оки, не вдали от древнего жилища князей рязанских стоит бедное село Дегтяное, беспорядочно разбросанное вокруг широкого безвольного озера. Вечно зеленеющие, угрюмые, неприветливые ели, словно чугунная решетка монастыря, опоясывают его

со всех сторон. Сквозь эту натуральную решетку, с одной стороны, виднеется шелковый луг с многочисленными стадами окольных селений, с другой, виднеются богатые тучные нивы трудолюбивых поселян, в углу селения в небольшом отдалении от людских жилищ, приютов мелкой суеты и земного беспокойства, красуется на зеленом холме смиренный Божий храм, тихое, безмятежное пристанище душ. Часто летом и зимой, весной и осенью, во всякую пору года и дня я люблю переноситься в это безвестное селение на ковре-самолете.

Признаюсь, меня манит туда не прекрасный шелковый путь, художницей природой усеянный прелестными, разнообразными цветами, по которому в тихий вечер майского дня любо гулять вдвоем с заветной своей мечтой, меня влечет туда не зеркальное льдистое покрывало реки, на котором в ясный декабрьский полдень есть где размыкать свое горе на борзом коне. Нет, меня манит, влечет туда совсем другое — к дымным лачужкам Дегтяного меня влечет горькая доля и поэтический талант слепца-девушки...

Этот несчастный поэт-девица, с первого знакомства завладев всей моей душой, познакомила и сроднила меня с селением, дотоле мне самому неизвестным, и какой-то магической силой заставила меня, но крайней мере мыслью, никогда с ним не расставаться».

Конечно, это очень сентиментально и трогательно, но факт остается фактом.

Говорилось это очень давно в 1838 году, в одном из наиболее распространенных в то время наших литературных журналов.

Открытие было сделано, и об нем заговорила литература.

Тогдашняя «Северная Пчела» написала особую статью об этом открытии и озаглавила ее — «Необыкновенное явление в нравственном мире».

Речь шла о слепой девушке-поэте, Домне Анисимовой.

Домна Анисимова, или как ее больше называли крестьяне ее родного села — «слепая Доманя» родилась в 1807 году от одного из самых бедных дьячков села Дегтяного, не носившего даже другого имени кроме «дьячка Анисима».

Нищета, в которой родилась Доманя, конечно, была хуже той нищеты, в которой, в бедном домике на Васильевском острове, родилась и жила Елизавета Кульман.

Если бы вам, милостивые государи, — продолжает тот же писатель, открывший слепца-поэта в его захолустье, — если б вам когда либо удалось взглянуть на тех, при чьих глазах она выросла, кто пеленал ее грубыми толстыми пелен-

ками, кто напоял ее живой водой познания, из ваших глаз невольно выкатилась бы крупная слеза сострадания к этой несчастной.

Действительно, отец Домани был настолько учен и развит, что «с трудом на клиросе читал». Еще у нее был брат-ровесник, но этот последний нигде не учился. Мать Домани, как и водится, постоянно возилась около печки с горшками и ухватами, полоскала белье, ходила за водой, жала и косила с мужем.

Маленькая Доманя была зрячей всего только три года, на четвертом году ее изуродовала оспа, которую в то время в деревнях очень мало прививали, а лечить и подавно не лечили, потому что докторов не было ни земских, ни казенных.

Слепая девочка, чтобы даром не есть скудный отцовский хлеб, поступила нянькой к чужим детям у своих же односельцев-крестьян и росла исключительно между «мужиками», по выражению биографа Домани тридцатых годов.

«Их (т. е. этих крестьян) черствые души, — говорит биограф Анисимовой, — чуждые всякого образования, от невежества почти совсем потерявшие врожденное эстетическое чувство, могли ли понять и разглядеть поэтический талант бедной няни чужих детей?»

Слепота девушки была, однако, такого рода, что она несколько могла различать цвета, если они очень ярко выдавались — зеленый от красного, белый от черного и другие разнородные цвета, но только тогда, когда окрашенные в разные цвета предметы поставлены были один выше другого.

Равным образом, слепая несколько видела тень от дерева в ясный солнечный день, но самого дерева не видала.

Поэтический талант ее обнаружен был, когда девушке было уже двадцать пять лет, хотя самая способность творчества явилась в ней довольно рано.

Первое стихотворение, которое обнаружило в ней способность импровизации, было случайно подслушано, когда слепая пела его над ребенком. Это были стихи «К колыбельному дитяти».

Слепая девушка в рубище, в лаптях сочиняет стихи, не умея читать пугливо прячет от других свои песни — вот что везде заговорили, едва прошла весть о слепой стихотворице.

Надо не забывать, что, когда прошла молва о слепой деревенской стихотворице, Кольцов еще ходил с своего постоялого двора в воронежскую гимназию и песни его еще не раздавались на Руси: слепая Доманя указала дорогу Кольцову и была его прототипом.

Самое обнаружение дарований девушки произошло совершенно случайно, не подозревая, чтоб кто-либо ее слышал, слепая пела свою импровизированную колыбельную песню над ребенком, а попадья села Дегтяного подслушала незнакомые слова песни, была поражена этим чудом и сказала попу, своему мужу. Обнаружение стихотворского таланта девушки потому произошло так поздно, что слепая была очень робка и осторожна, боялась петь при других, и тогда только решилась удовлетворять своей эстетической потребности, когда все крестьяне летом, в страдную пору, выезжали в поля убирать хлеб, а Домна оставалась на селе, чтобы нянчить и кормить оставляемых дома крестьянами своих ребятишек.

Удивленный священник с трудом мог заставить робкую нищую пропеть одно из своих стихотворений, и биограф Анисимовой при этом наивно поясняет, что, когда девушка догадалась, что ее тайну узнали люди «яркий румянец мгновенно покрыл длинные ее щеки и высокий открытый лоб» (некрасива была слепая девица!).

Когда быстро разошлась по губернии весть, которую передавали возвышенным языком того времени, что в селе Дегтяном открыт самородок, что «незнаемая бедная дева обладает правом занять почетное место в ряду доморощенных гениев-самоучек».

С этим вместе соседние помещики и другие любители чтения стали присылать Анисимовой книги, как например — «Конька-Горбунка» Ершова, «Чернеца» Козлова — кто во что горазд, как говорится, а кто-то подарил ей и Пушкина.

Оказалось, что раньше этого в избу дьячка Анисима както случайно попали три книги — «Двенадцать спящих дев» Жуковского, «Душенька» Богдановича и «Опыты в стихах и прозе» Лажечникова, и слепая слышала, как кто-то читал их, и эти-то книги вызвали в ней дремавшие дотоле творческие силы.

С тех пор слепая стала уже безбоязненно диктовать свои стихотворения, и молва о ней разрасталась все шире и шире.

Начались донесения по начальству.

Исправник донес губернатору об Анисимовой, как о «происшествии», — и имя слепой девушки стало известно в губернском городе. О ней заговорили уже не с точки зрения полиции, а как о необыкновенном явлении.

Губернатор, которым тогда в Рязани был Прокопович-Антонский, донес об Анисимовой министру. Министр, как «член Российской академии», довел об Анисимовой до сведе-

ния академии и препроводил стихи слепой дьячковской дочери на рассмотрение этого высшего словесного учреждения.

И академия, раньше этого оценившая произведения безвременно погибшей Кульман, по возможности оценила и стихи Анисимовой.

Чтобы не оставить дарование в совершенной неизвестности и без поддержки, академия тотчас же напечатала стихотворения Анисимовой отдельным изданием в небольшом числе экземпляров, и выручку с издания предназначила в пользу сочинительницы, кроме того, академия выслала ей в пособие сто рублей, и, наконец, выслала несколько необходимых для чтения книг, как-то: «Историю государства российского» Карамзина, «Часы благоговения» и другие.

Для некоторого ознакомления с характером поэтического таланта ничему не учившейся деревенской девушки, с объемом ее мировоззрения, со степенью, наконец, умения владеть стихом, при незнакомстве не только с правилами стихосложения, но даже и с грамматикой, мы позволяем себе привести здесь одно из ее стихотворений под названием «Ветер».

Стихотворение это имеет то исключительное значение, что в нем выказывается особенность психологического положения, в которое поставлена была слепая сочинительница: по этому психологическому своему значению названное стихотворение Анисимовой имеет глубокий смысл. Понять, что для человека лишенного зрения, не имеющего возможности различать предметы и их положение, не могущего даже видеть ни очертаний, ни движения окружающих его живых сил, ни следить за постоянно совершающимся вокруг жизненным процессом, — понять, что только при помощи слуха и фантазии слепому остается возможность наблюдать за жизнью и комбинировать явления жизненного процесса, — сознать, вследствие этого, что только при помощи звука, шума и — главное — ветра для слепца мертвая природа становится живой и говорящей — для этого необходимо такое поэтическое чутье, которое не всякому образованному человеку уделяется скупой природой.

И вот именно стихотворение «Ветер» обнаруживает, что слепая девушка в лаптях обладала и этим тонким чутьем и способностью комбинирования невидимых, но слышимых лишь при помощи ветра явлений природы и жизни. Остановиться именно на подобной мысли — это уже признак таланта, замашка настоящего художника.

Вот это стихотворение:

Шуми, шуми, о ветер бурный,
Над кровлей гул свой удвояй
Товарищ будь печальной думы,
И томны мысли оживляй.
Все спит, и ночь дает свободу
Тебе внимать, о бурный ветр!
Шуми, напоминай природу,
Мне зреть тебя надежды нет.
Судьба во мраке вечной ночи
Ее сокрыла от меня, —
Во гроб мои занесши очи,
Во тьме судила жить стеня.
Траву, цветы, долины, горы,
Ручьи прозрачные, леса
Мои не встретят вечно взоры,
Мне так судили небеса.
Навеки для меня несчастной
Померкли солнце и луна,
Уж мне не зреть весны прекрасной,
Она цветет не для меня.
И нивы класами златыми
Не могут дух во мне пленить,
И рощи ветвями густыми
Под тень не могут приманить.
С тобой одним, товарищ милый,
Я чувства горести делю,
Нося при жизни мрак могилы,
В тебе одном природу зрю.
Шуми, взывай меж деревами,
Зеленым листом трепещи,
Греми ужаснее водами,
Их волны на берег хлещи.
Во тьме живущей среди света
Пустыннице в кругу людей
Шуми, яви картину лета
В гармонии природы всей.
Напомни шум ручьев сребристых,
Бегущих быстро по песку,
Отрадну зелень древ ветвистых,
Луга цветущие, реку.
Напомни в жизни миг бесценный,
Рассвет моих минувших дней,
Сии минуты незабвенны
Яснеи представь душе моей.
Рисуй поляны мне с цветами,
С душистой зеленью младой,
Где я с малютками-друзьями
Резвилась вешнею порой.
Представь мне лес густой, тенистый,
С листами мелкими в дали,
Воды источник тихий, чистый
В разлив вечерния зари.
Увы! и мне покрытой тьмою
Природа знать себя дала,
Явив все прелести зарею

Потом на век их отняла.
Ищу представить в мысли томной
Луну и звезды в небесах,
Но все в дали сокрылось черной
Давно мелькнувшее в глазах.
Лишь ты всю верность сохраняя,
Взыванием сладость в сердце льешь,
Шумишь, себе не изменяя,
И мне жизнь чувствовать даешь.

Мысль и постановка мысли — действительно поэтические и в самом исполнении так хорошо осмысленные.

Вот все, что мы можем сказать об этом странном явлении — о самосоздании таланта почти без всякого, по-видимому, созидающего стимула и без материалов для созидания.

Что сталось после с Анисимовой, какова была ее дальнейшая жизнь — сведений об этом мы не могли достать.

Скажем только в заключение этого беглого очерка, что неудивительно было после Анисимовой явиться Кольцову, как после Ломоносова — Державину.

„Поиманы есте Богом и великим государем...“

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФРЕСКА

«О славнейший граде Пскове-Великий! Почто бо сетуеши и плачеши? И отвеща прекрасный град Псков! — Како ми не сетовати, како ми не плакати и не скорбети своего опустения? Прилетел бо на мя многокрильный орел, исполнь криле львовых ногтей, и взят от мене три кедра Ливанова — и красоту мою, богачество, и чада моя восхити, Богу попустившу за грехи наша, и землю пусту сотвориша, и град наш разориша, и люди моя плениша, и торжища моя раскопаша, а иные торжища коневым калом заметаша, а отец братию нашу разведоша, где небывали отцы и деды и прадеды наша»

Псковская летопись, I, 287.

I. «ГОРЕ ТЕБЕ, ХОРАЗИНЕ!»

— Копитесь, копитесь, жалобники, копитесь!

Таким возгласом оглашалась площадь Живоначальной Троицы, в Пскове, 25 декабря 1509 года под вечевым колоколом, висевшим на главной башне городской стены имени Довмонта.

На вечевом помосте, на возвышении стоял средних лет мужчина в черном с откидными рукавами и с отложным красным воротом опашне.

Из-под распахнувшегося опашня виднелась на светло-малиновой однорядке с поперечными темными нашивками массивная золотая гривна. Высокие из красной юфти сапоги и высокая соболья шапка довершали одеяние знатного обывателя вольного города. В руках у него была развернутая бумага.

— Копитесь, псковичи, жалобники, копитесь! — продолжал он возглашать, махая в воздухе бумагой.

Обедня у Троицы только что кончилась, и народ толпами валил из церкви, заполняя собой вечевую площадь. День был ясный, морозный, но тихий. Зимнее солнце ярко горело на золотых крестах церквей и колоколен Великого Пскова. Над площадью носились стаи голубей, встревоженных необычайным движением на площади.

Псковичи были в праздничных нарядах. Шубы с бобровыми, и куньими, и собольими воротниками, опашни, однорядки и мятели пестрели, словно маковое поле, яркими

цветами красных, малиновых, зеленых и голубых шелков и сукон. Женщины — в таких же ярких одеждах, старушки и молодицы, девушки и дети, — все это, как живое цветочное поле, двигалось из церкви к вечевому помосту, и на всех лицах виднелось особенное, более чем праздничное оживление.

А с высоты вечевого помоста не умолкал призывной голос:

— Копитесь, копитесь, псковичи, вольные люди! Копитесь, жалобники!

В это время к помосту приблизилась высокая средних лет женщина в лисьем, бурой лисицы, шугае, покрытом рытым зеленым аксамитом, и в собольей шапке, повязанной белым с золотым шитьем убрусом. С ней рядом — молоденькая девушка в собольей шубке, крытой нежным малиновым аксамитом, и в собольей шапочке с высоким малиновым же верхом. В черную косу ее, толстым жгутом спускавшуюся ниже тальи, вплетены были широкие голубые ленты, цвет которых под морозным зимним солнцем невольно напоминал весну, зелень и незабудки. За ее руку в изящной малиновой варежке, — перстатица из свейской рудо-желтой кожи, — держался хорошенький кудрявый мальчик лет семи или восьми.

Щеки девушки горели румянцем — от морозу ли, или от общего оживления.

— С праздником, Остафьюшко, с Рождеством! — приветствовала высокая псковитянка того, кто возглашал с помоста «копитесь!».

— И вас такожде, матушка Олена Митревна, с праздником! — отвечал он, снимая шапку и низко кланяясь. — И вас, Ефимья Левонтьевна, и Петрика!

Девушка еще больше зарумянилась. Глаза Остафьюшки заискрились внутренним огнем и теплотой.

— Что-й-то ты, родимый, оглашаешь? — спросила высокая псковитянка.

— Грамотку из Новагорода, матушка, — отвечал тот.

— От кого грамотка-то, Остафьюшко?

— От посадника, матушка.

— От Юрья?

По лицу вопрошавшей пробежала неуловимая тень.

— Точно от Юрья Микитича, от Копыла.

— А в какой силе грамотка-ту?

— Пишет: пущай-де копятся жалобники на князь Ивана в его обидах Великому Пскову, пущай-деи спешат в Новгород на очи великому князю московскому — бить челом на князь Ивана и на его нелюбье и неправды, а то-деи вся земля наша останется виновата: псковичи-деи крамолу куют.

— Сам он крамольник! — не вытерпела высокая псковитянка. — Поехал бить челом на мужа моего, на Левонтия. А почто?

Она с любовью глянула на девушку, у которой нежный румянец молодых щечек точно полинял сразу, и розовые губки сложились точно для плача.

— Зелен виноград, — загадочно продолжала высокая псковитянка. — А коли и созрел, так не для него, беззубого! Не про него и виноград мой сажен.

Глаза говорившей сверкнули недобрым огоньком.

— И я ему, матушка, Олена Митревна, веры не иму, — тихо сказал глашатай. — Недаром он с нашим князюшкой, отай ото всех, разговоры разговаривал, едучи в Новгород. А все выкликать жалобников надоть — на том и старшие и молодчие людишки, мужики-вечники, приговорили.

— Вестимо, выкликай: на то ты сотский Великого Пскова, — согласилась высокая женщина.

— А вон и сам сокол залетный, — с улыбкой презрения указал глашатай своими живыми серыми глазами на дальний конец площади.

— Не сокол он, а ворон хижий! — отвечала высокая женщина.

На дальнем конце площади показался всадник на великолепной белой лошади под богатым чепраком. Горностаевая мантия, драпировавшая всадника с бледным лицом и безжизненными глазами, придавала всей его фигуре что-то фантастическое: казалось, что на белом коне сидит мертвец в саване.

Белого всадника сопровождал небольшой отряд вершников.

— Найден! Найден! — прошел ропот по площади от одного конца до другого.

— Не сымать шапок, псковичи братия! Не сымать! — слышались голоса.

— Долой Найдена! Пусть идет, откудова пришел! Путь-дорогу из Пскова-града Найдену!

Так псковичи называли своего последнего наместника, сподручника великого князя московского, князя Ивана Михайловича Оболенского. Найденом — этим презрительным прозвищем они величали его потому, что он не был избран Псковом по старинному обычаю, на вече, вольными голосами, а был прислан из Москвы, и ни духовенство Великого Пскова не встретило его, по обычаю, с крестами и хлебом-солью, ни сам он не дал о себе знать заранее, а остановился на заго-

родном дворе, где его нашли псковичи и оттуда уже провели на торг и к Живоначальной Троице. — Найден, Найден! — так и пошло с тех нор,

Князь не поехал дальше. Он на мгновение приостановил коня, сказал что-то ближайшему вершнику и показал на вечевой помост. Злорадная улыбка передернула бледное лицо его, и он, поворотив коня, скрылся за уступом Довмонтовой стены.

— Ой, леле, леле, леле! — послышался на площади горький, надрывающий душу плач.

Площадь всколыхнулась. Из-за уступа Довмонтовой стены действительно показался мертвец в саване, но только не в горностаевом, а в обыкновенном белом саване. Он шел, опираясь на длинный посох, на верхнем конце которого вместо набалдашника, вдет был пожелтевший от времени человеческий костяк-череп. Босые ноги пришельца, загрубелые как ноги собаки, хрустели по снегу словно деревянные.

— Ой, леле, леле, леле! — продолжал он горько плакать.

— Иванушка... Иванушка юрод! — пронесся испуганный говор на площади. — Иванушка — Божий человек, юрод Божий.

Юродивый приближался, продолжая плакать. Его обступили псковичи.

— С праздником, Иванушко, человече Божий! — приветствовали его ближайшие. — Откудова Бог несет?

Юродивый остановился, перестал плакать и кроткими, глубокими глазами посмотрел на окружающих. Худое лицо его с жиденькой бородкой было полуприкрыто саваном, закрывавшим ему и голову и уши.

— Откудова, Иванушко? — снова спросили его.

— От Марьицы, детушки, — был загадочный ответ.

— От какой такой Марьицы, человече? — недоумевали псковичи.

— От Марьицы, детушки, от Акимовны, — был тот же неясный ответ.

Псковичи знали, что юродивый имел обыкновение говорить загадочно, притчами и иносказаниями, и потому старались разгадать таинственный смысл ответа Иванушки.

— А где, Иванушко, оная Марьица твоя живет? — спрашивали его.

— На Романовой горе, детушки.

— На Романовой горе, слышь. Кто ж бы она такая была?.. Боярыня?

— Ой, ой, ой! — покачал головой юродивый. — Выше подымай.

— Посадница, ноли? Токмо какая же там посадница?

— Выше, выше подымай, детушки.

— Али какая княгиня?

— Выше и превыше.

— Да выше, человече Божий, никого уж нету-ти.

— А царица? — вмешался кто-то. — Она выше княгини.

— Подлинно, подлинно! Царица — Царица Небесная! Она, матушка, воистину, превыше всех бояр и князей, превыше всех человек! Подлинно, подлинно! Это он, видите ли, был на Романовой горе, в церкви Похвалы Богородицы... Точно — у Марьицы был Божий человек, у самой у Марьицы, у девы Марии.

— А как же он назвал ее Акимовной? — спросил кто-то.

— В том-то, братцы, и премудрость вся! — возгласил один грамотей. — Дева-то Мария была дщерь преподобных Иоакима и Анны — вот она и Марья Акимовна живет — в этом, братцы, и загвоздка вся... Н-ну! Удружил Иванушка! У самой, сиречь, у Богородицы в гостях был — нну!

В это время к юродивому приблизилась та высокая псковитянка, которую мы видели у вечевого помоста. Перед ней все почтительно расступились и сняли шашки.

— Олена-посадница с дочкой и сыночком, — шептали некоторые.

— Здравствуй, Иванушко! — ласково проговорила посадница. — Приходь ко мне разговеться.

Юродивый глянул на нее и горестно всплеснул руками.

— Матушка моя! Жено благочестивая! — проговорил он. — И ты, голубица чистая (это он к девушке), и отроча малое — о, леле, леле, леле!

Он прижался головой к холодному костяку и зарыдал еще горестнее.

— Горе тебе, Хоразине! — Горе тебе, Вифсаидо! — О леле-леле-леле!

И он направился к вечевому помосту, хрустя босыми ногами по снегу.

II. ГАДАНИЕ

В тот же день вечером, в Крому, близ Детинца, в доме посадника Леонтия Макарьевича, выходившем на Торговище, собрались гости.

Сам посадник Леонтий, муж той высокой псковитянки, которую мы видели с ее детьми утром на площади Живона-

чальной Троицы, находился в это время в Новгороде, куда он поехал к великому князю московскому, Василию Ивановичу, в октябре месяце торжественно прибывшем в отчину свою, в Великий Новгород, недавно повергнутый под державные нозе в Бозе почившим родителем его, блаженные памяти великим князем Иваном Васильевичем всея Русии. Посадник Леонтий отправился в Новгород, чтобы судиться перед великим князем с обидчиком своим, степенным посадником Юрьем Копылом вместе с князем Иваном Михайловичем — Найденом, правившим ныне делами Великого Пскова, в Пскове же оставалась теперь его жена, посадница Елена Дмитриевна, с молоденькой дочкой, красавицей Офимьицей, и с маленьким сынишкой Петриком.

Так как почти все знатнейшие псковские мужи находились теперь в Новгороде, у великого князя, ради дел своих и в особенности ради челобитья на разные обиды Пскову со стороны великокняжеского наместника, князя Ивана — Найдена, то между гостями Елены-посадницы были исключительно женщины, псковские боярыни и жены больших людей со своими детьми.

Гости собрались в главной горнице, над подклетью, а девушки — в светлице, в комнате хорошенькой Офимьицы.

Дом посадника Леонтия был каменный, двухъярусный, с жилой подклетью и просторной светлицей. Главная горница, в которую входили с каменного крыльца с колоннами чрез присенок и просторные с окнами на Торговище сенями, была ярко освещена лампадами, спускавшимися со сводчатого, раскрашенного яркими красками потолка и напоминавшими скорее церковные висячие паникадила, в которых горело по дюжине желтых восковых свечей. Стенные ниши и горки красиво сверкали расставленной на них золотой и серебряной посудой, братинами, кубками и турьими рогами, оправленными в серебро и золото. Лавки были покрыты дорогими заморскими коврами, а столы — браными скатертями.

На столах наставлены были разные лакомства — пряники медовые и сахарные, леденцы, орехи каленые, волоцкие и кедровые, разные пастилы, изюм, тут же меды розовые и белые, а также разных сортов браги — тверезые и пьяные с хмелем.

Приветливая хозяйка хлопотливо угощала своих дорогих гостей, но как она ни старалась — не видно было ни веселья, ни оживления. Чувствовалось, что что-то тяготеет над Псковом: мужья в отсутствии, по городу ходят зловещие

слухи, у церкви Похвалы Богородицы — сказывают — ночью колокола сами звонили, а Иванушка-юродивый сказывал, что в эту заутреню, там же у Похвалы, икона Богородицы плакала.

— Что и говорить! — грустно покачала головой хозяйка. — Онамедни говорил мне отец Ермил, что ноне в Филиппов пост явися на небе знамение — два месяца хвостаты на небеси, в нощи, и ударилися вместе, и один у другово хвост отшиб, и тот месяц отшибенной хвост приволок к себе, и знати стало на месяцы том как перепояска[1]. К чему оно?

— Полагать надо не к добру: розратье будет, — заметила одна гостья, полная блондинка. — А мне сказывал человек — таково бысть знамение: на новцы явишася два месяца рогами противу себе, один повыше, а другой пониже, и человек тот не дозрел конца — что бысть докончание [2].

— Оно то же на то же и выходит, — вздохнула гостья, благообразная старушка.

— Как на то же, матушка? — спросила хозяйка.

— А на розратье, лебедушка моя: там месяцы хвостаты, а тутай — рогаты, там они сшиблися и один у другово хвост отшиб...

— Так так, истинно: а тутай, надо полагать, рог отшиб у другого.

— Беспременно так, милые! — вмешалась третья гостья. — А вот, скажите мне, милые, к чему сие знамение? Сказывали мне старицы из Копорья, якобы изыдоша коркодилы, лютии зверии, из реки и путь затвориша!..

— Ах, мать моя! — всполошилась полная блондинка. — В какой реке коркодилы? Ноли в Великой?

— Уж того, милая моя, не ведаю, — отвечала рассказчица. — А только сказывали, изыдоша оные коркодилы, и путь затвориша, и людей много поядоша, и ужасающася людие, и молиша Бога по всей земли, и паки спряташася, а иных избиша [3].

— Господи, Господи! — качала головой благообразная старушка. — Видно, последния денечки пришли, свету переставление, переставится свет-от, родимые.

— А то еще соловецкие старицы сказывали, — вступилась хозяйка, разливая меды по чарам. — Сказывали, будто

[1] Псковская летоп., I. 317.
[2] Там же, 318.
[3] Там же, 320.

взыде в море кит-рыба, и хоте потопити Соловецкой монастырь и остров...

— Ох, страхи каки! — воскликнули слушательницы. — И потопили?

— Нету, касатая, — успокоила хозяйка. — Молитвами преподобных опять в море пошел[1].

— И это матушка, Алена Митревна, какая же рыба-кит? — полюбопытствовала полная блондинка, пригубливая чару меду пьяного.

— А та рыба-кит, касатая, что землю на себе держит.

— Владычица! Какова же должна быть рыбина, что всю землю на себе содержит!

— Да она, мать моя, не одна, — поправила благообразная старушка. — Их три кита.

Таковы были гостиные разговоры именитых россиянок доброго старого времени.

Другие разговоры и другие затеи велись наверху, в светлице, у Офимьюшки. Там собрались только красные девушки, подружки хорошенькой Офимьицы. Девушки тоже угощались разными сластями и медами, только не пьяными, и занимались гаданиями — лили воск и олово топленое в мисы с водой и тем узнавали свою судьбу и своих суженых.

Потом стали «хоронить золото» и звонкими молодыми голосами запели:

«Уж я золото хороню, хороню,
Уж я серебро стерегу, стерегу!
Пал, пал перстень
В калину-малину,
В черну смородину:
Очутился перстень
Да у Остафея
На правой на ручке,
На левом мизинце»...

— Что вы! Что вы, девыньки! — вся вспыхнула Офимьица.

— Ах ты тихоня! — коварно заметила курносенькая непоседа Дарьица Манухина, отец которой тоже уехал в Новгород с прочими челобитниками. — А ноне, у вечевого помосту?

— Что у вечевого помосту? — еще пуще зарделась Офимьица.

---

[1] Там же, 321. — и все это с детским доверием вносилось благочестивыми летописцами в их хронографы, и все это так пугало всех.

— Как что! — задорно продолжала Дарьица, качая русой головкой и сверкая самоцветными «колтками» в розовеньких ушках. — Слушайте, девыньки! Стоит это ноне на вечевом помосте ясный сокол в красных сапогах и в собольей шапке и таково голостно выкрикивает: «Копитесь, жалобники, копитесь!» Откудова ни возьмись царевна-несмеяна и, как лебедь белая, подплывает к помосту... Матыньки! Как увидел ее наш ясен сокол да так полымем и вспыхнул, ажно гривна златая у него на груди ходенем заходила... А кто этот млад ясен сокол, девиньки?

— Остафий, Остафий! — послышались голоса.

— А разве он не хорош-пригож? — сказала сенная девушка, поднося сласти боярышням.

— Нет, девушка, — коварно улыбнулась длиннокосая непоседа Дарьица. — Уж если кто хорош-пригож, так это Юша мил сердечный друг.

— Какой это Юша, боярышня? — удивилась сенная девушка.

— А Юшенька, сам посадник степенный.

— Это Копыл-то? Тьфу-тьфу! Он и вправду подбивается к нашей боярышне, только не видать ему, старому черту, нашей красавицы боярышни как ушей своих. Мы, сенные девушки, так и прозвали его — старчище-Терентьище... Ему уж чуть ли не восьмой десяток пошел, а туда же аспид!

— А вот что, девыньки-подруженьки, — заговорила Офимьица, желая замять щекотливый разговор. — Пойдемте на двор гадать — слушать с какой стороны собачка голос подаст.

— Любо! Любо! Идем на двор! — согласились другие девушки.

— И снег полоть, и прохожих пытать, — добавила Дарьица. — Авось, Остафий откликнется: «Копитесь, девушки, копитесь!»

Все засмеялись и шумно стали собираться на двор. Спустившись с лестницы, девушки чрез присенок пробрались на крыльцо, а потом вышли за ворота.

— Ну, Офимьица, гадай ты первая, — сказала Дарьица.

— Нет, ты начинай, милая: мне страшно таково, — отнекивалась Офимьица.

— Ты хозяйка, — возражали другие подружки. — Твой кон, ты на кону.

— Ну, ин я начну, — сказала Дарьица, и громким голосом проговорила:

«Залай, залай, собаченька,
Залай, серенький волчок:
Откуда мне судьбу ждать,
Где мне век вековать?»

Как бы в ответ на это где-то завыла собака, да так жалобно, что девушки с испугом переглянулись.

— Ах, как страшно, девоньки! — струсила сама гадальщица, Дарьица. — Где это?

— Кажись, за Смердьим мостом, за Псковой рекой, — ответила сенная девушка.

Собака продолжала выть. Ей отвечали другие в разных местах — и в Детинце и за Детинцем, и в Крому, и на Полонище.

— Господи, как страшно! — испуганно заговорили девушки. — Нет, мы не будем больше гадать — говорят это грех... Ох, страшно, девоньки!

И все стремглав бросились на двор, а оттуда в светлицу.

III. ТЕНЬ МАРФЫ-ПОСАДНИЦЫ

Проводив гостей и простившись на ночь с матерью, Офимьица, прежде чем лечь спать, долго молилась в своей светлице перед киотою, сверкавшей золотыми и серебряными окладами старинных икон. Особенно жарко молилась она Богородице — Утоли моя печали, кроткий лик которой, казалось, с такой любовью смотрел на коленопреклоненную девушку. Ей сегодня особенно было что-то и радостно, и боязно. Отчего радостно? Даже здесь, пред кротким ликом Богородицы, она не могла отогнать от себя дорогой, желанный образ суженого, которого мужественная красота особенно поразила ее сегодня, когда он стоял на вечевом помосте, сверкая морозным инеем своей пушистой бороды. А глаза его, а щеки, жарким полымем вспыхнувшие на морозе при виде ее, Офимьицы...

И в постели, под голубым атласным одеялом, девушка не могла долго заснуть. Ее радужные девические грезы сменялись то и дело предчувствием чего-то страшного, неведомого. Недаром Иванушка-юродивый так плакал сегодня. Он святой человек, у него есть дар провидения. И сегодня у них за обедом он ничего не ел, и разговляться не захотел. Он все твердил, что настает великий пост для Пскова, а глядя на матушку, он горестно качал головой и все говорил: «Марфо, Марфо!»

Какую он Марфу разумел? Ведь ее матушка не Марфа, а Елена. Мамушка Степанида говорит, что он намекал это

на Марфу-посадницу, на новгородскую. Мамушка видела ее когда-то, очень-очень давно, когда ходила в Новгород на богомолье. Она видела, как везли эту Марфу в Москву, а за ней вечевой колокол, и как все новгородцы плакали, провожая свой колокол. И мамушка плакала, глядючи на них.

При чем же тут Марфа-посадница? Эта мысль не давала девушке покоя, и она не могла сомкнуть глаз, невольно прислушиваясь к тихому дыханию мамушки, давно спавшей, в той же светлице, на лежанке.

А во всем Пскове так смутно эти дни. Недаром и собаки жалобно воют по ночам. Все именитые псковские люди уехали в Новгород к великому князю московскому. И батюшка уехал, и они без него встретили святой праздник. Ужели же беда какая ждет ее родной город? Иванушка даром не стал бы плакать. А он говорит, что и Богородица в Похвале у заутрени плакала — «святые слезки аки бисер бесценен по суху древу катились...»

Вдруг девушка приподнялась на локте и стала к чему-то прислушиваться...

«Звонит, звонит», — испуганно шептала она, и снова прислушивалась.

— Мамушка! А мамушка! — тихо позвала она.

— Что, мое золото червонное? — откликнулся голос с лежанки.

— Слышишь, вечной колокол, кажись, звонит?

— Что ты, что ты, ягодка! Как ему, колоколу-то, звонить ночью?

— Я слышала, мамушка.

— Может, дитятко, слышала в тонце сне, в ночном мечтании.

— Нет, мамушка, я совсем не спала... Вон и собаки воют.

Старушка, охая и крестясь, слезла с лежанки и подошла к постели своей ненаглядной вскормленницы.

— Ахти-хти! И косынька вся по подушечке разметана... Что с тобой, золото мое?

— Не спится что-й-то, мамушка.

Старушка стала ее крестить.

— О-о-хо-хо! Нам, старым да немощным, ину пору не спится по ночам, особливо как расходится недуг в голове, разыграется утин в хребте да пустит недуг к сердцу, как у привередливой жены старчища-Терентьища, а вам бы, молоденьким, с чего не спать? Наигрались, нагадались — и баиньки, — бормотала старушка, качая головой.

— Да я все, мамушка, думала об Иванушке-юродивом да об Марфе-посаднице.

— Что об ней думать, дитятко? Поди, она давно на том свете.

— И об вечном колоколе, мамушка, как его на Москву везли, а ты плакала.

— Наш-от вечевой колоколец не повезут, ягодка.

— А коли повезут?

— Не за что, ягодка.

— А что, мамушка, наш колокол больше новогородского?

— Нету, золото мое, наш помене будет. Да что ты все об колоколе?.. Перекрестись и баинькай себе с Богом. Ну, ложись, дай я тебе косыньку улажу, ишь коса-то богатая! — И головке, поди, тяжело от этакой ваги... Уж и коса! Кому-то она достанется? А, поди, — Остафью добру молодцу.

Поворчав несколько, старушка опять забралась на лежанку, но теперь уже сон бежал и от ее старых очей. Старушка поминутно вздыхала, шептала молитвы и крестилась.

— Мамушка! — снова послышался голос Евфимии.

— Что, дитятко? А ты все не спишь?

— Не сплю — все думаю.

— О чем же думать, золото мое червонное, коли уж и вторые петухи пропели?

— Обо всем думаю, мамушка... А какая из себя была эта Марфа-посадница новгородская?

— Жена была видная, огрядная.

— А она похожа была на матушку?

— Что-й-ты, дитятко! Марфа была уж старуха, а мать-то твоя — в самом соку.

— А давно это было, что ее увезли на Москву?

— Давно, ягодка, я тогда еще молода была, а твою матушку только от груди я отняла, когда шла в Новгород ко святой Софеи премудрости. За мать-ту твою я и молиться ходила, да, за нее, голубушку. Так оно и будет боле тридцати лет, как Марфу-то на Москву взяли. Уж и слез тогда что было в Новегороде!

Старушка невольно разговорилась. Она вспомнила старину, свою молодость, войны Пскова с Новгородом и с немцами, пожары, опустошавшие город, и моровые поветрия. Старушка увлеклась незаметно, и особенно яркими красками описала мор, свирепствовавший в Пскове более двадцати лет назад.

— И что-й-то был за гнев Божий, ягодка моя! От того гнева Божия мужи и жены по монастырям разбегались, ан-

гельский чин принимали, а что было в городе — и сказать-то страшно! Мертвецов негде было хоронить. По пяти и по шести в одну яму клали. А болезнь была такова: человека-то словно рогатиной ударит, а потом железы вспухнут, и станет тот человек кровию харкать и гореть весь аки в огне, а там скоро и душеньку Богу отдаст... Уж и пролито было тогда слез, Господи!

Она замолчала и стала прислушиваться. Слышно было, как где-то благовестили к заутрене.

— Кажись, уснуло дитятко мое милое.

Она встала и тихо подошла к постели Евфимии. Девушка действительно спала.

— Под сказочку уснула ягодка, — прошептала старушка и направилась к своему жесткому ложу, нашептывая молитвы. — Далась ей Марфа-посадница, — бормотала она, укладываясь. — И точно, словно бы тень ее бродит над Псковом... Ох, быть беде, быть беде...

IV. «ПОХОРОННЫЙ КОЛОКОЛ»

Что же в эти тревожные для Пскова дни делали псковичи в Новгороде?

Они ожидали праздника Крещения.

— Копитесь, копитесь, жалобники! Придет Крещенье Господне, тогда я вам всем дам управу.

Так возгласил псковичам слово государево, на владычном дворе, думный дьяк, Третьяк Далматов, не глядя ни на кого из жалобщиков, громадной толпой теснившихся на дворе владыки новгородского.

Многим псковичам показалось при этом, что Третьяк, гордо подняв седую голову при возглашении слова государева, как будто незаметно усмехнулся в бороду.

Ждут псковичи Крещенья. А челобитчики, по зову степенного посадника, Юрья Копыла, валят из Пскова сотнями: у каждого за душой есть не одна обида и жалоба на князя Ивана — Найдена. А еще больше навалило из Пскова и пригородов черного люду «молодчих людей — худых мужичков-вечников». У этих — жалобы на псковских бояр и купцов, на людей знатных, которые будто бы бедных смердов заедают урочными работами и всякими тяготами.

А это-то последнее и на руку великому князю: он заступился за смердов и проглотит Псков, как батюшка, его блаженные памяти, проглотил Новгород.

Великий князь вызвал наконец из Пскова и князя — Найдена к ответу.

Князь Иван явился в Новгород уже не в горностаях, а в скромной одежде великокняжеского сподручника. Он явился, чтобы мстить постылому Пскову за его высокомерие, за глумление над ним, за позорную кличку Найден, которую бросали ему в глаза псковские ребятишки.

Злоба душила его, когда он проходил владычным двором, чтобы стать на очах великого князя. На дворе толпились псковичи-жалобщики и злорадно шептались, когда князь Иван проходил мимо них, как простой челобитчик.

— Найден, Найден идет! — пересмеивались псковичи, показывая на своего князя пальцами. — Ишь как хвост-от поджал, не во Пскове, видно. Горностаи-то свои припрятал... А то на! — Фу ты, ну ты! — Черт ему не брат... Мы и не таких князьков спроваживали вечем по добру, по здорову — скатертью дорога! Найденка и есть Найденка — щербатый алтын и цена-то ему вся. Погоди, ужо, на Крещенье Господне, мы тебе отпоем — все отпоем от «блажен муж» до «вскую шаташася».

Князь все это слышал и задыхался от злобы, но молчал.

Бледный, взволнованный, он предстал пред ясные очи великого князя. Молодой государь сидел на высоком владычнем сидение с двуглавым орлом над головой. По правую от него руку сидел коломенский епископ Мартирий, а по левую — брат Андрей Иванович. Рядом с князем Андреем — крымский царевич Абдул-Летиф, а несколько в стороне — дьяк Третьяк Далматов.

Машинально, почти ничего не видя от волнения, князь — наместник Пскова приблизился к государю и поцеловал его руку.

— Здравствуй, князь Иван, — сказал великий князь ласково.

Князь Иван снова поцеловал державную руку.

— Что, Иванушко, — с улыбкой заговорил Василий Иванович. — Я чаю, псковичи плохо тебя кормили — вон, какой ты худой да бледный.

Князь-наместник в третий раз приложился к руке великого князя.

— Вижу, вижу, плохое тебе там кормление было, постное, вижу, Иванушко.

Ласковый прием «обладателя всея Русии» ободрил псковского наместника. Он выпрямился.

— Челом бью великому государю на отчину твою, на Псков-город, — начал он дрожащим голосом. — К стопам

твоим, великий государь, хощу положить вины отчины твоей, Пскова-города.

— А в чем его вины перед мною, великим государем? — спросил Василий Иванович, и голубые глаза его сверкнули гневом. — Тертий! — глянул он в сторону дьяка Далматова. — Записывай вины отчины моей, Пскова-города.

Третьяк спокойно разложил перед собой свиток и, незаметно улыбнувшись в бороду, взялся за огромное орлиное перо, торчавшее султаном из массивной бронзовой чернильницы.

— Сказывай! — выронил слово великий князь.

— Ведомо тебе, великому государю, буди, — начал все еще дрожащим голосом наместник Пскова. — Мне, холопу твоему государеву и наместнику, было великое бесчестие от псковичей: они, великий государь, в мои суды и пошлины вступались самоуправно, держали меня, великий государь, не так, как прежних твоих государевых наместников допреж сего держали, и чинили мне всякое бесчестие словом бранным и делом крамольным. Еще же, великий государь, от посадников псковских и от бояр чинятся великие обиды и оскорбления их же братья, псковичам, черному и бедному люду...

— Тертий! — возвысил голос великий князь, взглянув на дьяка, — пиши: обиды чинят моим государевым людям — смердам и рольникам, и всей молодчей братьи... Ну? — обратился он снова к князю-наместнику.

— Богатые люди, государь, утесняют бедных, — продолжал тот все более и более смело... — А наипаче всего, великий государь, псковичи презирают твое государево имя...

— Мое государское имя! — грозно вскричал великий князь и гордо выпрямился. — А! Так вот куда уже зашло! Мое имя бесчестят! Так я же им покажу!.. Я напомню им Марфу Борецкую и вечевой колокол: будет и их колокол звонить у меня на Москве по покойникам... Отныне псковской вечевой колокол — похоронный колокол.

Великий князь встал с места и в сильном гневе удалился в другие покои, успев только кинуть через плечо князю-наместнику:

— Спасибо, князь Иван, похваляю.

V. ИОРДАНСКОЕ ДЕЙСТВО

Наступило Крещенье.

Новгород, нисколько не оправившийся после разгрома, учиненного над ним блаженные памяти великим князем Ива-

ном Васильевичем Третьим, собирателем Русской земли, наполовину опустошенный и разрушенный и заселенный москвичами, желая, однако, достойно почтить державного гостя... «Не жалеючи своих холопских великого государя животишек», на славу устроил «иорданское действо» на реке Волхове. Иорданская сень была обита золототканной парчой и дорогими заморскими золотными кистями. На куполе сени, под золоченым восьмиконечным крестом, ярко блистал под морозными лучами крещенского солнца золотой двуглавый орел со скипетром и державным яблоком в мощных когтях, а правым клювом державный орел придерживал на шелковом шнуре сделанного из сахара белого голубя, который должен был спуститься к воде в самый главный момент «иорданского действа» — погружения креста в Волхов.

С утра по городу ходили приехавшие с великим князем из Москвы дети боярские и государевым словом клич кликали.

— Посадники псковские и бояре, и все псковичи, жалобные люди!.. По указу великого государя идите к Волхову на иорданское действо, на водосвятие!

И псковичи толпами повалили к Волхову, к иорданской сени. На лицах у всех светилось оживление, радость. Наконец-то они дождались великокняжеской управы! Наконец-то от них возьмут постылого князя Найдена, бессовестного грабителя и самоуправца, который что хотел, то делал с беззащитными псковичами, не находившими поддержки даже в своем собственном посаднике, в срамнике старом, в Юрке Копыле: вместо того, чтоб править Псковом по-Божески, по старине, он только и думал как бы ему, старому, лысому и беззубому старчищу-Терентьищу, жениться на молоденькой Евфимии, дочери посадника Леонтия Макарьевича, первой красавице и скромнице на весь Псков-Великий. Притом же они и испроторились, живучи в Новгороде меж чужими людьми, и соскучились по своим семьям — по своим женушкам и детишкам. И праздник-то они встретили бессемейно, на чужой стороне, словно полоняники. Теперь и крещенские святки будут справлять в Пскове без них — сироты сиротами!

Но сегодня — конец всему, конец их долготерпению!

Весь Волхов запрудили собой псковичи, «жалобные люди», как их выкликали сегодня дети боярские.

Но вот показалась церковная процессия со стороны святой Софии. Засверкали и заискрились на солнце церковные хоругви, кресты и иконы. Впереди всех в полном облачении шли Мартирий, епископ коломенский, да архимандрит Симонова московского монастыря и все новгородское духовенство.

Вслед за духовенством следовал великий князь в сопровождении бояр, окольничных и думных. Тут же находились и брат великого князя Андрей и псковский наместник, князь Оболенский.

Псковичи заметили его.

— Вон и наш Найден с поджатым хвостом, — трунили издали псковичи...

— И точно — Найденка... И как это пса смердящего пущают на водосвятие!

— Поди ж ты! Собака на иорданском действе.

— Что ж, собакам не возбраняется по улицам бегать.

Началось водосвятие. Особенно торжественна была минута, когда, при погружении креста в воду, певчие возгласили: «Во Иордани крещающуся тебе, Господи!»

— Глянь-ко-сь, глянь, братцы! Голубок спущается на воду, — прошел шепот по толпе.

— Это Святой Дух — это действо...

Народ толпами повалил сподобиться святой воды, а духовенство и великий князь с боярами направились обратно к святой Софии.

По Волхову и по берегу реки среди псковичей послышались громкие возгласы:

— Посадники псковские, и бояре, и все псковичи, жалобные люди! Великий государь Василий Иванович всея Русии повелел вам собраться на владычный двор! Приходите все до единого! Бойтесь государевой казни — кто не придет! Ныне великий государь хочет всем дать управу.

Это выкликали бояре по указу великого князя.

Псковичи радостно двинулись к владычному двору... «Слава тебе, Господи!..»

Вдруг откуда ни возьмись псковский юродивый Иванушка, все в том же саване и босиком. Но теперь он сидел верхом на своем посохе, как это делают ребятишки, играя в лошадки. Юродивый, оседлав свой посох, скакал впереди псковичей, свистал и похлестывал свою мнимую лошадку, приговаривая:

— Гоп-гоп, лошадка! Вывози псковичей, во царствие небесное!

Потом он остановился и повернулся лицом к озадаченным псковичам.

— Садитесь на палочки, псковичи! — закричал он. — Садитесь все до единого! Поедем в гости к матушке, к Марье Акимовне...

У Марьицы палаты богаты.
У Акимовны обители многи:

Сам Христос о том сказывал
И смущаться нам не приказывал.

— Но-но, лошадка! Гоп-гоп, псковичи! За мною в царствие Божие!

Никто не понял ни действий юродивого, ни его иносказаний. Только посадник Леонтий Макарьевич, хороший знаток священного писания, истолковал намеки юродивого не в пользу своего дела. Он понял, что ездой на палочке он уподоблял псковичей детям несмысленным, «их бо есть царствие Божие», а словами об «обителях многих» юродивый намекал на слова Иисуса Христа: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте: в дому Отца моего обители многи суть...»

Отец Евфимии догадался, что их ждет несчастье, опала, быть может — казнь...

— Бедная Офимьица! Бедные детушки мои! — невольно защемило у него на сердце. — Это все Юрий Копыл по злобе за Офимьицу: он погубитель Великого Пскова...

VI. АРЕСТОВАНИЕ ПСКОВИЧЕЙ

Псковичи, предшествуемые юродивым верхом на палке, все вошли на владычный двор.

Там их встретили московские бояре с дьяком Далматовым.

— Господо псковичи, лучшие люди! — обратился к ним Третьяк. — Вы, господо посадники, бояре, купцы и все лучшие люди, пожалуйте во владычную палату, а вы, люди молодчие, пообождите малость на дворе. — Всем вам будет управа от великого государя.

Лучшие люди гурьбой вошли в палату и ждали выхода великого князя. Тишина в палате водворилась необычайная, когда дьяк Далматов и московские бояре скрылись во внутренних покоях. Там, за дверьми, все было тихо, как в могиле.

Впереди сборища псковичей стояли посадники, в том числе степенный Юрий Копыл и бывший степенный Леонтий Макарьевич: но они не глядели друг другу в глаза.

Мучительно было ожидание. Один только юродивый, который тоже пробрался в палату, чувствовал себя как дома. Он продолжал сидеть на своем деревянном коне с черепом мертвеца вместо набалдашника, и прохаживался по палате, подходя то к одному, то к другому посаднику.

Вдруг он неожиданно остановился перед Юрием Копылом.

— Юша! — сказал он. — Поцелуй меня за весь Псков! Дай ми лобызание, Юша.

Озадаченный посадник не знал, что это значит и в смущении поцеловал юродивого.

— Его же аще лобжу, той есть: имите его, — сказал этот последний словами Евангелия.

«Иудино лобзание», — подумал про себя отец Евфимии. В это время дверь из внутренних покоев неожиданно отворилась, и все вздрогнули. Но в дверях был только дьяк Далматов.

— Сполна ли все собрались? — спросил он, оглядывая сборище.

— Все сполна, — отвечал посадник Юрий.

Дьяк опять скрылся. Опять ждут. Теперь уже наверно выйдет сам великий князь.

Но он не выходит. Минуты кажутся часами. Юродивый подъезжает на своей палке к посаднику Леонтию и с грустью смотрит ему в глаза.

— Что, Левушка, — говорит он. — Скучаешь по Олене Митревне да по детушкам?

— Зело скучаю, Иванушка.

— А что велишь им сказать от тебя?

— Как что? — удивился последний.

— Да что пожелаешь — поклон ли сожительнице, благословение ли чадам... Я сегодня еду во Псков, так и свезу им от тебя гостинец словесный.

— Да я сам, Иванушка, може сегодни же поеду во Псков.

— Э-эх! — покачал головой юродивый. — Улита едет, когда-то будет.

На лице посадника от этих слов юродивого выразился испуг: он знал, что юродивый наобум ничего не скажет, и весь Псков верил в пророческое ясновидение своего юродивого.

— О-ох, Левушка! — повторил юродивый, — чья улита едет, а наша еще и саней не запрягала.

В это время двери из внутренних покоев растворились настежь. В дверях показался дьяк Далматов с боярами. Все замерли в ожидании.

— Поиманы есте Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Русии! — торжественно провозгласил дьяк.

Слова эти как гром поразили псковичей.

— О-о! — послышались стоны. — Поиманы! Боже правый!

Псковичи попали в западню. Они сразу теперь поняли это, но поняли слишком поздно: они неожиданно очутились

пленниками великого князя. Поиманы, это значит: арестованы! Ужас овладел всеми.

— Тертий! А, Тертюшка! — подскочил вдруг к дьяку Далматову юродивый на своей лошадке.

— Что, человече Божий? — почтительно спросил дьяк.

Старая московская Русь глубоко чтила своих юродивых, называя их «людьми Божьими», «святыми», «Христа ради юрод» — и они смело говорили в глаза резкую, по своему времени, правду и царям, и владыкам.

— Что, человече Божий? — почтительно повторил дьяк свой вопрос.

— Есть тут у вас поблизости осина? — загадочно спросил юродивый.

— Осина, человече Божий? — удивился дьяк. — На что осина? Ради коея потребы?

— А для Иуды, Тертюшка, — помнишь: и «шед удавися...»

Дьяк ничего не отвечал. Он и все присутствовавшие поняли весь трагизм намека юродивого — совершилось предательство...

Между тем московские бояре, заперев владычный двор и поставив у ворот стражу, уже переписывали поименно всех псковичей «жалобных людей», которые находились на дворе.

В палате же, где находились арестованные посадники и бояре псковские, после немой сцены, полной глубокого отчаяния, снова раздался голос дьяка:

— Подумайте, псковичи, как вам добить челом великому государю! — и дьяк удалился.

VII. «ХОЛОПИ, ХОЛОПИ, ХОЛОПИ!»

По уходе дьяка и бояр московских в палате произошла бурная сцена. Многие в отчаянии ломали руки. По седым бородам текли безмолвные слезы.

— Иуда! Где Иуда? — спохватились иные.

Но того, кого называли Иудой, уже не было в палате.

Когда улеглись первые порывы отчаяния и псковичи поняли свою безвыходность, они начали обсуждать: что же им делать, на что решиться? Дьяк Далматов прямо сказал: «Подумайте, как вам добить челом великому государю». Он не сказал — «великому князю», а прямо «государю». Ясно, что хотят не «княжения», а «государствования», — и на последнем только и возможно обоюдное соглашение.

— Что ж, господо псковичи, отцы и братия! — дрогнувшим голосом сказал посадник Леонтий. — Скажем то словечко, которого от нас хотят и которого ни у отцов, ни у дедов, ни у прадедов наших на устах не бывало, как Псков стоит! Добьем челом этим словечком.

— Какое же есть оное словечко? — спросили некоторые. — Какова его сила?

— А словечко то, господа псковичи, — медленно произнес посадник: — «холопи»!

— Холопи! — послышались испуганные голоса. — Мы, Псков, отчина великих князей, а не холопи!

— Что делать, господо: мы поиманы. Нам ли противу рожна прати? — возразил посадник.

— На то воля Божия, — согласились другие. — Его святая воля.

Опять вошел дьяк Далматов.

— Надумались, господо псковичи? — спросил он.

— Надумались, — отвечал посадник Леонтий.

— А какова сила вашей думы? — продолжал дьяк.

— Такова! — отвечал посадник. — Познаем вину свою и бьем челом государю...

При слове — «государю», а не «великому князю» — чуть заметная улыбка проэмеилась под седыми усами старого дьяка-дипломата.

— Бьем челом государю, — продолжал посадник, — чтоб он пожаловал нас, холопей своих...

Снова усмешка скользнула под усами дьяка.

— Пожаловал нас, холопей своих, и весь Псков, как ему Бог известит! — с подавленным рыданием закончил посадник, между тем как на душе его клокотало: «Дитятко мое! Офимьица! Радость очей моих! — И ты холопка, холопка, холопка!»

Дьяк удалился. Псковичи остались в глубоком безмолвии. Только слышно было, как юродивый, обхватив холодный череп руками и припадая к нему головой, тихо плакал, почти беззвучно повторяя: «Ой, леле-леле-леле»!

Внезапно дверь распахнулась и в ней показались дьяк Далматов и пятеро московских бояр.

— Государь наш, — торжественно провозгласил дьяк: — Государь наш Василий Иванович, царь и государь всея Русии и великий князь, велел вам, своим слугам, сказать: прародители наши, великие князья, и отец наш, и мы, держали отчину свою, Псков, в своем государевом жаловании в старине до сих дней и берегли отовсюду, а вы, наша отчина, Псков, имя

наше держали честно и грозно, по старине, и оказывали честь своим князьям, нашим наместникам. А ныне вы, отчина наша, Псков, наше имя и наших наместников держите не по-прежнему. И к нам пришли жалобники — на посадников и на земских судей бьют челом, что от них нет управы и делают больное разорение. За то следует на вас, отчину свою, положить великую опалу. Но великий государь кажет вам, отчине своей, милость и жалование, если только вы сотворите волю государеву: свесить прочь вечевой колокол и впредь вечам не быть...

Стон прошел по палате... «Оо! — леле-леле-леле!» — слышались всхлипывания юродивого.

— Вечам не быть, — продолжал дьяк. — И не быть во Пскове двум наместникам, и по пригородам псковским тож будут наместники. А как во Пскове и по пригородам будут судить наместники, и ту пору государь сам прибудет во Псков поклониться Живоначальной Троице, и всему тому учинит указ. Если вы познаете государево жалование и по его воле будете тем довольны, то государь вас жалует вашим достоянием и не будет вступаться в земли ваши. А коли вы не познаете государева жалования и не учините его воли, и тогда государь будет свое дело делать как ему Бог поможет. И кровь христианская взыщется на тех, которые государево жалование презирают и воли его не творят!

Все плакали, выслушивая этот жестокий приговор.

Вперед выступил посадник Леонтий, но за слезами долго не мог говорить.

— Мы, — говорил он, пересиливая с трудом истерические спазмы в горле. — Мы все здесь головами на том государевом жалование. Бьем челом государю за то, что отлагает казнь свою над нами, холопями своими, и отдает опалу свою отчине своей, Пскову, чтобы кровь христианская не проливалась!

— Кровь, кровь! — с ужасом шептали некоторые.

Но посадник опять овладел своим голосом.

— Отчина государева, — продолжал он, — от прародителей его, государей русских, и при отце его, и при нем государе нашем, была неотступна и неизменна ни в чем до сего часу, и ныне и напредки так останется. Ведает Бог да государь — в каком жаловании похочет он учинить свою отчину.

Выслушав это, дьяк и бояре удалились.

— Да не смущается сердце ваше, — тихо проговорил юродивый, перестав плакать. — Да будет Его святая воля!

Уже никто не плакал. Глухая тоска заступила место отчаяния: худшее, что могло совершиться, совершилось!

Снова явились бояре вместе с дьяком Далматовым. На этот раз волю государеву говорил не дьяк, а старейший из бояр князь Михайло Данилович Щенятев.

— Государь великий князь, — сказал он, — приговорил было своим боярам послать на Псковскую землю рать, но теперь вы бьете челом за себя и за нашу отчину, Псков, отдаете государево жалование в его волю. И посему государь говорит вам: дайте нам крепкое слово за себя, и за нашу отчину, и за всю Псковскую землю, что Псков, отчина наша, пожелает нашего жалования и учинит волю нашу во всем том, о чем бояре наши вам говорили, а государь пошлет с этим своим жалованием во Псков дьяка Третьяка Далматова: Да и вы сами не хотите ли от себя послать отсюда о том же к нашей отчине, Пскову, к своим приятелям, которые у вас там есть, чтоб и они хотели нашего жалования и учинили во всем нашу волю.

Князь Щенятев кончил. Псковичи молчали. Да и что они могли сказать? Слышны были только их тяжелые, задавленные вздохи, да юродивый как бы про себя шептал: «Горе тебе, Хоразине! — Горе тебе, Вифсаидо!..»

— Пошлете? — спросил князь Щенятев.

— Спосылаем, — безучастно отвечали некоторые.

Князь Щенятев глянул на дьяка Далматова. Третьяк удалился и через минуту воротился, предшествуемый Мартирием, епископом коломенским, с распятием в одной руке и крестоцеловальной записью в другой.

Псковичи поклонились епископу.

— Чада моя! — произнес этот последний. — Говорите со мной слово по слову... Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Обещаюсь и клянусь Господом Иисусом Христом предо святым его распятием — во всем повиноваться государю своему Василию Ивановичу, царю и государю всея Русии и великому князю, хотеть ему добра во всем же без единые хитрости, не мыслить и не думать лиха ни ему, великому князю, ни его княгине, ни его детям, ни его землям, и пребывать неотступно от своего государя до конца живота своего.

Псковичи повторили от слова до слова.

— Аминь! — произнес Мартирий. — Целуйте животворящий крест Христов.

Псковичи приложились к распятию. Присяга была кончена.

Через минуту в последний раз явился к псковичам дьяк Далматов и проговорил:

— Государь ваш Василий Иванович, царь и государь всея Русии и великий князь, указал вас, холопей своих государе-

вых, жаловать — звать вас к нему, великому государю, обедать.

Покорной толпой двинулись проголодавшиеся псковичи во внутренние палаты.

«Холопи, холопи, холопи!» — эти слова, казалось, стучались в сердце посадника Леонтия, когда он вместе с прочими шел к столу государеву: «И она, моя голубица — холопка!..»

VIII. «БАТЮШКА И ПСКОВ»

Мы опять в Пскове.

Невесело встретили псковичи крещенский праздник. По обыкновению шумный во все время святок, теперь город казался словно бы несколько обезлюдевшим. Да и неудивительно: большинство лучших и богатейших псковичей, все посадники почти и бояре, находились в Новгороде, а те, которые оставались в городе, не могли быть вполне спокойны за будущее, большинство псковитянок скучало по своим отсутствующим мужьям, — и оттого святки были не в святки. Хорошо еще, что недолго оставалось ждать: сегодня, на Крещенье, все должны воротиться домой или к обедам, или после обеда. Но пришлось обедать без мужей, без отцов.

Только дети да молодежь не унывали, а даже радовались, что вот-вот скоро воротятся из Новгорода их отцы и привезут обещанные гостинцы. Юные псковичи и псковитянки устроили даже себе на Торговище, под Довмонтовой стеной, ледяную горку и катаются с нее на салазках при общем хохоте и дружных криках.

Вместе с прочими катаются на салазках и знакомые нам приятельницы — Офимьица Макарьевичева, дочка посадника Леонтия, и Дарьица Манухина. Крещенский мороз так нарумянил их щеки, что розовые личики их выглядывали из-под темных собольих шапочек словно весенние цветы.

— А ну, Фима, кто кого перегонит? — задирала свою приятельницу веселая Дарьица.

— Посмотрим. Только чур, Даша, разом.

— Знамо, разом. Слушай: раз, два, три!

И обе разом пустились с горы. Дарьица так усердствовала, что на полпути налетела на чьи-то порожние салазки, не убранные с дороги, и опрокинулась вместе с санками, так что только медные подковки ее красных сапожков сверкнули на солнце.

— Обогнала! Обогнала! — радостно бил в ладоши Петрик, брат Офимьицы.

— Обогнала назад пятками! — смеялись другие ребятишки.

— Ай-ай! Смотрите! Дарьицына коса зацепилась за салазки! — Вот так вожжи!

Все смеялись, а Дарьица смеялась больше всех, хоть ей со стыда и хотелось плакать.

Вдруг на Торговище, со стороны Новгорода, примчались сани тройкой.

— Православные! — кричал кто-то из саней. — Князь великий переловил наших в Новгороде!

Говор, смех, веселье — разом стихли.

— Поиманы все наши великим князем, православные! — продолжал вопить приезжий.

Офимьица и Дарьица стояли испуганные, трепещущие.

— Кажись, это голос Филиппа, — нерешительно заметила первая.

— Да, это Поповичев голос, Филиппов, — отвечала последняя. — Побегим, распытаем его.

И девушки побежали, забыв про свои салазки.

— И мой батюшка поиман князем? — кричала издали Офимьица.

— Поиман, милая, поиман!

— И мой, дядюшка?

— И твой, Дарьица, Онисим Ильич поиман.

Между тем, начал сбегаться на площадь народ. В одно мгновение заговорил вечевой колокол.

Ужасом поразила всех страшная весть, привезенная Филиппом Поповичем. Он ехал в Новгород с товаром, и около Веряжи услыхал от встретившихся новгородцев, что все псковичи и посадники, и бояре, и купцы, и черные люди, прибывшие в Новгород с жалобами и челобитьями, — все, по приказанию великого князя, переловлены обманным образом. Попович бросил на дороге товар — все равно пропадает Псков, а с ним и псковичи и их достояние! — И налегке помчался назад, чтобы сообщить родному городу ужасную весть.

В несколько минут вечевая площадь была затоплена народными волнами. Слышался всеобщий вопль отчаяния, который, сливаясь с неумолкаемым звоном вечевого колокола, наводил еще больший ужас на всех. Женщины падали в обморок. Казалось, стонал самый воздух над несчастным городом. Из этого стона и вопля по временам выделялись энергические возгласы...

— Ставьте щит противу государя! Запремся в городе.

— Ляжем костьми за Живоначальную Троицу и за домы отцов наших!

— За вечный колокол! За вечную волю нашу!

Но слышались и другие голоса — голоса людей более благоразумных:

— Отцы и братия! Послушайте! Как же мы поставим щит противу государя, коли наша братья, посадники и бояре и все лучшие люди у него в полону! За наше непокорение он их всех предаст лютой казни.

— Опомнитесь, господа псковичи! Опомнитесь! Кровь наших братьев падет на нас и на чад наших! Опомнитесь!

В эти страшные минуты шатания умов на площади неожиданно появляется Онисим Манухин, отец Дарьицы. Он пригнал гонцом в Псков от арестованных в Новгороде сограждан своих. Издали он махал поднятой вверх бумагой и кричал:

— Помедлите мало, псковичи, помедлите! Я привез грамоту от отцов и братьи нашей!

Прямо с коня, гонца тотчас же взвели на вечевой помост. Знакомый уже нам красавец, сотский Евстафий, подал знак, чтобы вечевой колокол замолчал.

На минуту на площади воцарилась мертвая тишина.

— Отцы и братия! — кланялся гонец на все четыре стороны. — Вот грамота от посадников наших, от бояр, купцов и всех лучших людей!

— Вычитывай грамоту! — раздались голоса.

— Пускай Остафий вычитает! — кричали другие. — У него голос на весь Псков.

— Остафий! Остафий сотский!

Красавец сотский снял шапку и поклонился на все четыре стороны. Вдруг глаза его упали на чье-то бледное как полотно миловидное личико. Он узнал Евфимию и краска залила его красивое, мужественное лицо.

— Читай! Читай!

— Осенитесь крестом, псковские люди!

Вся площадь шумно перекрестилась.

Дрожащими руками взял Евстафий грамоту, перекрестился в свою очередь и стал читать.

Могучий голос его сначала обрывался, но с половины чтения он окреп и поднялся до того, что в самых отдаленных частях площади каждое слово его било по слуху, словно молотом из серебра.

— И мы, — читал он, — подумавши между собой, сколько нас ни есть здесь, посадников и бояр и всех пскови-

чей, дали государю крепкое слово за себя и за всю Псковскую землю потому, что мы, государева отчина, все как один человек до сих пор. Господо и братья наша! Посадники, и все псковичи, и вся земля псковская! Похотите вместе с нами государева жалования и учините его волю. Мы за себя и за вас дали своими душами крепкое слово своему государю, и вы не учините с нами розни. А если не сотворите государевой воли во всем по его хотению, то будет вам ведомо, что государь наш с яростию и с гневом пойдет на свою отчину, Псков, делать свое дело с великим и многонародным воинством, и пошлет воевод своих со многими людьми, и прольется христианская кровь, и наши головы погибнут. И то будет на вас за то, что не захотели государева жалования и не учинили его воли. Государь учинил и срок дьяку Третьяку Далматову в 10 день генваря. Господо и братья! Сотворите сие великое дело и не задержите государева посланника. Потщитеся, пока царев гнев еще не пришел с яростию на землю. Здравствуйте!

Послание прочитано. Неясный говор, как рокот морских волн, снова всколыхнул всю площадь, но в говоре этом не слышалось уже ни воплей отчаяния, ни страстных призывов к борьбе, к сопротивлению — к последней отчаянной попытке — или устоять, или погибнуть — погубить и себя и все, что было на земле дорогого и священного. Пскову предлагали на выбор: жизнь или смерть. Как ни позорной казалась Пскову предлагаемая ему жизнь, жизнь подневольных холопей, как ни страстно хотели бы мужественные сердца псковичей истечь кровью за свободу родного города, перестать биться под ударами московских коней и бердышей, но в стенах этого погибающего Карфагена остаются еще женщины и дети... А хотят ли они смерти? Не пощадить ли их? Не купить ли их жизнь в безопасность ценой своего личного позора?

Эти мысли молнией пронеслись в прекрасной голове мужественного Евстафия, когда он увидел с высоты вечевого помоста бледное личико Евфимии и заплаканное лицо ее матери, которые стояли среди взволнованной толпы и беспомощно ломали руки.

— Отцы и братья, — крикнул он все тем же металлическим голосом. — Не попустим, чтобы погибли головы наших посадников и бояр, наших отцов и наставников — лучших людей Пскова-Великого! Не попустим такого дела!

— Не попустим! Не попустим! — раздались согласные возгласы.

— Глядите! — указал Евстафий на толпу, — вон лучшие жены Пскова плачут! Дети плачут! Их мужья и отцы — там,

у великого князя в неволе! Пощадим детей и жен — спасем полоняников великого князя!

— Любо! Любо! Спасем отцов и братью нашу! — застонала площадь.

Евстафий видел, как Евфимия и мать ее радостно перекрестились и посмотрели на него полными слез и благодарности глазами.

Евстафий сошел с помоста и с несколькими старейшими и почтеннейшими лицами, какие еще оставались в Пскове, вошел в церковь Живоначальные Троицы.

Народ оставался ждать их: они пошли писать челобитную великому князю.

Через несколько минут они вышли из церкви, и Евстафий опять взошел на ступени вечевого помоста, держа в руках только что написанное и подписанное старейшинами челобитье.

— Отцы и братия! Матери и сестры! — начал он, кланяясь на все четыре стороны. — Вот челобитье Великого Пскова к князю московскому.

— Вычитай! Вычитай! — раздались голоса.

— Государь наш, Василий Иванович! — читал Евстафий. — Царь и государь всея Русии и великий князь! Весь Псков от мала до велика бьет челом тебе, государю, чтобы ты, государь наш, великий князь Василий Иванович, пожаловал свою старинную отчину, а мы, сироты твои, прежде всего и ныне от тебя не отступали и не противны тебе, государь, Бог волен и ты с своею отчиною, и с нами, твоими людишками! — Любо ли, отцы и братья?

— Любо! Любо! Стоим на сем челобитье!

И тут же приговорили: послать гонцом к великому князю с челобитьем того же Евстафия.

Площадь стала пустеть — все спешили к своим домам, тем более, что наступал уже вечер.

Евстафий быстро собрался в путь и перед отъездом зашел на минуту к посаднице Елене Дмитриевне Макарьевичевой, чтобы проститься с ней и спросить не будет ли от нее какого-либо поручения к мужу, посаднику Леонтию, задержанному вместе с прочими псковичами в Новгороде.

Уходя затем от нее, он в полутемном присенке заметил чью-то фигуру, робко прислонившуюся к стене. Он тотчас же узнал, кто это.

— Ефимия Леонтьевна! — радостно и испуганно окликнул он.

Ему не отвечали. Он подошел ближе и услышал, что девушка плачет.

— Ефимия Леонтьевна! Офимьица! Что с тобой?

Он взял ее за руку и тихо привлек к себе. Девушка вся дрожала.

— Милая! Девынька! О чем? Я ведь к батюшке еду — его привезу.

Девушка обхватила руками его шею.

— Ты едешь... Мне за тебя страшно... И тебя поимают, свет очей моих!

Она страстно прижалась к нему, а он, нежно лаская ее и прижимая к себе ее головку, шептал:

— Радость моя! Солнышко ясное! Не плачь — я скоро ворочусь, я твой... А теперь — батюшка и Псков.

С трудом он вырвался из объятий плачущей девушки.

IX. СНЯТИЕ ВЕЧЕВОГО КОЛОКОЛА

В 1510 году Крещенье приходилось в воскресенье.

До субботы, до 12 января, псковичи напрасно ждали вестей из Новгорода.

Наконец утром, в субботу, раздался вечевой колокол — в последний раз заговорил Пскову его исторический голос.

Из Новгорода прибыл посол государев — дьяк Третьяк Далматов. Что-то привез он? Что ждет псковичей? Чем решена будет участь Великого Пскова?

Все спешили на площадь с этими мыслями. Но мысли эти не были мрачны: на лицах у всех проглядывала смутная надежда. С утра город облетела весть, что посол показался встретившим его боярам таким ласковым, обходительным. Великому князю понравилась беспрекословная покорность псковичан — это не то, что некогда строптивый Новгород с его кичливой посадницей Марфой!

Вече приготовилось «почетно и почестно» встретить посла государева. Вечевой помост и ступени были покрыты красным сукном. Вся площадь и прилегающие к ней улицы были запружены народом. Даже верх Довмонтовой стены был покрыть псковичами. Женщины явились с грудными детьми на руках. «Худые мужики-вечники» — этот плебс Великого Пскова, словно черные галки и воронье усеяли все соседние крыши домов и ближайшие колокольни.

День выдался пасмурный, но теплый.

Посол государев вышел из церкви Живоначальные Троицы, где он служил молебен о здравии царя и государя Василия Ивановича всея Русии, и, сопутствуемый духовенством

и старшинами города, медленно направился сквозь раздвигавшиеся перед ним толпы к вечевому помосту, который он, по рассеянности, что ли, назвал «лобным местом».

— «Кого же там распинать будут?» — мысленно спрашивал себя ветхий-преветхий старец, Игнатий Логинович, бывший когда-то тоже степенным посадником, следуя за великокняжеским послом. — «Эко выдумал — лобное место!.. И приведоша его на Голгофу, место, еже есть сказаемо лобное место!..»

Дьяк медленно взошел на вечевой помост, снял шапку, поклонился на все четыре стороны, и громко, явственно и ласково произнес:

— Поклон всему Пскову от великого князя! Велит вам великий князь сказать: «Если вы, отчина моя, посадники и все псковичи, хотите прожить в старине, то учините мои две воли: чтоб у вас вечья не было и вы бы колокол вечевой свесили, да чтоб в городе были два наместника и на пригородах наместники же. Тогда вы в старине проживете. А только тех двух воль вы не сотворите, то будет с вами, как государю Бог на сердце положит». Есть у него много силы готовой и станется кровопролитие над тем, кто не сотворил государевой воли. Государь наш, великий князь, хочет побывать на поклон к святой Троице во Псков.

Как гром поразили эти слова псковичей. Казалось, они сначала не поняли того, что слышали. Они ждали продолжения речи — думали, что они ослышались...

Но дьяк спокойно сел на ступени помоста и с деревянным равнодушием ждал ответа. Что-то зловещее теперь было в его фигуре, в позе, в выражении лица. Он казался чудовищем на красном фоне помоста — чудилось, что он сидел по колена в крови!

Площадь огласилась рыданиями... «Не плакал тогда разве грудной младенец при сосцах материх!» — говорит летописец.

Евфимия, уткнувшись лицом в плечо матери, беззвучно рыдала. — «Ни его, ни батюшки! — оо!..»

А дьяк как истукан сидел на ступенях и ждал.

«Так вот оно почему лобное место!» — качал седой головой старец Игнатий. — «На том лобном месте Псков распинают!..»

— Посол государев! — сказал он громко, глотая слезы, — подожди до утра... Мы себе подумаем и потом тебе все скажем.

— Быть посему! — отвечал дьяк и сошел со ступеней, опираясь на массивный посох.

Стая воронов, летевших с востока куда-то через Псков, надлетев к площади, усеянной колыхавшимися массами народа, с испуганным карканьем шарахнулась в сторону и скрылась за рекой Великой.

— К худу, к худу каркает воронье, — боязно говорили псковичи, с щемящей тоской расходясь по домам.

Стал дождик накрапывать.

— И небо святое плачет, — суеверно шептали псковичи. — Что-то на утрие будет?

Говорили потом, что ночью сам собою тихо, жалобно звонил вечевой колокол, как бы самого себя оплакивая: и звон — уверяли слышавшие — был погребальный. У Троицы, из глаз иконы Богородицы, «из суха дерева текли слезы».

Не стало во Пскове и Иванушки-юродивого: и он вместе с прочими пойман был в Новгороде и прислал Пскову поклон с Онисимом Манухиным:

— Кланяюсь Пскову и костям предков наших, а наши кости будут тлеть там, куда и ворон не залетывал.

Утром 13 января снова весь Псков был на площади у веча.

На вечевой помост вступил посол и ждал последнего ответа. К помосту подошел старейший из всех сынов вольного города, Игнатий Логинович, поддерживаемый внуками.

Площадь замерла в ожидании.

— Посол государев! — окинув глазами надвинувшиеся к помосту толпы, сказал старец. — У нас в летописцах записано так: с прадедом и дедом и отцом великого князя и со всеми великими князьями было у нас положено крестное целование: нам, псковичам, от государя своего великого князя, кто будет князем в Москве, не отойти ни в Литву, ни к немцам, а жить нам по старине в доброй воле. А ежели мы, псковичи, отойдем от великого князя в Литву или к немцам, или сами собой станем жить без государя, то падет на нас гнев Божий — глад, огонь, потоп и нашествие неверных, а если государь наш великий князь этого же крестного целования не станет хранить и нас не будет держать в старине, то и на него тот же обет, который на нас, и тот же гнев Божий на его голову и на царство его. Теперь Бог и государь волен в своей отчине, над городом Псковом и над нашим колоколом: мы прежнего крестного целования не хотим изменять и навлекать на себя гнев Божий и кровопролитие. Мы не поднимем рук на своего государя и не станем запираться в городе. Если государь наш хочет помолиться Живоначальной Троице и побывать в своей отчине, — мы рады всем сердцем и тому, что не погубил нас до конца! Доложи же, посол, государю, что мы на него не подымем рук никогда: но будут ли потомки наши так же верны

крестному целованию, как мы, противу того, кто сам ломает крест, и противу потомков его — то ведомо единому Богу.

Старец кончил. Седая голова его дрожала.

Как ни привык владеть собой старый, закоренелый в коварстве дьяк, но речь старца поразила его. Он не ожидал ничего подобного от этой развалины, слова которой должны бы были повергнуть в смущение самого великого князя, ничего подобного не слыхали они прежде и от Новгорода, который был сильнее и строптивее Пскова. Ошеломленный дипломат не нашелся что отвечать — безмолвно указал рукой на вечевой колокол.

— Сымите его! — глухо сказал он псковичам.

Но псковичи не тронулись с места. Да и кто решился бы прикоснуться к святыни своего города.

Тогда дьяк обратился к отряду алебардщиков, прибывших с ним в качестве охраны, из Новгорода. Это были касимовские татары.

— Касимовцы! — сказал он, махнув рукой. — Долой колокол!

— Айда! — отвечали татары и полезли на башню.

Снова вопль и плач огласили площадь. Татары между тем отвязали колокол и спускали его с башни, а железный язык его, глухо колотясь о края, издавал такой звук, точно бы это стонал от боли немой человек. Все плакало...

«Как у нас зеницы не упали со слезами! Как сердце не урвалось от горести!» — оплакивает этот момент псковский летописец.

Внизу, под Довмонтовой стеной, уже ждали сани-розвальни, на которые и спустили вечевой колокол. Псковичам казалось, что это «снимали со креста Распятого за ны...»

Колокол повезли на Снетогорское подворье. Весь город со слезами провожал его, как дорогого покойника. Шла за колоколом и Евфимия с матерью: ей казалось, что она провожает своего Евстафия.

— Се бысть — и се не бе! — тихо качал седой головой старейший из псковичей. — Буди воля твоя, Господи.

X. МОСКОВСКАЯ ЛОВУШКА

Ничто так не живуче, как надежда, особенно — надежды молодости.

Попрощавшись с вечевым колоколом и вечевой волей своего родного города, Евфимия ждала теперь возвращения из Новгорода отца и своего возлюбленного.

Она не могла забыть того, что было на Крещенье вечером у них в сенцах. И теперь краска невыразимого смущения и тайной радости заливала ее щеки, когда она вспомнила эти дорогие минуты и ей казалось, что она слышит милый голос: «Радость моя! Солнышко мое!» — Что ей колокол! Что ей эта воля! — Ее солнце скоро взойдет вон оттуда, из-за тех снежных холмов, между которыми извивается дорога в Новгород. Ведь посол княжеский сказал, что великий князь скоро приедет во Псков поклониться Живоначальной Троице. А с князем приедут и они все — и он, и он...

Она то и дело бегала к своей приятельнице, к Дарьице Манухиной, но ни одним намеком не выдала ей своей девичьей тайны — того, что у нее было с ее возлюбленным в присенке на Крещенье вечером.

— Ах, Офимьица! Какая ты стала скрытная, — не раз говорила ей Дарьица, замечая что-то особенное в своем друге. — Прежде бывало у тебя Остафий не сходил с языка, а теперь ты словно воды в рот набрала и боишься пролить.

— До него ли теперь, Даша! — лукавила плутовка, а у самой сердце билось-билось, и она все спрашивала, какой сегодня день, много ли прошло после Крещенья?

— Знаю, знаю! На Крещенье он уехал, — коварно улыбалась Дарьица. — Не бойся, еще свадьбу успеете сыграть до Масленицы.

Наконец прошла весть, что великий князь едет. Псковичи порешили встретить его с великой честью, на самом рубеже Псковской земли, но присланные вперед великим князем московские бояре объявили, что государь не желает, чтоб его встречали «далече». Василию Ивановичу не хотелось, конечно, чтобы псковичи заранее проведали, что он едет в Псков не как гость, не как смиренный богомолец у Живоначальные Троицы, а как завоеватель и что идет он на Псков во главе сильных ратей, предводительствуемых тремя воеводами. Видно было, что он не доверял видимому смирению и покорности Пскова. А если обманутый в своих ожиданиях этот строптивый город вошел в союз с немецким орденом или Литвой и московского князя встретят немецкие и литовские рати? Как бы московскому князю не попасть в ту же западню, какую он устроил доверчивым псковичам в Новгороде! Что если и псковичи, залучив его в свой Детинец, в свою очередь, ехидно скажут: «Поиман еси, княже, Богом и Великим Псковом?» Что тогда? Кто сам легко ломает крестное целование и топчет ногами договоры, тот должен ожидать этого и от других. Старец Игнатий Логинович ясно высказал это дьяку Далматову:

«За наше вероломство — на нас кара Божья, за вероломство великого князя — на него гнев Божий и кара».

Дьяк это хорошо растолковал Василию Ивановичу, и потому он не только отправил вперед своих бояр, чтоб они раньше его прихода привели всех псковичей к крестному целованию, но — этого мало! — «Что крест поцеловать стоит? — можно потом и вытереть губы» (так объяснял хитрый дьяк значение присяги), но, надо копьями, бердышами и конскими копытами закрепить крестное целование. В виду копий и бердышей не скажут: «Поиман еси, княже...» Смиренный богомолец, князь, и шел поэтому на Псков завоевателем на челе грозных полков, как главный воевода московских сил. Параллельно с ним, вправо и влево, другими дорогами двигались воеводы с другими полками.

Но вот рубеж Псковской земли — Рубикон последнего вольного города древней, вечевой Руси.

Alea jasta est!.. Московский Цезарь — «кесарь» — бесстрашно перешел через Рубикон вечевых вольностей.

Вон белеются покрытые снегом крыши первого поселения Псковской земли. Над крышами вьется к вольному небу синий дымок — это топятся печи в Загряжье.

Где же крамольники, где враги: — псковские, немецкие, литовские? — Где их воеводы?

Вон они! Вдоль утоптанной дороги, по обе стороны, лежат эти крамольники «крыжом», не покрытыми головами прямо в снегу.

Слышен стук копыт великокняжеского коня по замерзшей земле. Слышны тысячи копыт — дрожма дрожит Псковская земля. А крамольники — лежат головами в снегу...

— Здравствуйте! — раздается ласковый голос великого князя.

Лежащие ниц толпы шевелятся, поднимаются с земли. Самый главный и старейший крамольник, старец Игнатий Логинович, не может от дряхлости сам подняться. Его с трудом поднимают внуки.

— Здравствуйте, псковичи! — еще ласковее говорит великий князь, с участием глядя на дрожащую седую голову старейшего из псковских людей.

— Ты бы, государь наш, великий князь, здоров был! — прошамкал старец, а за ним и все.

Но вот близко и Псков. Там ждут страшного гостя с трепетом и... Некоторые с тайной надеждой.

Офимьица с мамушкой и Петриком идут к Живоначальной Троице, чтобы вместе с духовенством идти за город встречать великого князя.

Конечно, они шли не его встречать, а кого-то другого.

— Какой-то гостинец привезет мне батя? — болтал дорогой Петрик.

— А московскую плетку, — отвечала со смехом мамушка.

— Как бы не так! А тебе что, Фима? — обратился он к сестре.

— Не знаю, Петя, — отвечала девушка.

— А я знаю, — лукаво заметила мамка.

— А что? — покраснела девушка.

— То же плетку, только псковскую, ту, что на свадьбе жениху в руки дают.

Девушка еще больше зарделась: она поняла намек старой мамки, которая очень хорошо видела, какого гостинца ждала ее любимица.

У Живоначальной Троицы они нашли в сборе духовенство всех церквей города Пскова. Готовились к выходу за город для встречи великого князя.

Но в это время является туда раньше прибывший в Псков от великого князя святитель, владыка Вассиан Кривой.

— Остановитесь, отцы! — обратился он к псковскому духовенству. — Камо грядете?

— Встречать великого государя, — отвечали отцы.

— Не надо, — остановил их Вассиан. — Не велел себя великий князь встречать далече.

— Где ж мы встретим его, владыко? — спросили псковичи.

— В городе, на торгу, — был ответ.

Шествие двинулось на Торговище. Все были в полном облачении. Целый лес высоких крестов, светильников и хоругвей выстроился на торгу в две линии.

Скоро по звонким, промерзшим плитам Торговища гулко застучали кованые свейской сталью копыта великокняжеского коня. Князь подъехал к линии хоругвей и крестов и остановился, чтобы сойти с коня. Отдав своего кабардинского жеребца ближнему боярину, он сделал несколько шагов вперед. Тогда к нему подошел с крестом коломенский епископ и благословил. Поцеловав крест, князь поклонился святыне и пешком вошел в ворота Детинца к Живоначальной Троице. За ним двинулись ближние бояре, а площади заняла конница московская.

В церкви служили молебен, пели многолетие великому князю.

— Бог тебя, княже, благословляет, Псков вземши! — после многолетия приветствовал его владыка коломенский.

«Вземши!» — точно неприятельский город...

«И кои псковичи были в церкви и то слушали, и заплакали горько», — говорит летописец.

Евфимия и маленький Петрик видели все это издали и напрасно надеялись увидеть отца в толпе прибывших — его не было там!

Все псковичи, захваченные в Новгороде, там и оставлены.

— Где же батя? — заплакал вдруг маленький Петрик.

— Он после приедет, дитятко, — утешала его старая мамушка. — Он, я чаю, едет за московскими ратными людьми и везет тебе с Офимьицей гостинцы.

Заплакала и Евфимия. Она поняла, что и тот, о ком она думала дни и ночи, кто дал ей столько счастья в тот памятный вечер на Крещенье, — тоже сделался пленником князя московского.

Теперь только Псков понял, что он попал в московскую ловушку...

XI. «ОХ, УВЫ!»

Василий Иванович вступил в Псков 24 января.

Ни 24, ни 25, ни 26 числа, псковичи больше его не видели. Он оставался на своем дворе. Каждый день с утра до ночи к нему во двор и в гридни приходили московские бояре, дьяки и воеводы. Что они там делали, о чем говорили — никто из псковичей не знал. Псковичи попрятались в своих домах, как белки в дуплах от собак, и ждали, что будет.

По улицам и по площадям рыскали только московские ратные люди пешие и конные, «торжища коневым калом заметая», как выражается летописец.

Только утром 27 января по улицам Пскова и на торжищах раздались клики государевых московских людей.

— Копитесь, копитесь! — кликали. — Копитесь, псковичи, и луччие, и середние, и молодчие люди, копитесь на государев двор!

И псковские улицы опять ожили. Все мужское население повалило к княжескому двору. За мужчинами следовали из любопытства и с тайным страхом их жены и дети.

Толпы запрудили ворота Детинца.

В это время к воротам приближалась какая-то странная процессия. Шесть дюжих парней, одетые в богатые однорядки и цветные опашни, в высоких бобровых шапках с малиновыми верхами и в красных сапогах, несли на своих плечах

резную из красного дерева кровать с постелью и подушками. На постели из-под опушенного соболями шелкового голубого одеяла виднелась брошенная на белые подушки старческая голова, окаймленная белой как снег бородой и такими же белыми волосами.

Толпы псковичей почтительно расступались перед этим шествием и снимали шапки.

Это шесть взрослых внуков-богатырей несли на княжеский двор разбитого параличом больного деда своего, посадника Игнатия Логиновича. Старец желал перед смертью выслушать последнюю волю великого князя московского.

За этими носилками двигалось многочисленное потомство маститого старца: старики уже сыновья, старухи-невестки, замужние дочери, внуки, внучки... Женщины плакали... Плакали и посторонние псковитянки, видя это печальное шествие.

В толпе виднелись печальные личики неразлучных Офимьицы и Дарьицы.

Вдруг седая голова старца отделяется от подушки и из уст старейшего псковича слышится горькое обращение к плачущим:

— Дщери иерусалимски! Не плачитеся о мне, обаче себе плачите и чад ваших: яко се дние грядут, в няже рекут: блажены неплоды, и утробы, яже не родиша, и сосцы, иже не доиша. Тогда начнут глаголати горам: падите на ны, и холмом: покрыйте ны. Зане, аще в сурове древе сия творят, в сусе что будет [1].

Рыдания еще более усилились от этих слов.

Толпы проходили ко двору великого князя. Мужчины входили во двор, а женщины и дети оставались за воротами.

Двор скоро наполнился. Внесли во двор и разбитого параличом старца.

Из княжеской гридни на крыльцо вышел дьяк Далматов с боярами.

— Господо псковичи! — громко сказал Третьяк. — Посадники и бояре, и купцы, и все луччие люди! Идите в большую гридню — слушать управу государеву. А вы, молодчие люди, повремените на дворе малость: и вам будет управа великого князя.

По этому зову все знатные и богатые псковичи вступили в большую княжескую гридню. Внесли в гридню и немощного посадника Игнатия Логиновича.

Когда дверь за последним псковичем затворилась и все перекрестились на большую икону Богородицы Утоли моя печали, дьяк Далматов произнес:

[1] Еванг. от Луки, XXXIII, 28-31.

— Господо псковичи! Государь наш, Василий Иванович, царь и государь всея Русии и великий князь, велел вам говорить: как прежде я пожаловал вас, мою отчину, Псков, так и теперь жалую, не вступаясь в животы и достояния ваши, и напредки хочу жаловать. Ино здесь, в нашей отчине, во Пскове, быть вам непригоже для того, что допреж сего были многие жалобы на ваши неправды, непорядки, обиды и оскорбления, и разорения людем. Я вас жалую ныне своим жалованием в Московской земле. И вам теперь же ехать в Москву с женами и детьми!

Гром не поразил бы так, как эти страшные слова. Бросить Псков, дома, имущество, скот, все хозяйство и нищими, пленниками перебраться в Москву! Бросить церкви, могилы отцов и дедов, родное небо!

«Поиманы! Все поиманы!» — колотилось в душе у каждого. — «Где же правда? Где Бог?»

А солнце между тем так ярко, так ласково глядело в окна гридни... «Родное солнышко!» — невольно шептали уста несчастных, — «и тебя нам не видать больше!»

Дьяк и бояре ждали, однако, ответа.

Поддерживаемый внуками, дряхлый посадник приподнялся на постели и перекрестился на икону, шепча полумертвыми губами: «Утоли моя печали! Утоли печали всех!» Перекрестились и остальные псковичи.

Голова несчастного посадника тряслась и падала на грудь, когда он говорил последнее слово его родного города:

— Прародителям его, государям, и ему, государю, мы всегда были неизменны и неотступны до сих пор. И ныне мы положились на Бога и на своего государя и царя во всей его воле, как он хочет, так нас и жалует. Ведают Бог да государь!

И голова старца бессильно упала на подушку.

В то же время из гридни на крыльцо вышел окольничий, князь Петр Васильевич Великий. Все стоявшие на дворе псковичи — молодчие люди — сняли шапки.

— До вас, — сказал князь Великий, — государю дела нет. Тем псковичам, что отобраны в избе, государь велел сказать: «Сим псковичам, что отобраны и поиманы в гридне, я, великий князь, не велю быть во Пскове, а посылаю их в Московскую землю. Это я делаю потому, что я жалую вас, свою отчину, Псков, для того, что допрежь сего на них бивали челом мелкие люди, псковичи, — что от них чинятся насилия и обиды. А вас как я пожаловал уже свою отчину, Псков, так и впредь тем же хочу жаловать. Развода не бойтесь. Только тех посадников и псковичей, что в избе отобраны,

велел я вывезти, да и их в Московской земле я пожалую своим жалованием, как будет пригоже. А вы живете в нашей отчине, Пскове, и слушайтесь тех бояр и псковских наместников, которых я пожалую наместничеством в своей отчине».

— Мы челом бьем за то государево жалование и рады слушать во всем государева наместника! — отвечали молодчие псковичи, низко кланяясь.

Их тотчас распустили по домам.

Но тем, которые заперты были в большой гридне, не суждено уже было увидеть домов своих!

К ним явились в гридню бояре и дети боярские и всех переписали по именам. По росписи этой, разбитой на мелкие росписи, как товар по накладным, дети боярские в тот же день должны были везти арестованных псковичей особым обозом в Москву. Жены же и дети их должны были отправиться в Москву под конвоем детей боярских и под начальством князя Михайлы Даниловича Щенятева — на другой же день!

Только посадник Игнатий Логинович не поехал в Москву: его вынесли из гридни мертвым!

«И все то за наше прегрешение так Бог повелел быти!» — горестно восклицает летописец. — Зане же писано во Апокалипсисе глава 54: пять бо царей минуло, а шестый есть, но не у бе пришел, шестое бо царство именует в Русии Скифского острова, сий бо именует шестый, а седмый потом еще, а осмый — антихрист. Се бо Христось во святом Евангелии глагола: да не будет бежство ваше зиме, ни в субботу. — Се убо прииде на ны зима. Сему бо царству расширитися и злодейству умножитися. Ох, увы!» [1]

XII. НЕВОЛЬНЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

28 января 1510 года по снежной дороге, пролегающей от Пскова к реке Шелони, на расстоянии нескольких верст, двигался бесконечный обоз. Сотни карет, крытых возков и колымаг, троечные и парные сани, огромные розвальни, нагруженные живностью, съестными припасами и разной провизией, речные лодки, поставленные на полозья и влекомые цугом, на вынос по четыре, по шести и по восьми лошадей — все это бесконечной змеей извивалось между сугробами придорожного снега, между покрытых инеем сосен и елей, и

[1] Псковск. летоп., I, 282.

представляло собой печальную картину не то бегства из Египта, не то осколок великого переселения народов.

Нет, это было не бегство евреев из Египта и не переселение народов, а изгнание псковичей из их родного города.

То там, то здесь раздавался плач детей или жалобные причитанья женщин. Многие женщины постоянно оглядывались назад или стояли на санях с лицами, обращенными к западу, в надежде хоть еще раз увидеть издали родные колокольни или струйки белого дыма над покинутыми ими навеки домами, где протекло их детство и молодость, — и горько, горько плакали.

Впереди бесконечного обоза, по бокам его и сзади ехали верхами московские ратники — дети боярские, конвоировавшие обоз переселенцев.

Около громоздкой кареты, запряженной осьмеркою цугом и следовавшей во главе поезда, на прекрасном вороном коне ехал пожилой мужчина в ратном богатом одеянии и по временам наклонялся к открытому окну кареты, в которое виднелись в глубине кареты заплаканные лица женщин.

Воин этот был — князь Михайло Данилович Щенятев, под главным начальством которого совершалось переселение трехсот псковских семейств в Москву.

— Не плачь, матушка, Олена Митревна, — говорил князь, нагибаясь к окну кареты. — Бог милостив, все к лучшему: поиманы есте Богом и великим государем не на лихо, милостив Бог.

— Бог-от милостив, княже, да государь не милостив, — с горечью отвечали из кареты.

— И государь будет милостив, пожалует вас попригожаю. А тебе, милая Офимьица, великий князь такого женишка на Москве подыщет, какова у тебя и в мыслях не было.

Евфимия еще пуще заплакала.

— Дитя по батюшке убивается, — послышался из кареты голос старой мамки. — А он, на-поди, женихом ее утешает.

— Что ж, и батюшка из Новагорода в Москву прибудет, да они, я чаю, давно уж по дороге к матушке Москве, — как бы в утешение несчастным заметил князь.

Вдруг ратники, ехавшие верхами впереди обоза, остановили какие-то встречные санишки.

— Стой! Кто едет? — спросил один ратник.

— Мертвец! — отвечали из санишек.

И из саней вышел человек в саване. Испуганные лошади ратников шарахнулись в сторону.

Человек в саване шел прямо к карете.

— А! Иванушка, Божий человек! — воскликнул князь Щенятев.

— Здравствуй, фараон! — отвечал юродивый.

— Фараон! — улыбнулся князь. — Что так? Откудова и куда путь держишь?

— Иду из полона египетского в землю обетованную — к себе домой.

— А где твой дом, Иванушка?

— На кладбище.

Юродивый подошел к карете. Оттуда выглядывали знакомые ему лица.

— А! Матушка, Алена Митревна! И ты, голубица чистая, и Петрушенька, и мамушка, здравствуйте! — ласково заговорил юродивый.

— Здравствуй, родной! — отвечали ему. — Откудова?

— Из Новагорода — поклон привез вам всем от милостивца, от посадника Левонтия.

— От батюшки! — воскликнула Евфимия.

— И от добра молодца Евстафия, — добавил юродивый.

— Что они? Как? — спросила посадница-полонянка.

— В добром здоровьи. Вчера проводил их в пленение египетское, к фараонам.

— Так уж повезли на Москву?

— Повезли, матушка. А у вас как?

— Как видишь, родной: вчера и нони слезами, кажись, реку Великую и Пскову дополнили.

— Так-то все у Бога: видимое дело, возлюбил нас Господь, посетил.

— Да, точно, посетил — велика Его милость!

— Велика, истинно велика! — строго проговорил юродивый. — Не смей роптать! — Сказано: кого люблю, того и наказую. Слышишь?

— Слышу, родной, а все тяжко. Какая вина на детях наших?

— И детей возлюбил Господь: сих же есть царствие Божие... Так то, голубица моя! — ласково обратился юродивый к Офимьице.

Та с усилием глотала слезы.

— А теперь ты куда же, родной? — спросила посадница Елена.

— Дальше — другим слезы утирать: вон сколько их! — указал юродивый вдоль обоза. — Всем надо поклоны передавать.

— А потом — с нами?

— Во Египет? Нет, матушка, мое место дома.

— Во Пскове?

— Да, на скудельнице великой, на кладбище: буду стеречь гробы отцов и дедов ваших.

— Поклонись им от нас — нам и проститься с ними не дали.

— Поклонюсь и помолюсь... А теперь — да хранит вас Бог.

И юродивый пошел далее вдоль обоза — «слезы утирать». А впереди ратники весело пели:

«Уж я сеяла, сеяла лен,
Уж я сеяла, приговаривала,
Чеботами приколачивала...»

Евфимия глядела из окна кареты на расстилавшуюся перед ней снежную равнину, на эти посеребренные инеем стебли сухой травы и грустно думала, что не видать уже ей родной зелени, когда, весной, она выглянет из-под снежного покрова, и родные поля запестреют цветами алыми и лазоревыми... Не завивать уж ей больше венков, не ходить в хороводах с красными девицами, не пускать венки на реку Великую...

А впереди — неприветливое свинцовое небо и незнакомая чужая сторона...

Тысяча лет назад

ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

I. ПЕРУН СЕРДИТСЯ

Воображение переносит нас за тысячу лет назад — к ранней весне 882 года.

Многоводный Днепр в полном разливе. Мутные воды его, затопив песчаные и каменистые берега, прибрежные камыши, кустарники и рощи, несли на себе все, что только удалось им сорвать и смыть с пологих берегов и круч, — и сухую траву, и целые снопы прошлогодних, пересохших за лето и зиму камышей, и весь сушник береговых рощей с перегнившим мертвым листом. Черные стрижи и ласточки, чубатые чайки и белогрудые мартышки звонко выкрикивают в утреннем воздухе, носясь над широкой водной равниной, вылавливая из воды и перехватывая на лету все, что есть живого и съедобного для голодной птицы.

Яркое утреннее солнце играет тысячами переливов на этой водной равнине, брызгая повсюду бриллиантами и изумрудом, золотя вершины гор и полугорья, сыплет золотыми снопами сквозь вершины и прогалины темного бора, бросает причудливые тени от множества темных и ярко разукрашенных лодок, целой флотилией тихо двигающихся по этой водной шири, от их тонких мачт и работающих на веслах гребцов.

Что же это за ладьи, куда плывут они и что за люди сидят в них — в шеломах и кольчугах, с копьями и мечами?

Днепр привык почти каждую весну видеть эти ладьи и этих кольчужников и копейщиков.

Это — варяги, с новгородскими и другими северно-русскими дружинами.

Первая ладья была особенно богато украшена. Носовая, далеко выдававшаяся вперед часть ее изображала какое-то чудовище в виде дракона с разинутой пастью, а корма представляла чешуйчатую спираль огромного змеиного хвоста. Высокая деревянная настилка с перилами над палубой также изображала собой чешуйчатую спину чудовища, а весла, дружно опускаемые в воду и также дружно вскидываемые на воздух двенадцатью гребцами, напоминали собой растопыренные крылья дракона.

На этой высокой настилке виднелись две человеческие фигуры: пожилой мужчина в богатой одежде иноземного гостя и мальчик лет пяти-шести — в белой атласной, шитой золотом и шелками, рубашке с прямым воротом, в малиновых широких шароварцах, убранных в красные сафьянные сапожки. Русую курчавую головку мальчика прикрывала соболья шапочка с малиновым верхом, а с открытой белой шейки спадала на грудь узорочно-сплетенная из тонко-кованных нитей золотая «гривна» — ожерелье.

— А далече еще, дядя Олегушко, до Киева? — спросил мальчик, прыгая по ковру чешуйчатой настилки и побрякивая золотой гривной.

— А недалече, Игорюшко, княжич, — был ответ.

— А что мы там делать будем?

— Княжить да володеть, князюшко.

— Как в Новгороде?

— Как в Новгороде, Игорюшко.

— И ты мне подаришь там комоня (коня)?

— Подарю печенежского скакуна.

С запада между тем надвигалась сизая туча, которая, точно живая, выползая из-за нагорья правого берега, облегала собою все более и более яркую лазурь безоблачного неба.

Порывисто пробежал по Днепру шальной ветер, завизжав и заскрипев веревками снастей и иглоподобными мачтами ладей. Днепр точно полинял от этого набежавшего из-за горы ветра, а птицы беспокойно заметались в воздухе. Высоко где-то раздался одинокий крик ворона.

Сизая туча, постепенно изменяясь в цвете, разрасталась все шире и шире, и ее, словно громадные клочья разодранной гигантской пелены с серо-сизыми отливами, гнало уже через все небо, с которого, казалось, неведомо куда сбежало солнце.

Вдруг что-то яркое прорезало потемневшие, словно бы косматые массы клубящихся облаков и глухо загрохотало.

Юный Игорь испуганно бросился к Олегу и прижался к его коленям.

— Ох, уйдем, уйдем! Боженька сердится.

— Ничего, князюшко, не бойся.

— Нет, я боюсь Перуна — ой!

Свинцовые тучи, точно застывшие на момент, снова как бы разверзлись над флотилией, и из багровой, мгновенно опять закрывшейся заоблачной пасти, вырвались огненные стрелы, и, ломаясь, скрещиваясь в застывшем воздухе, с страшным треском попадали в Днепр. Удар был так оглушителен, что даже невозмутимый Олег схватился за голову.

— Ой! Ой! Ой! — отчаянно закричал ребенок. — Он убьет...

— Ино и вправду осерчал бог, — согласился и Олег, торопливо вставая и уводя растерявшегося мальчика под «чердак» ладьи, в богато убранное коврами и болгарской, тисненой золотом юфтью, помещение.

— Боженька! Перунушко! Помилуй! Не сердитуй! — лепетал мальчик. — Я тебе барана заколю, корову, коня белого, петуха...

II. ПЕРУНОВО ИГРИЩЕ

Гроза также скоро улеглась, как и налетела. Солнце засияло еще приветливее. Днепр, оба его берега, зеленые взгорья и рощи — все осветилось какою-то радостью омытой, освеженной грозой и ливнем природы, которая, как живое существо, вся заговорила тем чарующим языком жизни, который можно только понимать и чувствовать сердцем, но не передавать словами.

Не доезжая несколько до Киева, флотилия остановилась и Олег, приказав дружинам на время укрыться с своими ладьями в ближайшем затоне, за зеленым бором, а затем по данному сигналу выйти на берег и незаметно обложить со всех сторон Киев, — сам, с двумя наиболее богатыми и обширными ладьями и своими ближайшими и надежнейшими дружинниками, двинулся прямо к городу.

Киев скоро выглянул из-за зелени густого бора. Небольшой, но хорошо обстроенный городок, красиво раскидывался по полугорью. Яркое солнце играло на гладких дощатых крышах и на узорной резьбе коньков и карнизов. Плотный частокол и земляной вал охватывали город со всех сторон, а из-за них красиво выглядывали отдельные клети и подклети богатых полян со скворешнями и голубятнями. Над главными изворотами частокола высились островерхие деревянные «вежи» — башни с прозорами и отверстиями для бойниц.

От города по воде доносилось монотонное, протяжное пение. По мере приближения олеговых ладей пение становилось явственнее: резко, по временам, оглашали воздух стройные хоры мужских голосов, а за ними чередовались женские и детские.

Это была хороводная мелодия — мелодия обрядовая, игрищная. Кияне творили игрище на берегу Днепра, у воды, недалеко от Перуна, в то время, как выше на холме крутого

спуска, где высился и угрюмо вырисовывался на синеве неба чудовищный, безобразный истукан этого самого Перуна-бога, горевшего на солнце золотыми и серебряными частями своей массивной фигуры, — жрецы-кудесники в белых одеждах и с белыми бородами приносили своему полудеревянному, полуметаллическому богу кровавые жертвы за то, что пронесшийся сейчас над Киевом свирепым ураганом и грозой разгневанный стихийный бог не поразил трепетавший от страха город ни одною из своих огненных стрел, а послал их за Днепр, на голову хищным печенегам.

Картина народного игрища и жертвоприношений кровожадному богу поражала и слух, и зрение. На головах молодых киянок пестрело целое поле цветов, особенно васильков и маку, барвинков и руты с любистком, между тем как молодые, здоровые тела их едва прикрыты были короткими, изукрашенными разными цветными узорами «срачицами» — сорочками или обмотаны вокруг стана и бедр лоскутами грубых цветных тканей. На парнях костюмы были не менее девственны — едва сметанные грубыми нитками льняные и посконные полотнища, которые и назывались «портами».

Слышалось мрачное пение жрецов-кудесников:

Ой, кровушки, кровушки наточим,
Ой, Перуна Боженьку напоим, напоим!
Сла-ава! Сла-ава!

А с берега доносились другие, ласкающие слух мелодии. Хор девиц пел:

Ой, весна красна, что нам принесла?
Ой, принесла тепло и красное летичко:
Малым ребяткам — ладушки бити,
Старым старикам — раду радити,
А мужам мужатым — поле орати,
А молодушкам — краснеца ткати,
А нам красным девицам да поиграти.
Ой, Дунай — Дунай!

Юный Игорь, забыв свой недавний страх, стоял на чешуйчатом возвышении своей ладьи и радостно плескал ручонками.

— Дядюшка! Олегушко! Пусти меня на игрище, — умолял он своего опекуна.

— Нет, князюшка, тебе не подобает играть со смердьими детьми: ты, Игорюшко, великий князь земли Русской, — отвечал Олег, лаская мальчика.

— Я не хочу князем быть, не буду.

— Ты уж и так великий князь.
— А ты кто?
— И я князь — сижу на «столе» (престол) в Новгороде.
— А я на каком столе буду сидеть?
— На киевском и всея Русии.
— Ах, дядя, я не хочу.
— Почто, князюшко? — улыбнулся Олег.
— Скучно на столе все сидеть... Я играть хочу на игрище.

В это время великокняжеская ладья, поравнявшись с киевской пристанью, бросила якорь у отмели, в значительном расстоянии от берега, а меньшую ладью Олег тотчас отправил с своими дружинниками и «отроками» к берегу на пристань, чтобы они шли в город и просили их милости — Аскольда и Дира пожаловать к нему в ладью: приехали-де из Новгорода «гости» с поклоном от великого князя Олега и с дорогими заморскими подарками — какие-де подарки угодно будет их милостям выбрать.

III. УБИЕНИЕ АСКОЛЬДА И ДИРА

Скоро окруженные своими дружинниками и дружинниками Олега с отроками, Аскольд и Дир, на богато убранных конях приблизились к берегу. Сошедши с коней, они вошли в ожидавшую их ладью, а дружинникам своим велели дожидаться их возвращения на берегу.

Неустрашимые варяги, которые незадолго перед этим навели ужас на Царьград, запрудив живописный Босфор сотнями своих ладей и угрожая взять на копье и на разграбление славную Византию, доверчиво вступили в ладью, не подозревая, что это была для них роковая ладья Харона [1].

На палубе великокняжеской ладьи их встретили ближайшие дружинники Олега и провели с почетом в то крытое и изукрашенное дорогими коврами и золототисненою юфтью помещение, где находился Олег с маленьким Игорем. Последний не по-детски чинно восседал на великокняжеском «столе» — на украшенном кованым золотом и золотыми кистями возвышении, а на груди ребенка висела золотая великокняжеская гривна. Сам Олег сидел рядом с ним, но на более низком сидение.

---

[1] Язычники-греки называли Хароном старика, будто бы перевозившего души умерших грешников в ад, через реки Стикс и Ахерон.

Увидав, вместо «гостя», Олега, Аскольд и Дир остановились в глубоком смущении.

— Добро пожаловать, госпóдо! — не то ласково, не то язвительно проговорил «вещий» Олег.

— Челом бьем господину великому князю, — отвечали пришедшие, низко кланяясь.

— Челом, а не Киевом и всей киевской землей? — спросил Олег.

Пришедшие не знали, что отвечать.

— Токмо челом бьете, а не Киевом? — переспросил Олег.

Те в недоумении молчали.

— Кому вы челом бьете? — снова спросил «вещий».

— Тебе, господине княже.

— Не мне, а вон кому добейте челом.

И он указал на Игоря, который с любопытством осматривал пришедших и болтал ногами.

Аскольд и Дир поклонились.

— Киевом бьете челом своему господину и великому князю? — допытывался Олег.

— Киевом, господине княже.

— А ноли (разве) он ваш? — уже боле суровым голосом спросил Олег.

Смущенные Аскольд и Дир молчали. Юный Игорь, соскучившись сидеть чинно на престоле, взобрался на него совсем с ногами. В резное оконце он следил, как большая белогрудая птица стремглав опустилась на воду, схватила лапами и клювом большую рыбу и поднялась с ней на воздух.

— Ах, унесла рыбку!

— Я, — продолжал между тем Олег, — отпустил вас из Новгорода с дружиной на море — промышлять над чужими городами, а вы, с соромом ушед из-под Царя-града, стали промышлять над русскими городами, и то вам вина. Почто вы своей волей Киевом володеете?

— Мы его добыли копьем, — гордо отвечал Аскольд.

— Мы ради киевской земли утерли немало пота, — добавил Дир.

Олег быстро выпрямился.

— Утерли пота! А почто вы на стол киевский сели?

Голос его звучал, словно металлический. Голубые, холодные, как сталь, глаза зловеще сверкнули.

— Вы не князи, ни княжа рода... Вот ваш князь!

И он снова указал на Игоря, беспечно игравшего гривной.

— Колите их!

В тот же момент стоявшие позади Аскольда и Дира дружинники Олега пронзили их мечами, не дав им времени опомниться, даже вскрикнуть...

С глухим стоном и хрипением трупы несчастных как снопы повалились на пол, громыхая оружием, которое было уже бесполезно для них.

— Ой! Ой! Не бейте их! Не бейте! — с ужасом закричал маленький Игорь и закрыл лицо руками.

В такой кровавой школе учился править Русской землей будущий великий князь киевский и всея Руси — гроза Византии и жертва мщения полудиких древлян.

А с берега все еще доносилось мрачное пение:

Ой, кровушки, кровушки наточим!
Ой, Перуна Боженьку напоим, напоим!
Сла-а-а-ва!

Таково было то кровавое время, и кровожадных людей воспитывало оно...

IV. НЕСБЫВШЕЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Но вот великокняжеская ладья у берега. Ее вытаскивают из воды и с торжеством несут в город на могучих плечах варягов и новгородцев. Плавно двигается в воздухе ужасное чудовище, колыхаясь из стороны в сторону. Его окружает сомкнутая цепь дружинников и отроков с мечами наголо. За ладьей ведут коней Аскольда и Дира.

Весь Киев высыпал на берег встречать невиданное шествие.

— Где же наши князи? — спрашивают иные.

— Отчего они не на конях?

— А они там, в ладье — в той золотой палатке.

— Это им честь воздают новгородские гости.

— А какая ладья! — Страшилище!

— Это не ладья, а змей-горынчище.

Но вот ладья и в городе уже, на площади, на том возвышении, откуда глядит на Днепр и на далекое заднепровье мрачный истукан Перуна.

Ладью ставят на землю у ног Перуна, жрецы-кудесники окружают ее и, поднимая к небу руки, торжественно величают:

Слава богу Перуну на небе — сла-а-ава!
Слава нашим князьям Аскольду и Диру на земле —
Сла-а-ава!

Вдруг на ладье, у той палатки, внутри которой кияне думали увидеть своих князей, распахиваются на обе стороны полы, и глазам жрецов-кудесников представилось ужасное зрелище.

В палатке, с роскошного возвышения глядит бледное, испуганное личико прелестного ребенка с золотой гривной на груди, а в ногах его, у ступеней трона плавают в крови два трупа!

С ужасом жрецы узнают, что это князья их Аскольд и Дир!

А рядом с прелестным мальчиком стоит Олег в княжеском одеянии.

Он берет мальчика за руку и, подведя к краю ладьи, торжественно говорит:

— Се князь ваш — великий князь Игорь Рюрикович!

А потом, обратясь к воинам и указывая на трупы Аскольда и Дира, говорит:

— Унесите их и похороните с честью.

В этот момент в толпе собравшихся на невиданное зрелище киян раздались испуганные крики:

— Батюшки! В городе варяги и новгородцы!

— Город взят! Стены заняты! Горе! Горе!...

Киев, действительно, во власти Олега.

— Отныне Киев будет матерью городов русских, — говорит он, кланяясь Перуну.

Опять льется кровь во славу этого кровожадного бога — это уже Олег умилостивляет его кровью.

А жрецы-кудесники опять тянут свою кровавую литию:

Ой, мы кровушки наточили, наточили,
Ой, мы Перуна Боженьку напоили, напоили!
Сла-а-ава!

Везде только кровь, кровь и кровь...

И вот с тех пор тысячу лет стоит Киев. Кого и чего не видал он в своих стенах! Скольких исторических интересных, кровавых и славных событий был он свидетелем!

Он видел, как этого самого бога Перуна, сверженного с холма и привязанного к лошадиному хвосту, били те самые, которые недавно молились ему.

Он видел крещение Руси. Он пережил Батыя, разрушившего его до основания. Он видел славу Хмельницкого и его падение. Он видел в своих стенах славное запорожское войско, гетманов — и сам пережил свою славу.

Но стал ли он «матерью городов русских»?

Нет. Он стал простым губернским городом...

Тульский кречет

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли сокол в мытех бывает, птиц вэбивает, не даст гнезда своего в обиду.
Слово о полку Игореве.

I

Тихим летним вечером, когда сумерки уже совсем спустились на землю, сверху по речке Упе, мерно покачиваясь, плыла лодка. Тула, к которой приближалась лодка, неясно вырезывалась на темной синеве неба то высокой, словно мачта, колокольней, то неровными уступами крепостной стены, и огоньки, мигавшие то там, то сям в отдалении, казались светляками в Иванову ночь. Слышен был иногда тихий плеск воды от опускавшихся в нее и подымавшихся весел...

— Да ты перестань, Воскря, веслами-то баловать: и так доплывем — рано еще...

— Нет, Поноша, мне пора домой: к завтрему, к приезду государыни, мой Кречет велел изготовить всеподданнейший доклад по одному весьма деликатному делу.

— Успеешь, ты ведь известный на все наместничество строчила...

— Не слушайте, Воскря, Франценя Венециана, пойте, а то скоро город, неловко будет, — послышался молодой женский голос.

— Ладно...

И здоровый мужской голос затянул протяжную, несколько заунывную песню:

Не было ветру, не было ветру — вдруг нявя-ануло,
Не ждала гостей, не ждала гостей — вдруг нае-ехали:
Полон двор, полон двор — воро-ны-их коней...

— Да, и к нам завтра гости нагрянут... Коней-то, коней-то что будет!

— Да, до шестисот лошадей на каждой станции заготовили — не шутка это.

— Еще бы! Под одной свитой государыни четырнадцать больших карет, да под дворцовой челядью со всеми приспособлениями да уготовлениями сто двадцать шесть, меньших карет, фургонов, повозок и всякой иной околесины...

Полны горницы, полны горницы — моло-ды-их гостей,
Полны светлицы, полны светлицы — красных де-эвушек...

— А что народу, говорят, по всей дороге нагнали! Иных, говорят, верст за сто и больше от тракту сбивали, словно на барщину — дорогу ровнять.

— Да это что! — Дорогу и мосты поправить всегда нелишнее. А то вот что выдумал наш Кречет — светлейшему Потемкину подражать: велел согнать народ к дороге тысячами, да чтоб все были в праздничном одеянии, в красном да пестром, да чтобы «у всех на лицах изображено было неизреченное блаженство и нарочитое радостное умиление, со верноподданически почтительною веселостию сопряженное», — как именно значится в ордерах, что мы разослали по пути следования государыни...

— Ха-ха-ха! Неизреченное блаженство при голодухе-то!

— Вот смешно! Почтительное веселие сопряженное! — смеялся женский голосок.

— Да, смейтесь, милые государыни мои, — а мне было не до смеху, когда Кречет-то приказывал мне таковые ордеры строчить...

Подломилися, подломилися — сени но-овые,
С частым-мелкими, с частым-мелкими — переру-убами...

— Этого мало. Со всего наместничества мы велели согнать весь скот и лошадей к почтовому тракту, чтобы когда будет ехать государыня, так видели бы по обеим сторонам дороги пасущиеся стада скота и табуны лошадей и чтобы пастушки одеты были по буколике, эдакими, знаете, амурами да пейзанами, и чтобы на свирелях нечто чувствительное наигрывали...

— Ха-ха-ха! Какой вы, право шутник!

— Да я вовсе не шучу, государыни мои: мы нарочито так распорядились.

— Что вы! Можно ли это!

— У нас все можно... Я третьегодни проезжал с губернатором осматривать этот путь для доклада наместнику, так диву дался: те деревушки, у которых, за неимением корму, голодная скотина крыши соломенные съела — так теперь покрыты казенной соломой заново, избы подмазаны и выбелины, а иные деревушки совсем снесены, которые победнее...

— А как же мужики? Где они будут жить?

— Это их дело... На место их разрушенных избушек Заборовской Иван Андреич, губернатор, — премилый барин! — наставил разных разрисованных декораций с гротами и нимфами — издали-то, дескать, примут за настоящее... Рай да и только!

— Где ж вы набрали этих нарисованных деревень с нимфами?

— А напрокат взяли у тех губернаторов, у потемкинских, где государыня уже проезжала и умилялась благосостоянием ее подданных...

— Ах, какой наглый обман! — протестовал свежий женский голосок.

— Обман — точно-с — и наглый, да что поделаете с Кречетом-то, с Михаил Никитичем? У него все напоказ да напрокат взятое — даже честность... Я докладывал ему: не надо-де государыню обманывать — она-де, милостивая мать наша, — пожалеет о бедности своего народа, войдет в его положение... Так и слушать не хочет: с ней-де едут иностранные послы, так они-де острамят нашу матушку Россию на всю Европу...

Не плачь-но, не плачь-но — душа Марьюшка,
Я построю тебе, построю тебе — сени но-овые...

Песня замирала далеко в сонном воздухе. Лодка почти не двигалась...

— Ах, как хорошо! Всегда бы тут стоять — всю ночь до зари, — задумчиво сказал другой женский голос.

— Нет, я люблю больше утро, чем ночь, — отвечал тот голос, что пел. — Когда просыпается природа, ах, как она тогда хороша!

— Точно просыпающаяся Аполлинария Николаевна, — заметил тот, которого окликали Поношей.

— А разве вы видели меня просыпающейся, гадкий Поношка! — резко отозвался женский голос.

— А как же-с! Очень часто-с...

— Ах, гадкий Поношка! Когда ж это?

— Всякий раз, когда вы играете со мной в «Титовом милосердии» и когда является... (Молчание).

— Кто? Кто является?

— Он... (Опять молчание).

— Ах! Говорите, гадкий Поношка, кто он?

— «Тит»... «Милостивый»...

— Ну, уж! Вот еще!..

Лодка силой течения все ближе и ближе подвигается к городу. В темноте рисуется едва заметный силуэт моста, перекинутого через Упу. Городские огоньки блестят ярче, отражаясь в воде. Явственнее доносится лай собак.

— А что еще пишет Храповицкий вашему Кречету из Крыма?

— Много интересного: в восхищении от Крыма, Севастополя и от Бахчисарая... Государыня не нарадуется этому приобретению и всю честь сего дела относит к Потемкину, жаль, говорит императрица, что не там построен Петербург... Все-де завоевания императора Петра на севере не стоят одного Крыма.

— Да, оно и точно.

— Описывает еще Триумфальные ворота в Перекопе и в Кременчуге, на перекопских написано золотом: предпослала страх и привнесла мир, а на кременчугских: возродительнице сих стран.

— А если все это только декорации с амурами?

— Что ж! Без амуров и трава не растет.

— Не цветет, скажи... Так ли, Аполлинария Николаевна?

— Я почем знаю...

Слышно было, как в городском саду, под крепостными стенами, трещал соловей...

— Вон и у него амуры на уме... Уж как мал, а все ж и его, как говорит Тредьяковский —

...беспокоит Венерин амур —
Всякую голову мучит свой дур.

Лодка привернула к берегу и пристала к мосткам, сильно качнувшись. Дамы ахнули и ухватились за мужчин...

— То-то, за соломинку хватаетесь, Аполлинария Николаевна...

— Какая соломинка! Целое бревно...

— Где уж нам до тоненького «Тита»!

Из лодки вышли трое мужчин и две дамы в соломенных шляпках. Тот, которого звали Францелем Венецианом и который рассказывал о приготовлениях к встрече Екатерины, стал было прощаться.

— Ни-ни, милый человек, ни за что! — останавливал его тот, которого звали Поношей.

— Нет, ей же Богу, у меня дело есть — этот всеподданнейший доклад, — отбивался Францель Венециан. — Да и будет уж, погуляли: обедали, пили, катались, природой наслаждались...

— А ужинать? Нет, брат Францель Венециан, без ужина не отпущу.

— Да, да, оставайтесь, Семен Никифорович, — настаивали и дамы. — Без вас будет скучно.

— Эх! Была не была! — и Семен Никифорович махнул рукой.

II

На другой день, именно, в день приезда императрицы Екатерины II в Тулу, 20 июня 1787 года, к Семену Никифоровичу Веницееву — так звали катавшегося на лодке правителя канцелярии тульского и калужского наместника Кречетникова, — рано утром прибежал дежурный чиновник и велел его разбудить.

Францель Венециан — так звали Веницеева в приятельском кружке — с трудом открыл глаза: после вчерашнего кутежа голова его вмещала в себе невообразимый хаос, а лицо и глаза были красны. Он бессмысленно смотрел на посланного...

— Что там случилось? — спрашивал он, хватаясь за голову. — Ах, моя бедная башка!

— Да случиться ничего, Семен Никифорович, не случилось, — отвечал посланный. — Только Михайло Никитич требует вас сию минуту.

— Ах, Боже мой! Это всеподданнейший доклад ему нужен... Доложите, что сейчас принесу.

Чиновник ушел. Веницеев отчаянно махнул рукой.

— Ах, проклятое бражничанье! Что я теперь буду делать! Ведь у меня и строчки нет готовой... Дело-то помню, да на бумаге ничего нет... Архип!

В комнату вошел небритый, сухой старик, стриженный под гребенку, с грязным передником и в башмаках на босу ногу.

— Чего изволите, барин?

— Воды со льдом принеси в сарай да побольше, — окачиваться буду.

— Слушаю-с... Государыню встречать изволите?

Веницеев с нетерпением махнул рукой и подошел к зеркалу...

— Бражник, сущий бражник, — бормотал он. — Ах, проклятая гулянка! Ну, и вертись теперь с докладом, как вьюн на песке.

Менее чем через час, с лицом, однако, все еще красным, но несколько более благообразным, Веницеев был уже в кабинете Кречетникова. Этот сановник, причислявший себя к «орлам из стаи Екатерины», в самом деле старался казаться орлом и корчил из себя Потемкина: лицо его всегда силилось «внушать», и потому отдавало деревянностью и надутостью... Язык, особенно с подчиненным, был отрывист, кочковат, голос грубый, словно лаянье большой собаки...

— Готов доклад?

— Готов-с, ваше превосходительство.

— Ну, так читайте!

Веницеев неторопливо полез в портфель, вынул несколько папок с бумагами, положил на столик у окна, взял белые, неисписанные листы, и, закрывшись ими, стал медленно и внятно читать изложение «деликатного дела». Кречетников, ходя по кабинету с заложенными за спину руками, слушал его и иногда взглядывал в большое зеркало, стараясь сделать то внушительное, то очаровательное лицо, не замечая, что оно при этом делалось совсем глупым... По временам он выглядывал в окно и прислушивался к шуму голосов на улице, по которой с зари сновал народ... Веницеев все более и более входил в роль, конец доклада вышел особенно звучным, точно ломоносовская ода...

— Прекрасно, прекрасно! — соблаговолил Кречетников похвалить чтеца, когда он кончил.

Веницеев поклонился и сунул бумагу в папку.

— Теперь только подписать, подайте сюда...

Веницеев замялся и схватил папку под мышку.

— Подайте же, я подпишу, — настаивал Кречетников. — У меня сегодня пропасть дел.

Веницеев сразу припомнил и вчерашнее катанье по Упе, и эту проклятую песню — «Не было ветру — вдруг навянуло», и ночную пирушку с актрисами... «Не было горя — вдруг навянуло», — ныло у него в тяжелой, недоспанной голове... «Навянуло!»...

— Ну, что же!

— Виноват, ваше превосходительство... Я читал то, что еще... Не написано...

— Не написано!

— Виноват... Вот здесь...

Кречетников схватил бумагу. — На ней не было ни слова...

— Как вы осмелились не исполнить моего приказания!.. Императрица будет в Тулу непременно к обеду, а я не представлю ей этого доклада... Вы, сударь...

Кречетников задыхался... Веницеев ждал, когда пройдет первая вспышка...

— Вы, вы, сударь... Вы не исполняете ваших прямых обязанностей, невнимательны к моим приказаниям!..

Веницеев молчал, глядя на белые листы бумаги... — «Навянуло»... Ах, черт, вот история...

— Императрица сама изволит интересоваться этим делом, а вы меня подводите...

Кречетников снова зашагал по кабинету и нечаянно увидал свое лицо в зеркале: оно было непривлекательно... Совсем невнушительное и неочаровательное...

Веницеев поймал момент...

— Прошу одного снисхождения: позвольте мне выполнить вчерашнее приказание в присутствии вашего превосходительства, — заговорил он.

— Поздно, сударь, поздно... Вы все бражничаете!

— Осмеливаюсь уверить, ваше превосходительство...

Кречетников быстро повернулся к Веницееву...

— Меня не в чем уверять, когда я знаю, что вы всю ночь не были дома, — вы находились в кругу ваших приятелей, весьма подозрительной нравственности...

«Вот тебе и на!.. Не было ветру — вдруг навянуло... Ах, Поношка... Поношка, ну, и задам же я тебе, ракалья...» Он молчал, понурив голову... «Пронеси, Господи...»

— Что же теперь нам делать, сударь? А?

— Еще успеем-с...

— Это невозможно! — Кречетников глянул на часы.

— Честью ручаюсь, что все будет готово.

— Хорошо, садитесь здесь и работайте, а я пойду: у меня просители, у меня голова кругом идет...

Он принял торжественную осанку и как петух зашагал навстречу кур...

«У тебя кругом идет, а у меня вверх ногами», — бормотал про себя Веницеев, усаживаясь за стол и нагибаясь к бумагам. — Помоги мне, памятушечка моя, ты всегда меня выручала!..

«Не было ветру, не было ветру — вдруг навянуло...»

— Ах, отвяжись ты, проклятая! — невольно вымолвил он вслух.

Веницеев писал, не подымая головы. Изредка только он перелистывал лежавшее перед ним дело, задумывался, грыз перо, тер переносицу, как бы в ней ища вдохновения, и снова писал. Привычная рука не дрожала... Перо скрипело ровно, энергически выводя круглые буквы с завитушками...

«А Поля-то прелесть... Услада сердечная... Что это он врал о «Титовом милосердии», невольно вспомнилось ему, когда он передохнул: «Говорят, императрица охотно слушает сию пьесу...»

«Не было ветру, не было ветру...»

— Тьфу ты, дьявол!

И перо опять заскрипело... Белые листы исписывались и сохли в стороне...

— Без песку... Она, говорят, не любит, чтоб песком засыпали... Надо на «матернее милосердие» напирать... А то «Тит» — ишь ты, ракалья, только Полю смущает... Да, да, «матернее милосердие», «матернее око», «матернее сердце» — это хорошо...

Опять перелистыванье дела, трение переносицы и скрип пера...

— Го-го-го-го! Мотрите-тко, какое есть сажонное! — доносилось с улицы рокотанье толпы. — Екатерина, значит, — с естем золотым пишется...

— Финис! Важно! — откинулся на стуле Веницеев. — Вот и кончено...

«Не плачь-но, не плачь-но, душа Марьюшка...»

— Вот навязалась!.. А увижу ли близко самое государыню и этого, любимчика, Мамонова?.. «Бражничаете»... Гм... И как он пронюхал?..

В кабинет вошел Кречетников.

— Готово?

— Готово-с, ваше превосходительство, только сшить, — вскочил Веницеев.

— Подайте, я сам прочту.

Кречетников уже боялся быть обманутым второй раз. Веницеев подал ему написанное и ждал, со скрытой улыбкой поглядывая на своего начальника...

На улице становилось все шумнее.

Кречетников долго и внимательно читал...

— Так, так... Стиль хорош... И матернее око — это на месте...

Записка прочитана наконец...

«А около естя, гляди-тко, голеньки робятки», — доносилось с улицы. — «Это аньделочки — с крылышками...» — «Какие аньделочки! Амуры-ста!» — «Что ты врешь!..»

— Прекрасно! Теперь только я вас прощаю, — выронил слово громовержец, подписывая доклад. — Будет чем императрицу встретить — она уже на пути к нам...

III

Екатерина действительно находилась уже «на пути царственного шествия» в Тулу...

Что это было за шествие!..

Известно, что императрица выехала из Петербурга для обозрения, как выражалась сама, «своего маленького хозяйства» еще зимой, в январе 1787 года. Современные «хвалители Семирамиды севера» так описывали это «шествие»: «Начало года, — вещает историк Сумароков, — представит нам событие великолепнейшее, достопамятное в эпохах мира!.. Екатерина предпринимает обозреть новое свое царство Тавриду, и цари поспешат во сретение ей!.. Шествие следовало на 14 больших каретах и на 120 санях. Они занимали собой в дороге более версты. Поселяне смотрели на то с изумлением. Порядок и довольство, соблюдаемые при дворе, сохранялись с точностью и в пути. Передовые гоффурьеры приготовляли в назначенных местах трапезы, ночлеги. Императрица, по обыкновению, пробуждалась в 6 часов и занималась делами. Останавливались для обедов в 2. По вечерам, после разговоров и игры в бостон, расходились в 9 часов. Лишь переменные чертоги напоминали о разлуке с Петербургом. Какое приятное общество из просвещенных людей! Какая свобода, простота!.. Сколько разных анекдотов!.. Иностранные министры сидели с императрицей поочередно. Тогда продолжались жестокие морозы, доходившие до 17 градусов, и шествующие кутались в соболях, попирали ногами богатые ковры... Повсюду встречи от наместников, губернаторов, дворянства, купечества! Повсюду колокольные звоны! Ночью горели на улицах костры дров... Простолюдины сбегались к окнам своей повелительницы: она запретила отгонять их и, показываясь, удовлетворяла любопытству...»

Это ли не «событие великолепнейшее, достопамятное в эпохах мира...»

Другой «хвалитель», французский посол, граф Сегюр, лично следовавший в этом «шествии», гласит: «Наши кареты на высоких полозьях как будто летели... В это время — во время самых коротких дней в году, солнце вставало поздно, и через шесть или семь часов наступала уже темная ночь. Но для рассеяния этого мрака восточная роскошь доставила нам освещение, на небольших расстояниях, по обеим сторонам дороги, горели огромные костры из сваленных в кучу сосен, елей, берез, так что мы ехали между огней, которые светили ярче дневных лучей. Так величавая властительница севера среди ночного мрака изрекла свое «да будет свет»!.. Можно себе представить, какое необычайное явление представляла на этом снежном море дорога, освещенная множеством огней, и величественный поезд царицы севера со всем блеском самого великолепного двора...»

Нет, мы себе этого представить не можем... Где нам!

Мы можем представить себе только «явление обычайное», не «царей спешащих во сретение царице», а «поселян», «простолюдинов», согнанных к дороге со строжайшим наказом, чтобы «у всех на лицах изображено было неизреченное блаженство, с почтительною веселостию сопряженное...»

С самого раннего утра Заборовский вихрем носился по дороге, окруженный капитан-исправниками и другими, высшими и низшими чинами полиции. Сколько челюстей было выбито в это достопамятное утро, сколько скул сворочено на сторону, сколько спин отодрано за то, что на голодных и измученных лицах недостаточно изображалось «неизреченное блаженство» или же оно недостаточно «сопрягалось с почтительною веселостию»!..

У одной группы мужиков и баб, пригнанных к дороге из самого дальнего угла тульского уезда, Заборовский заметил бледную, с отекшим лицом бабу, которая вынимала из сумки какие-то, как показалось Заборовскому, комья грязи и раздавала по кусочку этой невообразимой чернети плачущим детям.

— Что это у тебя, бабка? — подскакал он к группе.

Растерявшаяся баба изумленно смотрела на него. Мужики посымали шляпы и шапки.

— Какие это у тебя комья грязи? — допытывался губернатор.

— Хлебец святой, батюшка, — отвечала догадавшаяся баба.

— Хлеб! Такой хлеб!

— Такой, кормилец... Да и такова, родимый, уж нету-ти...

Заборовский вспылил и накинулся на всю группу.

— Лентяи! Пьяницы! Весь хлеб на зиму пропили!.. Если я еще у кого увижу тут кусок такой грязи, на месте запорю! В Сибирь сошлю! Помните это!

У другой группы он увидел мужика в лохмотьях: старик мужичок, опираясь на клюку, казалось, с «неизреченным блаженством» смотрел на господ, блиставших золотом и мишурой... В самом деле, он первый раз в жизни видел такой блеск, какого доселе не видал ни на попах в ризах, ни на образах в своей бедной сельской церквушке, и искренно радовался, что хоть «перед смертушкой» Бог сподобил видеть его «экое — ах!»

— Ты как попал сюда, оборванец, — осадил своего коня Заборовский как раз перед носом зазевавшегося старика в лохмотьях.

— Ах, золотой мой! В эких ризах, батюшка! — с умилением бормотал старик, уставившись очарованными глазами на блиставшего златом губернатора.

— Как ты смел сюда явиться, — с большим гневом закричал Заборовский.

— Пришел, золотой мой, матушку нашу кормилицу посмотреть — помолиться на ейный образ...

— В таких-то лохмотья, пьяница!

— Так-ту, золотой мой, ничево-ничевошутки — я так и в церкву хожу, к самому Боженьке...

— Да вам приказано было одеться чисто, по-праздничному — нам Бог великий праздник посылает: всепресветлейшую императрицу встречаем, а вы, канальи!..

— Ах, золотой мой: у меня нетути ничевошутки праздничново — это и праздничное.

И старик добродушно встряхнул своими лохмотьями и улыбался без всякой горечи...

— Так вон отсюда! Дальше от дороги!.. А увижу — закатаю!

В третьем месте он действительно «закатал» «пастушка», который отлучился «до ветру» от пригнанного к дороге стада...

Недаром, в «Дневнике» Храповицкого через несколько дней после этого записано: «Надежда на Заборовского в хорошем управлении губерниями, ему порученными: в нем замечена твердость...»

В то время, когда Заборовский сек «пастушка», вдали, расставленные вдоль дороги конные махальщики, замахали, — и все оцепенело в ожидании...

IV

В «Дневнике» Храповицкого под 20 июня этого года записано: «Приехали к обеду в Тулу».

Мое перо не в силах изобразит всю прелесть и торжественность царственного вшествия в этот город, с таким искусством устроенного Кречетниковым и Заборовским, и еще менее перо мое в состоянии будет изобразить чувства, одушевлявшие собравшихся из соседних уездов и губерний россиян. Мы предоставим описание это очевидцу, слова которого воспроизведены в 1842 году «Москвитянином»:

«Еще за несколько дней до прибытия великой государыни, — говорит почтенный очевидец, — множество дворян и даже простолюдинов приехали и пришли к нам из Рязанской,

Тамбовской, Воронежской и Калужской губерний, чтобы видеть ее, поклониться ей и, если можно, сказать: «Матушка! Мы твои верные подданные, любим, обожаем тебя и благословляем судьбу, благодарим Бога, что мы русские...»

«С самой зари того незабвенного дня, в который ожидали высочайшего прибытия, все уже поднялось на ноги, все, как говорится, разряженные в пух, спешили на Киевскую улицу, чтобы занять лучшее место. Рогатки, брошенные поперек переулков, упирающихся в Киевскую улицу, прервали сообщение. Канаты протягивались от крепости до Триумфальных ворот, сооруженных по этому случаю, и езда по ней совершенно прекратилась. Одни колонны граждан торопливо шли за город, другие в поле, но вся масса народа двигалась и стояла по Киевской улице. Многие поместились на кровлях домов, у открытых окошек которых чинно и жеманно сидела тульская аристократия и дамы среднего состояния. И все говорили об одном предмете, и все одушевлялись одной мыслью, одним желанием скорее увидеть матушку-царицу. Да, с позволения вашего, понимаете ли вы это слово: «Матушка!» Не думаю! Надобно жить нашим умом, нашими чувствами и в наше время, чтобы вполне понять всю его силу и значение. Ведь его не выразят никакие сладкие слова, не объяснит никакой академический лексикон: это язык нашего народа, как целой нации великой империи, которой подсказало его сердце и звуки русского слова выразили: мать отечества!.. Посмотрели бы вы тогда на этот веселый народ, послушали бы вы его радостного говору!.. Не ищите народности в книгах — она живет в толпе простолюдинов. Трудно ее схватить: она почти неуловима...»

«В восемь часов утра наместник наш, Михаил Никитич Кречетников, проехал верхом по Киевской улице за город, отдавая на пути приказания его окружающим. Как теперь помню, день был прекрасный. Уже солнце подходило к полдню, а матушки все еще не было. Да скоро ли ты, наша родная, к нам пожалуешь, говорили многие, и все смотрели туда, откуль ожидали ненаглядную... И вот в исходе первого часа гром артиллерии, беглый оружейный огонь, звон колоколов и отдаленное ура раздались и потрясли воздух. Сладостные, блаженные минуты! Вы памятны нам, сторожилам. Наконец как бы пришед в себя от упоительного самозабвения, сказали друг другу: «Матушка едет! Матушка едет!» И парадная карета, вся в золоте, с короной на империале, с восьмью опущенными стеклами, в которой сидела императрица, быстро въехала в город и помчалась вниз к крепости. Наместник и губернатор,

оба верхами, скакали первый по левую, а второй по правую сторону кареты. Кроме военных генералов и штаб-офицеров, целый эскадрон драгунов с обнаженными палашами конвоировали великую. Вслед за ней тянулись вереницей придворные экипажи, мы потеряли им счет — так много было их в этом блестящем и великолепном поезде. Августейшая путешественница с милостивыми взглядами, с очаровательной улыбкой изволила раскланиваться на обе стороны торжествующему народу, оглашавшему воздух радостными кликами. Императрица остановилась во дворце, находившемся на оружейном заводе — там, где ныне воздвигнуто громадное здание, известное под именем паровой машины. Волны народа хлынули на дворцовую площадь. Оба берега Упы и оба моста, перекинутые чрез эту реку, амбразуры на крепости, обращенной к заводу, унизаны были любопытными...»

«Между тем как множество красивых лодок скользило по Упе и все находилось в деятельном движении, матушка царица благоволила подойти к открытому окну и приветствовала народ поклоном. Народ, увидев самодержавную, вместо ответа, грянул свое любимое: ура! Но стоявшие позади государыни граф Иван Григорьевич Чернышов и обер-камергер Шувалов дали знак рукой, и все замолкло. Великая вторично поклонилась и довольно громко сказала: «Здравствуйте, дети!» Тогда восклицаниям не было конца, многие упали на колени, и у каждого прошибла горячая слеза на глазах...»

«О, если бы можно было ювелиру оправить в золото эту крупную, горячую слезу народную, как оправляют они дорогие каменья, — она была бы для нас драгоценнее бриллианта!»

«В вечеру того же дня государыня была в театре, находившемся на площади, где теперь построен экзерциц-гауз. Общее желание публики требовало: «Титова милосердия». Но по высочайшей воле отменили эту трагедию, а дали «Хвастуна», сочиненного Княжниным. Тогда «Хвастун» был в почете: редкие не знали из этой комедии хоть несколько стихов. Спектакль шел превосходно. Государыня изъявила удовольствие свое, аплодировав актерам, из которых двух тогда же приказано было отправить на казенный счет в Петербург. Наш Пономарев (это знакомый уже нам Поноша, что вчера вместе с Веницеевым, Воскрею и двумя дамами-актрисами катались на лодке по Упе, пели, а потом всю ночь прокутили у Поноши на именинах) — Пономарев сделался известным впоследствии. Заборовский поднес Екатерине Великой оду, сочиненную на ее прибытие г. Воскресенским (это Воскря-то,

что вчера пел «не было ветру — вдруг навянуло»), студентом Московского университета, уже служившим в приказе общественного призрения. Воскресенскому прислали приличный подарок и, сверх того, ему приказано было сказать, что его стихотворение «очень хорошо...»

Когда императрица поехала из театра, блистательная иллюминация уже освещала весь город. Огромная прозрачная картина с ее вензелевым именем (это картина, как толковалось на улице, «с естем золотым») и эмблематическими изображениями во вкусе того времени (это — «анделочки голеньки») поставлена была напротив дворца, по ту сторону Упы. К каждому боку этой великолепной картины примыкали два ряда высоких пирамид, обнизанных тысячами шкаликов. Дворец, собор, оружейный завод и крепость казались облитыми ярким ослепительным огнем. По реке плавала большая шлюпка, убранная разноцветными фонарями, в которой находились песенники. Два оркестра военной музыки, помещенные на платформах, попеременно играли лучшие пьесы знаменитых композиторов. Везде волновался народ, веселый, радостный, счастливый — словом, каждый из нас забыл собственное горе и заботы, сопряженные с хлопотливостью, забыл и вражду, все, все забыл, кроме одной отрадной мысли, что мы завтра увидим нашу самодержавную, нашу добрую, приветливую государыню, нашу матушку-царицу. Умники говорят, что на земле нет блаженства — пустое! Будьте верными подданными, исполняйте совестливо и честно ваши обязанности, и вы согласитесь со мной, что и на земле можно еще получить радости небесные...»

Действительно, где «умникам» понять это! Да «умники» и не сумели бы изобразить все так, как это сейчас изображено — куда им...

V

Тем же вечером, скорее ночью, после театра, далеко за полночь уже, у Вениценва собрались его приятели, которых он созвал, как выражался сам, «для вспрыснутия монаршей милости». Что это была за «милость» — пока еще никто из друзей Вениценва не знал. На «вспрыснутие» явились Поноша, закадычный друг Вениценва, который был большой любитель театра и поэзии, другой актер, который всегда играл императора Тита в «Титовом милосердии» и которого за это и прозвали Титом милостивым, знакомые уже нам дамочки-

актрисы, Аполлинария Николаевна и Наташа Дикова, и наконец Воскресенский-Воскря. Все это была та же компания, которая накануне приезда Екатерины в Тулу каталась на лодке вверх по Упе, к ним присоединился не бывший тогда и Тит милостивый.

Веницеев был в наилучшем расположении духа, да и гости были веселы и одушевлены, исключая Аполлинарии Николаевны, которая смотрела задумчиво и грустно.

Гости собрались в кабинете хозяина, в просторной комнате, удобно меблированной и не заваленной ни книгами, ни бумагами, а только украшенной несколькими картинами буколического содержания. У дверей стоял все тот же небритый Архип, но только в башмаках уже не на босу ногу.

— Подавай прежде змею шипучую, а потом закуску, а потом опять змею, — скомандовал хозяин.

Архип исчез и тотчас же явился назад с подносом и «змеею» в засмоленной бутылке и поставил все это на стол.

— Да ты прежде, Францель Венециан, скажи, какая тебе «милость» вышла, — сказал Пономарев.

— А ты, Поноша, скажи «покажи» а не «скажи», — весело перебил его хозяин.

— Ну, «покажи» — посмотрим.

Хозяин достал из стола маленькую шкатулочку и поставил на стол.

— Открой, — лаконически сказал он.

— А если там мышь? — отстранился Пономарев... — Я мышей боюсь.

— Не мышь.

— А если это Пандорин ящичек? — заметил Воскресенский.

— Не Пандорин, а мой.

Воскресенский приподнял крышку.

— Золотая табакерка!

— Вынь!

Он вынул.

— Батюшки, какая тяжелая! Чуть не уронил...

— Ах какая прелесть! — ахнула Наташа Дикова.

— Открой, понюхай! — командовал хозяин.

Воскресенский открыл табакерку.

— Батюшки! Червонищи!

— Поздравляем! Поздравляем! — заговорили все, протягивая хозяину руки. — За что это?

— Архип! Выпусти змею!

Архип стал откупоривать бутылку.

— Расскажи же, за что, Францушка? — спросил Пономарев.

— А вот слушайте. Воротившись от тебя с пирушки далеко за полночь, я не помню как добрел до постели...

— Я вас довел, барин, — вмешался Архип, возясь с бутылкой. — Вы все еще изволили говорить сами с собой: «Имею счастье всеподданнейше доложить...»

— Так-так! Это я спьяну-то сочинял доклад государыне, что мне Кречет приказал изготовить к утру... Воображаю, что молол...

Пробка хлопнула и ударилась об потолок.

— Ах! — вскрикнула Наташа Дикова.

— Ничего-с, сударыня, это несмертельно... В бокалы змею! — распоряжался хозяин. — Ну-с, государи мои, умер я, лежу в гробу у Морфея, — вдруг меня будят: к наместнику-де доклад подавай... — А у меня в голове ад кромешный и скрежет зубов — пожар в голове... «Заливай, говорю, Архип, пожар!» — Залили маленько... Являюсь к Кречету, словно кур из щей. — «Что всеподданнейший доклад?» — рычит лев. — Готово-с, говорю... Вынимаю бумагу, а на бумаге пустыня аравийская — хоть бы буковка... Напрягаюсь, читаю словно пономарь, и «матерное милосердие» тут и все эдакое... — «Прекрасно!» — рычит: «Давайте подпишу!» — Туда сюда... — «Давай!» — рычит... — «Нечего, говорю, дать: пустыня аравийская...» Ну, и пошла писать...

Вдруг все расхохотались. Хозяин оглянулся, и сам, что называется, покатился со смеху.

Подле стола, опершись одной рукой на стол, а другой заложив за жилет, стоял Пономарев «в позе высокомерия». Все узнали в этой позе Кречетникова: так хорошо Пономарев его передразнивал.

Так вы, сударь, осмелились не исполнить мое приказание!

— Виноват, ваше высокопревосходительство.

Пономарев сделал вид, что Кречетников, польщенный «высокопревосходительством», делает еще более глупое лицо, но смягчается.

— Ну так вот-с, ваше высокопревосходительство, я и сел там же строчить — и настрочил... А когда приехала государыня, то через часа два ко мне в канцелярию влетает сам Заборовский... «Великая государыня, говорит, вас требует...» У меня признаюсь, душа дальше пяток ушла... Иду ни жив, ни мертв... Принимают милостиво, с очаровательной, ангельской улыбкой... А тут кругом кладбище да небеса: кресты да звезды да косы, боги олимпийские, а не люди... Слышу ангельский глас —

это сама изволит говорить: «Ваш доклад я прочитала с особенным удовольствием. Охраняйте Михайла Никитича: он человек военный и легко может ошибиться в делах гражданских...» Да мне вот сию сокровищницу, скинию завета (он указал на золотую табакерку) — в ланы мои скверные и вложила... Я — бац на пол, к ножкам ангельским — да и ну реветь кабаном... Так меня сам Кречет изволили любезно вывести...

— Браво! — закричал Пономарев. — Урра!

— Урра! — подхватили гости, а дамы хлопали в ладоши.

— Теперь берите змия за хвост — разом, государыни мои и государи! — воскликнул хозяин.

Все взяли по бокалу. Хозяин поднял свой над головой, а другой рукой приглашал гостей к вниманию.

— За драгоценное здравие мудрейшей из царей земных и цариц — матери отечества.

— Урра! Ура!

Когда было выпито за здоровье императрицы и гости сели, Воскресенский встал и поднял руку.

— Смотрите, господа — что это! — громко сказал он, выставляя указательный палец.

На пальце блеснуло что-то иридиевыми блестками.

— Что такое! Что? покажи, Воскря!

На пальце оказался золотой перстень с бриллиантом.

— Откуда это?

— Государыня пожаловала за поднесенную ей оду...

— Твою?

— Мою.

— Ах тихоня! Когда ж ты поднес ее?

— Не я поднес, а губернатор... И мне изволили прислать сие благополучие и повелели сказать, что стихотворение мое «очень хорошо»...

— Каков тихоня! Недаром он вчера все пел: «Не было ветру — вдруг навянуло...» И точно вдруг на всех «навянуло»... На нее, на матушку нашу, мало молиться...

Все рассматривали перстень, хвалили. Одна Аполлинария Николаевна сидела грустная и молчаливая.

— Вы что такая скучная, богиня моя? — ласково спросил ее хозяин.

— У нас горе, — отвечал, вместо нее, Пономарев. Аполлинария Николаевна вспыхнула.

— Какое у нас горе, богинюшка? — настаивал хозяин.

— Большое, — снова отвечал Пономарев. — Уж нам (он сделал ударение на слове «нам») не придется больше вместе с милой богинюшкой играть «Титово милосердие».

— Почему же?

— Да и на нас с Титом милостивым тоже «навянуло»...

— Что такое? Я ничего не понимаю.

— Так слушай и понимай. Когда мы сегодня кончили «Хвастуна» и не успели опомниться от радости, что нам сама всемилостивейшая государыня изволила своими ангельскими ручками плескать, как за кулисы входит сам...

Пономарев остановился...

— Кто сам? — допытывался хозяин.

Вдруг все рассмеялись... Пономарев опять изображал Кречетникова...

— Государыня императрица, — начал он голосом и манерой наместника, и лицо его было надуто и необыкновенно смешно, — изволила остаться весьма довольной нашей и вашей (он кивнул по направлению Титу милостивому) игрой, и повелеть соизволила объявить вам свою монаршую волю и милость: государыня приказала отправить вас на петербургскую сцену на счет ее величества...

Веницеев со слезами на глазах бросился целовать обоих актеров...

— А как же мы-то тут без вас? — как бы спохватился он.

— И вы с нами, — отвечал Пономарев.

— Как же это, Поноша, друг?

— А вот как... Ваш Кречет скоро высоко воэлетит и очутится в Питере — и ты с ним, а значит и с нами.

— Но, друг, это еще покрыто мраком...

— Нет, не мраком... Не далее, как сегодня, я уловил за кулисами разговор его с губернатором, хоть они шептались: сокол-то твой говорил Заборовскому, что государыня осталась необыкновенно довольна всем, что видела по дороге в пределах его наместничества, и сказала якобы ему: «Спасибо вам, Михайло Никитич: я нашла в Тульской губернии то, что желала бы найти во всех других губерниях...»

— Это правда: государыня так именно и изволила выразиться.

— Но это не все, — перебил его Пономарев. — Главное-то из того, что я подслушал, не сказал.

— Что же это такое, друг?

— А вот что... Сокол-то твой и говорит Заборовскому: «Вам, Иван Александрович, говорит, я обещаю свое наместничество — исходатайствую, а за себя я уже просил Нарышкина, Льва Александровича, чтоб меня-де поставили поближе к государыне — в Питер... Хоть он-де, говорит, Нарышкин,

играет роль шута у государыни — нового-де Балакирева изображает, однако-де в милости у государыни обретается, в фаворе, ибо смешит ее после обеда для пищеварения — и он-де мне обещал свою протекцию...»

— О! В таком случае из этого ничего, кроме зла, не выйдет, — заметил Веницеев.

— Почему же?

— Ты не знаешь Заборовского, друг мой: он подкапывается очень искусно под Кречета, и поверь мне, напакостит ему за сегодняшний разговор — вот увидишь.

— Чем же он может напакостить?

— А тем, что сегодня же передаст Нарышкину этот разговор, сам выскочит, а Нарышкин завтра же такого поднесет Кречету, что тот и не расхлебает...

VI

Нарышкин действительно «поднес»...

Утро. Солнце только что выглянуло из-за горизонта и брызнуло пурпуром на золотые кресты и церковные маковки, на зубчатые верхушки крепостной стены. День обещает быть тихим, жарким. Стрижи и ласточки, как просыпанный в воздухе мак, реют вокруг церквей и над крепостными стенами, словно торопясь прожить свой короткий век и уловить все его нехитрые радости...

Императрица, с пером в руке, откинувшись на кресле, задумалась. Перед ней на столе лежит не конченное письмо. Левой рукой она задумчиво перебирает и как бы выглаживает кружева своего белого утреннего капота...

«Да, невидное, небывалое царство... Что царство македонское, что Рим, что Византия, что империя Карлова!.. Встали бы они да посмотрели на мое царство... Мое... Вот в этой слабой женской руке оно, в моем женском сердце оно все, необъятное... И я его всего не видела, не исходила — жизни не хватит, чтобы видеть все то, что мое... И я его приумножила... Ангальт-Цербст... О, мое маленькое, детское гнездышко!.. Где оно? — маленькое, маленькое, дорогое... А в этом гнездышке я мечтала быть принцессой такого же маленького гнездышка, какого-нибудь Зигмарингена... Бедное гнездышко! Я променяла тебя на орлиное гнездо...

«Царица савская... Царица севера... Нет и юга, знойного, жаркого юга... Царица Тавриды... Царство Митридата Великого стало моей губернией... Тавроскифы мои подданные... Я

была в гостях у дочери Агамемнона — у Ифигении — моей подданной... Царство Гиреев — мое царство... Херсонес, где крестился Владимир святой, Херсонес мой... Кафа, где томились в цепях и продавались на рынках невольники — моя Кафа... Что приобрел Петр на севере — то бедно, жалко... Что приобрела я на юге — богато, роскошно. Это лучшие алмазы в моей короне...

Скоро двадцать пять лет, как я царствую... 28-го июня будет двадцать пять лет — через неделю... А как недавно было-то, кажется недавно, словно вчера... Ночь, мрачная, томительная, а впереди — либо монастырская келья, либо темный каземат, либо... И вдруг яркий день — и трон мой, весь мой: от нижней ступеньки до орла... И корона моя, шапка Мономаха на голове ангальт-цербсткой девочки...

Тяжела, говорят, шапка Мономаха... Да, но только не для меня... Вот ни одного седого волоска она не вплела своей тяжестью в мою женскую косу...»

И императрица вынула из-под чепца прядь волос и задумчиво перебирала их в руке...

«Нет, не посеребрила моей головы шапка Мономаха... А как, казалось бы, я должна была бы постареть! Как поседеть! — Чего не передумала моя голова за всю Россию в эту целую четверть столетия!»...

За дверью послышалось шуршанье бумагой.

— Кто там?

— Храповицкий, ваше величество.

— Что?

— Стихи принес, что приказывали переписать — о Тавриде.

— Войди.

В комнату неслышными шагами вошел кругленький, толстенький, с пухлыми щеками и завитой косой человечек, и, низко поклонившись, подал императрице четко исписанный лист бумаги.

— Жарко сегодня?

— Прежарко, ваше величество.

— Потеешь?

— Преужасно потею, ваше величество.

— Купайся чаще.

Екатерина встала и подошла к окну. Перед дворцом уже кучился народ, глазея на окна, словно бы из каждого должна была вылететь жар-птица. Полицейские с алебардами внушительно показывали глазеющим кулаки — «не шумаркай-де — нишкни — ни-ни — разбудишь».

Едва императрица показалась у окна, как народ, несмотря на полицейских, рявкнул: «Матушка! Ура! Го-го-го-го!»

Екатерина отодвинулась с улыбкой вглубь комнаты, но она не могла не заметить, что сквозь толпу пробирался ко дворцу Нарышкин, который нес на плече что-то круглое, черное, взоткнутое на трость, а в левой руке — какие-то две птицы, вроде уток...

«Что бы это было такое? Что еще выдумал Левушка? Проказу какую-нибудь? Это недаром...»

Она обратилась к безмолвно стоявшему у дверей Храповицкому:

— Там я заметила Льва Александровича Нарышкина, он несет что-то такое странное... Вели дежурному камер-юнкеру позвать его ко мне.

Храповицкий исчез.

«Я сегодня замечталась, так Левушка наверное чем-нибудь холодным окатит мои грезы... Честный, верный друг... Сколько лет уж он бережет меня — четвертый десяток будет... Не чета другим, не корыстолюбец, ничего не ищет...»

В комнату, отвешивая низкие поклоны, вошел Нарышкин. Он был весь красный — видимо устал. На трости у него оказался черный, как чернозем, ржаной хлеб, проткнутый насквозь, а в руке пара застреленных кряковых уток.

— Что это такое, Лев Александрович? — спросила улыбаясь, изумленная императрица.

Нарышкин, преспокойно, неторопливо, с серьезным лицом, положил на стол свою ношу и обтер фуляром вспотевший лоб.

— Это я принес вашему величеству тульский ржаной хлеб, да пару уток, которых вы жалуете...

«Что-нибудь не так», — промелькнуло в голове императрицы, «под этой шуткой кроется что-нибудь серьезное... Тульский хлеб... Хлеб дешев... Народ благоденствует...»

— А по какой цене за фунт купили вы этот хлеб? — вдруг спросила она.

— По четыре копейки за фунт, государыня.

Первый раз, кажется, в жизни Екатерина недоверчиво посмотрела на своего шпыня Левушку.

— Быть не может! — с силой сказала она. — Это цена неслыханная...

— И невиданная, ваше величество.

— Как же мне донесли, что в Туле такой хлеб...

— Такой ли, государыня? — На «такой ли» Нарышкин сделал особенное ударение.

Императрица подошла к караваю и стала внимательно рассматривать эту черную, отвратительную массу «нечистого», как говорят мужики, хлеба, то есть хлеба не из одной муки.

— Да это не хлеб! — с ужасом воскликнула императрица. — Это земля! — Почти земля!

— Нет, ваше величество, это... Почти хлеб...

— Боже мой! И эти комья земли едят люди!

— Нет, государыня, пейзане... Добрые мужички...

Императрица посмотрела на него строго...

— Не забывайтесь, Лев Александрович!.. В таком деле остроумие неуместно...

Нарышкин почтительно поклонился. На лице императрицы выступили гневные пятна...

— Как же мне донесли, что в Туле здесь ржаной хлеб не дороже одной копейки медью?..

— Нет, государыня, это неправда, вам донесли ложно. Я сам покупал на торгу этот хлеб и знаю ему цену.

Императрица в волнении заходила по кабинету, боясь выглянуть в окно...

— Удивляюсь, — продолжала она. — Как же меня уверяли, что в здешней губернии был обильный урожай в прошлом году?

— Нынешняя жатва, ваше величество, может будет удовлетворительна, а теперь, пока голодно...

Императрица снова посмотрела на Нарышкина, подошла к столу, взяла лежавший на нем писанный лист бумаги и молча подала своему шутливому обер-шталмейстеру.

Нарышкин посмотрел на бумагу, пробежал ее — это был вчерашний рапорт Кречетникова — и снова положил на письменный стол.

— Прочли?

— Прочел-с... Может быть, это ошибка... Впрочем, иногда рапорты бывают не достовернее газет...

Императрица опять подошла к столу и долго смотрела на то, что изображало собой подобие хлеба... Она глубоко задумалась... С площади доносился гул голосов...

«Так вот оно, мое величие... На чем покоится оно... Вот мои гордые мечтания... Бедные люди!.. Так вот, отчего не поседели мои волосы под шапкой Мономаха... Оттого... Оттого, что в моем царстве есть такой черный хлеб... Он чернит мою седину... Из окна золотой кареты я не вижу, что ест мой добрый народ... А я мечтала, я радовалась...»

Краска все более и более заливала ее лицо...

Она быстро оборотилась к Нарышкину и протянула ему руку...

— Благодарю, всем сердцем благодарю вас, друг мой! Вы один у меня честный и верный друг... Если бы не вы, я не знала бы правды...

Она говорила с жаром, со слезами на глазах... Нарышкин упал на колени и целовал ее руки...

— Матушка! Матушка! Вы великая царица! Вы святая, великая женщина.

— Благодарю... Благодарю... Нет, я... Я все-таки женщина...

— Святая, великая!

— Встаньте, мой друг.

Императрица подняла его. Нарышкин встал. В глазах Екатерины блеснул опасный огонек...

— Так Кречетников обманул меня?

— Нет, государыня... Это из усердия... Чтоб не огорчить вас...

— Не огорчить! А что подумали бы обо мне мои добрые подданные, которые питаются вон этим хлебом из земли?..

— И то не все его имеют...

— Что подумали бы они, если б я приняла здесь бал, предложенный мне дворянством, и веселилась бы в то время, когда самые трудолюбивые из моих подданных...

Она не договорила и посмотрела на хлеб...

— Не имеют даже и такого хлеба? — подсказал Нарышкин.

— Да... Я и то дурно сделала, что была вчера в театре.

— Нет, государыня, осмелюсь думать, что вы изволили хорошо поступить, посетив здешний театр.

— Почему же? — удивилась Екатерина.

— Роль «Хвастуна» прекрасно играл какой-то здешний актер Пономарев...

— Да, я заметила его и велела взять в петербургскую сцену.

— Точно так, ваше величество... А изволили ли вы заметить, кого напоминал «Хвастун»? Кого играл Пономарев?

Императрица задумалась, потом улыбнулась...

— А!.. Немножко Кречетникова, кажется... Да, да... То-то я вспоминала, на кого он похож...

— На Михайла Никитича.

— Точно, точно...

Она посмотрела на Нарышкина. Тот улыбался, стоя в самой почтительной позе.

— Какое же отношение между театром и этим хлебом и — голодом? (Императрица показала на стол, где лежал хлеб, потом на окно, за которым носились волны народного говора).

— Непосредственное-с, — отвечал Нарышкин. — В театре я думал о Михайле Никитиче, об его уменье «хвастаться» — и сегодня сам пошел на торг...

— И открыли этот хлеб?

— И открыл-с этот хлеб...

— Да, правда... У вас государственный ум...

— Нет-с, инстинкт ищейки вашего величества...

— Вы неподражаемы, Левушка... Что ж я буду делать с этим хлебом?

Нарышкин задумался... Он, по-видимому, не решался отвечать... Наконец он поднял голову...

— Что же? — переспросила императрица.

— Взять с собой в Петербург, поместить в Эрмитаже, а кусок послать Вольтеру...

Яркая краска снова залила лицо императрицы... Она с минуту колебалась, но потом снова победила себя...

— Еще раз благодарю вас, глубоко благодарю... Какой урок! Какой жестокий урок вы мне преподали!..

Она закрыла лицо руками... Нарышкин ползал у ее ног и целовал край ее капота...

— Прости! Матушка, прости!.. Величайшая, священнейшая, мудрейшая из женщин!..

— Нет, нет! Счастливы государи, у которых есть такие друзья, как у меня...

На пороге показался красивый с женственным лицом, с высокомерной осанкой молодой человек и с немым удивлением смотрел на эту живую сцену... Глаза императрицы блеснули каким-то внутренним теплом.

То был Мамонов!

VII

Через два часа после вышеприведенной сцены, в том же кабинете совершался обряд «волосочесания», как называет Храповицкий в своем «Дневнике». «Волосочесание» приближается к концу. Императрица, выслушав доклад обер-камергера Шувалова о том, что на ружейном заводе уже все приготовлено для принятия ее величества и что в сверлильном отделении ожидает императрицу особый цилиндр и серебря-

ный молоток, которым мастера надеются, всемилостивейшая государыня соизволит собственноручно ударить по раскаленному цилиндру, — смотрится в зеркало, которое поднесли к ней две камеристки. Мамонов, стоя у окна, тщательно рассматривает свои розовые, изящно выхоленные ногти. Нарышкин не менее серьезно занят ловлей большой мухи на другом окне. В стороне, у маленького столика, пыхтит и потеет Храповицкий, занятый «перлюстрациею», присланной из Петербурга иностранной почты. Сзади императрицы, отражаясь в зеркале, стоит только что допущенный аудиенции Кречетников.

На столе все тот же роковой каравай хлеба и две кряковые утки.

Императрица видит в зеркале, как Кречетников косится на этот хлеб, причем лицо его, за минуту счастливое и самодовольное, то бледнеет, то багровеет.

— Очень рада, Михайло Никитич, что в городе и в губернии, вам порученных, все обстоит благополучно, — ласково говорит императрица, всматриваясь в зеркало и отстраняя волосок от своего мраморного лба.

Кречетников молча кланяется и силится подавить вздох.

— Я и за себя, как женщина, рада, когда все благополучно: меньше седею...

Кречетников опять кланяется и косится на хлеб...

— Вас, кажется, интересует этот хлеб и утки?

Кречетников кланяется и что-то невнятно мычит.

— А это мне принес какой-то добрый мужичек: «Нашей, говорит, деревенской хлеба-соли матушке-царице на поклон приволок...»

Она снова пригнулась к зеркалу и поправила височки.

— Я поблагодарила его и спрашиваю: почем у них такой хлеб продается в деревне? Говорит, по четыре копейки... Я не поверила...

Нарышкин наконец поймал муху двумя пальцами, и она у него отчаянно зажужжала. Императрица оглянулась, и чуть заметная улыбка скользнула по ее лицу...

— Четыре копейки, это цена небывалая...

— Так точно, ваше императорское величество... Но скоро урожай, — растерянно заговорил Кречетников.

— А до урожая? Теперь еще июнь...

— Будут приняты меры, ваше императорское величество... Тотчас же...

— Да, да, надобно поскорее помочь горю, чтобы не случилось большой беды.

— Слушаю-с... Непременно-с...
— А завод вы мне сами покажите.
— Слушаю-с ваше императорское величество!
Нарышкин приотворил окно и выпустил муху на свободу.
— Ура! Ура! Ура! — послышалось с площади.

VIII

Прошло полтора года.

В морозный январский вечер 1789 года на сцене петербургского театра, идет сенсационная и патриотическая по тому времени пьеса «Титово милосердие». Театр полон. Несмотря на внешний 20 градусный мороз, от которого кучера и извозчики спасаются либо собственными кулаками, либо кабаком, в театре жара невообразимая. Разряженные, напудренные «щеголихи» и «модницы», с изящными мушками на щеках, и на подбородках, и над соболиными бровками и везде, где им указывала сидеть мушиная символика, постоянно махались веерами, разливая вокруг себя горячее море благовоний, не забывая в то же время «махаться» и в переносном смысле со своими «пети-метрами», «ферлакурами» и вздыхателями. Парики и подвитые косы «ферлакуров», «пети-метров», представляли необозримую выставку парикмахерских художественных произведений.

Императрица сидела, полуприкрытая драпировками, в боковой ложе. В углублении, из-за ее спины, выглядывали — то красивое, видимо скучающее лицо Мамонова, то круглые, насмешливые щеки сатира — Левушки Нарышкина, то лукавые глаза Шувалова.

Императрица, видимо, была в хорошем расположении духа.

Пьеса шла очень удачно. Публика усердно аплодировала. Актер, игравший «Тита», был очень хорош: он обращался с остальным персонажем пьесы необыкновенно милостиво, но зато с царственным величием, так что императрица, глядя на него, невольно закусывала губы, чтобы скрыть улыбку.

— А узнаете, государыня, кто играет «Тита»? — тихо спросил Мамонов.

— Как же: это Пономарев, которого я отняла у Тулы.

— Но кого он напоминает, ваше величество, своей царственной осанкой? — лукаво спросил Нарышкин.

— Да, кого-то напоминает...

— А вы извольте, государыня, присмотреться к первому ряду кресел.

— А что там?

— Не замечаете? Вот величественно косится сюда...

— Ах — да, да! Он поразительно его передразнивает...

В первом ряду кресел императрица действительно узнала того, на кого ей указывал Нарышкин: плоский широкий затылок, круто заплетенная густая коса, надменно поднятые плечи и грудь, глупое, вызывающее улыбку, величие на лице, это был он — Кречетников.

— Тульский кречет, воображающий себя орлом из стаи Великой Екатерины.

— Да, да, — улыбнулась последняя. — Но он меня сегодня порадовал.

— Чем, государыня?

— Да вы знаете, что благодаря нераспорядительности генерал-провиантмейстера Маврина, войскам, в столице расположенным, угрожает голод: так Михайло Никитич мне доложил, что он берется помочь горю...

— Это тульским-то хлебом, государыня?

— Да, он говорит, что в одной Богородицкой волости есть до двухсот тысяч четвертей хлеба лежачего.

— А если это такой же хлеб, дешевый, какой вы изволили вывезти из Тулы для Эрмитажа и для Вольтера?..

Императрица сверкнула глазами...

— Нет — нет... Не напоминайте мне об этом...

Она обернулась назад и нечаянно уловила пристальный, нежный взгляд Мамонова, устремленный на одну из противоположных лож... Мамонов не заметил, что его взгляд был пойман, а Екатерина, приняв прежнее положение, пытливо, но осторожно, не показывая виду, стала искать глазами неведомый ей предмет, приковавший к себе взоры и внимание молодого царедворца... Она нашла этот предмет... Да, да — это она, бесспорно она... Ее пожирает он глазами... Это княжна Дарья Щербатова... Недаром он посылал ей лучших фруктов, какие были отобраны только для него... Вон у нее на лице чуть заметная «мушка взаимности»... Это он с ней «махается»... Негодница!.. Она тоже глядит на него, веером машет — к себе примахивает...

Выражение мягкости разом застыло на лице Екатерины: его заменило холодное величие. Нарышкин заметил это — продувной сатир давно все заметил, но и виду не показывал, что чувствует грозу в воздухе, чувствует ее давно — и ждет первого удара... Быть удару — облачко, черное, зловещее, разом налетело на полуденное солнце... Надо отвратить удар...

— Александр Матвеич, кажется, очарован тульским кречетом — глаз с него не спускает весь вечер. — Закидывает он.

Переносят взор на Мамонова, на Кречетникова... Мамонов, действительно, смотрит туда, на первый ряд кресел, на Кречетникова.

— Я ухожу, у меня голова разболелась...

Императрица встает. За ней встают все...

Уходя, Мамонов оборачивается и кидает тревожный, тоскливый взгляд на предательскую ложу... Там махают веером.

IX

— Поноша! Друг сердечный!

— Франсель Венециан! Какими судьбами!

— Да с Кречетом налетели сюда.

— А! Видел... Так и ел меня глазами... Ну, облобызаемся же.

— Облобызаемся... А! И Аполлинария Николаевна! Наше вам, с походцем!

— Здравствуйте, Семен Никифорович... Что в Туле?

— Об вас вспоминают... А что он?

— Кто он?

— Ну известно он, курсив, большими литерами... Не он уж «Тита» играет?

— Не он...

Аполлинария Николаевна зарделась... Приятели обнимались, жали друг другу руку, расспрашивали — кто про Тулу, кто про Петербург... Это было за кулисами, тотчас по окончании «Титова милосердия».

— Совсем к нам теперь, дружище? А? — спрашивал Пономарев Веницеева.

— Да совсем было, если б чадушко опять не напутал.

— Какой чадушко?

— Да, сокол-то наш ясный — совсем дело изгадил.

— Кречетников?

— Кому же больше! Такого мастера путать и гадить на заказ не сделать.

— В чем же дело-то?.. Растолкуй.

— Да вот в чем: светлейший, Потемкин-то, благоволит моему дураку... Чадушке-то, соколу, и обещал замолвить за него словечко у государыни, как приедет сюда. А ждут светлейшего на днях... Вот мы и прискакали сюда. Нас приняли

милостиво: государыня изволила даже говорить чадушке-то моему о том, как думает встретить светлейшего после его славных побед над турками, велит украсить в Царском Триумфальные ворота разными арматурами, а на транспаранте в честь его написать стихи из оды Петрова «На взятие Очакова»:

«Ты в плесках внидешь в храм Софии».

— Ого! — протянул Пономарев. — Куда хватило...

— Да, брат, думают, что с весной наш светлейший и «таврический» войдет в Царьград с победным венком на голове...

— Ну, так чем же напутал сокол твой?

— Да... Императрица, к слову, заметила, что ее беспокоит недостаток провианта для войск, здесь расположенных, а мой-то враль, из усердия и хвастовства, и бухни, что у нас в Туле лежачим хлебом хоть пруд пруди. Государыня обрадовалась, приказала тотчас же закупить у нас хлеб, велела дураку моему распорядиться... Он прилетел, требует меня, велит писать о хлебе: я ему напоминаю, что он сам же недавно подписал рапорт о том, что в его наместничестве хлеба едва ли хватит для весенних посевов — и вдруг такой шкандал! — Как, говорю, вы, не спросясь, эдак ответили государыне? — Сорвалось, говорит! — Ну значит сорвалось и наше счастье.

— Господа! Где тут господин Веницеев? — послышался голос режиссера.

— Что вам угодно? Я Веницеев.

— Пожалуйте в фойе — вас просит тульский и калужский генерал-губернатор, генерал-поручик Михайло Никитич Кречетников.

— Сейчас иду... Н-ну чадо! Опять, полагаю, что-нибудь напутал...

X

Во дворце, в кабинете императрицы, Храповицкий, сидя за особым столом, осторожно шуршит бумагами, сортируя почту. Он, видимо, напряженно прислушивается к тому, что происходит в следующей комнате, за дверью, но, кажется, привычный слух его ничего не может уловить...

Но вот слышно немного — сморкаются... «Плачут, должно...»

Опять шуршанье бумагой и опять напрасное прислушиванье...

— Плюньте, матушка, — явственно слышится оттуда, из-за двери.

«Это Захар... Успокаивает...»

Опять сморканье, более решительное, энергическое... «Ну, слава Богу — кажись, успокоились...»

Отворяется дверь, и оттуда выходит Захар в белом фартуке и с полотенцем в руке. Захар очень пасмурен.

— Ну что, Захар Константиныч? — заискивающе спрашивает Храповицкий.

Захар только махнул рукой.

— Гневны? — снова спрашивает Храповицкий.

— Смутны, — нехотя отвечает Захар.

— А с чего, Захар Константиныч?

— Паренек дурит...

— Ахти! — удивляется Храповицкий. — Что ж он, дурачок!

— Да онамедни в театре с княжной Щербатовой махался — перемигивался, так заметили.

— Ах дурачок, дурачок!

— То-то, и я ему говорил так же, так поди с ним — не внемлет: житье мое здесь, говорит, настоящая тюрьма...

— Ах парень, парень! С жиру бесится, от своего счастья бегает.

— И я тоже говорю, так нет: скучно, слышь, ему, надоело, что после всякого собрания, где есть дамы, привязываются, дескать, ревнуют...

Храповицкий укоризненно покачал головой...

Из той комнаты раздался звонок. Храповицкий вздрогнул и торопливо принялся опять за свою почту. Захар, перекинув полотенце на другое плечо, тихо пошел на звонок.

— Ах, дурак, дурак, вот истинно дурак! — бормотал сам с собой Храповицкий. — И с кем вздумал махаться! И это после Фицгерберта-то — с англицкими объедками...

Захар вышел с радостной улыбкой и как-то весело перекрестился...

— Что? Зачем звали?

— Славу Богу, успокоились, а то ничем не угодишь, все гневаются...

— А выдут?

— Сказали, выдут: почту бы приготовили, да Кречетникову приказано явиться.

— Почта готова.

— А паренька, говорит, велю светлейшему пожурить, как приедет, все его ждут.

Захар ушел, разводя руками и сам с собой что-то разговаривая. Храповицкий разложил почту на большом столе, встал и подошел к зеркалу. Лицо его было красновато, как после выпивки.

— Ишь не доспал, рожа-то красная... А все этот тульский калиф затащил, угостил... Да и дома тоже на ночь... Дурная привычка.

За той дверью послышались шаги. Храповицкий отскочил от зеркала и нагнулся над бумагами.

Отворилась дверь из той комнаты, и в кабинет вошла императрица. В ней теперь казалось более женственного, чем царственного. Глаза смотрели немножко припухшими, усталыми и мягкими: заметно было, что она плакала, хотя теперь на лице не осталось и следа горя, и оно было спокойно.

Храповицкий низко поклонился. Ему милостиво отвечали.

— Привел почту в порядок?

— Привел, государыня.

— А прочел рапорт вице-губернатора?

— Не успел, ваше величество.

— Прочти.

Храповицкий отыскал на столе требуемую бумагу и пробежал ее глазами.

— А? Каков лгунишка Кречетников! Что доносит здешний вице-губернатор?..

— Здешний вице-губернатор рапортует, — отвечал Храповицкий, глядя в бумагу, — что по сообщению Кречетникова богородицкие поселяне просят по четыре рубля за куль муки с поставкой в Тулу...

— А! Каково! Зачем было лгать? Кто просил?

В это время дверь из передних покоев, из приемных апартаментов, отворилась, и на пороге показался юный, розовый, как девушка, с девической косой и черными агатовыми глазами дежурный камер-юнкер, юноша лет двадцати, и вытянулся в струнку. Глаза императрицы ласково остановились на нем.

— А, Зубов... Что там?

— По приказанию вашего императорского величества генерал-поручик Кречетников ожидает повелений, — отчеканил юноша.

— Пусть войдет.

Юноша стукнул ножкой об ножку, и исчез за дверью.

— Какой милый мальчик, — выронила императрица.

— И хорошо воспитан, государыня, скромен, как девушка, и музыку любит, — вставил Храповицкий, почтительно вытягиваясь, чтоб положить бумагу перед императрицей.

На пороге показалась знакомая уже нам фигура тульского наместника. Всегда юпитеровски-величественный и, как Нарцис, самодовольный, он выступал теперь немножко мокрой курицей, со склоненною на бок повинной головой, с опущенными руками... «Из усердия, единственно из усердия — повинную принес — повинную меч не сечет», — говорила вся его фигура. Даже Храповицкий немножко улыбнулся: точь-в-точь соблудившая псица «Муфти»...

— Вы, Михайло Никитич, поторопились порадовать меня вашим хлебом, напрасно, — сказала императрица тоном неудовольствия.

— Виноват, ваше императорское величество, — был смиренный поклон, — может быть, не так донес здешний вице-губернатор.

— Не так рапортовал ваш, а не мой вице-губернатор, — строго заметила государыня, и, взяв со стола бумагу, подала оторопевшему сановнику — прочтите сами!

Дрожащими руками взял «великолепный калиф Тулы», как его назвали пересмешники, поданную ему бумагу и стал рассматривать ее как какую-нибудь хитрую ткань.

— Видите, богородицкие поселяне просят по четыре рубля за куль, — пояснила императрица уже спокойным тоном.

— Да-с, точно, ваше величество... Это недоразумение. Я немедленно разъясню, напишу... Сам на месте расследую...

В это время как бы из-за спины императрицы вырос Мамонов... Он был бледнее обыкновенного... По глазам заметно было, что и он плакал... Императрица испытующим, но ласковым взглядом посмотрела на него: ей, казалось, стало жаль этого бледного заплаканного лица...

— Я расследую-с... Я хлеб найду, — продолжал бормотать Кречетников, весь красный.

— Хорошо, хорошо, постарайтесь, — сказала, по-видимому, сжалившаяся и над ним императрица, делая вид, что отпускает его.

Кречетников торопливо положил бумагу на стол, поклонился, пробурчал: «Постараюсь... Священная воля... Хлеб лежачий» — поперхнулся и, снова поклонившись, отретировался за дверь...

— А! Как нахвастал! — с улыбкой обратилась государыня к Мамонову. — Да еще имел бесстыдство сказать, что не так донес здешний вице-губернатор... А! Я ненавижу ложь — это подлость, но еще гнуснее изворачивать вину на другого...

Мамонов ничего не отвечал: он, казалось, и не слыхал того, что ему говорили. Правой рукой он держался за грудь, как бы чувствуя там острую боль...

— Une oppression de poitrine, n'est ce pas? — участливо спросила государыня.

— Да, ваше величество, больно, — тихо отвечал молодой царедворец.

Императрице стало еще более жаль его... Видимо, желая его развлечь, она заговорила о Кречетникове.

— Каков! И это уже во второй раз такая история с хлебом... Помните?

— Помню, государыня.

— А как он открывал Калужскую губернию, а?

— Этого я не слыхал ваше величество.

— Это история презабавная... К открытию губернии прибыл Платон, что ныне митрополит московский. Спрашивает, все ли готово к открытию? Кречетников отвечает, что все, только следует просмотреть церемониал. Присылает церемониал к Платону. Платон одобряет все статьи, кроме одной, где сказано было, чтобы во время шествия в церковь наместника, то есть вот этого самого Кречетникова, во всех церквах производим был колокольный звон... Каково!

— Да, это скромно, — улыбнулся Мамонов.

— Очень скромно, — согласилась императрица, — только Платон не соглашался. Началась переписка. Платон стоит на своем. Наконец Кречетников сам едет к Платону, настаивает. Платон и отвечает ему: «Эта почесть, говорит, воздается только царскому величию». Только этим и усмирил его. Но зато он у себя в доме поставил трон и хотя не сидел на нем, но стоял на ступенях этого трона под балдахином, и говорил речь к собранию дворян.

— Воображаю, государыня, как он был смешон, — заметил, Мамонов.

— Да... Но после он был жалок, — продолжала, увлекаясь, императрица. — После открытия губернии, он приехал сюда, лично представить мне отчет обо всем... А я уже знала о колокольном звоне: мне Платон же и донес... Встречаю его ласково, благодарю, расспрашиваю обо всем. Он сияет от удовольствия. А я таинственно и спрашиваю его: «Да Платон-то, говорю, усердно ли вам содействовал?» — «С полным усердием, говорит, ваше величество». — «Да не было ли, говорю, с его стороны каких-нибудь странных желаний: например, не требовал ли, говорю, он от вас пушечной пальбы при въезде своем в город?» — «Нет, говорит, государыня». — «А я, го-

ворю, что-то такое слышала, но согласитесь, говорю, что ведь это было бы так же смешно, как если б вы, говорю, потребовали, чтоб он сопровождал вас колокольным звоном...»

Мамонов рассмеялся самым искренним смехом. Даже Храповицкий почтительно хихикал.

На пороге опять вытянулась стройненькая фигурка юноши с агатовыми глазами.

— Кто там? — был ласковый вопрос.

— Господин директор Академии наук, княгиня Дашкова, ваше величество! — отрапортовал красивый юноша.

— Господин, княгиня, — улыбнулась императрица. — Я жду ее.

XI

В 7-м часу вечера на 5-е февраля этого (1789) года прибыл наконец в Петербург с новозавоеванного юга «великолепный князь Тавриды».

Кречетников, после деликатной головомойки с «лежачим хлебом», теперь опять высоко поднял голову и не иначе смотрел на свет Божий, как через человеческие головы, ибо все казалось ему ниже его недосягаемой персоны, так он уверен был в расположении к нему Потемкина. Потемкин, действительно, покровительствовал ему по неуловимым капризам своего характера или, может быть, по такому же неуловимому закону контрастов, в силу которого блондины предпочитают брюнеток, сила покровительствует бессилию, старость льнет к детям, гений снисходит к посредственности: понимая хорошо недалекость и петушиные замашки «тульского калифа», зная его неудержимую слабость к прекрасному полу и заносчивость, называя его не иначе, как «мадам» — любимое слово Кречетникова, Потемкин все-таки покровительствовал ему.

Одним словом, с приездом Потемкина «тульский кречет» оказался «в мытех» и стал «высоко взбивать птиц» — более мелких чиновных пташек, с которыми ему приходилось иметь дело. О хлебе и о головомойке он совсем забыл, сколько ни напоминал ему об этом Веницеев.

На другой же день после приезда Потемкина, по личным указаниям императрицы, на театре в Эрмитаже давали самую новую и модную тогда пьесу — «Горе-богатырь», комическую оперу, сочиненную самой государыней при композиторском содействии придворного капельмейстера Мартини. В опере этой, как толковали тогда и как понимают это теперь,

Екатерина осмеивала попытки шведского короля Густава III овладеть Петербургом. Как известно, попытки эти окончились срамом для «Горе-богатыря».

«На театре», как записано у Храповицкого, кроме самой императрицы, Потемкина, Мамонова, Льва Нарышкина, Храповицкого и других приближенных, присутствовали и иностранные послы Кобенцель и Сегюр. Мало того, виднелась в рядах знати и петушиная фигура Кречетникова: быть приглашенным в Эрмитаж — это высокая честь, и он чувствовал сердцем, мозгом, ногтями и каждым волоском, что вполне достоин этой чести.

Пьеса шла блистательно. Особенный, конечно, взрыв одобрений вызвал дуэт самого «Горе-богатыря» с Гремилой.

— Это слава его «гремит» по всему свету, — лукаво заметил Потемкин, слегка кланяясь императрице.

Лицо Екатерины было необыкновенно оживленно. Это оживление и искусная прическа сгладили все тончайшие морщинки, проведенные безжалостной шестидесятой весной ее жизни на ее прекрасном, философском челе. Она казалась совсем молодой, свежей, полной энергии. Недаром, накануне, за туалетом, она сказала Храповицкому и Шувалову: «Я уверена, что, имея уже шестьдесят лет, проживу еще двадцать с несколькими годами».

— Да, — с улыбкой отвечала императрица. — «Гремила» родная сестра «Шумихе» и так же удачливы, как Фома с Еремой... Et vous, monsieur le comte? — обратилась она к сидящему около нее Сегюру.

— Oh! c'est ravissant! — восторженно отвечал тот, как истый француз. — C'est... C'est... Du genie...

— Mersi, monsieur, — отвечали уклончиво.

— Oh! Votre majesté! Qui se sent morveux, se mouche... C'est bien delicat de répondre par des plaisanteries à des manifestes et déclarations impertinantes...

В антракте, когда опустился занавес, глазам изумленных зрителей представилась следующая картина, эффектно изображенная на этой новой занавеси: Екатерина на троне: она держит в руке лавровый венок и возлагает его на голову склонившегося на ступенях трона Потемкина, над венком надпись из иммортелей:

«Ты в плесках внидешь в храм Софии».

Восторженное «браво!», «да здравствует Екатерина!» заглушили оркестр, который играл:

Гром победы раздавайся
Веселися храбрый Росс...

Потемкин, насупившись, грыз ногти... Он порывался было уйти, но императрица ласково удержала его... Сегюр любезно улыбался и едва заметно кланялся ему, показывая вид, что аплодирует будущему покорителю Цареграда.

— Да это и правда, — сказала императрица, как бы отвечая на мысль французского посла. — Я уверена, что у меня скоро будет князь «Таврический-Цареградский»...

— В этом уверен и Кречетников, — кивнул в его сторону Потемкин, продолжая кусать ногти.

— Да, он уверен в победах Потемкина...

— Как и в своих над прекрасным полом...

Императрица невольно рассмеялась, глянув туда, куда ей указывал Потемкин, она увидала, как Кречетников, словно индейский петух с красными щеками и шеей, топтался около княжны Щербатовой, заслоняя ее от Мамонова, который видимо злился...

— Ох, отобьет у нашего паренька кралю, — подмигнул Потемкин.

Императрица отвернулась: так смешон показался ей Кречетников в роли «ферлакура».

— Отобьет, отобьет...

Храповицкий усиленно вытирал фуляром свой влажный лоб...

— Потеешь? — улыбнулась ему Екатерина.

— Преужасно, ваше величество, — был стереотипный ответ.

— А Сегюр и Сен-При уверены, — серьезно заговорила императрица, обращаясь к Потемкину, — что Турецию поделить можно...

— И даже должно, — так же серьезно отвечал Потемкин.

— А как?

— Дать куски Англии и Франции... Конечно, и Австрии.

— А Гишпании.

— И Гишпании тоже малое, «морсо».

— А Италии? — задумчиво спросила императрица.

— Италии нет... Италия только в географии да на карте.

— И то правда, нет ее, потому некому больше давать «куски».

— А остатка довольно будет для великого князя Константина Павловича, — улыбнулся Потемкин. — С него довольно.

— Да, pour un cadet de la maison, очень довольно, — улыбнулась и императрица, а потом серьезно прибавила: —

Бабка и отец здесь, внук и сын Константин во град Константина Великого...

— Так и пророчествовано — задумчиво пояснил Потемкин, как бы прислушиваясь к музыке.

— Да... Зачем не быть обеим отраслям в такой связи, как дворы бурбонские — Франция и Гишпания, а Романовы — Россия и Туреция.

По окончании пьесы внимание императрицы снова было привлечено неподражаемым тульским наместником. Екатерина, вставая, взглянула было собственно по тому направлению, где сидела княжна Щербатова уже не с «мушкой взаимности», а с «мушкой отвергнутой пассии», но вместо княжны увидела Кречетникова, который восторженно обнимал кого-то.

— Кого это хочет задушить «мадам»? — спросила она Потемкина, указывая на Кречетникова.

— Львова... Они с Кречетниковым старые друзья.

— А о хлебе, как я вижу, он совсем забыл, — заметила императрица. — Он твердо верит Евангелию.

— Я заставлю его и о хлебе вспомнить, — отвечал светлейший.

Императрица оглянулась: она заметила всех... Не было только одного, кого она искала: не было Мамонова...

Прошло несколько недель. Кречетников давно воротился из Петербурга в свою наместническую резиденцию и, упоенный благосклонностью к нему светлейшего, опочил на лаврах. Каждый день принимал просителей в торжественной «аудиенции», утверждал журналы наместнического правления, выслушивал доклады, во время которых, подражая Потемкину, грыз ногти, катался на своих любимых «корольках» — маленькие, изящные лошадки, чудил по-потемкински, то есть гонял иногда курьеров за тестом калужским, которое любил Потемкин, в Калугу, но не для Потемкина, а для себя, гонял и в Вязьму за бубликами и так далее.

О покупке хлеба для Петербурга, хотя и отдал приказ, но скоро и об этом забыл, а больше, по вечерам, в дворянском собрании, волочился за хорошенькими дворяночками... «Мадам», «мадемуазель», «у нас в Петербурге», «при дворе», «сама императрица», «мой друг светлейший» — только и раздавалось по собранию.

Но больше всего ему нравились «аудиенции»: тут он окончательно подавлял всех царственным величием и «екатерин-

ской очаровательностью»... Выходы к «аудиенции» совершались с такой неизменной помпой: когда просители и чающие «представиться» собирались в залу и наступал назначенный час «выхода», то по звонку из внутренних апартаментов два ливрейных официанта, в пудре, башмаках, с нашивками на всех частях тела, в огромных треуголках и с булавами, отворяли настежь двери из гостиной с таким трепетом, как будто бы оттуда должен был выйти огнь небесный и всех пожрать, тогда из дверей выступали два новых официанта, но без шляп, а лишь с глупыми, то есть важными лицами, а за ними уже — слегка улыбающийся от этой дурацкой церемонии, Веницеев нес портфель, не под мышкой — этого не дозволялось — а впереди, словно Евангелие, выносил дьякон, либо скинию завета несли трепетные левиты... За этой скинией уже выступал, словно журавль в болоте, сам Кречетников: он потому напоминал журавля, что тонкие ноги его всегда были обтянуты шелковыми чулками, а башмаки с золотыми пряжками высились на тонких, как у китаянок, красных каблуках.

В утро описываемого нами дня, в приемной зале наместника толкалось очень много чающих: тут были и военные, и статские, мужчины и женщины, и в числе последних виднелось не одно молодое, красивенькое личико. Дежурный чиновник обходил всех просителей и непросителей, спрашивал их имена, и местожительства, и записывал в свою памятную книжку. Те, которые были в этой зале в первый раз, с удивлением, а иные со страхом, посматривали на царский трон, стоящий посередине комнаты и осеняемый балдахином с золотым двуглавным орлом и кистями: на троне помещался мраморный бюст императрицы в лавровом венке.

— Ваше звание и фамилия? — спросил дежурный чиновник, подходя к одному просителю, стоявшему сзади всех в статском платье.

— Свободный художник Сбавь-Спеси из Петербурга, — отвечал статский.

— Как-с?

— Сбавь-Спеси, сударь... Моя фамилия малороссийская.

Дежурный мгновенно записал.

— А по какому делу?

— По поручению светлейшего князя Потемкина-Таврического.

— К его превосходительству Михаилу Никитичу?

— Нет-с... К одному зазнавшемуся дураку...

Чиновник не знал, как понять подобную штуку, и с недоумением посмотрел на дерзкого незнакомца. Но этот по-

следний преспокойно вынул из-за кафтанного борта бумагу и подал изумленному чиновнику. Тот развернул, читает, ничего не может сразу понять... Бланк, действительно, Потемкина... «Свободному художнику Сбавь-Спеси, — бормочет чиновник, пробегая бумагу. Поручаю вам немедленно отправиться в Тульскую губернию к известному вам зазнавшемуся дураку и снять с него портрет...»

Чиновник еще более недоумевает... Но на бумаге печать — гербовая именная печать светлейшего и его собственноручная подпись... Эта подпись ему знакома... Что ж бы это значило?.. Ясно, что это одна из тысячи причуд светлейшего, которому и Михайло Никитич стал подражать.

В этот момент из внутренних покоев раздался звонок. Дежурный чиновник, сунув незнакомцу его странную бумагу, поспешил к своему посту — к столу у окна.

Просители торопливо становились на место, оправлялись, откашливались. Военные старались молодцевато выпятить грудь, как будто у них там делалось стеснение. Дамы обдергивались, охорашивались по-своему, словно птички перед полетом. «Свободный художник» стушевался где-то назади...

Одновременно с этим, первые два официанта бурно распахнули обе половинки двери, точно оттуда должен был вылететь кто-нибудь бешеный или выпорхнуть большая птица. Но вместо бешеного показались два плавно выступавших официанта, с глупыми, по наказу, т. е. важными лицами. За ними — милейший Семен Никифорович Веницеев в роли архидиакона, красненький, гладко выбритый и с портфелью в руках... Лукавое лицо его выражало скромно: «смотрите на нашего дурака...» За Веницеевым — сам «дурак», громовержец, с высоко поднятой головой, с выпяченной грудью и животом, как у беременной бабы, в шелковых чулках на тонких ногах без икр и в блестящих башмаках с красными каблуками, которые, казалось, от стыда краснели... Увидев молоденьких просительниц, вероятно «дворяночек», тульский Юпитер, подражая настоящему Юпитеру, сделал из себя подобие кобелька, только вместо хвоста округлил локти полубубликом...

— Браво, Кречетников! Брависсимо! — раздался вдруг сзади просителей шальной возглас.

Все вздрогнули. Дежурный чиновник побледнел. Официанты разинули рты, да так и остались. Сам Кречетников, как от удара хлыста, выпрямился... Один Семен Никифорович лукаво улыбался...

— Браво! Брависсимо! Продолжай! Что остановился!

Это стоял на стуле, за просителями, незнакомец, назвавший себя «свободным художником» и хлопал в ладоши.

Лицо Кречетникова, смущенное, красное, разом преобразилось: куда девалось олимпийское величие!..

— Ах, как я рад, что тебя вижу! — воскликнул он лукаво, заискивающе, подходя к незнакомцу и протягивая обе руки. — Надолго ли к нам приехал?

Но незнакомец не унимался, стоял на стуле и весело хохотал.

— Нет-нет! Воротись в гостиную, позабавь еще раз пышным выходом...

Кречетников окончательно потерялся: краснел, бледнел... Просители переглядывались.

— Перестань шутить... Дай я тебя обниму, — бормотал сраженный олимпиец.

— Нет, не сойду с места, пока не удовлетворишь моей просьбы...

— Полно... К чему эти шутки... Довольно.

— Нет-нет, выйди еще раз: ты мастерски играешь свою роль...

Кречетников готов был расплакаться... Незнакомец сжалился над ним, сошел со стула, обнял его и, не глядя на просителей и оторопевших официантов, прошел вместе с ним в гостиную.

— Это тебе урок от светлейшего, — сказал он серьезно и тихо. — Благодари Бога, что только этим обошлось, а могло быть и хуже... Ты знаешь его... Это тебе за то, что ты забыл о «хлебе лежачем», а государыня о нем каждый день спрашивает... Ее тоже ты довольно знаешь... Вот меня светлейший, любя тебя, и прислал к тебе, чтоб хорошенько взмылить голову и дело сделать: тебя спасти от высочайшего гнева и успокоить всемилостивейшую государыню... Гвардия без хлеба — сам знаешь, чем это пахнет...

Таинственный незнакомец был известный в то время остряк и шутник, генерал Львов, пользовавшийся особенным расположением и доверием Потемкина.

На этот раз торжественная «аудиенция» не состоялась, а после уже она совершаема была гораздо скромнее.

— Теперь мы хоть немножко поумнели, — говорил бывало Веницеев, вспоминая неожиданный наезд «свободного художника».

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Биографические очерки из русской истории. Женщины второй половины XVIII века
5

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Биографические очерки из русской истории. Женщины XIX века
229

«ПОИМАНЫ ЕСТЕ БОГОМ И ВЕЛИКИМ ГОСУДАРЕМ...»
Историческая фреска
447

ТЫСЯЧА ЛЕТ НАЗАД
Исторические силуэты
491

ТУЛЬСКИЙ КРЕЧЕТ
Исторический рассказ
501

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЦЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14 ТОМАХ

ТОМ 11

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
И. Марев

Технический редактор
Г. Шитоева

Корректор
В. Антонова

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 05.03.96.
Уч.-изд. л. 33,73. Цена 22 800 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен
ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

Д.Л. МОРДОВЦЕВ